

Александр Троханов

ТОРЯЩИЕ САДЫ



Торящие Александр Троханов САДЫ романы

МОСКВА • СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ • 1984

Художник *Владимир ФАТЕХОВ*

Проханов А. А.

П 84 Горящие сады: Романы.— М.: Советский писатель, 1984.— 608 с.

В книгу А. Проханова «Горящие сады» входят три политических романа, связанные с тремя сегодняшними «горячими точками»: «Дерево в центре Кабула» (Афганистан), «В островах охотник...» (Кампучия) и «Африканист». (Мозамбик).

4702010200—319

П _____ **КБ—10—27—84**

083(02)—84

Р2

© «Дерево в центре Кабула»

Издательство «Советский писатель», 1983 г.

«В островах охотник...»

Издательство «Правда», 1983 г.

«Африканист»

Издательство «Советский писатель», 1984 г.

ДЕРЕВО
В ЦЕНТРЕ
КАБУЛА

роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Далеко за тяжелой амударьинской водой, сквозь краны Термезского порта — волнистые красно-рыжие афганские земли в зимних сожженных травах, в солнечной проседи холмов и предгорий, невидимая, иная земля. А здесь, в Термезе, — лязг и скрежет железа, хруст стальной колес, мазутное движение составов, бруски разноцветных контейнеров, и Волков, отрываясь от разлива реки с бегущей вдали самоходкой, снова и снова смотрел на ряды тракторов, голубые и стройные, застывшие на бетонном причале. Сооруженная наспех, увитая цветами и флагами, возвышалась трибуна, и Волков старался запомнить, мысленно описать пестроту многолюдья. Тюбетейки, халаты, рабочие рубашки, русские и узбекские лица. Музыканты, устав от игры, опустили меднокованные, с вмятинами солнца трубы. Девушки в шелковых платьях, оттанцевав, откружив, тихо смеялись. Все на виду, возбуждены, готовы к речам и проводам, озирают шеренги синих глазастых машин, нацеленных хрустальными фар за реку, в другую землю, где предстоит им движение к неведомым, их поджидающим нивам.

Волков видел: Нил Тимофеевич Ладов, инженер-мелиоратор, направлявшийся с тракторами в афганские села, волнуется, гладит руками перила. Его полное, простодушное, исполненное ожидания лицо обращалось то к машинам словно их пересчитывал, то через реку к афганскому берегу, в желанную и тревожную даль. И маленькая зимняя чай

ка, проскользнув сквозь грохоты порта, мелькнула над его головой.

Здесь был и кабульский партиец Саид Исмаил, прибывший на дружеский митинг, — коричневое большеглазое лицо, шевелящиеся мягкие губы. Афганец счастливо взирал на ряды тракторов, не мог оторваться от глянцевитых стекол, крашеной яркой стали. Наклонялся к Нилу Тимофеевичу, что-то ему говорил, указывая смуглым пальцем на реку, и тот отвечал.

Тут был и старый узбек, чье тело в полосатом халате казалось хрупким, как полое сухое растение. Его жизнь, готовая исчезнуть и кануть, держалась на хрупком сухом черенке, готовом вот-вот обломиться, и он сквозь дремоту слушал громкие речи людей, громохание моторов и бубнов, и старая рана, полученная от басмаческой пули, тихо болела.

Рядом, возвышаясь, вздымая могучую грудь в орденах, в крохотной тубетеечке на широкой смоляной голове стоял председатель колхоза. Его отвлекли на митинг от огромного, лежащего по соседству хозяйства, отдохавшего после хлопковой жатвы. Чинились на машинном дворе исхлестанные хлопком комбайны. Вода по бетонным желобам бежала из канала, поила изнуренную родами землю. Носился самолет, рассеивая белый прах удобрений. Пускали новую насосную станцию, громадные насосы ухали, гнали в степь желтую амударьинскую воду. Обо всем этом думал сейчас председатель, стараясь представить, как живут те неведомые землелепашцы, кому отправляли сейчас трактора, — как живут и хотели бы жить.

Первым говорил Нил Тимофеевич. Речь его, неумелая, с поисками нужных слов, с протягиванием рук, была о даре, идущем от сердца. О тех, кто создал трактора: добывал из земли железо, плавил сталь, ковал и точил, собирая машины, перенося в них свое умение, свою добрую волю, все лучшее, на что способна душа. Кончил говорить, поклонился особым, нетрибунным поклоном. Волков глядел на его смущенное, разволновавшееся лицо, и белая чаечка, скользнув сквозь железные краны, снова мелькнула над его головой.

Вторым говорил Саид Исмаил. Речь его была мегафонно-звонящая, и слова, вырывавшиеся из-под черных усов, были о народе, встающем с колен, о начале дороги, на которую вышел его народ за хлебом и правдой, как некогда вышел великий соседний народ. Теперь два народа-брата на едином пути, один впереди, другой лишь ступил на него.

И ушедший вперед обернулся, протянул брату руку, и тот пожимает ее, принимает дар. По-мусульмански прижал ладонь к сердцу, а потом воздел ее, стиснув в кулак. Волков понимал его горячее стремление домой, за реку, где ждали его неоглядные труды и заботы до старости, до седины, и чувствовал, что вступает с ним в еще неясную, еще безымянную связь, которая будет иметь продолжение. Сам вместе с ним стоит у начала пути. Не ведал, как его совершит, как закончит, как встретится с ним в красноватой заречной стране.

Кончил говорить председатель. Чуть слышно хлопнул в ладони. Трубачи, сделав глубокие вздохи, подняли кованные, метнувшие солнце трубы. Ударили барабаны и бубны. Им откликнулись тепловозы и краны. Девушки, запывав руками, поплыли по кругу. И все пошли к тракторам. Открывали капот у переднего и на синей крышке, макая в баночку кисть, выводили красное слово «Дружба», ставили под ним свои подписи. И Нил Тимофеевич, и Саид Исмаил, и директор, и портовый рабочий. Словно писали письмо тем, кто ждал трактора в далеком неизвестном пространстве.

И теперь, сидя в кабульском номере, занося пометки в свой журналистский дневник, Волков вспоминал тот недавний митинг в Термезе, думал о том, как идут трактора сквозь туннели и горы, хотел их снова увидеть.

За окном полицейский в огромных, с раструбами перчатках махал худыми руками. «Форд», груженный тюками, в блестящих подвесках, наклейках, брелоках, похожий на покрытого попоной слона, загородил перекресток. Огибая его, катились двуколки, толкаемые мускулистыми, гологрудыми хазарейцами, на одной двуколке лежал вверх дном начищенный медный котел, на другой сидел укутанный сухой старичок в белой чалме. По улице под деревьями торопился, пестрел народ, развевал одеяния, шаркал, окликал, проносил лотки с сигаретами, с калеными земляными орехами. Темнела зубчатая стена Дворца Республики с маленьким красным флагом. И над всем острозубо и ясно сверкала гора ледника.

Волков вышел из номера. Заметил, как слуга-коридорный, в дальнем углу, расстелив малый коврик, молится отрешенно, воздевая над головой руки, роняя вперед худое, гибкое тело. В нижнем холле портье и швейцар, потупив глаза, следили за ним, пока он шел к застекленному стенду со свежим выпуском «Кабул нью таймс», бегло просматривал местные и зарубежные новости.

За стойкой бюро туризма темнела блестящая, расчесанная на пробор девичья голова. Всю стену позади занимали рекламные плакаты: гончарно-солнечные, в письменах, наклоненные минареты Газни, зелено-голубые мечети Герата; бородатые, в распахнутых халатах наездники вспенивали воду горной реки.

— Доброе утро,— поклонился девушке Волков.— У вас по-прежнему пусто? Как видно, туристы сюда не спешат.

— Боюсь, их не будет совсем,— жалобно улыбнулась она. Ее английский был робким, но правильным. Глаза смотрели виновато, она выглядела замерзшей и одинокой.— Я слышала, на дороге в Джелалабад опять подожгли автобус...

— Я хотел попросить у вас туристскую карту. Возможно, мне предстоит путешествие.

Девушка протянула карту Афганистана с маленьким гербом республики. И пока рассматривал контуры приграничных с Китаем и Кашмиром провинций — Бадахшана, где хотел побывать на горных рудниках лазурита, Нангар-хара, где в долине субтропиков раскинулись плантации цитрусов,— услышал гулкие, приближавшиеся по лестнице голоса. Узнавал — спускались соседи, советские специалисты, работавшие по контракту в Кабуле. Обрадовался утреннему их появлению, созвучному с той давней порой, когда самолетом опускался в незнакомый утренний город и, едва заглянув в гостиницу, торопился схватить машину, мчаться то ли в целинный совхоз, то ли на какой-нибудь возводимый в глуши завод. Шагнул навстречу, выхватывая взглядом плотную фигуру Ладова.

— Нил Тимофеевич, только что вас вспоминал! Все никак не увидимся! — Накануне они встретились в министерстве, но мельком, а Волкову хотелось поподробнее расспросить его, как проходят переговоры с афганцами, как движутся на юг трактора — к госхозам Джелалабада, к недавно созданным кооперативам Кундуза, к обводненным бедняцким наделам в плодородной Кандагарской долине.— Где сейчас ваши колонны?

Ладов взял из рук Волкова карту, развернул на весу и начал показывать:

— Одна идет к Герату, вот здесь примерно. Другая — в Кундуз и Лагман, где-нибудь тут пробирается. А третья — сюда, в Кабул. Я переволновался, признаться: передавали, снег идет на Саланге, заносы, бураны. Но они, голубчики, прошли перевал. Вчера добрались в Кабул. Целы, здоровы.

Все такие же синенькие. Завтра на Джелалабад отправляются. К севу должны успеть!

— Жаль, я их у Саланга проворонил,— сокрушался Волков, складывая карту, представляя, как пробивались трактора сквозь сугробы, погружались в туннели, двигались под белыми вершинными шапками.— Я через день в Джелалабад вылетаю, уж там нагоню. Распишусь на вашем голубеньком. Тоже оставлю автограф. Вы не полетите со мной?

— Никак не могу, никак.— Он замотал головой, изображая предельную занятость.— Куча дел неотложных. В Кабуле мне быть очень важно. Скоро начнется съезд аграрников, всеафганский. Будет объявлена широкая программа — углубление земельной реформы, мелиорация, обводнение пустынь. Очень нужно послушать... Да вы заходите ко мне! Я вон народ приглашаю.— Нил Тимофеевич радушно кивал, обращая к друзьям синеглазое простодушное лицо. Волкову, бог весть отчего, стало больно: вспомнилась вдруг зимняя чаечка, промелькнувшая над головой Ладова.

— Нил Тимофеевич завтра товарищеский ужин устраивает, выставляет гостинчик. А как же, трактора Саланг одолели! — усмехнулся смуглый таджик из Душанбе.

И так же, гурьбой, двинулись мимо Волкова к выходу, где их ждали «уазики» с представителями кабульских ведомств. Волков слушал приветствия, возгласы, заурчавшие громко моторы.

— Следите внимательней за английской машинкой: у вас выпадает «би»,— услышал он сухой недовольный голос.

Мимо проходили посольский работник и рядом, опустив глаза, то ли машинистка, то ли секретарша, лакированная и натянутая. Волков почувствовал на лице дуновение ее волос, мимолетно устремился за ней, желая его продлить. Очнулся, раздраженно подумал: «Будто в целлофане. Цаца!» Видел, как они сели в широкий приплюснутый «шевроле» и машина ушла в ворота, мигая огнями.

В маленьком сквере за отелем было ярко и солнечно, все розовело, сверкало в мягких голубых испарениях. Над розовыми кустами, прозрачными низкорослыми деревьями высилась огромная, с волнистыми ветвями чинара, захватывала в плетенье суков свод голубого неба, ледник на горе, сакли Старого города. Обнимала Кабул в могучих древесных объятиях. Под чинарой на солнце на линялом ковре сидели два старика, пили чай из пиалок, подливая его из укутанного чайника. И от вида могучего дерева, ковровых узоров, двух мудрецов, восседавших в центре Кабула, на мгно

вание стало ему хорошо и свободно, и юношеская, забытая, похожая на предчувствие радость посетила Волкова.

Его синяя «тоёта» стояла во дворе отеля, где служители, разгружая фургон, таскали в ресторан ящики с пивом, и старик хазареец, упираясь рваной калошей в корявый сук, бил и бил в него блестящим кетменем, откалывая каменные крошки.

Волков завел машину, наблюдая, как быстро тает на капоте иней. Проезжая ворота, кивнул охраннику с автоматом, вливаясь в толкучку, звонки и сигналы. И город воззрился на него глазурью, стеклом, жестяными вывесками бесчисленных лавок, гончарной лепкой уходящих в горы лагун. Нес за ним следом серебряный, как топорик, полумесяц мечети.

Пресс-конференция проходила в МИДе, в гобеленовом зале. Генеральный секретарь ЦК НДПА, председатель Революционного Совета, премьер-министр Бабрак Кармаль делал заявление для прессы. В руке премьера пульсировал хрупкий, шелестящий у микрофона листок. Вибрирующий, нарастающий, напряженный голос модулировался микрофоном. Слепили блицы, наезжали телекамеры. Сгорбленно, осторожно пробегал оператор, пронося раструб аппарата. Шелестели блокноты. Недвижно и зорко смотрела стоящая у стен охрана.

Заявление было важным. Его ждали и враги и друзья. Готовились мгновенно огласить его миру по своим телетайпам.

Речь Бабрака Кармаля была об афганской революции, вступавшей в новый период. О великом, ожидаемом веками справедливом разделе земли. О поднявшихся с колен бедняках, идущих с наделами пашни в новую жизнь, в новую справедливую родину. О разуме, мудрости, доброте, которых достоин народ, тяготеющий к плугу, тяготеющий к знаниям, к братству. Все это достижимо и близко, и было бы еще достижимей, если бы силы, враждебные народу и родине, не ударили в спину. Таков был предатель Амин, окровавивший партию и народ. Таково американское ЦРУ, натравляющее врагов на отчизну.

— Мы хотим одного — мира, — мембранно звучал голос премьера. — Его хочет рабочий, крестьянин. Хочет мулла и торговец. Хочет всякий честный афганец, желающий возрождения родины.

Волков смотрел на Кармалю, стремясь угадать его состояние. Тонкое запястье, охваченное белоснежной манжетой. Гладко выбритое лицо, внешне спокойное, внутренне стиснутое напряжением. Черноволнистые с проседью волосы. Плотнo сидящий темно-стальной костюм. Вот и все, что он видел. Глаза сквозь стекла очков не пускали в себя, вспыхивали отраженными бликами. Голос, отлично поставленный, декламировал металлически звонко.

Бабрак Кармаль разъяснял содержание нового этапа афганской революции,— исправление допущенных ошибок, сплочение народа вокруг партии, возрождение экономики и культуры.

— Мы хотим,— говорил премьер,— чтобы гордый, свободолюбивый, многострадальный афганский народ жил в условиях мира и процветания. Чтобы из винтовок больше не вылетало ни единой пули, направленной в человека!

Волков оглядывал зал. Поклонился и чуть улыбнулся двум знакомым афганцам из агентства «Бахтар». Поймал на себе осторожный, деликатный взгляд оператора телехроники, откликаясь на него дружелюбным кивком. «Кабул нью таймс» была представлена незнакомым темноусым работником, угрюмо погруженным в блокнот. Белокурый поляк, только что прилетевший из Дели, выражал озабоченность и нервозность, видимо связанную с недостатком информации. Корреспондент ТАСС холодно прогулялся по Волкову взглядом, и тот ответил ему вежливым, допустимым среди соотечественников отчуждением. Были шведы и западный немец, знакомые по прежним пресс-конференциям, но не было англичан и американцев, выдворенных неделю назад из Афганистана за резко враждебные публикации.

И опять оглянулось на него тонко улыбнувшееся, источавшее дружелюбие лицо, на которое Волков мгновенно откликнулся напряжением вражды, мучительным, похожим на любопытство влечением: француз из «Монд», Андре Виньяр, тот, с кем давно за глаза сражались на страницах газет и вот наконец повидались — не в Анголе, в саваннах Лубанго, во время боев с ЮАР, где были одновременно, но по разные стороны, а в Кабуле, на расстоянии улыбки, на расстоянии молниеносного, неприязню пропитанного взгляда. Случайная, ожидаемая обоими встреча. Их знакомство длилось давно, с тех пор как Виньяр высадился с японского теплохода в Находке и проделал путь до Байкала по Транссибирской дороге, напечатав в «Монд» серию статей. Изящные путевые заметки из окна купе, исполненные вражды,

неприязни к «дальневосточной цивилизации Советов». После этих статей газета, в которой работал Волков, направила его проделать встречный путь, от Байкала до Тихого океана. Меняя электровозы на вертолет и корабль, Волков дал серию репортажей с заводов, научных центров, из приамурских совхозов и с океанских причалов, постоянно имея в виду умные и злые суждения своего оппонента из «Монд».

Началась процедура вопросов.

— Господин премьер-министр,— поднялся толстенный рыжеватый швед с колечками бакенбард на румяных щеках.— В афганской печати постоянно упоминается о том, что свергнутый премьер-министр Хафизула Амин был агентом Центрального разведывательного управления США. Не могли бы вы, господин премьер-министр, подробнее осветить эти связи? В чем они выражались конкретно?

— Связи Амина с ЦРУ,— Бабрак Кармаль мгновенно помедлил, будто строил в уме ответ, придавая ему оптимальную форму,— эти связи были установлены задолго до Апрельской революции.— Волков следил за движением его губ, интонациями, стремился почувствовать больше, чем было заключено в скупую холодную лексику.— Они установлены со времени пребывания Амина в Америке, где он был руководителем землячества афганских студентов. План внедрения Амина в партийное руководство был тщательно разработанным, долговременным, рассчитанным в конечном счете на подрыв революции, физическое истребление лучших партийных кадров, на сползание в контрреволюцию и компромисс с реакционными проамериканскими силами. Мы располагаем неопровержимыми данными о существовании такого плана и намерены обратиться в посольство США с требованием выдать касающиеся его дополнительные документы. Сведения эти будут в свое время обнародованы.

Временами Волков оглядывался на Виньяра, ловил на себе его взгляд, проникался иллюзией зеркальной симметрии мира: он и Виньяр — двойники по разные стороны зеркала, смотря друг на друга сквозь прицельную оптику.

Поднялся тощий датчанин в черных тяжелых очках, столь тяжелых, что датчанин, казалось, ломался в поясе надвое.

— Господин премьер-министр, датские социал-демократы внимательно следят за деятельностью Народно-демократической партии Афганистана. Мы с сочувствием отнеслись к судьбе ваших сторонников, столь жестоко пострадавших от репрессий в период Амина. В этой связи позвольте спро-

силь: не означает ли ваш приход начала сведения счетов, своего рода реванша? Не отразится ли это на внутренней ситуации в партии?

И последовал неторопливый, отшлифованный ответ:

— Я хочу быть правильно понятым. Есть единая НДПА. Устранение предателя Амина не было проявлением внутрипартийной борьбы. Это было восстание всей партии против палача и предателя. Теперь, когда Амин уничтожен, вся партия консолидированно устремляется на выполнение колоссальных задач, провозглашенных Апрельской революцией.

Волков был рад исходу быстротечной политической схватки с датчанином. Ум его напряженно работал, и не только ум, но и живое чувство, эмоции. Революция, о которой говорил Кармаль, была и его революцией, он сам не стрелял, не погибал от ударов в спину, не умирал на допросе от пыток, не делил землю, не учил стариков в ликбезах, но он был на стороне революции, бился за нее.

— Господин премьер-министр,— любезно, с легким небрежным жестом, свидетельствующим о внутренней свободе, но и с тонкой почтительностью, блестя над блокнотом золоченой ручкой, поднялся Андре Виньяр.— Существуют противоречивые версии, касающиеся свержения Хафизулы Амина. В целях выяснения истины не могли бы вы, господин премьер, сообщить «Монд» истинную версию происшедших событий?

Волков знал, не в целях выяснения истины был задан вопрос Виньяром. Золоченая капля пера, квадратик белой бумаги, алый глазок телекамеры — за этим изящным вопросом мгновенно вставали авианосцы в Персидском заливе, крылатые ракеты в Европе, гегемонистские устремления Китая. Мир был театром борьбы, состоявшей из бесчисленных схваток, и одна из них, без пуль и бомбежек, совершалась на пресс-конференции.

— Не знаю, о каких противоречивых версиях идет в данном случае речь,— холодно ответил премьер.— Ход событий неоднократно освещался в нашей печати и официальных правительственных заявлениях. Сразу же после узурпации власти Амином в борьбу с ним включились здоровые силы в партии. Антиаминовское подполье охватывало широкие слои населения, партии, армии и завершилось народным восстанием.

— Если вам не трудно, господин премьер-министр...

Виньяр в нарушение этикета слал второй вопрос вдогон-

ку первому, в ту же цель, желая пробить оболочку, прожечь броню. И, угадывая по глазам Виньяра, по его гибкому, скользкому жесту, что вопрос задуман как тончайшая политическая двусмысленность и любой ответ будет истолкован враждебно, Волков с места, громко, наперебой, отменяя француза другой интонацией, жестом, спросил:

— Товарищ премьер-министр, мы знаем, что второй этап Апрельской революции провозгласил обширную программу экономических и социальных мер, направленных на благосостояние народа. Что, по-вашему, самое неотложное в этом ряду?

Легким движением головы откликаясь на вопрос Волкова одному ему заметной благодарностью, переводя свои нервы и ум в иной диапазон и регистр, Бабрак Кармаль заговорил о близкой посевной, о необходимости засеять все без исключения земли, в том числе и пустующие, брошенные феодалами. Не поддаться на шантаж и угрозы врага, желающего задушить республику голодом, а пахать и сеять.

И опять Волков, заносащий торопливо ответ премьера, представил трактора на дороге. В них, в тракторах, он видел сущность охватившей страну революции. В феодальный, глинобитный уклад, в закупоренный гончарный сосуд, обожженный в тысячелетней печи, ударили трактора, и томящийся долго дух, яростный и свободный, вырвался на волю и свет. Народ отрывает глаза от деревянных сох, от феодальных крепостей и мечетей, смотрит, как идут по дорогам глазастые голубые машины, связывает с их явлением свое возрождение из тьмы.

Следом включился тассовец, спрашивал о газовом Джаркудукском месторождении, готовом к сдаче в эксплуатацию. Поднялся корреспондент из «Бахтара», спросил о планах реконструкции Кабула.

Пресс-конференция завершилась. Бабрак Кармаль покидал помещение. Гасли яркие лампы. Телеоператоры складывали треноги аппаратов. Волков, выходя из здания МИДа, поймал на себе зоркий, стальной и недобрый взгляд француза из «Монд».

Предобеденный город пестрел и клубился, глиняно-сухой, пыльно-цветастый среди острых заснеженных гребней Асмаи и Ширдарвази с остатками крепостных стен, темневшими высоко в синеве. Жестяные ряды наполняли его грохотом молотков, наковален, грудами корыт и лоханей, витых же-

лезных кроватей. Жестящик из открытых дверей послал металлический отсвет, сгибая кровельный лист. Дровяные склады в розовых свежих поленницах, с аккуратными кипами слег и жердей дохнули смоляным ароматом. Босой хазарец, напрягая голую грудь, вывозил двуколку, груженную кладью корявых древесных обрубков.

Волков объехал парк Зарнигар, плотно утопанный, глинобитный, где собирались люди, усаживаясь на корточки под деревьями, торговали книгами, старой одеждой, литографиями с видами мусульманских святынь. Вывернул на набережную Лабдарья. За парашетом обмелевший мутно-шоколадный поток катил среди сорных груд, женщины полоскали разноцветные тряпки. Мечеть Шахе-Дошамшира была открыта, и у входа толпился народ. Два старика, белоснежных и пышных, выходили из темных дверей. Стиснутый толпой, чувствуя, как бьют по машине концы развевающихся накидок, Волков миновал черно-цветастый клубок рынка с чешуйчатой зеленью минарета Поли-Хишти, и мгновенно, мимолетно возникло: где-то здесь, в толпе, на прошлой неделе был зарезан человек, лежал в грязи, в луже крови с нуристанским ножом в спине.

Дворец Республики с зубцами и башнями был в тени, и он успел разглядеть хохочущих солдат-афганцев, окруживших старинные пушки в нишах, и зеленый, с задранной пушкой, превращенный в памятник танк, отбрасывающий с постамента длинную тень. Миновал угловую башню с бойницами в солнечном морозном дыму. Вновь ехал в голубых дымах разведенных жаровен, над которыми что есть мочи махали соломенными опахалами, сыпали из совков красные угли, клали мясные гроздья, пронзенные остриями. Хлебопеки выхватывали из глубоких печей раскаленные плоские хлебы. И было во всем такое кишение жизни, устойчиво-пестрой, легкомысленной, вековечный уклад, не вязавшийся с недавней пресс-конференцией, вертолетами, возвращавшимися с боевого задания, с громадными транспортами, летящими из-за хребтов, выгружавшими войска и оружие. Волков нес в себе эту двойственность. Любовался обманчивым зрелищем восточного города.

Прямая, как луч, Дарульамман пробивала сплетенную в вершинах аллею огромных деревьев, сквозила вдали туманным желтым дворцом. Многие деревья были испорчены, умерщвлены аккуратными ударами кетменей, ободравших кору вокруг могучих стволов. Теперь, с наступлением холодов, к умерщвленным деревьям сходились семьи из

соседних лачуг. Валили, уносили в дома, не оставляя на земле даже сухих семян и мороженных почек. Все предавали огню. У коротких торчащих пней сидели дети и тяжелыми топорами откалывали малые щепы. Когда пень ровнялся с землей, начинали копать, вырывали корни до глубоких подземных отростков. Где недавно стояло огромное дерево, там зияла глубокая яма. Дрова, привозимые с гор, теперь поступали с перебоями. Были в той же цене, что и хлеб.

Волков миновал советское посольство. Чугунные ворота сдвигались, пропустив скользнувшую внутрь черную «Волгу». Проехал желтый, помпезный, версальского вида шахский дворец Каср Амманула, где после свержения шаха размещались различные министерства. Зеленые устаревшей конструкции бронетранспортеры застыли у входа. Замерзшие солдаты стояли в корытообразных, лишенных верха броневиках, опустив до глаз матерчатые вислые шапки.

Город внезапно кончился. Среди сухих прокаленных осыпей и сверканья снегов открылся Тадж, янтарный, парящий, окруженный прозрачными тенями деревьев. Волков, сбавив скорость, смотрел сквозь стекло на дворец, недавнюю резиденцию Амина, где прошла ударная волна декабрьского восстания.

При въезде в крутую аллею афганский часовой, сделав заученно зверское лицо, выбросил штык вперед, уперев его в радиатор машины. Другой подошел к дверце. Волков протянул ему журналистскую карту, но тот, не умея читать, тревожно водил белками, заглядывая в глубь машины.

— Советский! — втолковывал Волков, мучаясь, как всегда, незнанием фарси. — Мне нужно в Тадж! Посмотреть! — прикладывал он пальцы к глазам, указывая на дворец.

Из-за деревьев показался молодой щеголеватый лейтенант. Усы его с черным стеклянным блеском казались изделием стеклодува. Новая фуражка сияла красным гербом. Он взял у солдата карту. Лицо его осветилось счастливой яркой улыбкой, созвучно снегам на горах. Козырнул, возвращая билет, с наслаждением картавя:

— Товались! Журналиста!.. Позалиста... Командир!..

Волков посадил его рядом, и по узкой аллее вдоль выложенных камнями террас подкатили к караульному помещению. Там, за столом, у черной горячей печки, положив на бумаги фуражку, сидел полковник, худой, гладко выбритый, с зачесанными седеющими висками, с серебряной эмблемой на груди — знак «командос» парашютно-десантных частей. Лейтенант, эффектно ударив каблуками, доложил.

Полковник молча смотрел на Волкова, спокойно, чуть утомленно. Надеясь, что он понимает по-русски, Волков повторил свою просьбу.

Полковник, оставаясь спокойным, продолжал молчать.

— Если можно,— Волков перешел на английский,— разрешите осмотреть дворец.

— Дворец пуст, абсолютно. Из него все вывезено, даже портьеры. Только голые стены.— Это не был отказ, но в холодном спокойствии было нечто задевшее Волкова.

— Где вы изучали английский? — Волков старался понять, если ли холодность выражение неприязни к нему или только обычная сдержанность.— Завидую вашему произношению.

— Я учился в Англии, окончил высшую офицерскую школу. Еще при короле, разумеется.

— И полк получили при короле?

— Нет, полк получил при Дауде.

— Сейчас это редкость, не правда ли? — Волков почувствовал острый к нему интерес, профессиональное чувство находки, боясь его обнаружить, показаться навязчивым.— Редкость, чтобы полком командовал офицер королевской армии, да еще с английским прошлым. Вы, должно быть, член НДПА?

— Нет. Я стою в стороне от политики. Мой долг — выполнять приказы командования, служить стоящему у власти правительству. Мои симпатии и антипатии — это всего лишь мое личное дело. Но долг военного — в честном исполнении приказов. Много офицеров очень высокого класса, обучавшихся в Англии и Франции, прошедших военную школу в Америке, много отличных офицеров покинуло Афганистан. Это нанесло ощутимый вред армии. Я полагаю, что в трудные для отечества дни афганцы должны оставаться в стране, на своих постах и честно, невзирая на личные симпатии и антипатии, выполнять свой долг.

— Мне очень важны ваши мысли.— Волков испытывал к нему все больший интерес, заслонявший внимание к янтарно-белому, в легких подтеках копоты Таджу, где, он знал, истреляны стены, и парадные лестницы в брызгах осколков, и осыпанный с люстр, истоптанный каблуками хрусталь, и у входа — искореженный, с выдранный требухой «мерседес» — следы недавнего штурма; все это было недавно и прошло, сменившись иной реальностью, иной журналистской задачей.— Мне бы хотелось побеседовать с вами, если вы не против. Будущее государства, как я понимаю, зависит

во многом от армии. Мне было важно услышать от вас, что кадровые офицеры, такие, как вы, получившие военное воспитание на Западе, остаются лояльными правительству. Власть доверяет им, пользуется их знаниями, вручает им полки.

Полковник колебался. Посмотрел на часы. Было видно, что предложение ему некстати.

— Видите ли, — в голосе его была неуверенность, — приближается час обеда. Сегодня я собирался обедать дома, дал обещание жене. Если угодно, мы можем пообедать вместе. И продолжим беседу.

— Мне, право, неловко. Я испорчу вам семейный обед, — неискренне сопротивлялся Волков, тайно радуясь приглашению.

— Нисколько. Если вы согласны, можем ехать сейчас. Машина моя пришла.

— Моя машина тоже здесь. Я оставил ее у шлагбаума.

— Тогда, если не возражаете, я свою отпущу. Она придет за мной через час, — полковник поднялся. Поправляя виски, надел фуражку. Лейтенант козырнул щеголевато и преданно, щелкнул каблуками, словно расколол орех.

В районе Картее Мамурин, где жила интеллигенция и средней руки чиновники, они остановились у небольшой двухэтажной виллы, обнесенной высокой оградой. Их встретил слуга в ветхих голубых одеяниях, большая косматая овчарка страстно лизнула руку хозяина, покосилась грозно на Волкова. В стеклянных дверях появилась женщина, светловолосая, худенькая, очень легкая. Улыбалась и кивала полковнику и одновременно Волкову, не удивляясь его появлению, а напротив — ждала и радуется.

— Моя жена Френсис, — сказал полковник, изменившись в лице. Дрогнуло и исчезло выражение холодной любезности, сменившись нежностью, незащищенностью. — Она англичанка, — добавил он тихо. — Мы поженились в Англии. Пять лет живем здесь.

Волков представился. Был введен в дом, в небольшую столовую, убранную по-европейски, с жарким электрокаминном и накрытым столом. Слуга уже ставил третий прибор. Френсис, опоясанная коротким цветным передником, вносила широкое блюдо с ворохом сочных трав, сине-зелеными перьями чеснока и лука, лиловым редисом, медового цвета кореньями.

Волков нахваливал прекрасно сваренный горячий бульон, замечательный плов — белую, окутанную паром стек-

лянную гору риса с темнеющими ломтями мяса. Разрезал огненно-красный нариндж, выдавливая сок на длинные, хрупкие рисовые зерна, похожие на крохотные полумесяцы. Старался понять этот дом и уклад, случайно ему приоткрывшийся. Этих двух людей, чьи отношения были только слегка обозначены: нежной тревогой и гордостью, светившейся на лице полковника, ответными, короткими, словно о чем-то умолявшими взглядами жены.

— Превосходный плов,— сказал Волков, обращаясь к Френсис.— Настоящий афганский. Я ел такой в чайхане. Неужели вы сами готовите?

— Благодарю,— улыбнулась она.— Видишь, Азиз, я достигла наконец совершенства. Гость не может отличить мой плов от того, что подают в чайхане.

— Гость — иностранец,— сказал полковник.— Он может и ошибиться в сравнениях. Не все, чем сегодня потчуют в Афганистане, является на самом деле афганским.

— Значит, все-таки плов неудачный? Я не угодила тебе? — шутя, но и готовая огорчиться, сказала она.— Если так, пусть готовит Сардар.

— Ну что ты! — спохватился полковник.— Чудесный обед. Наконец обедаю дома. А то все в полку да в полку,— пояснил он Волкову.— Часто в гарнизоне ночую.

— Он совсем не бывает дома,— жаловалась Френсис Волкову.— Последний год я все время одна. Это ужасно, оставаться одной. Раньше я ничего не боялась. У нас были знакомые, много милых людей. Мери Матью из американского культурного центра. Жена профессора Исмаила Шариды — он преподавал в университете историю. Бывал английский пресс-атташе, было много европейцев. Мы ездили в горы, на пикники. Подумать только, можно было ездить в горы на пикники! Теперь все наши друзья уехали. Мне страшно.

— Ну что ты, Френсис,— мягко перебил полковник.— Ничего нет страшного. Замки в нашем доме крепкие. Сардар всегда здесь. Да и у Фанни клыки, слава богу, такие, что всякий, кто их увидит, уберется подобру-поздорову.

— Нет, страшно, мне страшно! — не слушала мужа Френсис, обращаясь к Волкову. Она радовалась его английской речи, европейскому виду, находила в нем собеседника.— Здесь все переменилось за этот год. На улице на тебя смотрят так, словно вот-вот бросятся и разорвут на куски. Раньше я любила ходить на Зеленый рынок, сама выбирала овощи, свежую рыбу. Свободно заходила в дуканы. Теперь,

после этих ужасных случаев, когда там двоих убили ножами в спину прямо среди бела дня, я посылаю за продуктами только Сардара. Пробовала надевать паранджу, но мне кажется, я никогда не усвою походку афганских женщин.

— Это временно, милая,— успокаивал ее полковник.— Эксцессы кончатся, и ты снова станешь ходить на Зеленый рынок и выберешь наконец куропаток по вкусу и пригостишь их с печеными грушами.

— Нет, это не кончится никогда! Твой народ не образумится. Они и тебя из-за меня ненавидят! Вот увидишь, из-за меня тебе будет плохо... Вы знаете,— обратилась она к Волкову,— ему уже угрожали. Ему подкинули письмо с угрозами.

— Все это пустяки,— полковник положил на ее белую нервную руку свою, осторожную смуглую.— Это вздор, на который не следует обращать внимания.

— А что за угрозы? — спросил Волков.

— Прислали письмо. Требуют, чтобы я покинул армию. Оставил полк,— сказал полковник.

— Кто требует?

— Противники нынешней власти. Пишут, что я предал исламские идеалы, предал афганский народ. Призывают поднять в полку мятеж, перейти на сторону оппозиции.

— Они грозят, что убьют его! Убьют меня! Сожгут наш дом! — Френсис дрогнула всем телом, выхватила руку из-под ладони полковника.— Они это сделают!

— Успокойся,— чуть жестче и требовательнее, едва нахмурясь, сказал полковник.— Все это пустые угрозы. Они знают, что я не марксист, что я не в восторге от нынешней власти,— он поклонился Волкову,— вот и подвергают меня давлению. Но они должны также знать, и я позаботился, чтобы они это знали,— я остаюсь верен присяге. Тебя же, Фенсис, умоляю не принимать близко к сердцу эти пустые угрозы. Можешь быть уверена, в нашем доме ты в полной безопасности.

— Уедем! — умоляла она, не стесняясь присутствия Волкова.— Уедем в Европу! Твой брат уехал в Европу. Исмаил Шарид уехал в Европу. Он говорил, что рано или поздно тебя убьют! Очередь дойдет до тебя. Я знаю, они следят за тобой, следят за нашим домом! И сейчас, я знаю, они следят! Я чувствую повсюду их невидимые, зоркие, злые глаза! Умоляю, уедем!

— Френсис, ты знаешь мое мнение на этот счет,— твердо, сдержанно, тайно мучаясь присутствием постороннего в до-

ме, увещевал ее полковник.— Я не могу уехать в Европу. Это вопрос моей чести и моих убеждений. Я не могу оставить родину в тот момент, когда она нуждается во мне. Те интеллигенты и коммерсанты, что уехали в Европу, и те военные, что оставили свои посты и ушли в Пакистан,— в лучшем случае, слабые духом люди. Мы столько лет мечтали о возрождении родины, желали ей процветания, желали реформ. Знали, что возрождение будет мучительным, готовили себя к испытаниям, называли себя патриотами. И вот теперь, когда наступили для нас испытания, мы все разбежимся? Теперь, когда на счету каждый образованный, просвещенный афганец? Когда наш темный, сбитый с толку народ не знает, кому верить, куда идти? Неужели мне бросить родину и уехать в Европу?

— Тогда я уеду, слышишь? Уеду одна! Больше здесь не могу! По ночам я прислушиваюсь к каждому шороху! Зачем ты меня привез? Мне здесь все чужое! Всего боюсь, все ненавижу!

Она быстро встала, вышла из комнаты.

— Извините,— сказал полковник, поднимаясь, прямой и бледный, и вышел следом. Волков, смущенный тем, что стал свидетелем их драмы, остался сидеть. Машинально ножичком срезал апельсиновую кожуру.

Они вернулись через несколько минут. Френсис улыбалась, хотя глаза ее были красными.

— Извините меня,— сказала она.— Я скверная хозяйка. Вы хотели побеседовать с Азизом, а я навязала вам женские глупости. Вы можете подняться к нему в кабинет, я принесу кофе.

Раздался звонок. Френсис вздрогнула, напряглась.

— Не волнуйся,— сказал полковник.— Это машина за мной.

За воротами стоял «уазик» с афганской военной эмблемой.

— Обязательно приходите еще. Мы поговорим о чем-нибудь веселом! — улыбалась Френсис, провожая их до дверей.

Волков простился с хозяйкой, еще раз оглянулся на заставлявшую ворота маленькую хрупкую женщину, на лохматую собаку рядом с ней.

В райкоме НДПА Волков хотел повидать Саида Исмаила — выступавшего в Термезе афганца, напутствовавшего трактора. В Кабуле Саид Исмаил обрадовался ему, представил друзьям, обещал взять в трущобы Старого города,

где партийцы проводили перепись беднейших семей, — готовилась раздача бесплатного хлеба. И Волков, обдумывая очерк о тракторах, хотел написать и про хлеб — хлеб революции, хлеб обновления.

Предвечерний Майванд, прямой, в красных солнечных отсветах, клубился, шумел. Одна сторона, освещенная низким солнцем, кишела толпой, пестрела дуканами, вывесками. Башмачники среди груд истоптанной обуви взмахивали молотками, сапожными ножами и иглами. Брадобреи, расстелив на земле коврики, мылили, стригли и брили, вспыхивая тонкими лезвиями. Разносчики сластей и орехов сталкивались в тесноте лотками, громко вскрикивали. Водоноши подставляли под краны овечьи бурдюки, ждали, когда кожи наполнятся, волокли в гору литые водяные мешки, отекавшие блестящей капелью. Другая сторона Майванда, в тени, не столь многолюдная, мерцала таинственным светом мануфактурных индийских лавок, рулонами тканей, ковров, никелированной и медной посудой, огоньками, открытками, дымилась шашлычными. С одной стороны на другую то и дело бросались люди, подхватывая на бегу покрывала. Над кровлями в прогалах домов островерхо и льдисто синела в снегах гора.

Среди пестрых наклеек и вывесок, пятнавших облезлые стены, Волков не без труда отыскал небольшую красную доску с кудрявой надписью. У самых дверей райкома, кинув на землю подушку, разложив гребешки и ножницы, парикмахер скоблил голубую бугристую голову склоненного перед ним старика. Волков вошел в прелый сумрак обветшало-го деревянного дома. По обшарпанной лестнице, натолкнувшись на нелепую, обитую кумачом трибуну, мешавшую проходу, поднялся на второй этаж, где стихали гулы и возгласы улицы и царили другие звуки: звонил телефон, стучала машинка, звучала диктующая, раздельная речь. Волков ткнулся в одну из дверей, очутился в тесной, переполненной комнате, среди дыма, молодых энергичных лиц, громких, переходящих в крик голосов.

— Здравствуйтё, Волков! — мгновенно преобразаясь в лице, распуская на нем узлы напряжения, обратился к Волкову Кабир, преподаватель университета, в кожаном дорожном пиджаке, вельветовых брюках, заправленных в модные сапоги. — Пожалуйста, проходите! — Он говорил по-английски, и Волков благодарно кивнул, прикладывая палец к губам, не желая обращать на себя внимание, прерывать своим появлением громкий, казалось на грани ссоры, спор.

На другом конце комнаты Достагир, высокий, молодой, растрепанно-кудрявый, в грубой брезентовой куртке, с кобурой на солдатском ремне, яростно, зло выговаривал Саиду Исмаилу, и тот огорченно склонил свое смуглое, большегубое, с крупным мягким носом лицо. «Оленье лицо», — подумал Волков, не понимая их речи, но с сочувствием глядя на Саида Исмаила, на его сиренево-коричневые женственные глаза. Секретарь райкома Кадыр Ашна, полный, сонный, полузакрыв синеватые тяжелые веки, сидел за столом среди бумажных груд, не участвуя в споре. Волков, привыкая к дыму, осматривал переполненный кабинет. Провисший лысый потолок с лампочкой без абажура. Застекленный, висящий в углу портрет Ленина. Приклеенный к стене плакат с Бабраком Кармалем на фоне кулаков, сжимающих оружие. Железная, застеленная по-солдатски кровать. На ней — красный агитационный мегафон и автомат.

— О чем они спорят? О чем? — Волков наклонился к Кабиру, кивая на яростные, сверкающие белки Достагира.

— Он говорит... — Кабир приблизил к Волкову голову, задел его жестким завитком волос, и Волков почувствовал запах дорогого табака и одеколона. — Достагир говорит: время разбудить оружие. Нельзя, говорит, чтобы оружие революции дремало, когда оружие врага бодрствует днем и ночью. Нельзя революцию делать с трибуны, объявлять ее в мегафон. Революцию, говорит, надо делать из танка, объявлять ее пулеметом. — Соглашаясь со сказанным, не удержался, ударил в ладони, выкрикнул на пушту, резко качнув на стуле молодое сильное тело.

— А что говорит Исмаил? Что он теперь говорит? — Волков всматривался в «оленье лицо», вспоминая его недавно, в Термезе, с выражением благодушного счастья. Теперь, побледневшее и страдающее, оно было нацелено в спор.

— Он говорит, — Кабир, несогласный, отрицающий, подбрасывая рукой легковесные, как казалось ему, мысли Саида Исмаила, вкладывал в перевод насмешку и желчь, — говорит, революция должна, как врач, лечить старые раны, а не делать новые. Революцию, говорит, сделают землемерный аршин и чернильница с ручкой.

Достагир засмеялся ярко и зло, брызнул белизной зубов, плеснул в сторону Саида Исмаила насмешливой сильной ладонью.

— А что сказал Достагир?

— Сказал — молодец Достагир! — если бы это было вер-

но, на площади революции, на постаменте поставили бы не танк, а землемерный аршин.

В комнате кто засмеялся, кто глухо загудел, несогласный.

Достагир — так Волков понимал сущность спора — призывал идти в трущобы Старого города, устроить облавы и обыски, выкурить засевших бандитов и тем самым покончить с террором. Нечего ждать, пока их выдаст народ. Бандиты явились с оружием, заставляют народ молчать. Делают с ним что желают. Народ пойдет туда, куда ему укажут оружием. Если враг укажет ему на райком, он пойдет на райком, и пусть тогда Саид Исмаил, искусный на речи, взойдет на трибуны и оттуда говорит про аршин.

Саид Исмаил, призывая других на помощь, менял свой голос от протестующих упрямых звучаний почти до мольбы. Говорил, что готов один без оружия идти в любые трущобы, проповедовать революцию. Он знает такие слова, что сильнее любого оружия. В Старый город надо идти не с винтовкой, а с хлебом, и тогда народ сам увидит, кто друг, а кто враг, и врагов приведет в райком. И тогда Достагиру, который, должно быть, забыл, что когда-то он был инженером, не придется хвастаться тем, как он метко стреляет, а придется напомнить, какой он строитель, и начать на месте трущоб строить дома для людей.

Секретарь райкома Кадыр Ашна медленно, тяжело поднялся. Развел руками, как бы раздвинул спорящих. И они, повинувшись, умолкли.

— Что он говорит? — спрашивал Волков.

— Он говорит, эти диспуты просто безумие! — Кабир переводил, еще сопротивляясь, еще несогласный, но уже утихая. — Такие диспуты враги, прижав к дверям уши, слушают с наслаждением. Революция, говорит, это и хлеб и винтовка. Это и пуля и мегафон. Пусть агитатор берет листовку, учитель — книгу, солдат — автомат. Если враг победит, он не станет разбирать, кто солдат, кто учитель, а повесит всех вместе тут, на Майванде, на одном фонарном столбе. Чем мы слабее, говорит, тем враг сильнее. Чем мы сильнее, тем враг слабее. Вот что он говорит!

Секретарь райкома издали улыбнулся Волкову. И Волков шагнул к нему, по пути пожимая руки, видя, как меняется выражение лиц, ему адресуются улыбки, кивки. Поздоровался с Кадыром, присел на кровати, чуть отодвинув автомат с мегафоном.

— Я слышал, — сказал Волков, не желая надолго отры-

вать секретаря от дела, — вы готовите раздачу хлеба. Хотел бы узнать когда, хотел бы присутствовать.

Кадыр повернулся к приколотому на стене, нарисованному от руки на кальке плану района: хаотические ячейки Старого города, сплетение тупиков и улочек Баги Омуми, прямое сечение Майванда, упиравшегося в Чамане-Хозури.

— Сегодня мы ходили в Старый город. В очень бедные семьи, в самый бедный хазарейский народ. Писали бумаги, кто в голоде, у кого дров нет, у кого нет мужа, не может принести в дом деньги, купить лепешку. Самый бедный народ писали в бумагу. Будем бесплатно давать муку, давать масло, давать дрова. Есть склад муки для самых бедных. Приходите смотреть, — Кадыр говорил по-русски, медленно шевеля окаменелыми губами, но подбирал слова твердо и верно. — На другой неделе я вам позвоню.

— Спасибо. Буду признателен. Что еще нового?

— Есть еще новости плохие. Есть плохое сведение.

— Что вы имеете в виду?

— Враги стали входить в дуканы, стали говорить с дуكانщиками, нож доставать. Говорят: «Закрывают дуканы! Если мусульманин, закрывайте, если коран читаешь, закрывайте. Если не закрывайте, мы вас убьем. Дукаан поджигаем, голову режем». Это очень плохая новость. Мы тоже идем в дуканы, тоже говорим дукаанщикам: «Закрывать дуканы не надо. Бояться не надо. Мы защищаем вас. Если враг к вам придет, мы встаем рядом с вами с автоматом и вас защищаем». Но дукаанщики боятся врага. Если закроют дуканы, будет очень плохо, будет очень нехорошо. Народ смотрит на закрытый дукаан, начинает волноваться. Народ ходит каждый день дукаан, покупает лепешку, покупает рис, покупает чай. Дуканы закрыты — народ ничего не покупает. День голодает. Начинает волноваться. Враг хочет, чтобы дуканы закрыты, чтобы народ волновался. Поэтому мы будем все время ходить по дукаанам, говорить, чтоб они открывались.

— Спасибо, Кадыр.

Волков отошел, уступая место другим, терпеливо ожидавшим и сразу же обступившим секретаря.

В коридоре, в сумраке, Достагир, нервно куливший, еще не остывший от спора, пожимал Волкову руку, зло косился на дверь. Сказал по-английски:

— Я не верю болтунам. Не затем я прошел тюрьму, не затем я прошел подполье, чтобы верить болтунам!

— Я как раз тебя хотел спросить о подполье. Ты обещал рассказать. — Волков взял его под руку, уводил от кабинета,

от недавней мучительной ссоры. Остановились в полутьме на лестничной клетке, где краснела бутафорская, обтянутая кумачом трибуна, извлекаемая в дни собраний и митингов, та самая, над которой язвил Достигир. Волков устроился прямо в трибуне, раскрыл блокнот. Достигир усилием воли гасил свой гнев. Старался быть любезным. Отвечал терпеливо Волкову.

— Ну что я могу сказать? Было подполье, была борьба. Когда бежал из тюрьмы, товарищи укрыли меня в Старом городе, прямо тут, за Майвандом. Здесь есть такие норы — если спрячешься, до старости никто не найдет. Отпустил усы, стал носить чалму. Если б ты меня тогда увидел, не сказал бы, что я был инженером. Так, мелкий лоточник с тряпьем! Чуть что — сразу явку менял...

Волков быстро писал, стараясь схватить недавний, исчезнувший образ борьбы, который он сам не застал. Знал: стенограмма этой беседы, записанной в сумерках в нелепой, неудобной трибуне, обернется в газете черно-белыми лите-рами, станет аргументом в борьбе. С тем же французом Виньяром, где-то рядом, в другом районе Кабула, готовив-шим свой репортаж. Волков писал, но при этом чувствовал в себе отстраненность: он касался материала извне, не был его соучастником. Это не был репортаж из подполья, а всего лишь беседа с бойцом.

— В подполье — ты успеваешь писать? — я руководил группой из пятнадцати человек. Как могли, доставали ору-жие. Покупали, на посты нападали, получали от сочувству-ющих военных. Я поставил своим задачу — просочиться, проникнуть в армию...

Волков фиксировал эпизоды борьбы. Сцены нелегальных собраний. Тайный полигон в песчаных холмах, где не знав-шие пистолетов подпольщики учились стрелять. Тайный подвал под баней, где работал печатный станок. Хождение по Грязному рынку, где клеили листовки с воззваниями. Сидение в лохмотьях на улицах, у мостов, у мечетей — раз-ведка аминовских машин и конвоев. Волков испытывал профессиональное возбуждение. Ему открывался процесс. Однако радовался до известной черты: процесс этот был не его, слишком легко доставался.

— Мы попадали в облавы. Несколько наших троек по-гибло. Одни в перестрелке, других пытали, замучили. Спать ложился одетым, с пистолетом в руке. Башмаки ставил так, чтоб можно было спросонья всунуть ноги и сразу бежать. Два раз в окно выскакивал. Пулей пиджак пробило. За

мою голову объявили наградой, вывесили на столбе фотографию. Наконец — приказ о восстании. Взяли оружие, пошли на посты. Мы брали министерство связи. Перекрыли окрестные улицы, перехватывали машины...

Волков писал. Треск ночных автоматов. Плавающие легковые машины. Взрывы гранат и бутылок. Два танка горят, облитые зажигательной смесью...

Незаметно подошел Саид Исмаил, тронул Волкова за плечо. Достагир, не окончив рассказ, гневно потрянул головой, пожал Волкову руку, отошел, не взглянув на Саида, гибкий, кудрявый, похлопывая кобуру на бедре. В сумерках было видно огорченное, с исчезнувшей мукой лицо Саида.

— Иван, не знаю, зачем он так говорил. Мой оружие вот где! — Он коснулся своих мягких выпуклых губ. — Мой оружие — говорить, убедить. Мне не нужно «калашников». Я ему говорил: мы не будем делать власть силой оружия. Мы будем делать власть убеждать. Я такой. Я не другой. Зачем он не хочет мне доверять?

— Саид, дорогой, что слышно из Герата? — Волков отвлекал его от одной болезненной темы, привлекая к другой. Он знал: Саид Исмаил родом из Герата, там остались его старики, жена, дети. — Какие вести из Герата, Саид?

— Приезжал один человек. Рассказывал: плохие люди входят в дома, ходят к мулла, ходят в дуканы. Хотят народ подымать, хотят делать плохо. Эти люди враги. Мне надо ехать в Герат. Я знаю там всех людей. Я сам пойду к мулла, пойду в дуканы, пойду к старики. Скажу, не надо слушать врага, надо слушать друга. Меня надо послать в Герат. Почему меня не посылают в Герат? Ты не едешь в Герат?

— Я лечу в Джелалабад послезавтра. Хочу посмотреть, как идут в госхозы наши с тобой трактора.

— Трактора! — загорелся Саид Исмаил. — Вот наше оружие. Народ на трактора глядит, правда видит, все понимает. Землю пахать — давай! Книги учить — давай! Мулла видит! Крестьянин видит! Чиновник видит! Все хорошо! Все дружба! Я «дружба» на трактор писал, другой тоже писал. Надо, чтобы много-много люди писал. Тогда дружба! — Он волновался, и Волков, понимая, кивал, видел, как расцветает его лицо. — Завтра иду к мулла. Приходи послушать, как я говорю с мулла!

Саида Исмаила позвали, он попрощался, ушел в темноту. Волков спустился по лестнице. Навстречу в райком поднимались два старика в грязно-белых рыхлых чалмах. Рас-

ступились, пропуская его, поклонились, прижимая руки к груди. И он по-мусульмански поклонился в ответ, прижимая к сердцу ладонь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Под деревьями в сумерках стояли машины. Хозяин дома, архитектор Карнаухов, без пальто, в легком костюме, оживленный, оглядываясь на звучавшие за спиной голоса, отворил калитку, пропуская Волкова в полосу света. Мелькнули зимние — связанные, пригнутые к земле — кусты роз, отбрасывавшие колючую тень.

— Очень рад. Только что о вас говорили! — давал ему пройти вперед Карнаухов. — Вас ожидает сюрприз!

— Два сюрприза! — его жена Ксения, красивая, быстрая, чуть утомленная, чуть вянущая, но лучистая, с тяжелым афганским сердоликом на груди, протянула Волкову руку. — Первый сюрприз: помните, я в прошлый раз говорила об археологах, ну, тех, что открыли золото в Тиля-Тепе? Так вот. Они оба сейчас здесь. Один — очаровательный узбек, главный кладоискатель, а другой наш с вами земляк, москвич, реставрировал Василия Блаженного, пермские скульптуры спасал. Вы можете их обоих сколько угодно спрашивать. И пусть они нас всех в музей пригласят.

— А какой же второй сюрприз? — Волков радовался ее смеху, радовался радушию Карнаухова. Они были похожи, утонченные и красивые, просто и со вкусом одетые, оба преподавали в политехническом институте, участвовали в проектировании нового центра Кабула. Было видно, что им хорошо, — хорошо принимать гостей, хорошо оставаться вдвоем. — Какой же второй сюрприз?

— А вот сейчас увидите!

В гостиной тихо играла музыка. Из камина вяло и сладко тянуло горячей сосной. Кто-то большой с красно озаренным лицом бережно и любовно тянулся к камину, трогал щипцами огненное полено. Двое других танцевали. Гордеев, кардиолог, работавший в городском госпитале, обнимал осторожно, почти не касаясь, женщину, и та, закрыв глаза, кружилась, словно сама собой, не замечая его присутствия. Волков узнал в ней ту, что видел утром в отеле, «целлофановую цацу». Изумился происшедшей в ней перемене: ни тени чопорности, лениво-небрежная, женственная. Изумился и тут же о ней забыл. За низеньким столиком, отвалившись, держа на ручке кресла толстый стакан, тучный, с бледным

отечным лицом, но с таким знакомым, насмешливо-острым выражением сквозь брезгливую мину сидел Белоусов, неожиданный, бог знает откуда явившийся, из иных, позабытых времен, — прежний друг, а потом соперник, с которым были когда-то близки, а потом разошлись навсегда. Это и было вторым сюрпризом.

Жена Гордеева, Лариса, тоже кардиолог, вместе с мужем устанавливающая в госпитале уникальное оборудование для операций на сердце, восторженно кивала, слушая маленького смуглого узбека, поощряя его, и тот выгибался в стане, поводил гибкой рукой, словно пускал стрелу с тетивы.

— Вы помните, конечно, как в священной книге «Авеста» описано приручение коня? — Лариса кивала, торопливо подтверждая, что помнит, хотя про священную книгу не ведала. — Приручение коня, говорю я вам, для того времени было важнее, чем теперешняя революция в технике. Вы можете мне поверить. Пастух, медленно бредущий за стадом, вдруг сел на коня, и появилась возможность отгонного скотоводства. Бурно от избытка кормов разрослись стада. Вслед за ними на обильном мясе размножились племена, стали выплескиваться за пределы родных гнездовий. Началось великое расселение народов, запрягавших в повозки прирученных коней. Земля вдруг расширилась за горизонт, возникла новая география. Вы помните, как герой скачет на коне и пускает вперед стрелу — и земля расступается перед ним на полет стрелы? Между прочим, английская разведка в двадцатых годах на территории Афганистана привлекала археологов для изучения древних миграций. По неолитическим стоянкам они определяли старинные дороги и тропы, надеясь использовать их в качестве танковых проходов в Индию и в Среднюю Азию. Вот вам и древность! Вот вам и новизна!

— Да-да, Зафар, вы удивительный рассказчик! — кивала Лариса, и узбек, польщенный, блестел живыми глазами.

Муж ее, Гордеев, перестал танцевать, обращался к широкому, большелобому гостю, тому, что орудовал у камина и все еще держал в руках медные щипцы.

— А как же вы их реставрируете, свои фрески и статуи, любопытно мне посмотреть. Мы ведь в некотором роде коллеги. Связаны с реанимацией. Близкие у нас с вами области.

— Приходите в музей, покажу. И впрямь что-то вроде операции получается. Мне только что привезли из Джелалабада Будду, расколотого, оскверненного басмачами. Он у меня сейчас на столе. Использую скальпель, шприцы, бин-

ты. Извлекаю из него пули, сращиваю переломы. Лежит под наркозом, и улыбка на устах наркотическая!

Волков прислушивался к его рокочущему мягкому голосу, представляя фрески Василия Блаженного, которые тот реставрировал, и сумрачных пермских идолов, спасенных им от гибели. Помещал в свой будущий очерк и афганского Будду, и русского ангела. Но присутствие Белоусова и напоминание о фресках породили в нем зримое, розово-белых, блекло-зеленых расцветок ощущение давнишнего прошлого: как на осыпавшейся фреске, проступили вдруг псковский кремль, шмели в лопухах, и жена его Аня легкой кистью сметает пыль с изразца.

— Зафар, дорогой, расскажите, как вы раскрыли Тиля-Тепе,— просила Лариса.— Я столько об этом слышала, и вот вы передо мной, легендарный кладоискатель. Как это было, Зафар?

И Зафар, благодарный, радуясь возможности прикоснуться к любимому, рассказывал:

— Это было как какое-то чудо, поверьте, я знал, что когда-нибудь со мной случится чудо, только не думал, что здесь, в Афганистане. Чудо, о котором мечтает любой археолог. И случилось оно не когда-нибудь, а в первый год революции. «Золото революции» — так его называли тогда в газетах, хотя ему, этому золоту, две тысячи лет.

Волков наслаждался ярким, живым рассказом, великолепно построенным, многократно, должно быть, уже рассказанным и неумоимо повторяемым. Пыльное, стертое ветром и солнцем городище. Бивак археологов, афганцев и русских, под чахлым корявым деревом. И он, Зафар, касается жаркой драгоценной афганской земли, помнящей битвы, походы, колыханье великих народов, тяжкие труды и радения,— касается ее, как прародины, к которой через цепи племен и предков тянулась его душа. И она на его касание из-под праха, из-под овечьих сухих кизяков сыплет в ладони золото погребений, маленькие твердые слитки с лицами людей и животных.

— Оно, не поверите, будто бы само подымалось из недр, как ручей золотой, лилось прямо в руки. Крылатая Ника — вы увидите ее в музее. Круторогий священный баран. Волки, воины. Бусы, браслеты!словно кто-то живой, подземный, выбрасывал их на поверхность!

Волков, не решаясь достать блокнот, старался запомнить, как, прослышав про золото, приехал на раскоп губернатор и устроил праздничный митинг, как крестьяне из со-

седних селений приходили с полей подивиться, как солдаты из соседнего гарнизона караулили раскоп. Весть об открытии облетела весь мир, и француз-афганист, знаменитый ученый, плакал, узнав, что золото его миновало. Зимой, во время снежных буранов, поставили над раскопом палатку, топили печь, согревая мерзлую землю, углубляясь в толщу, где лежали расплюснутые легкие кости безвестной царевны, пересыпанные золотыми амулетами. Волков слушал о чуде, посетившем этого маленького смуглого человека, думал смутно: «Ну а я? В чем мое чудо? Было или меня миновало?»

Карнаухов, уловивший его смятение, подошел, наклонился:

— Знаете, я с вами хотел посоветоваться. Кончается мой контракт, и я стою перед выбором: либо продлить его на год, либо возвращаться в Москву. Смею думать, я здесь полезен. К тому же реконструкция центра Кабула позволила мне реализовать мои давнишние градостроительные представления, если хотите, футурологические. Кабул, умирающий, задыхающийся в средневековой своей оболочке, воскрешается революцией, рвется из средневековья в двадцать первый век — это уникальный случай сочетания минувшего и грядущего. В Кабуле я оказался в центре проблемы, над которой работал всю жизнь. Но Ксения, захочет ли она остаться? Ведь мы недавно женаты. Здесь, в Афганистане, я обрел наконец счастье... Наши путешествия в Газни, в Биамин. — Он умолк, посмотрел на жену долго и пристально, и она оглянулась на его взгляд, чуть улыбнулась ему.

И снова Волков подумал: все они, здесь собравшиеся, связаны с этой землей, лучшим, на что уповали, всем, чем их наградила судьба. Гордеевы — своей электронной машиной, спасающей ослабевшее сердце. Карнаухов — грядущим Градом. Зафар — своим чувством прародины, обернувшимся чудом открытия.

«А я? — снова подумал он. — Чем станет Кабул для меня? Чем для меня обернется?» И утреннее видение розового прозрачного дерева, охватившего небо и землю, посетило его и исчезло.

— Вы, кажется, в Джелалабад собираетесь? — обратился к нему москвич-реставратор. — Очень советую, посетите в окрестностях, в Хадде, буддийский храм. Там уникальное собрание будд, где индуизм принимает черты эллинизма. Один такой Будда сейчас у меня в мастерской, приходите в музей, может быть, он вас вдохновит.

— Мы все к вам придем, — сказала Ксения, — хотим

посмотреть экспозицию, когда вы ее наконец завершите. Пригласите — и мы все к вам придем. А сейчас — к столу. Не знаю, удался ли пирог. Я хотела его испечь по-московски. А за чай и кофе ручаюсь. Кофе настоящий бомбейский! — И она увела гостей, а Волков остался лицом к лицу с Белоусовым, наблюдавшим его пристальным взглядом.

— Когда прилетел? — спросил Волков, нарушая затянувшееся молчание, досадуя, что первым его нарушил. — Какими судьбами, если не секрет?

— Прилетел сегодня с делегацией по линии Министерства культуры.

— Вот уж не думал, что встретимся здесь, в Кабуле!

— А я, напротив, думал и знал. Читаем твои репортажи. Что, им действительно можно верить?

Желание уязвить, сознание своего превосходства и старинная неисчезнувшая неприязнь — все это породило в Волкове ответную, вдруг воскресшую неприязнь, вернувшую его разом в прежнее время. А это было не нужно, это было не вовремя. Прошрое, в прежней его полноте, было для Волкова бременем, от которого он старался избавиться.

— Поражаюсь тебе, — продолжал Белоусов, звякнув стаканом. — Поражался и тогда, и все эти годы, когда случайно время от времени натыкался на твои материалы. Тебе на роду было написано высокое художественное призвание. Ты мог бы стать отличным писателем. Ну если нет, так оригинальным исследователем культуры, фольклора, русской истории. Твои ранние восхитительные публикации о народных песнях и промыслах, о каргопольских игрушках — их читали, ими восхищались. В них был язык, была любовь. Понимание того, что миром правят добро, красота. Куда все это девалось? На что это все променял?

Белоусов говорил с аффектацией, словно искренне сожалея, соболезнуя, но желая больнее задеть. И Волков, заряжаясь ответной задачей не быть уязвленным, задетым, дружелюбно смотрел на него.

Неужели это он, Белоусов? Маленькая тесная комнатка в Москве, у Савеловского, где жили с молодой женой Аней. Едва поженились после короткого прекрасного лета в Пскове, где Аня работала на раскопках, он привез ее в Москву, в эту маленькую, милую комнату, выходившую окном на желтую линияющую церковь, и ночью были слышны гудки поездов, стук колес по рельсам. Их частые полночные сборища, когда приходили друзья и каждый приносил сокровища — свои молодые, недавно добытые истины. Делились ими в тес-

ном братском общении. Их споры о прошлом отечества, основанные на любви. Их пытливое стремление понять себя в прошлом родины, основанное на бескорыстии. Их незамкнутый, открытый вовне союз, где все были равны и желанны. Уставая от речей, затягивали старинные песни, хлебоборбные, любовные, воинские. Пели часами, вставали под утро неуставшие, помолодевшие, бодрые.

Что разрушило, расторгло союз? Может, он, Белоусов, влюбившийся в Аню, домогавшийся ее и отвергнутый, когда она в слезах открылась Волкову, и между друзьями состоялось гневное объяснение, ссора, окончившаяся примирением. Он снова стал бывать у них дома, но не было уже теплоты и доверия, а одна настороженность. Или время незаметно сменилось другим, и истина, казавшаяся нераздельной и общей, расслоилась, распалась на несколько разных истин, и каждый унес свою? Их союз расторгся, и всяк пошел в свой собственный путь. Кто заплутал и духовно погиб. Кто утомился и утратил внутренний свет. Кто вернулся к обыденной жизни. Кто, очнувшись от поэзии юности, погрузился в науки, в дела. Кто в семью. Кто в утеху. Он же, Волков, от глиняных крестьянских игрушек, от жемчужных кокошников, северных икон и былин через долгую цепь превращений пришел к тому, чем сейчас занимался.

Теперь они сидели в Кабуле, сведенные случаем, бывшие друзья, не сохранившие и тени прежней дружбы.

— Ты-то зачем приехал сейчас? Афганский фольклор собирать? Или что-то более актуальное тебя взволновало? — не удержался, съязвил Волков.

— Не хотел ехать, велели. Оторвали от дела. Роман недописанный ждет. Это ваш брат репортер все летает, все скачет, а прозаик должен сидеть на месте, должен много работать.

— О чем же роман-то?

— Хочется еще раз остановить внимание нашего общества, слишком погруженного в сиюминутность, на той поре, когда закладывалась Великороссия. Прикоснуться к истории, и именно не Руси, а России. Обнаружить в древности те характеры, что позднее, на протяжении шести веков, будут строить, защищать, просвещать Россию...

Волков вслушивался не в смысл, а в знакомую, словно читаемую с листа фразеологию, ту несколько выпретенную, бывшую у них с Белоусовым в ходу лексику, позволявшую с полуслова понимать друг друга, перелетать из эпохи в эпоху, от идеи к идее, дерзко игнорировать общеизвестное,

опираться на поэтический домисел. Но тогда была не игра, не утеха, а духовный поиск и творчество, предметом которого оставалась родина, ее дух и история. И лежали на полу извлеченные из берестяного короба крестьянские белотканые одеяния, алые и черные вышивки — кони, деревья, солнца — и единым дыханием и хором, так что polegало пламя в свечах, пели «И где кони...», и лицо Белоусова, молодое, ликующее, было близким, любимым. Все это Волков вспомнил теперь, но без умиления, а с одним раздражением.

— Поражаюсь,— сказал он, желая большее задеть Белоусова,— поражаюсь, сколько можно культуре паразитировать на былой красоте и величии! Там-то ведь, в прошлом, были свои летописцы, свидетели, добывавшие свой материал молитвой и кровью. Неужели тебе мало «Задонщины»? Ты презираешь сегодняшних репортеров, но ведь тогда, между прочим, были свои репортеры, которые шли вместе с полками и вели свои репортажи среди свиста стрел и мечей прямо из центра битвы. Преподобный Сергей синхронно с поединком Осляби и Пересвета транслировал свой телерепортаж на всю Русь с троице-сергиевских куполов-ретрансляторов! Неужели ты хочешь их переплюнуть? С безопасного расстояния в шесть столетий писать о чужом величии как о своем? Ты, разглагольствующий о тайне России, почему ты ни разу не побывал на атомной станции, на нефтяных буровых в Заполярье или на субмарине в Мировом океане — там, где в страшных напряжениях бьется сегодня народ? Боишься железного, не обработанного культурой материала, о который ломаются не только что перья, но и концепции жизни, живые души и судьбы? — Волков смеялся, понимая, что больно задел Белоусова.

— Да у тебя, я вижу, целая философия собственной несостоятельности! — смеялся Белоусов в ответ, багровея. — Я думал, ты просто обычный неудачник, каких немало, у кого не хватило витальных сил для творчества. А ты, оказывается, философски оправдываешь свою бездарность! Зачем же так? Мы все искушенные люди. Не удалось уцелеть, не удалось сохраниться, так признайся в этом. Зачем городить философию?

— Ты знаешь,— сказал Волков, почти успокаиваясь, видя достижение цели — ненавидящее лицо Белоусова. — Для того чтобы сохранить душевный покой в такое время, как наше, нужно быть большим эгоистом. Это касается каждого, а уж тем более художника. Нельзя упрекать людей в том, что их души горят. Если ты пророк и художник, будь

любезен, сгорай вместе с ними. Так было во времена куликовские, так и теперь. Поверь!

— Все это дурная риторика. Прибереги ее, будь добр, для своей публицистики. Моя мысль проста и понятна, а ты от нее уходишь. Повторяю, ты бы мог стать писателем. Ты им не стал. Мог быть отличным другом. Ты им не стал. Мог, наконец, быть прекрасным отцом и мужем. Ты и им не стал. Недавно, совершенно случайно, я встретил на улице Аню. Остановились на пять минут. Ну, конечно, речь о тебе. Она во всем согласна со мной...

— Аня? Ты видел Аню? — Вся его желчь, раздражение вдруг обернулись острым, похожим на испуг ожиданием. — Как она? Как она выглядела?

— Отлично! Она была не одна!

И такая боль и чувство своей неприкаянности. Образ жены, не последних лет, а ранний, когда стояла на зеленой горе, и ветер от озера раздувал на склоне цветы, и синий шелковый колокол платья, и он к ней подымался, и казалось, их возносит среди ветра трав и цветов.

К ним подошел Гордеев, горячий от застолья и хмеля.

— Чего же вы к столу не идете? Ваня, ты когда ко мне в госпиталь соберешься? Чего ты в мечетях ищешь? Ты в мою мечеть приходи, в хирургию. Мы знаешь какое электронное оборудование ставим? На три тысячи километров вокруг нет таких установок! Ближайшая к Персидскому заливу. Так и напиши: «Электронные установки русских в районе Кабула», «Русские рвутся к сердцу Центральной Азии», «Перекрывают основные артерии». И мой портрет крупным планом у аппарата искусственного кровообращения. А? Эффектно? — Он обнял Волкова, задышал ему жарко в ухо. — Моя Лариска, бывает, выглядит дура душой. Но я ее люблю. Она, когда нужно, все свое раздаст, до последнего. Как и я. Верь мне! — Он повернулся к Белоусову: — Ну, что, встретились с другом? Ваня у нас замечательный. Если вы его друг, то и мой. Пойдемте, я вам покажу пистолеты, Карнаухов собрал. Вы знаете, здесь в лавках можно купить изумительные старинные пистолеты с серебром, инкрустациями. И русские самовары с гербами.

И он увлек Белоусова в соседнюю комнату, где висели малиново-черные ковры и на них почернелые пистолеты, инкрустированные перламутром и костью.

— Можно сесть с вами рядом? — услышал Волков.

Женщина, та, что утром с посольским работником уехала на «шевроле» и недавно танцевала с Гордеевым, о кото-

рой забыл, ввязавшись в глупый, разрушительный спор с Белоусовым, стояла рядом и кивала на свободное место. Не дождавшись ответа, села. Край ее платья зеленой складкой лег на колено Волкову, и она неторопливо и просто убрала эту ненароком залетевшую складку.

— Я смотрела на вас. У вас очень расстроенный вид. Что вас так огорчило?

Вопрос в своей простоте и искренности был ненавязчив. Волков был ей почти благодарен. Вдруг подумал: все это время, все эти дни и недели он только и делал, что о чем-то других выпрашивал, хотел узнать о чужих состояниях, ему отвечали, но никто ни разу не спросил его: кто он, Волков, такой? Как живет? Что в нем болит и тоскует? Что потерял? Что обрел? Ни разу никто не спросил. Он и сам у себя не спрашивал, был отделен от себя самого гибкой стальной мембраной чужих проблем и забот. А она подошла, спросила...

— Я знаю,— продолжала она,— этот человек сегодня прилетел из Москвы. Он вас искал. Что-то вам такое сказал, что-то недоброе... Неприятности дома?

— Да нет,— Волков смутился, неготовый ей отвечать.— Дома не может быть неприятностей. Дома-то, собственно, нет... Так, друг старинный. Запоздалое объяснение в любви.

— Обычно, я замечала, у вас лицо такое холодное, даже надменное. Ничего на нем не прочтешь. А сейчас вдруг, была такая минута, лицо как у беззащитного ребенка. Вот я и подошла. Ничего?

— Когда же вы успели заметить мое надменное лицо? — усмехнулся Волков.— Ведь вы идете,— глаза в пол, ни на кого не смотрите, внимание своему боссу. А он наставляет, внушает вам что-то. Про букву «би», которую не выбивает машинка. А вы на ходу головой киваете.

— Ну вот, нарисовали просто болванчика какого-то! — засмеялась она.— Он не босс, а милейший интеллигент и добряк. Ухаживает за мной, как за дочерью. Печется обо мне. Он, знаете, очень крупный дипломат. Я его почитаю. Это внешность такая обманчивая.

— Уж верно, обманчивая,— сказал Волков.— А знаете, что я о вас подумал, когда сегодня увидел? «Цаца,— подумал я.— Цаца в целлофане».

— Очень мило! — развеселилась она.

— Моя фамилия Волков, Иван Михайлович.

— А меня зовут Марина, Воронина.

— Чем же вы занимаетесь? — пристально, в первый раз

Волков вгляделся в ее молодое, свежее, с гладкой прической лицо, стараясь понять, какого цвета у нее глаза: то ли серо-зеленые, но, быть может, платье отсвечивает, то ли карие с золотом, но, быть может, отблеск камина.— Вы тоже дипломат высокого ранга?

— Я секретарь-переводчица. Стучу на машинке. Окончила университет. Знаю пушту и дари. Думала, приеду сюда, целыми днями буду смотреть на ковры, минареты,³ а все обернулось иначе. Строчу протоколы, печатаю справки, доклады. Вы правы — «цаца»

— Ну, это я тогда, вас не зная,— смутился Волков — А теперь вы — Марина.

Они танцевали под тихую музыку в мягких золотистых потемках, приближались к камину — и тогда от поленьев веяло жаром и дымом, удалялись к окну — и на них из открытой рамы дули легкие сквознячки. Сквозь двери в соседнюю комнату он видел Белоусова. Гордеев, сняв со стены пистолет, целился в люстру Кто-то из гостей наливал из бутылки бренди Волков обнимал осторожно приподнятые женские плечи. Ее жизнь, для него не открытая и таинственная, недоступная в своем прошлом и будущем, была у него в руках. И он касался ее бережно, не испытывая влечения, а одну благодарность Он знал — и эта благодарность исчезнет, едва умолкнет музыка и они разойдутся.

— Камин немного дымит, вам не кажется? — сказала она

Вышли на воздух через стеклянную дверь. Свет падал на дорожку, на талый снег, на беленую стену с колючей тенью от роз. Над стеной в черноте крупно мерцали звезды. Переливаясь разноцветно, морозно, резко исчезая там, где в небо врезалась гора. И она, если пристально вглядываться, начинала лучиться, синеть высокими ледниками.

Ночь. Кабул. Огненный, незнакомый орнамент перламутровых азиатских звезд. Запах высоких снегов и невидимых тихих дымов от людских жилищ. Лай собак И где-то вдалеке — былая жизнь, когда-то любимая женщина и казавшееся неисчерпаемым счастье. И такая вдруг боль и смятение.

— Здесь холодно... Замерзла... Пойдемте...

Они простились с хозяевами. Подкатили к отелю. Волков ставил машину, вглядываясь в темнеющий сквер, где утром было так ясно и солнечно, под чинарой на ковре сидели два старика и его посетила похожая на предчувствие

радость. Сейчас в сквере было темно, деревья не было видно, с гор дул ледяной ветер.

Он проводил ее на этаж, пожелал спокойной ночи.

Не зажигая света, задернул шторы, плотно, чтобы не осталось щелей. Повернул выключатель. Оглядел отчужденно просторный пустынный люкс с едва заметными следами обитания: полуоткрытая дверца шкафа с костюмом, на мраморном столике стакан с кипятком. Кулек с развесным, купленным в дуكانе чаем.

Снял пиджак и долго стоял, рассеянно прислушиваясь к редкому шелесту ночных машин. Вымыл стакан. Наполнил водой. Вскипятил. Кинул щепоть заварки. Наблюдал, как окрашивается сверху вниз кипятком, размокают и тяжелеют чайники, опускаются на дно. Пил чай, отдувая от края чайники, и снова неподвижно сидел, прислушиваясь к звукам на улице. И к чему-то еще, в себе самом, слабо звучавшему.

Среди истекшего дня, в не замеченный им момент, что-то качнулось в душе. Легкое смещение всего. Легчайшее выпадение из фокуса. И вот к концу дня мир вдруг начал двоиться, не сильно, едва ощутимо, готовый вернуться в фокус. Он дорожил этой размытой, похожей на страдание тревогой. Чего-то ждал от нее. Старался вспомнить, что его покачнуло, когда началось смещение. Андре Виньяр, репортер с маленькими стальными зрачками? Или афганец-солдат, окруженный сиянием гор? Или сорный контакт с Белосовым, больная и неожиданная встреча, вернувшая на миг исчезнувшее яркое время, поманившая былым счастьем? Или случайная минута с чужой незнакомой женщиной среди звездной карусели и холодных дымов? С чего началось смещение?

Он не знал, но оно началось. И открылся вдруг путь к другой, оставленной жизни, казалось навсегда погребенной. К той оставленной сущности, которая за давностью лет погрузилась на дно, спрессовалась там, словно песчаник. В этом донном осадке скрывались его детство, юность, любовь, дорогие забытые лица. И вдруг обнаружили. Будто кто-то опустил на самое дно души хрупкий сверкающий бур и извлек на поверхность пробы донного грунта. И вот в руках у него фарфоровый голубой черепок от бабушкиной чашки, стоявшей в их старом буфете, и цветной поясок летнего платья мамы, и ситцевая косынка жены, еще не жены, а невесты, что осталась лежать на сене. Край стола, моло-

дые озаренные лица, проющие рты, и слова затихающей песни.

Куда оно все девалось? Чем оно было? Как соотносится он, сидящий в кабульском отеле, с тем, что когда-то бежал под шумящим стеклянным ливнем то в черных шелестящих дубах, то в пахучей желтеющей ржи, то в скользкой лесной колее, проросшей голубыми цветами? Кто он, исчезнувший? Кто здесь сидящий?

Он откинулся на диване, закрыв глаза. С тончайшим сладким мученьем погружал в себя легкий сверкающий бур, извлекал все новые и новые пробы.

Вот он спускается по острой холодной росе мимо черной Покровской башни. Великая, бархатно мягкая, в ночных ароматах. Бросок с тихим плеском. Его длинное гибкое тело, теряя вес, скользит в глубине по течению, и он восхищенным духом не видит, а ведает жизнь трав, и рыб, и деревьев. Вынырнул — голубые огни моста, предчувствие счастья и чуда.

Вот идет по горячим, растущим на пустыре лопухам. На звук шмелей, на запах влажной земли, на зов невидимого, его ожидавшего дива. Шагнул — и открылся черный раскоп и на дне его — Аня. И такое вдруг знание о ней, об их общей судьбе, такое прозрение — до обморока. Стая стрижей сорвалась с высоких крестов, пронеслась со свистом, словно высекала и умчала мгновение.

После лета он привез невесту в Москву, привел впервые в свой дом. Мама и бабушка, обе взволнованные, принимали ее. Бабушка, нарядная, зоркая, ревниво-счастливая, разглядывала Аню. И ему сквозь смущение было так хорошо, так светло среди любимых. Такая вера, что всегда они будут вместе.

Рождение сына, когда из больницы привез домой Аню, и она, став крупнее, белее, гордо блестя глазами, положила его, перевязанного голубыми лентами, на тахту. Бабушка, одолев свою немочь, с трудом поднялась, подошла к новорожденному, приблизила плохо видящие, слезящиеся глаза и долго-долго смотрела. И они все замерли, наблюдая их встречу, — огромное уходящее прошлое, и огромное народившееся будущее встретились, переливались друг в друга.

Московский морозный денек. Красный с проседью Кремль. Белые льды в сине-туманной реке. Он с сыном в первый раз идет в Третьяковку, как некогда сам вместе с дедом. Вот вошли: богатырь, убитый стрелой; спускающийся к Иордану Христос, свеча в руках у стрельца...

Видения, как маленькие светила, вставали, ослепляли Волкова. Он сидел на диване в чужом необжитом номере перед планом Кабула в ожидании комендантского часа, и афганец у входа, положив на колени АК, курил сигарету. Как он жил свою жизнь? Как живет теперь? И он испугался, был не готов отвечать. Не тем все эти годы были занят его ум, его дух. Не ко времени были вопросы. Не ко времени и не к месту.

Волков поднялся, гася маленькие яркие светила. Разделся и выключил свет. Отбросил штору. Улица была черной, тихой. Ни единой машины. И в ночной пустоте, в отдалении, разнося по городу кремневый скрежет и лязг, застучала танкетка. Медленно приближала свой бег. И с внезапным громом, вынося на башне ослепительный белый прожектор, разрубая лучами тьму, пронесла свое узкое заостренное тело. Настал комендантский час.

Он засыпал. Отключил автоматику мыслей. Включил автоматику сна. «Калашников» в руках у охранника. Какие-то цветы на горе...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Два молодых чиновника из министерства юстиции ввели Волкова в обшарпанное, похожее на класс помещение, уставленное столами и лавками. Третий чиновник укреплял на стене застекленную картинку, выложенную разноцветной фольгой, с арабскими витыми письменами, — изречение из корана. Картинка напомнила Волкову русские рыночные лубки с изображением кошек и девиц.

Смуглое белозубое лицо Саида Исмаила с кроткими чертами оленя казалось огорченным, но он тут же улыбнулся Волкову, искренне радуясь встрече.

— Какие-нибудь новости за ночь? — Волков знал, что мысли Саида по-прежнему в Герате, где остались жена и дети и где все знают, что Саид Исмаил — партийный агитатор, и это грозит семье. — Что слышно о Кандагаре и Герате?

— Там есть плохие люди, враги, которые хотят вывести белый верблюд. Хотят объявить священный мусульманский война. Там есть такой сундук. Как называется? Такой ящик, где лежит волос Магомета. Муллы хотят посадить этот сундук на верблюд и возить по улицам. И тогда будет очень плохо. Люди будут идти за мулла, за белый верблюд, и кричать «Аллах акбар!», и будут начинать священный война. Это очень опасно. Я это очень боюсь. Зачем меня не пуска-

ют Кандагар и Герат? Я пойду к мулла, говорю — не надо белый верблюд. Я могу говорить мулла, он меня слушал.

— А здесь, сейчас, о чем говорить с ними будешь?

Волков боялся, что суть предстоящей беседы от него, не знающего языка, ускользнет. В лепете и косноязычии Саида он многое не поймет и пропустит. И хотя один из чиновников говорил по-английски, обещая переводить, Волков нервничал, хотел все узнать наперед.

— В чем же суть этой встречи, Саид?

— Придет много мулла. Я буду говорить с мулла. Ты, Иван, понимаешь, какой большой дело мулла. Мы говорим в райкоме — надо вести борьба за мулла. Если мулла будет хорошо говорить, народ будет делать хорошо. Если мулла будет плохо говорить, народ будет делать плохо, будет водить белый верблюд. Сейчас придет много мулла, очень важный, главный мулла, главная мечеть Кабула. Я буду ему говорить. Буду просить выступать телевидение. Пусть говорит правду, что эндэпа все делает хорошо для ислама. Я буду ему так говорить. Сейчас придет человек с телевидения. Пусть снимет мулла.— Темные сливовые глаза Саида горели нетерпением. Он верил в свой дар убеждать.

Снаружи слышались голоса, кашель, нестройные шаркающие шаги. В комнату входили муллы, наполняя ее просторными, до земли одеяниями, белыми шелковыми чалмами, седыми металлическими бородами. Стариковские длинноносые лица. Черные пронзительные глаза. Величавость, лукавство, осторожное, вкрадчивое ожидание. Утомление стариковскими хворостями. Спокойное сознание: их пастырство превыше царей и правителей во времена любых лихолетий.

Саид Исмаил, дождавшись, когда муллы рассядутся по лавкам, распорядятся своими долгополыми складками, разместят в пространстве свои головы в широких чалмах, обратился к ним с речью. Волков по тому, как все на него воззрились, понял, что Саид объясняет им его, Волкова, здесь присутствие.

Саид Исмаил говорил, но не той путаной, лепечущей, неуверенной русской речью, а страстно звенящим, музыкально поющим глосом, с убеждающим, фехтовально отточенным жестом. В его словах билась, накалялась добела неведомая Волкову мысль. Волков видел, какой прекрасный Саид оратор, какой искусный проповедник. Муллы, умудренные, скептические старцы, искушенные в речах, внимали ему, свели на нем свои строгие взгляды.

Молодой чиновник, худой и болезненный, робеющий вида

мулл, подсел к Волкову, переводил ему в самое ухо по-английски:

— Он им говорит: от вас зависит, что принесет народу наступающий год — хлеб или слезы. От вас зависит, будут ли мусульмане стрелять друг в друга на пороге мечетей. Коран не взывает к крови. Народ хочет сеять, торговать, видеть живыми своих близких и своих соседей.

Волков смотрел на изрытые старостью лица, на черноседые клочковатые бороды, чувствовал, какая сила и воля таятся в этих лбах и зрачках, какая власть и могущество, воспринятые от прокаленных земель, избитых копытами, от синих горящих небес с ледяными хребтами, от пыльных жарких отар, бегущих к ручьям и колодцам, от красных гончарных наездников, настигающих из длинноствольных винтовок горных орлов и барсов, от согбенных худых земледельцев, бредущих за деревянной сохой по влажным весенним долинам. Та воля и власть, что, как ток, пульсирует в сильном народе. И какие нужны слова, какие истины, чтобы старцы эти внимали.

— Он им говорит,— громко шептал чиновник,— партия признается открыто в допущенных прежде ошибках. Амин глумился над верой, закрывал мечети, сажал в тюрьму мулл и многих из них убил. Но его больше нет. Никто не посмеет сегодня глумиться над верой. Разве вы теперь видели, говорит, хоть одну закрытую мечеть? Видели хоть одного обиженного новой властью муллу? Даже кабульское радио начинает свои передачи молитвой. Бабрак Кармаль в прошлую пятницу молился в мечети, и все это видели. Новая власть, говорит, не противоречит корану. Она хочет того же, о чем говорится в коране: мира, братства, справедливого раздела земли. Хочет сильного, свободного Афганистана, всего, что заслуживает наш гордый мусульманский народ.

Волков замечал внимание на лицах стариков. Видел страстного Саида Исмаила, посылающего ввысь заостренную ладонь, и стремился постичь: чем этот партийный оратор может пронять искушенных теологов, ходивших в Мекку, познавших арабскую мудрость, утонченных психологов?

— Теперь он им говорит,— продолжал чиновник,— люди, пришедшие из Пакистана, называют себя мусульманами, стреляют в афганцев из американских автоматов. Мы находили у них коран, напечатанный в Америке. Мы находили у них автоматы, сделанные в той же Америке. Американцы, которые не верят в аллаха, вложили им в руки коран и ору-

жие и послали убивать мусульман. Я афганец, такой же мусульманин, как и вы, обращаюсь к вам, афганцам и муллам, от имени власти и партии. Идите в свои мечети, проповедуйте людям мир. Проповедуйте людям братство. Проповедуйте людям единство и веру. Говорите, где только можно: афганцы не должны стрелять в афганцев. От имени власти и партии я прошу просвещеннейшего муллу центральной мечети Салима Ахмата Сардара выступить по телевидению, сказать свое слово народу.

Саид Исмаил умолк. Смотрел на тучного, величавого стрика с породистым, властным лицом. И все остальные смотрели. Волков понял, что это и есть мулла центральной мечети, Поли-Хишти, чей лазурный купол и усыпанный изразцами сверкающий минарет возвышаются над рынком. По его хмурому, угрюмому виду, брюзгливо оттопыренной нижней губе Волков ожидал, что он скажет «нет». За этим породисто-древним лицом таился отказ.

Мулла встал, выправил грудь под халатом, двумя руками распустил и раздвинул бороду. Кратко сказал.

— Что он ответил, что? — спросил у чиновника Волков.

— Он сказал, что согласен. Согласен призвать мусульман к единству и миру.

Подымались, расходились, шаркая остроносыми, загнутыми чувяками. Сквозь халаты и бороды с кинокамерой и магнитофоном пробирался оператор кабульского телевидения. Кивнул Волкову, как знакомому, принялся расставлять штативы с лампами. Саид Исмаил усаживал муллу на фоне серой, плохо выбеленной стены с застекленной разноцветной картинкой.

Волков смотрел, как расходятся муллы. Думал: что происходит в душе старика, сидящего перед кинокамерой, вещающего в микрофон? Что заставило его пойти на контакт с революцией? Или это хитрость и тактика? До первой стрельбы, баррикады?

Хромированные автоклавы с бульканьем и хлюпаньем теста. Раскаленные глазницы печей. Дрожание стрелок на пультах. Из белых потоков муки, ручьев золотистого масла, пропущенных через жар, выплывали на черных противнях толпы румяных буханок. Ловкие темнолицые люди, сами словно выпеченные, маслено блестящие, закатав рукава, сыпали буханки в лотки, цепляя их крючками, волочили к машинам. Волкова радовала хлебная огненная работа, ма-

шины с бирками советских заводов. И только Азиз Малех, директор, сопровождавший Волкова по цехам, оставался угрюмым и сонным. Смотрел в сторону, вбок. Владея английским, вяло отвечал на вопросы. Казалось, был недоволен появлением Волкова. Отечный, желтый, с нездоровыми мешками у глаз, в черных перчатках, словно скрывал под ними экзему, все время отставал от Волкова, будто не желал разговаривать. После осмотра завода они сидели в директорском кабинете, и опять директор опускал глаза, невнятно отвечал, держал под столом свои зачехленные руки. И это раздражало Волкова.

— Я знаю, что американцы наложили эмбарго на поставки зерна в Афганистан.— Волков для вида раскрыл блокнот, имитируя запись, сам же стремился вызвать на себя взгляд директора, навязать ему разговор.— И это эмбарго провалилось благодаря поставкам зерна из Советского Союза, не так ли?

— Да,— отвечал сонно директор.— Это так.

— Хотя известно, что зерновая проблема в СССР стоит достаточно остро. Такого рода поставки — не простое дело для нас.

— Да, не простое,— кивал директор, а сам смотрел мимо, сунув под стол руки. Волкову казалось, директор желал одного: чтобы он поскорее ушел.

— У вас здесь большое хозяйство,— не сдавался Волков.— Видимо, это требует от директора специальных знаний. Вы кто по специальности, пищевик? Специалист по выпечке хлеба? Как вы заняли этот пост?

— Как все,— сказал тихо директор.— Просто занял.

— Я слышал, запроектирована вторая очередь завода. Скоро начнется строительство? Какие у вас перспективы?

— Перспективы? — Директор сморщился, передернул плечами, словно руки его под столом натолкнулись на что-то острое. И, прислушиваясь к этой невидимой Волкову боли, ответил: — Перспективы такие, что я скоро отсюда уйду!

— Почему? — изумился Волков.

— Потому что! — В лице директора произошла перемена. Сонливость исчезла. Блеснули белки. Губы задрожали в волнении.— Потому что мне это все надоело! Не могу! Не желаю! Не хочу ничего! Вы можете это понять? Человек ничего не желает! — И тут же спохватился, устыдился внезапной вспышки: — Простите меня.

Нажал своей черной в перчатке рукой звоночек. Вошел с поклоном слуга. Внес чайник, пиалы, сласти. Налил зеленый, окутанный паром чай. Удалился с поклоном.

— Простите меня,— повторил директор.— Нервы. Никуда не годятся. Я действительно скоро уйду. Я не пищик, я кадровый партийный работник. Был членом горкома партии. Несколько месяцев был даже заместителем мэра Кабула. Знал только одно ремесло — быть в партии. Исполнять ее волю. Если партия прикажет: «Азиз Малех, умри!» — я умру. Если прикажет: «Азиз Малех, воскресни!» — я воскресну. Забыл, что такое семья, что такое жена и дети. Партия для меня была женой, и детьми, и домом, и небом, и хлебом, и богом. Жил и дышал одним — партией и революцией. Это вы понимаете? Это вы можете понять?

Волков кивал, видя, как закрытый, запечатанный минуту назад человек взрывается под напором большой, скопившейся в нем энергии. Знал подобные взрывы. Как профессионал, дорожил ими.

— Меня посылали в провинцию, в Кундуз с декретом о земле. Я лично с мандатом партии проводил в кишлаках земельную реформу. Отбирали землю у феодалов, выдавали крестьянам акты на владение землей. Они плакали, прижимали к губам гербовые бумаги, бежали с землемерными аршинами на пашню обмерять свои новые наделы, падали лицом на землю, целовали борозды. Я лично проводил декрет об образовании. Строил сельские школы. Сам вел первый урок в маленьком классе, где на рукодельных табличках была напечатана азбука, нарисован верблюд, конь, вол, дерево, и дети нараспев повторяли за мной стихи, а за порогом толпились их отцы, их деды, не ведавшие грамоты, говорили шепотом, боясь спугнуть, помешать уроку. Я был заместителем мэра Кабула, участвовал в разработке первого генерального плана города вместе с вашим архитектором Карнауховым. Мы мечтали, что сотрем с земли эти страшные гнилые норы, где веками жили рабы, где люди сгнивали заживо, где царствовали невежество, болезни и вырождение. Мы мечтали, как бульдозеры снесут эти вонючие трущобы, и на их месте встанут светлые дома из стекла, и люди, свободные, обновленные, получают жилье из рук революции, и в новом Кабуле будут небоскребы, такие же, как в Ташкенте, и метро, не менее прекрасное, чем в Москве. Я во все это верил. Готов был все строить своими руками. Вот этими, этими!

Зубами он вцепился в перчатки, содрал их одну за дру-

гой. И обнажились страшные розово-синие рубцы, переломы расплюснутые фаланги.

Вот! — Он потрясал перед Волковым изуверченными кистями. — Вот что сделал со мной Амин именем партии и революции! — По лицу его пробежал тик. — Когда убили Тараки, это был удар, но я думал, — может, в этом есть какая-то непонятная мне правда, какая-то высшая цель? И молчал. Но расстрелы усиливались. Стреляли мулл — именем революции! Стреляли феодалов — именем революции! Стреляли торговцев — именем революции! Военных, учителей и врачей! Беспартийных и членов партии Все тем же именем партии и революции! Я сказал, что это ошибка. Что такого не может быть. Народ от нас отворачивается. Написал Амину письмо, обвиняя его в том, что он губит революцию. Меня забрали ночью, прямо в белье. Отвезли в Пули-Чархи. Там меня били каждый день в течение месяца. Мне отшибли почки, до сих пор идет кровь. Меня мучили током, теперь еще иногда пропадает зрение. Мне каждый день крошили прикладами пальцы, повторяя, не хочу ли я снова писать. Меня бросили в камеру смертников, и я ждал, что наутро за мной придет грузовик и отвезет с другими на старый полигон, где наконец во избавление мук меня расстреляют именем партии и революции В эту ночь я понял, как я ошибался! Какой абсурд вся моя жизнь! Мне бы родиться камнем, травой, зверем, а я родился человеком! Мне бы просто пахать землю или пасти скот и тихо, незаметно, прожив жизнь, умереть, а я занимался политикой. И вот наутро я получу пулю, и что и кому я скажу? Что произнесу перед смертью? Да здравствует революция?

Волков испытал сильнейшее сострадание. Чувствовал ломоту и боль в своих здоровых пальцах. Понимал: ему открылась огромная социальная и личная драма. Катастрофа судьбы и веры. Но сквозь острое потрясение жадно и точно фиксировал. Прodelывал мгновенный анализ, сопоставлял, монтировал написанный утром текст — статью о свержении Амина Он, репортер, волей профессии был помещен в самый центр, в самый кратер революции. Вел репортажи из ее огнедышащих недр. Рисовал ее мгновенный, то и дело меняющийся лик.

— Наутро в камеру пришли военные и сказали, что Амин уничтожен. Я вышел из тюрьмы и явился домой. У меня был жар, бред. Меня замотали в бинты. Я просил, чтоб затемнили окна, чтоб никого ко мне не пускали. Через день пришли из горкома. «Ты, Азиз Малех, опытный, зака-

ленный партиец. Ты нужен партии. Партия поручает тебе самый ответственный участок работы — кормить Кабул! Заводам нужен хлеб. Школам нужен хлеб. Гарнизонам нужен хлеб. От того, будет хлеб или нет; зависит судьба революции!» Опять все те же слова: «Партия, народ, революция!» И, наверное, это так в меня вкоренилось, что я не мог отказать. Я, больной, изувеченный, лишенный веры и духа, с отбитыми почками, с уничтоженной волей, — зачем я сюда пришел? И вот я решил — уйду! Не хочу. Ничего не хочу. Только — дом. Только — тихие простые слова. Только жена, дети! Все остальное — ложь! Все остальное — горе! Не хочу, не могу! Извините. Больше не могу говорить.

Он встал, быстро отошел в угол комнаты, повернулся спиной. Перчатки его остались лежать на столе с загнутыми искривленными пальцами. Волков поднялся и тихо вышел. Шагал к воротам и думал: вот она, страшная цена за ошибки, за так называемые издержки процесса. Какое чудо в состоянии воскресить этого человека? Что может его снова заставить сказать: «Да здравствует революция!»?

В органах афганской госбезопасности, ХАДе, Волков беседовал с майором Али, облаченным в голубые восточные одежды.

— Али, — сказал Волков, отпивая глоток чая, — чем ты меня сегодня порадуешь? Ты обещал информацию. Я за ней приехал. Покажи что-нибудь новенькое, Али!

— Да, знаешь, мало новенького, — уклончиво отвечал Али, ломая хрупкое сладкое тесто. — Если хочешь, могу показать захваченное оружие и листовки.

— Ты все это уже показывал в прошлый раз. Это я уже видел. Три дня смывал с себя оружейную смазку. А что-нибудь новенькое, а?

— Ну что может быть новенького? — Али держал перед глазами пиалу. — Ну, захватили канадского журналиста, который занимался сбором сведений о дислокации войск. Нашли у него план размещения частей. Похоже, фигура крупная.

— Ну так покажи мне его!

— Рано. Когда будет можно, устроим пресс-конференцию, соберем журналистов, покажем его широко по телевидению, радио.

— Али, ну ты ведь понимаешь, пресс-конференция, телевидение — это общее достояние, общий наш черный хлеб. А мне бы хотелось, чтобы ты, брат, оказал мне особую сте-

пень доверия. Хотя бы намекнул, чего можно ждать. На что мне рассчитывать. Сориентируй меня, Али!

Тот пил чай, держа на смуглых пальцах пиалу, запивая маленький сладкий ломтик. Гладкое бронзовое лицо. Продолговатые, влажные, цвета вишни глаза. Голубые в вольных складках одежды. Каракулевый колпачок. Деревья и горлинки за окном. Персидская миниатюра. И только стол с селектором и пистолет на разложенной карте нарушали картину.

— Могу кое-что сообщить, — сказал, колеблясь, Али. — Есть сведения, еще не точные, что враги замышляют что-то в Кабуле. Во всяком случае, есть на это намеки. Мы склонны так думать по ряду признаков.

— Что за признаки? Что они замышляют?

— По нашим сведениям, усилился приток подозрительных людей из провинции. Приходят и селятся кто в пригородах, кто в Старом городе под видом родни и знакомых. Живут тихо, стараются на улицах не появляться. Такое впечатление, что происходит накопление сил и, конечно, накопление оружия. Мы захватили несколько легковых машин, под сиденьями — тайники с оружием. Автоматы, гранаты.

— Что же они замышляют, по-твоему?

— Не думаю, чтоб это был путч или какой-нибудь поход на Кабул. Но беспорядки возможны. Демонстрации. Отдельные теракты.

— Ну и что же вы делаете в свете этих ожиданий? Облавы? Превентивные операции? Может, возьмете меня на одну?

— Нет, мы не делаем облав. Стараемся избегать превентивных арестов. Народ устал от облав. Новый период революции покончил с репрессиями, с тюрьмами и арестами. В том-то и дело, что враг желает нас спровоцировать, вызвать репрессии. Мы не должны поддаваться на провокации. Должны отсечь подстрекателей и провокаторов от населения. Я надеюсь, что удастся избежать беспорядков.

— Я улетаю в Джелалабад, Али, у меня к тебе просьба: сообщи туда своим людям, чтобы меня встретили.

— Хорошо, сообщу. Начальник джелалабадского ХАДа Хасан — мой друг. Он сам интересный человек, ты посмотришь. Преданный революционер. А брат его Феруз — главарь крупнейшей банды, терроризирующей всю джелалабадскую округу. И они охотятся друг за другом, кто кого. Ты посмотришь. Когда возвращаешься?

— Не знаю.

— Мой тебе совет: постарайся вернуться в Кабул к началу двадцатых чисел. Что-то они затевают, хотя и не знаю что. Интуиция мне подсказывает.

— Как хорошо, что у меня есть такой друг, а у него есть такая интуиция! — засмеялся Волков, внутренне жестко и четко зафиксировав дату своего возвращения. — Ты прекрасно выглядишь в своем голубом. Я бы тебя не узнал на Майванде. А я чувствую себя, когда гуляю по улицам, белой вороной. Не завести ли и мне такой наряд?

— Не поможет, — ответил Али. — Ты в нем все равно будешь белой вороной.

Затрещал, замигал селектор. Али потянулся к трубке. Выходя, перед зданием ХАДа Волков разглядел под деревьями сломанный, старомодный тарантас на рессорах, на прелых спущенных шинах, заржавелый, без седоков и коней. На мгновение чья-то боль и неизвестная жизнь коснулись его. Почувствовал их в себе, глядя на ломаные спицы в колесах.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Заехав в посольство, получив от пресс-атташе свежие номера индийских и пакистанских журналов с интересовавшей его информацией, Волков шел через посольский двор к стоянке, где оставил машину, подбрасывал на ладони ключи. И вдруг увидел Марину, не сразу припомнив имя, с гладким, блистающим, как ему показалось, лицом, на котором глаза, увидевшие его, засветились изумленно и радостно. Он почувствовал ее приближение, как плотную силу света и воздуха, коснувшуюся его.

— А я увидела вашу машину и караулила вас. Мне нужно в город, и думала, кто бы подвез. Ну вот, на ловца и зверь бежит! — сказала она просто и весело.

— Почему же вы раньше мне не попались? — в тон ей, шутя ответил Волков, отпирая дверцу. — Мне так не хватало переводчика с муллами, хлебопеками, разносчиками воды. Так нужен мне был переводчик!

— С удовольствием вместе с вами пошла бы к муллам, мукомолам. Но, увы, шеф загрузил меня протоколами.

— Придется выкупить вас у вашего шефа.

— Попробуйте. А пока что мне нужно выкупить изюм, и орехи, и рахат-лукум в одном недалеком дуكانчике. Вы меня подвезете?

Он не вспоминал о ней целый день, но, оказывается, жило

в нем ощущение вчерашнего вечера, внезапного ее появления, когда в минуту слабости пришла на помощь к нему, сама о том не догадываясь, и звезды как белая соль, и холодный дым очагов, и колючая тень мерзлой розы. Все это в нем удержалось, обернулось теперь благодарностью, желанием чем-нибудь ей услужить.

Они ехали по вечернему, звенящему, гремящему Кабулу, и город казался туго натянутым, звонким бубном, раскрашенным аляповато и ярко, в два цвета. Красные склоны горы Асмаи, глиняные стены, медные лица в толпе, смоляное дерево лавок, оранжевые апельсины и груды орехов — вся земная раскаленная твердь. И синее сверкание небес, голубые высокие льды, лазурные купола, минареты, прозрачный дым от жаровен — вся весенняя вечерняя высь.

— Ну как замечательно, что я вас увидела! — радовалась она и его приглашала радоваться. Он кивал, обгоняя размазанный неуклюжий автобус в брелоках, картинках, наклейках, с висящим в дверях мальчишкой. И вдруг захотелось узнать, кто она, как жила там, в Москве, каков ее дом и семья, как сложилась жизнь и судьба. Что там за этим веселящимся милым лицом, оживленными, отражающими город глазами, то голубыми, то золотистыми. Захотелось все узнать, бескорыстно, не так, как весь день узнавал и пытался.

Они проезжали вдоль скорнячных рядов. В дуканах висели кожаные шубы, опушенные белым овечьим мехом. Мохнатые лисьи и волчьи шапки, как свернувшиеся клубком звери. Содранные во всю ширь, с растопыренными когтистыми лапами, словно в прыжке, шкуры горных барсов. Скорняки сидели за стеклянными дверцами, укутавшись по горло в одеяла, среди легкого покачивания мехов, дубильных, кожаных запахов, меховых лоскутов и обрезков. Лица их кирпично краснели из глубины полутемных лавок.

Медленно катили вдоль ковровых рядов, черно-алого великолепия. В глубине малиновых, озаренных дуканов, как в красных резных фонарях, застыли бронзовые лица торговцев. Мелькнуло полированное дерево ткацкого станка с натянутыми струнами, похожее на большие гусли, и мальчик в тюбетейке ловко на них играл, пропуская огненную шерстяную струйку. Торговцы, напрягаясь от тяжести, выносили на улицу тяжелые рулоны сотканых ковров, раскатывали их на проезжей части под колесами машин. Машины медленно, бережно ехали по коврам, разминая в них узлы и неровности, придавая им эластичность и мягкость.

— Я здесь уже почти месяц,— говорила она,— все хочу побродить по лавкам, мечтаю побывать в домах, в семьях, в деревнях. Узнать, как они здесь живут, как справляют свои праздники, Новый год, как дарят подарки, пекут хлеб, ткут ковры, куют и чеканят. Мне так хочется увидеть своими глазами их скачки, стрельбы и свадьбы. Послушать их сказы, песни, молитвы. Побывать в Герате, Газни, Кандагаре, посмотреть пещеры Биамина, ожерелье семи озер. Все, о чем знаю по книгам, все это мечтаю увидеть. А получилось — целыми днями в офисе, барабаню на машинке, а вечерами сижу одна в отеле, как затворница... Вот здесь, если можно, налево. Тут скоро будет дуканчик.

Чикен-стрит напоминала витрины этнографических коллекций. Лошадиные из тисненой кожи сбруи, высокие ковровые седла с медными стременами. Пистолеты, усыпанные перламутром и узорной костью. Длинные, тусклостальные мушкеты с толстыми ложами и округлыми литыми курками. Прямо на рогожах рассыпаны монеты, почернелые, медные и зеленые, среди которых можно найти арабские и индийские деньги трехсотлетней давности, екатерининский толстенный пятак. Высились горы латунной посуды — кубки, чаши, тазы, огромные, с мятыми боками, чаны и среди них начищенные, пульсирующие светом, как купола, тульские самовары.

Волков глазами погружался в разноцветные ворохи отслуживших предметов, отстрелявших, отзвеневших, откипевших над кострами кочевий, несущих память о людях, чьи кости покоятся где-то рядом в красноватой земле под блеском вечерних снегов. А ему, Волкову, досталось только скользить глазами по этой трехструнной, с треснувшей декой домре, седой от прикосновений певца.

Они вышли из машины. Миновали многолюдный, сочно-душистый прогал Зеленого рынка: мокрые лотки со свежей, отекающей слизью рыбой, продернутые на дратву гроздья перепелок с крохотными пушисто-рябыми тушками, груды оструганной ребристой моркови, постоянно поливаемой водой для блеска и свежести, охапки зелени, где каждое луковое перо отливало металлической синью. Торговец запускал в глубь трав голые по локоть руки, бережно встряхивал зеленую копну.

— Вот здесь, еще немного пройдем,— она наслаждалась зрелищем, звуками, запахами, увлекала его за собой.

Они обходили маленькие тесные лавочки под линиялыми разноцветными вывесками, уставленными жестяными короб-

ками, целлофановыми пакетами и кулками, пахнущие сладостью, горечью — тмином, корицей, гвоздикой. Стены, прилавки, одежды дуканщиков — все было пропитано стойкими ароматами пряностей. У красивого ленивого индуса с курчавой бородкой, в сиреневой твердой чалме она купила банку кофе и фунтик развесного хрупко-черного чая, вдыхала из него запах скрученного сухого листа. И Волкову дала понюхать, весело и любезно что-то объясняя торговцу, отчего глаза его заблестели чернильной влагой, а пунцовые губы под пушистыми усами сложились в тихую улыбку. В соседнем дукане у коричневого длиннолицего узбека она купила колотые грецкие орехи и жареные хрустящие ядрышки миндаля. Не удержавшись, начала тут же грызть, указывая пальцем дуканщику на корзину. Тот поддел совком синий сухой изюм, ссыпал с шорохом на весы. Плюхнул гирьку. Снял зеленую, окисленную снизу и стертую сверху до блеска чашу. Наполнил кулек. У краснолицего пуштуна в каракулевой шапочке, разговорив его до широкой белозубой улыбки, она купила рахат-лукум, белые из сахарных нитей лакомства и большой пакет апельсинов, вручив его Волкову. Волкова забавляли деловитость и нетерпение, с каким она тормозила кульки, укладывала свое богатство на сиденье. Он глядел на вечернюю горячую толпу, прислушивался к музыке, крикам мальчишек, автомобильным гудкам. Подумал: «Да какие там беспорядки? О чем говорил Али? Никаких! Ни единого признака!»

Из темной подворотни, бугря под лохмотьями голую грудь, бурно дыша, шаркая голыми в рваных калошах ногами, вывернул хазарец, толкая перед собой двуколку. Из двуколки торчали отточенные деревянные колья, и на них висела разрубленная говяжья туша. Обрубки ног, красно-белые ребра, шматки брюшины и жил. На железном крюке качалась отсеченная голова с кровавым загривком и вываленным языком. Хазарец прошаркал мимо, блеснув на Волкова красными белками, обдав его духом парного мяса.

В отеле они расстались, условившись встретиться позже в нижнем холле у телевизора. Марина обещала перевести ему сводку последних известий.

Он разложил на столе репортаж, дожидаясь звонка из Москвы, — еще одна сводка упакованных плотно событий, где в политических прогнозах и формулах не нашлось пространства и места раскаленно-латунным лицам азиатской толпы на Майванде, яфтарному, в голубых испарениях Тад-

жу и своей мгновенной, похожей на панику боли, посетившей его у куста колкой розы.

Нарастающее, стремительное в тишине приближение звука от далеких московских снегов до пустынного кабульского номера, разразившееся телефонным звонком.

— Алло!.. Мистер Вольков?.. Москоу, плиз!..

— Да, да, Москва! — подхватил он жадно. — Алло, Москва!

Свет от настольной лампы падает на листы репортажа. В телефонной трубке посвисты, скрипы и внезапный, очень близкий, отчетливый голос Надеждина, нарочито бодрый и бравый для Волкова, с легкой иронией по отношению к себе. Его толстый, упитанный, неповоротливый облик с неожиданным, зверино ловким движением. Маленькие быстрые глазки, вечное рыскание, брюзжание, похохатывание, неутомимая работа мысли. Сидит в кабинете, расстегнув пиджак, соря по бумагам пеплом, с изящной неряшливостью сжимая телефонную трубку, подмигивая кому-то на диване напротив, среди газетных полос, уже продырявленных его нервным и злым пером, и в окошке с засохшим, жестяным, с осени забытым цветком — сырой снегопад, белые крыши, на бульваре деревья, решетки, черно-белая зимняя графика. Два-три московских привета, два-три наставления, драгоценный краткий контакт, который невозможно продлить.

— Слышишь меня? Диктую. Записывай!.. — Волков придвинул листки и стал диктовать монотонно и медленно, повторяя по буквам имена и названия афганских мест, и провел за этим занятием час. Когда повесил трубку, за окном уже была ночь. Еще мигали фары машин, но все реже. Перекресток переходил афганский патруль. Солдаты светили фонариками.

В холле внизу громко рокотал телевизор, в открытую дверь ресторана были видны пустые белые столики, черные официанты в ленивых позах с переброшенными через локоть салфетками. Волков рассеянно смотрел на химическое цветное изображение поющего заунывно певца. Два коридорных и портье слушали, видимо, с наслаждением. Песня кончилась, появилась диктор, красивая чернобровая женщина с жестко-выпуклыми носом и ртом и что-то сказала металлическое и отчетливое — и на экране возник мулла, тучный, седобородый, в белых одеяниях, с разноцветной блестящей картинкой над головой, — тот самый, из мечети Поли-Хишти, которого Саид Исмаил склонил к выступлению. Заговорил привычно, поводя мохнатыми бровями, то грозно, то страдальче-

ски, возвышая голос до молитвенного заунывного пения. И Волков подумал, что заверченный, испепеленный день посылает ему свое иллюзорное отражение.

Он поднял глаза. В стеклянных дверях стояла Марина. И снова, как днем, на посольском дворе, ему показалось, что пространство холла, темное дерево стен, сумрачные ковры, неярко горящие люстры наполнились плотной, наподобие света, силой. Он лицом почувствовал это дуновение эфира.

— Вот и я,— сказала она, подходя.— Вы давно здесь?

— Только спустился.

— Ну, как там Москва?

— Помнит о нас.

Отвечал, а сам чувствовал на лице, на губах, на груди этот нежаркий, связанный с ее появлением ожог.

— Иван Михайлович! — услышал Волков. Нил Тимофеевич Ладов, полный, выбритый, благодушный, проходил через холл, вынося из ресторана завернутую в салфетку бутылку и другую салфетку, из которой торчали зеленые перья травы.— Ну как хорошо, что вас встретил! Наши уже несколько раз посылали за вами. Я говорю,— его весь день не было в номере. Пожалуйста к нам! Мы там все собрались, все готово! Видите? — Он кивнул на бутылку.— Пойдемте к нам, посидим!

Глаза его были без обычной деловой озабоченности, лучились, радовались. Было в них нетерпение, ожидание близкого застолья.

— Не знаю...— Волков колебался, смотрел на Марину.— Мы здесь хотели послушать...

— Да после послушаете! Вот прямо вместе с этой милой барышней — простите, не знаю, как вас зовут,— к нам и пойдемте!

Волков видел, что Марине нравится Нил Тимофеевич, ей хочется принять приглашение. Нил Тимофеевич потешно ей поклонился, разводя занятые снедью руки в стороны от тучного, негибкого тела. И повел их в свой номер, где гудели басы и кто-то рокотал и покрикивал.

Сидели, раздвинув кровати, втиснув между ними столы, застеленные газетами. На русских, узбекских, афганских письменах стояли бутылки, стаканы, лежали развернутые, пропитанные мясным пряным соком теплые лепешки, горки мелко нарезанного, продырявленного, снятого недавно с мангалов мяса. Зелень, апельсиновые корки, вспоротые консервы,— стол был тронут, стаканы смочены. Застолье при-

няло вновь прибывших, охнуло, стиснулось, давая место Марине и Волкову.

Волков любил этот бесхитростный, дружелюбный галдеж, тесный, сбившийся мир натрудившихся вволю людей, столько раз принимавших его, чужака, делавших мгновенно своим, когда люди после страды, на распаренных копнах, после скрежета стали, в тени от застывших бульдозеров, после варева болот и бетона, сутолоки контор и планерок собирались на свои вечеринки. После первой торжественной рюмки — опять про цеха, буровые, про начальство, про нормы, наряды, не умея без них рассказать о своем сокровенном — о больном, о любимом, о тайном.

— Пусть Жакуб Асанович скажет тост! Он человек восточный, привык за столом верховодить. Так или нет, Жакуб Асанович? Будь у нас тамадой! — Маленький белокурый рязанец, стараясь казаться величественным, делал указующий жест.

— Нет, Владимир Степанович, я, как восточный человек, говорю: дайте слово старшему среди нас, Григорию Тарасовичу! — Скуластый казах, лукавя, понимая рязанца, трунил над ним и одновременно с особым восточным почтением кланялся огромному, с Дона, коротко остриженному, похожему на казака энергетика, своему начальнику.

Волков видел их всех, разноликих, знакомых, словно многократно встречал. Того, с татарским лицом, — на КамАЗе, пускавшего новый конвейер. Того, иссушенного, с печальными глазами, — в целинной степи, сквозь вихрь и свист мотвила. Тот, с обветренным лбом, был похож на старпома, ведущего в рейс ледокол. Тот — газовик с Уренгоя, серый и железный от труб. Их собрали со всей державы и прислали сюда, в Кабул, делать все то же дело — строить, лечить, растить. Он видел эти лица в Анголе, где в бушах мостовики из Саратова строили переправы на реках, разгромленные налетом «канберр». Бетонщик сквозь взрывы, сорвав с головы картуз, не выключив бетономешалку, чертыхаясь, грозил кулаком пикирующему «миражу». Он видел эти лица в Нигерии, где в джунглях вели нефтепровод, сменив мерзлоту Заполярья на липкую парилку экватора, и рыжий парень-удмурт в потной синей рубашке, сжимая в руке электрод, стоял с белозубым негром, учил сибирскому шву. Видел эти лица в Кампучии, когда несли в лазарет изнуренных голодных детей, и врач из-под Фрунзе в стетоскоп выслушивал их хрупкие груди, и казалось, сквозь тонкую трубочку переливает в них свою жизнь.

Он знал их умение и силу, проверенную на стройках державы, способность дарить от сердца, способность делиться с другими.

Так думал Волков, глядя на тесный круг.

— Давай, Григорий Тарасович! — обращались к казаку-энергетику, продолжая его уговаривать.

И Григорий Тарасович, властный, крепкий, шевеля грозной бровью, привыкший к тому, чтобы слово его было законом, но и весело, по-удалому, воздев на уровень груди локоть, поднял стакан, скосив в него свой блестящий казачий значок.

— Товарищи! — Все умолкли, стали серьезными. — Я хочу поднять вот этот первый тост за то, чтобы, как говорится, нам всем, здесь сидящим, честно и хорошо сработать наше дело. Сробить его добре, как говорят у нас на Дону, и с честью вернуться домой. Мы все здесь, товарищи, отлично видим, в каких трудных, в каких, можно сказать, героических условиях приходится бороться нашим с вами афганским друзьям, которые ну буквально ценою крови, ценою своей жизни налаживают экономику, делают свою революцию. Вот за их борьбу, товарищи, за их неизбежную победу, которой и мы, товарищи, все отдадим, что имеем, за их героизм я и хочу выпить. И, конечно, за всех, за всех нас! — Неторопливо, спокойно оглядев стол, чуть заметным движением стакана приглашая всех за собой, выпил. Отщипнул лепесток тонкого теста, прижал к губам, подышал и снова бережно отложил на газету.

Волков, как сел тесно рядом с Мариной, чувствуя плечом ее горячее, живое, тонкой тканью отделенное от него плечо, как выпил первую стопку, оглядел застолье в сомкнутой, дружеской тесноте, так вдруг почувствовал, что помимо прожитого, долгого, явного дня, исполненного сомнений, беспокойства, существовал и второй, тайно проживаемый им день, одновременно с первым, состоящий из предчувствий, мгновенных воспоминаний, бессознательных ожиданий, из желания блага и счастья всем, кого встретил, и себе самому. Этот тайный день ждал своего часа, ждал, когда исчезнет первый, и вот дождался. Волков смотрел на мужские, уже не юные лица, ставшие вдруг родными. И на нее, сидящую рядом, — блеск ее близких волос, движение плеча, румяная щека, к которой вдруг захотелось прижаться своей щекой.

— Вам хорошо? — спросил он ее. И услышал:

— Да, хорошо.

А кругом говорили, продолжали выяснять одну бывшую

у всех на уме истину, одну собравшую их в этом кабульском номере заботу.

— А я тебе скажу, Владимир Степанович, — втолковывал рязанцу, держа его за пуговицу пиджака, смуглый, угольно прокопченный смолянин-дорожник, — для меня революция, если тебе честно признаться, была делом прошлым, далекой, как говорится, историей. По книжкам ее проходил, на семинарах по истории партии изучал, а здесь — вот она! И на тебя смотрят, надеются, ждут! Ты, говорят, должен знать, как революцию делать. У тебя, говорят, опыт. Подскажи! Научи! И не когда-нибудь, а сию минуту!

— В министерстве ребята отличные! — говорил черноусый киргиз, как бы гордясь и хвастаясь доставшимися ему в министерстве ребятами. — Молодые, головы горячие. Стараются, слушают. Но не умеют! Совещаний вести не умеют. Регламент выдерживать не умеют. Приходится все с азов объяснять.

— Товарищи, только тихо давайте! — волновался рязанец, минуту назад кричавший, а тут снизивший голос до шепота. — О делах не надо, потом... Пишет нас ЦРУ, пишет. Этот коридорный, я видел, топчется все у дверей с приемником. Только я выйду, а он сразу музыку — хлоп! А там у него неизвестно что, может быть, диктофон! Так что давайте о чем-нибудь таком, постороннем! — И снова незаметно для себя начал шуметь и покрикивать.

— Восточный темперамент сказывается. Обидчивые такие, вспыльчивые! — говорил казак. — Обижаются друг на друга. Говорю им: производственная дисциплина выше всяких личных обид. Дело, говорю, выше ваших личных претензий. Они соглашаются, руки друг другу жмут, а через час — снова ссора!

— Научатся, — успокаивал его Григорий Тарасович. — Азбука революции — она и на арабском, и на русском, и на фарси одна и та же!

— А как там, товарищи, наши-то дома? — вздохнул, словно тихо ахнул, Нил Тимофеевич. — Как, говорю, наши-то дома?

И пахнуло, и остудило далекими сырыми снегами, тальниками, захваченными в лунные кольца. И все вдруг замолкли и как бы исчезли, оставили эту комнату, и она опустела. И каждый улетел из нее к себе, на север, разлетаясь в разные стороны, кто куда, одному ему ведомо. Встретился там с милыми, близкими, на один только миг. И медленно возвращались обратно, слетались назад, за этот стол, накры-

тый газетами, неся в своих лицах гаснущее отражение встречи.

— Да, уж если я и приеду домой, так уж только к севу, не раньше,— говорил худой и печальный, похожий на комбайнера, подтверждая о себе догадку Волкова.— В самую посевную, как раз у нас сейчас в Кустанае задержание снегов повсеместное, все наши из «Сельхозтехники» по районам разъехались, на «уазиках» в степи по сугробам вязнут, а их совхозники тракторами тянут. Поземки, метели, змеи белые через твой «уазик» бегут, его засыпают, а ты рядом топчешься, слушаешь: идет или нет трактор. Тогда думал: нет ничего хуже степного мороза и ветра, а сейчас — эх, думаю, попасть бы в степь, на мороз! Хоть бы уж нам, целинникам, бог или аллах в этом году погоду послал. Побольше бы снежку в январе и дождичка в мае да сушь в сентябре, чтоб комбайнерам хлебушек было брать полегче, чтоб не мучились они, родные, на ниве!

Волков слушал, и ему казалось, что за всеми заботами о погоде, о хлебе, не умея облечься в слова, таилось что-то еще, созвучное терпеливому ожиданию, настойчивому стремлению души не в обилье, не в могущество и господство, а в иное уготованное ей состояние — в предстоящее братство, в красоту, доброту.

— А я вернусь, небось наши четвертую домну пустят,— говорил железного вида, с железными легированными зубами липецкий специалист по металлу.— Я газету читал, уже кончают наладку. Уезжал, третью запустили. Как раз уже мне уезжать, уже вещички собраны, а не удержался, пошел. Убрали ее лентами, цветами, ну прямо как невесту. И так я вдруг позавидовал этим ребятам молодым из бригады, то ли молодости их, то ли еще чему! Я-то сам — сталевар, горновой, и хоть давно сталь не варю, а тянет, тянет хоть взглянуть, хоть дохнуть. Не поверите, ГРЭС пускали, все хорошо, все нормально, махина — полюбоваться, а в душе я спокоен, не трогает. Прокатный стан пускали — такая громада, по ней брус красный летит, аж жар в лицо пышет. Понимаю умом: замечательно, люди кругом восхищаются, а в душе спокоен. А вот сталь, чугуны польется — вот мое дело, вот уж мне сладко!

И снова Волкову чудилось таящееся под сердцем ожидание, стремление в долгожданное, то приближаемое, то удаляемое чудо, заслоняемое то войной, то заботой, черновой бесконечной работой, мельканием дней и лет, в которых — домны, копры, урожай, и в угольной и чугунной работе, зем-

ляной и подземной, кажется, совсем пропадает, совсем тускнеет и гаснет эта тайная под сердцем звезда. Но нет, не погасла. Говорим про хлеб, а думаем о ней, негасимой. Говорим про сталь, а думаем все о ней. Про нефть, про Тюмень, про БАМ — а в сущности все о ней. Ему казалось, он снова стоял под степным белесым небом целинной степи, где катили по белым нивам хмуро-красные комбайны, подняв хвосты до солнца, и неслись по дорогам тяжелые грузовики с литыми хлебными слитками; снова входил в раскаленное железное пекло, где мартен открывал навстречу свой чавкающий, красно слюнявый рот, брызгал сталью и потный, в огне, тепловоз подкатывал ковш чугуна, готовый пролить на бетон взрыв бенгальского света,— погружался в те земли и времена, когда был он молод и свеж, и носили его самолеты над огромной державой, и она, то хлебная, то стальная, то в храмах, то в тихих лесах, ложилась ему на страницы.

— Вы куда-то исчезли,— тихо сказала Марина.

— Нет, я здесь, я вернулся,— он очнулся, чуть коснулся ее близкой руки.

Нил Тимофеевич расстегнул тесный, душивший ворот, провел ладонью по лбу, словно что-то снимал, убирал, и глаза его стали большими, темно-синими, увлажнились.

— Я вот что думаю, други мои, все-то мы с вами торопимся, все отвлекаемся, все-то нам некогда. То сев ухватить, то снег удержать. Люди ждут, люди требуют, начальство торопит. А ведь где-то кто-то самый родной ждет тебя, никак не дождетсЯ. И мы ему все повторяем: ну, погоди, еще погоди! В последний разок съезжу, в последний разок слетаю, а после к тебе вернусь!..

— Правильно, Нил Тимофеевич,— перебил, не дав до-сказать, маленький белоглазый рязанец.— Правильно говорите! Надо нам больше ездить, нечего на одном месте сидеть.

— Нет, лучше меня послушай,— загорелся смолянин.— Ты говоришь — ездить! Знаешь, у нас на Смоленщине в чем беда? Дорог не хватает. Некоторые районы напрочь отрезаны, как в горах, как на островах. Зимой на вертолетах молоко в центр возим. Разве дело? Надо дороги строить к центральным усадьбам и на них поселки сажать. Им-то, целинникам, нас не понять, у них дороги отличные. На племнуме наш секретарь знаешь что сказал? Судьба, говорит, деревни решается сейчас в городах. В городах создают проекты, собирают железобетон, кадры готовят, и все это вместе везут в село. А для этого нужно что? Дороги!

— Да не о том я совсем, родные мои! — пробивался к своему Нил Тимофеевич, и все опять умолкли, обернулись к нему. — Где ищем? Где роем? Ну корма, ну дороги! Ну еще тракторов сто тысяч! Антарктиду освоили. Космос! Все нужно, все спешно, все ждать не велит! Но ведь это, если так разобраться, — подготовка, все мы к чему-то готовимся, к чему-то самому главному. А главное в том, как нам жить! Что у нас в душах, какая совесть, любовь. Разве нет? Разве не то говорю? Вот о чем должны думать. Об этом нам нельзя забывать, родные мои!

Полный, тяжелый в груди, умудренный хозяйственник вдруг открылся в иной, неожиданной страсти, в непривычном звучании слов, стараясь объяснить свое понимание жизни. И они, его друзья и товарищи, понимали его. Кивали, соглашались во всем.

— Песню, давайте песню споем, Григорий Тарасович, давайте вы свою, казачью! А мы легонько подтянем.

Григорий Тарасович медленно выправил плечи, как мельник, донесший и сбросивший тяжкий седой куль. Выгнул могучую грудь, дав в ней место большому дыханию. Стал прямее и тверже в спине, словно всадник. Повел головой, отодвигая седым жестким чубом и этот гостиничный номер, и Кабул с комендантским часом, и близкие на утро заботы, а открылась степь в зеленом ветряном блеске, и казачье войско шло по степи, топтало изломанными, избитыми о другие земли копытами, волновалось пыльным оружием, бунчуками, знаменами, выцветшими на солнце глазами. И кто-то высоким негромким голосом в своей чистоте и печали запел:

Соловей кукушечку уговаривал...

И тихо, страстно колыхнулось в ответ, обнимая певца:

Полетим, кукушка, во зеленый сад..

Волков закрыл глаза. В обморочной, сладчайшей боли пал в эту знакомую с юности песню, как падают в тихую воду, в прохладную траву, — в то высокое, вне времени и пространства, чувство, бывшее и любовью, и братством, и болью о бренном пребывании здесь, на этой любимой земле, от которой с каждым днем, с каждым часом, неуклонно тебя отнимают, и ты не успел насладиться, не успел налюбоваться, понять, как жить в этом мире, а уж время из него уходит. И весь век на губах вкус незнакомых ягод и столько потерь и забвений, и никто не научит, как жить, не научит, как умирать.

Спели песню, и миг тишины. И снова Кабул и номер. Умиленные, умягченные лица.

— Ой, хорошо! Ой, складно! До чего же складно спели!

— Вот где все оказались. В песне все оказались!

— Еще, Григорий Тарасович, давай еще запевай!

Пели еще и еще. Волков то подпевал, то молча слушал, чувствуя, как что-то в нем бесшумно осыпалось и рушилось, словно штукатурка с аляповатой масляной живописью, и под ней, поблекшая, наполовину исчезнувшая, открывалась забытая фреска, та, что писана травяными, цветочными соками, тихими разноцветными землями. «Это я, неужели? Так было? Неужели было со мной?»

Шли по длинному, устланному красным ковром коридору, туда, где светилось пространство холла и часовой с автоматом курил, следил за их приближением. И, зная, что сейчас предстоит им расстаться, и боясь, не желая этого, и боясь, что его нежелание есть грешная невольная мысль, он сказал:

— Ну, вот, и кончился вечер. Отдыхайте. Спокойной вам ночи.

— Спасибо за вечер. Вы завтра улетаете?

— В Джелалабад на неделю.

— Я буду думать о вас. Буду желать вам удачи. Буду ждать встречи.

— Знаете, где встретимся? В сквере за отелем растет большая чинара. А под ней ковер и два мудреца. Пейте с ними чай и меня поджидайте. Прилечу — и сразу туда.

— Хорошо, — сказала она. — Спокойной ночи.

И ушла. А он медленно вернулся в свой номер, все еще видя ее, идущую по красной дорожке, исчезающую в темноте коридора.

Его опять окатила бесшумная, из света, волна. Их высокое в солнце зеркало. Морозный ясень в окне, тот самый, на который потом в день смерти бабушки прилетят снегири. Звонок в прихожей. Бабушка легким скоком бежит открывать. Два ее брата, охая, похохатывая, пререкаясь, вносят в комнату запах мороза, булок, здоровья. А он, сидящий за уроками, рад их появлению. То и дело отвлекаясь от книг, от хрустальной чернильницы, от зеленого, уляпанного кляксами сукна на старинном столе, вертится, прислушивается к их рокотам, несогласиям, спорам, и бабушка, сердясь не

на шутку восклицает: «Вот уж вы, умачи!» Через много лет бабушка, неживая, лежала все на том же столе, на пятнистом зеленом сукне, и в окошке стоял все тот же разросшийся ясень с метелками легких семян, и на голые ветки уселись два снегиря, скакали, осыпали снег. И он подумал: два ее брата, умершие за год до нее, прилетели к ней на поминки.

И бесшумный, вслед за светлым, туманный удар не боли, а непонимания себя, непостижимости ведь и тогда был он, окунавший перо в хрустальные кубы чернильниц, готовый сорваться в легком беге счастливого тела навстречу любимым и близким. И теперь это тоже он, постаревший, изнуренный, с горчайшим опытом, среди тайных, отгоняемых постоянно тревог. Он пережил абсурд раздвоения и одновременного тождества и мгновенное в этом раздвоении и тождестве испепеление времени. Совпадение себя с собой и стремительное от себя удаление, в котором, оставив легчайший дым, сгорели милые лица и его молодое лицо. Все это длилось мгновение, обожгло глаза и пропало, не оставив по себе даже слез.

И вдруг — горячее немое влечение к ней, ушедшей от него по красной дорожке, готовность вскочить, идти к ней, говорить про ясень, про снегирей, про хрустальные кубы чернильниц, и в ответ будто тонкий, из неба упавший луч прочертил темный номер, скользнул по приколотовой карте, разбросанным листкам репортажа. Это было сильно и ярко и связано почему-то со снегами, по которым они пробегут на красных лыжах, ломая хрупкие сухие соцветия, и с блестящими тихими травами в пыли и в метелках, и всю ночь где-то рядом будут звенеть бубенцы и вздыхать лежащее стадо, и короткий горячий ливень ошпарит лес, повалит пшеничное поле, и вдруг через поле, давя и ломая колосья, в дыме, блеске пробежит сиреневый лось.

Он лежал, улыбался, все старался припомнить, какой был лось. сиреневый с красным отливом или красный с серым подбрюшьем?

ГЛАВА ПЯТАЯ

Он летел в Джелалабад на пятнистом транспорте, временами почти касаясь снегов, глазированных блестящих вершин. Погружался в прозрачные голубые долины, где

туманно вились дороги, мерцали реки, пестрели поля и селения — хрупкий, перышком нанесенный чертеж. И все искал с высоты трактора — синеватый пунктир колонны.

Машина коснулась бетона, промчалась, ревя, мимо радаров, вертолетов, другого пятнистого транспорта, стоящего под заправкой. Развернулась и, жужжа, подкатила к зданию порта с диспетчерской будкой. Волков вышел, оглядывая группу афганских военных, женщин в парандже, старика с шоколадным лицом, с белой бородой и чалмой. Искал глазами Хасана, начальника ХАДа, обещавшего встретить. Не нашел, направился к зданию аэропорта.

Бетонное строение выглядело пустым и беззвучным, но, подходя, он вдруг почувствовал, что оно переполнено. Вошел. Светили тусклые лампочки. Пол был обшарпан. Вдоль стен стояли длинные деревянные лавки, и на них тесно, плечом к плечу, и помимо лавок на корточках у стены сидели солдаты. «Советские», — он увидел скатки шинелей, каски, прислоненные к мешкам автоматы. «Свои», — отозвалось в нем приливом тепла и тревоги.

Они сидели утомленно и тихо, лица под тусклыми лампочками были худы и бледны, руки висели изнуренно и вяло. Поодаль стояли офицеры, молча курили. Волков подошел. Увидел серое, с обвислыми усами лицо, майорские звезды на мятых погонах, уголь папиросы. Представился, предъявив журналистскую карту.

— Мартынов, — устало козырнул майор. — Чем могу быть полезен?

— Я вижу, вы из похода. Откуда? Усталый вид у людей.

— Работали, — сказал подошедший капитан. — Ночь не спали.

— Шли с конвоем. — Мартынов, рассыпав искры, задохнулся дымом и долго держал в себе горький, едкий вздох, словно сжигая себя. — Сопровождали трактора на дороге. Наши трактора, «Беларуси». Они с самой границы, с Термеза шли, все хорошо, спокойно. А здесь, под Джелалабадом, действует банда. Афганцы из ХАДа разведали, что готовится налет на колонну. Хотели послать для охраны афганскую часть, да она снялась на другое дело, в горы, в бой ушла. Ну, нас и вызвали. Приняли трактора, повели. Сначала все нормально шло. Даже митинги по дороге устраивали. Народ приходил на трактора посмотреть. Один старик выступил: «Вот, говорит, злые люди нашептывали, — с севера к нам танки идут, будут детей давить, женщин давить. А к нам с севера — трактора». Думали, все обойдется, доведем ко-

лонну до места. А к ночи под городом устроили бандиты засаду, обстреляли нас. Один трактор дотла сожгли, другие два повредили. На буксире кое-как дотащили.

— Люди все живы? — Волков смотрел на застывших вдоль стен солдат, и внезапно слезно и больно возникла в нем мысль о сыне. — Люди целы?

— Наши все целы. Двое афганцев-водителей убито. Один наш — с ожогами. Теперь передышка. Несколько дней здесь пробудем. Часть тракторов в здешних госхозах оставим, а другие дальше погоним. Вы где, у военных остановитесь? Ну, наверное, вместе ночевать будем. — И ушел, а Волков глядел ему вслед, чувствуя, как тот измотан, какая неисчезнувшая живет в нем забота. Капитан водил глазами вдоль стен по солдатским лицам, словно их пересчитывал. Сбивался, снова принимался считать.

Волков шел вдоль рядов, вглядываясь в неясные очертания лбов, сжатых губ, утомленных глаз. Остановился перед солдатом. Тот сидел, ухватившись за краешек каски, разведя носки измызганных грязных сапог. На руке краснела ссадина. Лицо, молодое, свежее, казалось стянутым болью. Будто у рта, у бровей, в уголках неподвижных глаз поставили чуть заметные точки. Наметили другой рисунок лица.

— Здравствуйте, — сказал тихо Волков, присаживаясь рядом на корточки.

— А? — не расслышал солдат. Очнулся, взглянул на Волкова, стараясь понять, кто он. Волков представился.

— Я слышал, вас обстреляли? Что там было?

— Засада. Из гранатометов ударили, а потом пулемет, — ответил с трудом солдат. — Шатров бы лучше вам рассказал, его обожгло. Он трактор спасал. Ему сейчас лечат ожоги.

— Ну, как же все это было?

Солдат молчал, будто не знал, откуда повести свой рассказ. С того ли дня, как мать его провожала, и всю ночь танцевали, и мелькнули последний раз из вагона знакомые очертания дома, или сразу про эти кручи, вдоль которых катила колонна, и тупой удар по броне, звяканье пуль, крик на чужом языке гибнущего человека. Волков смотрел на близкое молодое лицо, вызвавшее в нем другой родной образ, слушал рассказ.

— Афганцы вели трактора, а мы в бэтэрах в голове и хвосте колонны. Шли ходко, один раз митинг устроили. В наш бэтээр дети апельсинов набросали, а Шатров не знает, что им взамен подарить, взял пуговицу со звездой, оторвал и бросил. Уже стемнело, уже и горед был близко,

и как раз на круче, где речушка течет, ударили в нас с горы. В упор из гранатомета по головному трактору саданули. Он сразу вспыхнул — и набок, водитель и вылезти не успел. Как факел! Колонна встала, а они из пулемета по ней. Я смотрю, рядом еще один трактор горит. Бак ему просадило. Афганец дверцу открыл, хочет выпрыгнуть, весь в огне, кричит. А в него пуля, прямо в лицо, и он сразу ничком упал. Трактор весь пылает, горячее течет. А Шатров — он в деревне у себя трактористом был — выскочил да в кабину, в огонь. Погнал трактор в речку, в самый поток. Стал катать взад-вперед, пламя водой сшибать. Сбил и сознание прямо в речке потерял. Мы в транспортер его положили, везем, а он глаза открыл и говорит: «Вы, говорит, матери ничего не пишите. Выздоровлю, сам напишу». — И умолк. Думал молча про афганца-водителя, про пылающий трактор, ревущий в накатах воды, про Шатрова, спасшего гибнущую машину.

«Сколько рук, — думал Волков, — сколько рук подымет тот урожай! И этот усталый солдат, и Шатров, лежащий в ожогах, — все они хлеборобы, растят тот будущий хлеб».

И опять посетил его образ сына: голос солдата, выражение глаз, легкое дрожание губ были чем-то похожи на сына. Там, в Москве, его стремительные движения, улыбки, его книги, тетради, в которых помнит лишь ранние сыновьи каракули. Неутоленное отцовское коснулось его внезапно и больно. Он тронул солдатский рукав, ощутив сквозь сырую шинель удобу и гибкость руки.

— Вы Волков? — окликнул его капитан. — За вами пришли.

Навстречу Волкову шел стройный худой афганец в кожаной куртке.

— Хасан, — представился он.

С начальником джелалабадского ХАДа, которому Волков передал рекомендательное письмо от майора Али, разъезжали на оранжевом «фиате» по окрестностям Джелалабада, по следам террора. Хасан, худой, с провалившимися щеками, глухим, темным свечением в глазах, сжимал перчатками руль, круто бросал машину мимо неуклюжих грузовиков и автобусов, резко скрипел тормозами, делал виражи, подтягивая ближе к сиденью соскальзывающий автомат.

— Вы, Хасан, случайно не участвовали в ралли? — пробова

успев разглядеть кабину грузового «форда», убранного, как елка, серебряными безделушками, и небритое, смуглое, усатое лицо шофера.

— Мою машину здесь знают, — ответил Хасан. — Несколько раз стреляли, — и опять подтянул за ствол отъехавший автомат.

Они стояли у обочины в туманных серо-рыжих предгорьях под моросящим дождем. Волков, чувствуя, как пропитывается влагой одежда, фотографировал взорванную высоковольтную мачту, путаницу проводов, изоляторов, лопнувшие при падении крепи. Подходил к основанию, трогал пальцами разорванную взрывом сталь, обугленный вспышкой бетон. Хасан стоял чуть поодаль, подняв воротник, держа на весу автомат, воспаленно шарил глазами в предгорьях. Волкову передавались его тревога и чувство опасности.

— Куда ведет эта линия? — спросил он, пряча от дождя фотокамеру, стремясь напряжением мышц вызвать ощущение тепла.

— В госхоз, на цитрусовые плантации. После этого взрыва встало консервное производство. Плоды начали гнить и портиться. Третий раз взрывают.

— Я смотрю, они действовали малым зарядом. Взрывчатка подложена точно в узлы крепления. Видимо, опытные динамитчики.

— Не нужно большого опыта. Этому учат их в Пакистане. Здесь у вас все? — Хасан быстро, держа автомат наготове, сел в машину, резко дал газ, уносясь от предгорий.

В деревушке Кайбали, у черных, блестящих в дожде скал, миновав глинобитные дувалы, открытую лавочку с толпящимися у входа людьми, они скользнули в аллею к маленькой одноэтажной школе, недавно разгромленной террористами. Волков ходил по классам, ежась от сквозняков, шевеливших рассыпанные по полу страницы. Садился на дощатые, исчерканные чернилами парты. Смотрел на рукодельные плакатики с изображением печальной лошади, верблюда, орла. На круглую смешную рожицу, мелом нарисованную на доске, — чья-то детская шалость перед началом урока. Выходил на школьный двор, шелестящий в дожде. Касался руками чугунного мокрого била со следами ударов и кремневого камня, которым били в чугун, возвещая о начале занятий. Старался не наступить на кусты роз. Делал снимки разбитых стекол, сорванной крыши, расшвырянных у входа учебников.

— Почему они школы громят? — спросил он у Хасана, прижавшегося к косяку. Косяк защищал ему спину, а сам он следил за аллеей, выставив белое стертое дуло автомата. — Почему разгоняют детей?

— Срывают декрет об образовании. Вблизи Джелалабада восемь школ сожжено и разрушено. Двум ученикам, не желавшим бросать школу, отрубили руки и приколодили при входе.

Они сели в машину, выскочили из аллеи. Волкову, промерзшему, в ознобе, казалось: им в спину из деревьев, из мокрых скал кто-то пристально, зорко смотрит.

В Джелалабадском университете — белые, парящие, застекленные арки, похожие на виадук, — они осматривали женское общежитие, подвергшееся разгрому. Флигель, сожженный дотла, с обугленными дверями, полами. Лоскутья женской одежды. Маленькая девичья босоножка, оброненная в бегстве. Вонь бензина и гари. Поодаль, молчаливые и напуганные, стояли служители. Ректор университета, в черном костюме, траурный и печальный, говорил, держа деревянную, расплюснутую каблуками ручку.

— Они ворвались в общежитие ночью, — переводил Хасан. — Подняли с постелей девушек, с криками, бранью силой увезли в горы. А комнаты облили из канистры бензином и подожгли. После этого случая все девушки, которые поступили в университет, перестали посещать занятия. Таким образом подрывается правительственный декрет о равноправии женщин. Очень трудно будет убедить девушек снова вернуться в классы.

Волков снимал следы пожара. Кровати с комьями горелых одеял. Хотел сфотографировать ректора на фоне погрома, но тот сделал знак рукой, закрывая лицо, и Волков не стал снимать. Шагая к машине мимо служителей, старался понять, что они чувствуют. На чьей стороне их симпатии. Глаза их были темны и тревожны, смотрели ему пристально вслед.

— Хасан, я хочу посмотреть то место, где вчера обстреляли трактора. Мы можем туда подъехать?

Промчались по горной асфальтовой трассе. Резко затормозили у черной гранитной стены с пятнами рыжих мхов. Бурлила, брызгала речка. На мокрой обочине уродливо чернел обгорелый, исковерканный трактор на просевших ободах с развороченной требухой мотора, источая кислый запах железа и паленой резины.

Волков обошел пожар, масляное тряпье на дороге, обро-

ненный башмак, монетки, оплавленный гребешок. По израненному, иссеченному склону спустился к реке, представляя, как вчера здесь бурлил охваченный пламенем трактор и металось в огне солдатское молодое лицо.

«Сколько рук,— думал он,— сколько добрых и злых прикоснутся к тому полю пшеницы! Как долг путь к урожаю. Кто доживет до хлебов?» Он думал, как напишет свой очерк с того праздничного термезского митинга, отпущавшего в поход трактора, до первой живой борозды; Нил Трофимович в отеле, мечтающий о добре; солдат-сибиряк, кидающий свою душу в огонь; убитый водитель-афганец, обронивший свой гребешок; Мартынов с почернелым лицом — все были хлеборобы, выращивали будущий хлеб.

Хасан плотно прижимался к мокрой скале, чуть отведя автомат, готовый стрелять навскидку, нервный, упругий, взведенный. Волкову передавалось его электрическое возбуждение.

— Едем,— сказал Хасан.— Не нужно здесь слишком долго.

Волков знал, где-то здесь, под Джелалабадом, находится древний храм с собранием улыбающихся гладкоголовых будд. Хотел попросить Хасана свозить его туда, хотел пережить эту землю иначе, отвлечься от сиюминутной кровавой бойни, унести с собой образ лунных, улыбающихся буддийских голов с миндальными закрытыми веками, почувствовать заслоняемую бойней огромную, дремлющую в веках красоту. Но Хасан опередил его.

— Повезу вас к двум нашим людям. Отец и сын. Члены НДПА. Автослесари. Они как раз ремонтируют поврежденные трактора. Поговорите с ними.

Хасан гнал машину по мокрой дороге, нырял за уступы, и Волков ждал столкновения в лоб с какой-нибудь встречной машиной.

— Не волнуйтесь,— сказал Хасан.— Сейчас дорога пустая. Никто не рискует ездить. Вот через час из города выходит колонна «КрАЗов» на Кабул под прикрытием бэтээр. Тогда и остальные пристроятся.

Волков смотрел на худое лицо Хасана, по которому то и дело пробегала чуть заметная судорога. Помнил слова Али о брате Хасана, главаре местной банды. Хотел понять, в чем суть дневной и ночной работы Хасана. Что он знает об этих горах и предгорьях, о выстрелах и поджогах. Что выглядят его чернильные, не знающие покоя глаза. Чьи глаза следят за ним неустанно.

Вернулись в город. Миновали склады, дуканы. Подкатили к автохозяйству — мятые железные ворота, вывеска, красный флажок. Разобранные, стоящие на домкратах грузовики. Посреди двора — два трактора «Беларусь», синие, в метинах копоти. У одного из них приподнят капот, и на синем закопченном железе знакомая красная надпись «Дружба» и две пулевые дырки, взлохматившие железо. Волков трогал раненый трактор, раненый, но живой, с выхваченными из огня начертанными на капоте письменами. «Вернут, вернут его к жизни! Дойдет, долетит послание!» — думал он суеверно.

На масленом черном дворе молчаливо стояла толпа.

Волков почувствовал вдруг, как холодно промокшим ногам, как зарождается в нем болезнь, утомляясь от одной мысли, что придется переносить ее на ногах, таскаясь в дождях и туманах. Худой, с небритым кадыком рабочий, держа засаленный ключ, обернулся навстречу Хасану, что-то сказал. И у того по лицу пробежала знакомая судорога, дольше обычного держала лицо искаженным.

— Опоздали,— сказал он Волкову, врезаясь плечом в толпу.

Перед ними беззвучно расступились. На земле, среди липких лужиц и бензиновых радужных пятен, лежали два человека, прикрытые белым. Хасан ухватился за край накидки, приподнял: длинно вытянув ноги в калошах, бок о бок лежали два обезглавленных тела. Одно в заношенном свитере, другое в комбинезоне. С красными ошметками шей, белевшими позвонками. Головы были тут же, спутались окровавленными волосами, блестели белками, осками белых зубов. Одна стариковская, в морщинах, неопрятной седой щетине. Другая — молодая, с гладким овалом подбородка и щек, с запекшейся сукровью на губах.

Волков, одолевая ужас, смотрел на отсеченные головы, отыскивая в них сквозь подобие смерти другое подобие — черты фамильного сходства. Думал: «Вот еще два хлебобоба. Пали за хлеб грядущий».

— Опоздали,— повторил Хасан.— Их нашли час назад в старом арыке за автохозяйством.

Хасан гнал по городу с потемневшей в сырых одеяниях толпой, говорил на ходу:

— Здесь, в окрестностях Джелалабада, несколько банд, с несколькими главарями, но главный — Феруз. Мы охотимся друг за другом. Он назначил за меня пятьдесят тысяч афганей. Хочет взять живым, как и я его. Я знаю, если он

возьмет меня живым, он сдерет с меня кожу, вырежет глаза и язык и отрежет голову, как делал это с баранами в отцовском доме. Я тоже хочу его взять живым. Надеюсь, что я это сделаю первым.

Они свернули в узкую улочку, шумную, кривую и тесную. Два старика, закатав по колени штаны, месили голыми костистыми ногами холодную глину. Тут же торговали лавчонки, дымила жаровня. Торговец овощами вывалил у арыка на землю груды редиски, перебивал ее в мутной воде, и она начинала светиться холодным лиловым светом. У глухих деревянных ворот стоял военный грузовик с часовым. Охранник на сигнал машины отворил в воротах глазок, пропустил их вовнутрь, и Волков очутился в замкнутом дворе с остатками размытой росписи на фасаде, в джелалабадском ХАДе, откуда выехали утром.

Припал к горячей печке, прижал к ее железу ледяные руки. Жадно отхлебывал чай. Подставлял промерзшее тело потокам тепла. Хасан, как обещал, принес толстую, замусоленную тетрадь, исписанную разными чернилами, разными почерками,— сводки агентурных донесений о действиях банд,— и стал переводить Волкову, кое-что пропуская, повторяя названия кишлаков, имена главарей. И Волков, забывая про озноб и горячий чай, жадно, быстро писал, набрасываясь на бесценные документы борьбы, иногда наивные, иногда явно неточные, но добытые ценой огромного риска, ценою крови и гибели. Входили люди, извинялись улыбками перед Волковым, докладывали о чем-то Хасану. Тот иногда выходил, возвращался. Наконец сказал:

— Должен вас на время оставить. Отправляем на задание нашего разведчика, надо дать инструкции.

— Что за разведчик? — спросил Волков.

— Ну как вам сказать,— замялся Хасан.— Один из лучших наших людей. Идет на разведку к пакистанской границе. Мы ждем, что в ближайшее время через границу будет переброшен большой караван с оружием. Стараемся узнать, где и когда. Есть сведения, что караван у границы будет встречать Феруз. Быть может, удастся его захватить.

— Хасан, а мне нельзя повидаться с ним?

— О нем нельзя писать. За ним охотятся. Несколько раз нападали на след. Мы очень его бережем. Два его друга, таких же опытных, как и он, были захвачены и убиты. Он работает на пределе риска.

— Я не стану называть имени, Хасан. Не буду давать

примет. Мне важно на него взглянуть. Только несколько самых общих вопросов!

— Я подумаю,— сказал неохотно Хасан и ушел. А Волков остался у горящей печи, держа исписанный драгоценный блокнот. Снега на горах, туманно-зеленые долины и реки, клетчатые вафельные оттиски кишлаков и полей, над которыми он пролетал, открылись ему в иной топографии.

«Сообщение. В населенном пункте Закре Шариф находится бандгруппа в количестве 40 человек под руководством Малек Абдоля, который раньше был владельцем этого кишлака. Вооружение: американские винтовки М-16, английские винтовки БОР-303, гранатомет. Эта банда не имеет постоянного места пребывания. Одну ночь проводит в Закре Шарифе, другую в Карзе, следующую в Сабзикере, в основном в мечетях. Малек Абдоль отпочковался от банды Феруза».

«В населенном пункте Дех Ходжа имеется террористическая группа, в которой командует Тур Мухаммад. Ранее имел лавку в караван-сараях Ходжи Назар Ахсана».

«Эсхан, сын Сардан Хамид Голя, стремится приобрести фиктивный паспорт для выезда в ФРГ на учебу в школе, где готовят мятежников, чтобы по окончании стать руководителем банды. Является сторонником Феруза».

«Бандгруппе Феруза на днях пакистанское правительство выдало оружие в количестве 1000 единиц. Однако при проверке установлено, что группа получила всего 700 штук оружия. Предполагают, что Феруз 300 штук выдал пакистанским офицерам в качестве взятки. Оружие готовится к перебросу через границу».

«Произведено нападение на пограничный пост Бомбали. В результате выведен из строя БТР, взяты в плен офицер и солдат. Предполагается, что нападение осуществила банда Феруза».

«В селении Лахур находится бандгруппа в количестве 80 человек, среди которых замечены три немца. Все они находятся в мечети, в саду Зей».

Волков пересчитывал записки, слыша урчанье грузовиков за окном, топот сапог и лязг оружия. Старался представить эту зеленеющую, туманно-дождливую землю, где в мечети, сады, караван-сарай врываються зло и террор. Тускло блестя винтовки. Караулят, наблюдают, подсматривают. Взрывают. Бьют по убегающей цели. Калят в огне шомпола. Подносят нож к kloкочущему в ужасе горлу.

И он, Волков, обязан выявить тайный рисунок борьбы, сделать его явным и гласным.

Он закрыл глаза, прислушиваясь к разгоравшейся в нем болезни. И возникло и проплыло над ним двоящееся видение, как образ прошедшего дня. Матово-белые, с недвижными восковыми улыбками головы будд и две других, отсеченных, с кровавыми колтунами волос, оскаленными дырами ртов.

Неслышно вошел Хасан:

— Он согласен. Вы сможете его повидать. Называйте его Навруз. Мы все его так называем. Он живет здесь, в ХАДе. Раньше жил в городе, но потом его стали выслеживать. Он один из самых ценных наших разведчиков. Выполнял много сложных заданий, рискуя жизнью. С его помощью мы ликвидировали несколько банд, обнаружили много складов оружия. Недавно вернулся с очень опасного задания. Ему бы отдохнуть, но дело неотложное, никто другой не справится.

— А что за задание, с которого он вернулся?

— Обнаружили в горах крупную базу, центр, где скрывался Феруз. В пещерах у него был штаб, работали офицеры, готовили планы налетов. Там хранилось полученное из Пакистана оружие, горючее для тракторов и машин, картошки агентов, засылаемых в Джелалабад и Кабул, в государственные учреждения. Навруз проник в эту банду. Жил в пещерах вместе с террористами, уходил на задания, как и они, в засады, на теракты. Подступы к пещерам были заминированы и укреплены. Над укреплениями работали два китайских военных инженера. Он видел, как на эту базу приезжали из Пакистана высокие чины, проводили совещание. Здесь же казнили захваченных в плен патриотов, пытали и мучили. Навруз собрал о банде все необходимые сведения и вернулся к нам. Мы разработали план ее уничтожения. Навруз сидел вместе с летчиками в головном вертолете, наводил машину на цель. Базу разбомбили, уничтожили. Но Феруз ушел — раненный, ускакал в Пакистан на коне.

Они прошли по коридору в соседнюю комнату, где жарко топилась печь, на низеньком столике дымились пиалы с чаем, лежали в вазочках сласти, и навстречу поднялись три черноусых человека в черных костюмах и один невысокий, без усов, в народном одеянии — Волков угадал в нем Навруза.

Хасан представлял Волкова. Навруз серьезно слушал,

кивал в такт его словам, быстро, испытующе взглядывал на Волкова. Волков старался не быть навязчивым ни взглядом, ни жестом, чуть улыбался в ответ, как бы извиняясь за свое появление.

Все сели. Хасан сказал:

— Что вы хотите спросить у Навруза?

— Спросите, мусульманин ли он.

— Конечно,— сказал Хасан.— Не надо и спрашивать: да.

— Если не трудно, пусть расскажет, как пришел в революцию. Как пришел на работу в ХАД.

И пока Хасан переводил и Навруз сначала внимательно слушал, а потом медленно, осторожно, как бы подбирая слова, отвечал, Волков рассматривал его, сидящего за низеньким столиком.

Загорелое, безусое, с черной бородкой лицо. Не жесткое, готовое к мягкой улыбке, в чуть заметном, предупредительно легком наклоне. Золотом шитая тибетейка на стриженной черно-голубой голове. Шаровары. Вольно наброшенная бежевая накидка. Сандалии на босу ногу с торчащими смуглыми без мозолей пальцами. Длиннопалые, коричневые, подвижные руки с браслетом часов. Обычный наряд и облик — торговец, или мелкий чиновник, или даже крестьянин, из тех, что идут по обочинам в час раннего утра кто с мешком, кто с мотыгой. И только глаза, чернильные, в постоянном движении и зоркости, как у Хасана, смотрят, прислушиваются, запоминают, заслоняются непроглядным, отражающим встречный взгляд блеском, и снова: колебание тревоги, ожидание и что-то еще, обозначенное маленькими блестящими точками, устремленными вдаль. Может быть, вера? Во что?

— Он отвечает,— сказал Хасан,— что родился в бедной семье, отец всю жизнь был в кабале, бедствовал, сидел в долговой тюрьме. Их били, унижали, высмеивали. Революция дала им кусок земли. Младшие братья пошли в школу. Они все как бы воскресли, даже больной отец. Они обязаны революции всем. А когда революция оказалась в опасности, он пошел ее защищать. Если революция погибнет, вместе с ней погибнет все, на что он надеется, что любит, чего ожидает. Вот что он говорит.

Ответ был стерил, пропущен сквозь два языка, сквозь разницу культур, представлений, уложен в исчезающе малый отпущенный им на свидание отрезок. Но сквозь все эти фильтры Волков уловил, по жесту руки, неуверенно дрогнув-

шим зрачкам, что в нем, Наврузе, таится некое знание, некая вера — сквозь все донесения и явки, зрелища смертей и насилий, рев вертолетных винтов, когда с подвесок срывались дымные трассы, привязывая вертолет к далеким внизу разрывам, настигая огненным колким пунктиром бегущие врассыпную фигурки, — сквозь все эти атаки и штурмы и пролитие крови в нем пребывает надежда на грядущее благо и братство, как и в том комбайнере, с которым когда-то он, Волков, «загорал» в целинной степи, как и в том рыбаке с Курил, с которым пили вино и пели, обнявшись при свете океанской луны. То предчувствие блага, которое носит и Волков. Ну, пусть не себе, так другим. Не сейчас — через тысячу лет. Он остро почувствовал: расстанутся и уже не встретятся до скончания века, но встреча их состоялась. Как бы сверили секундомеры и влились в единое время, в цепь единых поступков и дел. И судьба одного, пусть косвенно и неявно, вошла в зацепление с другой. И, быть может, поступок одного, выстрел или тихое слово, через сотни причин и следствий дойдет до другого и спасет его от беды. Или не дойдет, не спасет — просто не успеет дойти.

Волков встал, протянул руку Наврузу, понимая, что большего он не узнает, да и не нужно знать. Теперь разведчикам время остаться в своем кругу, допить чай, проводить товарища на темные дождливые улицы, следить, как мелькает и меркнет в сумерках его бежевая накидка.

Хасан отвез Волкова в часть, обещая наутро показать пленных бандитов, захваченное оружие и документы. Там же, в пустующем каменном флигельке, Волков знал, разместился на несколько дней Мартынов.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Продрогший, измученный Волков опоздал к ужину, сидел в полупустой офицерской столовой, ел остывший плов. Хотелось горячего, но и чай был холодным, жидким, и Волков отставил стакан. Рядом доедал свой ужин экипаж афганских вертолетчиков. Командир посмотрел на Волкова серьезными коричневыми глазами и улыбнулся, словно почувствовал его неприкаянность, мгновение его одиночества. Не умел ничего сказать, только кивал. И Волков оценил этот знак сердечности. Устыдился своей слабости, встал нарочито бодро и резко.

— К нам! Эскадрилья! Летать! Хорошо! — сказал ко-

мандир, делая пикирующий жест ладонью.— Много летать, стрелять!

— Приду, очень скоро. И именно в ваш экипаж.— Волков бодро, энергично ответил, но, как только вышел на воздух, в мокрые сумерки с блестящей лужей, отражавшей дождь и фонарь, вновь ощутил тоску, одиночество, слабость. Часовой при его появлении взял «на караул», звякнул прибитыми к бутсам нашлапками.

В комнате для приезжих его встретил Мартынов, широкий, светлоусый, в спортивном костюме. Его мокрое обмундирование сушилось в углу. Взгромоздившись на стул, он прилаживал к лампе самодельный, вырезанный из картона абажур.

— Человеку уют нужен! А то как же! Где мы — там и дом. Где дом, там и уют,— гудел он сверху, радуясь появлению Волкова. Тот устало стягивал пальто, вяло усаживался на кровать, передергивая плечами.— Что, измотались? Хоть ужинали?

— Все хорошо. Жаль, чай был холодный,— пожаловался Волков, снова тронутый чуткостью другого, испытывая неловкость оттого, что вызвал ее.

— Это мы мигом исправим! У нас да чтоб чаю не было! — Он ловко прыгнул, достал из тумбочки кипятильник, стакан. Зарядил стакан водой, все ловко, быстро, каждым жестом выражая радушие.— Тут не дай бог простудиться. Самое что ни на есть время гнилое.

Волков сбрасывал промокшие башмаки, с нетерпением поглядывал на одетый пузырьками стакан.

— И носки, носки снимайте! — командовал Мартынов.— Вот эти наденьте! — Он вынул из чемодана толстые домашние носки, перебросил их Волкову. Тот, не благодаря, не отказываясь, с наслаждением натянул их на холодные ноги, ощутил таящееся в мягкой шерсти тепло.— И еще вот это вдобавок! — Развинчивал алюминиевую фляжку, наливал в пустой стакан зеленоватый настой: — Это эликсир долголетия!

Волков послушно и торопливо, доверяясь во всем Мартынову, выпил и, ахнув, сидел с открытым обожженным ртом, чувствуя в себе огненную струю, шибанувшую спиртом и травами. Мартынов заваривал чай, подносил черный, клубящийся стакан.

— Бойцы не должны болеть! Бойцы должны быть в строю! — похохатывал он, и Волков был рад этому грубовато-ласковому похохатыванию, отдавал себя в полную

власть Мартынова.— А теперь ложитесь и потейте. Вот так! — И он накрыл его поверх одеяла шинелью.— Здесь денька два поживем. Я вас на ноги поставлю, в лучшем виде. А там снова в путь-дорожку, стадо свое погонять. Поведем его к Кандагару.

Этот сильный и нежный взмах, твердо-легкие удары ладоней, подвертывающие шинель под ногу, и собственная разгоравшаяся немощь внезапно вернули Волкову давнишнее, острое ощущение детства. Будто он лежит на просторной материнской кровати с гнутыми деревянными спинками, откуда вся комната, знакомая до последнего штриха и подтека, обретает иной объем, иной неожиданный смысл, доступный только в самом начале болезни, до главного жара и бреда, в том накалявшемся поминутно свечении, где их старый ореховый шкаф начинает бесшумно звенеть своими сучками, волокнами, а золоченые корешки книг обретают сходство с угрюмыми лицами, с теми, кто их написал. Тяжелый, в свинцовой оплетке фонарь, собранный из цветного стекла, открывает в себе бегущего медведя с рубиновой свирепой башкой, изумрудным гневным загривком, косолапыми золотистыми лапами. Бабушка, огорченная болезнью внука, но и вся окрыленная желанием исцелять и спасать, вдохновленная своей решимостью, властно кутает его в одеяло, несет горячую чашку чая, ломтик лимона, блюдечко с малиновым вареньем. И в нем — такая благодарность, любовь к седой голове, ныне исчезнувшей, к исчезнувшему несуществующему фонарю, к рубиновому медведю, вдруг привидевшемуся здесь, в афганской казарме, среди дождя и озноба. Сотрясение всего существа в усилие совместить два разбегающихся со скоростью света времени. Невозможность. Слабость. Озноб.

Мартынов выключил свет и сразу заснул. А Волков лежал, и сквозь жар и слабость из темноты проступал знакомый многогранный образ их исчезнувшей комнаты, светился сучками и волокнами ореховый шкаф, мерцали золотом чопорные корешки французских романов, в граненом фонаре, наклонив рубиновую голову, бежал разноцветный медведь.

Он болел, но болезнь уже отступала, схлынула вместе с жарким ангинно-красным бредом, излетавшим всю ночь из настольной лампы, обмотанной материнским платком. Болезнь отхлынула, оставив по себе светящееся пустое

пространство в душе, ожидающее нового, счастливого, неведомого наполнения. За окном сквозь желтизну рогатого ясеня прозрачный синий мартовский день с воробьиными криками, угольно-влажными перелетами галок, облупленной, в медовых остатках извести, красных кирпичных метинах церковью. Все это парило, струилось над ним и в нем, посланное ему на смену страдания в продолжение жизни. И такая благодарность, любовь ко всему, что его окружает, радуется его исцелению.

В соседней комнате слышатся голоса. В гости пришли старики, бабушкины братья дед Николай и дед Михаил. Сначала в коридоре звонок. Бабушкин торопливо-испуганный бег. Лязг цепочки. Шумные движения больших неповоротливых тел. Шарканье снимаемых калош, тяжелых шуб. Вздохи, отдышки, приветствия. Звуки близятся, вырастают в соседней комнате. Звонкий шлепок в ладоши — это дед Михаил, довольный тем, что одолел крутую лестницу, в тепле, в уюте предвкушая крепкий чай с булкой, хватая себя перед зеркалом за пышную бороду, пропускает сквозь кулак белые волнистые струи.

«А ну-ка, Настенька, поставь нам с братом чайку! А ну-ка, ну-ка!» — бодро командует, подгоняет сестру. Но мать не строго, но недовольно, радуясь, но и с укоризной прерывает его: «Тише-тише! Ванюша спит. У него сегодня первый день как нормальная».

Он быстро закрывает глаза, притворяясь спящим, но и сквозь веки чувствует: оба деда поочередно заглядывают в комнату — беловолосый сияющий дед Михаил и бритый, серебристо-серый и желчный дед Николай. Голоса их после этого звучат почти шепотом, потом все громче и громче, и вскоре они окончательно забывают о нем, а он наблюдает в приоткрытую дверь их отражение в зеркале, и у края зеркальной рамы от их голосов и движений дрожит короткая радуга.

«Все-таки, скажу я вам, удивительный мы народ! Столбы и те не умеем прямо поставить! — Дед Николай, отдышавшись, дает волю накопившемуся раздражению, наполняя дом трескучим электрическим смехом. — Идем мы к тебе, Настенька, по вашему переулку, а у вас, если ты видела, новые столбы взамен старых ставят. Ну, казалось бы, чего проще прямо их врыть. Так нет же! Один туда, другой сюда, ни одного прямо. Я и говорю их прорабу: ведь так, говорю, захотеть поставить — не поставишь! Ведь это умудриться надо! Ведь это искусство, говорю, целое!»

«А тот-то, прораб, благодарный, в ответ ему, конечно, пульнул! — Дед Михаил хохочет, забавляясь раздражением брата. — Я ему, брату твоему, говорю: ну, позволь, Николай, ну нельзя же так! Пора наконец смириться! Пора наконец понять, что мы с тобой старики! Так нет. Пока сюда шли, он десять раз взрывался. К кому только не цеплялся».

«Да-да,— горько соглашается дед Николай, каясь, хлопая себя по лбу, длинноного шагая по комнате. — Все меня раздражает, все! Не могу себя в руки взять. Должно быть, скоро с ума сойду».

«Но позвольте, нельзя же так!» — делает вид, что возмущается, дед Михаил.

«А я вам вот что скажу, Коля, Миша. — Бабушкин голос чуть дрожит, торжественно возвышается от волнения, от сочувствия, желания поделиться с братьями. И вся она хорошо видна ему, маленькая, ладная, сухая, примостившаяся в низеньком креслице на крохотных медных колесах: белая гладкая голова, быстрый, ловко-изящный взмах руки в широком рукаве, лучистый, на братьев обращенный взгляд. — Пока моя Таня на кухне, я вам признаюсь. Я тоже стараюсь смириться, стараюсь взять себя в руки, унять гордыню. Тане не возражать, не вступать в пререкания. Стараться побольше молчать. Ах, как это трудно! Как часто срываюсь и потом раскаиваюсь! Но я все-таки борюсь с собой и надеюсь, в конце концов мне удастся победить себя. Когда я молчу, то обращаюсь к прошлому. Вспоминаю папу и маму. Сколько любви и смирения было в маме! Сколько безграничной, отданной нам всем любви!»

Голос ее высок, светел. И он знает, в ней присутствуют сейчас дорогие, исчезнувшие образы, данные ему лишь негнущимися фотографиями с золотыми обрезами в их фамильном альбоме, а ей — цветом, запахом, ветром, колыхавшим цветы в саду, где ее отец, его прадед, большими садовыми ножницами подрезает кусты чайных роз, а мать, прабабка его, подвешивает плетеный гамак, роняя с плеча шелковую скользкую шаль.

«И эта любовь,— продолжает она,— придает мне силы. Вы знаете, как я люблю мою дочь, вас, братья мои, внука Ваню, моего милого доброго мальчика!»

Это обращение к нему, не лицом, не голосом, а всей любящей сутью, готовностью восхищаться, спасать, приносить непрерывную жертву — это обращение любви коснулось его, становясь навсегда частью того мартовского синего дня, его исцеления, предчувствия необъятной, предстоя-

щей жизни, в которой всегда над ним и в нем будет присутствовать бабушкина любовь.

Уже после, в глубокой старости, когда исчезли и эти певучие, взволнованные интонации, и изящные быстрые жесты, и коричнево-золотые лучи в ее зорких глазах, а осталась тусклая неподвижность, стынувшая дремота и немощь, погруженность в немоту, глухоту, часами сидела все в том же креслице на колесиках, свесив голову почти до колен, не откликаясь на материнские нарочито громкие звяки и возгласы; братья, подруги, друзья, все ее современники уже ушли, а она задержалась в недвижимом воздухе обветшалой комнаты, где в зеркале по-прежнему дрожала короткая радуга,— она оживала только на миг, когда он появлялся. Узнавала его не слепыми глазами, не слухом, а последним не угасшим в ней чувством, непрерывным ожиданием. «Ваня, ты?» Он подходил, целовал ее руку и голову, ее поредевшую седину. Чувствовал, как вспыхивает в ней искоркой радость, озарится и погаснет,— и опять дремота: все хорошо, здесь ее внук, ее милый, любимый мальчик. А в нем вдруг такая боль, такие близкие слезы. И боязнь этой боли и слез. Он словно отмахивался суеверно, убегал от ее последней любви, от своего бессилия ее спасти, сохранить.

В последние дни, когда наступила развязка и смерть ее подступила и вызвала в ней встречный, последний протест не желающей исчезать жизни, она как бы очнулась. Отверзлись уста, глаза. Она сбросила с себя неподвижность. Но ее воспаленное зрение видело не их с матерью, а обступившие ее кошмары и ужасы, в которые превратились видения прошлого. Ее речь, непрерывное невнятное бормотание, была бредом. Она вскакивала, порывалась бежать. Ей казалось, вокруг все горит, шлет на нее, умирающую, пожары. И мать, сбившись с ног, денно и ночью удерживала ее, обнимала хрупкое, сотрясаемое ужасом тело, старалась отдать ей часть своей жизни, тепла.

Он приехал тогда из Испании, восхищенный блеском Мадрида, огненным, из музыки и весны, где жизнь была похожей на театральное действо, в котором тонула и пряталась политика, борьба бесчисленных партий: народ ликовал, сбросив Франко. Он привез в себе это зрелище, старался его написать в репортаже, не потерять это чувство красоты и веселья.

Пришел к ней, умирающей, в свой старый, уже покинутый им дом подменить мать на дежурство у ночной постели,

дать ей, измученной, передумать хоть единую ночь, ухватить несколько часов сна перед близким, уготованным ей испытанием. Она заснула мгновенно, бросив себе на глаза платок, тот самый, линиялый и красный, в который кутала когда-то лампу во время его болезней. А он в другой комнате, где лежала и бредила бабушка, уселся за очерк. Она вскрикивала глухим хриплым голосом, кого-то гнала, указывала сухим черным пальцем в угол, обнаруживая в нем что-то ужасное. Он бросал рукопись, устремлялся к ней. Усаживал ее,—она требовала, чтоб ее усадили. И тут же укладывал, взбивал подушки,—она хотела лечь, вытянуться, не находя места своему маленькому, исстрадавшемуся телу. То подносил ей пить, то ловил на лету выбиваемую из рук чашку. Ее хрип и вороний клекот. Московская ночь за окном. Знакомый разноцветный фонарь, в котором исчезло навеки и уже не являлось испуганное видение медведя. Старинный письменный стол в маленьких темных кляксах, оставленных им в детстве и в детстве — его отцом. Он не мог работать, не мог писать. Невоплощенный, в танцах и песнях, бушует Мадрид. Бабушка зовет и стонет. Ночь бесконечна. Усталость бесконечна. И вместе с усталостью поднимается ропот. Он гонит его, но ропот зарождается в темных звериных глубинах под его молодым и здоровым сердцем. Ропот на нее, умирающую. И тайная, отчаянная мысль, отвратительная и трусливая, которую бьешь наотмашь, а она пристаёт: «Ну скорей бы, скорей бы все кончилось! Ее муки и наши с мамой. Развязала бы мать и меня!» И словно в ответ на это, откликаясь на его предательство, что-то в ней лопнуло, оборвалось со стоном, опрокинуло ее, повлекло, уменьшая, удаляя. И он погнался за ней в слезах и раскаянии, желая вернуть, взять назад неверное слово. «Бабушка, ты слышишь меня? Ты меня узнаешь? Я кто?» И она, исчезая, сквозь клекот и хрип, уже из тьмы своей смерти, последним страшным усилием вернулась к нему на мгновение: «Ты — Ваня! Люблю тебя!» И ушла навсегда, оставив ему это «люблю».

Но это потом, много позже. А теперь — вечеряющий мартовский воздух с янтарным свечением старого дома напротив, сквозь ветви розоватого ясеня. Его раскрытые, увлажненные от зоркости и восхищения глаза. И бабушка, подаваясь вперед из кресла, делает свой изящный, останавливающий братьев жест.

«Коля, вспомни, пожалуйста, как звали того немца, которого ты к нам в дом приводил, он еще так потешно

изображал на губах разные музыкальные инструменты. Все никак не могу припомнить».

«Ну как же! — откликается дед Николай, остывая от желчи и раздражения, и то, что он вспоминает, свежо, весело, не побито временем. — Пауль Шмютке! Действительно, умел изображать на губах музыкальные инструменты. Колокола, флейты и барабаны и все одновременно. Помнишь, как он был польщен приемом, оказанным ему в нашем доме? Папа это умел. А у них, когда в Лейпциге был, такая скудость. Чашечку кофе подали да сухарики!»

«А что же ты хочешь, Европа! — Дед Михаил осуждает Европу и одновременно ставит ее в пример. — Копейки лишней не бросит!»

«И что удивительно! — продолжает дед Николай, вовлекаясь в движение памяти и весь озаряясь, молодея, округляясь лицом и голосом. — На фронте в Галиции во время атаки мне раз показалось, что я увидел в окопе Шмютке. Его лицо, губы такие пухлые, характерные. Я не мог остановиться, бежал вместе с ротой, а когда атака закончилась и вернулся в окоп, его уже не было ни среди живых, ни среди мертвых. Но мне кажется, что все-таки это был Шмютке!»

«Ну конечно, кто же еще! — Дед Михаил подсмеивается и над братом, и над Шмютке, и над той атакой, словно все это было шалостью, не связанной с главной, достойной человека задачей — осмыслением мира, философским обнаружением ясной, заложенной в историю и вселенную истины, чему он посвятил себя в юности, слушая курс в Гейдельберге у лучших профессоров. Но сейчас ему дороги их общие воспоминания, и он снисходительно замечает: — Как же, этот Шмютке, я помню».

«Представляешь, Настенька, прихожу в университет, ищу Михаила. Иду и наугад прохожего спрашиваю: «Не скажете ли, где здесь проживает русский студент?» И тот мне с места в карьер отвечает: «Гер Микаел? Аус Руслянд? Аус Ивановка? Вот здесь!» Прямо напротив его дома стою. Захожу к нему и что же вижу? На улице ясный день, солнце светит, а он, Михаил, шторы опустил, свечи зажег и при свечах читает! Это он себя специально настраивал на чтение Канта. Фауста из себя изображал».

И дед Николай смеется счастливо, молодо, широко прохаживается по комнате, и видно, как бодро поднялся и вздрагивает хохолок на его седой голове.

Позднее все детство и юность пройдут под влиянием

этого нервного, доброго, благородного старика, блестящего дилетанта, одаренного щедро природой, ни в чем не достигшего совершенства. Чадолюбек и семьянин, обожающий детей и домашний очаг, он неудачно женился, в доме его всегда был сквозняк, он остался бездетным. В химии отличный экспериментатор, носившийся с созданием фундаментальной теории, он основал лабораторию топлива и смазочных веществ, но не продвинулся далее серии оригинальных опытов. В живописи был знаком и дружен с художниками «Мира искусств», держал свой салон, сам рисовал: его ало-зеленые и жемчужные девы, кони, беседки долго пылились за шкафами родни, висели на дачах у родственников, коробясь и погибая от сырости. Но главным его даром была общительность. Страстный и нервный нрав кидал его навстречу людям — ссорам, дружбам, любовям. Всегда он был в центре кружка, всегда к нему шли и тянулись люди. Он всем раздавал, всех одаривал. И этот нрав не изменили ни обе войны, ни ссылка, ни тяготы страшных, выпавших на долю его поколения лет. Он, Волков, достался ему мальчишкой, не зная отца. Дед был для него, выросшего среди женщин, олицетворением мужских черт, привлекательных, пленительных, которым хотелось подражать. Когда он вырос и стал интересен деду Николаю иначе, начались их серьезные встречи и собеседования. Он любил забегать к деду на Страстной бульвар в огромный дом с ухающим старым лифтом, и, сидя в просторном неудобном кресле среди множества картин, икон, фарфоровых ламп и статуэток — подарков друзей-мирискусников, они обсуждали темы политики и культуры, вернисажи московских художников, книги, а также темы его молодой, ищущей самоопределения жизни.

Когда дед Николай состарился, одряхлел, утратил подвижность и возможность быть на миру, он, напротив, пустился в бесконечные странствия, являлся к нему еще полный самолетных гулов, мокрых запахов целинной пшеницы, можжевеловых ветров нефтяного Приобья, звона и грохота военных маневров. Дед Николай встречал его жадно и радостно. Требовал рассказов, зажигался, возмущался, судил. Но и восхищался, извлекал из его отчетов пищу для стариковских размышлений о современной России, государстве, народе, сквозь свой прирожденный скепсис, горчайший жизненный опыт находил утверждающую силу и истину. Но постепенно, так складывалась жизнь, все реже становились посещения на Страстном. Дед Николай тайно обижался,

упрекал, зазывал, он приходил, видя его дряхление, угасание, распад его острого живого ума.

Это было в марте, в мокрый, сырой, заваливший Москву снегопад. Волков только что вернулся с границы. Еще жили в нем автоматные трески, бои на льду, копотная колея по белому снегу, оканчивающаяся грудой дымногорящей чадной брони, и убитый китаец с кровавой сосулькой в волосах и пластмассовой красной звездой на шапке, и кумачовые гробы, из которых белые замороженные лица пограничников смотрели в бледное дальневосточное небо. Он все это должен был описать в своих репортажах и очерках. Газета ждала и требовала. Ночные дежурства над полосой. Он все собирался забежать к деду Николаю, поделиться, показать обретенную китайскую с шапки звезду. Дед Николай звонил, не заставлял, передавал жене, собирался что-то сказать, что-то важное. Помнится, он, Волков, пробежал по Страстному, сквозь снежные летучие метины смотрел на его подъезд: зайти — не зайти. Нет, после, немного после. Пробежал мимо, гонимый заботами. А наутро, еще в темноте, — ранний телефонный звонок. Звонила мама: дед Николай умер ночью, скоропостижно, от разрыва сердца. И потом, глядя на огромный, дощатый с блестящим гвоздем гроб, на каменное длинное тело, на отставший седой хохолок, не плакал, а испытывал боль изумления и раскаяния. Все думал: что же такое он собирался ему сообщить? О чем столь важном стремился перед смертью поведать? Так и придется теперь жизнь доживать, не узнав, что хотели сказать ему эти сомкнутые, такие знакомые губы, столько раз целовавшие его детский лоб...

Мать, он слышит, внесла горячий заваренный чайник, и душистый, смуглый, тягучий аромат, излетающий из синего с золотом носика, достиг его, и старики, он видит, потянулись к столу. Гремят чашки, хрустальная с шариком крышка масленки. Режут белую, купленную бабушкой булку. Осторожно острозубыми щипчиками раскалывают сверкающий сахар.

«Как папа любил свежую французскую булку! — Дед Михаил наслаждается хлебом, чаем непомерно черной заварки и посетившими его воспоминаниями другого застолья, другого, давнишнего чаепития. И это наслаждение звучит в его пышном просторном голосе, разлито во всем его дородном и щедром облике — в бороде веером, в белой гриве волос, в синей толстовской блузе, в том, как жует и вращает глазами, подсмеивается над братом, не умеющим так

наслаждаться.— А все-таки папа был удивительный человек!»

«Да, удивительный! — подхватывает бабушка.— Грамоте не умел, а в тридцать лет выучился писать и читать. И нам дал прекрасное образование. А как он интересовался всем! Какой интерес в нем вызывал Лев Толстой, вы помните? Вначале, не читая его, он осуждал взгляды Толстого на мораль, на церковь, соглашался с отлучением. Но вот, я помню, мы ехали с ним в Женеву, и я взяла с собой «Воскресение». Он увидел, спросил, что читаю. Я показала. Он не рассердился, не упрекнул, только нахмурился. Видела, недоволен. Я к ночи кончила читать, положила книгу на столик и заснула. А он ее взял и стал перелистывать. Просыпаюсь ночью, дверь наша в купе открыта, папа стоит на пороге, подставил книгу под верхний свет в коридоре и читает. Заснула. Опять просыпаюсь. Стоит и читает. Так до утра и читал. А утром, восхищенный, потрясенный, говорит: «Какая книга! Какая прекрасная книга!» Да, удивительный был человек!»

«А помните? — Дед Михаил звал их, манил туда, где сам уже пребывал, торопил их, чтобы скорей появились рядом.— Помните, как папа рано вставал? Мы еще спим, а он уже в сад с ножницами. И нарезает розы. Нам, братьям,— красные. А тебе — белые. Просыпаемся — и розы, папа!»

Дед Михаил, благодущный и вспыльчивый, вечно увлеченный и вечно праздный, себялюбец и «великий умач», как его называла бабушка, привлекавший к себе оригинальным умом, умением непрерывно и красочно размышлять, присутствием в себе исчезнувшей ныне гуманитарной культуры, основанной на классическом фундаменте немецкой философии, к которой он прикоснулся в университетах Германии,— дед Михаил с детства был для Волкова вдохновителем и кумиром, оказавшим на него неизгладимое влияние подбором книг и суждений, долгими собеседованиями, нагружавшими его незрелый, быстро устающий разум неожиданными, увлекательными и мучительными вопросами о смысле жизни, о природе вещей, о космосе, духе и божестве. Он был задержавшимся на земле представителем исчезнувшей эры, чудом, уцелевшим в новом грозном укладе. И стремился сделать его, юнца, своим единомышленником. И это отчасти ему удавалось в тот период, когда дедовский опыт, дедовская бурная и резкая лексика заслоняли от него, от внука, действительность.

Это длилось до той поры, когда он сам, Волков, мужая, входя в постепенный, но все более тесный и страстный контакт с миром, с фантастической, открывшейся ему реально-стью создаваемой цивилизации, великих, в муке, процессов и светоносных чаяний, он сам стал открывать свои собственные истины и формулы, не совпадавшие с дедовскими. Их встречи и продолжения бесед зачастили несогласиями и распрями, превратились в непрерывные споры, в которых поначалу одерживал верх интеллект деда Михаила, его острый могучий разум, отточенный богатый язык. Волков уходил уничтоженный, унося свою правоту, не умея ее отстоять. Но по мере мужания и роста, увеличения запаса понятий, с каждой поездкой и встречей он умножал аргументы. Он креп, а дед Михаил дряхлел, утрачивал ясность ума, все больше сбивался на бестолковый крик и упреки. Почти прогонял его. Он, Волков, копил свой опыт, выстраивал мировоззрение в постоянной полемике с дедом, молчаливой и ясной. Он стал его антиподом. Обращал на деда всю энергию своей публицистики, продолжал его любить, горя о его увядании.

Помнится, писал очерк после поездки за Урал — про целинный хлеб, армаду техники, изгрызенной, изъеденной страдой, сваленной в ржавые, устилающие степь кладбища. О великих усилиях и жертвах освоения территорий, соизмеримых с ведением войны. Тратах, которые несет народ, пристегивая к своей и одновременно к мировой экономике то целину, то нефтяные пласты Сибири, то дальневосточные земли. Прочитал черновик деду. Тот хрипел и зло хохотал, захлебывался в кашле, грозил кулаком, тыкал отечным пальцем в потолок. Бестолково кричал о Столыпине, о гармоничном переселении, о «России — житнице Европы». Старался уязвить и обидеть его больше. Волков ушел, решив, что с ним порывает. Тот, видно, опомнился. Звонил, звал к себе. Через мать, через бабушку просил у него прощения. Дед был очень плох, одинок, задыхался в своем одиночестве. Ему хотелось видеть внука, хотелось живых впечатлений. Но Волков, весь в обиде, ожесточившись, не шел. «Нет, не пойду, ни за что! Безумный и злобный старик, помеха моей работе, моему мышлению, моей, новой, открывшейся мне философии».

Когда тот внезапно умер и Волков сквозь слезы смотрел на его изумленное, с поднятыми бровями лицо, ему казалось, что изумление деда обращено на него: «Как ты мог не прийти к старику, на мой последний призыв? Ты, мой любимый

внук!» И потом всю жизнь он будет вспоминать это укоризненное изумление в смерти.

«Нет, папа был неповторимый человек!» — Голос деда Михаила словно лучится, и он видит его охваченное сиянием отражение, белый перелив бороды.

«Хоть и неповторимый,— в разговор стариков вступает наконец и мать, насмешливо, но с почтением, с обычным своим сарказмом, не злым, а только снижающим степень царящего умиления, с этой легкой своей усмешечкой на милом тонконосом лице,— он сквозь стену угадывает это ее выражение,— как объясните, что при всей его доброте и духовной широте, как это он умудрился нажить состояние? Деньгу скопил, пускал в оборот, дом купил каменный, потом другой. Как это может, объясните мне, совмещаться в человеке с широкой душой? Ведь это же скопидомство!»

«Чего ж тут не понимать-то! — сердился дед Михаил. — Был, и все тут! От его денег знаешь сколько кругом народу кормилось? Когда он умер, толпа за гробом шла. Все чем-то были ему обязаны, все благодарны. У меня до сих пор где-то газета осталась с некрологом, с сообщением о небывалых похоронах».

«Есть газета? Так ты мне найди, передай,— уже без иронии просит мать. — Надо нам, я думаю, семейный архив собрать. Я все собираюсь вас расспросить о нашей родне, о пращурах. Хочу записать семейную хронику, чтобы Ванюше осталась».

Он знает, она уже пишет ее. Временами видит ее над толстой с золотым обрезом тетрадь, куда своим округлым бегущим неразборчивым почерком записывает главы о роде — свадьбы, смерти, сражения. И потом в ее бумагах он найдет эту муаровую тетрадь с меловыми листами, обрамленными тонкой золотой паутинкой, и станет сидеть вечерами над бегущими строчками, готовый целовать ту пустоту, где лежала ее рука.

К старости ее все раздражало, все казалось направленным против нее.

Перед очередной командировкой, перед тем как поехать в Африку, где в джунглях сибирские, поднаторевшие в Тюмени строители тянули нефтепровод, он явился на дачу: мать, жена и сын проводили в деревне душное, из ливней и трескучих гроз лето. Волков был настроен на мир, на прощальный, с самоваром и свежим вареньем стол, «патриархальный», как его называла мать. И опять, как часто случа-

лось, из этой всеобщей торжественности, из внутренней готовности к празднику, вдруг из малости — то ли неверный его тон или жест, с готовностью подхваченный матерью, усиленный ею, обращенный моментально к нему и вновь отраженный, ввергнутый в жуткую, установившуюся, неподвластную им лавину, сокрушающую их, — вдруг возник этот распад, эта гибель.

Она лежала, билась в рыданиях. «Какое крушение... Сын... Потеряла... Зачем, зачем я жила?» И в эту булькающую невнятную речь он упал со своими слезами, своей жаркой сыновьей любовью.

Через день он улетел в Нигерию и больше уже не видел мать.

Но это потом, не теперь. В комнате, где он лежит, исцеленный, превращенный в зрение, слух, в этой комнате уже совершенно темно. Не видны ни лампа, укутанная материнским платком, ни рогатый ясень в окне. Но в соседней комнате свет, оранжево-теплый от матерчатого над столом абажура, накрывающего их, сидящих. Бабушка тянется ложкой к вазочке с вареньем, туда и обратно. Не донесла, уронила на скатерть розовую прозрачную клясочку. Дед Николай с серебристым хохолком тут же ловко пальцем снимает вишневую капельку, слизывает с пальца. Дед Михаил жует, шевелит бородой, усами, готовится сказать что-то насмешливое то ли сестре, то ли брату. Насмешка уже готова, но булка еще не прожевана — он смеется одними глазами. Мать, молодая, еще окруженная ими, защищенная их жизнями, их любовями, накаливает щипчиками сахар.

Он всех их видит из своей темноты, из своего исцеления, из своей прозорливости, которая стеклянно расширяется, становясь все прозрачней и шире, наподобие сферы, превращается мгновенным ударом в миг ясновидения. Он вдруг прозревает то время, когда их уже больше не будет, они все умрут, а он сам, постаревший, одинокий, больной, будет лежать на какой-то железной кровати в какой-то чужой стороне и о них вспоминать: как они сидят сейчас за столом, озаренные оранжевым светом, — за окошком промозглый дождливый вечер, и страх, и звук жестяного унылого выстрела, — все это ему предстоит. Время кинулось молниеносно вперед, осуществилось на миг в том, другом, ему предстоящем вечере и вернулось обратно: оранжевая открытая дверь. Они сидят за столом, все еще здесь, все любимы...

Волков проснулся от окриков за окном, ворчания двигателей. С трудом открыл глаза, видя Мартынова, полуголого, растирающего мускулы полотенцем. Тоскливо почувствовал, что ломота осталась, жар остался, и лежать бы вот так, пережидая шумы и крики, безвольно сплавляясь по течению болезни.

— Иван Михайлович,— наклонился над ним Мартынов.— Я вижу, желтенький «фиат» подкатил. Не вас ищут?

— Да-да,— мгновенно, одолевая немощь, единым рефлексом воли мобилизуя тело, заостряя его в мутное утро, Волков сел, отодвинув в себе болезнь в дальний, запасной отсек плоти, расчищая место для работы и действия.

— Сегодня вечером, если живы будем, на рыбалку хотели поехать. Вертолетчики из афганской эскадрильи приглашали,— Мартынов уже оделся, качал на ремне автоматом.— Вы не разболелись? Не задерживайтесь, приходите пораньше. Рыбки свежей отведаем,— вышел, стукнув дверью, а Волков проверил блокноты и ручки, прихватил аппарат, медленно, сберегая силы, спустился вниз, вписывая себя в дождливый день, в промозглый камень казарм. Смуглый, худой, пружинно взведенный Хасан открыл дверцу канареечного «фиата». Ехали по блестящей улице, словно осыпанной конфетти — тюрбаны, тюбетейки, витрины, наклейки на кузовках моториш.

Во дворе у каменной стены ХАДа солдаты расставили аккуратными, как в оружейной лавке, рядами винтовки, карабины, автоматы, а рядом, не успев разобрать, грудой свалили пистолеты, ножи, тесаки, среди которых в черном железе бог знает как оказалось медное стремя, стертое от бесчисленных прикосновений подошв. Волков склонился к оружию, вдыхая кислый запах растревоженной стали, оружейной смазки и тонко уловимое, живое, не музейное дуновение горелого пороха.

Тут были американские автоматические винтовки и пистолеты-пулеметы, знакомые ему по Вьетнаму и Анголе, голубовато-вороненные, но уже с зазубринами и царапинами. Приклад одной винтовки был расщеплен пулей, так что лопнуло дерево и обнажилась скоба. Лежали рядом западно-германские портативные автоматы с убирающимся, телескопическим стволом, почти карманные, удобные для ношения среди восточных просторных одеяний: прямо сквозь накидки — огненный смерч в упор. Отдельно скопились ки-

тайские автоматы, на вороненой стали были выбиты иероглифы.

Но особенное, необъяснимо мучительное любопытство вызывали у него старые длинноствольные английские винтовки, давно утратившие воронение, с бело блестящими набалдашниками затворов, изъеденные раковинами, с лысыми, в трещинах и скрепах прикладами, сквозь которые были пропущены сыромятные ремни. Оружие бедняков и кочевников, горных пастухов и охотников, ухоженное, семейное, унаследованное, близкое, как жена и очаг, таящее в себе скачки, горные пики, выстрелы в орла и барса,— обманутое оружие, стреляющее само в себя.

— Эти винтовки — не глядите что старые.— Хасан, не касаясь, спрятав руки за спину, кивнул на стволы.— Они их любят больше любых автоматов. Полтора километра — прицельный выстрел. В лоб! — Он коснулся острым пальцем смуглой переносицы, где сходились угольные брови, держал мгновение, вращая белки.— Пробивает бэтээр. Снайперская война. Бьют из засад и укрытий.

Волков, кутаясь в пальто, не мог отвести глаз от стертого ствола. «Вздор! Не меня!.. Не мне!»

— Вот обратите внимание,— Хасан указал на круглую противотанковую мину с клеймом «США».— Стали к нам поступать в большом количестве, что предвещает начало минной войны. Появились также зенитные пулеметы и даже мини-ракеты с инфракрасной головкой. Поток оружия увеличивается, главным образом, через Пакистан, через горы.— Он понизил голос: — За этим и отправлен Навруз. Ожидается крупный караван. Может, там будет Феруз. Если бы мне повезло!..

Волков делал снимки оружия отдельно и общим планом. Мину с клеймом, автоматы с иероглифами, груды ножей, пистолетов. Уходя, еще раз оглянулся: от старинной винтовки тянулся к нему незримый, догонявший его холодок, словно неясное, к нему обращенное слово.

В жарко натопленном кабинете Хасана, наслаждаясь пышущей печью, он рассматривал документы, захваченные при разгроме бандитских баз. Партийные билеты с зеленой оттиснутой эмблемой корана. Контрреволюционные листовки, призывающие вступать в бандитские отряды.

Хасан стоял за спиной у Волкова, переводил, комментировал.

— В той операции, подготовленной Наврузом, мы захватили, я вам говорил, штаб с партийным архивом. Можете

отметить себе, сославшись вот на эти бумаги: бандиты стремятся выдавать себя за идейных борцов. Даже «партию» создали. С партийными функционерами, с аппаратом пропаганды, с партийной кассой и членскими взносами. Есть еще одно обстоятельство, которое нас очень тревожит. Среди картотеки нашлись имена людей, проникших в ряды революции. Эти люди сейчас в Кабуле. Допросы пленных показывают, что усиленно создается «пятая колонна», мятежников тайно направляют в Кабул. Я, своим разумением, ожидаю в скором времени обострения обстановки в столице.

— Хасан, я забыл спросить, какие новости за ночь? Что произошло тут, в городе?

— Нападение на солдатский пост у электростанции. Один солдат ранен. Один мятежник убит.— Он повернулся на рык тяжелого въезжавшего во двор грузовика.— Привезли пленных. Можете приступить.

В маленькой тесной прихожей с распахнутой дверью, сквозь которую виднелся черно-зеленый сад с огненными метинами апельсинов, сидели на корточках люди. Солдаты взяли «на караул».

— Вы как хотите разговаривать? По одному или со всеми сразу? — Хасан курил, косо поглядывая на пленных, и те, увидев его, сразу встали, теснее друг к другу подвинулись.— С кого начнете?

— Все равно.— Волков вглядывался в коричневые лица, заросшие в тюрьме неопрятной щетиной, улавливал полотняные, прелые запахи, исходящие от их одеяний.

«Вот он, реальный враг,— думал он.— Кто? Чем живет? Что чувствует? За что убивает? За что умирает сам?» Он хотел все это пережить и понять, как бывало не раз, сведенный зрачок к зрачку пусть с пленным, безоружным, но реальным противником — Вьетнам, Лаос и Ангола,— или свободным, уверенным, действующим в своей стихии,— Брюссель, Париж, Бонн,— он хотел понять человека, связь его духа с политикой. И этих, в прихожей, чьи ночные засады, выстрелы в спину, поджоги, устрашающие отсечения голов вошли в сочетание с громадным, заложенным в мир механизмом борьбы и соперничества. Их старинные стертые ружья с рассеченными ложами оказались помноженными на атомные топки авианосцев, посылающих штурмовики над гладью персидских вод, на стартплощадки «першингов» и крылатых ракет в Европе.

Вслед за Хасаном и пленным он прошел в ту самую комнату, где вчера встречался с Наврузом. Смотрел, как плен-

ный усаживается, скрешивая ноги в драных калошах, складывает на коленях большие крестьянские руки в грязных мозолях.

— Хасан,— спросил Волков,— ведь это крестьянин, не правда ли? Неужели он не хочет земли, не хочет отдать своих детей в школу? Почему он идет против революции, против народной власти?

— Он не знает, что он против народной власти. Для него феодал — власть. Он неграмотен. Всю жизнь, с детства, получал из рук феодала лепешку и был ему благодарен, как богу. Когда мы взяли у феодала землю и хотели отдать ему, он не взял, а в ужасе отшатнулся. Когда феодал ушел в Пакистан и позвал его за собой, он послушно пошел. Когда феодал передал ему автомат и велел убивать, он стал убивать. Он — тень феодала, раб феодала.

— Как его имя?

— Хамид Мухаммад. Он убил семерых. Двух солдат. Двух служащих госпредприятия. И трех неизвестных.

Жар, озноб, моментальная слабость. Преодоление слабости усилием воли, сжимающей в клин зрение, нервы и мысль, устремляющей этот отточенный клин навстречу сидящему. Желание понять, ухватить сквозь барьер языка и веры, сквозь кровавый вал, воздвигнутый борьбой и политикой, стремление коснуться его ядра, сердцевины, ощутить, пусть мгновенно, пусть не в любви, а в ненависти, как сомкнутся две их судьбы, и в этом контакте сверкнет человек, сверкнет истина. Но сидящий уходил от контакта, уклонялся глазами, воздвигал непрозрачную стену, о которую Волков тупил свой отточенный клин.

— Спросите, Хасан, пусть расскажет о базе, где проходил подготовку.— А сам помимо вопроса все пытался поймать глаза, их выражение, но тот их прятал под веками.

Хасан другим, не тем, что разговаривал с Волковым, резким, лязгающим голосом задал вопрос. Пленный поспешно кивнул, быстро стал отвечать.

— Он говорит,— переводил Хасан, сохраняя в лице двойное выражение: любезное и терпеливое для Волкова и грозно-презрительное для террориста,— говорит, что база его находилась на расстоянии двадцати километров от Пешавара. Что там, на базе, есть большие каменные дома и глиняные сараи. Она окружена колючей проволокой, их никого не пускали наружу. Их обучали один араб из Саудовской Аравии и один из Египта. Часто видел приезжавших аме-

риканцев, в военном и в штатском. Но американцы его не обучали.

— Чему обучали, чему? И какая вменялась тактика? Тактика заброса через границу и действия здесь, в Афганистане? — Волков писал в блокнот, то и дело подымая глаза на сидящего, словно делал его портрет, вычерпывал его сущность. Но тот сидел потупившись, каменно держа на коленях тяжелые руки. Отвечал почти не раздумывая, словно вопрос задавался множество раз, ответ был готов и заучен, занесен в протокол. Да и Хасан говорил как о деле обычном, знакомом, будто бегло читал с листа:

— Обучали взрывному делу. Куда класть взрывчатку. Мост, электропередача, дорога. Как укрыться в горах, обходясь без воды и пищи. Как маскироваться от вертолетов. Говорит, их перебросили к границе на грузовике, всего шестьдесят человек. У границы они разделились на пять групп по двенадцать человек. Перешли ее ночью по овечьей тропе. Потом их группа разделилась еще на четыре части. Они уже действовали втроем. В их задачу входило сколотить вокруг себя банду. Они ходили по деревням, стучались в дома, требовали у семьи кого-нибудь из сыновей к себе в отряд. Иначе грозили убить всю семью. Так вырастала банда. Действовали обычно ночью, выходили на дороги. А днем подымались в горы. Продовольствие забирали у крестьян. У них же — теплую одежду, деньги. Хранили все в пещере.

— Как его взяли? С оружием в руках?

— С оружием. Во время теракта.

Пленного увели. Он ушел, чуть поклонившись, величаво, как мантию, подхватив полы накидки. Так и не взглянул ни разу на Волкова.

Вот здесь же, на этом диванчике, сидел вчера Навруз, как две капли похожий на этого, мусульманин, крестьянин, сменивший соху на винтовку. Их, столь похожих, разделила, рассекла революция. Отодвинула одного от другого на длину винтовочного выстрела.

— Сейчас приведут человека, — сказал Хасан, — который направлялся в Кабул. Он из тех агентов, которые проникают в круги молодежи, интеллигенции, подбивают их к саботажу. Это достаточно крупная птица, бывший преподаватель Кабульского университета. Можете говорить с ним по-английски.

Уже вводили высокого молодого мужчину в каракулевой шапочке над смуглым широким лбом, в раздуваемых при ходьбе шароварах, в ловко сидящем дорогом пид-

жаке. Лицо, небритое, осунувшееся, было умным и нервным. Он сел чуть небрежно, словно собирался закинуть ногу на ногу, невольным движением глаз и пальцев отыскивая сигарету. Замер, удерживаясь на неуловимой грани свободы и подчинения. Поднял на Волкова глаза, не выражая ими ничего. Волков, вновь сосредоточиваясь, одолевая хворь, зрачками в зрачки стремился войти в контакт.

— Простите, как ваше имя? Мне сказали, вы говорите по-английски.

— Да,— ответил тот, чуть помедлив, неокрашенным голосом, не отводя от Волкова глаз, в которых что-то тихо, неясно мерцало.— Мое имя НаDIR Голь.

— Вы член исламской партии?

— Я социал-демократ.

— Но тем не менее вы исповедуете принципы ислама в политике? Вы видите будущий Афганистан исламской республикой?

— Я этого не сказал. Не надо быть ортодоксальным мусульманином, чтобы исповедовать принципы ислама в политике. Гульбедин, наш лидер,— не ортодоксальный мусульманин, однако, когда это стало необходимым, он взял коран и пошел в мечеть. Принципы ислама шире, чем индивидуальные или партийные убеждения. Это национальные афганские принципы. Тот, кто их не разделяет, просто не афганец.— Он говорил спокойно, твердо, сразу же установив между собой и Волковым непрозрачную стену, за которой укрылся, а Волков бился в нее горячным лбом.

— Вы хотите сказать, что ислам — та платформа, которая должна объединить все антиправительственные силы? В этом, настолько я понимаю, основная проблема разрозненной, ссорящейся, этнически пестрой оппозиции?

— Да, это наша проблема. И мы с нею справимся. Действительно, вчера еще разрозненные группировки и партии сегодня начинают находить общий язык на патриотической, общенациональной основе. В конце концов, она сплотит нас в несокрушимую силу.

— А вы не боитесь, что в случае победы исламской партии вам, социал-демократам, не будет места на политической сцене?

— Это второй вопрос. Первый — борьба с марксистским режимом в Кабуле.

— Я знаю ваши цели в Кабуле,— сказал Волков.— На что вы рассчитываете? Кто за вами пойдет? Неужели те,

кто ютится в трущобах Старого города, к кому впервые новая власть пришла не с бичом, а с хлебом?

— Там живут хазарейцы. Для них нет новой власти. Для них есть извечная власть, которая извечно их угнетает. Их угнетал Захир-шах. Угнетал Дауд. Они ненавидят власть, загнавшую их много веков назад в трущобы, обрекшую на собачью жизнь. Мы придем к ним без хлеба и скажем одну только фразу: «Слава аллаху!» — и они с этой фразой пойдут на пулеметы и пушки. Мы пойдем к их детям, что пускают бумажные змеи над горой Ширдарваз и тешатся стрельбой из рогаток в ущелье Гозаргах, и скажем им ту же фразу, которую они выучили с колыбели в своих гнилых и вонючих дырах. И они с рогатками и бумажными змеями пойдут на вертолеты и танки.

— Но ведь будет кровь? Будет пролита кровь!

— Афганцы привыкли к крови.

— Вы, гуманитарий, преподаватель университета, оправдываете подобные средства?

— Все средства хороши, если они служат свержению марксистского режима в Кабуле.

Волков чувствовал: стена неодолима. Он страшно устал. Его бил озноб.

— Я знаю,— сказал он, уже закрывая блокнот.— Правительство готовит проект амнистии. Если вам даруют свободу, как вы ею воспользуетесь?

И тот спокойно, глядя на Волкова невнятно мерцающими глазами, ответил:

— Я снова буду с вами бороться.

Его уводил конвойный. Волков попросил Хасана:

— Чаю! Если можно, горячего чаю! — Хотелось улечься, ни о чем не думать, а только слышать свой жар, ломоту, глухое уханье сердца. Оставалось сделать снимок захваченных в плен террористов, но не здесь, не в ХАДе.— Хасан, мне нужен общий снимок. Лица, позы.

Они оставили «фиат» перед красными облупленными деревянными воротами джелалабадской тюрьмы, на которых выделялось блестящее, отшлифованное ладонями кольцо. Мимо козырнувшей охраны прошли сквозь высокие глинобитные стены с угловатыми квадратными башнями, где торчали рыльца ручных пулеметов. Во внутреннем дворе на утопанной, без травинки и кустика земле стояли и расхаживали лениво люди, о чем-то болтали, что-то чертили щепками. Сквозь открытые окна барака Волков увидел рамы ткацкого станка, натянутые грубые нити. Молодой, го-

лый по пояс ткач, напрягая мускулы, оскалился с любопытством и весело.

— Это все уголовники,— сказал Хасан.— Террористы на заднем дворе.

Они приблизились к подслеповатому саманному бараку, и из барака вдруг хлынула толпа. Люди, одетые в бурнусы и тюрбаны, приближались валом и встали, словно у обреза, у невидимой черты. Солдат на вышке, обеспечивая безопасность, припал к пулемету. Другой, из охраны, сделал шаг в сторону, давая себе больше простора, наставив на толпу автомат.

— Эти взяты во время последних операций,— говорил Хасан, щурясь на толпу. И Волков сквозь пустое пространство чувствовал идущие от толпы монолитные, упругие, напрягавшие воздух потоки, с каждого нахмуренного, отличного в бронзе лица, с плотно стиснутых губ, черных подковообразных бород, накаленно-красных скул, отвердевших желваков, яростно блестящих белков. Ему казалось: они залпами били в него сквозь прорези старинных винтовок, валили навзничь, привязывали к хвостам кобылиц, волокли по каменным кручам, выламывали над огнем по ребру, выкраивали из спины лоскуты, ловко, ударяя ножами в шейные позвонки, отсекали ему голову. И он сжался от этой внезапной, на нем сконцентрированной ненависти, получив наконец долгожданный, искомый контакт, и в ответ сквозь болезнь и жар в нем сработали бесшумные, из сияющих сплавов затворы. Он вдруг успокоился, почти возрадовался обнаруженной истине. Открыл аппарат и стал многократно снимать всех разом и в отдельности,— их лбы, глаза, руки, сдвинутые тесно тела и снова лица, еще и еще — лица беспощадных, бьющихся насмерть людей, не просящих пощады, готовых умирать, убивать.

Внезапно вперед выскочил маленький, в растрепанных одеждах старик. Забился, застонал, выкликая: «Аллах акбар!» И они, сомкнувшись тесней, стали вторить ему, глухо стеная, раскачивая туловищами, головами.

— Пойдемте,— сказал Хасан.

Волков шел, слышал глухое, настигавшее его сзади стенание.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

После пережитого в нем обнаружились встречные, реактивные силы жизни, жар спал, озноб и ломота превратились в слабость и вялость. С Хасаном они подкатили в часть,

и Волков собирался проститься, но навстречу шумно, нарочито не по-военному, неся под мышкой свертки, спустились Мартынов, сопровождавший его капитан и два афганца-вертолетчика из тех, с кем Волков ужинал накануне в столовой.

— Куда? — загородил им дорогу капитан. — Стой, не пущу! Мы здесь на вас засаду сделали! На рыбалку с нами!

— В самом деле, Иван Михайлович, Хасан, — мягче и деликатней, как бы извиняясь за громогласную бесцеремонность капитана, сказал Мартынов. — Сбросим немного напряжение. Ушицу сварим. А?

— Немножко то-се! — улыбался усатый молодой вертолетчик, добродушно, навывкат глядя на Волкова. И этот наивный, исполненный любопытства, благодушия взгляд после недавних ненавидящих показался столь важен Волкову, так хотелось еще и еще чувствовать его на себе, что он, несмотря на немощь, согласился:

— Поедем, Хасан.

На двух машинах они промчались по пустынному прямому шоссе, свернули на бархатно-черную равнину с ровной дымящейся пашней, ослепительно зелеными клетками рисовых всходов, слюдяным мерцанием воды и глинобитно-желтыми дувалами кишлаков. Подъехали к мутному, заросшему камышами арыку. Хасан остановил свой канареечный «фиат» у асфальта, не рискуя съезжать на грунт. А военный «уазик», расшвыривая комья грязи, скатился к воде, и из него на землю выгрузили свертки с хлебом, картошку, лук, закопченную кастрюлю и звякнувший о нее ручной пулемет.

— Давайте, други, за дело! — командовал капитан. — Вы, товарищ майор, — он кивнул Мартынову, — давайте рыбку народным саперным способом. Вы, авиация, — он повернулся к афганцам, хватая с земли чурку, — кизяков и дровишек. Вот это вот самое! Чтоб сразу нам костерочек — и баста! А я покамест сервирую ресторанный стол! — И, довольный, захохотал, выгребая картофельный клубень по-крупнее.

Волков тихо побрел вдоль мутного арыка, нагибаясь, поднимая то влажный темно-серебристый сучок, то сморщенный, sprыснутый дождем овечий кизяк, подальше от голов, бензинового и железного запаха, прикасаясь глазами, слухом, дыханием к разлитой кругом неясной, загадочной жизни, к иной природе, чуть слышному существованию земли и воды, стараясь приблизиться к ним, приоткрыть для

них место в своей ожесточенной, охваченной азартом, борьбой душе. В сухих тростниках перелетали маленькие зеленые птички, посвистывали, трясли хохолками. Садились на гибкие стебли, сгибая метелки, отсвечивая блестящими грудками. Волков старался в их свистах, в крохотных черных зрачках, в цепко ухвативших тростники коготках разгадать упрямое знание о природе, заслоняемой от него то броней транспортера, то энергией страсти и ненависти, в которых тонули и глохли слабый аромат потревоженной ногами полыни, голубой всплеск арыка, пронесший в себе невидимую рыбу, и тот далекий глинобитный дом, где, укрытая, недоступная для него, таится жизнь. Та, о которой говорила Марина, мечтавшая побывать в крестьянской семье, взглянуть на трапезы и молитвы, на нехитрое рукоделье, на какой-нибудь медный кувшин и истертый ковер, и собака бежит с колючкой в мохнатой шерсти, и семейная ссора, сердитый вскрик старика, возня ребятишек, вытаскивающих деревянную куклу.

Он сделал круг от арыка по полю, набрал охапку топлива, сложил поклажу у клеенки с нарезанным хлебом. Чувствуя усталость и неясное телесное томление, приблизился к «уазику». Сместил автоматы. Устроился на заднем сиденье и заснул, неся в себе тихие посвисты птиц, невнятную, потрепанную из природы печаль.

— Михалыч! — услышал он в пробуждении. Капитан несильно, но настойчиво тряс его за плечо. — Михалыч, вставай! Уху проспишь.

Волков послушно и торопливо встал. Увидел: все собрались у прогоревшего, рассыпанного костра, в кастрюле среди углей клокочет уха, небо вечернее и зеленое, солнце низкое, и в его ровном латунном свете — красное поле, дорога, глинобитный далекий дом, арык, зеленый, с красной стеной тростников, красный отсвет на стволе пулемета.

— А то, говорю, и уху и все остальное проспишь!

Капитан хохломской ложкой доставал из кастрюли куски распаренной рыбы, выкладывал на клеенку, бережно плескал спирт в стаканы. Хасан наполнил кувшин водой. Мартынов строгал хрустящие лиловые луковицы. Вертолетчики мягко улыбались, деликатно отворачиваясь от стаканов.

— Ну, давайте, други! — командовал бодро капитан. — Только стоп! Договор: о делах ни слова! Отключите — и баста! Вы, Занджир, Гафур, о своих вертолетах, самолетах — ни гугу. На замок! — Он двумя пальцами сковал себе оттопыренные губы. — Кто заведет про дела волынку, тому

ложкой в лоб! — И, поясняя, довольно громко щелкнул себя по лбу хохломской деревяшкой.

Волков стукнул в протянутые навстречу стаканы. Выпил на выдохе, запивая огонь другим огнем — раскаленно-душистой, переперченной ухой, видя близкие, красные от низкого солнца лица.

— Эх, вот бывало,— говорил капитан с наслаждением, кидая в сторону колючий позвоночник,— бывало, мы, пацаны, соберемся, стырим у деда старенький бредешок — и за село, к прудам. Пробредем раз-другой, натаскаем карасей, не шибко больших, вот таких! — Он ударил себя по запястью.— Но много! И в лес, под дубы! Положим два камушка, на них противень железный, тоже у деда сопрем, разложим карасиков, и они это знаете ну как витязи в ряд золотые! Маслицем их польешь, жарить. Да еще лучок! И до того это, други, вкусно! Всю жизнь помню!

— Это что за рыбалка, с бреднем,— не соглашался Мартынов.— Вот мы, когда я в Прибалтике служил, выезжали с семьей в субботу. Поставим у лесного озерочка палатку. Надуем с сыном лодочку. Жена покамест ужин готовит на травке, а мы выплываем и кружочки разбрасываем. Ночь такая теплая, луна, дорожка лунная по водичке. Машину нашу на берегу не видно, не знаем, куда плыть. А жена приемничек включит, какую-нибудь музычку тихонькую, и нас подзывает... Кстати,— озаботился Мартынов,— послезавтра нам выступать. Тросы не забыть проверить. А то буксировали тракторы, так два троса в автохозяйстве оставили. Надо тебе проследить.

Капитан ложкой некрепко, с почтительностью подчиненного щелкнул его в лоб, оставив мокрый след.

— Мы следим, товарищ майор! Мы за этим очень следим, чтоб о деле ни гугу!

И все смеялись, и Мартынов смеялся, потирая ладонью лоб. Теснее сдвинулись к ухе, вертолетчики аккуратно черпали жижу, несли к смоляным усам, держа под ложкой ладонь.

— А чего же саму рыбу-то не едите? А, Хасан? Чего, говорю, рыбу не едите? — допытывался капитан.— Я заметил, что мусульмане не больно-то рыбу едят. Это что, коран запрещает?

— Почему запрещает? Нет,— улыбнулся Хасан, кажется, впервые за все время, что знал его Волков. Ухватил ломтик рыбы.— Есть можно. Это свинью не едим, а

рыбу едим. Только к барану больше привыкли, к рису больше.

— Ну да,— соглашался капитан,— у каждого народа свой стол. Свое, как говорится, коронное блюдо. У одних, к примеру, рыба. У других мясо. А хлеб-то все едят! Верно я говорю? — Он указал на хлеб, радуясь своему философскому обобщению.— Хлеб, говорю, все народы едят! Сейчас вернемся, по экипажу пройду, проверю, захватили ли солдатики хлеб. Афганцы свежего посулили. В дороге хорошо свежий хлеб!

Солнце совсем опустилось. На земле лежали длинные медно-красные тени. Волков, протягивая ложку к котлу, сталкивался с другими руками, в этих столкновениях чувствовал братство, единство. Занджир, положив на хлеб сочный ломоть рыбы, накрыв его колечком лука, протянул Волкову, и тот благодарно принял, любясь его усатым, улыбающимся белозубо лицом.

— Семья у вас есть? — спросил он у Занджира.

— А? — не понял тот.

— Дети, жена?

— Есть, есть! — кивал Занджир, радуясь, что понял, что мыслью прикоснулся к дороговому.— Газни! Там, Газни! — Он пальцем указал за спину.

— Я не был в Газни. А хочу побывать. Там, я знаю, мечети прекрасные.

— Да, мечеть, мечеть,— кивал Занджир.— Мечеть. Газни!

— А вы не бывали в СССР, у нас?

— А? — снова не понял Занджир.

— В Советском Союзе, в Москве не бывали?

— Нет, Москва нет! Хочу быть. Пока нет. Нельзя.

— Да, пока нельзя,— соглашался Волков, искренне сожалея, что этому молодому афганцу пока что нельзя в Москву, а ему, Волкову, пока недоступен Газни.— Если у вас будет боевой вылет, возьмите меня с собой. Хочется побывать в рейде. Вы, наверное, скоро летите?

— Скоро летим. Искать караван. Американцы давай оружие! Китайцы давай оружие! Мы искать. Будем: та-та-та-та! Стреляй! — И он, как тогда, в столовой, сжав ладонь лодочкой, изобразил пикирование и стрельбу. И в ответ немедленно блеснула мокрая ложка с цветами, наградила его и Волкова трескучими ударами в лоб.

— Вот вам и «та-та-та-та»! — гоготал капитан.

Откинулись на спины после сытной ухи. Закурили. Да-

же Хасан, вечно взведенный, начеку, лег и закрыл глаза. Волков встал, двинулся по медной, черно горящей земле, видя свою длинную тень, туда, где синело пустынное, чем-то напоминающее псковское, под Изборском, шоссе, и желтел «фиат» Хасана, и последним напряженным углем светился далекий крестьянский дом. «Нет, нельзя упускать из виду идею братства, идею любви, несмотря на кровь и борьбу, на всю мучительную технологию жизни,— думал он, колебля перед собой длинную двуногую тень.— Кровь и борьба пройдут. Ненависть минет, может быть, вместе с нами, но следом придут другие, кому не выпадет кровь, кто наследует новую землю, и мы заповедаем им идею любви, как и нам ее заповедали. Иначе зачем борьба? Зачем этот ужас и смерть, если не хранить идеалы? Если не знать, что в грядущей жизни человек человеку брат?» Так думал он, подходя к «фиату», глядя на пустое шоссе, на котором вдали возникла точка машины. Мерцала стеклами. Росла, увеличивалась на огромной бесшумной скорости. Волков зачарованно следил за ее приближением, неся в себе красоту исчезающего вечернего мига, последнего красного солнца, своей недавней исчезающей мысли.

Сильный, тяжелый удар сшиб его с ног, стукнул о бампер «фиата». Мартынов в расстегнутой рубашке, заваливая его, падал рядом, прикрывая лицо локтем, и над ними, вплотную, обдавая ветром и воем, хлестнула автоматная очередь, из раскрытого стекла машины глянуло беззвучно орущее, перекошенное, красное от солнца лицо, вело стволом автомата, уже не в силах достать, посылая в пустое поле веер пуль.

Машина таяла, уменьшалась. Капитан, вскочив на обочину, от живота ударил ей вслед пулеметом. Волков, понимая случившееся, еще лежа, прижимаясь к Мартынову, сказал:

— Вы спасли меня?.. Я обязан вам жизнью?..

И тот, поднимаясь, отряхивая грязь с рукавов, бурно дыша, ответил:

— Я увидел машину! Подозрительно!.. Стал подходить. Увидел, как ствол заблестел!.. Не очень вас больно ударило?

Хасан, бледный, дергая тонкой губой, ощупывал пулевые отверстия, перечеркнувшие дверцу «фиата».

— За мной... охота... Мою машину заметили...— И, глядя туда, где лежало пустое шоссе, сказал ненавидя: — Брат!

...Волков лежал на казарменной железной кровати, слыша спокойное дыхание спящего Мартынова. Вспомнил недавнее, у арыка, нащупал прислоненный к стене автомат. Медленно вел ладонью от ствола к затвору со спусковым крючком. Из автомата в ладонь переливалась струя вязкого холода, словно в автомате текли ледяные незримые струи, соединяли пули, винты и пружины в живое единство.

В отдалении, где-то в районе аэродрома, ударила очередь. Одна и другая. Стихло. Быть может, солдат, охранявший во тьме вертолет, убоялся ночного ветра, шелеста вялой травы, разрядил в темноту пол-обоймы. Волков лежал, не пытаясь уснуть, расширяя глаза до темного слезного блеска, усилием выносил из тьмы солнечное светоносное зрелище пестрой зеленой горы в молодых лиственницах, дрожащий, расчесанный ветром разлив Енисея и летящую в небе кукушку. Сын Сережа, задержав на взмахе топорик, молча, восторженно призывает мать и отца смотреть на кукушку. Они смотрят: Аня, жена, держа пушистую ветку лиственницы, пачкающую ее руку прозрачной смолой, и он сам, стягивающий широкую ляжку тяжелого рюкзака. За день и за ночь самолетами перелетели на другую половину земли, и эта гора, Енисей, летящая над ними кукушка.

Да, это он, сбросив тяжелый рюкзак, распрямляет гибкие, неусталые плечи, извлекает походный топор и идет к опушке, уже прицеливаясь для удара к молодой свежей лиственнице, слыша, как шуршат за ним торопливые сыновьи шаги. Косо, краем глаза не видит, а чувствует красное пятно на горе: жена в сарафане с голыми плечами распаковывает поклажу, стелет на траву скатерть. Пусть занимается трапезой, а они построят шалаш.

Сын неумело, старательно, неверными частыми взмахами рубит ветку. Упругая ветвь отбрасывает топор, сотрясает пернатую зелень. «Постой,— останавливает он.— Ты ударь снизу вверх. Вот так!» — перехватывает у сына топор, с мягким стуком отсекает зеленую лапу, откидывает ее в ворох других, для подстилки. Возвращает ему топор. И сын, перенеся его позу, выражение его лица, упор ноги, косой исподнизу удар, колотит ветку. И он изумляется, как сын воспроизводит его. Сыновья жизнь идет по стопам отца. Он своим существованием раздвигает сыну пространство, и тот тут же отливается в содеянную им форму.

Вбивают опорный кол. От ствола к опоре протягивают поперечину. Насекают жердей и, вонзая остриями, городят боковую решетку. Близкое сыновье лицо с подтеком про-

зрачной смолы. Отстранился — разлив Енисей, узкая, летящая по течению лодка. Снова придвинулись круглые, с блестящими точками сыновьи глаза. Качнул головой — и синее небо, крохотный, парящий, похожий на алебарду орел. Напряженная сыновья шея, обросший золотистый загривок. Повернулся — и округлая гора в желтых и голубых цветах, и вдаль Аня, и он так любит их обоих, так чувствует их на этой горе. Наполнили собою весь солнечный полдень до волнистых голубых горизонтов, до снежных, чуть видных вершин. Дали всему свое имя.

Позднее, во время ссор, в затмениях, в готовом совершиться разрыве, столько раз он вспомнит этот летний бесконечно длящийся день с медленным качанием белого солнца, с алым сарафаном на зеленой горе. Будет стараться понять: где, на каком поступке, в каком несогласии, в неверно выбранном слове, в малой непрощенной обиде возник тот изъяз, который, набирая могущество, обратился крушением. Как случилось, что накопленное ими богатство, нет, не накопленное, а доставшееся без усилий, как дар, — те белые церкви в Запсковье, белоснежные рубахи и простыни на синей воде Завеличья, что вдруг поплыли, словно стая гусей, и та первая ночь, когда вдруг запахло крапивой, и горел напротив золотой веретенный огонь, и их поездка в Малы, и убитая зеленокрылая утка с красной бусиной крови, слипшиеся на рассвете цветы, их общность, угадывание друг друга не по слову, а по тихому, струящемуся из обоих свечению, вера, что так будет до смерти, — как случилось, что этот дар был истрачен, превращен в горячую, рваную по краям пустоту, от которой — бежать и спастись?

Тончайшее, наметившееся расщепление. Он, начинающий журналист, работающий «на подхвате» в газете, каждый раз, отправляясь в поездки, отрывал себя от их общего, их породнившего мира. Старинные, в жеваной коже, с опаленными страницами книги, закапанные воском, лампадным жиром, пронесенные сквозь огни и потопа, исцеляемые ее ловкими сильными пальцами, под которыми вдруг загоралась огненно-алая буква, свитая из трав, из птичьих и звериных голов. Черная в надломах доска, как обломок затонувшего корабля, лежит у нее на столе. Она из флаконов, из колб и реторт любовными касаниями кисти снимает нагар, пропитывает, умащает, и в какой-нибудь морозный денек, когда янтарное солнце, на деревьях снеговая пыльца, она снимет покровы, и влажный, смуглый, с пылающим

оком лик глянет с доски. Или красный плащ и копье, и конь, и дворцы.

Она существовала в мире испытанной, любимой, содеянной задолго до нас красоты. Возвращала деревянной резьбе и чеканке, росписям по фаянсу и камню, палатам и руинам былое цветение и силу. В них, любимых, находила ответы на высшие, волновавшие ее вопросы: что есть правда и красота? Как через веру и творчество обретает единство душа?

Эти поездки выносили его из их тесной, переполненной стариной квартиры в рабочее общежитие на развороченной стройке, где из грома и скрежета вставляли ржавые фермы будущих цехов и плотин, и он пил с молодыми прорабами у раскаленной печурки и слушал их речи о мегаваттах энергии, о поставках валютной техники; или вдруг попадал в обшарпанный среднерусский совхоз, и комбайн в дожде молотил полегшую рожь, а небритый худой комбайнер гудел ему про рубли и надои, считал на заскорузлых пальцах прибыли и убытки хозяйства. Или оказывался в казармах, собравших разношерстных парней: узбек-дневальный тосковал о Самарканде, грузин писал письмо в Цхалтубо, юнец из Сибири доставал украдкой фотографию с девичьим лицом, а наутро видел их прижатыми к морозной броне, и боевые машины пехоты врезались в полярный сугроб.

Его поездки на четыре стороны света панорамно открывали страну, открывали народ, готовый себя осознать, вымолвить зреющее на губах, еще невнятное, еще косноязычное слово о себе, о своих непомерных трудах, о суровом, первом на земле государстве, о своей грядущей судьбе. И ему хотелось посылно в своих репортажах и очерках помочь найти это слово. Он пытался его произнести, пускай наивно и робко.

Возвращался домой, готовый с ней поделиться новым, ему открывшимся опытом. Но она не хотела слушать. Мягко, необидно уклонялась от его излияний. Садилась за свой верстачок, где зеленел изразец, золотилась деревянная облупленная кисть винограда или лежали Четыи Миней. А он, не мешая ей, писал репортаж о строительстве законченной ГРЭС, раздувавшей топки в снегах.

Сын с сачком скакал у подножья зеленой горы, описывая своим маленьким гибким телом окружности и дуги погони, охотясь за невидимой целью. Сквозь стеклянное, колеблемое ветром пространство чувствовались там, внизу, его нетерпение, страсть, его огорчение. Бабочки не дава-

лись сыну, он выбредал на вершину, неся пустой сачок.

— Там большущая, желтая с черным! Таких у нас с тобой нет! Не поймал! — Его лицо, только что видевшее бабочку, было в золотистой пылице, с круглыми, хранящими ее полет глазами. Своими кругами и дугами было созвучно отвалу горы, сфере стеклянного неба, изгибу реки.

— Дай-ка сачок, я попробую.

Сын остался стоять на вершине, а он спустился по скользкой траве, веря и чувствуя, что в зарослях ждет его бабочка. Цепкие стебли хватали его за одежду. Резные горячие листья шелестели и душно пахли. И где-то здесь, слушая его приближение, притаилась бабочка. Она взлетела — огромный черно-золотой махаон, — помчалась на гору сильным уверенным летом. Он гнался за ней, одолевая тяжесть горы. Видел ее желтый вихрь в синеве, держа наотмашь сачок, пропуская в кисею ветряное рвущееся пространство. Он почти настиг ее у вершины, но она ударом воздуха оттолкнулась от неба и, едва не задев его, прочертив у глаз огненно-желтый след, ринулась вниз. И он, почти срываясь, стал рушиться следом, в блеск воды. Они падали вместе, бабочка и он, лицом чувствуя то звенящее, душистое, только что оставленное ею пространство, а сачок, еще пустой, напряженный, хватал рассеченную ею пустоту.

Она села внезапно, словно нырнула, сложив плотно крылья, превратившись в тонкую, не имевшую объема пластину. Он замер над ней, слыша грохот своего сердца и слабые пульсы в ее утомленном полете тельце. Сачок в его осторожной, суеверной руке. Кисея в травяной пылице. Удар. Вялое трепетание, шевеление ткани. И, подхватывая бабочку, опрокидывая ее, путая ее легкими тенетами, он сквозь марлю ловил ее вьющееся пружинистое тело, окруженное колыханием трав, водяным сверканием. Нашел там, в сачке, ее твердую грудку, сжал, расплющивая хрупкий хитин, останавливая крохотный часовой механизм ее жизни. Нес ее вверх на гору, к сыну, к жене, наблюдавшим его охоту. Вытряхивал бабочку на ладонь. Все трое наклонили к ней лица. Она, неживая, песчано-желтая, в угольно-черных прожилках, с голубыми мазками в оранжевых кольцах, приняла в себя их лица, и гору, и песчаную осыпь, и разлив Енисея, весь этот день, остановившийся в ней навсегда. Чтобы потом, спустя много лет, в Москве в стеклянной коробке, выгорая над кроватью у сына, напоминать об

исчезнувших счастливых мгновениях. Крохотная цветная фотография. Их семейный портрет.

Почему распался их мир? Как случилось, что он, занимаясь огромным, его окружавшим миром, не сберег свой собственный малый, свою семью?

Аня пылким, ищущим правды духом погружалась в прошлое. Стремилась туда, назад. Там горели для нее лучезарные цели. Там хранились все ответы. Она, реставратор, занималась возрождением храма, белоснежно подымала его из руин, золотила ему купола, навешивала колокольную медь, вставляла в повитый виноградом иконостас разноцветные лики, на столпах и на сводах открывала дивные фрески — пусть пока еще в мыслях, пропадая среди темных руин, похожих на холодный, развороченный взрывом crater.

А он устремлялся в будущее. Там, в неочередном, грозном, сулящем потрясения будущем, предчувствовал сквозь все угрозы и беды назревающую великую истину, великое знание о человеке. Он добывал это знание в министерских кабинетах, на институтских техсоветах, на штабных учениях в дивизиях — в черновых каждодневных мытарствах.

Они разлетались с Аней в разные стороны, как две содроганные звезды, в два разных предела галактики, еще не догадываясь, что, быть, может, им уготована встреча, что цель двуедина и они рвутся к ней с разных сторон, что их разносящий взрыв одновременно сближает их. Они не были столь мудры, не ведали о кривизне пространства и времени, лишь чувствовали: их разносит.

Он все дольше пропадал в путешествиях, все реже бывал с нею. Его увлечения, мимолетные встречавшиеся в поездках женщины, любви, которые обрывались у порога аэропорта, едва он поднимался на трап. Ему казалось, он о них забывал, на самом же деле они копились в нем, как его отдельный, ей неведомый опыт о другой, ей неведомой жизни. Увеличивали ту необщую область, где он был один, без нее. Уменьшали ту общую, где они были вместе. Его близость с высокой степной красавицей, среди целинных хлебов, — пшеничные ароматы, раскаленная жатва, бетонные, разрываемые урожаем элеваторы — и ее смуглое, чуть раскосое, созвучное лунам, облакам и озерам лицо, ставшее вдруг дорогим, заслонившее Аню.

Он был повинен. В избытке сил, в обилии обступивших впечатлений ему казалось: все поправимо, все образуется. Разлад, начавшийся с легкой распри, уляжется сам собой.

Не превратится в одну непрерывную ссору. Так и уехал в Испанию, толком не простившись, — короткий телефонный звоночек, — не стерев, не изгладив нанесенную ей ненароком обиду. Потом он об этом припомнит.

А теперь они сидят втроем у гаснущего костра. Он палочкой выкатывает из раскаленного пепла клубни. Сын хватает, обжигается, дует, разламывает картофелину на две янтарные половины. Аня, вытирая о салфетку, протягивает красный литой помидор. Их трапеза на вершине горы. Скользящее к лесам вечернее солнце. С бурлящим рокотом проходит внизу остроносая длинная лодка. Окаменелый седок у руля. Распоротый шов Енисея.

Темнеет не быстро и тихо. Сын, ухватив головешки, кидает их вниз с горы, навешивая длинные дуги. Аня смотрит на воду, распустив по траве сарафан. А такая ширь, такой объем красоты, что она негромко, для себя, запекает, но и ему, если он захочет, предлагает петь вместе. Их любимую, давнюю, услышанную когда-то на Псковщине, в маленькой деревеньке Хоры.

И где кони,
И где кони...

Два их голоса, привыкшие друг к другу, нашедшие однажды друг друга, легко и согласно взлетают. Его, низкий, прямой, глуховатый, возносится ствольно и твердо. Ее, гибкий, влажный, вьется вокруг, одевает его своей свежестью, своим светом и тенью. Они растут и колышутся, расстилая в небе свою общую крону. И внезапный, молодой, неокрепший побег — их сын подсел незаметно и вплел свой голос в их песню. Все они — одно, едины, с единой душой и телом, и знают про это. Сидят на горе, обернувшись красными лицами к низкому солнцу. Смотрят на разлив и поют. И теперь, спустя столько лет, его все манит, подмывает: одолеть самолетами полземли, взойти на ту гору, отыскать на вершине среди разросшихся трав и кустарников угольки того давнишнего кострища, приникнуть ухом к земле, и в глубокой горе слабо отзовутся три звучавших здесь некогда голоса, так любившие друг друга.

И где кони,
И где кони...

Они расстались с Аней не сразу, через ссоры, через долгие обиды, которые не прощались, а как бы складывались, копились в каждом из них, превращаясь в одну, уже не

имевшую начальной причины, дававшую знать о себе в мелочах. Например, она никогда не умела толком накрыть на стол, чтобы все приборы были на месте и на столе не болтался какой-нибудь ненужный, занесенный из других комнат предмет — какая-нибудь кисть, или книга, или баночка с клеем. Это его раздражало, он ее упрекал, и из-за этого разыгрывались частые вздорные ссоры. А она упрекала его в том, что он невоспитан, не терпит ее новых друзей, демонстративно закрывается от них в кабинете. Он действительно их не терпел, вившихся вокруг нее «приживалок» — так называл их всех, и мужчин и женщин. Их радения, основанные на вялых, пережеванных суевериях. Их нарочито культивируемые говорки. Их вызывающая обращенность вспять. Он-то знал, ему казалось, время. Знал, в каких муках, трудах добывается каждая крупинка нового знания. Сколь велики заботы и траты, связанные с правом владеть одной шестой частью суши. Он был поглощен политикой, проблемами энергетики и военного дела. Уже искушенный в работе, добившийся имени в журналистских кругах, выполнял ответственные, ему одному поручаемые задания. Все чаще выезжал за границу. То в Сайгон, за серией репортажей о новом, объединенном Вьетнаме. То в район Африканского Рога, где разгорались баталии между эфиопскими и сомалийскими танками. Возвращаясь, видел постные, скопческие, как ему казалось, лица «приживалок», слышал их шелесты о том, что «матушка-Русь убывает». Удивлялся, как она, его Аня, может их принимать? Что находит в них ее добрый и здравый разум, ее чуткий к живой красоте дух?

Они расстались спокойно, как бы вмиг остыв от обид, рассудив, что лучше жить порознь. Они и после продолжали видеться: у них был сын, у них было прошлое. Оно все еще жило в них, вдруг просыпалось острой и сочной болью. Но все реже, реже. Другая жизнь у нее, у него разводила их дальше и дальше.

Они лежат в шалаше под низкими влажно-косматыми скатами. Сын спит, свернувшись в спальном мешке. Пахнет хвойно-полынным настоем. Сквозь невидимые щели проливаются тяжелые ручейки холода. Гора округло и бесконечно звенит и стрекочет, волна за волной, то тише, то оглушительней, от подножья к вершине, обратно. Он протягивает руку: тепло ото лба, словно у нее во лбу невидимый источник лучей. Ее открытые глаза, дрогнув, ударили ему в пальцы ресницами. Губы шевельнулись, коснулись

его руки. Пульсирующий живой родничок у ключицы. Грудь, задержавшая вдруг дыхание. Близкое, под его ладонью забившееся реже и громче сердце. Он чувствует ее там, в спальном мешке, и в себе самом как живую, горячую, растущую силу.

— Он может услышать.

— Он спит.

Раздвигает завесу из веток, и огромная, ртутно-ясная луна светит прямо в него, превратив гору в сияющий стеклянный колпак, накрывший цветы и травы, драгоценные россыпи, волнообразный, несмолкаемый звук. От горы через черный Енисей идет ровное широкое пламя. Его лицо, босые мокрые ноги, голая грудь чувствуют бесчисленные граненые удары прилетающих от реки огней, а глаза отяжелели и замерли от зрелища луны и горы.

Аня выходит следом. Он, не оглядываясь, видит ее. Она проходит мимо, сбивая ногами голубые и розовые, медленно летящие брызги, оставляя сверкающий след. Ее плечо, приподнятый локоть, бедро — в белой луне. Она живая, выпуклая, теплая, среди ледяных сверканий. Шагнула в сторону, пропав в золотом свете, словно исчезла, стала рекой, луной. Пошла, удаляясь, ведя его за собой, и он был готов идти по водам, по росам, по негнувшим травам, по тяжелым алмазным паутинам — по следам ее маленьких любимых ног.

Их сын, их Сережа. Его рождение было воспринято ими как продолжение возникшего в нем чуда, раскрытия в вере и творчестве, когда вдруг из отроческих темных предчувствий, из мучительных угадываний себя в неочерченном смутном мире встало солнце. Мир стал огромной разноцветной иконой с конями, лесами и градами, толпами живших до тебя на земле, где все любимо и близко, и сын его и жена, охваченные нимбами, смотрят на него с восхищением.

Его поездки по месяцу, больше. Его возвращения, когда, запершись в кабинете, писал дни и ночи. Газета, мир деловых отношений, разраставшийся комбинат издательских связей, забот, съедавший все его время. Сын рос без него. Без него текли его улыбки, капризы, смуглело лицо, темнели глаза, росло и укреплялось тело. Он чувствовал его по соседству, за дверью, за стенами. Иногда кидался к нему, хотел с ним быть, проводил с ним вечер, рассказывая на ночь глядя, к великому неудовольствию Ани, то о морских

кораблях, высаживающих во фьорде десант, то о шагающем экскаваторе, погружающем ротор в мерзлоту, то о дискотеке в Париже. Привозил ему из поездок карибскую раковину, крохотную модель «шевроле». И он принимался ими играть, оставляя подаренного матерью деревянного резного конька, фольклорную дудочку.

Позднее, когда сын вырос и вдруг обнаружил в себе казавшиеся чужими, вызывавшие раздражение черты — медлительность, неумение быстро собраться, неумение сосредоточиться в чтении, неумение регулярно работать, — он пытался его наставить, урывками, резким словом, не имея возможности регулярно его проверять, воспитывать ежедневно. Срывался на гнев, крик, ужасаясь себе, вынося из этих стычек страдание, чувство своей неспособности. Все глядят на него испуганные сыновьи, потрясенные его криком, любящие глаза. Все болит его сердце от любви и раскаяния.

Когда у них с Аней наступило время раздоров, сын не брал ничью сторону, а страдал за обоих. Кидался к обоим, старался примирить. Его наивная, желающая всем блага душа тянулась к ним, а они расходились, удалялись один от другого, и он, желая их удержать, выдерживал на себе непосильное напряжение. Именно тогда наметился тонкий надрыв, крохотная трещинка, в которую потом устремятся его беды, неудачи, губительные силы. Когда Волков ушел, сын остался с матерью, продолжал к нему приходить. Но все реже, реже. Они почти перестали видеться. Но не оттого, что забыли друг друга. Просто время еще не настало.

...Они просыпаются утром все разом, от холода, от пропавшегося в шалаш луча. Выбираются наружу. Окрестность — в тумане, колышется, слоится, не имеет очертаний. Увязывают мешки и идут в поселок. Луговина у подножья горы вся наполнена непрозрачным вязким туманом. Но он чувствует, в тумане кто-то есть. Кто-то живой, невидимый наполняет собой луговину. Идут к нему, разгребая руками холодные пустые волны. И вдруг среди поникшей отяжелевшей травы, обрызганного куста — конь. Коричневый, росистый, стоит и смотрит на них слезными вишневыми глазами. И все о них знает: откуда и кто они, зачем пришли на гору и теперь от нее уходят, что предстоит им пройти, сначала всем вместе, а потом, расставшись, порознь. Смотрит на них, а они на него, и солнце перебирает над ними свои туманные, невесомые лопасти.

Утром Хасан поджидал его в своем желтом «фиате».

— К сожалению, не смогу с вами сегодня поехать,— сказал он.— Дела заставляют остаться.

— Что-нибудь от Навруза? Нашли караван? — спросил Волков.

— Нет, от Навруза рано. Другие дела.

— Как же я поеду в Торхам?

— Сейчас туда машина идет. Везет замполита в погранотряд.— Хасан оглянулся туда, где стоял «уазик», сидел за рулем афганский солдат и издали наблюдал за ними мешковатый офицер с вислыми черными усами.

— А он понимает по-русски?

— Понимает.

— А как я вернусь обратно? — Волков после вчерашней стрельбы на шоссе испытывал неприятное чувство от мысли, что придется ехать с незнакомым человеком в такую даль.

— Вас из погранотряда доставят.

— А дорога в Торхам открыта? — спросил у Хасана подошедший Мартынов.— Она ведь была перерезана.

— Всю неделю открыта. Действует. Попытались, правда, один раз перерезать, минировали. Сейчас открыта.

— Возьмите вот это в дорогу.— Мартынов протянул Волкову автомат, и тот еще раз, как вчера, когда лежали у бампера и машина с воем исчезала вдали, испытал мгновенную горячую благодарность, принимая оружие.

Волков с замполитом разместились на заднем сиденье, оставив переднее рядом с шофером свободным. Миновали шлагбаум гарнизона, пригородную многолюдную, набитую машинами трассу, вырвались на Пешеварское шоссе, стрелой летящее к Хайберскому перевалу. Водитель дал газ, и машина, охваченная стенанием ветра и стали, помчалась по солнечному асфальту, сливая в сплошное мелькание близкую зелень плантаций, рисовых клеток, бегущих по обочине осликов с седоками, разноцветные клубки людей и редкие размалеванные короба идущих из Пакистана грузовиков.

Волков виском сквозь стекло чувствовал каждого пролетного человека, каждое строение с маленькими, похожими на амбразуры окошками. Автомат лежал на коленях. Мускулы были готовы мгновенно его подбросить, хлестнуть сквозь стекло и дверцу. Смуглый, молчаливо-угрюмый и, казалось, сонный сосед был оставлен в покое после односложных «да»,

«нет». Волков не смотрел на него, но держал в поле зоркости и тревоги.

Горы, отступив от дороги, давая больше простора и зрения, катились поодаль каменными валами, открывая Хайберский, в глубь Пакистана, проход. Трасса с гибким синепластичным асфальтом, пронзая предгорья, была как зонд, введенный в Центр Азии. И он чувствовал себя затерянной, крохотной частью, без милых, друзей и товарищей, оторванной от родного огромного целого, сносимой все дальше и дальше в недра другой земли.

— Торхам,— односложно сказал замполит. И машина, сбросив сумасшедшую скорость, вкатила в тенистые кущи разросшихся высоких деревьев, в толчею глинобитных домишек, залипла в мерном, непрерывном движении вязкой, густой толпы. Наряд пограничников, увидав замполита, взял «на караул». Навстречу, улыбаясь, вышел высокий красавец офицер с кобурой, козырнул замполиту, двумя горячими сухими ладонями тряхнул Волкову руку. Они медленно двинулись от машины под взглядами проходившей толпы. Волкову мешал автомат. Он передал его идущим следом солдатам, оставив на плече фотокамеру.

— Граница,— сказал замполит, замедляя шаги у моста, глазами перечеркнул шоссе, скользнул в высоту по круче черной парящей горы.

Мост через малую речку, в непрерывном шаркании, муравьином ровном движении, словно людские потоки движутся тысячи лет с какой-то своей, ими забытой целью. Строения с плоскими крышами, флагшток и красный афганский флаг. Рядом, на той стороне, над строениями — флагшток с зеленым пакистанским полотнищем. Фанерный щит с надписью по-английски: «Добро пожаловать в Пакистан». На площади за мостом — маленький придорожный отель. Два автобуса, из которых выносят вещи. И над всем, над толпой, над домами,— огромная, печальная косая скала, уходящая в синее небо, сырая и черная, с далекой, солнцем озаренной вершиной.

— Так это и есть граница? — спросил Волков, глядя на флаги.

— Да,— кивнул замполит.

— И всегда такая толпа?

— Да. Две тысячи. Один день.

— Переход людей контролируется? Ну, какие-нибудь документы у них проверяются?

— Да. Нет,— неопределенно сказал замполит.

— А диверсионные группы могут здесь проходить? Возможен провоз оружия?

— Нет. Мало. Горы там,— кивнул замполит в сторону далеких нагорий.

— А если понадобится, можно закрыть границу? Ну, наглухо ее здесь перерезать! — он перечеркнул ладонью шоссе.

— Нет. Товары. Индия, Гонконг, Япония. Нельзя.

— А сколько отсюда до Пешевара? До опорных баз террористов?

— Шестьдесят километров.— Афганец отвечал спокойно и холодно, не пытаясь выйти за пределы вопроса. Он казался Волкову чужим, не понимавшим его.

Волков отошел, и в пространство между ними мгновенно устремился поток, отделил его. Он остался один среди бесчисленных азиатских лиц, внимательных глаз, тюрбанов, под вялым колыханием близкого зеленого флага. Подумал, что, быть может, сейчас в этой толпе проходит мимо Навруз. Вглядывался, но лица, безусые и с усами, бородатые и без бород, в тибетейках, чалмах, возникали как блики на воде, исчезали, сменялись такими же.

Ощущение оторванности, отделенности от всего, что понятно и мило, что огромно и неочерченно колышется в нем, как дыхание, живет в нем как чувство отечества, чувство непомерного целого, из которого он излетел,— это ощущение усилилось. Но вместе с ним возникло другое: оно, это целое, послало его к чужим рубежам, следит за ним, ждет и надеется. Он — как крохотная, оснащенная приборами капсула, упавшая в чужой грунт. И пока есть запас энергии, пока батареи полны — выпускать антенны и буры, нацеливать окуляры, вести репортаж об этом пограничном мосте с шаркающей восточной толпой, идущей над горным потоком. Босоногий, в плещущих шароварах мальчишка оглянулся, неся на спине тяжелый куль. Старик с трахонными веками, шатко ставя костлявые ноги, осторожно пронес ведро, сделанное из консервного жбана с полустертыми английскими буквами. Маленькая быстрая женщина в черной, волнуемой шагами чадре быстро прошла, протаскивая за руки двух чумазных кудрявых детей, отразивших Волкова в сияющих, навывкате, глазах. Пакистанские пограничники в красных фесках разглядывали его с той стороны, что-то говорили, кивали. К ним подошел офицер, и они, повинувшись неслышному приказу, поправили на плечах карабины, быстро прошли через площадь. Автобус у отеля поехал,

сделал пыльный полукруг и двинулся на мост, медленно раздвигая толпу. Сквозь стекла автобуса осмотрели его десятки внимательных глаз. Шоссе уходило в глубь Пакистана, избегало на холм и терялось и вновь возникало далеко на холмах, и на нем чуть заметной крохотной точкой катила машина. И там, за кромкой холмов, таилось то, зачем он сюда явился, зачем стоит на чужой земле вблизи от теплых морей. Миллиардный Китай шлет грузовые транспорты по Каракорумскому тракту, пузырится военный брезент, и раскосый шофер объезжает каменный оползень. Клубится Иран, воздев лазурь минаретов, рассылает мольбы и проклятья из священного города Кум. Выпаривает Персидский залив атомный флот США, «фантомы» со свистом взлетают над кромкой пустыни и моря, и пилоты в окуляры прицелов видят пенные следы кораблей, конструкции нефтеперегонных заводов. Пакистан собирает дивизии, строит доты, опорные пункты. Индия глядит воспаленно глазами каменных будд, гасит мятежи и волнения, варит сталь, добывает уран, идет по своим дорогам несметной босоногой толпой. Сквозь Ормузский пролив медленно ползут супертанкеры, волоча в своем чреве нефть, расплываясь одни на восток, в Японию, другие на запад, в Европу. А если оглянуться, где-то там, за хребтом Гиндукуша, за угрюмой печальной горой, откуда излетело прозрачное серебристое облако, там лежит его Родина, в великом напряжении сил колосит хлеба, рождает младенцев, хоронит своих стариков. И он, ее сын безымянный, ее малая часть, отделенная от великого целого, готов ей служить своей верой.

— Там,— замполит приблизился к Волкову и кивал в Пакистан, где офицер и два карабинера остановили кого-то в белой чалме и накидке, и Волков весь сжался: а вдруг схватили Навруза, и теперь его ожидают муки и гибель.— Капитан — афганец. Служил Дауд. Берет человек, один, два, кто ходит в Пакистан. Спрашивает, кто чего. Если годится, иди к нам работай. Иди террорист, лагерь. Обработка.

На площадь вылетел кофейный «пикап», развернулся по красивой дуге и встал, сверкая колпаками и стеклами. Дверцы враз распахнулись — и из них поднялись четверо белолицых в европейских одеждах. Трое гражданских и один в форме войск США с маленькой нагрудной эмблемой, очень заметные среди восточных одеяний, красно-солнечных азиатских лиц. Полковник — стриженные щеткой усы, надменное

даже издали выражение — был старший среди прибывших. Остальные оказывали ему знаки почтения, пропускали вперед. Двое были совсем молодыми, в похожих светлых костюмах, натренированные, гибкие, с плавной в суставах походкой. Третий, постарше, расчесанный на пробор, блестел очками и что-то пояснял полковнику, показывая на окрестные горы. Они не видели Волкова, шли прямо на него — крупный военный спец и три, по виду, разведчика, явившихся из Пешевара столь удачно и счастливо для Волкова. Вышагивали на него, и он осторожно и суеверно, боясь спугнуть, как бывало в юности, когда стаскивал с плеча «тулку», глядя обморочно на сидящего вблизи рябчика, — он медленно стянул фотокамеру, на ощупь раскрывая футляр, выставил аппарат и, таясь за спинами, за чалмами, тюрбанами, ловил в объектив толпу, надпись «Добро пожаловать в Пакистан», двух карабинеров и этих четверых, приближавшихся; много раз, торопясь, щелкал затвором. Снимал маститого, долговязо идущего с вест-пойнтской выправкой, и второго, в очках, с пробором, неуловимо похожего на подобных себе из Лэнгли, и двух молодцов с розовыми бодрыми лицами, готовых стрелять навскидку. Они были близко, не умещались в видоискатель, и Волков был готов отступить, чтобы взять их в кадр, когда вдруг его увидели. Словно напоролись на выстрел. Замерли напряженно, круто повернулись и пошли к машине. Тот, что в очках, закрыл ладонью лицо, а он их снимал вдогонку. Сели в машину, и один из молоденьких, когда «пикап» уже трогался, извлек мини-камеру и два раза щелкнул Волкова. «Ну, ну, еще раз, на здоровье! Как снимали в Ливане, Испании, Франции. Пусть составят альбомчик. Вдруг покажут когда-нибудь. Увижу, подумаю: «Боже, как я постарел!» Волков был рад, возбужден. Чувство удачи, поселившись, не оставляло его. Не напрасно, одолевая тревогу, он гнал на границу. Все испустила встреча.

Пообедали в солдатской столовой, отправились обратно к «уазику». Теперь с Волковым уселся тот самый офицер-красавец, который их встретил вначале. Волков взял автомат, готовый откинуться на сиденье. Дверцу открыл замполит, все такой же строгий, натянутый:

— Один просьба есть. Вы скоро Союз, Москва. Вот телефон. Позвонить. Там, Пушкино, моя жена, дочь: Катя, Лена. Я жив, здоров. Я Горный институт учился. Теперь жена, дочь, — он протягивал Волкову листок с телефоном, и тот, тронутый до нежности к его бесстрастному, черно-

усому, ставшему вдруг родным лицу, взял торопливо листок. Смотрел из машины, как он стоит, удаляясь, отдавая на прощанье честь.

Застекленная диспетчерская вышка над бруском аэродромного здания. Взлетное поле глянцевитым озером мерцает в струйках тумана. Под желтым небом стоят вертолеты, опустив тяжелые, словно отсыревшие лопасти. За ними отражают зарю прижатые к земле перехватчики. Еще дальше, готовый к погрузке, с откинутым хвостовым трапом, темнеет транспорт.

Хасан поднял Волкова в рассветных сумерках.

— Есть информация от Навруза: идет караван с оружием. Назначен вертолетный поиск. Полетите? — Волков, торопясь, оделся, вышел за Хасаном, поправляя на плече аппарат. — Часть оружия — для местных банд, другая — в Кабул, там идет, судя по всему, тайное накопление оружия, — объяснял Хасан по дороге, глядя на желтую от зари асфальтовую ленту, и шрам на его выпуклом лбу казался латунным. — Навруз передал, что брат мой, Феруз, идет навстречу оружию. Может, он уже в караване.

Миновали аэродромный шлагбаум, по бетонным квадратам подкатили к вертолету, крутившему в звоне винты. Занджир в летном костюме у раскрытой дверцы на консоли укреплял пулемет. Чуть улыбнулся Волкову и сразу вернул лицу прежнее сосредоточенное выражение. Поднялись по дрожащему трапу. Погрузились в биение, в вибрацию, в запахи сожженного топлива. Захлопнулась дверь. Занджир, застегнув шлемофон, прошел в кабину. Хасан тронул рукой пулемет, проверяя его ход на шарнире. Машина качнулась, пошла, скользнула над утренними кишлаками, над их хрупким вафельным оттиском.

Волков сквозь иллюминатор бережно касался зрачками замкнутой в квадратные стены, но открытой и незащищенной сверху жизни. Дворы с редкими вспышками битого стекла на земле. Кто-то в красном, кажется женщина, толчется у двух белесых коров. Кто-то бежит за собакой. Оседланная лошадь, мягкий дым, заслоняющий глинобитную округлую крышу, голые деревья сада, и на крыше желтые разложенные плоды — то ли урюк, то ли цитрусы. Окрестные незасеянные наделы, похожие на соты, с блестящей жилкой арыка. Все обнажено, доступно зрению. И хотелось поскорее пролететь, подальше отнести пулеметы.

Вертолет порхнул над озерами, латунно-желтыми, с

недвижной блестящей рябью, пересек прямую черту вчерашней автострады, по которой мчались к границе. И горы взбухли, как каменные пузыри, покатали выпуклые тяжелые складки.

Среди дрожания обшивки, чувствуя спиной холодную покатость цистерны, колыханье воздушных масс, Волков следил за клочьями неживого тумана над ущельями, над слюдяными застывшими реками, грязно-белыми воротниками снега. Снег таял, сочился, открывал зеленые склоны, сырые черные осыпи. Глаза чутко обращались к земле, ожидая выстрела. Но вертолет мирно, ровно парил, погружаясь в ущелья, огибая острый гранит. Кружил над вершинами, пронося волнистую тень, растворяя чувство опасности и ожидания, и Волков больше не высматривал караван, не ждал бледной вспышки, прошибающей алюминий. Из кабины вышел Занджир, расстегивая шлемофон, наклонился к Хасану, что-то крикнул в ухо, подставил для ответа свое. Повернулся к Волкову.

— Горючий мало! Бак мало! Скоро домой!

И снова исчез в кабине. В ровном металлическом дребезжании тянулось время. Внизу туманило, заволакивало и опять раскрывало синюю воздушную толщу. Те же скалы, склоны, река, волнистая ниточка тропки. Волков подумал, что рейс неудачный, закрыл глаза, отдаваясь дремоте. И вдруг почувствовал слабую дрожь, прокатившуюся по вертолету. Очнулся: все было так и не так. Те же оползни, мягкие влажные тени. Но Хасан жадно прилип к стеклу, вдавливался лбом в иллюминатор, стараясь ухватить пространство, исчезающее за хвостом вертолета. Машина стала крениться, высвистывая лопастями, входила в вираж, косо снижалась, пронося под собой пестроту приближавшихся склонов.

— Караван! — оторвался от стекла. — Караван!

— Где? — Волков протер запотевший от дыхания круг. — Где караван?

Вертолет прошел над серой зеленью, взмыл, достигая вершины, и оттуда открылись другие долины и горы, другая синева и туманность. Стал разворачиваться, соскальзывать вниз, пропуская под брюхом откос. И близко, под тенью винта, на тропе мелькнул караван, десяток лежащих верблюдов, плотно прижавшихся, в серых тюках, и чуть видные фигурки людей. На один только миг, и скрылись, будто померещились. Хасан метнулся к кабине, что-то беззвучно кричал, нервный и бледный. Волков пошел за ним, вернулся.

— Или оружие, или товары, контрабанда.— Хасан жарко дохнул на Волкова.— Залегли! Маскируются! А район тот самый, указанный! — Глаза его округлились, дрожали, шрам покраснел, словно опять стал раной. Он оглядывался на пулемет.— Еще раз пройдем и зависнем, что будут делать?

Вертолет заскользил, снижаясь, гася скорость, и словно распушился, повис над тропой. Волков ясно увидел недвижно лежащих людей и животных. Верблюдов с округло вздутыми живыми боками, с опрокинутыми, сваленными набок тюками. Двое людей смотрели, запрокинув белые капельки лиц. От них к вертолету потянулись прерывистые легкие нити, исчезая за тенью винтов.

— Огонь! Бьют! Не выдержали! Нервы не выдержали! — Хасан оскалился почти счастливо, смотрел на порхающие трассы, готовый распахнуть овальную дверь, опрокинуть вниз пулеметное дуло.— Засекли караван!

Машина рванулась, свирепо, надсадно гудя. Взмыла к вершине. Трепетала в пустой синеве, где туманились и зеленели долины. Легла в боевой разворот, готовая разить в свистящем косом полете. Испытывая давление падающей косо машины, Волков схватился за спинку пилотского кресла и в стеклянно выпуклой сфере меж головами и шлемами увидел приближавшийся караван — погонщиков, поднимающих ударами верблюдов. Почувствовал сквозь тающее пространство тяжесть тюков, разъезжающиеся ноги животных, злые взмахи людей. По ним туго и хлестко, сотрясая машину, ударила сдвоенная пулеметная очередь, сводя на тропе узкий огненный клин. И следом, отбросив назад вертолет, остановив его в небе, в пламенном дыме сорвались с кассет снаряды, прынули вниз, откликаясь внизу пыльными шарами огня, взрывая тропу, скалу, караван. Вертолет тяжело, будто ударяясь днищем о камни, проутюжил склон, ложась в широкий вираж, отлетая к вершине, набирая для атаки пространство. Устремился к земле, и сквозь оплетку бронированных стекол возникла горящая цель: опрокинутые навзничь, бьющиеся в пламени верблюды, бегущие люди. Один верблюд, струнно вытянув шею, высоко выбрасывая ноги, бежал, неся на горбах дымящийся тюк. Из дыма ударил взрыв, расшвыривая мохнатую копоть, оставляя на месте верблюда клубящийся прах.

— Взрывчатка! — Хасан обернулся к Волкову блестящим оскаленным ртом.— Взрывчатку везли!

Вертолет, долбя пулеметом, кружил над горой. Хасан,

распахнув дверь, окунул пулемет в воющий ветряной воздух, строчил, брызгал гильзами, сотрясаясь плечами и что-то крича. Волков снимал, хватая в объектив его трясущиеся узкие плечи, мельканье земли, падающих людей. Вдруг молниеносно подумал: линия фронта, расколовшая надвое мир, проходит сейчас по стиснувшим пулемет кулакам, по оптике его фотокамеры. Крикнул в ухо Занджиру, вонзая в воздух ладонь:

— Еще раз! Над караваном пройди! Я сниму!

Снимал разгромленный караван, отлетающий чадный дым.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

«Фронт, непрерывный фронт,— билось в нем.— Линия фронта наподобие молнии прошла через мир. Уходит огненно в прошлое. Врезается в будущее. Оставила след в каждой судьбе. Ветераны Испании, сквозь грохот второй мировой помнящие, как она начиналась в окопах Гвадалахары. Смоленская вдова, стареющая на своем огороде, выкликающая в чистом поле павшего в бою пехотинца. Чилиец-студент, брошенный на кровавый топчан, и к его босым обожженным пяткам прикрепляют медные клеммы. Повстанец в Намибии сквозь ветки просовывает ствол автомата, метит в щель транспортера. Все, кто ни есть на земле,— хиппи, филистер, дзен-буддист — все вышли к линии фронта. И уже никому не укрыться, никому не уйти; все ресурсы земли и природы, ресурсы ума и души устремились в борьбу. Сотрясенный, расколотый век несет огромные траты. Что может их окупить? Какой новый опыт? Какие открытые истины? Только вера, что мир скинет с себя кровавые бинты и рубахи,— ну, пусть не сегодня, не завтра, не в моей, не в сыновней жизни. Только в этом одном оправданье! Только с этой конечной задачей выходить на рубеж борьбы. Наивен? Не время об этом? Иные мотивы борьбы? Ресурсы, геополитический фактор, равновесие глобальных весов? Но ведь не с этим гибли пограничники на Уссури, оледенелые в красных гробах. Не за это умирал кубинец в душном лазарете Луанды, все стискивал свой кулак. Не за это шел на таран хрупкий вьетнамский летчик: как искра магния, падал его самолет, и дымились в джунглях развалины бомбовоза. Только мысль о всеобщем, абсолютном, конечном счастье движет нашей душой в часы испытаний и смерти!» Закрыв глаза, не умея объяснить свою

боль, Волков повторял про себя: «И не меньше, не меньше!»

Он сидел на кровати, перематывая драгоценные кассеты с кадрами террористов, сожженных школ и машин, разгромленного каравана. Приклеивал маленькие этикетки с пояснениями, с нумерацией кадров. Завернул в общий компактный сверток, написал на нем телефоны редакции. Только бы аэрофлотский рейс на Москву не ушел до его прилета в Кабул. Достал блокноты и чистые большие листы. Снял с лампы картонный, сделанный Мартыновым абажур. Подвинул стол к свету. Поместил листы в белый яркий круг. И все время, пока писал, маячило перед ним за пределами электрического круга улыбающееся лицо корреспондента «Монд» Андре Виньяра, умное, внимательное, следившее за его пером. Виньяр присутствовал рядом почти реально. Следил за ним — может, из горных пещер, мимо которых он гонял на «фиате» Хасана, или в толпе на пограничном мосту под зеленым колыханием флага. Или в том караване, разгромленном вертолетной атакой, уцелел и тоже пишет сейчас, разложив испачканные глиной блокноты. Этот контакт был телесен до горячих перебоев в груди и опять изумлял его той загадочной связью, в которой таилась неясная для обоих угроза. Писал, видя близкое, улыбающееся лицо француза, стальные точки в умных жестоких глазах.

Несколько раз заходил Мартынов, на цыпочках, прикладывая палец к губам, запрещая самому себе говорить. Волков, не отвлекаясь, благодарно кивал и тут же о нем забывал, фиксируя на бумаге внешний обнаженный процесс и его тайные, сокровенные связи. И когда завершил, исчертил, испятнал листы правкой, понял в который уж раз: он, Волков, полон невысказанного, среди военных и политических выкладок не нашлось пространства для Мартынова, для Хасана, посылающего из вертолета пули в родного брата, для необъяснимой, мучительной связи с Виньяром.

Сухое бледное солнце сквозь легкие занавески блуждает по листу, на котором он вывел первые строчки, да так и замер в оцепенении счастья. Запах близкой травы. Звяканье ведер: их студеная синева с блестящей каймой, плещущим листком лопуха. Под яблонями в пятнах света и тени спит годовалый сын, по его лицу блуждает то же бледное солнце, что и по листам рукописи с начатым рассказом. Бабушка дремлет тут же в кресле. Ее коричневая, не сла-

бая еще рука забылась на поручне детской коляски. Жена, мягко шлепая босиком по тропинке, проходит мимо окна, и он видит пук ее золотистых волос, загорелое плечо с красной бретелькой сарафана. Голос ее о чем-то вопрошает с крыльца. В ответ доносится недовольный, мнимо изумленный, обиженный голос матери. И третий голос — взлетевшего на забор петуха. Все знакомо, светло, окружает его прозрачной, охраняющей сферой, и он чувствует ее расширение к волнистым синеватым дубам у опушки, к белеющей хлебной ниве, к старинному парку с ленивым мерцанием пруда, к ветряному голубому пространству, засеянному деревьями, церквами, птичьими стаями. Он в этой сфере, в самом центре ее, разложил бумагу, пишет.

Писание не бремя, а наслаждение. Ибо оно — о тех состояниях, о том опыте жизни, что достался ему даром, по наследству, присутствует от рождения в каждой клетке, в каждом биении, отзывается любовью и красотой. Само писание равносильно счастью. О стоящем под звездами коне, о черной тяжести росы, о белой тяжести вспыхивающих морозных небес. Кто-то юный обнимает коня, шепчет в лохматое ухо, заглядывает в слезное, в теплых ресницах око.

Почему он перестал писать свободно и празднично? Может, израсходовались добытые не им, а предшествовавшими поколениями истины и настало время добывать свои собственные, внедряться в жесткие, из пустой породы пласты, докапываясь до неведомых, неразведанных месторождений? И его репортажи и очерки — непрерывные малые пробы из этих шахт и резервов?

Он жадно ездил, словно обмерял, оглядывал тот огромный, в шестую часть суши, дом, в котором его поселили. Хотел узнать все его этажи, кто жил в нем вместе с ним. После атомной станции на Каспии — крохотная деревушка в ярославских лесах. После ракетоносного крейсера в Баренцевом — отары овец в Каракумах. Полярные «ИЛы» на Северном полюсе и наряд пограничников в холмах под Кушкой. Органный мастер в Домском соборе и эвенки, бьющие медведя в талой парной берлоге. В этом мелькании, в нарастающих ритмах — оттиск, выхватываемый на лету, унесенный на борту самолета... Налаженная индустрия работы с участием многих людей — и в награду врезанный в полосу материал, кратчайший путь от вчерашней поездки до сегодняшней публикации в номере. Мгновенный, тебя пьянящий эффект. Но он знал и другое: помимо репортажей и очерков в нем копится нереализованный опыт, и в этом опыте, как

в отвалах необогащенной породы, теплится и живет его истина — только нет времени, сил выделить ее из отвала.

Но тогда, в прозрачной стеклянной сфере из теней, лучей, облаков, завершив рассказ, он чувствовал не усталость, не слабость, а прилив бодрых сил. Он молод, добр и любит. И об этом рассказ.

Через сад, мимо спящих сына и бабушки, он выходит за деревню в поле. Половина неба хрустально-синяя, с белым горячим солнцем, с промелькнувшим у глаз пушистым лучистым семечком. Другая половина медленно клубится пышной прохладной тучей. Он снимает рубаху, завязывает ее вокруг пояса, босыми ногами ступает на тропинку среди колосьев. Острыми худыми плечами, гибкой подвижной спиной чувствует сухое жжение света, влажное дуновение тучи. И такая легкость в нем и подвижность, такое обилие сил, что он сначала идет, а потом начинает бежать. Колющее усатое поле превращается в размытый стеклянный блеск. Два-три колоска, вырванные бегом, обвинили его колени и несутся вместе с ним. Брызнули голубые васильки, и один сорванный кем-то цветок мелькнул на тропе. В его голую грудь твердо, небожно ударила тяжелая оса. Воздух упруг и звучен. Гулкие шлепки босых ног. Он несется, рассекая широкое белое поле.

Добежал до леса, в шелестящую волнистую свежесть шатровых дубов, в темень морщинистых корявых стволов. Бежит среди них по красноватой, серебряной тропке. Сухой сучок больно кольнул пятку. Стопа провалилась в холодную кротовую нору. Лицо с беззвучным треском прорвало паутину. Выпорхнул из травы дрозд, и он на бегу почувствовал испуганную птичью жизнь на ветке среди кудрявых листьев.

Вбегает в березняк, в бело-синий холодный снегопад. Глазам восторженно, ясно. Под ногами мягкая колея, просшая лиловыми геранями, осыпающимися лютиками, с мгновенным проблеском черной лесной воды. Он в горячем поту. Видит свою глянцевитую грудь, напряженное сухожилие руки, бронзовый выступ колена. Из леса выносятся на просеку, в удар дождя, в ледяной ожог упавшего блестящего неба.

Стоит, задыхаясь, прижавшись к морщинистому стволу. Над ним в крутящихся вершинах полыхает, трещит, сыплет обломанными суками. Из зеленых дыр рушится вода. Пенится у ног, колет брызгами, заматывает в мокрые зеленые простыни. Ему страшно от близких молний и хорошо от них. Он такой же, как все вокруг: корявый ствол, липкая

земля, поваленные цветы, туча, вода, голубые трескучие вспышки. Шепчет и просит: «Ну ударь! Ну, еще! Ну, вспыхни! Ну, если хочешь, в меня!»

Потом, много лет спустя, совершилось его отпадение от природы, когда между ним и ею — между морем, зарей, казахстанской степью — возникали не просто иллюминатор, бронированная корабельная рубка, грохочущий комбайн, но забота: успеть, догнать, записать, или на прогулках на даче между лесом, дорогой, рекой возникал экран размышлений, и она, природа, была только фоном для непрерывной работы рассудка. Он пытался очнуться. «Очнись! — говорил он себе. — Вот же они, медные стога на закате, и совсем, как в Малах, в латунной заре колеблется стая ворон. Или вот ручей, прожигающий снег, и над ним в розовой голой березе, совсем как в Карелии, ослепительный синий прожектор». На миг прозревал, возвращал первозданное чувство, но потом через шаг, через два снова одолевали тревоги о ненаписанном очерке.

Он шел вдоль реки, мокрый, высыхающий в жгучих лучах. Туча ушла, превратившись в туманную млечность. Трава, кусты, редкие молодые дубы в падении сверкающих капель окутались жарким паром. Еще лежали на тропе слипшиеся от дождя колокольчики, еще в мохнатых соцветиях тонули оглушенные мокрые шмели, но уже вылетали на свет обезумевшие от медовых испарений бабочки, разноцветно неслись над тропой.

Он шел мимо белого плеса. В воде держалась тяжелая синева от упавшего ливня. Был свободен от мыслей, чувствовал себя среди бесконечной природы, в которой жили родные духи и символы, давая знать о себе то звуками песни, то случайной строкой стиха, то образом пустой колокольни. С каждым шагом, с каждым поворотом тропы он чувствовал, что приближался к чему-то, что-то копилось в нем и вокруг, и он искал, выкликал.

Зонтичный белый цветок с напряженно-прозрачной трубкой. Из-за облака шатер голубых лучей. Ключ из земли — ледяная блестящая брошь. Он наклоняется, тянется к воде, и в наклоне, в скольжении зрачков — бесшумный огненный взрыв непомерной силы. Он вырастает до неба, касаясь лицом голубых лучей, а ноги его погружены в далекие леса и дубравы. Могучий и любящий, стоит, сложив за спиной белые крылья. Это длилось мгновенья и кануло, оставив по себе небывалую радость и мощь, словно в грудь ему вложили жаркий серебряный слиток.

Он не знает, что это было. Что явилось ему у реки. Чье лицо его ослепило. Но потом много лет все светился в нем этот слиток, а когда наконец погас, светилась память о нем. А когда погасла и память, то осталась память о памяти, о чем-то его посетившем. Он бережно ее в себе сохранял, надеясь, что когда-нибудь чудо вновь повторится.

В гарнизонную комнатку доносится рокот моторов, луч танкового прожектора нет-нет да и черкнет по окну. Проскользнет штабная машина, рывкнет, выбросив штык, часовой, пробежит офицер, и снова мерное дрожание стекол, отдаленный танковый рокот.

Заряжена фотокамера. Лежат наготове блокноты. И завтра подымет его самолет, и он вернется к дереву в центре Кабула. Он лежит, удивляясь, что утихли впечатления минувшего дня и заботы о завтрашнем и поднялись, как легчайшие аэростаты, воспоминания, неся с собой грузы неясного, неиспользованного опыта давнишних трат и потерь, из которых теперь что-то рождается, отзывается болью, раскаянием, ожиданием близкого, еще неизвестно какого, но светоносного выхода, объясняющего прошлое и настоящее, зовущего в будущее. Это неясное будущее, где присутствовали голоса и лица ушедших, соединилось в нем с мыслью о Марине, о тонком, скользнувшем луче, от которого зажглась его память, началось движение вспять, выкликанье прошлого в будущее.

Он смотрел перед собой на стену, где висела приколотая Мартыновым фотография женщины: серьезное лицо с обычными, часто встречающимися чертами, но если подольше всматриваться, сквозь миловидность, усталость и женственность проступало выражение долгого, накопленного с годами терпения. Готовность и дальше копить, а потом передать по наследству. Мартынов перехватил его взгляд.

— Смотрите? Это Оля, жена моя. Куда ни приеду, первым делом фотографию на стенку. Знаете, чего ни случается за день, какой ни придешь — бывает, жить неохота, а на нее глянешь — и будто, знаете, все в тебе побелеет, посветлеет. И снова ты человек, и снова жизнь понимаешь правильно, и снова, как говорится, цель ясна и силы берутся. Думаешь, вот она, моя милая, ненаглядная, смотрит и все видит, все понимает. Если нужно, год будет ждать, нужно — всю жизнь. Она, Оля, для меня и жена, и больше чем жена. — Сказал он это с такой торжественной искренностью и

доверием к Волкову, пуская его в свою жизнь, что Волков, привыкший вторгаться в чужие судьбы, здесь отключил свои автоматы, записывающие, запоминающие устройства и затих в бескорыстии.— Это ведь, знаете, хоть и говорят, что на свете чудес не бывает, а все равно, наверное, в каждом человеке что-то такое есть, какая-то его особая, что ли, сила, ему одному известная. Для других она загадка, а для него — отгадка. Отгадка всего, что есть: и себя, и земли, и жизни, и смерти, и других людей. И что удивительно, знаете, у каждого эта сила в своем. У одного, может быть, в каком-нибудь деревенском доме, в какой-нибудь развалившейся деревенской избе, где он родился и мать его померла. У другого, может, в призвании, в даре, в искусстве. У третьего еще в чем-нибудь. А у меня в ней, в Оле, в жене.

Мартынов сидел ссутулясь, взглядывая на портрет, и то ли рассказывал Волкову, то ли говорил с фотографией. И лицо у него было умягченное сквозь окалину афганского солнца и ветра, юношеское сквозь морщины и шрамы, беззащитное сквозь жесткие командирские складки у рта и бровей.

— Мы ведь, знаете, поженились с ней на третий день знакомства, так прямо сразу. Окончил училище, звездочки лейтенантские получил на погоны, и вот всем выпуском — вечер, бал. Ну, представляете, лейтенанты, известное дело, молодые, румяные. Назавтра всем назначение, кто куда, кому в какую степь, а пока еще вместе, выпускной бал. И вот стою я с друзьями и смотрю на танцующих, а напротив через зал сидят девушки, студентки приглашенные, и среди них, я вижу, одна в розовом платье с большой такой косой вокруг головы. И смотрит через зал на меня. Чувствую, знаю — на меня через весь зал. Не различаю хорошенько ее лицо, но знаю, что именно на меня. И не просто смотрит, а как бы луч какой-то от нее ко мне протянулся, и я даже пылинки различаю в этом луче. И тут как раз, представляете, объявляют белый танец, и мне совершенно ясно становится, что вот сейчас она встанет и пойдет ко мне, и мы будем с ней танцевать, и после этого танца уже не расстанемся. Так все и было, так все и случилось. И сейчас все еще вижу, как она подымается, медленно так, и идет ко мне через зал по лучу.

Волков молчал, не смотрел на Мартынова, как бы устранялся, давая больше простора и места его переживаниям и словам.

— Я получил назначение в часть в казахстанскую степь. Пыль, жара, трещины в земле, каракурты разные, а мы частью пришли, танки поставили в каре, внутри разбили палатки, один дощатый щитовой дом собрали и начали обживать территорию. Бурить артезианские скважины. Класть дороги. Проводить связь. И все, кто был, солдат ли, офицер, руки себе до волдырей срывали на кирке и лопате. А как же иначе! Встарь-то кто пустыню и степь осваивал? Кавказ и Амур обживал? Полки, линейные казаки, солдаты. И теперь в том же роде. И вот в эту-то глушь, в это пекло она, моя Оля, приехала. Горожаночка, только что институт окончила. А здесь что? Кирза, бушлатики масляные, белосолёные, ободранные о броню и колючки,— вот тебе и дом моделей! Три года со мной прожила в бараке, ни ропота, ни стога. Только — как я, чтоб я был здоров, был весел, у меня все было в порядке. Там и родила мне дочку, в этом самом бараке, из которого солончак был виден, а когда шли танки, пыль поднималась такая, что одежда в шкафу становилась белой. Знаете, что меня держало во время учений, в жару, когда ведешь взвод в атаку, и фляга твоя пуста, и хруст на зубах, и в глазах лиловые круги, и солдатики твои на грани теплового удара, и сам ты на этой грани, но не должен ее переступить, и одна только мысль: «Выдержать! Достичь рубежа!», а сзади тебя «бээмпешки» раскаленные движутся, постукивают пулеметами,— знаете, что меня держало, когда другие уже не выдерживали? Лицо Олино вдруг появлялось среди всех ожогов, белое такое, чистое, как снег, и сразу будто прохлада и свежесть, глоток холодной воды глотнул, откуда новые силы брались. Да так оно и было на самом деле. Она мне силы свои дарила, посылала их в пустыню.

Волков слушал напряженно и радостно за него, говорившего, в жизни которого присутствовала сберегающая, хранящая сила — эта утомленная миловидная женщина. И тут же спрашивал себя и пугался: «Ну а я? Есть ли у меня эта сила? Мог бы и я о ней рассказать? Было бы кому интересно?»

— После казахстанской степи, как водится у нас,— перевод. И куда бы вы думали? В гундру! То пекло, то мерзлота. То от солнца не знали куда деваться, то полярная ночь. Олюшка моя безропотно едет. Другие жены охают, ропщут, некоторые и вовсе нашего брата офицера бросают. Не выдерживают гарнизонной жизни. А моя — ни словечка, ни упрека. То в школе в военном городке преподает, то в биб-

лиотеке, а то и в военторге за прилавком, все кротко, все тихо. Дочь растит, мне духом упасть не дает. Раз еду по тундре в самую ночь ледяную — рекогносцировка, я и водитель. И надо же так случиться, посреди ледяного озера моторы заглохли. И так и сяк крутили-вертели — ни в какую! А мороз, звезды, лед синий, и броня остывает, а до расположения шестьдесят километров. Что делать? Тут замерзать? Я говорю водителю: «Ты, говорю, здесь оставайся с машиной, а я двинусь на лыжах. Доберусь до своих и вышлю подмогу». Ну, побежал. Сначала хорошо, легко в беге. Даже красиво — ночь, звезды, северное сияние и торосы голубые, розовые. И вдруг — удар! Об один такой вот торос. И лыжина надвое. Нет, думаю, еще поборемся. На одной лыже пошел. То ничего иду, не проваливаюсь, наст держит, а то ух — по пояс! Заваливаюсь на бок, барахтаюсь. Из сил выбился. Мокрый от пота, а чуть остановишься — леденеешь, прямо чувствуешь, как одежда примерзает к телу. Барахтался я один посреди тундры до тех пор, пока силы были, а потом не стало ни сил, ни воли. Лег, равнодушный такой, и стал замерзать. И совсем бы замерз, но в последнем живом, неостывшем уголке сознания возникла вдруг Оля, ее лицо, и такое, каким оно было на нашем выпускном вечере, торжественное, с темной косой. И это ее лицо оживило меня, подняло. То шел, то полз. Хрипел, бормотал, повторял одно ее имя, и под утро наехал на меня лопарь в нартах с двумя оленями. Подобрал, привез в чум, послал оленей к водителю. А она мне говорит потом, что в ту ночь такой у нее был озноб, такой на нее страшный холод и страх нашел, ни на час не уснула. А это, видно, я у нее тепло отнимал, грелся им. Это она, моя Оля, в тундре замерзнуть мне не дала.

Волков видел: Мартынов, рассказывая, устремлен мимо него, сквозь морозящую ночь, где притихли мокрые афганские танки, ежятся часовые, чавкая, падает в грязь перезрелый оранжевый плод, и в ответ далеко и уныло хлопает винтовочный выстрел, — он все это пролетал на невидимом световом луче, к той, чье лицо кочевало за ним по пустыням и тундрам, являлось в болезни, сберегало от смерти. Сейчас между нею и им звучала неслышная речь, и он, Волков, улавливал лишь слабый ее отголосок. «Ну а я? — спрашивал он у себя. — Есть ли женщина, чье лицо проплывет надо мной в час моей смерти?» Представил лицо жены, знакомое и когда-то любимое. Оно явилось туманно и призрачно, как осенняя луна за дождем. Вспоминал и другие лица,

вызывал их к себе, но они не желали являться, чуть всплывали и тут же тонули. И только последнее, недавнее, созданное из света, тронуло его жарко и нежно. Но и оно исчезло, оставив по себе неясную тревогу и боль. Не было женщины. Не было светового луча.

— А потом на Кавказ. Я вам говорил или нет? Вот они, шрамы-то! — И он провел осторожно по лбу. — Были ночные учения. Гроза, ливень. Склоны раскисли. Водитель в танке неопытный, ну и потянуло его кормой. Заскользил, заскользил, да и в пропасть. Так и летели и шлепнулись. Я уж очнувшись в палате. Весь в гипсе, подвешен, только глазами могу водить. Посмотрел, а она стоит рядом. Не в слезах, не оплакивает, а знаете, вся собранная, энергичная, в заботах, вся ко мне обращена. И хлопоты ее не то чтобы напиться подать или подушку, повязку поправить, а как бы вся ее воля на меня направлена и во мне вместо моей, перебитой, действует. Помогает биться сердцу, дышать груди, кости сращивает. Не могу я этого вам объяснить, но она как бы в меня переселилась и живет за меня, погибнуть не дает. Это уж потом она плакала, когда опасность миновала и врачи велели отпаивать меня соками и виноградным вином. Сидим с ней вдвоем в палате, пьем это вино. Она пьянеет и плачет. А я пьянею и смеюсь, смеюсь от любви к ней. И третьего дня на дороге, когда шарахнули в нас из гранатомета в упор, и трактор передо мной загорелся, и я очумел на минуту, направил свой бэтээр прямо в гору, может, она, моя Оля, там далеко тихо ахнула, чашку уронила, и я опомнился. Может, и на этот раз меня выручила!

Он засмеялся тихо, счастливо и тронул усы особым, старинным, офицерским жестом. Встал, убирая стаканы с холодным чаем, кипятильник, поглядывая на портрет жены:

— Были красавицы. Были такие красавицы писанные! А ее не променял на них ни разу, ни на одну. Я знаю: пока она со мной, я не умру. Пока она есть, и я есть. Покуда они есть, и мы с вами есть. В Кабуле по телефону удалось поговорить полминутки, голос ее слышал — и ладно. Ну, ну! — спохватился он. — Заговорил вас совсем. Завтра нам расставаться. Может, еще свидимся... Я схожу к тракторам, проведу. Ремонтники обе машины поставили на ноги, сказали — дойдут до места. Афганцы-водители митинг устроили, решили: пойдем с красным флагом! Пусть, говорят, видит народ — революция продолжается! И бандюги пусть видят! Дойдем до места! Вспашем землю! — И ушел, широкий, бодрый, знакомый Волкову с незапамятных давних времен.

Наутро колонна с тракторами вышла дальше на юг, туда, где разгоралась весна. А Волков отправился на аэродром, к самолету. Сел рядом с двумя молодыми афганцами, положившими на колени офицерские фуражки с кокардами. Взвыли винты, самолет полетел над шоссе, и Волков, прижавшись к стеклу, увидел тракторную голубую колонну с алой капелькой флага и охранявшие ее БТРы с белыми номерами на башнях.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Самолет приземлялся, плавными, снижающимися кругами выпадал из синевы, вписываясь в каменную чашу Кабульской долины. Волков еще на снижении успел разглядеть аэрофлотовский «ТУ» и, едва опустились, заторопился, почти побежал по бетону к стоящему на старте лайнеру. Трап уже откатили, он помахал стюардессе, вызвал второго пилота, кинул ему вверх сверток с кассетами, с телефоном редакции, и тот заверил: «Передам».

Он еще постоял, провожая самолет, медленно откативший, разогнавшийся, с грохотом ушедший ввысь. Пошел к стоянке машин, надеясь на попутную, и сразу увидел знакомый «рафик».

Машина была переполнена, а в нее все садились. И Нил Тимофеевич Ладов оглянулся на него, узнавая, расплываясь в улыбке и одновременно стараясь втиснуть полное тело.

— С приездом, Иван Михайлович!.. А ну, ребятки, давайте еще подвиньтесь!.. А мы тут, видите, друга в Союз провожали!.. Давайте, ребята, еще немного!.. Подсаживайтесь, Иван Михайлович, хоть стоя довезем!.. А я вас ждал! Завтра открывается съезд аграрников, заказал вам пропуск. Я вам что-то интересное хочу сообщить!.. А ну, ребятки, давайте еще!.. — Он застрял в дверях, набычив голову, беспомощно толкаясь вперед, и Волков, не желая тесниться, сказал:

— Ладно, уж вы поезжайте. Я на другой на какой-нибудь. В отеле встретимся. — И, надавив, закрыл за ним дверцу. «Рафик» отъехал, помчался.

Волков двинулся вдоль бамперов, разглядывая номерные знаки. И вдруг от черной лакированной поверхности, пере-

ламывающей в себе отражение аэропорта, из черного, готового тронуться «шевроле» выскочила с радостным вскриком, сияя лицом, Марина. Устремилась к Волкову, словно хотела обнять, остановилась на незримой черте, колебалась на ней под взглядами тучного, сидящего в машине шофера.

— Прилетели? Только что? А я шефа в Москву проводила. Мне показалось из толпы, будто вы подходили к самолету. Думаю, нет, быть не может. Так это вы?

— Я,— сказал Волков, почти не удивляясь, прислушиваясь к своей молодой, радостной силе, к светящемуся плотно-прозрачному пространству между ее и своим лицом, отражаясь в ней и ее отражая в себе. Знал еще утром, когда подымал его в воздух пятнистый военный транспорт: он ждет этой встречи. Весь полет был приближением к ней, желанием ее.— Я рад,— сказал Волков, отмахиваясь от зорких глаз шофера, протягивая руку к ее открытой шее с маленьким кулоном из сердолика, касаясь розового камня, чувствуя сквозь него ее живую, к нему обращенную женственность.— Вы меня подвезете?

Они утонули в глубоком заднем сиденье. Машина плавно пошла, и выраж тесно прижал их друг к другу.

— Вы помните, что говорили, когда улетали?

— Не помню.

— Назначили свидание под деревом. Ну, в скверике за отелем. Я каждый день приходила... Думаю, вдруг и правда вы сидите на ковре среди яств и меня поджидаете.

— Вы сказали про яства. Сейчас приедем в отель, сброшу с себя дорожную робу, стряхну джелалабадский прах с ног моих, облачусь в приличествующий случаю костюм и торжественно поведу вас обедать. Если, конечно, вы уже не приглашены другим.

— Ну что вы, кто же другой! Ведь мой шеф улетел. Я свободна. Почти неделю. Могу вам служить переводчицей. Буду вас сопровождать по Кабулу.

— Прекрасная мысль. Сходим в мастерскую к какому-нибудь художнику или на премьеру в театр, побродим всласть по городу, благо у вас тут солнце, весна. С вашей помощью напишу репортаж «Весенний Кабул».— Весь угрюмый, жестокий рейд в Джелалабад, с болезнью, борьбой, бессонной работой над текстом, был позади. Сейчас они вернутся в отель, он успеет к разговору с Москвой, передаст репортаж с границы, и они спустятся в ресторан, пообедают, и он ей скажет, как его влекло к ней, как, не думая о ней

явно, видел ее, знал о ней поминутно в своих перелетах и гонках.

Ансари-вад, прямая, умытая, приближала их к городу. Впереди далеко возникла на асфальте цепочка солдат, и в солнечном воздухе слабо и игрушечно прозвучали хлопки. Еще и еще, и легкая, прозрачно звучащая очередь. Они подкатили и замедлили ход. Солдаты преградили им путь, заглядывали внутрь, пропускали, торопя прочь взмахами. Шофер кивнул, что-то пробурчал недовольно, погнал «шевроле». Стрельба, все такая же тихая, далеко за солнечными особняками и стенами, прозрачно рассыпалась в небе.

— Что за черт! — озирался шофер.

Волков чувствовал: город среди белого дня и солнца был уже измененным. В нем что-то случилось, что-то затмило его, неслось среди улиц, пока неизвестное, и он, Волков, отделенный скоростью, салоном машины, чувствовал невидимую, на город упавшую тень.

Близко за домами ударила очередь, трескуче и жестко, и прохожие, прижимаясь к стене, побежали, из прогала выскочили два солдата, кинулись согнувшись, держа автоматы, нырнули в другой прогал, и оттуда близко, в упор треснуло, и дальше вдоль улицы откликнулось очередями и выстрелами. Где-то рядом ахнула звонко пушка, не танковая, а помельче, с боевой машины пехоты.

Волков сидел напряженно. Марина, побледнев, прижалась лицом к стеклу.

— Пригнитесь! — сказал он ей. — Пониже! Еще!

Их задержали у Дворца Республики. Площадь была оцеплена. Офицер резко, зло отмахивал рукой, отворачивал машину. Ему вторил солдат, плашмя автоматом отталкивая «шевроле» назад. Они развернулись и, слыша стрельбу, выехали на набережную и увидели разрозненно бегущую толпу, и с той стороны, от рынка, через мост, казалось, прямо по ним ударила очередь. Шофер, напоровшись на выстрелы, качнул в торможении машину, выругался, и в развороте Волков успел разглядеть желто-серое рассерженное лицо хазарейца с маленькими черными усиками, вскинутый грязный кулак. Что-то тяжело, металлически ухнуло по багажнику.

— Черт, разобьют! — Шофер, горбясь, выкручивал руль, пускал машину в узкий проулок, раздвигал капотом толпу. И оттуда, из-за вывесок, крыш, взвинченных и орущих толп, хлестнуло, просвистело мимо, шмякнуло в кирпичную стену. — Ядреный корень! — Оборачиваясь, весь белый, шофер нажимал сигнал, выводил машину назад, а перед ней, охва-

тывая ее, не пуская, валила толпа, била кулаками в капот. Ком жидкой грязи расплющился на лобовом стекле.

— Ложитесь! — Волков с силой, пригибая ей голову, валил Марину сзади себя на сиденье, сам пригибался. — Гоните вдоль набережной!

Машина, осев на рессоры, развернулась и, мощно взревев, помчалась вдоль грязно-коричневой реки, обгоняя бегущих людей. Подкатила к отелю со стороны двора, где афганские солдаты, лицами все в одну сторону — к парку Зарнигар, смотрели на орущее клочкотание, и один солдат выносил на ступеньки ручной пулемет.

— Черт, разбили багажник! — Шофер обходил хвост машины, трогая свежую вмятину.

— Идите в номер, — сказал Волков Марине. — Я зайду за вами. Передам материал — и к вам.

— Я боюсь. — Все еще бледная, она глядела сквозь изгородь на Зарнигар.

— Теперь уже все. Не страшно. — Он проводил ее до номера, дождался, когда она закроет дверь, щелкнет ключом. Спустился к себе. Понимал, что отпущены ему краткие минуты, что город, ревущий, словно гулкая, переполненная звуками бочка, потребует от него новых сил и работы.

Люкс был прибран. Лежал на столе оставленный им неделю назад блокнот. На спинке стула висел галстук. Волков почти успокоился, отключил внимание от происходящего в городе, сосредоточился на скором звонке из Москвы.

Снял часы, засекая время. Зажег настольную лампу, разложил под ней исчерканные листки. И решил принять душ, смутно предчувствуя, что другого времени для этого может не быть. С наслаждением, радуясь шелесту горячей воды, стоял под душем, оставив приоткрытой дверь ванной, рассматривая на телефон. «Сначала душ, — думал он. — Потом телефон. А потом уж все остальное», — имея в виду доносящуюся сквозь плеск воды перестрелку.

Побрился, вытирая насухо посвежавшее, порозовевшее лицо. Надел чистую рубашку с серебряными запонками, повязал перед зеркалом галстук, думая, что все-таки зайдет за Мариной и они спустятся пообедать, — ресторан, он заметил при входе в отель, продолжал работать. «Сначала галстук. Потом телефон. Потом обед. А потом уж все остальное». И не удивился, взглянув на часы, услышав звонок в момент совпадения стрелок.

— Хелло! Мистер Вольков! Москоу, плиз! — И сквозь

пергаментные хрусты и шелесты услышал близкий, чуть резонирующий в мембране голос Надеждина:

— Але, Кабул? Не слышу! Волков? Але, Кабул?

— Да не кричи ты, всех разбудишь,— сказал Волков.— Я слушаю.

— Ваня, привет! Как дела?

— Только что прибыл. Как раз к твоему звонку.

— Отлично, Ваня, отлично! Видел свой материал?

— Не успел. Говорю, только вошел.

— Посмотри, посмотри. Пошли перепечатки и отклики. «Нью-Йорк таймс» дала, «Дейли мейл», «Франкфуртер альгемайне». Что будешь передавать?

— Репортаж из Джелалабада, как ты просил. Подрывные центры. Разгром каравана с оружием. Выслал сегодня пленки с Аэрофлотом. Тебе будут звонить. Забери.

— Отлично! Теперь вот что, Ваня! К следующему разу, будь любезен, расскажи о спокойной, нормальной жизни. Ну как торговцы торгуют. Как бизнесмены зашибают деньги, как муллы молятся, ну, ты понимаешь. А где твои трактора? Где очерк про трактора?

— Будут тебе трактора! — ответил Волков, прислушиваясь к невнятному голошению на улице, прерываемому тресками.— Как там Москва?

— Да слякоть. Ноги вчера промочил, сегодня третий платок меняю. Водки, что ли, выпить? За твое здоровье!

— Еще что хорошего?

— В твой кабинет никого не пускаю. Только Верочку сегодня пустил. Она тебе вместо усохшей поставила живую гвоздику. Что ей передать?

— Пусть чаще меняет воду.

— Ну, а у вас как? Привези мне индийского чаю. У тебя то как?

Волков отвел в сторону трубку. Бессловесно шумело. Раздавались трески. Близко, звонко плюхнул пушечный выстрел.

— Не слышишь? — спросил он Надеждина.

— Нет. А что?

Волков два раза ударил трубкой о стол.

— А теперь?

— Слышу. Что это?

— Пушки.

— Да брось ты. Что там такое?

— Еще не знаю. Недавно началось.

— Значит, жарко? — Голос его мгновенно утратил шутливую безалаберность, стал глуше, жестче.

— Жарко. Кто будет записывать?

Диктовал медленно, мерно, по буквам названия городов и поселков, имена террористов, имя Навруза, — длинный, большой репортаж, освобождаясь от него, отсылая, передавая в другие руки, переставая тревожиться за его судьбу, чувствуя возникающую в себе пустоту и свободу для новой поджидавшей его работы, бурлящей и стреляющей за окном действительности.

Повесил трубку. Надел пиджак, радуясь его новизне и свежести после сброшенной походной одежды. Вытянул манжету с запонкой. Подумал и надел на плечо аппарат. Вышел из номера и тут же наткнулся на маленького белесого аграрника, кажется, из Рязани. Он ударился в Волкова, как слепой. Отпрянул. Снова надвинулся, узнавая его, растерянный, потрясенный.

— Это вы?.. Несчастье!.. Какое несчастье!

— В чем дело?

— Нил-то!.. Нил-то наш Тимофеевич!.. Прямо в живот! Без сознания!

— Что случилось?

— Нила Тимофеевича ранило!.. Мы ехали в «рафике», он стоял так вот, согнувшись, головой в потолок, а рукой за меня держался. Я ему говорю: «Держись, Нил Тимофеевич, а то упадешь да меня раздавишь!» Едем, а тут стрельба. Пуля-то как в дверцу ударит да прямо Нилу Тимофеевичу в бок и в живот. Он на меня и рухнул. Кровь полилась. Мы прямо в госпиталь, а уж он без сознания. Он ведь только что письма домой переслал. С самолетом отправил. Письма еще в небе, а он без сознания. Вот беда-то! — Тряся белесой головой, мигая белыми глазками, побежал по коридору, а Волков вспомнил стоящий «рафик», полное тело Нила Тимофеевича, свое желание втиснуть его глубже и самому занять место у дверцы. «Моя пуля», — подумал он. Нес в себе ощущение этой подмены, случайности жизни и смерти и тайное облегчение: «Не в меня» — и последующую горькую, похожую на раскаяние жалость. Представил полное, опечаленное лицо Нила Тимофеевича, его тоску по семье в тот вечер, его пение, его предчувствие. И тут же об этом забыл, входя в холл.

У открытого окна сгрудились люди. Через их головы вместе с ветром и холодом перекатывался рокот толпы, мегафонные выкрики, выстрелы. Два летчика ГВФ в форме,

две женщины, кажется из Комитета советских женщин, чехи, аграрные специалисты, венгр-технолог и шведский знакомый по пресс-конференции, журналист, стояли у подоконника, осторожно, из глубины, смотрели на солнечную площадь с темными завитками толпы.

— Мы едва прорвались! У Спинзара ударили по стеклу — и вдребезги! Шофер весь в порезах! — говорила, видимо не в первый раз, хорошенькая женщина, нервно поправляя завитой височек.

— Это путч! Это путч, я знаю! — объяснял маленький лысый венгр.

— Иван! — Марина кинулась к нему, цепко, сильно схватив за локоть.

— Не волнуйтесь, — он мягко положил руку на ее пугливые, дрожащие пальцы, чувствуя, что и сам волнуется. И в нем, как во всех, струилось нервное, похожее на страх возбуждение, залетающее сквозь гудящее окно. Весь город внизу был пронизан высоковольтным грозovým электричеством, бегущим по невидимым жилам.

Волков подошел к окну, подставляя грудь сквозняку, выглянул из-за каменного косяка. По улице катила бронемашина, зеленая, как лягушка. Над люком крутился динамик. Из него гортанно, пружинно неся металлический голос Увещевал, угрожал, заклинал, усиленный до вопля и лязга, отражался от крыш. Вдоль изгороди цепочкой шли солдаты, неся на весу карабины, конвоировали людей в шароварах, державших руки вверх. Волков открыл аппарат, прицелился сделать снимок. Но один из солдат заметил его навел карабин, и Волков отпрянул.

— Да уйдите же вы, в самом-то деле! — Кто-то схватил его за локоть. — По окнам начнут стрелять!

Он опять осторожно выглянул. Лягушачьего вида машина въехала во двор отеля. Люк открылся, из него выпрыгнул в синем плаще, без шапки, с черной копной волос афганец, и Волков с высоты узнал широкогубое оленье лицо Саид Исмаил, агитатор райкома.

— Куда вы? — Марина почти бежала за ним, хватала за локоть. — Куда?

— Погодите, я сейчас вернусь, — он досадливо, резко отстранился, на секунду пожалел об этом, выскочил на лестницу и бегом, мимо охранников, тянувших по лестнице телефонный провод, спустился к стойке портье, где Саид Исмаил говорил по телефону. Офицер в комбинезоне, сдернув фуражку, отирая пот, что-то выговаривал молодому солдату.

— Исмаил! — крикнул Волков, догоняя повернувшегося, готового исчезнуть райкомовца. — Исмаил, что происходит?

— Мятаж!.. Я говорил!.. Толпа, много, идет по Майванду!.. Жгут дуканы, стреляют!.. Я агитирую! — Он схватился за горло, и голос его клокотал и звенел, требуя мегафона.

Пачкая руки о грязную от подметок скобу, Волков втиснулся следом за райкомовцем в граненое, ребристое нутро афганского броневика, припал глазами к бойнице.

Улица была голой, липкой, словно освежеванной, хранила след пробежавшей судороги. Толпа, отхлынув, оставила смрад, отзвуки воя, грязные метины на стенах, бесформенные рыхлые комья, парные хлюпкие лужи.

Перевернутый набор, вяло горел грузовик. Из дымящегося кузова рассыпались и краснели раздавленными кляксами помидоры. Тут же чадил автобус. Передние покрышки уже сгорели, он осел на обода, зловонно коптил резиной. На асфальте белело истертое в крупу стекло, по которому пробежала лавина. Витрина лавки с сорванными жалюзи зияла проломом, обрывками цветного тряпья. Напротив горел двухэтажный дом. Пожарные в касках наращивали шланги, били водометом в огонь, и из пламени валил жирный пар.

Броневик разворачивался, и Волков прямо у колес на пустом асфальте увидел трупы. Лежавший ничком афганский солдат с вялыми, переплетенными в падении ногами, черной головой в луже крови и двое в полосатых, как одеяла, накидках среди брызг и подтеков. Мимо них, лавируя, колыхая антенной, прошел БТР с красной афганской геральдикой, скользнул по луже крови, оставляя липкий гаснущий след. Из открытого крана колонки голо, блестяще, дико била вода.

Саид оторвался от радики, что-то крикнул водителю, оглянулся на Волкова.

— На Майванд! Скопление! Много!

Они выкатили на Майванд, он был пуст, непомерно просторен, ртутно натерт. Впереди, неразлично и грозно, запрудив улицу, клубилось огромное, гулкое, давило на стены, стремилось раздвинуть.

Они медленно подруливали к толпе, к ее реву и всплескам. Двойная цепь солдат в грубошерстных робах, в надвинутых на брови картузах, выставив вперед стволы, медленно отступала, а толпа столь же медленно давила, надвига-

лась, оставляя перед собой пространство пустого асфальта. Ползла вязко, спрессованно, лишенная в своей глубине возможности ворочаться, двигаться, но на передней свободной кромке брызгая, клопоча, оплавляясь. Волков в зрачок бойницы чувствовал температуру этой расплавленной сгорающей кромки. Выдавленные толпой на передний план, сдерживаемые дулами автоматов, метались, кривлялись, чернели орущими ртами, размахивали кулаками, тряпками, железными палками. Здоровенный детина в разметанных грязных одеждах, с бычьей набухшей шеей, беззвучно кричащим ртом раскачивал воздетое на кол зеленое мусульманское полотнище. Флаг то захлестывал его распаренное, красное лицо, то снова крутился зеленой воронкой. Женщины в паранджах подскакивали, всплескивали руками, словно танцевали под бубен, и с ними толкались дети, носились взад и вперед, и один, босой, в красной рубашке, смеялся, тряс над головой рогаткой.

Толпа давила, дышала единым вздохом. Вдыхала: «Аллах акбар!» Волкову казалось: толпа имеет единое, набухающее буграми и жилами тело, единую горячую багрово-красную пасть. Многолапая, стоглавая, свивает и бьет кольчатым, чешуйчатым, уходящим в даль улицы туловом. Будто чудище, жившее тайно в горе, выползло на свет, движется, лязгает, харкает пламенем, оплетая кольцами горд.

Он понимал: кончились социология и политика, сменились биологией, слепой, непомерной, не сознающей себя, животной чувствующей свою жизнь, свою смерть. Биологию толпы — вот что он чувствовал сквозь броню машины, тонкую, проницаемую, как конфетная фольга. Содрогался, слеп, цепенел и не мог оторваться.

— Сейчас!.. Вперед!.. Ближе!.. Говорить буду! — Саид Исмаил отвернулся от Волкова, приказывая что-то водителю, сжавшемуся среди рычагов, в ужасе продвигавшему вперед машину.

Броневи́к медленно двинулся. Солдаты, расступаясь, пропустили его, и он оказался на пустом пространстве перед толпой. Железный, истошный, колеблемо-зычный голос полетел из динамиков, перекрывая вой, и толпа откликнулась ответной, усиленной ненавистью: «Аллах акбар!» — и вдруг побежала на броневи́к.

— Назад! — крикнул Волков. — Сожгут!

Откуда-то сверху, с крыш, с верхних этажей задраенных лавок и постоянных дворов, хлестнула по броне автоматная

очередь, звонко расплущилась, отзываясь в недрах машины, как в пустом ведре. Очередь скользнула в сторону, по солдатской цепи, по мохнатым униформам, и два солдата упали, а толпа набегала. Невидимый в подворотне, лязгнул танк, качая отвисшими гусеницами, окутываясь едким дымом. Выкатил на улицу, краснея на башне линялой афганской эмблемой. Повел тупо пушкой и ахнул, обрушив крышу дома, откуда строчил автомат, превращая в белую пудру осыпь кирпича, в трескучее пожарище.

Толпа ахнула, отпрянула, побежала, клубясь, осыпаясь, оставляя орущие клочья.

Проделав путь по Майванду, броневик подкатил к райкому.

— Стой! Оставь меня здесь! — сказал Исмаилу Волков. — Будешь возвращаться, за мной заезжай.

Слыша урчанье отъезжавшего броневика, покидая вечернюю, в ртутных отсветах улицу, вошел в темноту деревянных сырых переходов. Знакомое помещение райкома напоминало казарму, дрожало от топота пробежавших ног, звона оружия. Секретарь райкома Кадыр Ашна то и дело хватал трескучий телефон, отрывался от разговора навстречу входившим командирам вооруженных групп, тыкал пальцем в развернутый план района, в красные с номерами кружки, коротко, резко приказывал. Достагир, член райкома, тот, что скрывался в подполье и зло и яростно спорил с Саидом Исмаилом, — Достагир, резкий, звонкий и точный в словах и движениях, строил в коридоре партийцев, отправляя на охрану объектов — школ, министерств, мечетей, и те, увешанные автоматами поверх курток, плащей, пиджаков, иные в галстуках, иные в рабочих спецовках, кого и как захватил мятеж, старались идти по-солдатски в ногу, сбивались, теснились на узкой лестнице, исчезали на улице в светлом проеме дверей.

Волков жадно и пристально вглядывался в их лица, глаза, в их жесткие скулы и рты. Не было паники, страха — было стремление действовать, осмысленное, не гневное, но грозно-суровое выражение, знание своих мест и задач, готовность биться, готовность разрушительной ярости и глухому безумию толпы противопоставить осмысленный встречный отпор.

Если толпа на Майванде казалась безликой, безглазой, одна огромная, бесформенно-страшная плоть, то здесь были лица, глаза, была осознанность цели. И Волков, переживший недавний ужас, радовался, отмечал про себя: есть много-

людная, твердая встречающая сила, народный оплот революции.

Райком опустел. Только на лестничной клетке, в красной кумачовой тумбе, где еще недавно Волков писал в блокнот, словно в доте, сидел автоматчик, и на грязном полу в коридоре валялся окровавленный бинт.

Волков вошел в кабинет, где Кадыр Ашна, откинувшись в кресле, на мгновение расслабил полное утомленное тело, глядел на молчащий, готовый затрещать телефон. Прислушивался к разрозненной стрельбе.

— Вот, Волков, видишь.— Достагир повел курчавой головой на окно, произнес по-английски: — Вот как все получилось. Провокаторы обманули народ. Я чувствовал: в Старом городе действуют провокаторы, среди хазарейцев, среди шиитской общины. Я предупреждал, надо идти в Старый город с оружием. Надо вылавливать провокаторов. Надо проводить операцию. А вы мне что возражали? — Он повернулся к Кадыру: — Вы мне с Саидом Исмаилом что говорили? «Нельзя демонстрировать силу. Народ устал от оружия. Уже выпущены последние пули. Действовать только словом и хлебом». Где он теперь, ваш хлеб?

— Политически мы были правы,— сказал Кадыр Ашна.— Мы не могли врываться в дома с оружием. Не мы спровоцировали мятеж, а враги. Они первыми применили оружие, применили насилие. Мы ответим на силу силой. Политически мы остаемся в выигрыше.

— Ты идешь на поводу у Саида Исмаила. Кадыр, я говорю, что думаю: подозреваю, что люди, подобные Саиду Исмаилу, недалеко от предательства. Ты увидишь и тогда меня вспомнишь, но уже будет поздно,— в критический момент, когда твоя и моя жизни будут висеть на волоске, он предаст!

— Замолчи! Ты говоришь сейчас вздор! Уже настал тот критический момент. Уже наши жизни: и твоя, и моя, и Саида Исмаила — висят на волоске. Если сегодня враг победит, завтра мы трое будем висеть на фонарных столбах Майванда!

Хлопнул винтовочный выстрел. На лестнице что-то рухнуло, покатилося, треснуло в дверь. Хлестнула автоматная очередь. Кадыр Ашна потянулся к окну, но навстречу ему, вышибая стекло, саданула пуля, чавкнула в потолок, откалывая белую щепку.

— Ложись! — рванул его за пиджак Достагир, сам в падении выкидывая вперед автомат.— Волков, ложись!

Застучали башмаки, в кабинет вбежал член райкома Кабир, кожаный пиджак расстегнут, из кармана — рожок автомата, в руках АК. Что-то прокричал, задыхаясь. Достигир ему отвечал, тыкал автоматом в окно.

Кадыр Ашна, не вставая, потянулся к телефону, начал крутить диск. Бросил и выругался:

— Обрезали!

Внизу кричали, колотили в дверь.

— На лестницу! Будем отбиваться!

Все случилось столь быстро, сложилось в Волкове в непрерывное ощущение опасности, смешанное с желанием видеть, наблюдать, пережить; в нем было чувство беды, всеобщей и его личной, готовой в любой момент обернуться крушением, и одновременно чувство удачи, единственности, неповторимости событий, открытых ему. Вслед за другими выскочил в коридор, слыша, как за спиной в потолок опять ударила пуля.

Лежал рядом с Кабиром на лестничной клетке перед темным, круто уходящим вниз маршем, по которому прокатилась трибуна, косо уперлась во входную дверь. Снаружи уже не ломились после очереди часового, а только кидали камнями и кто-то хрипло выкрикивал имя Кадыра.

— Говорят: «Кадыр Ашна, выходи!» Говорят: «Не выйдешь, обольем дом бензином и сожжем! Головуотрежем!» Это Ассадула, он раньше в банке работал, а потом банк ограбил и сбежал в Пакистан. А теперь вот явился.

Пули разом ударили в дверь, и там, где они пролетели, засветились два маленьких глазка. Саданули чем-то тупым и тяжелым раз, другой. Вылетела переборка, в дыру просунулось бревно. Косо застряло. Его тянули назад, и Достигир всадил в бревно короткую очередь, но его продолжали тянуть, видимо, сбоку, хоронясь за кирпичной стеной.

Крики, удары и выстрелы — и в ответ короткие очереди.

Волков лежал на грязном полу и знал, что здесь не погибнет. Здесь, на грязных затоптанных досках с тягучими зловонными сквознячками из невидимой выгребной ямы, ему невозможно погибнуть, и он еще опишет и эту вонь, и саленую грязь, треугольный пролом в дверях с застрявшим бревном, и тусклую, подкатившую к лицу гильзу, теплую на ощупь. И, стремясь себя оградить, суеверно и истово, не разумом, а жаркой, желающей жить душой вызвал вдруг образ Манежа, белоснежно нарядного в снегопаде, и кирпичных с проседью стен янтарного дворца и в далеком прогале на площади — разноцветное диво Василия Блаженного.

Снаружи в дверь ударило и разбилось звуком расколотой бутылки. В струйках ветра потянуло бензином, и бездымное красное пламя устремилось в пробой, увеличенное тягой, загудело ровно и жарко, как в самоварной трубе. И снова грохнули выстрелы и голос сквозь треск выкрикивал Кадыра, а тот, приподняв над полом тучную грудь, придерживая автомат, внимательно и, казалось, спокойно смотрел на шумящий огонь.

— Волков,— удивился Достагир.— Ты-то, ты-то за-чем? — И было в его словах сожаление о нем, чувство вины и что-то еще, не понятое Волковым до конца: то ли сомнение — неужели их взаимное братство простирается столь далеко, то ли само это братство, ставшее единением перед смертью.

Вдали, приближаясь, чуть слышный сквозь вой толпы, донесся рокот мотора. И оттуда, откуда он возник, дробно задолбило и стихло. Снова — стук пулемета, и в ответ у дверей — визгливые, врассыпную, вопли. Очереди приближались, рассеивали крики. В урчании, хрипе, невидимая, подкатила машина. У самых дверей еще раз простучал пулемет. В коротком ударе, расшибая створки дверей, сквозь пламя просунулась ребристая корма броневика, и с криком: «Кадыр Ашна, не стреляйте, свои!» — на лестницу, отмахиваясь от огня, вбежал Саид Исмаил.

— Иван, Достагир, вы здесь? — Через горящую трибуну, в своем синем плаще, большими скачками, волнуясь, ища глазами, вбегал. И навстречу ему, пылко раскрывая объятия, отводя от груди автомат, встал Достагир. Они с криком, смехом обнимались, и Кадыр Ашна грузно, отряхивая грязь с колен, шел мимо них в кабинет, устало волоча автомат.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В темноте по пустынным, липко-блестящим улицам Волкова привезли в отель. Проходя через маленький сквер, он увидел, как неловко и грузно, урча, пятится танк, тяжело въезжая под высокую чинару. Ворочается под ней, звякая гусеницами,— там, где еще недавно пестрел на земле ковер и два восточных мудреца тянули чай из пиалок, сейчас бугрилась броня и несло сгоревшей соляркой. В вестибюле, едва ступил, увидел афганских солдат, выложивших на столлик ручные гранаты; груды чемоданов. Марина кинулась навстречу, ощупывала ему руки и плечи, с потемневшими, перебежавшими по его лицу глазами.

— Наконец-то! Живой? А я говорю, не поеду, пока вы не вернетесь!

— Куда вам ехать? — не понимал он, тронутый ее испугом. И как будто снова в изумлении ее увидел. Неужели только утром он прилетел в весенний солнечный город, и она в машине прижалась к нему, и в этом прикосновении было для него обещание, ожидание — неужели сегодня утром?

— Приказ! — набежал маленький рязанец. — Приказ посла! Эвакуация из отеля всех наших! Всех перевезти в посольство.

— Приказ так приказ, — сказал Волков устало.

— Быстрей, — торопил рязанец. — Последний бэтээр придет. Мы с вами последние.

Волков поднялся в номер, мельком в зеркале увидел свое измученное лицо, уляпанный грязью костюм, съехавший галстук, ссадину на скуле — удар то ли о лестницу, то ли о рычаг броневика. Подхватил на локоть пальто. Смел со стола блокнот. Поискал глазами, наткнулся на подоконнике на початую бутылку портвейна, сунул в карман. Запер номер. Стал спускаться. И увидел впереди Белоусова с чемоданом, растерянного, растрепанного. Испытал к нему не раздражение, не насмешку, а желание подойти, что-то сказать дружелюбное — сам не знал что. Шел, не приближаясь, следом, давая ему спуститься.

БТР стоял у подъезда. Молчаливые смуглые усахи, по-афгански любезные, стараясь улыбаться, не выдавая тревогу, подтаскивали чемоданы, подбрасывали их вверх, окунали в люк.

Волков подсаживал Марину, не знавшую, за что ухватиться, скользнувшую рукой по мокрой броне. Дюжий детина сверху, расставив бутсы, подхватил ее, невесомо взметнул на броню, бережно опустил в круглый люк. Он же помог Белоусову. Волков протянул ему снизу ладонь, почувствовал мощный рычаг длинной, играющей бицепсами руки.

Транспортер с задраенными люками мягко мчал по Кабулу, Волков смотрел в бойницу на неузнаваемые в луче прожектора контуры города. Марина была у другого борта, он сидел к ней спиной в тусклых сумерках бронированного чрева. Кое-где раздавалась разрозненная стрельба. Улицы были пустынные. Но слышался непрерывный, исходящий из домов и подворотен гул, словно ронились ульи. Булькающий, клопочущий рокот с отдельно различными возгласами «Аллах акбар!». Казалось, толпа, очистив проезжую часть, была еще здесь, во дворах и проулках.

Посольская ограда раздвинулась, БТР проехал и встал у стеклянного, залитого электричеством портала с автоматчиками. Выгрузились. Сотрудник посольства, утомленный, встретил их и провел в диванную.

— Последние,— сказал он.— Давайте быстренько я вас распределю по квартирам, кому где спать. Женщина,— он обратился к Марине,— вот вам номер квартиры,— протянул ей листок.— Это, знаете, там, за клубом. Там живет семья шофера. Вы,— он повернулся к Белоусову,— вы пойдете со мной. Я вас провожу, там есть свободная кровать. А вы,— он задумался, глядя на Волкова,— просто не знаю...

— Не волнуйтесь,— сказал Волков.— Я здесь на диване.

— Вот и ладно! — обрадовался сотрудник.— Здесь уже нет никого, все разместились. Здесь тепло. Как-нибудь переночуете ночку, а там, глядишь, и обратно в отель. Можно было бы и не переезжать, я думаю,— он покачал головой, осуждая все эти хлопоты, свалившиеся на его голову.— Но приказ посла!

Они с Мариной остались вдвоем в пустой огромной диванной, залитой светом, с мраморными розоватыми блесками.

— Ваш костюм... На что стал похож...— Она огладила смятый ворот с пятнами сажи.— Вы всегда во время таких переделок надеваете лучший костюм? Полагаете, без галстука садиться в броневик неприлично? — Она слабо улыбнулась, пытаясь шутить, задержав свою руку у него на затылке, и он движением головы постарался продлить это ускользающее прикосновение.— А я ужин для вас берегу. Вот, смотрите! — Марина открыла сумку, извлекла салфетку, стопку бутербродов с холодным нарезанным мясом.

— Боже мой! — восхитился он и вдруг почувствовал, как голоден, какой огромный и страшный прокатился день. Выудил из кармана пальто бутылку портвейна, отыскивая глазами графин и стаканы на блюде.— Ну чем не ресторан, не торжественный ужин?

Разлил черно-красное вино.

— Ну, здравствуйте! Со свиданьем, как говорится!

Смотрел, как убывает вино в ее стакане, вздрагивает от глотков шея, розовеет на ней кулон, и опять, как утром на аэродроме, захотелось коснуться камня губами.

— Что же теперь будет? — спросила она, прислушиваясь, как снаружи рокочит, двигаются, прибывают и отъезжают машины, и непрерывно, приглушенное стенами, доносится

голошение и бульканье, словно с растревоженного дна подымались на поверхность бесчисленные пузыри.

— Сюда не ворвутся,— он старался говорить спокойно и весело.— Вы же видели две коробочки перед входом.

Они вышли на холод, на каменные ступени посольства, и мгновенно морозно вознеслось над ними черное небо с шевелящимися белыми звездами, налетел пахнувший снегом ветер, и в этом ветре и звездах заструилось, отлетая с дуновениями и опять приближаясь, несметное многоголосие, бессловесное, похожее на стенание. Словно несметные толпы усеяли крыши домов, склоны невидимых гор, голосили, молили. И вместе с ними — скалы и льды, горы и небо — выкликали «Аллах акбар». Она в ознобе и ужасе прижалась к Волкову, он чувствовал ее страх, беззащитность, сам был готов им поддаться, и внезапную горячую нежность к ней, будто она, гибнущая, вручена ему на бережение и защиту, зависит от него, и эта зависимость не бремя, а он ею дорожит бесконечно, верит, что сумеет защитить.

— Милая...— Волков прикоснулся губами к ее волосам, пахнувшим теплой жизнью среди воющих ледяных дуновений.— Милая вы моя...

Он поцеловал ее среди звезд, орущих незримых толп, видя близкие закрытые веки. Решетка ворот отодвинулась, и, светя длинным лучом, вкатил бронетранспортер, переливаясь тусклыми ромбами.

Он проводил ее к дому, где их встретила простоволосая, в домашнем халате женщина. Отказался от чая и пошел обратно. По пути завернул на стоянку, разыскал свою голубую, оставленную перед поездкой в Джелалабад «тоёту». Проверил, есть ли горючее. Высоко сквозь деревья, невидимый, прошел вертолет, сбросил гроздь осветительных ракет, и они, оранжевые, мертвенные, парили, не падали, сносимые ветром.

Вернулся в зал. Выключил свет. Снял пиджак и галстук и, устроившись на диване, накрывшись пальто, лежал, чувствуя ломоту в измученном теле. Исчезнувший день все еще был здесь, трепетал безгласно и ярко. «Не хочу! Не теперь... Другое...» — и, желая спастись, унять изведенный ум, он вызывал иное видение. Бледно-синий апрельский разлив с последней сахарной льдиной, и он в лодке среди мелких тихих плесканий, среди голых нив и лесов, и бекас падает крохотным смерчем с волнистым перепончатым звуком.

Он много раз просыпался, слыша урчание машин, голоса за дверью, и лишь под утро крепко заснул.

Кто-то, разговаривая, прошел через диванную, и он снова проснулся. Оделся, вышел наружу. Стоял, ослепленный снегом: синева, сверкание белой, опудренной снегом горы, туманный мерцающий город, и внезапно из-за крыши посылства на бреющем полете выскользнули истребители с афганскими клеймами, брызнули гарью и ревом, рассекая пространство над крышами, хлестнули траекториями, взмыли на фоне горы, заваливаясь в развороте, оставляя два дымных взбухших рубца, словно длинные удары плетью. Далеко над горой летели, как маковые соринки, готовые пропасть и растаять. Остановились, стали увеличиваться, и от солнца, от снежного блеска в сверкании отточенных кромок снова спикировали, ударив наотмашь ревом, мелькнули отточенными треугольниками. И город, оглушенный, выгибался в трепете, неся ожоги расходящихся жирных рубцов.

Следом пошли вертолеты на разных высотах, с разных сторон в металлическом ровном гуле. Краснели на бортах эмблемы афганских ВВС. Кружили, месили, перемалывали и втирали обратно то, что вчера вдруг возникло, вспучилось, а сегодня залегло, притаилось, повитое туманом и дымом.

— Прессу читали? — спросил подошедший белесенький рязанец-аграрник с лицом, измученным бессонницей и тревогой. — Комендантский час с девятнадцати часов. Вряд ли сегодня в отель попадем. А я там бритву забыл, — он погладил шершавый в светлой щетинке подбородок, поводя глазами по горам, летающим вдали вертолетам, по решетке посылских ворот, за которыми, как два монумента, стояли задраенные боевые машины. — Нил-то наш Тимофеевич, как он там, в госпитале? Навестить бы его...

Волков не дослушал, шагнул навстречу Марине. Она быстро, глядя под ноги, шла, но он чувствовал — уже его увидела. И вчерашнее, нежное, больное, на нее обращенное чувство опять его посетило: он за нее в ответе в этом утре, в этом разговарившемся, бог весть что сулящем дне. И видел: она это знает, уповает на него среди реактивного рева, металлического гула небес.

— Доброе утро! Ну, как вы спали? — Он легонько сжал ее локоть, видя на лице чуть заметные тени ночной усталости. — А я, знаете, на диване — как в годы молодые, когда в гостинице не было мест. Постелют тебе на каком-нибудь клеенчатом пузатом страшилище под фикусом — и счастлив. Вот, думаешь, благодать!

— Мы с хозяйкой почти не спали. У нее здесь двое детей,

а муж в командировке в Герате. Подходит к детям и плачет. Велела вас звать чай пить.

— Не могу. Надо в город.

— Не хочу, чтоб вы ехали.— Глаза были умоляющие, боявшиеся за него, за себя. Их темное в глубине, из страха и мольбы выражение почти испугало его своей силой и истинностью, требовало от него той же силы. Смущенный, о чем-то шутил невпопад, отводил ее страхи, отводил от себя ее чувство, оставляя себе свободу. Так и выехал из ворот несвободный, то ли тяготясь, то ли радуясь своей несвободе.

В военной комендатуре он разговаривал с нетерпеливым, порывавшимся вскочить и ехать полковником, в котором минувшая ночь все еще трещала телефонами, рациями, окриками патрулей, автоматными пунктирными трассами, будто он, комендант, схватил оголенную жилу, и она все еще посылала в него свои удары и вспышки.

— Если вам угодно знать, как проходил мятеж, поезжайте на хлебозавод. Его пытались громить, ворвались в цеха, хотели лишить Кабул хлеба.— Он старался быть вежливым, но вежливость его была язвительно-злой.— Если вам угодно знать, чего хотели бандиты, поезжайте на электростанцию, они пробовали ее захватить. Если вам угодно понять, чего они добивались, поезжайте к хранилищу пресной воды, они уже заложили туда взрывчатку.

Волков чувствовал его нетерпение, направленное против него раздражение.

— Скажите, а в какой степени были вовлечены во вчерашнее советские подразделения?

— Если вам угодно знать, поезжайте к своим частям.— Он снова дернулся, поглядел в окно.— Они хотели вас спровоцировать! Хотели послать мусульман под ваши танки. Хотели, чтоб советские солдаты врывались в мечети! Вот что они хотели увидеть! Ваши люди, если вам угодно узнать, оставались хладнокровными. Советские автоматы не стреляли. За эту информацию я вам ручаюсь. Вчера и сегодня ночью мы все сделали сами.

— Я предвижу сообщения западной прессы о расправах, учиненных русскими над мирным населением Кабула.

— Если вам угодно знать, мы, афганцы, народ темпераментный, и иных офицеров приходилось жестко удерживать, чтобы технику в ход не пускали. Есть у нас в гарнизоне один комполка. Пока он был в расположении части, бандиты напали на его дом, разграбили и убили жену, то ли немка она у него, то ли француженка. Он, как об этом узнал,

приказал выкатить танки и направил их в Старый город, хотел пустить на дома, откуда вышла толпа...

— Постойте! — перебил Волков, в предчувствии, в болезненной интуиции. — Как имя командира полка? Полковник, кадровый, еще при короле командовал?

— Да, Азиз Мухаммад. Мы, если вам угодно знать, сомневались, как он себя в настоящем сражении покажет. А он, видите, как узнал про жену, хотел свои танки направить. Насилу его удержали.

— Френсис! Жена его Френсис! Англичанка! — Волков мучительно, пораженный известием, вспоминал красивую, боящуюся, нервную женщину, тот случайный обед на вилле, робкий, любящий взгляд полковника. Не мог представить себе эту виллу разгромленной, а ее — мертвой. — Полковник... Френсис... У них не было детей... Она его увещевала уехать, а он, в сознании долга...

— Да, — удивленный участием Волкова, кивал комендант. — Вряд ли его теперь в городе, в полку оставят. Я слышал, новый ударный полк формируют, и его туда командиром... Если вам угодны подробности, вечером я буду свободней.

И он, забывая о Волкове, выскочил, крикнул кому-то, вслед его стремительному шагу пробежали два автоматчика, и снаружи, отъезжая, заурчала машина.

«Насчастливая Френсис!.. Несчастный полковник!» — повторял Волков. Пугаясь, подумал о Марине. Устремился к ней. Одолеп стремление. Садился в машину. Ехал в госбезопасность.

Город был пуст и глух, как заколоченный ящик. Дуканы захлопнули двери и ставни. Замки, стальные щеколды, железные жалюзи. Светило яркое солнце, но город был слеп, палил жестяные бельма. На перекрестках, на набережной, у банков, министерств и мечетей стояли транспортеры и танки, шагали патрули автоматчиков. Волков то и дело натыкался на горы зеленой брони, чувствовал, как скользят по его машине дула пулеметов и пушек. Казалось, город не просто забит, а окован железом, стиснут вдоль ребер обручами. Иногда возникал запах холодной гари. Волков искал глазами и тут же находил то обугленный, разрушенный выстрелами дом, то осевший на обода окисленно-красный грузовик. Проехал место, где вчера видел трупы. Их убрали, но там, где лежал солдат, все еще темнело пятно, и Волков медленно объехал его.

У ХАДа ему преградили путь автоматами, нацелив их прямо в стекло. Пришлось звонить из караульной Али. Тот по телефону что-то втолковал офицеру охраны, и офицер неохотно и хмуро позволил проехать.

У деревянного, похожего на дачу дома стоял «мерседес» министра, и, войдя, здороваясь с Али, Волков увидел охрану: в наглаженных брюках, в белоснежных рубашках с пестрыми галстуками. Он отвечал на их белозубые, казалось ликующие, улыбки. Здороваясь, каждый перекладывал автомат из правой в левую руку.

— Я должен сейчас пойти.— Али, весь в мягких упругих движениях, указал на закрытую дверь.— Министр вызвал. Подожди, хорошо?

— Ты скажи министру, я прошу уделить мне всего пять минут, не больше.

— Скажу.

Бесшумно исчез за дверью, а Волков остался сидеть, обмениваясь лучезарными улыбками с охраной.

— Войди,— снова появился Али.

Сидели в кабинете. Худой, с залысинами, в полувоенном начальник ХАДа и министр в строгом черном костюме, со следами усталости на молодом лице, то и дело подносивший к губам чашечку чая. Али в голубом переводил вопросы Волкова и ответы министра. Волков, раскрыв блокнот, не притрагиваясь к чаю и опудренным сладостям, быстро писал.

— Главная цель мятежа, как теперь нами просматривается, состояла в том,— министр делал обжигающие глотки из чашки, словно не мог согреться,— состояла в том, чтобы армия перешла на сторону путчистов, и тогда, объединившись с армией, они хотели добиться крупного кровопролития. Но эта цель, теперь мы можем твердо сказать, не была достигнута. Армия, как и прежде, осталась верной правительству. Не было ни единого случая перехода военных на сторону путча. В критических случаях — в ответ на стрельбу снайперов, на броски гранат и бутылок с зажигательной смесью — армия открывала огонь...

Волков записывал, вспоминая толпу,— словно из тинистых недр всплыло на поверхность непомерное жирное туловище с огнедышащей пастью, шевельнуло плавниками и кольцами, провернуло в орбитах глазищами и снова ушло на дно, оставив по себе буруны и грязную пену. И он, Волков, успел разглядеть лишь надводную часть, на один только миг. Теперь это чудище лежало на дне, живое, шевелящееся, и афганские танки на перекрестках караулили его, не давая

всплыть. Волков старался понять — каково оно было? Какова его анатомия? Какова анатомия путча?

— Мятежники выступали под мусульманскими лозунгами, под мусульманским флагом, — продолжал министр, выпивая чашечку и тут же доливая горячий чай. — Мятежу явно хотели придать окраску некой исламской революции. Однако даже сейчас при самом беглом анализе данных, а они продолжают к нам поступать, видно: никакого стихийного мусульманского бунта не было, а была тщательно спланированная и умело осуществленная подрывная акция, готовившаяся за пределами Афганистана. — Министр, давая Али возможность перевести, шевелил густыми бровями, словно еще раз перебирал в уме имевшиеся у него факты. Волков видел: он, министр, тоже стремился понять — что оно было? Где, на какой глубине оно сейчас залегает? Где его сердце и мозг? Где важнейшие органы? Куда, в какой нервный центр следует нанести удар, чтобы больше оно не всплыло, а сдохло на глубине, медленно разлагаясь, наполняя миазмами город, и вычерпывать, извлекать разложившиеся ломти и обрубки, очищая от ядов, — ликвидировать последствия путча. — Путч был приурочен ко дню истечения ультиматума, предъявленного нам американским президентом, о выводе советского военного контингента. Путч стали готовить в день предъявления ультиматума как часть единой подрывной операции, призванной в конечном счете сорвать процесс нормализации, о котором товарищ Бабрак Кармаль сказал: «Пусть больше не вылетит из ствола ни единая пуля, направленная в человека». Именно пуль, направленных в человека, добивалось ЦРУ, замышляя путч. Как видите, отчасти это им удалось. Сейчас уже начинает поступать информация о действующей агентуре.

Волков понимал, что имеет в виду министр. Все, что издали может казаться народной стихией, неуправляемой народной волной, на деле поддается влиянию, имеет свои скрытые точки, в которые, если их изучать, если знать их тайную силу, можно ввести электрод, ввести сигнал управления. Возбуждать недовольство, тайные страхи, смятение. Ослеплять, приводить в исступление, устремлять на ложные цели. Порождать агрессивность и ненависть. Эти тайные нервные центры, управляющие психологией масс, хорошо известны разведке, той, за океаном, в Лэнгли, тем, в кофейном «пикапе», кого он видел на пакистанской границе.

— Задержанные нами агенты, ряд лиц из Пакистана, один американец, афганцы, прошедшие подготовку за рубе-

жом и переброшенные в Кабул специально для провокаций, разворачивали агитацию среди самых темных, самых отсталых слоев городской бедноты, обремененной религиозными, национальными предрассудками, много потерпевшей от прежних режимов — от короля, Дауда, Амина. Они внедрили в эту среду, искусно сыграли на недовольстве, вывели толпу на улицу. Подключили уголовные элементы, желавшие грабежей и погромов. Спекулировали на трудностях с топливом и хлебом. Нам доподлинно известно, что у каждой выводимой группы был свой вожак, с четко отработанной инструкцией действий, включающих штурм банков, телеграфа, радио, важнейших городских предприятий, дезорганизацию жизни Кабула, ввержение города в хаос. Это типичный почерк американских спецслужб, имеющих опыт переворотов и заговоров во всех частях света.

Волков, еще оглушенный вчерашним, еще весь в напряжении, в поиске, в самых первых разговорах и встречах, понимал: ему предоставлена редчайшая возможность прикоснуться к социальным процессам в самой больной, обнаженной их форме, увидеть народ в исключительный, крайний момент, на переломе народной судьбы, всей народной психологии. Путч — как огромная рана, и надо торопиться в нее заглянуть, не боясь ослепнуть, ожечь глаза, чтобы понять хирургию процесса.

— Быть может, наша ошибка, — продолжал министр, — в том, что мы не приняли превентивных мер. Мы искали решение проблем на путях политических. Быть может, в этом наша ошибка. Враг снова предложил нам борьбу и пролитие крови. И мы вынуждены принять этот вызов. Мы не исключаем возможности повторения беспорядков. Но мне кажется, путч себя израсходовал. Он потерял энергию. Мы сделали все, чтобы не допустить второй волны. — Он с сожалением поставил на место чашечку, встал. Вместе с ним встали все. Любезно улыбнулся, пожал Волкову руку, пошел к дверям.

— Али, — сказал Волков, когда они остались вдвоем, — мне нужна информация. За вчерашний и сегодняшний день.

— Еще рано давать информацию, — по обыкновению мягко, отказывал Али. — Она все еще поступает. Преждевременно ее раскрывать. Наметились некоторые тенденции, нужно их уточнить. Быть может, через несколько дней мы соберем пресс-конференцию, покажем оружие, документы, задержанных агентов.

— Али, ведь ты понимаешь, — настаивал Волков, — я говорю не о том, что можно будет взять из перепечаток агент-

ства «Бахтар». Я надеюсь на нашу дружбу, благодаря которой в Джелалабаде я получил такой прекрасный прием. Хасан, как только я назвал твое имя, оказал мне столько внимания, так много открыл, что вчерашние события, как я сейчас понимаю, можно было бы прогнозировать из Джелалабада. Мне нужна информация не для того, чтобы немедленно выпустить ее в свет, а чтобы осмыслить процесс, хотя бы в тех рамках, в которых мы говорили с министром. Покажи захваченные материалы. Покажи американца. Покажи пакистанца. Дай понять, с чем мы столкнулись. Мне это важно, Али!

— Хорошо, я кое-что покажу. Не много, конечно, следствие только начато, и мало что еще видно отчетливо. Американец, например, утверждает, что он оказался в толпе случайно. Что он просто хиппи, направляется из Ирана в Непал собирать целебные травы. Я покажу тебе его письма, книги и вещи, если хочешь. Но пока что рано о нем говорить. С пакистанцами дело яснее. Прости, что я так осторожен. Пока еще не время для прессы.

Они проходили по раскисшему двору, и опять среди рухляди, поломанных стульев, шкафов, ржавых автомобильных останков он заметил старомодный экипаж на рессорах, с кожаным перепончатым верхом, с медным кронштейном, поддерживающим разбитый фонарь. Прочитал на ступице потемневшую надпись: «Гонконг», и опять чья-то неведомая жизнь и судьба больно коснулись его, будто взывая о помощи, и он, не в силах помочь, испытал мгновение страдания. Миновав часовых на лестничных клетках, поднялись в кабинет Али. Он тут же начал звонить, что-то негромко приказывал. Скоро вошел солдат, доложил.

— Можем идти, — сказал Али. — Все приготовлено.

В соседней комнате на столах аккуратно лежало оружие. Волков чувствовал исходящее от него знакомое железное жжение и другой, тончайший, сладковато-тлетворный запах — зловоние путча. Оружие еще хранило в себе возбуждение потных стреляющих рук, слезящихся глаз, хриплого дыхания, бега, борьбы и падения. Волков осторожно извлек из груды изящную винтовку с оптическим прицелом и надписью «ремингтон» на пластмассовой ложе. Приблизил зрачок к окуляру: сквозь волосяную сетку в прозрачно выпуклой линзе увидел солдата с заплетенными в падении ногами, лежащего в луже крови. Отложил винтовку, записал в блокнот заводской номер, страну-изготовительницу — Великобритания. Подбросил на руке автомат с коротким телеско-

пическим рыльцем и услышал вчерашнее цоканье, хлестнувшее по броне. Рация с оборванным проводом и лежащей отдельно трубкой, с клеймом «телефункен». Где-то в бурлении толпы скрывался радист, принимал команды, наводил толпу на объекты. И среди заводских изделий, скорострельных стволов и обойм, отточенных форм дизайна вдруг увидел рогатку — раздвоенный замусоленный сучок, резинка, кожа, протороченная суровыми нитками. Не тот ли парнишка в красной рубашке закладывал в кожаную кожуру камень, перед тем как побежала толпа? Старался не смотреть на рогатку.

— Вот тут, обрати внимание, есть любопытная штука. — Али подвел его к подоконнику, где лежал помятый ударом колокол репродуктора и стоял транзисторный магнитофон с грудой кассет. — Вот послушай!

Он вставил кассету, прибавил громкость, и в комнату, засвистев, забурлив, ворвался свирепый рев, возгласы: «Аллах акбар!», словно тысячеголосая толпа чернела открытыми ртами.

— Что это? Кто записал? Вчера?

— Многократная запись. Пять человек могут наорать такое. Такие магнитофоны с ретрансляторами были установлены в различных районах города. Ты слышал ночные крики? Эхо гор, ветер, мощные динамики — и вот такое впечатление, что народ не спит, а сидит на крышах и кричит что есть мочи.

— Что ты говоришь!.. — Волков вспомнил вчерашние беломорозные звезды, трепетание недр и небес, непрерывные, похожие на стенания вопли. И свою тоскливую мысль: неужели весь народ призывает на помощь горы и звезды, проклинает, просит защиты от него, от Волкова? — Какая бесовская выдумка! Чья голова до такого додумалась?

— Где-нибудь в ЦРУ голова.

На письменном столе, развернутые, лежали паспорта. С них смотрели проштампованные, похожие одно на другое лица пакистанцев.

— Вот погляди, весьма любопытно. Тоже кое-что мы нащупали. Двенадцать пакистанцев, арестованных этой ночью в отеле. Вчера они были в толпе. Приехали в Кабул накануне, как представители нефтяной компании. Вот взгляни на этого, — он взял один паспорт: большегубое, с подковкой усов лицо, молодое, почти миловидное. — А теперь сюда посмотри! — Протянул Волкову измятый листок с двумя фотографиями, отпечатанными синей типографской краской. — Ты видишь? Вот, и здесь и там — одно и то же лицо!

— А что это за листок?

— Полицейское объявление в Пешеваре о розыске уголовных преступников. Что это значит? Одно из двух. Либо этот Ахмет и в самом деле преступник, был пойман полицией и вынужден был выбирать: каторга или в качестве пакистанского агента сюда, в Кабул. Другая версия: он может быть профессиональным разведчиком и объявление — просто легенда, путающая следы, — отпечатано перед тем, как его к нам забросить.

— Али, это что? — Волков кивнул на пачку мятых бумаг, две замусоленные книги, брезентовую сумку, из которой торчало тряпье, нестиранные рубахи и майки.

— А это богатство американца. Вот видишь, его книги по тибетской медицине. Определитель целебных трав. Письма, очень неразборчивые, просто каракули. Мы их сейчас расшифровываем. К какому-то другу в Лос-Анджелесе. Путевые заметки, размышления об афганской политике, впрочем, пока ничего серьезного. Много наивного. Утверждает, что хиппи. Очень любит Восток. Второй раз в Афганистане. Учился будто бы в университете, но не доучился, пошел бродить. Говорит, симпатизирует социализму. А это вот его гардероб. Как видишь, нет ни цилиндра, ни фрака. Жил в самой бедной гостинице, в ночлежке возле рынка. Оказался в самой гуще событий, когда его взяли. Мы начали следствие. Если в конце концов будет доказано, что это агент ЦРУ, покажем его очень широко и открыто.

Волков держал в руках американский паспорт. Рассматривал худое молоджавое лицо: близко поставленные близорукие глаза, робкий, неуверенный рот. Вспомнил свою недавнюю поездку в Торхам, американцев, выходящих из «пикапа», белобрысого в очках, закрывшего от аппарата лицо. Неужели и этот вот так же выезжал на границу в сопровождении того же полковника — ритуальный вояж, перед тем как идти на задание? А может, просто студент-недоучка, чайинка в заварке западной поп-культуры, с учебником трав попал под танки, под снайперов, под допросы в ХАДе.

— Скажи, Али, какой прогноз на дальнейшие события? Ты-то как смотришь сам?

— Я согласен с министром. Возможны, конечно, разрозненные выступления. Но путч действительно потерял свою силу, израсходовал энергию. Теперь, как я полагаю, они перейдут к тактике индивидуального террора. У них, как известно, налажено производство самодельных бомб и бутылок с зажигательной смесью. Есть склады хранения. Мы

планируем акцию по прочесыванию Старого города. Завтра утром проводим операцию в районе рынка. Милиция, отряды защиты революции, сформированные на базе райкомов.

— Там, где Кадыр Ашна? В его районе? Значит, я с ними пойду.

По тесному раскисшему двору конвой солдат вел вереницу людей. Похожие, с шоколадными лицами, сливовидными послушными глазами, шли, перескакивая лужицы, выбирая места посуше. Среди них Волков нашел и отметил большегобое, с подковкой усов, миловидное лицо пакистанца.

Волков помнил свое первое посещение хлебозавода, директора Азиза Малеха, его искалеченные, в черных перчатках руки, его сонный, анемичный поначалу прием и болезненную вспышку в конце: откровение о пытках, о крушении идеалов, о великой усталости и желании уйти на покой.

Проезжая часть Майванда, лишённая транспорта, открывала пустынную прямизну. И на всем пространстве, на далеких уменьшающихся перекрестках были видны застывшие танки и бронемшины, стоящие группами афганские солдаты. Но тротуары чуть оживились. Люди, еще робея, прижимаясь к стенам, к дверям закрытых дуканов, тянулись пестрыми редкими струйками. Два-три дукащика, тревожась за сохранность лавок, пришли к своим замкам и щеколдам, стояли рядом, пугливые, готовые при первой же тревоге исчезнуть. Навстречу Волкову в военной машине, на сиденье рядом с водителем проехал Бабрак Кармаль. Волков успел разглядеть его заострившееся, похудевшее лицо, взиравшее на танки, на закрытые дуканы.

Возле бетонных призм элеватора охрана из штатских остановила машину, открыла дверцы, проверила багажник. Пожилой, с отросшей щетиной афганец в мятом пиджаке, белесом то ли от известки, то ли от муки, долго рассматривал журналистское удостоверение Волкова, куда-то ушел с ним, не скоро вернулся. Суровая сосредоточенность лиц была важна Волкову, говорила о бдительности, о состоянии борьбы и отпора.

В кабинете директора Волкова удивила не железная, застенная солдатским сукном кровать, появившаяся рядом с рабочим столом, не автомат на столе, среди конторских книг, а сам Азиз Малех. Вышел навстречу Волкову не тот рыхло-сонный, вяло сидевший на стуле, с ватными опущенными плечами почти старик, избегавший прямого взгляда,

а быстрый, худой и резкий, чернильно блестя глазами, широким упругим шагом, отмахивая зачехленной в перчатке рукой, сильно и крепко поздоровался с Волковым, легко отодвинул ему тяжелое кресло.

— Вы слышали, они пытались прорваться в цеха, остановить хлебозавод. Мы не позволили. Мы отбили атаку.— Директор метнулся глазами по стенам, железной кровати, по лежащему на столе автомату, словно бой еще продолжался. Волков чувствовал исходящие от него токи, изумлялся: откуда, из какого источника этот недавно еще измученный, опустошенный человек черпает теперь энергию?

Азиз Малех хотел быть пунктуальным в рассказе, не потерять ничего.

— Смена уже закончилась, рабочие разошлись. Только мельница еще работала. Я задержался, просматривал кое-какие бумаги. Вдруг вбегает вахтер: «Беда. Стрельба на улице. Толпа завод окружает». Весь дрожит. На лбу свежая ссадина от камня. И тут же звонят из райкома. Приказ — организовать самооборону завода. Как организовать? Из кого? Вахтеров пять человек, мельников пять да я! И оружия — две винтовки, автомат и три пистолета на вахте. Самое первое — наглухо заперли ворота. Распределили посты и оружие, весь небогатый наш арсенал. У ворот, я решил, пусть будет винтовка и пистолет. Автомат и вторая винтовка — у цехов, у машин, защищать оборудование. Два пистолета — к складам, к зерну, к муке, к готовой выпечке. Вышел к воротам, а за ними толпа. Лица голодные, злые, глаза безумные, сами оборванные, грязные, с палками, с крюками, кричат: «Хлеба! Хлеба!» Мне страшно стало. Сейчас кинутся, снимут с петель ворота, и никакие пистолеты не помогут! Я растерялся, хотел бежать. А вахтеры смотрят на меня: как я, так и они. А за спиной — завод, еще машины работают, еще хлеб горячий. Неужели все под грабеж пойдет? Все будет переломано, взорвано? И что-то со мной случилось. Перед этой толпой, перед ее слепотой, безумием. Нет, не уйду! Без хлеба городу — смерть! Есть хлеб — есть власть, есть революция. Нет хлеба — все кончено! Это в одну секунду во мне поднялось. А они кричат: «Хлеба! Хлеба!» Вдруг слышу: сзади, за спиной, стрельба. Прибегает ко мне рабочий с мельницы: группа погромщиков прорвалась на завод с другой стороны, через изгородь. Вооружены, рвутся к цехам. Думаю, если эти сейчас атакуют проходную, уничтожат охрану, откроют ворота, толпа хлынет сюда и все разорит. Но если те ворвутся в цеха, им тоже немного надо:

пройдутся вдоль автоклавов, электропечей, в пять минут все можно поповеркать, пожечь. Это тоже заводу конец. Говорю старику мельнику, он и сейчас у проходной караулит: «Держи, говорю, ворота. Умри, а держи. Зубы им заговаривай, умоляй, угрожай, а нет, так стреляй, только их здесь продержи, а мы пойдем цеха защищать». Прибегаем в цех и первым делом вырубili электричество. Мы в темноте хорошо ориентируемся, а они нет. Один раз бросились, мы их впопыхах отогнали. Другой раз — снова. Они боятся в темноту идти, стреляют наугад. Только бы, думаю, не было у них зажигательных бомб, а то забросают, сожгут. К нам на помощь через двор электрослесарь бросился, и они застрелили его наповал. И мы двух из них убили. У меня правая рука, сами видите, плохо действует. Пришлось пистолет в левой держать. Не знаю, сколько это длилось: пятнадцать минут или час. Пока к воротам не подкатили грузовики с солдатами и милицией и не отогнали толпу. Эти, погромщики, как слышали моторы, сами обратно тем же ходом ушли. И что, я вам скажу, удивительно! В городе пальба, уличные бои и пожары, а рабочие из второй смены все равно до завода добрались, стали у агрегатов. Вот что меня больше всего поразило! Не то, что мы завод отстояли, а то, что рабочие пришли на завод выпекать хлеб. Не за деньги, не для себя, а для революции! Вот что меня поразило!

Он, переживший бой, бессонную ночь и опасность смерти, не выглядел утомленным. Переживший застенки и пытки, гибель товарищей, не выглядел потерявшим веру. Вера его вернулась, возродилась. Продолжалась его борьба.

— Я, помню, в прошлый раз говорил вам, что хочу уйти. Забудьте мои слова. У меня прекрасный дом, прекрасные дети, жена. Я их очень люблю. Но здесь, кругом, за стенами моего дома, идет революция. От нее нельзя устать, от нее нельзя уклониться. Потому что она в тебе, она — ты. В ней можно погибнуть, ей можно изменить, но уйти от нее невозможно. Ну, конечно, мы не железные. Бывают минуты слабости, даже отчаяния. Я их пережил. Был кризис. Была даже смерть. Но теперь она позади, там, вместе с ночью минувшей. Эта ночь, когда я спасал завод, и это утро, когда пришли рабочие и встали с винтовками у агрегатов, вернули мне ощущение жизни. Мне опять стало ясно, кто враг, кто друг. Либо они, либо мы. Я верю, что мы. Не тогда, в декабре, когда убили Амина, не тогда, когда выпустили меня из тюрьмы, не тогда, когда слушал по радио выступление Бабрака Кармала, а сегодня ночью, здесь, в цехах, когда в меня

стреляли враги, я это понял. Хочу, чтобы и вы это поняли. Вы это понимаете, да?

Волков смотрел на него, два года назад начинавшего свою революцию. Он шел по помещичьей пашне с деревянным аршином, окруженный толпой бедняков. Открывал в захолустье, в горном ущелье, школу, раздавая буквари и тетрадки. Над трущобами Старого города мечтал о кабульском метро, о домах-небоскребах. А теперь с автоматом он шел по цехам, где крутилось и чавкало тесто, сбиваемое в стальных квашнях, пылали огненно печи, испускавшие пшеничные ароматы, сыпались буханки в лотки. Люди с жесткими лицами вешали на плечо оружие, вороненая сталь чернела в пшеничных руках. В печах мерцали огни, дули жаркие ветры, превращали силу огня и зерен в явление хлеба. Испекался хлеб революции, великий, мучительный хлеб.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Лариса Гордеева, кардиолог, — казалось, недавно танцевали с ней у Карнауховых, и она легкомысленно, поддразнивая мужа, кокетничала с молодым реставратором, — похудевшая, озабоченная, спускалась по лестнице госпиталя навстречу Волкову. Не сразу узнала его, стремясь к какой-то близкой, важной, захватившей ее цели.

— Мы с Гордеевым готовили новое оборудование, хотели через неделю пускать, а пускаем сегодня, сейчас. Мальчик с осколком в сердце. Будем оперировать. А вы здесь зачем?

— Хотел навестить знакомого. Нил Тимофеевич Ладов, не знаете? Ранило пулей в живот. Вместе вчера из аэропорта возвращались.

— Умер Нил Тимофеевич. Сегодня утром.

И бесшумно ударило по глазам, затмило состраданием, из боли и жалости изумлением, в котором присутствует смерть другого, и твоя уцелевшая жизнь, и твоя будущая неизбежная смерть, и недавняя жизнь другого, и от этого сочетания судеб — оцепенение, веющий ледяной сквознячок, уносящий вместе с умершим твое живое тепло.

Лариса подвела его к афганской сестре, что-то ей объясняла, кивала на Волкова. Вслед за сестрой он двинулся в далекую половину госпиталя, в палату, где стояли четыре выкрашенные в белое кровати, и на каждой недвижно лежал человек, накрытый с головой простыней с рельефом высту-

пающих ступней, сложенных на животе рук, заостренного носа. Сестра поводила глазами, словно выбирала. Указала на кровать у окна.

Волков смотрел на длинное, каменно-укрытое тело, из которого утром, быть может, когда он, Волков, еще лежал на диване, излетела жизнь, в муке, в последних бормотаниях, сиюсь что-то сказать, что-то объяснить, завещать. Еще идут домой его письма с приветами, там, далеко, кто-то вскрикнул, проснулся в ночи от ужасного сна, не умея его объяснить, и только после, позже поймет.

Что он должен сделать для этого уже неживого, мало-знакомому ему человека, с которым повстречались в Термезе среди медного полыхания труб и нарядных танцовщиц, раскланивались на лестнице кабульской гостиницы, пожимали при встрече руки, испытывая симпатию? Раза два выпили по горькой рюмке. Однажды спели казачью песню. А ведь где-то была уже та винтовка, та спокойно лежащая тихая пуля. Пятнистый военный транспорт летел из Джелалабада в Кабул. «Рафик» по Ансари-вад подкатывал к аэропорту. Снайпер в чердачном окне устраивал поудобней винтовку.

Волков приподнял край простыни. И увидел знакомое лицо. Но не то, полное, с пухлым ртом, со следами печали, с насмешкой к себе самому, с добротой всех черт и движений, готовый смениться выражением терпения и заботы, когда, подчиняясь приказу, нужно катить в какой-нибудь заливаемый ливнем колхоз, где гибнет в полях картошка, или в хвори по звонку подняться и ехать к мелиораторам, где валится план. Всю жизнь — мотания по проселкам, собраниям, мучения с докладом, отчетом; выслушивая нарекания начальства, теряя счет дней и ночей в бесконечной, неоглядной работе, которая помогает и хлебу расти, и трубам дымиться, и людям иметь кров и жилье. Волков, держа за краешек простыню, видел не то лицо, а иное, выгоревшее, провалившееся, в котором осталось одно-единственное выражение вопроса: «А я? А со мной? Неужели вот и вся моя жизнь?»

«Еще один хлебороб пал на ниве, не дожив до грядущего хлеба», — думал он, опуская белый покров. Смотрел в окно, где Кабул в бледном солнце мерцал снеговыми пиками, шевелился, клубился несметными очагами и жизнями, не ведая, что этот русский, принесший в город свою душу живую, лежит теперь бездыханен. Желая проститься, желая просить прощения бог весть за какую вину, Волков бессло-

весно, не разжимая губ, вспомнил над Нилом Тимофеевичем:

Соловей кукушечку уговаривал,
Полетим, кукушка, во зеленый сад...

И в ответ завились степные дороги, приклонилась белая рожь, черная касаточка прянула с тихим свистом и капля дождя упала в тяжелую пыль.

Волков, подавленный, поднялся в ординаторскую. Гордеев облачался в хирургический, травяного цвета костюм, плотно затягивал в него свое гибкое, сильное тело. Ничем не напоминал того лениво-небрежного, качавшего рюмкой перед каминным огнем, готового отвести от себя все мешающее приятному препровождению времени. Точен, сух, нацелен в предстоящее дело, с легкой, напрягающей лицо чертой, пролегшей меж бровей.

— Это, представляешь себе, уникальный, редчайший случай,— говорил он Волкову.— Рентген показал: осколок прошел в область сердца и держится в нем. Возникла грань жизни и смерти. Мы только что закончили монтаж оборудования, собирались его проверять, но, вот видишь, приходится делать реальную операцию. Конечно, я не возражаю, присутствуй, если желаешь. Лариса мне ассистирует. Сестра, выдайте ему халат и маску!

Он отвернулся, подставляя большие долгопалые руки под бьющую блестящую воду, а Волков вспомнил, что подобное лицо с незримой у переносья чертой, отделяющей жизнь от смерти, он видел у летчика-испытателя, надевавшего высотный костюм, и новая модель перехватчика в сверкании металла стояла на квадратах бетона.

Вслед за Гордеевым в маске, в халате Волков вошел в операционную и увидел: на плоском, похожем на катапульту столе, под ярким металлическим светом, хрупкий, смуглый, откинув чернявую голову, беззащитно дрожащую шею, лежал мальчик, весь уловленный и опутанный проводами, окруженный стеклом, отточенной сталью. На бледных экранах пульсировала слабыми всплесками его гаснущая, не желавшая гибнуть жизнь.

Сестра мазала ему грудь йодом, словно золотила. Другая касалась курчавой его головы, жалобно, по-матерински гладила.

— Дома его небось ищут. Не знают где. А он — вот он где. Вот куда угодил. Беда!

— Детей-то зачем в это путать? — отвечала другая. — Они, дети, разве понимают? Думают, забава, игра. А игра-то со смертью. У нас в доме вот такой же живёт Ахметка. Все моему Кольке змеев делает. Змея склеят и бегут, вгоняют ввысь! Может, тоже вот так бежал, в толпу его занесло, подхватило!

— Беда! — повторила первая. И обе склонились над мальчиком, тихо звякали, прищепывали, будто вдували в него свои жизни.

Волков, едва вошел, едва увидел эту раненую, подбитую, готовую исчезнуть жизнь, весь напрягся, суеверно, молитвенно замер. После всего пережитого, накопившегося за два грозных дня, дух его онемел на невидимом, из болей и страхов пределе. По одну сторону лежал жестокий опыт не только двух дней, но всех лет, проведенных им среди расколотого, сотрясенного мира, охваченного борьбой и страданием, в которых кончался век. По другую сторону был его ожидающий дух, утомленный, но сквозь слабость и очерствение продолжающий верить и ждать.

Он стоял в отдалении, наблюдая, как собирается бригада врачей. Занимали места у пультов, у агрегатов, у колб. Помещали в капсельницу цветные флаконы, словно развешивали над мальчиком ветвистое хрупкое дерево с блеском стеклянных плодов. Его усыпили. Отделили и вычерпали его память и боль. Они, отдельные, струились теперь на экранах, скользили в электронном луче, трепетали в показаниях стрелок, дергались в пере самописца.

— Приступаем, — сказал Гордеев, весь зачехленный, с острым лучом на лбу, Лариса — одни глаза, блестящие, зоркие, — встала у него за спиной, ловя его мысли и жесты, образ его и подобие. — Начнем интубирование.

Подкатали к изголовью пульсирующие искусственные легкие с гофрированным колыханием мембраны. Сестра прикрыла мальчику губы, ловко и бережно вставила трубку, проталкивая ее в глубину, отбирала его дыхание. И он отдавал машине свои слабые вздохи, и та, неразумная, сотворенная из стекла и металла, подхватила его дух, сделала его душу своей.словно малый кузнечный мех, дула и дула в него, в крохотный горн, поддерживая слабый огонь. Не давала потухнуть.

Волков видел, как сдвинулись тесно хирурги, скрестили над мальчиком тонкие, бьющие из лбов лучи, словно продолжение мыслей.

— Где коагулятор, не вижу! Почему не кладете на мес-

то? — резко спросил Гордеев. Лариса послушно и быстро положила перед ним инструмент. Сестры пеленали голое тело, оставляя узкий просвет на груди. — Чуть больше, пожалуйста. Расширьте операционное поле!

Волков глядел на полоску живого тела, веря, страшась, словно сам вверял себя в руки хирургов. Сотрясенный путчем Кабул, раненный в сердце. Патрули и танки на улицах. Перестрелка в кварталах. И среди всего — крохотное детское сердце, задетое сталью, и люди сошлись, желая его спасти.

— Начинаю, — Гордеев поднял скальпель, нацеливая его для удара. И мгновение тишины. Волков под рубашкой почувствовал то место, куда целит Гордеев, как пугливый ожог. Скальпель коснулся груди, проведя полукруглый надрез и вниз от дуги длинный росистый след. Волков, закрыв глаза, нес под веками видение крови. Заставлял себя смотреть. Вел репортаж из сердца. Из раненного осколком Кабула. — Артериальное? — спрашивал Гордеев.

— Сто двадцать.

— Пульс?

Работала служба спасения. Брали частые анализы крови. Снимали ритмы, давление. Откликались на крохотное биение. Среди врачей и сестер Волков видел теперь лишь двоих — Гордеева и Ларису. Их закрытые масками лица оставляли одни глаза, хранившие единственное выражение — непрерывного строгого света. Исчезло все лишнее и случайное, осталась самая суть. Волков слышал о прошлом Ларисы, знал ее вздорность и слабость, пристрастие к вещам, к мишуре. Но это не имело значения. Гордеев, расчетливый спец, умный и тонкий служака, имевший протекцию, его поездка в Кабул — еще один шаг к восхождению. Но и это не имело значения. Преображенные, отрешившись от временных целей, они достигли сейчас вершины. Осуществляли свою высшую жизнь: спасали жизнь другому.

— Пилу Джигли! — глухо сквозь марлю сказал Гордеев.

Лариса выхватила из кипятка, подала ему блестящий зубчатый шнур, окутанный паром. Резкий взмах кулака, как заводят мотор у лодки. Разящий проблеск металла. Хруст рассекаемой плоти. Словно на груди расстегнули молнию, и раскрылась внутренняя алая жизнь.

Волков, одолев в себе обморочность, сопрягал свою волю и силу с волей и силой хирургов. Ему казалось, есть некий образ тому, что тут происходит. Цель его с того хмурого

зимнего дня, когда он ступил на афганскую землю, глядя на транспарант, трепещущий на ветру, и промерзшего автоматчика в каске, цель была в том, чтоб сейчас молиться над детским сердцем: о нем, пробитом осколком, политические его репортажи. Пытаясь его защитить, отвести от него винтовки, кружил вертолет Занджира, расстреливая в горах караван. Над ним, прикрывая с небес, носятся сейчас перехватчики. О нем пишет «Бахтар». И если оно остановится, случится огромное, непоправимых размеров несчастье, и все это видят и знают. Одни продолжают в него стрелять. Другие сомкнулись над ним, встали тесной стеной, не дают угаснуть.

— Вскрываю перикард! — Действуя ножницами, Гордеев разрезал пленку. Под ней обнажился сиреневый глянцевиный бутон. Сотрясаясь, наполненный соком, словно готов был раскрыться, выбросить огненный мак. — Нервное сердце... Боится, — Гордеев отдергивал пальцы, словно обжигался. — Вот он, проход осколка... Да успокойте его, успокойте! Не могу работать! Включите отсос!

Лариса протянула блестящую трубку, отсосала натекшую кровь.

— Смотри-ка, как шпарит! — Гордеев усмехался, подбирался пальцем под вену, стараясь ее ухватить. — Давайте готовьте канюли.

Подкатывали аппарат искусственного кровообращения — граненый хромированный шкаф с врезанным бруском хрусталя, в манометрах, циферблатах и трубах. Искусственное, рукотворное сердце, созданное в помощь живому.

— Ритм доложите! — напряженным, изменившимся голосом требовал Гордеев.

— Сто сорок!

— Давление в артерии?

— Сто двадцать!

— Видите, начались экстрасистолы!

Это было похоже на стыковку «ТУ», которую он видел над полюсом — шла дозаправка топлива в воздухе. Медленно сближались громады. Чутко тянулись друг к другу, боясь ошибиться в касании. Малейший перекося и неточность — и в грохоте, истребляя друг друга, рухнут грудой обломков.

Волков чувствовал то же напряжение момента. Работали десятки машин. Человек в своей незащитности был отдан им на откуп, и они угрюмо и преданно сохраняли ему бытие. Память, дыхание, кровь, отделенные одно от другого, жили

в проводах, на экранах, трепетали в стальных оболочках. Но в этой машинности ему чудились нежность, любовь. Совершалось великое чудо. Одна жизнь тянулась к другой, ослабевшей, готовой исчезнуть. Вселялась в нее, делилась кровью и силой, своим местом под солнцем, принимала на себя ее боль.

Хирург бесстрашно и мощно ударом отточенных кромок прорвал стенку аорты. Кровь, всклокотав, натолкнулась на сталь, устремилась в трубу. Минувя живое сердце, хлынула в насос. Заработал, задышал, мягко, бархатно, толкая алую жизнь. А живое сердце опало, притихло. Лишь слабо вздрагивало, словно рыба, выброшенная на отмель, подымала свои плавники.

— Внимание, вскрываю сердце!

Гордеев сделал узкий хрустящий надрез. Просунул вглубь палец. Осторожно водил внутри, ощупывая сердечную полость.

— Подтверждаю диагноз... Вон он, стоит... Приступаю к удалению осколка!..

Кривые блестящие ножницы погрузились в надрез. Рассекли сердечную мышцу. Ассистенты извлекли из груди и держали в руках пустое недвижимое сердце. Хирург пинцетом, сделав легкий молниеносный рывок, извлек осколок. В первый раз обратился к Волкову:

— Вот он, смотри! Кусок бомбы,— протянул на конце пинцета крохотный кристаллик металла.— Долой его.

Волков смотрел на стальную острую искру, упавшую на стекло. На убитую смерть.

— Температура тела? — Гордеев действовал, приблизив к сердцу свой сияющий глаз. В руках у него появилась игла и нить.

— Двадцать четыре градуса.

Лишенный сердца, человек остывал, как жилище, в котором погасили очаг. Игла проникла в мышцу, тянула за собой тончайшую дратву.

— Сколько времени пережата аорта?

— Семнадцать минут.

— Начинайте его согревать!

Из сердца тянулись нити, как из крохотного ткацкого станка. Черные, белые — ночи и дни. Хирурги-ткачи ткали его судьбу. Творили ему новую жизнь. И Волков своей страстью и верой, жаждущей света душой желал: пусть это сердце, умерев среди ужасов, болей, воскреснет среди добра! Пусть в нем, воскрешенном, обретут свою жизнь дру-

гие, погибшие до срока сердца. Пробитые пульей. Разорванные пыткой в застенке. Оглухшие от страха. Утратившие веру и свет. Пусть в нем, воскрешенном, воскреснут!

Хирурги работали в страшном напряжении сил. У Гордева на лбу выступил пот. Люди за пультами боялись оторваться от шкал.

Сердце, подобно светилу, выплывало из рук хирургов, погружалось в грудь. Его отпускали в родные стихии, возвращали живую кровь. Над ним смыкали горячий сумеречный свод. И оно, уйдя в глубину, возшло в человеке.

«Обо мне,— думал Волков,— о нас обо всех!.. Пройдем по страшным кругам, испытаем горчайший опыт, очерстеем душой, оглохнем от трат, но в конце неизбежно, сквозь все потери и траты, откроется истина жизни — из любви, добра, красоты. Ибо только за ней, неизбежной, мы вышли однажды из дома и с нею вернемся домой».

Мальчик, открытый, лежал без движения с красным рубцом на груди. Волков боялся дышать. Верил: кто-нибудь после с тихим смехом и шепотом станет целовать ему грудь.

Обгоняя его, из ворот госпиталя с воем сирены вырвалась «скорая помощь». Крутя фиолетовой вспышкой, оседая в крутом вираже, помчала в город. И первая мысль: кто-то снова гибнет от пуль. И вторая: а вдруг Марина? Он знал, что это не так, что это его суеверие. Но сама возможность такого породила испуг и смятение. Отгоняя от нее образ несчастья, погнался в посольство.

Чугунная ограда раздвинулась. Посольский двор. Поставил торопливо машину. Почти бегом влетел на ступеньки. Заглянул в диванную — пусто. В сумрачный кинозал — никого. Вошел в маленький холл с пальмовой кадкой. Марина сидела боком к нему, чуть согнувшись, устало понурившись перед чемоданом. И в нем горькая мысль: так, должно быть, в войну на бесчисленных полустанках сидели матери, жены, надеясь на чудо — вдруг пройдет военный состав и в размытом очертании окна мелькнет родное лицо? Так ждала отца его мать на разъезде под Канахом. Так бабка ждала его деда на тракте в землях Войска Донского. И теперь вот она, Марина. Неужели — его?

— Вот и я,— сказал он негромко, боясь ее испугать.— Вот и я!

Не сразу, медленно отрываясь от охвативших ее ожида-

ний, покидая другое, неведомое ему пространство, поворачивалась на звук его голоса, меняясь лицом, озаряясь.

— Ну, слава богу! Наконец-то! Из города приезжают люди, всякое рассказывают. Слухи за слухами. В вас не стреляли?

— Все хорошо. Не верьте слухам. В городе тихо. Сейчас поедем в отель.

Она осматривала его, заглядывала в глаза, оглаживала рукав его пальто. Кто-то прошел мимо них. Подождав, когда стихнут шаги, он обнял ее. Она сильно и плотно прижалась к нему, и они стояли, и он, закрыв глаза, видел, как в кружении проносятся под веками мечети, танки, бьющая из колонки вода, пульсирующее сердце, хребты, облака — все летело, кружилось, насаженное на невидимую блестящую ось.

Ехали молча по вечернему огненно-красному городу. Засов на дверях дукана казался только что извлеченным из кузнечного горна. Броня на танковой башне выглядела позолоченной. В зеленом небе, маленький, латунный, проплыл полумесяц мечети.

Он шел по коридору за ней, неся ее чемодан. Открыла дверь. Пропустила его вперед. В номере было сумрачно, быстро темнело.

Он почувствовал вдруг, как устал за эти два дня и две бессонные ночи, и какое счастье, что оба они в отеле, и с ней ничего не случилось, и она снимает пальто, вешает в шкаф, мимолетно распускает цветной поясok на платье, роняет на пол, и сейчас подойти, поднять поясok, держать в руках легчайшую разноцветную ткань, ожидая, когда она приблизится, встанет рядом, они встретятся наконец так, как мечтал, отпуская ее от себя неделю назад по красной ковровой дорожке, или ночью в Джелалабаде, лежа в сырой казарме, или в самолете, подлетая к Кабулу среди голубых хребтов.

— Подождите меня, я сейчас вернусь. Принесу из ресторана что-нибудь горячее, и поужинаем, — сказала она и вышла.

«Да, все хорошо, мы поужинаем... Завтра на облавы в трущобы Старого города... А сейчас она вернется ко мне...» — думал он, присаживаясь на диван, откидываясь, закрывая глаза. И опять все понеслось, закружилось — сердце, мечети, хребты, — уменьшаясь, отлетая в белую облачную воронку, и он засыпал, вовлекаемый в это вращение. А проснулся — было утро, он лежал на диване, при-

крытый одеялом. Марина тихо звенела посудой, раскладывала на салфетке зелень, лепешки, ставила стаканы с чаем.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Волков рассовывал по карманам блокноты. Раздумывал, брать или не брать аппарат. За окном сеял мокрый снег. Гор не было видно. Флаг на Дворце Республики отяжелел, чуть краснел в тумане. Утренний Кабул угрюмо шевелился в вареве снега, бензиновой гари, всплывал комями отсыревшей глины.

— Я с вами, — сказала Марина, надевая берет перед зеркалом.

— Куда? — он пробовал ручки, заряжая ими карманы.

— Туда, куда вы.

— Ну что вы, я не в мастерскую художника, не на спектакль. Сегодня прочесывают Старый город. Операция по выявлению провокаторов. Я не могу вас тащить в трущобы. Того и гляди попадешь на мушку. Поджидайте меня здесь за накрытым столом. Приду и все расскажу.

— Разве можно знать, где попадешь на мушку? Мы с вами в машине попали на мушку. Я буду полезна. Я знаю язык. Буду переводчиком. Вы не думайте, я умею, готова работать. — Она улыбалась, спокойная, ясная. Он подумал, что и впрямь она будет ему полезна. И еще: все они здесь на работе, все в деле и в складчину, сообща разделят успех или поражение. «Ну, а сына ты взял бы с собой?» И тут же вспомнил солдата в Джелалабаде, напомнившего сына.

— Хорошо, — сказал он. — Пойдем.

Метельный, пустынный Майванд был перечеркнут цепью солдат. Косо, туманно падал снег, разбивался о блестящий асфальт. Солдаты-афганцы подняли воротники шинелей, опустили суконые наушники шапок, зябко переступали, ежились.

У райкома на липком тротуаре былолюдно, густо. В кепках, беретах, с неловко висящими на плечах автоматами курили, дышали паром. Проходя в толпе, пропуская вперед Марину, Волков увидел члена райкома Кабира, мгновенно вспомнив райкомовскую лестницу, опрокинутую кумачовую трибуну, пробитую, в языках пламени входную дверь. «Вчера или позавчера? Нет, конечно же позавчера!» Кабир, окруженный юнцами, вскинул глаза на Волкова.

— Салям! И вы с нами? — Небритый, с лилово-черной

щетиной, он утратил свое щегольство. Выталкивал красными горячими губами ртутное облачко пара. Автоматный ремень врезался жестко в плечо. — Третий день нет занятий, — объяснил Кабир. — Университет закрыт. Профессора-либералы объявили забастовку. Часть студентов пошла за ними. Отказываются выходить на занятия. А другая часть здесь, с нами, — повел глазами, и, откликаясь на его взгляд, теснее придвинулись юные лица, замерзшие, побледневшие, отражавшие вороненый Майванд, вороненые стволы автоматов.

В коридоре райкома было битком. Накурено, громогласно. Молодые и старые, простолюдины в робах, чалмах и на кидках, интеллигенты в плащах и пальто, в белых сорочках и галстуках. И у всех на плечах новое, полученное недавно оружие. И у всех на лицах жестко-решительное, твердо упрямое выражение действия. Волков снова, вызывая образ толпы, возрадовался этому выражению отпора, осознанного коллективного действия.

Они вошли к секретарю райкома Кадыру. Волков с порога нашел отметины пуль в потолке. Марина улыбалась, произносила слова афганских приветствий, вызывая почтительные улыбки в ответ.

— Кадыр, — Волков подозвал глазами Марину, — вот товарищ Марина, мой переводчик. Мы идем вместе с вами. В двух словах, в чем смысл операции?

Секретарь райкома движением бровей остановил говорившего с ним человека, державшего пачку листовок. Указал на знакомый Волкову замусоленный план.

— Вот рынок! Баги Омуми. Вот Майванд. Вот Старый город. Эта часть оцеплена. Отсюда никто не уйдет. Мы идем по домам и ищем оружие. — Марина переводила, торопясь и волнуясь. — Ищем тех, кто стрелял. Кто напал на райком. Есть сведения, что где-то здесь существует подпольный завод по производству зажигательных бомб. Выступаем через десять минут.

— Волков, здравствуй! — Достагир, неузнаваемый, в тюрбане, укутанный в белые ткани, шагнул навстречу, и из складок просторных одежд на мгновение мелькнул автомат.

Волков представил ему Марину.

— Можешь оставить английский. Товарищ Марина знает дари и пушту.

Достагир поклонился, произнес что-то церемонное и любезное, и она усмехнулась.

— Что он тебе сказал? — Волков невольно повторил ее усмешку.

— Сказал, что, если бы ему не идти в разведку, он бы пошел с нами, чтобы охранять красивую женщину.

— Достагир, ты идешь в разведку? Но ведь тебя многие знают. Ассадула тебя знает в лицо.

— Не забывай, Волков, я полгода провел в подполье. Кое-чему научился.— Он извлек накладные усы, прицепил, сжал брови в угрюмую складку. Стал одним из бесчисленных афганцев, наводняющих рынок, сидящих при входе в мечети. И опять при резком движении колыхнулась накидка, глянул вороненый металл.

— Иван, здравствуй! — Саид Исмаил, бережно тронув плечо Достагира, встал рядом, лучился радушием, растягивал в улыбке сиреневые широкие губы. Пожимал Марине и Волкову руки, придерживая на груди красный раструб мегафона.— Ты с нами сегодня, Иван? Почему вчера не с нами?

— Он, как всегда, без оружия,— недовольно сказал Достагир.— Я говорю, доиграешься ты, Саид Исмаил. Получишь свою пулю.

— Вот мой оружие! — щелкнул Исмаил в мегафон.

Кадыр Ашна что-то выкрикнул громко и резко.

— На выход! — сказала Марина.

— На выход! — сказал Саид Исмаил.

— На-ви-хот! — неумело по-русски повторил Достагир. Все двинулись густо к дверям.

Снег перестал, и Майванд блестел наподобие оружейной стали, отражая солдатские цепи. Подкатывали тяжелые туристские автобусы с зеркальными стеклами и цветными наклейками. Но вместо праздных пресыщенных интуристов виднелись афганские солдатские шапки, угрюмые лица, стволы автоматов. Волков увидел, как из автобуса ловко и грациозно выпрыгивают женщины. Мелькнуло знакомое красивое лицо дикторши телевидения, ее черно-синие волосы.

— Саид, а женщины здесь зачем?

— Операция. Пойдут дома с нами. Мужчина нельзя в женской часть, мусульманский обычай нельзя. Эти женщины пойдут искать в женской часть. Члены НДПА.

Его слова заглушил налетающий трескучий вихрь. Низко под кромкой туч над Майвандом прошел вертолет с красной афганской эмблемой. Выплюнул пук листовок, и они, рассыпаясь, кружили в сыром льдистом воздухе, падали в районы трущоб. Несколько белых квадратиков упали на Майванд, белели, прилипнув к асфальту.

Строились на тротуарах перед узкими щелями, уводящими

в Старый город в глинобитные скопища. Там, притаившаяся, ждущая облавы, пряталась жизнь.

— Что написано? — спросил у Марины Волков, кивая на грязную белую стену с беглой, углем начертанной надписью, на свежие дыры от пуль.

— «С благословения аллаха начинаем исламскую революцию в Афганистане», — прочитала она.

«Иероглифы контрреволюции», — подумал Волков, глядя на курчавую надпись, словно калькировал ее. Какой-то партиец, перехватив его взгляд, поднял обломок кирпича, перерчеркнул черную надпись красной чертой.

— Пошли! — Саид Исмаил первым шагнул в скользкий, сочащийся влагой проем, поднося к губам мегафон. Металлический, пружинный, возвышающийся до звона голос понесся в закоулки, в подворья, в гнилые чердаки и подвалы, пронизывая стены, ветхую глину и дерево. И следом за вызывающим красным раструбом растянутыми цепями, втягиваясь в проулки, пошли отряды, заглядывая в темень углов, держа на весу стволы. И в оконце за грязным стеклом на мгновение возникло и отпрянуло испуганное худое лицо.

Засунув руки в карманы, подняв воротник пальто, Волков шел за афганцем, одетым в бронежилет. Старался не поскользнуться на жидких подтеках, на зловонных ручьях нечистот, на рытвинах, полных тухлого снега. Оглядывался на Марину. Она, прямая и тонкая, повторяла его шаги. Сосредоточенная, чуть сгибаясь под низкими стрехами, в синем берете, ступала легко и точно, пронося свое легкое тело мимо темных глухих проемов с резкими сквозняками, из которых вот-вот брызнет выстрел. В нем возникал щемящий страх за нее, ожидание несчастья. Задерживал шаг, желая встать рядом, но, невидимый, звал вперед мегафон, реял металлический голос, и солдат с карабином поправлял неудобный, съезжавший набок жилет. Волков шел дальше, чувствуя ее за спиной. И больная мгновенная мысль: «Неужели это я, вбегавший когда-то в нашу комнату, полную янтарного солнца, и бабушка подымала ко мне свое чудное, осласчастливленное моим появлением лицо? Это я, державший на руках новорожденного сына, испытывая гордость и счастье, желая всем добра? Я, сидевший над листком бумаги, без труда и усилий перенося на него возникавшее предчувствие чуда? Это я иду теперь в мегафонном надрыве — в древних трущобах Кабула?»

Выстрелы. Топот сапог. Жалобные тонкие вскрики. Прикладом сбивают замок. Щепки от ветхих дверей. Кого-то

ведут под конвоем. Дуло — к сутулой спине. Кануло. Идет операция.

Подворотня — как гулкий кувшин. Темная ниша в стене. Босой сидящий старик с бельмами на глазах. Двигает мелкие четки, беззвучно читает молитвы. О хлебе, о добре, о счастливом согласии в доме. Солдат с разбитой губой дернул ремень карабина, сплюнул в снег кровь. Кануло. Идет операция.

Топится хлебная печь. Хлебопеки катают тесто. Лепят к горячим стенкам. Извлекают хрустящие, пышущие жаром лепешки. Длинная смиренная очередь в ожидании хлеба. Девочка в красных обносках бежит босиком по снегу, прижимает к груди укутанную в тряпицу лепешку. Кто-то с винтовкой погладил ее на ходу. Кануло. Идет операция.

Собачий скелет в грязи. Тусклое оконце в стене. Испуганные большие глаза. В треске винтов, возникнув клепанным брюхом, прошел вертолет, сбросил ворох листовок. Кануло. Идет операция.

Волков двигался в извилистом тесном желобе, влекомый вереницей вооруженных людей. Погружался в толщу неведомой жизни, обступившей его пугливо, взиравшей из всех подворотен. Казалось, в искривленном лабиринте запутанного, повторяющего себя многократно пространства остановилось время: он не знал, как долго он здесь, час или целый день, где Майванд, где отель, как выбираться обратно их этих закупоренных глиной отсеков.

Просевший гнилой потолок в домах. Липкий пол. Холодный, бездровный очаг. Семья сбилась по-овецьи тесно: худой, с покрасневшими веками хозяин с шелушащимся от экземы лицом, две женщины в паранджах, гурьба немытых испуганных ребятишек. Недвижный старик на полу, заваленный ворохом тряпья, то ли живой, то ли мертвый. И такая обнаженная, зияющая бедность, голь, усиленная видом жестяного корыта, пустого распахнутого сундука.

— Он говорит, не было у него никого из чужих. Только семья и домашние,— переводила Марина, и Волков видел выражение боли и страдания на ее свежем, розовом среди этого тлена лице.— Говорит, нету у них никакого оружия. Ничего у их нету. Третий день хлеба нет в доме. Не может пойти на заработок. Рынок закрыт. Дуканы закрыты. Не может на хлеб заработать.

Саид Исмаил обошел комнату, заглянул в пустой сундук, выходя, задел корыто, и оно жалобно простонало. Волков чувствовал глядящие вслед глаза, не понимал, что в них:

испуг? нелюбовь? зов о помощи? Или тусклое, тупое смирение, готовность ко всему, даже к смерти?

Из соседнего двора выводили задержанного, подталкивали, понукали, и он торопливо ставил в грязь разъезжавшиеся калоши, озираясь затравленно. К нему с яростным криком рванулись женщина в зеленой засаленной парандже и маленький желтолицый мужчина в тряпье. Охранники их отгоняли, преграждали путь автоматами.

— О чем она? О чем голосит?

— О сыне. Он у них сына увел. Пусть отвечает, куда увел! Пусть скажет, куда их мальчика увел! Два дня нету сына. Люди видели, как он их сына увел.

И опять видения: в красной рубаше мальчик скачет в клетке, разливе толпы. Детская рогатка среди груды железных стволов. Детское обнаженное тело с красным шрамом на операционном столе.

— Говорят ему: будь ты проклят! — переводила торопливо Марина. — Пусть им сына отдаст!

Кадыр Ашна стоял перед маленьким седым стариком. Монгольское желтоватое лицо круглилось яблочками щек, в запеченных веках мерцали глазки, пушились нитеобразные усы, прозрачная невесомая борода, морщинистый лоб был стянут черной шиитской повязкой. Кадыр Ашна раскрыл перед ним план района, что-то выпрашивал, теряя терпение. Тут же стоял Саид Исмаил, устало опустив мегафон.

— Старейшина, хазарец, — объяснил Саид хриплым, сорванным голосом. — Самый главный. Что скажет, то будет. Не скажет, не будет. — Саид поперхнулся, закашлялся.

— Кадыр просит показать, где спрятаны бомбы, — переводила Марина. — Говорит, нам известно, что в этом районе спрятаны бомбы. Их делают враги, враги всех кабульцев, враги хазарейцев. Эти бомбы, если их не найти, полетят в бедняков, полетят в дукашников, полетят в мулл. Говорит, мы пришли сюда с оружием, но оно не против бедняков, а против богачей, спрятавшихся в одежду бедняков. Просит показать, где склады бомб.

Старик спокойно, бесстрастно смотрел в раскрытый план. Был похож на игрушечного истуканчика. Шевелил маленькими губами. Раздувал волокна усов.

— Он не знает ни про какие бомбы. Здесь нет никаких бомб. Он тоже против бомб. Хочет одного: чтоб поскорее открылись дуканы и мечети. Люди голодные, без хлеба. Скоро начнут замерзать и умирать без дров. Не могут пойти в мечети молиться. А про бомбы он ничего не знает.

— Знает,— сказал Саид Исмаил.— Хитрый старик. Все знает. Не хочет показывать.

Кадыр Ашна спрятал план, махнул рукой, отошел. И снова вереница людей, ошестинившись оружием, медленно двинулась по дворам. Саид Исмаил прижал к губам мегафон, взывал металлически-страстно.

Волков больше не касался блокнотов, больше не пугался темных углов и подворий, не думал о выстреле в спину. Отовсюду смотрели на него голодные, темные от страха и ожидания глаза. Все живое жалось, теснилось, торопливо уступало дорогу, стремилось занять как можно меньше места, плотнее прижаться к стене. Из дыр, из разбитых окон, из трещин и проломов в стене смотрело горе. Они с Мариной оказались в недрах огромного горя. Волков тяготился своей добротной непромокаемой обувью, непродуваемым кожаным пальто, сильным сытым телом, даже этой болью и состраданием своим тяготился, несоизмеримыми с окружающим горем. Не умея откликнуться на эту беду сиюминутной немедленной помощью, откликался страстным ее отрицанием, желанием ее одолеть, развести руками, разобрать эти глиняные смердящие саркофаги, открыть их свету и воздуху, поставить на их месте не дворцы, а простые дома, хотя бы те самые девятиэтажки, что столь примелькались в Москве. Они смотрелись бы чудом, и чудом смотрелся отлитый из бетона фонтан, и пусть мимо люди идут, ворчащие, усталые, измотанные толчеей в магазинах, в троллейбусах, но без страха в глазах, без темного испуга и голода. «Вот за этим, за этим вышли на тусклый Майванд,— думал он.— Для этого нацепили на себя автоматы, орем в мегафоны, глядим воспаленно на все стороны света, теряем себя, чтоб сквозь перестрелку глянули чистые, не ведающие страха глаза вон той девочки в красных обносках». Так думал он, шагая вслед за солдатом в бронежилете, с разбитой губой, кашляющим кровью на землю.

Проделав путь по Старому городу, они вышли опять на Майванд, замеченный снегом. Солдаты грузились в автобус. Дикторша телевидения в черной замше, испачканной известкой, кивнула ему. Выводили задержанных, подгоняя их автоматами. Марина, бледная, стирала с лица тающий снег.

Подкатил военный «уазик». Сквозь заляпанные стекла — тусклые лица, автоматы, среди кожанок и тужурок кто-то в белом, бородатый, сжатый с обеих сторон. «Арестованный»,— подумал Волков, но по тому, как предупредительно

и поспешно охранники растворили дверцы, протянули вглубь руки, помогая выйти сидящему, по тому, как Кадыр Ашна заторопился к машине, не угрюмый, как минуту назад, не хмурый, а в кивках и улыбках, Волков понял, что ошибается. Из машины тяжело, грузно, подхватывая полы белой рясы, жесткой, негнушейся бородой вперед вылез старик с выражением боли на могучем толстоносом лице, бледный, с пожелтевшими горчичными белками в слезящихся черных глазах. Волков узнал муллу центральной кабульской мечети, того, что выступал на встрече, устроенной Саидом Исмаилом, и в тот же вечер появился на экране телевизора. Он был все тот же, величавый и тучный, но словно перетянутый под рясой ремнями, с замедленными движениями рук, головы. Стоял рядом с Кадыром, окруженный почтительной, не подступавшей близко толпой, подчеркнуто не обращал на нее внимания.

— Саид,— спросил Волков,— ведь это мулла из Поли-Хишти? Это он говорил, что ислам проповедует мир? Что есть люди, которые, прикрываясь кораном, грабят и жгут? Как его имя? Я еще подумал тогда: оперативно ваше телевидение работает. В тот же вечер — на экране. .

— Его зовут Салим Ахмат Сардар,— сказал Саид Исмаил, и в том, как он это сказал, прозвучало все то же почтение, почти преклонение.— Мы просили, он выступал. Я просил, он выступал. Сказал людям — не надо стрелять, не надо кровь, надо мир, надо друг другу добро, хорошо. Будем молиться на мир, на Афганистан. Ты помнишь, он говорил? Его услышали в Кабуле, его услышали в Герате, везде услышали. Враги его тоже слышали. Караулили, ждали. Когда шел мечеть, стреляли. Два пуля, спина. Нет сердца, мимо. Плечо попали.

— Вот оно что! Зачем же его привезли? — Волков смотрел на муллу, чувствуя, как больно ему под одеждой, какое страдание причиняет ему дыхание.— Почему подняли с постели?

— Мечеть закрыта. Враги говорят, мулла закрыли мечети. Мулла против власти. Мусульмане, говорят враги, против правительства. Но он идет мечеть. Будет открыть. Будет сказать народу. Молимся за мир, мусульмане, не надо кровь. Говорит, не надо лежать, когда льется кровь. Надо стать, открыть мечеть.

— Его могут убить.

— Мы хотим ему охранять. Хотим возить на машине туда, сюда. Он говорит — не надо охраны, не надо винтовка.

Он сам себя охраняет. Говорит, добро и любовь! Иван, я не мулла, я эндэпэа, но я тоже добро и любовь!

— Ты партийный мулла, Саид.— Волков глядел на похудевшее доброе широкогубое лицо Саида, похожее на олений лик.— Ты, я знаю, тоже не любишь оружия.

— Будем мулла хранить секретно. Наши люди пойдут мечеть, держат оружие под одеждой. Будут его хранить!

Мулла закончил разговор с Кадыром. Величаво кивнул. Одолевая боль, постарался выпрямить спину. Выкатил грудь. Уложил на нее черножелезную бороду, двинулся медленно по пустому Майванду, раздувая белые одеяния, туда, где над крышами, пропадая в тумане, голубел минарет.

Еще отъезжал автобус, набитый арестованными и конвойными, еще лежали на столе отобранные при обыске маоистские брошюры и членские карточки с зеленой эмблемой корана, а бюро райкома собралось на свое заседание, посвященное проблеме торговли.

Кадыр Ашна сидел за столом под застекленной фотографией Ленина и делал сообщение членам бюро, многие из которых еще не счистили с обуви грязь, налипшую в Старом городе. Лежали кругом автоматы — как черные маслянистые семена, выпавшие из огромного подсолнуха.

Волков писал в блокнот, слушал шепчущий, старательный, у самого уха, голос Марины. Ее дыхание, быстрая с перерывами речь, ее близость не мешали ему, а рождали острое чувство; она в своем синем берете, в своей женственности, разделяет с ним этот день: закоулки, залпы и топот, вертолет, пролетавший в снегу, арестант с сутулой спиной, — разделяет этот день его жизни.

— Пусть классовый враг, забившийся в норы, царапает себе от горя лицо! — говорил секретарь.— Пусть грызет железо своих автоматов и гранат! Они не принесли ему счастья! Они не привели его во Дворец Республики, в Тадж, в министерства, на хлебозавод, на радиостанцию! Народ, пошедший за мусульманским флагом, которым размахивал враг, увидел, что за флагом — окровавленный нож. За этим флагом нет хлеба, нет дров, нет мирных очагов, а только горящие дома, убитые дети. Но враг не убежал, не исчез, он сменил себе шкуру. Он больше не барс и не волк, он — змея, он — крыса. Он больше не кинется в открытом прыжке, а будет проползать потихоньку, прогрызать дыры, жалить, кусать за ноги. Вы видели, что все дуканы закрыты? Видели,

что не снят с дуканов ни единый замок? Замок на дукане — это замок на дверях, ведущих в революцию. Люди приходят к дукану купить себе рис и чай и видят замок и шепчут друг другу: при новой власти мы не можем купить нашим детям лепешку, а нашим старикам горстку чая, это не наша власть. Дуканщик приходит открыть свой дуکان, а враг показывает ему нож — и замок остается висеть, и дуканщики шепчут друг другу: при новой власти мы не можем заниматься торговлей, это не наша власть. Вот почему сегодня, когда мы потушили пожары, арестовали провокаторов и убийц, мы начинаем борьбу за дуканы. Пусть каждый член партии прямо отсюда идет в дуکان, с автоматом в руках встает у прилавка, защищает торговлю, защищает дуканщика, защищает революцию. Революцию делают пули. Революцию делает слово. Революцию делает хлеб. Завтра мы идем в беднейшие хазарейские семьи раздавать бесплатно муку.

Свежие дыры от пуль белели над его головой. Его красноречие, свобода изливавшихся слов возвращали Волкова к той русской поре, когда политический тезис был ярко окрашен страстью оратора, и эта страсть в любую минуту могла быть оборвана пулей.

Бюро окончилось. Они простились с Кадыром. Ехали по Майванду. Чуть потеплело, проглянуло солнце. Появились нечастые люди. На улочке, где недавно Волков и Марина покупали восточные сладости, все дуканы были закрыты, и только этот, единственный, торговал. Знакомый дуканщик в полутьме своей лавки ставил гири на медные чаши, сыпал рис, отвешивал чай. Перед ним, огромная, завивалась очередь. В ней терпеливо с кульками стояли бедняки в долгополых лохмотьях, служащие в черных пальто. Все ждали своей горсти риса, щепотки чая, следили за медными чашками. Рядом с прилавком, настороженный и зоркий, стоял с автоматом партиец. И Волкову показалось: в толпе мелькнули глаза Достагира, его накладные, подковой усы.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Они закусывали в ее номере купленными по дороге лепешками и ломтями теплого мяса, запивали горячим чаем, в который Волков налил красного вина.

— Хорошо... Замерзла... — говорила она, обжигаясь, поджимая под себя на кровати ноги в теплых носках. Волков утомленно вытягивал свои грязные, в невысохшей глине башмаки, пытался счистить с плеча известку.

— Я все думаю, все стараюсь себе объяснить,— сказала она.— Эти дни... Этот нынешний день... Вы меня в состоянии слушать?

Он смотрел на нее, желающую согреться, усталую, болящуюся со своей слабостью, чувствовал настойчивую энергию, исходящую от ее глаз, губ, белого лба, чуть нахмуренного у бровей.

— Эти лачуги, эти люди... Умирающая без хлеба семья... Мулла идет под пули... Эти дети, прошедшие ад... И я среди них с моей недавней московской жизнью... Мне всегда казалось, что я живу очень сложно, мучительно. У меня есть моя личная драма, моя боль. Так я думала. Но после сегодняшнего вся моя боль кажется такой выдумкой, почти постыдной...

— О какой боли вы говорите?

— Ну, я не знаю, у всякого есть своя боль, своя неудовлетворенность. У нас была очень благополучная, очень обеспеченная семья, пока папа был жив. Мы себе ни в чем не отказывали. Я с детства все это чувствовала, воспринимала как должное. А когда папа умер, все изменилось. Не сразу, а постепенно. Мама пошла работать билетершей в театр, потому что ничего иного не умела. Постепенно отпали знакомства, мы остались одни. Красивые вещи, окружавшие меня с детства, разбились, ушли из дома или обветшали. Я это переживала болезненно, как несправедливость. Скажу вам, когда я согласилась сюда поехать, я просто бежала из Москвы, от своей неприкаянности, от своего одиночества, как мне казалось. И что увидела? Что рядом с моими заботами есть другое, огромное, страшное, о котором и знать не знала, и вдруг обнаружилось. Будто кто-то сказал мне: «Смотри! Вот люди! Живут одновременно с тобой! Как живут?» И я смотрю и думаю: что мне делать? Утешать, согревать, целить? Отдать рубаху с тела, хлеб со стола? У меня чувство беспомощности перед их горем. Кадыр Ашна, Саид Исмаил, та дикторша телевидения, они знают, что делать. Это их народ, их собственная беда, и они хотят с ней покончить. Стреляют, агитируют, завозят муку и дрова. В них уверенность, ожесточенность, бодрость. Они надеются на новое общество, на будущий расцвет. Дай бог, чтоб все так и было. Но как же мне, мне быть, когда я вернусь в Москву, когда снова окажусь в нашей большой квартире, где много света, дорогой обветшалой мебели? Радоваться, что меня миновала беда? Что она не со мной, а с другими? Что стреляют где-то далеко, а не у меня под окном? И голодные люди

в лохмотьях — не в моем подъезде? И операция с винтовками, мегафонами — не на моей улице? Но ведь, если подумать, все это так близко, так рядом, такая тонкая прозрачная пленка отделяет нас всех от недавнего прошлого, когда пол-России сгорело, когда пол-Родины в землю легло. Или все это готово опять повториться? Все эти бомбы, ракеты, вражда ахнут разом, обернутся кровью и ужасом? Неужели здесь, в Афганистане, это уже началось? Неужели все наши усилия, все наши надежды — все даром? И опять эта бойня, абсурд? Вы журналист, политик. Много ездили, видели, думаете постоянно об этом. Скажите, для чего мы живем?

Она смотрела потемневшими от страдания глазами, ждала, требовала немедленного, тут же, ответа, и он знал, что ответ существует, лишь в том случае стоило жить и работать, если этот ответ существует. Пытался ответить, понимая, что он не пророк, не вития, что истина не откроется ему одному, а только всем вместе, сразу, в едином усилии понять. «Каждый раз,— думал он,— мы откладываем на потом чертежи задуманного совершенного общества, идеального бытия, отвлекаемые то войной, то бедой, то насущной, затмевающей очи черновой каждодневной работой, но ведь тот чертеж остается! В каждой душе, если в нее заглянуть, как бы темна она ни была, как бы ни ослепла, на донце, словно в глубоком, отражающем небо колодце, брезжит образ заветной, желанной жизни, желанного братства, которое однажды, ну, пусть не теперь, не при нас, после всех огней и пожаров, после всех заблуждений непременно откроется в мире. Вот что я твердо знаю. Вот во что верую. Вот что открылось мне в бесчисленных встречах с людьми, счастливых и горьких. В каждом из нас существует тот план и чертеж, который издревле чертили волхвы и сказители, бунтари и революционеры, поэты в ампирных гостиных, комиссары в тифозных бараках. Может, эти огни и пожары даны нам как великое испытание в силе? Должны пройти, не сгорев? Пронести сквозь пылающий зев, сквозь огненный раскаленный мартен свои свитки, где начертан чертеж? В каждой душе, где боль, любовь, красота, где живет страдание, желание ближнему блага, таится этот чертеж. Когда я его открывал, в себе ли, в других, как бы ни было худо вокруг, мне становилось спокойно: значит, можно жить дальше. Значит, в мире есть цель и смысл, искупающие ненависть, кровь».

Так думал он, так мысленно ей отвечал, милой, измученной, закутанной в кофту, поджавшей ноги в носках. От-

несенная от него на далекий луч света, приближалась на этом луче. Словно сквозь новую оптику он видел ее красоту, несущую в себе новый, вчера еще неведомый смысл. И смысл этот в том, что он любит ее, и она для него тот образ и свет, что дан ему во спасение, дан в продолжение пути.

Они приехали в полицейский участок. На белой известковой стене были наклеены дорожные знаки. Дежурный офицер за столом встал при их появлении. Топилась железная печка. На ней урчал чайник, и вокруг, поджидая, когда он вскипит, сидели полицейские с оружием. Волкова и Марину провели в большую голую комнату. На полу бугрилось огромное ватное стеганое одеяло, и под ним вдоль стен выглядывало множество детских голов. Мгновенно повернулись на их появление. Замерли, мерцали глазами, готовые юркнуть под одеяло, как мыши в норы. Волков испугался обилия детских, чутких, не знающих, что их ожидает, глаз. Старался придать лицу выражение беззаботности и веселости. Улыбался, кивал, понимая, что дети ждут не его, а свободы, встречи с родными.

— Их забрали прямо с улицы, из толпы, во время беспорядков,— пояснял офицер, и дети, отбрасывая одеяло, вылезали, выскакивали, окружали их гомоном, скачками, нетерпеливыми, юркими телами.— Просто для того, чтоб они не погибли, чтоб их не растоптала толпа. Кое-кто из них безобразничал, бил из рогаток фонари и окна. Это и понятно. Где взрослые, там и дети. Их научить не трудно. Были среди них и раненые, и убитые. Мы оповестили родных, и через час их всех выпустят. Враг использовал самое подлое средство: кинул под пули детей.

Марина переводила. Волков оглядывал детские бритые головы, курчаво-нечесанные или накрытые плоскими тюбетечками, и отовсюду смотрели ждущие, вопрошающие глаза: «А что с нами будет? Нам не сделают плохо? Нас скоро отсюда выпустят?»

— Пожалуйста, спросите вот у этого,— Волков кивал на маленького чумазого мальчика в плоской шапочке, с быстрыми ужимками, красным, бегающим по губам языком,— спросите, как он попал в толпу?

Она наклонилась к мальчику, спрашивала, а Волков, слушая, по глазам видел, что тот понимает вопрос, понимает, что опасность ему не грозит, знает, как отвечать, лукавит,

все еще боится, но и усмехается, дергает в зрачках блестящие, хитро-наивные точки.

— Он говорит, что пускал на улице змея. Его поманили незнакомые люди, сначала дали монету, а потом увели в толпу. Заставили вместе с другими кричать: «Аллах акбар!» А кто не кричал, того щелкали по голове и щипали. Его так ущипнули, что до сих пор синяк на руке. Один человек поставил на землю магнитофон, дал ему в руки репродуктор и велел держать. Потом включил магнитофон, а там очень громко кричали: «Аллах акбар!», и сам ушел. Потом толпа побежала, а он все стоял с магнитофоном. Его и забрали в милицию. Он говорит, если узнает в лицо тех людей, придет и скажет. А если ему дадут пистолет, он сам их поймает и приведет. Он спрашивает, скоро их всех отпустят или еще будут наказывать?

Острое, живое, очень умное, чумазое, подвижное лицо. Волков помнил подобные в детстве, в соседнем доме на Палихе, где жили «уличные», полубеспризорные мальчишки, совершавшие налеты на другие дворы, дравшиеся, игравшие в «расшиши» и «пристенок», ездившие лихо на подножках трамваев, причинявшие массу хлопот участковому, оставившие по себе ощущение удали, буйства, веселой, иногда жестокой энергии. Вот такое было это лицо, в темных подтеках от высохших слез, в трепете страха, ума и лукавства, беззащитное, вызывающее боль. Волков не удержался, протянул руку. Погладил по шапочке, по каракулевой голове. Почувствовал, как затих под его ладонью то ли в радости, то ли в испуге.

— А теперь у этого спросите, — он кивнул на худосочного подростка с длинной шеей, вялым лицом, на котором уже лежало утомление жизнью. — Он был тоже в толпе?

— Да, — ответил тот, не глядя в глаза, а куда-то мимо, сонно и равнодушно.

— Что ж, и его они тоже били?

— Били, — равнодушно ответил тот, и казалось, ему все равно, отпустят его или нет, или снова погонят в толпу, или станут наказывать здесь. Его недетская, обессиленная, лишенная соков душа унаследовала от предшествующих поколений вялое, тупое смирение, равнодушие к жизни и смерти, готовность подчиниться любому давлению извне и, если потребуют, послушно исчезнуть, не оставив по себе ни следа, освободив место для точно такой же души, забитой и бессловесной. «Какая сила, — думал Волков, — какая любовь должны коснуться этой судьбы, чтобы она воскресла, раз-

вязались перетягивающие ее узлы, потекли огненные соки юности. Чтобы она своим воскрешением рассекла череду безгласных смертей и рождений, победила в себе раба, повела от себя породу иных людей, открытых вере, красоте и подвижничеству». Так думал Волков, глядя в тусклые рыбы глаза подростка, в его размытые, лишенные выражения черты.

Дети толпились вокруг, ожидали вопросов. Охотно отвечали, шумно перебивали друг друга. Только один остался сидеть под одеялом. Волкова поразило его сосредоточенное, чистое, смуглое лицо, на котором держался не страх, а болезненное, незавершенное раздумье. Двигалась какая-то большая, неясная, непомерная для детского сознания мысль.

— Пожалуйста, вон того,— попросил он Марину.— Вон того расспросите.

Они подошли, наклонились. Мальчик встал, оправил смятую курточку. Молчал, слушая вопросы, покусывал губы. Заговорил, подыскивая слова, не уверенный в том, что правильно их находит.

— Я этого никогда не забуду. Это очень страшно. Это был самый страшный день. Родители мои до сих пор не знают, жив я или нет. Наверное, они думают, что я убит. Мне так горько, что я им причиняю страдание. У меня есть подруга. Когда она узнает, где я был и что делал, она не захочет со мной встречаться. Сначала мне не было страшно, а даже весело. Собралось много народу. Мы все кричали, сначала кто что хотел, а потом нам сказали кричать «Аллах акбар!», и мы кричали, и это тоже было весело. Потом появился один человек и сказал, что нам дадут оружие, настоящие пулеметы и пистолеты, и мы должны напасть на советские посты, на советское посольство, а пока идем на Майванд, где собралась уже большая толпа. Он повел нас к толпе, и мы по пути били палками стекла, некоторые из рогаток стреляли по фонарям и по окнам, и я видел, как одному человеку в окне попали камнем в лицо. Здесь мне уже стало страшно, потому что я увидел, как поджигают дома и кого-то бьют. Одному дукащику угрожали ножом, а он схватился за нож, за самое лезвие и страшно порезался. В ладони у него образовалась глубокая рана, и он был весь в крови. Я думал, зачем они это делают? Они говорят, что желают добра, а сами режут, зажигают и бьют. Тут толпа пошла по Майванду, и нас выставили вперед. Кто не хотел идти впереди, того силой выпихивали и били. Мы шли впереди, а они нас подгоняли. Тут мы увидели солдат. Солдаты не стреляли, а

медленно пятились, отступали. Эти люди гнали нас прямо на солдат. Некоторым из нас раздали бомбы, самодельные, из обрезков труб, с таким фитильком. Говорили: «Подожгите фитилек, считайте до пяти и кидайте!» Один мальчик зажег фитилек, стал считать, а бомба разорвалась у него в руках, и я видел, как ему оторвало обе руки и многие рядом попадали. И тут началась стрельба, и все побежали, и я хотел побежать, но не было сил. Меня взяли солдаты и привели сюда. Я не могу спать, все думаю, что со мной будет. Что будет с другими, с моими мамой и папой. Я хотел окончить школу и поступить в университет. Папа хочет, чтобы я изучал торговлю, а я хочу стать инженером. Мне стыдно и страшно. Я думал, что это просто шалость, а кончилось все так страшно. Я все думаю, все вспоминаю.

Волков быстро записывал, стараясь понять сам звук этих слов. Знал: перед ним еще одна юная, рассеченная надвое душа. Этот юноша в мятой курточке с короткими не по росту рукавами тоже ступил в огненный, плещущий сталью мартен и идет и горит.

В комнату вошли два солдата, внесли тяжелое полное риса ведро и два жестяных таза. Поставили тазы посреди комнаты на одеяло. Высыпали рис. И дети жадно, шумно толкаясь, образуя у тазов плотные, тесные кружки, принялись есть руками, быстро цепляя белые горстки риса.

— Пойдемте,— сказал Волков Марине.

Они вышли к воротам полицейского участка, где толпились люди. Женщины в паранджах, похожие на маленькие задрапированные памятники. Беспокойные, с бегающими глазами мужчины. Матери и отцы, дожидавшиеся встречи с детьми. Их страстное, болезненное ожидание было направлено на грязно-белое строение с намалеванными дорожными знаками. Волков телесно чувствовал их страдание.

Все эти дни его нервы, физические и душевные силы, его воля и ум были нацелены на одно: больше увидеть, понять, сложить нарастающий поток впечатлений в концепцию. Воспользоваться уникальным случаем, поставившим его в центр политической бури,— от первых донных толчков, уродливого всплытия чудища до убийства его, рассечения на части, медленного издыхания обрубков, гниения и смрада. Он старался дать виденному политическую оценку, как можно честнее и лучше выполнить возложенное на него дело. Но одновременно он чувствовал: его дух, потаенная, не вмещающаяся ни в какие репортажи сущность, как бы дремавшая все эти годы, остававшаяся за пределами главного дела, эта сущ-

ность вдруг тронулась, ожила, устремилась в движение. Все, что казалось пережитым, оставленным за спиной, — острая, слезная память о любимых и близких, стремление в свете, любви свести воедино весь мир, упростить его бессознательным пониманием себя, этой жизни как чуда, — было противоположностью увиденным ужасам и крошечности. Он не управлял этим внутренним движением. Оно управляло им. Оно было второй, параллельно совершавшейся в нем работой, помимо главной — профессии.

Из дверей участка вышел офицер. Направился к воротам. Начал медленно их отпирать. Пока он возился с замком, опять отворилась дверь, и дети посыпались, давясь и толкаясь. Офицер отворил ворота, и родители хлынули внутрь, впереди женщины в развевающихся паранджах с вытянутыми вперед руками, сзади неловко бегущие отцы. С кликом, не человеческим, а испуганно-птичьим, бежали навстречу друг другу. Ударились со стоном, закружились в слезах и рыданиях. Обнимались, оглаживали, ошупывали. Женщины сбрасывали паранджу, открывали потемневшие, изведенные, ликующие, нежные лица. Целовали, прижимали к груди сыновей. Тот подросток, казавшийся сонным и вялым, рыдал жарко, страстно, припадая глазами к материнской щеке, и она все гладила, все целовала его бритую голову. Юноша в мятой курточке не плакал, а сам утешал плачущую мать, целовал ей шею, плечо, и отец не касался их, трогал руками воздух, беспомощный и счастливый.

В обнимку, по двое, по трое, уходили, торопясь рассказать, успокоить, прося прощения, прощая. Двор опустел. Офицер запирает ворота. И только один посреди двора, переступая босыми ногами, дергался в рыдании мальчик в плоской матерчатой шапочке. За ним никто не пришел.

Они вернулись к вечеру в ее номер, где лежала забытая им фотокамера, и, войдя, не зажигая огня, он увидел стоящий на столе стакан, наполненный голубым из-за шторы мерцанием, как слабый ночной светильник. Смотрел на него неотрывно, застыв на тончайшем ожидании, робости, чувствуя краткость, неповторимость стеклянно-голубого, готового исчезнуть мгновения. Она подошла к нему, положила руки на плечи, скользнула под рубаху ладонью, прижалась губами к груди, дохнув, окружив его сердце горячей туманящей силой. И он увидел, как стеклянный стакан стал медленно разгораться, раздуваясь невесомым синим огнем, летучим

пламенем, снялся с места, поплыл, как малая голубая комета, шаровая молния, взрываясь беззвучной ослепительной вспышкой, высвечивая все углы нестерпимым для глаз серебром, осыпаясь, угасая, тускнея. За окном пролетала танкетка, унося во тьму свой прожектор, разрубая надвое время: до и после комендантского часа, в их жизни: до и после случившегося.

Они лежали в кабульском номере, и он чувствовал, как после огромного, грохочущего, стенающего дня в нем исчезли, погасли дневные глаза, приспособленные к аппарату, прицелу, бойнице броневику, и открылось ночное зрение, звериное, птичье, древнее, и этим зрением, не нуждающимся в солнечном свете, он видел ее волосы, словно вылившиеся из кувшина, ее шею с биением жилки, ее губы с нежным разноцветным рисунком, похожим на крыло бабочки.

— Почему бабочки?..— спросила она. И он не удивился, знал, что и она обрела иное зрение, слух.— Как долго мы не могли с тобой встретиться,— сказала она.— Словно стремились друг к другу, а нас разносило, и чем быстрее стремились, тем быстрее нас разносило. Наверное, так было нужно? Чтобы лучше разглядели один другого? Скажи, когда в первый раз ты меня увидел?

— Должно быть, тогда, на лестнице, когда ты проходила и твой патрон выговаривал тебе про букву «би». Ты мне тогда не понравилась, я назвал тебя «цацей», но тут же вышел на улицу и увидел дерево, такое прекрасное, такое для меня светоносное, что мысль о тебе стала мыслью о нем. Наверное, тогда и увидел.

— А я тебя еще раньше. Мне тебя показали в холле, внизу. Ну, думаю, еще один супермен, закрывающий номер на шесть поворотов ключа. Потом прочитала твой репортаж. Он был не холодный, не трескуче-бесстрастный, в нем была искренность, боль. Я стала к тебе присматриваться. Там, у Карнауховых, куда ты внезапно пришел, ты был весь измученный, изведенный. К тебе подошел тот тип, Белоусов, что-то говорил тебе злое, обидное. А когда отошел, ты был как раненый. И никто не замечал, никто не спешил на помощь. Мне вдруг захотелось подойти, положить тебе руку на лоб.

— Ты и сделала это. Излечила меня в тот вечер наложением рук.

— А потом, когда пели и ты меня провожал, я чувствовала, что ты не хочешь расстаться, хочешь пойти со мной. Я тоже этого хотела, но не решилась тебя позвать. Когда ты улетел, я подходила к твоей чинаре, гладила ее кору, мне

казалось, что она оберегает тебя и с тобой ничего не случится. Ты приехал — и этот путч. Как будто взрывом нас выбросило из машины, и все эти дни мы в дыму, в осколках. Вчера ты уснул у меня, и я сидела над тобой, рассматривала твое лицо, твои руки. Ты ничего не слышал? Не слышал, что я тебе говорила?

Раздался нарастающий рокот двигателя. Останавливающий рыкающий крик патруля. Скрип тормозов. Храп рванувшегося автомобиля. Близкая, в упор автоматная очередь. Визг и скрип заворачивающей за угол, стремительно удалявшейся машины. И там, куда она удалялась, ей вслед возникла бестолковая разрозненная стрельба, от патруля к патрулю, охватила все прилегающие к отелю районы, и вдали гулко лязгнула пушка.

— Что это? — Она прижалась к нему, в глазах ее, темноте, был ужас. — Опять началось?

Он встал, выглянул сквозь шторы в окне. В черноте из-за невидимых крыш летели красные пунктирные трассы. Внизу мигали фонари патруля, освещали серо-стальной асфальт, гусеницы недвижимого танка. Выстрелы стихали, все реже, прозрачней. Послышался смех солдат, зычная афганская речь.

— Шальная тревога. Какая-нибудь запоздалая машина, и водитель не знал пароля. Дали очередь, а остальные всполошились. Сейчас все утихнет.

Он вернулся, обнял ее, чувствуя, как дрожат ее плечи.

— Не думай об этом. О чем-нибудь другом, — отвлекал он ее. — Расскажи, где живешь в Москве. Где гуляешь? Что видно у тебя из окна?.. Не бойся, все уже тихо...

Он коснулся губами ее плеча, слыша, как затихает, замирает в ней страх, и она останавливается, обращается вся к нему. И стакан на столе, таящий синюю искру, стал разгораться, вспыхивать гранями, наполняться невесомым свечением. Оторвался и поплыл в темноте, как малая голубая комета.

Утро встало пасмурное, с мокрой секущей метелью. Но перекресток перед отелем, вчера пустынный, с одиноким, уродливо застывшим танком, сегодня ожил, пестрел бестолковыми, сталкивающимися потоками. Полицейский в белых перчатках махал руками, пропускал заляпанные такси, трескучие моторикши, грузовики под балдахинами, ручные двуколки хазарейцев. Все это вдруг высыпало, сцеплялось в

клубок, закупоривая перекресток, а потом распадалось, гонимое в разные стороны. Танк отъехал, спрятался в глубине под деревьями и оттуда, почти невидимый, нюхал перекресток железной пушкой.

Волков чувствовал изменившийся ритм города. Радовался толчее. Вел машину сквозь липкие метельные ворохи. Дуканщики стояли около закрытых лавок, топтались, мерзли, поглядывали на толпу, на небо, на железные замки на дверях, словно старались определить: какая в море погода, годится для плавания, не потопит их утлые лодки?

— Смотри-ка! — сказала Марина, оглядываясь, прижимаясь к стеклу.

По проезжей части, теснясь к тротуару, навстречу метели быстро шла, почти бежала процессия. Передние на плечах, держа за короткие точеные ножки, несли кушетку, и на ней, закутанное в белое, лежало тело. Встряхивалось, колотилось, готовое вот-вот скатиться. Погребальная процессия пугливо выносила из Старого города умершего — быть может, одного из погибших. Неизвестно, мужчина ли, женщина — белая, укутанная в кокон неживая личинка. Волков торопливо проехал, обгоняя вереницу в пурге.

В райкоме им сообщили, что раздача муки хазарейцам назначена после обеда.

— Придут машины с мукой, — сказал Саид Исмаил, подкручивая свой мегафон, укорачивая ремешок. — Вместе пойдем. Очень важное дело. Они должны посмотреть: вчера мы с оружием были, сегодня — с хлебом. Оружие — к врагам, хлеб — к самым бедным. Списки делали. Самый голодный, самый больной, самый старый. Отец нет, отец убит, много детей есть, кушать им нечего. Хлеб даем даром.

— Саид, ну, а как твои-то в Герате? Не собираешься съездить?

— Теперь поеду совсем другой сторона, не Герат. Семья хорошо. Жена боится, говорит, плохие люди ругают. Просит, я приезжал. Я поеду нет, полк иду, замполит. Новый полк сделан, самый лучший, сильный! На фронт иду!

— Подожди, я ведь слышал про этот полк. Командиром назначен полковник Азиз Мухаммад, тот, у которого Френсис, жена, погибла?

— Азиз Мухаммад командир. Я замполит, комиссар. Герат письмо пишу. Ничего! — И он улыбнулся своим чернобровым, добрым, с оленьими чертами лицом, подтягивая ремешок мегафона.

Саид Исмаил собирался на рынок агитировать дуканщи-

ков. «Стали открывать. Больше надо». Волков и Марина решили ехать с ним. Волков правил машину вслед за «уазиком», пробираясь в давке, ловя на себе острые чернильные взгляды.

До путча рынок был иным, наводненным кишашей смуглой толпой. Будто вывалили посреди Кабула огромную грудую ящиков, досок, жестяных коробов, скрепили глиной, гвоздями, веревками, прокалили, прокоптили, размалевали красками, навесили вывесок, пустили ввысь дымы жаровен, раскатали в сумрачных лавках огненно-яркие ткани, посадили во все углы сапожников, жестянщиков, брадобреев. Лязг, звяк, гомон, визгливая музыка. Толчея лотков. Банки с корицей и тмином. Горы апельсинов, орехов. Нуристанские из нержавеющей стали ножи. Гератское, лазурное народного дутья стекло. Туркменские ковры. Выращенные на особых землях, на особой воде, под особым солнцем кандагарские гранаты, напоминающие мятые церковные купола. Длиннолицый узбек-северянин торгует лезвиями, парфюмерией. Маленький желтолицый хазарец, надрываясь, несет тюки. Индеец в сиреневой жесткой чалме насыпает пряности. Гончарно-красный худощавый пуштун держит шкуру горного барса, добытого меткой охотничьей пулей. И над всем — синий купол центральной мечети Поли-Хишти.

Саид Исмаил раскрыл дверцу «уазика», возвысился на ступеньке, нацелил на толпу мегафон. Волков поставил «тоёту» рядом, вышел, стараясь прижаться к стене, заслоняя собою Марину.

— Я так ничего не увижу,— сказала она, поднимаясь на цыпочках.

— Зато и тебя не увидят. Саид станет сейчас говорить, а ты переводи.— После минувшей ночи он как бы боялся смотреть на нее, боялся заслонить в себе ее вчерашнее ночное лицо, нес его в себе драгоценно.

И первые вибрирующие, задыхающиеся слова агитатора. Будто ударила по лоткам, жаровням, зеленым изразцам мечети другая сила и страсть. Обугленная, пробитая пулями, зовущая живая душа взлетела, и толпа, дрогнув, отрезившись от хлеба и денег, оглянулась на ее клекот и зов.

— Жители города Кабула! Граждане! Соотечественники! К вам обращается партия, армия и правительство Афганистана!..

— Давай-ка зайдем в эту харчевню,— сказал Волков, задвигая ее плечом в узкую дверь.— Встань вот сюда. Так лучше. Переводи, продолжай!..

— Враги афганского народа — агенты американского империализма и сионизма — пытаются уничтожить нашу свободу, льют нашу кровь, посылают в нас пулю за пулей...

Толпа обступала машину гуще, тесней. Поворачивали к агитатору лица, обращали глаза. Верящие. Неверящие. С шатким колебанием веры. С ненавистью. С желанием понять. Отрицавшие. Глядевшие сквозь прицельную сетку. Медленно ведущие крестовидную паутинку прицела по жарким говорящим губам с проблеском белых зубов. По его рубашке, плащу, останавливаясь на дышащей груди под колоколом мегафона. Волков в напряжении страха ожидал, что раздастся выстрел. Молил, чтобы он не раздался.

— Соотечественники, не верьте врагам революции! В эти трудные дни партия, армия и народ едины! В единении, братстве мы начнем возрождение родины!..

Волков слушал, смотрел, старался запомнить. Тихий индеец в дверях лавчонки, в малиновой твердой чалме. Маленький желтолицый хазарец с пустым мешком на плече. Костлявый долголицый узбек. Гончарно-красный пуштун со скорняжным ножом. И над ними, заслоняя столб минарета, лицо агитатора, открытое пулям и взорам.

— Граждане города Кабула!..

Из харчевни тянуло затхлым. Изрезанные ножами столы. Засиженная мухами картинка мусульманского воина. Открытая дверь в ночлежку — железные кровати с ворохом нечистых одеял. Отдернутая занавеска в клозет, разбитый кувшин, загаженный пол. И в эту нищету и убогость, в вековечный недвижимый уклад, отрицая его и круша, вонзались слова агитатора о другой, небывалой жизни, о братстве, о любви, красоте. Этот образ, словно прожектор, светил из его лица. И все, кто ему внимал, хотя бы на миг загорались ответным свечением.

Саид Исмаил умолк, тяжело дыша. Толпа расходилась, возвращалась к своим лоткам, мешкам, горсткам риса, уже о нем забывая. А он, отирая блестящий лоб, провожал их глазами. Надеялся, что слова его не напрасны, что каждый унес хоть крупицу его веры и страсти.

Волков подошел к Саиду. Договорились встретиться через полтора часа в Старом городе, во время раздачи хлеба. Ехали по улицам, наблюдая, как неуловимо, подобно летящей границе света и облака, давая все больше простора солнцу, на глазах оживает город. Открываются магазины и лавки, опадают замки, отворяются ставни, становится

шумней, многолюдней. Почти исчезли транспортеры и танки, уступая место толпе и машинам.

Зашли в знакомый дуكان, где вчера стоял автоматчик, и дуكانщик обрадовался их появлению. Марина без боязни болтала с ним, шутила, и он из-за своих медных чаш и чугунных гирек отвечал ей кивками, улыбками.

— Давай-ка зайдем вон в тот магазинчик,— сказал Волков,— «Эйшап нейшен стор», сбыт электроники. Там хозяин весьма разговорчивый, я бы хотел с ним перемолвиться парой слов. Он говорит по-английски, не придется эксплуатировать твой пушту и дари.

— Мне так приятно, когда ты эксплуатируешь мой пушту и дари. Может, мне поговорить с шефом, сказать, что я перехожу к тебе на работу?

Хозяин магазина встретил их в безлюдном торговом зале, уставленном магнитофонами, транзисторами, стереокомбайнами с тихой музыкой, холодным никелированным блеском, провел в кабинет. На столике дымились чашки с чаем. Бизнесмен любезно подвигал сласти, сохраняя осторожную дистанцию, в которую укладывались общность и расхождение их интересов, совместимость и противоположность задач.

— Я понимаю, господин Эйшап, всю деликатность интервью в нынешней обстановке,— говорил Волков.— Если вы того пожелаете, ваше имя может остаться неназванным. Просто интервью с анонимным коммерсантом.

— Напротив,— сказал бизнесмен.— Я готов подписаться под своими высказываниями. Более того, мне это важно.

— Тогда, с вашего позволения, первый вопрос.— Волков раскрыл блокнот, готовясь писать, краем глаза видел, как Марина выуживает из вазочки засахаренный орех.— Есть прямая связь между политической обстановкой в стране и бизнесом. Как чувствуете ее лично вы?

— Видите сами, мой магазин пуст. Раньше у меня всегда были люди. Не купить, так хоть посмотреть, приглядеть новинку. Или просто зайти и послушать музыку. Теперь же людям не до музыки. Когда за окном стреляют, согласитесь, не хочется включать магнитофон или транзистор. Мой бизнес чахнет. Я несу убытки.

— Как обстоит дело с доставкой товаров? — Волков записывал ответы, путая русский с английским.— На дорогах, знаю, положение достаточно напряженное. Под Джелабадом я сам видел два сожженных грузовых «мерседеса», доставлявших в Кабул электронику.

— В последние два месяца товары почти не поступали. Склады мои пусты. Остались устаревшие модели. Сами посудите: если человек долго копит деньги на покупку товара, решается его наконец купить, он требует самую последнюю модель. А я ему предлагаю лежалый товар. Конечно, он его не берет. Вы говорите, стреляют и жгут на дорогах. Конечно, это наносит урон. Но все-таки шоферы рискуют. Это их бизнес. Они едут, довозят товар. Но дело ведь не только в дорогах.

Он говорил продуманно, словно хотел понять, что от него желают услышать. Какой ответ будет полезен Волкову. Волков, ценя эту любезность, испытывал недоверие: а что, если бы здесь сидел не он, а Андре Виньяр, брал интервью для «Монд»? Ответы были такими же или другими, в помощь Виньяру?

— Дело не только в дорогах,— продолжал торговец.— Пакистан закрыл свою территорию для доставки афганских товаров. Арестованы большие партии, предназначенные для нас. Обычно мы получаем товары из Японии, Гонконга, с Тайваня. Морем их доставляют в Карачи, а оттуда трейлерами к нам. Теперь Пакистан ввел эмбарго на афганский импорт. Это грозит катастрофой для всего афганского бизнеса. Можете обратиться в любую фирму — услышите то же самое. Теперь у нас одна надежда, на Советский Союз. Он предоставил свою Транссибирскую магистраль для японских и гонконгских товаров, от Находки до Термеза и Кушки. Мы понимаем, ваша дорога и без того перегружена. У Советского Союза с его колоссальной экономикой и транспортными проблемами могут возникнуть дополнительные трудности. Поэтому вдвойне ценим вашу помощь.

Благодарность торговца была искренней. Но хотелось сквозь недоговоренность понять, что чувствует коммерсант и торговец, оказавшись в центре классовых битв, среди революции, которая марширует мимо его магазина отрядами вооруженных партийцев. Как он представляет себе свою будущую роль и удел среди раздела земель и имуществ, национализации заводов и банков? Волкову хотелось бы об этом спросить, но вопрос мог показаться бестактным, не предусмотренным этой хрупкой, из недоговоренностей встречей.

— А ваши отношения с европейскими и американскими фирмами? Как отосится Запад к вашим проблемам?

— Увы, наши партнеры на Западе отказываются заключать контракты и продлевать существующие. Многие наши

фирмы несут убытки, прогорают. Мы пытаемся взывать к солидарности, к чувству партнерства, рассказываем о бедах, к которым приводит бойкот. Но политика сильнее солидарности. Западный бизнес приносит в жертву политике судьбу своих афганских партнеров.

— Господин Эйшап,— Волков в косвенной форме решил задать свой вопрос.— Не секрет, что неустроенность здешней жизни, вариации политики порождают неуверенность в кругах афганского бизнеса. Побуждают некоторых деловых людей свертывать дело, уезжать на Запад или в Пакистан, переводить капиталы в европейские или индийские банки. Как вы относитесь к этой тенденции?

— Я вас понимаю,— ответил торговец.— Я имел возможность уехать и сейчас такую возможность имею. Я бизнесмен, но есть вещи, которые выше соображений бизнеса. Сейчас Афганистан, как никогда, нуждается в капиталах, в деловой активности. Я патриот и, как бы трудно мне ни приходилось, останусь здесь, предоставляю мой опыт и капиталы в распоряжение родины.

Это было большее, на что мог рассчитывать Волков. И этого было достаточно. Он завершал интервью. Прикасался к чашечке чая. Кчал на язык острый кристаллик виноградного сахара. На прощание хозяин достал из стола цветные открытки с видом гор и мечетей и преподнес их Марине.

Сорный пустырь с остатками глинобитных строений. Сбившаяся тесно толпа, робкая, ждущая. Кутаются в ветошь, продуваемую сквозняком. Пугливо оглядываются на дорогу, на письменный стол с шевелящимися листками бумаги, придавленными камнем, на вооруженных людей, укрепляющих кумачовый плакат.

Волков стремился заглянуть в лица, но все, что он мог прочесть,— все те же голодная загнанность, безропотность, готовность ждать бесконечно, готовность уйти, не дождавшись, неверие в возможность иной для себя судьбы. Беззащитная печаль и тревога, какие трепещут в глазах у запертых в клетку лисиц,— вот что успевал он увидеть.

Узнавал в толпе тех, кого встречал вчера во время операции в Старом городе. Худого хазарейца с воспаленными веками, выталкивавшего вперед ребятишек, умолявшего о горстке муки. Слепого старика, перебиравшего четки, который теперь стоял, положив костлявую руку на плечо неподвижного мальчика. И другого старика, патриарха хаза-

рейской общины, стоявшего среди своего народа, готового разделить с ним любую участь. Все они были здесь, изголодавшиеся, исстрадавшиеся, прошедшие сквозь мятежи и облавы, ждущие неминуемой кары. И красный кумач над ними был грозен, жестко стучал на ветру.

Волков смотрел на Марину. В ней опять была боль, страх перед чем-то, готовым вдруг обнаружиться, сулящим прибавление тьмы. Толпа колыхнулась. Раздвинулась было вширь, но невидимым ответным давлением сжалась еще тесней.

— Едут! — сказала Марина, почти испугавшись. — Едут!

На пустырь выехал грузовик с высокими бортами и прицепленной двухколесной цистерной. Развернулся и встал. Из кабины вместе с шофером выскочил Саид Исмаил, быстрый, ловкий, торжественно всех оглядел, тут же торопясь обнаружить свою бодрость, веселье, разогнать царящее уныние, неверие. Пожал старейшине руку. Кому-то улыбнулся, кивнул. Погладил чью-то детскую голову. Подошел к столу, снял камень с бумаг, радостно крутил головой. И удивительно, настроение его стало передаваться другим. Отразилось на лицах робкими улыбками, почти недозволенными, готовыми мгновенно исчезнуть.

Саид Исмаил помогал шоферу отваливать заднюю бортовину. Упала. Обнажились плотные, из дерюги мешки, кое-где в белых мучных мазках. Люди потянулись на эту белизну, будто нюхали воздух, торопились напиться себя запахом, зрелищем хлеба, пока не закрыли опять бортовину и грузовик не уехал.

В руках у Саида Исмаила появилась высокая латунная кружка. Он подошел к цистерне, отвернул кран. Густая янтарная струя масла упала в кружку. Он перекрыл быстро кран. Отвел кружку в сторону, и несколько капель из крана упало на землю. Люди с ужасом смотрели на это даром пропавшее богатство.

— Саид Исмаил просит всех подойти к столу, приготовить мешки и ведра, — объясняла Марина. — Он станет выкликать по списку, и они будут подходить и расписываться.

Грузовик с отваленным бортом. Два партийца в кузове. Два других поодаль озираются, держат в руках автоматы. Третий у цистерны с латунной кружкой. Кумачовый, барабанно стучащий транспарант. Саид Исмаил высоким гортанным голосом, привыкшим к мегафону, выкликал имена.

Первым услышал свое имя высокий сутулый мужчина с воспаленными трахомными веками. Вздрогнул, будто его

толкнули, сделал шаг и застыл. Саид Исмаил повторил его имя, не умея унять мегафонный акцент. Улыбался ему, ма-нил ладонью. Тот, отделяясь от толпы, по шажку, медленно подошел и встал, тяжело дыша, будто взошел на гору. Саид Исмаил ему что-то сказал. Тот поспешно протянул руку. Саид Исмаил взял большую, расплюснутую от работы ладонь, прижал палец к влажной, пропитанной чернилами губке и осторожно притиснул его к бумаге напротив фамилии, оставив отпечаток. Указал на мешок с мукой.

Человек, бестолково переступая ногами, подошел к машине. Из кузова ему что-то сказали. Он повернулся спиной, и двое стоящих наверху, взяв мешок за углы, осторожно положили его на костлявую плоскую спину. Тот охнул, при-сел под тяжестью, напрягаясь, сотрясаясь тощим жилистым телом, одолевая вес тюка, выстаивая под ним. Вращал глазами, в которых была безумная, округлившая их радость. Словно сила хлеба не давила, а тянула его ввысь, дарила ему силу и мощь, и он, измененный, озаренный, шел улыбаясь, пронося свою ношу. И его обступали, помогали нести женщины в паранджах, гурьба детей, совсем карапуз, босой и чумазый, семенил за отцом, пытался дотянуться до края тюка. Девочка, худая, смугло-бледная, подошла к цистерне, подставила полиэтиленовый прозрачный мешочек, партиец, наполнив кружку, перелил в него желтое масло, и от вида его на лице девочки появился румянец. Шла за отцом, неся перед собой кулек, словно зажженный фонарь.

Волков смотрел, как люди получают свою долю хлеба кто в ведро, что в мешок, каждый раз от стола к грузовику преодолевая невидимую черту, страшась и робея, преображаясь, ее миновав, прикоснувшись к хлебу. Это прикосновение, как казалось Волкову, спасало их не просто от голода, но и от зла, имевшего власть над жизнью. Мать обнимала детей, будто только что обрела их после страшной разлуки, вернула их себе вместе с хлебом. Слепой старик беззвучно смеялся, растопырив у глаз пальцы в белой муке. Мужчины бросались друг другу на помощь, взваливали тюки на двухколки, гладили хлеб, будто он был живой. Старейшина-хазарец смотрел на народ свой, шевелил беззвучно губами, губы его дрожали.

Волков видел мешки с русской отштампованной надписью. Чувствовал, и его коснулась белоснежная сила пшеницы. Из этого хлеба, добытого в тяжких трудах, смотрели глаза комбайнеров, утомленные, повидавшие жизнь, знавшие цену добру. Женские лица, молодые и старые, со сле-

дами вдовьих печалей, материнских забот, великих трудов и терпений. Не ведали, что их хлеб, вобравший в себя все лучшее, на что уповали, силой добра и света здесь, в Кабуле, совершил воскрешение, во имя которого колосятся все урожаи, творятся все земные труды, приносятся жертвы. То, во имя чего мы вышли однажды из дома и идем, теряя любимых и близких, неся в руках хлеб. Глаза Волкова встречались с другими глазами, и те не опускались ниц, лучились доверием.

Вечером он писал репортаж, стремясь передать эту подвижную, между светом и тьмой, черту, сдвигаемую в сторону света усилиями автоматчиков, агитаторов, хлебонош. Чувствовал: в нем самом присутствует эта черта, отступает, давая в душе пространство, казалось, забытому светоносному опыту. В дверь постучали. Марина возникла в дверях, держа перед собой на распялке его выутюженный, вычищенный костюм.

— Вот просили вам передать.

— Не верю своим глазам!

— Просили сказать: в следующий раз, когда вам вздумается лазать по транспортерам и ползать по лестницам, выбирайте одежду попроще.

— Что вы говорите! А я приготовил для этого фрак.

— Фрак вы наденете сейчас, потому что вы приглашены на глнтвейн.

Он оставил работу, поднялся к ней. Уселся в кресло, а она, чувствуя на себе его взгляд, бессознательно превращала в танец свои движения и жесты. Легким взмахом открыла черно-красную бутылку, уронив на ковер розовую пробку с клеймом. Налила вино в блестящий, с длинной ручкой кофейник. Насыпала шуршащий сахар. Кинула щепотку корицы. Очистила апельсин, опустила в вино янтарные, прозрачные дольки. Поставила на стол два стакана. Окунула в вино кипятыльник, и оттуда, где стояла она, от задернутой шторы потекли на него тонкие, дурманные ароматы, напоминавшие чем-то давнишнюю новогоднюю елку и маму, молодую, среди елочного стекла, — из фарфоровой супницы маленьким блестящим половником разливает глнтвейн, и у деда Михаила, пригубившего стакан, порозовели усы.

— Чему улыбаешься? — спросила она.

— Так, налетело...

— Удивительно смотреть на тебя, на твое лицо. В нем

то дитя, то старец. То темнота, то свет То жестокость, то робость. Иногда и то и другое вместе. Две разных половины лица.

— Ну просто луна какая-то!

— А вот сейчас опять дитя проглянуло.

— Смотри, убежит твое зелье.

— Зелье мое красное и прекрасное, вот ты и готово! — Она выключила кипяtilьник, держась за ручку, налила в стаканы охваченный розовым паром напиток с плавающими апельсиновыми дольками — Ну вот, а теперь я скажу! Марина подняла стакан, играя в нем крохотным золотым отражением. Обратилась к Волкову ясным лицом — Вот за что мы выпьем с тобой! За нас и за нашу встречу, которая как бы случайна, но и не случайна совсем. Нас послали сюда каждого за своим делом, со своей заботой, вместе с «ограниченным контингентом», а вышло так, что встретились. Знаешь, кто мы с тобой? Мы с тобой и есть «ограниченный контингент», самый ограниченный в мире Ограниченный патрулями, стрельбой, комендантским часом, этим крохотным номером, этими минутками нашими, за которыми из-за шторы следят чьи-то злые рысьи глаза. И вот мы выпьем с тобой, мой милый, за то, чтоб нас миновали напасти и мы поскорее вернулись домой. За тебя!

Волков выпил сладчайший горько-пьяный напиток, глядя, как улыбается она сквозь стекло и у губ ее в красном вине танцует крохотный золотой вензелек, и ему было хорошо...

— Раскрой ладонь, я тебе погадаю Нет, пошире, вот так! Сорока-воровка...

Все так же кричал патруль, тормозили машины. В урочный час пронеслась ночная танкетка. Но все это вдруг отодвинулось, заслонило и их не касалось. А было ее близкое, шепчущее, смеющееся лицо, и блеск в небесах за открытым черным окном, и его ладонь то заслоняла звездную половину неба, то открывала весь блеск и простор.

— Я знаю, что было тебе на роду написано.

— Что же?

— Тебе было написано много ездить, все чего-то искать, к чему-то стремиться и поехать однажды в Кабул.

— Ты удивительная гадалка! Даже страшно становится от твоей прозорливости. Что там еще написано?

— Ну, если хочешь, скажу. Написано было тебе на роду отыскать меня и уж больше никогда не терять. А вместе со

мной вернуться в Москву в мартовский синий денек, когда все тает, шуршит, воробьи кричат, и мы пройдем с тобой по Ордынке, а кругом синева, снег сверкает. Мое самое любимое время. Я знаю, мы недолго пробудем вместе, и ты снова уедешь, все будешь ездить и ездить, а я тебя стану встречать. Но все-таки иногда, хоть разочек в году, ты будешь меня брать с собой, куда-нибудь недалеко, в Кострому, в Ярославль или подальше, в степи, в пустыни, где я никогда не была. Хочу взглянуть на те места, где ты уже побывал. Хочу увидеть все это своими глазами.

Он улыбался. Ему казалось — под веками у него светло, разноцветно. Огромное дерево распустило над ними свою рогатую стеклянную крону. Гонит могучим стволом из недр в небеса потаенные соки, с гудящими, извечно простыми словами о добре и зле, о таинственно-ясном устройстве мира. И они, живые и смертные, лежат под деревом, слушают его ропоты, гулы.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Облепленный тающим снегом танк на постаменте перед Дворцом Республики блестел, как огромный леденец. Машины подкатывали к воротам, разворачивались, пятились под мокрые, снежные деревья. Солдаты просматривали мандаты, хлопывали делегатам карманы, и те, оставляя следы на мокром снегу, шли во Дворец. Волкову было важно присутствовать на съезде аграрников. Город, прошедший сквозь путч, возвращался к нормальной жизни. Съезд подтверждал: правительство справилось с путчем. Не о терроре, войне, а о предстоящей посевной были заботы правительства.

Перед Дворцом опять проверили пропуск. Кто имел, отдавал оружие. Делегаты входили, подымали под своды обветренные крестьянские лица, озирались, топорща бороды. Зал «Гюльхана» был отделан мореным деревом, из стен выступали головы диких оленей и коз. Блестела их шерсть, стекленели глаза. Полный зал негромко гудел. Волков встал у горящего вялым огнем камина. Поклонился издали корреспондентам «Бахтара», телевидения. Все ждали выступления Бабрака Қармаля.

Волков оглядывал зал. Горбоносые молодые и старые лица. Надели самое дорогое: шитые серебром тюбетейки, шелковые тюрбаны. Приехали кто с юга, кто из жарких пустынь Гильменда, кто с севера, из плодородного Балха, из ущелий, долин, где земля, сочась и чернея, ждет сохи

и зерна. Вот он, народ, те, кто в итоге решит судьбу начинаний. Примут, не примут? А вдруг, утомившись, изверившись, порвут все декреты, вернуться к деревянной сохе, на крохотное феодальное поле и будут, как встарь, добывать свою горстку риса? Или это уже невозможно? Они уже сделали выбор? Выбрали новую долю? Нил Тимофеевич так ждал этого съезда. И вот без него открылся. Без него идут на юг трактора. Без него проведут борозду.

Вспыхнули софиты, застрекотали кинокамеры. Навстречу хлопкам и вспышкам в президиум входил Бабрак Кармаль, окруженный министрами и военными. Хлопал залу в ответ, в черном костюме, сверкая белизной воротничка, усталый, с темнотой под глазами.

На трибуну вышел мулла. Воздел ладони, дохнул в микрофон — и, усиленная динамиком, вознеслась над людьми молитва. Все замерли напряженно. А мулла возвышал молитву до плача, до страстного вопля, будто молил о смягчении сердец... Зазвучал государственный гимн. Встали, колыхнув одеянием. И снова всматривался Волков в крестьянские лица, казавшиеся ему простыми и ясными от долгого глядения в землю под копыта идущим волам, под лемех сохи, в борозду с упавшими зернами.

Поднялся Бабрак Кармаль. Его слушали напряженно и чутко. Волков видел, как непросто им верить среди нищих земель, каменных старых кладбищ, винтовок, глядящих из бойниц феодального замка, верить в неизбежную, грядущую сквозь путчи и пули победу. Как мучительно стремятся поверить: тот смуглый, черный старик в чалме, который, должно быть, так и умрет, не дождавшись победы, и тот молодой, в тубетейке, который, бог даст, доживет.

Выступал южанин, бронзовый, только что от горячих земель, где шумела весна, раскрывались виноградные почки.

— Мы, — говорил он, — несмотря на пули врагов, продолжаем раздачу земли. Мы вышли в пустыню и принесли в нее воду, и она стала родить виноград и хлеб. Так революция принесла свои воды в людские души — и они зацвели. Мы все эти годы работали на американских тракторах, но теперь американцы прекратили доставку запчастей. Американцы не хотят, чтобы в пустыню пришла вода, чтобы революция оросила людские души. Но мы продолжаем работать на волах, с кетменями в руках идем в пустыню, ведем в нее воду. Мы знаем: к нам идут советские трактора, уже близко, ждем со дня на день. Зерно готово, земля готова, люди готовы. Ждем трактора, каждый день их выходим встречать!

Волков слушал, надеясь на скорую встречу там, куда придут трактора. Где все они соберутся: обожженный солдат из Сибири, и убитый Нил Тимофеевич, и два замученных джелалабадских механика — все, кто вел, торопил трактора, все соберутся на ниве.

В перерыве, когда Бабрак Кармаль шел к выходу, делегаты надвинулись, окружили его. Белобородые старцы обнимали его, целовали, закрывали его черный костюм серебром бород и одежд. Волков видел, как нервничает оттесненный охранник. Вскикивает на стул, заглядывает через тюрбаны и головы.

Они ехали с Карнауховыми по мокрому, блестящему в сутолоке Кабулу, и у Волкова среди этого блеска, липкого снега возникло на миг совпадение: московский март, Ордынка, о которой говорила Марина, подтеки на желтом фасаде церкви, и в мокром тополе — суeta воробьев и галок.

— Мы с Сергеем хотим вас завтра позвать к себе, — говорила Ксения, оживленная, красивая, радуясь движению улиц. — Что вы на это скажете? Нужно только привести дом в порядок, вставить разбитые стекла.

Марина весело отвечала, вторя ей своей красотой, но не вянущей, на пределе женственности, а свежей и расточительной.

— Так хочу снова полюбоваться вашими замечательными колючими розами, отбрасывающими при луне такие замечательные колючие тени!

— Если мы хотим любоваться на колючие тени, — сказал Волков, — нужно раздобыть в комендатуре пароль. Иначе придется любоваться ими до утра, до отмены комендантского часа.

Карнаухов объяснял Волкову, почему он решил продлить контракт и остаться.

— Я начисто лишен сентиментальности, в том числе сентиментальности социальной, в которую некоторые склонны впадать. У меня был достаточно горький и разрушительный опыт, чтобы научиться выделять из бесчисленных социальных проблем, которые нам предлагают решать, свои личные и им посвящать остаток сил. Вы можете сказать, что в этом много эгоизма, даже цинизма. Пусть так. Но в силу именно этого эгоизма я решил остаться. Я чувствую себя здесь не клерком, не кабинетным политиком, не министерским воителем, а человеком, которого во время его будничной работы могут обстрелять террористы, и это чувство

снимает ощущение рутинности многих наших дел, утверждений. К тому же генплан Кабула удивительно интересен. Осуществлять его будут на рубеже двадцать первого века в феодальной стране, охваченной социальной бурей, и мои футурологические искания в прошлом, изучение афганской архитектурной традиции и личное участие в социальной динамике, в духе той, которую мы только что пережили,— все это дает возможность для синтеза, концентрации моих профессиональных представлений и может быть заложено в генплан. Мне кажется, я могу внести в него свою долю. Единственное, что меня все еще останавливает,— это Ксения.

— Сережа, ну мы же говорили с тобой! — Волков в зеркальце видел, как нежно и властно она остановила мужа, прижалась к нему. — Если тебе хорошо, то и мне. Не будем об этом, ладно? Ты решил — значит, я решила.

Они подъехали к маленькому желтому зданию. Встали рядом с грязно-зеленым бронетранспортером устаревшей конструкции, открытым сверху, напоминающим бронированное корыто. Замерзший солдат, пропитанный сыростью, стоял в рост, ухватившись за ручной пулемет, нацелив его в сторону Дарульамман. Двое тянули катушку с проводом.

— Вот и приехали,— сказал Карнаухов, пропуская женщин вперед. Входили в сумеречные, холодные недра музея, и знакомый красивый узбек из Ташкента, Зафар, пожимал всем руки, любезно и ярко заглядывал в лица, а широкий, могучий в плечах москвич-реставратор, сероглазый, в клеенчатом фартуке, с тесьмой, удерживающей на лбу русую купу волос, протягивал холодную, испачканную замазкой и краской ладонь, похожий то ли на каменщика, то ли на кузнеца.

— Сегодня еще один золотой стенд закончили,— сказал Зафар. — Теперь бактрийский зал уже можно показывать.

— Пока Зафар проведет вас по своей епархии, я пойду в мастерскую, а то как бы раствор не застыл. Потом пожалуйста ко мне.

— Он реставратор редчайший,— любовно ему вслед объяснял Зафар. — Срок наш в Кабуле истекает, и он боится не окончить работу. Ночует здесь. Я ему обед доставляю. Ну что ж, давайте начнем?

Двинулись, зажигая попутно лампы, озаряя камень, резную кость, алебастр, глядящие отовсюду пристальные глаза. Волков увидел, как оживилась, восхитилась Марина, отражая в себе каждый лик, каждый орнамент. Внимала

Зафару, кивала, узнавала то, что было прежде известно по книгам и к чему теперь вдруг можно ей прикоснуться. Переспрашивала, увлекшись, перенимала на секунду у Зафара нить повествования, смущенно возвращала, и тот охотно отдавал, принимал, к ней обращал свою речь. Между нею и им жило их любимое, известное им обоим.

Волков то слушал, то отставал, отвлекался. Вглядывался в античные танцующие статуэтки, в блаженные головы будд, в лазурь мусульманской керамики. Здесь, в таких сумерках, открывалась ему другая глубина и история, от которой был отделен броней транспортера, телефонными звонками в редакцию, блицами пресс-конференций. Азартom и гонкой за ускользящим, сиюминутным мгновением. Он действовал, жил в самом верхнем, расплавленном, выгорающем слое, из которого многое и, должно быть, он сам исчезнут бесследно, но что-то, отвердев и остыв, займет свое место среди будд и античных голов.

Зафар их вел мимо кушанских, из серого камня, скульптур, где бог Канишка в одеянии восточного царя расставил упруго ноги, перетянутые ремнями и пряжками, а голова, отбитая чьим-то древним ударом, лежала бог знает в какой долине, занесенная земным прахом, пропуская над своими глазами войска и нашествия, караваны, слонов и верблюдов, бесчисленно бредущие толпы в рубищах, шелках и доспехах, и, быть может, он, Волков, не ведая, весь в азарте, в погоне, коснулся ее стопой, или пронесся над ней на ревущих винтах вертолета, или скользнул мимолетно зрачками сквозь стекло военного транспорта, не зная, что пролетает над головой умершего бога.

Шли вдоль витрин, где искрился лак из Китая, медалионы с луной и солнцем, богиня Ника на львах, эпизоды индийских ведд, царицы на пирах и на танцах,— раскопки из древнего храма, где сливались потоки великих культур, смывали, питали друг друга, создавая в монгольском лице выражение римской матроны, одевали в туники изваяния каменных будд. Это было добыто в Баграм, где над мокрым бетоном крутился стальной радар, и взлетали машины с грузом ракет и бомб, урчали заправщики, и косо, от гор снижались два вертолета, неся в лопастях пробойны, оставляя коптящий след.

Зафар подводил их к стене, где висели винтовки и ружья, усыпанные бирюзой, с лебединым изгибом прикладов, гасивших удары в плечо. Показывал ханскую шашку, золотую в самоцветах дугу, испещренную стихами корана.

Драгоценный кинжал, которым был убит английский генерал,— струящееся змеевидное лезвие, словно пламя, колеблемое ветром. И он думал: сколько оружия протекло сквозь эти хребты, от тяжелых стенобитных махин, долбивших рязанские стены, до легкого в смазке винчестера, игравшего в руках басмача.

Белые головы будд из храма под Джелалабадом. В нирване. Под древом познания. В блаженном ощущении себя. Лунные веки. Мерцающие улыбкой уста. Наконец-то он их увидел. Может смотреть бесконечно. Погружаться лицом в лицо. Вот он, дивный, истинный лик.

— Ну вот, а теперь наше золото! Погребение Тиля-Тепе! — услышал он голос Зафара, торжествующий и как бы сияющий. Очнулся, пошел на это сияние, на стеклянные саркофаги витрин, где на черном бархате желтели россыпи амулетов, застежек, колец.

— Этот клад относится к первому тысячелетию нашей эры,— вещал Зафар, и Волкову чудились в его музейной, негромкой речи мегафонные интонации Саида Исмаила.— Сюда из алтайских степей, где сегодня кулундинская наша пшеница, двигались пять великих кушанских родов, волна за волной, вторгаясь в иранский мир, в эллинизм,— великие волны мира! Один род вошел в Индию, другой в Иран, третий в Среднюю Азию, четвертый и пятый осели здесь. И потом, через век, образовалась великая империя Кушан в центре Азии, котел культур и народов, где было живо дыхание Египта и монгольских кочевий!

Волков слушал, смотрел на золотые самородки, падавшие на черный бархат. Афродита, обнимающая двух крокодилов. Сивилла, вскармливающая льва. Козел с крутыми рогами. Рукоять ножа со звериным гоном, стаей пожирающих друг друга волков. Височное с тонким плетением кольца. Каждое изделие, если чуть отстраниться, казалось малым метеоритом, излетающим из бархатно-черных пространств, золотой брызгой, упавшей с неба, где на страшном удалении отсюда кипит золотой котел, роняет редкие капли.

Они спустились вниз, в мастерскую, где в холодной нетопленной комнате на полу на подстилках лежал опрокинутый Будда, в переломах и трещинах. Над ним, приблизив русую, перетянутую лентой копну, склонился реставратор. Брал то скальпель — наносил невидимый бесшумный надрез. То шприц — вводил прозрачную жидкость. Касался ладонью забинтованных, залитых в гипс переломов, марлевых, наложенных на лоб и глаза повязок. Будда казался

раненым, лежащим в палате. Реставратор — реаниматором, целившим его. Руки мастера, испачканные мастикой, тянулись на мгновение к раскаленной красной спирали, согреваясь, и снова оглаживали Будду, массировали ему грудь, оживляли омертвевшее сердце.

За окном зеленела железная корма транспортера. Все так же стоял афганец-солдат, ухватив ручной пулемет. А здесь человек оживлял умершего Будду, по которому прокатился мятеж, пробежали ревушие толпы, пролязгала, продымила броня. Касался его бережной рукой, дышал, воскрешая любовью, таинственным знанием о добре, добытым в иной земле среди вод, берез, снегопадов. Будда у него под руками откликался слабой улыбкой.

Волков диктовал в Москву репортаж, глядя на забытый в номере цветной поясok. Кончил диктовать, отодвинул листки.

— Ваня, — услышал он голос Надеждина, — очень хорошо. Так и будем давать. Ты расскажи, как сам себя чувствуешь? Горячо у вас там? Повторения не будет? Ну, дай бог. На летучке сейчас говорили. К тебе коллективная просьба — береги себя. Хочу твою голову садовую расцеловать при встрече, через десять денечков. Ваня, а теперь самое главное. Вот что. Ты там, конечно, западную прессу не больно читаешь? В «Монд» появились два репортажа Андре Виньяра...

И внезапное, похожее на оцепенение, ожидание, знание всего наперед: любезное, с улыбкой лицо француза, его лучистые стальные глаза с бронебойными сердечниками, и ощущение, что это уже было когда-то, — гостиничный номер, телефон, разбросанные листки с репортажем.

— Але, але, Ваня! Ты слышишь меня? Але, Кабул?

— Я слышу тебя, говори.

— Так вот. Этот Виньяр, твой «бель ами», попал в Пакистан и оттуда вместе с тергруппой перешел афганскую границу в районе Кандагара. Сейчас находится среди мятежников и шлет оттуда репортажи. Очень злые, очень конкретные. Фотоснимки. Отряды мятежников на лошадях. Казнь активистов. Саботажи аграрной реформы. Признаться, отлично написаны. Очень действенны. Начались перепечатки. Ты слышишь? Так вот, очень нужно, чтоб ты нам прислал материал о земле, о хлебе, об аграрной реформе. О действиях афганских солдат, дающих отпор контр-

революции. Где же твои трактора? Дошли они, наконец?

— Дойдут,— сказал Волков, и что-то бесшумно над ним пролетело, словно накрыло на миг огромной косматой буркой, промерцав несчетным количеством глаз. Тихо. Пустынный номер. Умолкшая телефонная трубка. На стуле — цветной поясok.

В министерстве обороны Волкова принял начальник политуправления афганской армии. Седой, чернобровый, усыпанный красными нашивками генерал подошел к большой карте, указал на район Кандагара с зеленым языком виноградной долины — здесь особенно активны засевшие по кишлакам террористы. Ткнул пальцем в треугольник пустыни Регистан у пакистанской границы — здесь усиленная инфильтрация банд. Для борьбы с ними сформирован ударно-десантный полк, состоящий почти целиком из добровольцев. Командир полка полковник Азиз Мухаммад переведен из Кабула, офицер старой армии, а командиры батальонов — молодые офицеры нового революционного типа. На примере этого полка можно отчетливо видеть процессы, охватившие афганскую армию. Командир авиаотряда, сказал генерал, извещен, что полетит советский журналист.

В гулком ледяном коридоре министерства Волков не сразу узнал Саида Исмаила — в суконной военной форме, в бутсах, в ремнях. Только лицо его, горбоносое, с мягкими губами, было все то же, родное.

— Значит, вместе летим! — Саид Исмаил не удержался и легонько обнял Волкова. — Я должен брать в политуправлении плакаты, листовки. Завтра самолет. Опять с тобой вместе, Иван! Может, оттуда Герат доберусь. Оттуда легче летать. Да, Иван, помнишь старик, хазарец? Самый большой старик! Сегодня пришел райком, показал склад бомбы, гранаты. Дал план, повел. Наши пошли, много забрали, завод в бане. Победа! — И пошел, улыбаясь, и Волкову было ясно, что под победой он разумел не захват подпольного склада, а решение старика, принесшего план в райком.

Волков заехал в посольство сообщить атташе о своем отлете, потом в банк — разменять на афгани чек. Возвращаясь к машине, увидел Белоусова. Тот расхаживал у стоянки в узкополой кожаной шляпе, медленный, полный, и то, как он сутулился, как держал руки в карманах, кивал голо-

вой в такт шагам, вызвало в Волкове другой образ — молодого, тонкого Белоусова, циркульной своей походкой пересекающего трамвайные пути у Палихи, и от этого возникла боль за него и за себя, за исчезнувшее, невозвратимое время. Волков приблизился, готовый бегло ему поклониться, сесть и уехать.

— Иван,— окликнул Белоусов.— Ты не подвезешь меня в отель? А то, понимаешь, застрял. Нет машины. Все не туда, не туда...— В тоне его были неуверенность и смущение. Волков смутился ответно, отворил ему дверцу. Катил по Кабулу, чувствуя близкое молчаливое соседство, исходящее от Белоусова напряжение. С тех пор как резко говорили у Карнауховых и в ночь путча ехали спина к спине в БТР, виделись мельком, почти не кланялись. И вот теперь ехали по Кабулу, быстро высыхавшему после утреннего снега, в солнечном блеске. Мечеть на углу сверкнула голубым изразцом.

— Знаешь, Ваня,— сказал Белоусов,— я ведь ехал в Кабул, ожидал, что встречу тебя, искал этой встречи. Как-то нелепо вышло. Ей-богу, я не хотел. Как раз наоборот, о другом...

Волкову казалось теперь не случайным, задуманным, почти неизбежным это свидание с прежним другом: через ссоры, расхождения, распри, на краю земли, эта встреча своей неслучайностью связывала былое и будущее, говорила, что ничто не окончено, все еще длится, имеет впереди завершение.

— Слушай,— сказал Белоусов.— Давай зайдем в чайхану. Посидим...

Маленькая неопрятная харчевня, уставленная шаткими засаленными столиками с солонками, с красным перцем. Кто-то в углу, кутаясь в ветошь, согревается горячим чаем. Другой, одинокий, торопливо ест рис и жует лепешку. Третий за пустым столом, небритый, черноглазый, не видя, глядит в одну точку. Волков с Белоусовым сели в дальний угол. Заказали у хозяина несколько шампуров с мясом, горячие лепешки. Откупорили бутылку. Волков уселся так, чтобы дверь на улицу не ускользала от взгляда, чувствовал ее боковым зрением, как квадрат света, мгновенно оборачивался, если квадрат, заслоняемый фигурой, темнел. Белоусов сидел у стены, сняв шляпу, прижавшись к стене светлой, начинающей лысеть головой. Над ним в пыльной рамке висел засиженный мухами портрет мусульманского воина, в чалме, с шашкой наголо. Пили вино, ели горячее сладко-ост-

рое мясо. Смотрели один на другого близко и пристально, словно узнавая.

— Да,— говорил Белоусов,— эти дни, эти ночи... Видел первый раз в жизни: на моих глазах толпа убила человека палками... И какая-то моя общая несостоятельность, неподготовленность ко всему...— Его голубые глаза блестели мучительным блеском. Всегда в них присутствовала лучистая сила, но прежде энергия радости или презрения, а сейчас энергия непонимания, муки.

— Я это пережил в свое время, вот так же, как ты пережил,— откликнулся Волков.— Помнишь, как я приехал с Уссури? Мы шли тогда по Тверскому...

— Да, да, был март, оттепель. На Гоголевском нас поджидала Аня. Мы все промерзли. Ты пригласил нас в Дом журналистов. Показал китайскую пулю. Я упрекал тебя за то, что ты отказался от литературы, от духовного, вечного. Аня со мной соглашалась. Как и я, она считала, что ты заблуждаешься. Ищешь там, где нет ничего. Может быть, я ошибался. Сегодня, Ваня, после мучительных этих дней я вдруг почувствовал... Я оттачивал мою эстетику, искал не тронутые временем, перешедшие из древности человеческие типы на Вятке, на Мезени, в медвежьих углах. Мои рассказы — ты помнишь, о них много писали и пишут — напоминают палехские шкатулки и гжельский фарфор. Они хороши, я знаю. Они — шедевры. Но они — сувенирны. С ними не выйдешь на площадь, не выйдешь на битву, ими не закроешь границу. Мне хочется от них отмахнуться, отмахнуться от прошлого.

Волков видел: он ищет и мучается. Всегда он искал и мучился. Их прежняя дружба и распря были основаны на муках и поисках. И снова пространство и время начинали двоиться, и не чайхана с портретом мусульманского воина, а тот старый, у Арбата, подвальчик, и лица друзей, и сквозь свечи — глаза Белоусова, и он любит их, тянется на их излучение.

— Нет, нет, ты не прав,— сказал Волков.— Нельзя отмахнуться от прошлого. В эти дни и недели такое у меня ощущение, будто все эти годы я несся вперед сломя голову и вдруг встал и как бы очнулся. И понял: то, от чего убегал, от чего отмахивался, забывал,— светило мне вслед, не давало погибнуть. Я двигался в тончайшем луче. Оно, превращенное в луч, и было моим путем!

— Ты о чем?

— О юности, о любви. О тех, кто меня любил. Кого

любил я. О чувстве огромной, уходящей в прошлое красоты, о накопленных в прошлом истинах. Ничто не должно быть потеряно, ни крупицы. Все надо взять с собой. Я не только о своем, о личном. Я о той светоносной, пребывающей во всех нас силе, о том устремлении в будущее, которое облекалось то в сказку, то в молитву, то в свечу, то в крестьянский бунт, то в исход за Урал. О слове, что звучало на сходках, на митингах, в тайных собраниях декабристов, на баррикадах трех революций. Утомляемся, черствеем душой, но сквозь слезы, сквозь утомление глаза продолжают видеть, продолжают выглядывать желанную цель. Она есть, она есть. Это она нас вывела однажды из дома. Я понял это в Кабуле, в госпитале, когда детское сердце спасли, в хазарейских кварталах, когда русскую пшеницу дарили...

За стеклянной дверью уходили в гору глинобитные сабли, хрупкие, резные, как вафли. Хозяин зорко и бегло косил глазом.

— Завтра улетаю в Москву,— сказал Белоусов.— Должно быть, увижу Аню. Что ей сказать?

— Скажи, что все хорошо. Думаю о ней, о том времени, когда друг друга любили. Дай бог ей счастья. Вот это скажи.

— Ну, давай за встречу в Москве.

Марина встретила его сияющая, отражая его в глазах, готовая огорчиться, если он огорчен, радоваться, если ему хорошо, и он не решился сказать, что завтра улетаёт. «После скажу, успею».

— Говорил с Москвой?

— В Москве опять снег, мороз, а у нас, смотри, разгулялось. Все чайханы нараспашку. В одном месте ковровщик положил на дорогу ковер, приглашал проехать, размять. Я проехал, а он ушел в лавку и оставил ковер на дороге. Значит, успокоен, уверен, что по коврику не пройдут гусеницы.

Они поехали в город, в торговые ряды, где в крохотных лавочках сидели меховщики среди курчавых овчин и обрезков коричневой кожи. Держали на коленях работу. Шили, кроили, выворачивали мехом наружу. Или просто, накрывшись до подбородка одеялом, грелись у маленьких тлеющих жаровен. Вскикивали, бежали навстречу, чмокали языками, хитро блестя глазами, предлагая товар. Марина примеряла перед зеркалом шубы, поворачиваясь, оглядывалась. Приглашала и его оценить. Любовалась белой волнистой

оторочкой из длинной козьей шерсти. Притоптывала сапожком, меняя пушистые, то черные, то светлые шапки. «Ну как? Тебе нравится? Тебе правда нравится?» — спрашивала взглядом, порозовев. И дуканщик, стоя рядом, выкладывая на прилавок легкие, пахнувшие овчиной, дубильной кадкой шубы, кивал, угождал, уговаривал:

— Корош! Ой, корош!

Потом поехали на Чикен-стрит, увешанную коврами, старинным оружием, сияющую сквозь витрины медью котлов, самоваров. В антикварной лавке было пестро от развешанных бус, насыпанных в блюда камней.

— Хочу тебе сделать подарок, — Волков подозвал хозяина, и тот стал раскрывать шкатулки и ящички, на дне которых лежали гроздья, клубки кованых цепей, амулеты, хрупкое плетение с разноцветным мерцанием камней — изделия безымянных пуштунских ювелиров, содеянные на крохотных наковальнях в полутемных шатрах и лагунгах, таящие память о женских плечах и запястьях, кочевьях по горячим пескам, о плещущих теплых морях, о свадьбах и погребениях. Тот, кто их когда-то носил, состарился и исчез, и они, отзвенев, отсверкав, скопились в кабульской лавке среди пыльных пистолетов и тусклых индийских монет.

— Вот это! — говорил хозяину Волков, вытягивал и клал на прилавок лазуритовый браслет, и перстень, и ожерелье, теплые, темно-синие, из бадахшанского поднебесного камня, в серебристых витых обрамлениях.

— И вот это! — выбирал и выкладывал наборные бусы из яшмы, браслет и кольцо, и граненый тяжелый кулон — как зеленые брызги, оторванные от теплых индийских лагун, чуть подернутых лунной рябью.

— И это! — Медовые сердолики, как глаза оленей и ланей, усыпали ожерелье и гривну, крохотной ларец и пудреницу, выпуклые, с тайным солнцем.

— И вот это, вот это!.. — Прилавок мерцал камнями. Хозяин ловко и мягко подкладывал тяжелые перстни, одинокие кулоны. — Вот, — сказал Волков Марине. — Я хочу тебе это все подарить.

— Мне? Все это? — Она ахнула тихо, погружаясь глазами в синеву и зелень. — Что ты надумал?

— Я надумал прекрасно, — сказал он, расплачиваясь с хозяином, отдавая ему почти все свои деньги. Принял от него тяжелый сверток. «Когда-нибудь, — думал он, — через много лет, в снежный московский вечер, когда буран, темнота, тягость прожитых лет, мы, быть может, раскроем шка-

тулку, извлечем сердолики и яшмы, и они чудотворно вернут нас в эти дни, в наши встречи, в ее молодость, красоту».

Они обедали на верхнем этаже супермаркета. Смотрели, как внизу клубится толпою набережная; грязно-шоколадная, струится река; похожий на хвощ, синееет минарет Поли-Хишти, ласточкиными гнездами прилепился к горе Старый город. Поехали в Хайр-Хана, где по обе стороны от дороги на воде чернели дикие утки. Смотрели на английское посольство с отсыревшим ленивым флагом. Поднимались к стеклянню-бетонной громаде «Интерконтиненталья» с пустым лазурным бассейном, полным прошлогодней палой листвы, и гора, на которой стояли, казалась сухой, прокаленной, виноградники в солнце стлали корявые лиловые лозы, и чувствовалось, в каждой лозе уже шевелится резная скрытая зелень. Прокатились по Шахре-Нау, с мелкими полупустыми отельчиками и мечетью Хаджи-Якуб. Обогнули крепость Балла-Хиссар, помнящую английские пушки и гарнизоны. Парк был пуст, безлюден, лежали под ногами скрученные многопалые листья каштанов, в просторных деревьях ворковали горлинки.

На вечерних улицах с накаленной медноликой толпой их словно встречали и славил: выносили под колеса ковры, и они медленно ехали по огненным красным узорам.

Ветви чинары возле отеля просторно, волнисто чернели в зеленеющем небе, обнимали горный ледник, лепные высокие сакли. Кора на стволе была сорвана ударом танковой кормы, забрызгана чернью несгоревшего топлива, земля изрезана отпечатками гусениц, но дерево, уже пробужденное в глубокой сердцевине ствола, держало на себе небо и землю, сочетая их бессловесной древесной жизнью.

Разложены на столе каменные ожерелья и бусы. Распахнуты шторы. Звезды сулят летнюю погоду на утро. А в нем — чувство ускользающих драгоценных минут, хрупкости стеклянного мира, в который их занесли. И она говорит:

— Ну, скажи, разве я пожелала сверх меры? Хочу, чтоб мы были живы. Ни богатства, ни славы, ни себе, ни тебе. А только мир да любовь. Ты слышишь? Только мир да любовь.

— Слышу, — ответил он. — Мир да любовь.

Ему казалось: он неподвижен, а мимо на торжественных огромных подносах проносят эти льдистые звезды, усыпан-

ные снегом хребты, ее близкое лицо, и все это скоро пронесут, и надо успеть наглядеться. И такая покорность, запаянность в прозрачную сферу, мимо которой несут луга, перелески, туманы, колокольни на далеких холмах, и на все наглядеться, запомнить.

— Пускай у нас будут три комнаты. Ну, во-первых, твой кабинет, стол с мраморной тяжелой чернильницей и хрустальными кубами, сквозь которые в солнечный день на бумагу ложатся радуги. Да? Я правильно все говорю?.. И твой шкаф с книгами. Лермонтов в тисненой коже с золоченым орлом и солнцем. В детстве ты уронил его и порвал акварель с наездником, то ли офицер, то ли горец в бурке... Да? Я все правильно вижу? Так ты мне говорил?

— Это был горец в папахе.

— А мою комнату обставим иначе. Очень новой, очень яркой мебелью. С люстрой, похожей на летящий парусник. И чтоб была непременно музыка. Когда ты устанешь работать, будешь приходить на мою половину и слушать свою любимую музыку. А третью сделаем детской. Там будет просторно и просто. Чтоб было где рисовать, строгать и точить. Играть в мяч, ходить на головах, если им это очень захочется. И чтоб на полу во всю комнату лежал мягкий ковер, по которому можно топать голыми пятками.

— Я согласен. Все так и будет.

— Быть может, ты наконец перестанешь ездить и сядешь дома за какую-нибудь большую, на год или на два, работу, начнешь писать свою книгу. Я буду стряпать, готовить обеды, крутиться по хозяйству, отправлять детей в школу. И, конечно, страшно уставать, роптать на свою долю. Но вечером, когда дети улягутся, а ты устанешь, мы будем выходить на прогулки. Гулять по нашим любимым московским местечкам. По Ордынке, по набережным, до Кремля, до Манежа. Перед сном я приду к тебе в кабинет, и ты мне прочтешь написанное за день, очередную главу из книги, и мы ее вместе обсудим. Да? Ты мне будешь читать?

— Конечно. Кому же еще?

И опять сквозь стеклянную сферу приблизили к нему, показали и медленно перед ним пронесли: московские дожди и снега, белизну Манежа, кирпичные кремлевские стены с янтарным свечением дворца, с черным золотом ночных куполов и видением Василия Блаженного. Мосты и решетки, убеленные снегом. Двух каменных львов на воротах. Блестящий проспект с вихрями красных искр. Они вернулись с прогулки, неся в своих шубах запах снега и холода, вошли

в свой дом. Она идет ставить чай. Он входит в свой кабинет, в теплые, уютные, с детства знакомые запахи старых книг и бумаг. Портрет отца на стене. Он извлекает из папок давнишнюю, забытую рукопись...

— Ты спишь? — Волков протянул руку, чувствуя сначала незримое исходящее от ее лица свечение, потом тепло и дыхание, потом легчайшие, невесомые удары ресниц. — Ты видишь?

Мимо проносились деревья, поляны, кусты. Он глядел — и не мог наглядеться. «Так и не сказал про отлет. Завтра утром успею».

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Тяжелые машины с пыльной зеленой броней стояли в каре, и в прогале меж гусениц и пушек открывались далекие лазурные горы, долина, и по черной затуманенной пашне двигалась упряжка волов. Крестьянин шагал за сохой медленно, чуть видный, проходил, скрывался за танк, нет его, только бархатная влажная пашня, переливы синей долины, далекое мерцание снегов. Но вот из-за башни появлялись снова волы, белая капля чалмы, крестьянин медленно, мерно вел свою борозду до другого танка, скрываясь за башней. И Волков ждал с нетерпением, когда он, невидимый, развернется на краю своей нивы и снова появится, вытягивая тончайшую нить, сшивая деревянной сохой кромки брони, опутывая их паутиной жизни, вечным хрупким плетением.

Советская воинская часть расставила свои шатры и фургоны, бронетранспортеры и танки на древнем караванном пути, ведущем из Пакистана через пустыни Гильменда, по которым руслами высохших рек, сквозь такыры, барханы, днем зарываясь в песок, маскируясь под кибитки кочевников, ночью зажигая подфарники, двигались колонны «тоёт» и «симургов» с оружием, террористами, стремились добраться от границы до кандагарской зеленой зоны, внедриться в кишлаки, раствориться среди садов, виноградников. Замполит встретил Волкова как давнего знакомого, крепким ударом ладони в ладонь, свойским объятием.

Хрупкие бетонные аркады аэродрома, застекленные просторными переливами, отражали взлетное поле, камуфлированный четырехмоторный транспорт, готовый к взлету.

У трапа — две шеренги солдат, лицом к лицу, похожие

одна на другую, в синих беретах, в натянутых под ремнями бушлатах, в блеске сапог и блях. Но пристальному взгляду открывалось различие в выражениях лиц и осанок, в поведении в строю, в разном устремлении глаз, в чем-то еще неясном...

— Новобранцы приехали,— объяснил замполит.— А эти, наоборот, отъезжают.

И Волкову стала понятна встреча, общность и различие глядящих друг на друга солдат. Отъезжающие казались выше и крепче. Вольней и свободней держались в строю. На погонах было больше сержантских лычек, а на выглаженных парадных бушлатах у многих блестели, круглились медали. Их лица были черней и обветренней, а в глазах сквозь смешки и улыбки, дружелюбную иронию к новобранцам оставались тревожные огоньки бог весть от каких пожаров. Но главное — в их лицах блуждало шальное, огромное ожидание воли и Родины, как близкий счастливый обморок.

Приехавшие, высокие и крепкие телами, были еще детьми округлостью щек и ртов, оттопыренностью ушей, серьезной детской суровостью не умеющих хмуриться лбов. Поглядывали осторожно и сдержанно. Исподволь зыркали синевой на близкие горы, пески, на волнистые дали. Речь держал невысокий худой капитан. Кончил говорить, отступил. Шеренга отъезжавших рассыпалась, двинулась навстречу новобранцам. Обнимали их, прижимали к своим медалям, хлопывали, легонько совали в бок кулаками, словно, касаясь, передавали им что-то драгоценное, сохранившее их, уберегшее и уже не нужное им, а нужное этим, прибывшим. И прибывшие принимали, еще не зная, на что оно может сгодиться среди этих гор и долин.

Отобнимались, подхватили чемоданчики и без строя, вольной гурьбой, еще оглядываясь, но уже всем стремлением нацеленные в другое, пошли к самолету, уже там, в родных своих деревнях и поселках, среди плачущей от счастья родни, звоне хмельных застолий, девичьих лиц. Новобранцы смотрели им вслед, недавно оставив все это, принимая на свои щеки и лбы отсветы азиатского солнца.

Волков мысленно обнимал и тех и других, просил за тех и других, с одними садясь в боевые машины, под пыльные вихри «афганца», с другими летя в таяние огромных снегов, в необъятные, им предстоящие жизни.

Он присутствовал при разводе части. Живая стена солдат колыхнулась бессловесным вздохом и рокотом, приветствуя

своего командира. Напряглась литой, твердой силой молодых крепких тел и при первых всплесках оркестра, медных, пробежавших по трубам молний шатнулась, пошла, отламывая от себя бруски отделений и рот. Хрустели по гравию в едином ударе сапог, выбрасывая руки, натягиваясь струнно и трепетно, минуя своего командира, и тот их мерил и считал грозно и зорко. Мусульманское небо синело над их головами, и в нем, Волкове, такая любовь к их бравому шествию, к юношеским остроплечим телам, к румяным молодым офицерам, шагающим под бравурный марш, что если еще немного, то все обернется болью. «Наш путь, наша доля,— думал неясно Волков.— По этой хрустящей гальке. Среди песков и снегов».

День он провел среди экипажей БТР в открытой, вылизанной ветром степи. Двигался от машины к машине, слушая солдатские притчи о маршах, жаре и потопах. Записывал наспех в блокнот, дорожа именами, дорожа залетающими на страницы песчинками, дорожа каплей оружейной смазки, упавшей на строчку со словами «деревня Чижи». У одной из машин солдаты стряпали ржаные коврижки. Насыпав муку на крышку люка, месили тесто, раскатывали его на броне, готовясь окунуть в кипящее масло, пузырящееся на горячей солярке.

Волков залез в машину и улегся на бушлате среди рычагов и прицелов, задремал, слыша над собой солдатские голоса, негромкие звяки, слабый, сквозь железо, запах муки. Что-то загрохотало, скатилось, и сердитый, укоряющий голос произнес: «Ну что разгремелся, Касымов! Человека разбудишь!» И в ответ огорченно: «Да ну, сорвалось!» Представил их близкие лица. Их рассказы уже хранились в блокноте. О том, как отдавали в лазарете кровь раненому товарищу. Как не бросили свой БТР, охваченный пламенем, ссадили экипаж, зарывались в воду, сбивая пламя. Он знал о них все, помимо рассказов, по тихим звучаниям их голосов, запахам теста, по стукам своего любящего, к ним обращенного сердца. В нем продолжало копиться, прорастать, просыпаться нечто, готовое собрать воедино весь прошлый опыт души. Он чувствовал в себе этот рост, совершавшийся вне всяких усилий. Не он себя взращивал, а им овладели безымянные творящие силы, дающие жизнь всему, что является в мир, сохраняющие мир от гибели. «Касымов, ты мучицы еще подсыпь, а я воды подолью». Над ним, сквозь броню, месили ржаное тесто.

...Те подсолнухи на поле в Малах. Все бесчисленные ча-

ши, как лица, повернуты в единую сторону, за озеро, где гора, облака, дороги, и кто-то родной, долгожданный спускается тихо с горы.

Дед Николай держит в руках хохломское деревянное блюдо, рассматривает завитки, позолоту, медленно подымает голову, весь освещаясь радостью, откликаясь на его появление.

Он опустил свою детскую руку в ручей, в его чистоту и холод. С изумлением смотрит на усыпанные пузырьками пальцы среди скользящих лучей и песчинок.

Бабушка слабо и шатко переступает ногами, опираясь на палку, под темными дуплистыми липами, и он видит, как скользят по ней тени и белеет на тропинке оброненный ею платок.

Сын на лугу играет с козленком, хватая его за рога. В страхе, с криком бежит, а козленок его настигает, оба белые на зелени, среди золотых одуванчиков...

Он услышал, как приблизилась и встала машина. «Эй, хлебопеки, куда корреспондента девали?» Волков вылез на голос под зеленое вечернее небо, увидел замполита, красную степь.

— А я вас повсюду ищу. Артисты приехали, будут концерт начинать.

Получили в дорогу две горячие солдатские лепешки, поехали в часть.

На открытой дощатой сцене нарумяненный фокусник извлекал из зеркального ящика то платок, то живого попугая, то рюмку. Солдаты ахали, восхищались, розовели от наслаждения, как дети, и вместе с ними офицеры, и командир запрокидывал в смехе помолодевшее, ставшее наивным лицо. После фокусника вышла певица, молодая, в открытом платье, не очень умело, эстрадно поводя плечами, наступая на доски маленькой туфелькой, пронося над полом длинный синий подол, пела про отчий дом, про солдатскую службу, про скорое свидание с любимой. И солдаты отражали ее в своих посветлевших глазах, понимая ее каждый по-своему. Как тайное неверие в смерть, как веру в неизбежное счастье, в свою неслучайную жизнь, для которой — это белое облако, ее синее платье, лицо обернувшегося соседа, ставшее вдруг родным. На маленькой сцене совершалось что-то простое, проще и нет на земле. Вокруг нее в песках кружил батальон, и писались письма в далекую деревню Чижи, и печально отзывалось лицо под линялой солдатской панамой.

Волков тихонько поднялся. Вышел из солдатских рядов. Оставлял за собой песню и синее платье певицы.

Вертолет, раззвеневшись, слил свои лопасти в прозрачный солнечный вихрь, пружинно отжался, кого понесся — сначала над взлетным бетоном с жирными гудронными росчерками, следами от ударов шасси, потом над земляными ячейками, в которых уютно, как в люльках, уместились остроклювые самолетики. Над хрупкими купольными строениями, похожими на глиняную посуду, поставленную в печь для обжига. Развернулся над зеленой веной реки, с мелями, пустыми протоками, полными донного гравия, длинными островами, омытыми изумрудной водой. Мерно, плавно пошел, повторяя течение реки, увлекаемый в азиатские толщи.

Волков у иллюминатора, отодвинув ногой лежащий на полу автомат, смотрел на бурые горы, безлюдные от сотворения мира, накрытые пыльным одеялом, без тропы, без следа, овеваемые ветром и солнцем. У подножия их чуть зеленели робкие лоскутья крестьянских наделов, тончайшая пленка жизни, чудом возникшая среди этих камней и отрогов.

Летчики в шлемофонах сидели в стеклянной кабине. Скуластый круглый крепыш разложил на коленях карту, где струилась все та же река, виднелись все те же предгорья и чернела изломанная резкая линия — путь ушедших вперед тракторов.

— Смотрите туда! — крикнул сквозь рокот винтов пилот. — Пустыня! Палатки кочевников! Вон!

Волков, повинувшись, переступил через автомат на полу, перешел к противоположному борту, и в стеклянный круг, наполнив его огненным цветом, глянуло красное око пустыни. Как внезапный ожог. Туманное пожарище разлитых до горизонтов песков. С рябью застывшего ветра, с языками барханов. Дышало, туманилось от бессчетных неразличимых песчинок, поднятых ветром. Он приблизил лицо, погружая его в красные, горячие отсветы. Летал по пустыне глазами, оглаживал, прижимался щеками к округлым холмам, клал ладони на горячие лбы барханов.

Внезапно увидел крохотные черные пятна. Оглянулся на пилота, и тот, ожидая его взгляда, стал кивать. Волков понял: кочевые шатры, стойбище невидимых с вертолета чернобородых, с огненными белками людей, кочующих вслед за движением солнца, ростом травы. Около стойбища — будто горстка маковых зерен. «Овцы», — догадался он. Застывшая пунктирная стрелка с чуть заметным утолщением теней —

«караван». Пустыня была жива, населена. В ней двигались караваны, гуляли овцы, стояли шатры. Казалось, она рождала, извергала из себя неизвестные племена и народы, и они, выходя из пустыни, обретали имена и названия, строили города, мечети и пагоды, оседали вдоль плодородных долин.

— Вон впереди пыль, видите? — окликнул его пилот. — Да вон, по курсу! Догоняем. Конвой с тракторами! Идут, говорю, трактора!

Далеко, среди рыжих пространств, он увидел дымный протуберанец. И скоро пролетели над синей дымной колонной: трактора, транспортеры — и Волков, восхитившись, видел, как снизу машут.

Вертолет опустился в песчаных холмах, стоял не выключая винтов, возгоняя к солнцу пыльный тайфун. Вслед за пилотом, обдираемый наждачным вихрем, сжимая веки, хрустя зубами, Волков выдирался из-под секущего свиста. Открывал постепенно глаза, видел спекшуюся корку земли, разбиваемую каблуками пилота, белесый обломок сучка, неживые травинки, скорлупу жука-чернотелки. Они поднимались по склону, и навстречу им из-за кромки, обваливая ее толстыми шинами, наматывая на колеса струи песка, возник БТР. Высунулся остроносой броней, плоской башней и пулеметом, выбрасывая гарь из кормы. Из люка выглянуло охваченное шлемом лицо, в белесом налете, с растресканными губами, бледно синие глаза. Мартынов, горячий, пахнущий железом и дымом, обнял Волкова.

— Михалыч, откуда? С неба упал? Как снег на голову! А мы все идем да идем!

— Я встречу вас в Чус Лахуре. Все нормально?

— Что нам, двужилым, сделается?

Волков смотрел на Мартынова, на колонну синих тракторов, пускавших на барханах дымки, на измученных, в чалмах и повязках водителей. На мучного цвета, запорошенные транспортеры с выглядывающими из люков родными лицами.

Советская рота в центре Азии, оторванная от своих лесов и снегов, от Кремля, от Волги, от матерей и сестер, шла по пустыне. На Родине кто-то свадьбу играет, кто-то деньги считает, кто-то пашет, а кто-то и пляшет. Пусть на минуту очнутся, увидят внутренним оком: в афганской пустыне движется усталая рота, водитель прижимает к губам кислую флягу воды.

Пилот отдал Мартынову планшет, спустился с брони,

готовый идти к вертолету. В этот миг из соседней машины, выкидывая из люка длинное, гибкое тело, выпрыгнул солдат, бросился к Волкову, и тот узнал в нем того, джелалабадского, рассказывавшего о засаде — загорелое худое лицо, белесые брови, серые, вздрагивающие от света глаза.

— Здравствуйте! А я вас увидел. Хотел поздороваться...

— Здравствуйте! — Волков обнял его худые крепкие плечи, испытал мгновенную нежность, любовь, тронутый его душевным, сыновьим, как ему показалось, порывом. Солдат побежал, длинноногий и гибкий, забираясь в машину, махал ему оттуда, с брони. Головной трактор исчез за барханом. Колонна, показывая на мгновение голубые борта, уходила в пески.

Волков снова летел над пустыней, над чужой раскаленной землей. Дух его был напряжен и распахнут. Сердце излучало алый, почти видимый свет, жаркий, плотный, устремленный вовне. И, чувствуя дрожанье обшивки и свою жаркую, в ней заключенную жизнь, он провожал этим светом колонну, идущую сквозь пески, Мартынова, солдата, изнуренных людей в броне.

В этом алом, исходящем от сердца сиянии было знание о великой, многострадальной и любимой земле, которая была ему Родиной, и о том, что с ней сочеталось, — образ умершей бабушки и живого драгоценного сына, память о погибшем отце, хлебопашцы и воины, женщины, дети и старцы — все, чьим дыханием сберегаются родные леса и великие реки. Желал им всем избежать огней и пожаров, избежать мук и страданий и сиять и цвести в негрозной доброте и величии. «И пусть я буду услышан, и пусть их всех сбережет — не ведаю какая, но высшая, но святая, во мне, во всех нас пребывающая — вечная сила!»

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Крупная банда собиралась, как доносила разведка, напасть на кишлак Чус Лахур — тот самый, где намечалась раздача земли, куда, торопясь к посевной, шли трактора.

В пятнистом военном транспорте вместе с Волковым летели новобранцы. Сидели на алюминиевых лавках, на клепа-ном дрожащем полу, тесно прижавшись, оглохшие от вибрации, с большими тревожными глазами. В тюбетейках, чалмах, восточных разноцветных накидках, подложив под себя тюки, полосатые лоскутные одеяла, собранные материнскими руками котомки, с торчащими медными кувшинчиками

и узорным войлоком среди турелей и гудящих шпангоутов. Ревущие пропеллеры переносили крестьянских детей, покинувших кишлаки и арыки, деревянные сохи и каменные ступы, ишаков и верблюдов, в иную жизнь, в иное измерение всего. Волков смотрел на них, думал: как, каким превращением станут они солдатами, сядут в машины и танки с бесчисленными приборами, пультами, овладеют тактикой боя? Способны ли эти фольклорные дети усвоить нагрузки и темпы современной воюющей армии?

Он вспомнил об этом сейчас, заслоняясь от пыли и гари, взметенной грузовиками и танками. Афганский полк, готовый к броску, застыл монолитной стеной перед полосатым шлагбаумом, вбирая в себя последних бегущих солдат в ремнях, автоматах и касках, последние танки, подъезжающие в дрожании земли. Колонна стояла под солнцем, урча и бросая дым. В люках привстали затянутые в шлемы водители. В кузовах тесно сидели десантники. И, всматриваясь в пружинный изгиб колонны, Волков знал: в это же время где-то рядом, в домах кишлака, на виноградниках, другие люди, враги, разбирают оружие, совещаются, выставляют дозоры, бегут, развеивая одежды.

В дощатом бараке штаба командир Азиз Мухаммад собрал офицеров, ставил боевую задачу. Склонился над картой почерневшим, обугленным до жестких хрящей лицом, поседевшей алюминиевой головой. На стене рядом с красным гербом республики блестела металлическая, расплавленная и затвердевшая струя, вытекшая из сожженного транспорта, и Волкову казалось: вместе с этим металлом расплавились и сгорели те недавние дни, когда Френсис тихо смеялась, держала в руке апельсин и глаза полковника светились робкой нежностью и любовью. Жестко, с набухшей жилой на лбу он чертил по карте ногтем, словно делал надрез на зеленой долине, где в красный кружок было поймано название кишлака и стояла цифра «140» — численность банды.

— Самый злой место, — сказал Саид Исмаил, и Волков был благодарен судьбе, что снова видит его мужественно-добродушный лик, будто и не расставались. — Каждый вечер бандит выходит, бьет гранатомет, винтовка. Ночью автобус сожгли. Вчера два грузовика подпалил. Сегодня, думаю, не уйдут! — И снова устремлялся к лицу командира, снова пояснял терпеливо ожидавшему Волкову: — Командир говорит, как делать надо. Как батальоны пускать. Бандит виноградник сидит, из ямы бьет. Бегом по арыку бежит, не видно. Одет, как простой человек, крестьянин. Кетмень зем-

лю копают. Солдат прошел — бандит берет винтовка, бьет спину солдату. Командир учит, как надо делать. Как надо солдат беречь, людей беречь.

Подошел черноусый, красивый офицер, улыбаясь Волкову, что-то говорил и кивал.

— Сардар говорит, надо скорей бой. Скорей разгромить врага. Победу для революции. Учиться опять институт.

Молодой офицер в нетерпении весь пружинил, радовался своей форме, новенькой хрустящей кобуре, своему единству с дымно-железной громадой полка, готовой к броску. Командир складывал карту в планшет, шел к выходу, сопровождаемый офицерами.

— Ну, что, по машинам? — спросил Волков, тронув Саида за локоть.

Полк шел через город, раздвигая задымленным железом лепное хрупкое скопище, клубящееся разноцветье. Разрывал звенящие вереницы автобусов, сдвигал к обочинам сыпавших блестящими моторикш, цокающих розовых осликов. Теснил многолюдье толпы. Город был лоскутным огромным одеялом — то синий, то красный лоскут.

Волков сидел на кромке люка, на остром холодном ребре, чувствовал грудью, лицом студеное, солнечное давление ветра, запахи азиатского города. Жизнь, в которую вторгалась колонна, казалось, не замечает их, послушно уступает им место, как вода, сразу же смыкаясь сзади, но вот он поймал на себе угрюмый недобрый взгляд, мелькнувший на пороге дукана. На мгновенье раздвинулся полог моторикши, и блеснула седая, как слиток, борода, быстрые, нестариковские глаза. Из толпы, из окошек, сквозь ветки голых, усыпанных семенами деревьев чудились зоркие, их провожавшие взгляды, неслась, обгоняя, весть о движении полка. Стало неудобно на открытой броне, захотелось сползти вниз, где двигались руки водителя и мигали глазки на пульте. Но рядом, держась за крышку соседнего люка, сидел Сардар, развернул широкие плечи, воинственно и парадно, как всадник. Из всех БТР высовывались головы. Сардар окунул руку вниз, вытянул бушлат, улыбаясь, протянул Волкову, и тот, видя его молодое, возбужденное в нетерпении лицо, принял благодарно фуфайку, подложил на острую ледяную броню.

Город кончился высоким столбом элеватора. Отступил. И в пустой синеве вознеслись коричневые, словно обтянутые кожей, горы. В солнечном туманном просторе заklubились, закурчавились зелено-желтые виноградники, голые розово-

щие сады, скрывавшие глиняные стены. Огромный волнистый клин долины уходил к горизонту, размытый призрачным дымом домашних очагов. Волков смотрел на это живое пространство, охваченное голубым чадом жаровен, политое гранатовым соком. Миром, покоем и трудолюбием веяло от этих земель. И неясно было, куда стремится, грохоча и гремя асфальт, железная колонна полка.

— Нагахан! — крикнул Сардар сквозь ветер, указывая рукой, и Волков, оглянувшись на крик, увидел на обочине два изуродованных, черно окисленных короба, осевших на колеса. Пахло холодной гарью резины. Полк стал съезжать с автострады. Вздыхая пыль, двинулся по проселку, погружаясь в безлюдье, окруженные саманом сады, путаницу арыков и рытвин, в которых дремали корявые лозы, осыпанные жестяной листвой.

Колонна замедляла движение, растягивалась, отделяла батальоны и роты. Солдаты выпрыгивали из грузовиков, строились. Полк окружал кишлак, отсекая его от долины. Грузовики, опустевшие, откатывали. Солдаты в строю поправляли автоматы и каски. Пыль медленно оседала над их головами, открывая безлюдные заросли за глинобитной стеной, редкие нежилые башни виноградных сушилен с рядами окошек-бойниц. Солдаты напряженно смотрели в пустоту виноградников, пустота смотрела на них.

— Прочесывать будем три сторона, — показывал Саид Исмаил Волкову. — Там крепость, феодал. К ней все сходится. Активисты помогут, узнают бандитов. — И он указал на двух афганцев в шароварах, пиджаках и повязках с автоматами на плечах. Оба поклонились Волкову, нервно держась за ремни автоматов, вглядываясь в близкий, укрытый в садах кишлак. — Это хороший, наши люди, активисты эндэпэа. Бандиты пришли, активистов стреляли. Семья нет, семья враг убил. Это Миамухаммад. — Один из активистов, с оспинами на черном лице, откликнулся на звучание имени. — Бандиты отца за веревку завязывали, по всей кишлак тащили, били камни, нож, палка, люди смотрят, боятся. Отца убили. Это Ярмухаммад. — Другой вскинул смуглое, с угольными глазами лицо. — Его брат огнем жгли, жена убили, дети убили. Один совсем. Оба с нами идут, показывают, кто враг, кто друг. Лицо врага знают. Будут помогать. — Оба афганца, не понимая слов, кивали, нетерпеливо переступали, словно торопили солдат, стремились к глиняной изгороди.

Полковник шагал вдоль строя, оглядывая солдат, сухой,

невысокий, легкий, белея висками. Останавливался на мгновение, что-то говорил офицерам. Тускло светились каски. Отливало чернью оружие. Колыхались хлысты антенн, трости миноискателей. Громко скомандовал. Цепь дрогнула, колебалась на невидимой шаткой черте, переступая ее и сминая, и всей массой, шурша и пыля, сначала шагом, потом все быстрее, бегом, кинулась к глиняной изгороди, прыгая на нее со стуком живых мягких тел, садясь верхом, как в седло, рушась, пропадая в зарослях. Волков ждал, что сразу застреляет, загрохает, отзовется стоном и болью. Но было тихо. Пыль оседала. На проселке отпечаталось множество солдатских подошв. Цепь, чуть видная, колыхалась головами среди виноградных лоз.

Волков присоединился к офицерам штаба, солдату с рацией, десятку автоматчиков, сопровождавшим командира полка. Сардар провожал глазами цепь, досадуя, что остался в тылу с командиром. Шли по узкому, похожему на желоб проулку, среди глухих глинобитных стен. Волков смотрел на свою тень, скользящую по желтой изгороди, чувствовал, что недавно, незадолго до их появления тут была жизнь. Испуганно кинулась прочь, оставляя следы своего пребывания. В арыке только что пущенная вода заливала сухое дно, гоня перед собой ворох соломинок, шевеля опавшие листья. На земле, среди овечьих сердечек, лежала оброненная красная ленточка, еще не затоптанная, не запыленная. Упертая в камень, торчала коряга в надрубках, надколах, среди свежих розовых щепок, и тут же валялся кетмень. Над изгородью на жердине висели плетеные клетки, в них мерцали глазками подсадные охотничьи перепелки. Одну клетку не успели закрыть, и рябая птичка, растопырив крылья, побежала перед солдатами. На утоптанной сорной площадке чернела свежая кровь, лежал обрубок бараньей ноги. Мухи со звоном снялись, когда они проходили.

Волков шагал, чувствуя за стеной притаившуюся жизнь. Тень металась по изгороди. Булькала рация.

Внезапно приоткрылась дверь в стене. В проулок вышла маленькая девочка, босая, с черными косичками, сгибаясь под тяжестью кувшина. Пошла навстречу солдатам, протягивая кувшин. И те бережно ее обступили, осторожно принимали кувшин, припадали к краю губами. Пили, передавали друг другу. Сделал глоток полковник. Выпил Сардар, отирая блестящие румяные губы. И Волков сделал несколько глотков чистой, студеной воды, слушая, как гулко от дыхания в опустевшем кувшине. Активисты, Миамухаммад и

Ярмухаммад, прислушиваясь, летали глазами над изгородью, стискивали автоматы. Но кругом было тихо. Близко, невидимые, двигались цепи, обшаривая сады и сушильни, пробираясь в арыках и рытвинах.

Снова приоткрылась калитка. Выглянул испуганно-любопытный под вздернутой бровью глаз, черный клочок бороды, горбатый нос. Приоткрылась пошире, и хозяин в поклоне, неуверенно, движениями рук приглашал войти. Полковник вошел. Волков следом. Дверь оставалась открытой. Солдаты заняли боевую позицию. Двое проскользнули во двор, встали в разных концах, держа автоматы на взводе.

Волков смотрел на смиренную, в полупоклоне фигуру крестьянина, державшего по швам длинные, узловатые крестьянские руки, коими были вспоены два глянцеви́тых деревца на дворе, вырыт под навесом колодец, обмазаны глиной стены, намалеваны лазорево-красные цветы над входом в жилище.

Еще одна дверь приоткрылась. Широкий полный мужчина в белых одеждах, с черной, как вар, бородой, вынес на руках голопузого мальчика. Словно защищался им, улыбался, обнажив щербину в крепких зубах. Полковник начал расспрашивать. Тот отвечал, указывая вдоль проулка. Мальчик, выдувая на губах пузырь, прислушивался к пиликанию рации. Полковник двинулся к выходу. Волков пошел за ним, жалея, что не увидел убранства дома.

— Боятся,— сказал полковник.— Спрашиваю, есть ли в Нагахане банда, старик говорит, ничего не знаю. Другой говорит, бандиты здесь, в кишлаке, только что пробежали по улице. Но где, у кого, не знает. Тоже боится. Боится, что мы уйдем, а ему и семье смерть.

Бесстрашный, сухой, легконогий полковник не таясь шел посреди проулка. Волкову казалось, он подставляет себя свету, прицелу, ему в тягость и это солнце, и этот свет, одинокое продолжение жизни. Они свернули в отворенную дверь и оказались на просторном дворе сельской мечети. На земле в тени лежала кошма, выложенная цветной шерстью. Вышел белогривый дородный мулла, руки его дрожали, когда он приглашал их сесть на кошму. Из мечети стали выходить старики, белые, с клюками, поддерживая друг друга, окружили их чалмами, черными морщинами, полуслепыми глазами. Покинули одры, одолели дряхлость и хворь, пришли на совет, как быть кишлаку, женщинам, детям, если начнут стрелять, убивать.

Активисты вошли в толпу стариков, заглядывая в лица.

Старики им кланялись, говорили «салам», те почтительно, с поклоном, пожимали стариковские руки, а сами все кого-то высматривали, подходили к дверям мечети. Подошел и Волков. В прохладном сумраке на белой стене висели застекленные, в фольге, речения из корана. На цветных половиках лежали подушки. Тускло светились медные пузатые кувшинчики. И пахло из тьмы и прохлады образом русского храма, где та же тень, тишина, иконы на белой стене, половики и подзоры.

— Мулла предлагает чай,— сказал полковник, указывая на кошму, где рассаживались старики, покрывая белыми тканями шерстяные цветы, стараясь все уместиться, словно готовились лететь на кошме.— Хотите чаю?

Волков не успел ответить.

Близко, в проулке, ударил выстрел, гулко, словно в кувшине. Расколол тишину надвое, и осколки стали измельчаться автоматными очередями, сначала вблизи, а потом все дальше, будто кишлак скинул свой маскхалат из желто-зеленых виноградников, обнаружил скрытую сущность. Стрельба шла густо, залпами, переходя в сплошной бестолковый стрекот. Над стеной, бледные, гаснущие на солнце, летели трассы, веером, перекрестием, брызгающим пунктиром.

Оглушенный стрельбой, но и с облегчением, почти с радостью, с острым, мучительным любопытством Волков следил за людьми, замечая в них то же выражение испуга, но и облегчение, связанное с концом ожидания, с началом боя. Автоматчики подбегали к стене, занимали позиции. Двое, подтягиваясь, подсаживая друг друга, залезли на крышу мечети, плоско улеглись. Сардар расстегнул кобуру, и рука его все порывалась извлечь пистолет. Казалось, бой приближается, охватывает мечеть, и мгновенная, из неверия, испуга, мысль: «Неужели здесь, на дворе мусульманской мечети, возможен конец?» И ответная веселящая вера, что это невозможно, жизнь не может оборваться сейчас, а продолжится дальше, за пределами этого боя, вера, превратившаяся в зоркость, звериную осторожность, желание видеть, запомнить.

Мулла обращался к полковнику, пытался ему что-то сказать, прижимая к сердцу ладонь, но тот отвернулся с досадой, прильнул к рации, висевшей на спине у солдата, стал слушать хлюпанья, хрипы, бурление команд. Сардар, побледневший от нетерпения, стремился всеми движениями туда, где шла перестрелка, удерживаемый на месте близо-

стью командира. Активисты стояли поодаль, сосредоточенные, угрюмо застывшие. Вернулись в родной кишлак ответить на гибель близких, ждали, когда их позовут. Старики при первых же выстрелах забрались на кошму, все до единого, словно спасаясь от потопа, подтягивая на войлок свои палки, одежды, надеясь, что их вознесет на кошме и они улетят прочь от этой взорванной, перевернутой, потерявшей разумность жизни.

Стрельба стала стихать, униматься, превращаясь в редкие залпы и ответные короткие очереди. Казалось, достигнуто равновесие борьбы, бой удерживался на встречных равновесных усилиях.

Полковник передал наушники начальнику штаба. Обещал двор глазами, задержался на Сардаре, отпустил, обращаясь к двум офицерам штаба, стоящим в отдалении, снова вернулся к Сардару. Подозвал его. Тот подлетел пылко, с готовностью, щелкнул щегольски каблуками. Преданно смотрел на полковника выпуклыми блестящими глазами, пока тот говорил. Браво козырнул, бросился к солдатам, отбирая из них шестерых, выхватил на бегу пистолет. Пропустил их вперед цепочкой, выскользнул за ними из калитки.

— Комвзвода убит.— Полковник смотрел вслед Сардару.— Пошел на смену.

Волков бегло писал в блокнот, стараясь не пропустить моментальных деталей, обращался взором к старикам, к солдатам на крыше, к штабистам у рации. В нем действовал знакомый холодный азарт, счастливое ощущение встречи, контакт с уникальной действительностью. Но сквозь внешнюю активность и взвинченность он чувствовал глубокое, внутреннее, на время оставленное, но неисчезнувшее знание, недавно добытое, обо всех этих людях, о себе, лежащее в сердце.

Стрельба усилилась, достигла новой ярости, смещая равновесие боя, сдвигая его в сторону, отдаляя. Взлетела на упругой волне треска и опала, рассыпалась, отзываясь по сторонам редкой пальбой. Бой проходил повсюду, чувствовались его блуждающие центры. Рация приносила его отголоски.

Волков увидел, в конце проулка, среди желтых песчаных стен, как видение возникли верблюды. Мерно, лениво шли, заполняя проулок, равнодушные к пальбе. Впереди на ишаке, расставив ноги, ехал погонщик в чалме, краснел лицом, запахнув на плечо покрывало. Караван приближался. Солдаты смотрели с крыш. За последним верблюдом на ишаке

ехал второй погонщик. Колыхались мешки и горбы, пестрели лоскутные стеганные попоны, в холки верблюдов была вплетена крашеная шерсть. Караван двигался сквозь кишлак, равнодушный к бою, непричастный к нему, ведая о своей, другой, никому не видимой цели. Уже проходил мимо, чиркая мешками о стены, обдавая запахом звериных жизней, пронося гончарные под тюрбанами лица.

Полковник махнул солдатам — и они метнулись наперез каравану, останавливая ишаков, хватая за веревки верблюдов, спешивая погонщиков. Калитка в мечеть оставалась открытой. Видна была часть двора, кошма, сбившиеся на ней старики качались, как на шатком плоту. Погонщики стояли среди верблюдов, послушно опустив руки. Солдаты хлопывали их по груди и бедрам. Полковник что-то сказал, и к верблюдам прошел сапер с миноискателем. Стал им водить по разноцветным квадратикам стеганых толстых попон, наклоняя голову с черными наушниками. Верблюды, презрительно выпятив нижние губы, смотрели поверх стен и людей. Сапер водил миноискателем по верблюжьей попоне, как пылесосом. К нему собрались другие солдаты, обступили, ощупывали. Двое ловко и бережно штыком подпарывали лоскутную ткань, засовывали глубоко, по локоть руки, извлекали из попоны автоматы, магазины, скрепленные попарно изолентой. Два магазина выскользнули, упали на дорогу, блеснув желтыми пулями.

Погонщики спокойно смотрели на оружие, которое подносили полковнику, тот, не касаясь, что-то негромко сказал. Солдат побежал во двор, исчез в мечети. Волков смотрел на красно-загорелые лица погонщиков, на их худые, жилистые тела, на белую, колеблемую толпу стариков в проеме стены.

Солдат вернулся, с ним два активиста, которые вплотную приблизились к погонщикам, застыли, глаза в глаза, резко, разом отвернулись, подошли к полковнику, и Миамухаммад, тот, что был усыпан оспинами, что-то отрывисто тихо сказал. Полковник кивнул, косо взглянул на подошедшего Волкова. Потянулся к наушникам.

— Что он сказал? — спросил Волков.

— Он узнал обоих. Оба участвовали в казни его отца. Один тащил отца на веревке, привязывал его к лошади. Другой бил отца шомполом. Оба из банды, хотели ускользнуть с караваном.

К полковнику подбегал, издали отдавая честь, лейтенант в каске, и Волков заметил, что бутсы его в глине, а локоть мундира усыпан мелкими, вцепившимися семенами неведо-

мой бурьянной колючки. И пока докладывал, во двор входили солдаты, в грязи, с измазанными автоматами, и четверо, неловко застревая в калитке, держа за углы, внесли полосатое, обтянувшее тело одеяло. Опустили, откинули углы, и Волков увидел Сардара, узнавая его по большой фигуре, гладкому подбородку, губам, черным усам, но выше, там, где недавно были его выпуклые, перламутрово-черные глаза, краснела уродливая липкая яма, залившая лоб жижей, будто страшный встречный удар остановил его пылкий порыв.

Подошел полковник, чуть сморщил лицо, на котором мелькнула досада,— то ли на себя за то, что послал юнца, то ли на Сардара, за то, что нелепо погиб, то ли на Волкова, что он здесь и все видит.

Волков, потрясенный, видел на мундире Сардара горсть тех же колючих семян, все еще помня на солнечном освещенном дворе его бег, исчезающую радостно тень.

Отворенная дверь в мечеть. Солнечный желтый квадрат. Полосатое одеяло с Сардаром. Толпящиеся на кошке старики. Головы жующих верблюдов. Спокойные, недвижные, обветренные лица погонщиков, их кадыки, лежащие вдоль бедер длиннопалые кисти рук. Угрюмо-жесткие лица активистов, снимающих автоматы. Миамухаммад что-то сказал погонщикам, те послушно повернулись, пошли. Четыре фигуры, две в белом, две в черном, удалялись вдоль солнечных стен. Шли недолго. Погонщики повернулись и встали. Волков смотрел, не в силах пошевелиться, ослепляемый солнцем, таящим в себе темную раковину затмения. Ударили две короткие очереди. Двое в белом упали, оба в одну сторону, вдоль стены, превратившись в одно непомерно длинное тело. Активисты набрасывали на плечо автоматы, возвращались. Сквозь открытую дверь виднелся убитый Сардар, клубились старики на кошке.

Мимо, тяжело дыша, торопясь, минометный расчет проносил зеленые ребристые плиты, цилиндры стволов. Протискивались между стеной и верблюдами. Край плиты чуть задел верблюда, оставив на шерсти мохнатую полосу. Полковник пропустил минометчиков, направился следом, и Волков, не оглядываясь, но все видя белый длинный куль у стены, заторопился за ним, зная, что уносит это с собой до окончания жизни.

Они перебрались через бегущий арык на край кишлака. Среди рытвин, древовидных корявых лоз, пятнистой осенней зелени Волков увидел куполообразное, башней, строение

виноградной сушильни с черными грядами проемов, в одном из них засек бледную пулеметную вспышку, хлестнувшую по виноградникам, и ответный, из зарослей, автоматный отклик осыпал сушильню гаснущим летучим пунктиром.

Минометчики, хоронясь за бугром, крепили на плитах стволы. Полковник в рост, не таясь, спиной к сушильне, отдавал приказания. Взвились две ракеты — зеленая, обозначавшая залегшую цепь, и красная, по плоской курчавой дуге в сторону неприятеля.

Волков прижался к ржавой сухой земле, к стылой зимней лозе, отдыхавшей от плодов, носившей следы многолетних любовных возделываний. Смотрел на сушильню. К его рукаву прилепилась сорная горсть колючих цепких семян.

На мгновенье возникло лицо француза Виньяра с тонкой улыбкой. Будто он был где-то рядом, следил, наблюдал. За сушильнею, за Волковым, за темной маленькой раковиной, напозавшей на солнце. Рядом, перебираясь из рывины в рывину, появился Саид Исмаил, растрепанный, потный. Выбранная с корнем пуговица, кровавая царапина на руке. Путал русский с афганским, слизывая выступающую кровь.

— Бандитов били, все бежали. Хотели все Нагахан уйти, мы не пускали. Один готов, мертвый. Другой, много, крепость залез, ворота закрыл, бьет винтовкой. Солдаты один раз в атаку ходил, два убивал. Другой раз ходил, много раненый. Я говорю, нельзя атаку ходить, пулемет, винтовка с крепости бьет, много потери. Я кричал крепость: «Выходи! Плен сдавайся!» Они меня пулеметом бьют. Нельзя там атака ходить. Надо давать минометы. Бить крепость. Потом атака! — Он снова слизнул кровь, хоронясь в канавах, побежал к полковнику докладывать, унося на спине высохший, свернутый виноградный лист.

Батарея приготовилась к залпу. Полковник стоял на виду, открытый всем пулям, равнодушный к смерти, своей и чужой, выполняя машинно и четко вмененное ему дело. Вот сейчас еще один взрыв, еще одна гибель. Еще один бой в череде бесконечных. Полковник махнул рукой, и в ответ, отзываясь копотью, пламенем, гаркнули минометы, сдвинув, расколебав контур сушильни, раздувая ее в бесформенный глиняный взрыв, разделяя надвое: на обглоданные зубья основания и сносимое солнечное облако праха.

Из рывин в рост, раздвигая жухлую зелень, поднимались солдаты, бежали к сушильне. Волков, вовлеченный в это движение, готов был броситься следом, но полковник, Саид Исмаил, офицеры штаба двинулись прочь. За ними,

подхватывая теплые стволы и опорные плиты, торопились минометчики.

Остановившись у самой стены, Волков смотрел, как развертывается минометная батарея стволами в сторону глинобитной толстостенной крепости с угловатыми усеченными башнями и вмазанными в стену линиялыми голубыми воротами. Внутренних строений не было видно, только плоское кровельное навершие с желтыми рассыпанными для просушки плодами, должно быть, урюком. К воротам вела дорога с голыми, сквозящими на солнце деревьями, похожими на тутовники. Вокруг стены, прилепившись к ней, и дальше, расходясь, рябя до самых предгорий, теснились клетчатые рукотворные наделы, отделенные друг от друга валами, полные водой, как корыта, или сочно-зеленой рисовой порослью, или жирно-черные, как бархат. За крепостью, отсекая ее от предгорий, стояли транспортеры и танки — брусочки брони с черточками пулеметов и пушек. Рота захвата залегла, ожидая приказа вскочить, кинуться последним броском вслед минометному залпу, ворваться в пламя и дым, завершить истребление банды. И потом — грузиться в машины, заносить убитых и раненых, устало сидеть, держа у колен измызанное, избитое оружие.

Но пока голубеют в стене линиялые запертые ворота, сохнет на крыше урюк, и только в бойницах начинает мерцать от винтовочных выстрелов, сочатся прозрачные дымки. Волков мысленно провел траекторию от минометных стволов по безоблачному небу к крепости. Через минуту ударит залп, уничтожит твердыню, феодальный оплот, вокруг которого по тесным вековым кругам вращалась жизнь кишлака. Крестьянские рождения и смерти, воловьи упряжки и мельницы, урожай и праздники. Глиняный центр, незыблемо царивший веками, прокаленный солнцем, пропитанный соком урюка. В него нацелен удар минометов, готовый вырвать, смести феодальный мирок, разрушить еще одну соту устоявшейся древней жизни. И она не желает гибнуть, отбивается винтовочными выстрелами.

Прочесав кишлак, к крепости стягивались роты. Копились за изгородами. С нетерпением смотрели на башни, минометы, ожидали последнего штурма, конца операции. Полковник по радиации связывался с экипажами далеких машин. Снял наушники, направился к батарее. Комбат подбегал навстречу, докладывал о готовности. Минометчики замерли, ожидая приказа. Санд Исмаил мучительно шурил глаза, будто не желая видеть обреченную крепость. Полковник

взглянул на часы, бесстрастный, точный, не боящийся выстрелов, без эмоций, стал медленно поднимать руку.

И тут в проулке клубящейся белой толпой, с бормотаньями, стонами, опираясь на палки, колыхая чалмами, возникли старики. Поддерживали друг друга, торопились, путались долгополыми тканями. Впереди шел мулла, подметая белой рясой пыль, что-то говорил на ходу, выкрикивая, останавливая жестом полковника. Полковник замер с поднятой рукой. Застыл на шатком рубеже нетерпения, раздражения, устремленной в действие воли. Медленно без взмаха опустил руку, морщась, подошел к старикам. Те надвинулись на него, окружили. Мулла прижимал ладонь к сердцу, шевелил в бороде губами, кланялся, показывая на крепость.

Волков теребил Саида Исмаила, требуя перевода. Видел: белая ряса муллы была усеяна теми же семенами, что и Сардар, что и сам он, Волков.

— Мулла говорит... — Саид Исмаил, боясь прослушать, тянулся на голос. — Там в крепости много женщин, дети. Эти люди ходили к домам, забирали женщины, дети. Кто не хотел, били, говорили: пойдем. Стрелять не надо. Пушки делать не надо. Дочери, жены, маленький дети. Очень много!

Полковник сжимал презрительно губы, досадуя на помеху четкому, быстрому завершению дела. Не откликался лицом на мольбы и поклоны, готовые обернуться проклятиями, выстрелами в спину, зная цену этим смиренным мольбам, таящим в себе фанатический бунт, отнявший у него самое дорогое, любимое. Был готов отвернуться к застывшим, нацеленным минометам.

— Что он говорит? — спрашивал Волков.

— Говорит, вы сами давали бандитам женщины, дети. Не надо давать. Не надо давать бандитам хлеб. Не надо давать одежда. Надо гнать бандитов из кишлак. Надо идти в войска, звать войска в кишлак прогонять бандитов. Сами они виноваты.

Мулла кланялся низко, с трудом сгибая свою костлявую стариковскую спину. Показывал в небо, на кишлак, на крепость. Его лицо было несчастным. Саид Исмаил отражал в себе это выражение муки.

— Мулла говорит, мы не давали этим людям хлеб, одежда. Сами ходили, брали. Пришли из Пакистана, били, стреляли. Сегодня ходили к домам, брали женщины, дети, гнали туда, закрывали крепость. Не надо пушкой бить. Надо так идти, ворота открывать, женщин, детей выпускать.

Лицо полковника выражало раздражение, отвержение.

Его рукав был усыпан все теми же чуть заметными горючими семенами, что и ряса муллы.

Мулла колыхал волнистой, из жестких завитков бородой, вращал умоляюще глазами. И вдруг, показалось Волкову, стал похож на мгновенье на деда Михаила, с тем же выражением отчаяния, боли.

— Мулла говорит, не надо солдаты пускать, открывать ворота. Мы, старики, пойдем, скажем тем людям открывать ворота, выпускать женщин, детей. Просить очень будем, молиться будем. Если нас возьмут, не будут пускать, тогда говори своим людям, бей из пушек, стреляй, пускай солдат!

Они стояли друг против друга, полковник, сухой и подтянутый, с английской отточенной речью, весь выжженный изнутри, потерявший жену в мятеже, и сельский мулла, весь век проживший среди темного бедного люда, среди овец и верблюдов, завершавший долгую жизнь. Оба они, столь различные, были дети одного народа, одного несчастья и горя. Обоих осыпали горючие семена.

Полковник слабо кивнул. Мулла, еще кланяясь, но уже меняясь в лице, оборачивался к старикам, величественно распрямлялся, и те потянулись к нему, слушали его тихую речь. Мулла поправил чалму, расправил одежды и шагнул на дорогу, и белое стариковское воинство, колыхнувшись, потянулось следом. Упирались в пыль палками, поддерживали один другого, шли навстречу бойницам, синим воротам крепости. Все им смотрели вслед — застывшие за пулеметом стрелки, притихшие наготове минометчики, рота захвата, нацеленная на последний бросок. Смотрели, как идут старики, выбивая палками облачка холодной солнечной пыли.

Внезапно створки ворот раскрылись, и из них с нарастающим воплем, изгоняемые невидимой толкающей силой, стали выбегать женщины в паранджах, дети в пестрых одеждах. Кричали, заслоняясь руками от нацеленного в их сторону оружия. И следом, закупорив на мгновение ворота, вырываясь из них, расшвыривая голосащую толпу, вынеслись всадники, закружились, вздымая лошадей на дыбы, разворачиваясь, колотя их нагайками. У каждого через седло была переброшена женщина, к спине, у винтовки, прикручен ребенок. С гиком, воплем направили лошадей вдоль стены, огибая крепость, минуя деревья, на темную пашню, и скоком, пригнувшись, вытягиваясь в линию, помчались к предгорьям. Солдаты вскакивали, выбрасывали вперед оружие, и им наперерез с металлическим, срывающимся на вопль криком метнулся полковник с запрещающим взмахом руки,

отделяя собой скачущую конницу, детей, стариков от вороненых стволов. Кинулся к рации, торопясь, вызывая экипажи броневиков и танков, запрещая стрелять. Все стояли, оцепенев, держа пальцы на спусках, глядя на бестолково толкущихся стариков, на бегущих к ним женщин, на удалявшуюся конницу. Волков видел, как у всадника, перебросившего через седло маленькое женское тело, ярко синее накидка, желтеет на солнце медное стремя.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

И опять они были все вместе, сведенные в центре Азии, в кишлаке Чус Лахур. Сюда по барханам пришли трактора, и народ повалил их встречать с кувшинами холодной воды, горячими лепешками, красными гранатовыми плодами. Утомленные солдаты встали на краю кишлака, умываясь в арыке, рассекали ножами мятые багряные шары кандагарских гранатов, подсаживали на исцарапанную броню ребятишек.

Волков и Саид Исмаил, прихватив Мартынова, отправились в сельскую кузницу, где афганцы правили плуги, чинили неисправные трактора, торопились к завтрашней раздаче земли и севу. Волков озирался на солнечные, готовые к цветению деревья, на куполообразные, вздутые, словно хлебы в печи, дома. Во дворах чистили и мыли волов, выставляли мешки и баклаги с зерном. Возле кузни под дощатым навесом стоял синий трактор с задраным вверх капотом. На синем железе краснела знакомая надпись: «Дружба», истрелянная, в черных мазках, и Волков устремился к трактору, как к живому, избежавшему гибели, прошедшему сквозь огонь существу.

Вошли в кузню, стояли втроем поодаль, наблюдая кузнечную работу, боясь помешать и отвлечь. Всею головой был старый худой механик с костлявой шеей. Кашлял, дышал тяжело. Отдыхал, глядел воспаленно. Казалось, воздух из его легких вырывался вместе с мелкой железной пылью, испареньями солярки. Недавно у старика умерла жена. Он и сам занемог и готовился к смерти, ни с кем не хотел видеться. Но когда пришли к нему люди, те, кто дожидался земли, кланяясь, просили помочь, встал и пошел под навес.

Вторым был молодой солдат с пустым рукавом, припленный к обшарпанной робе. Руки он лишился в горном сражении, когда его БТР был подбит неприятелем, и он, окруженный пламенем, раненый, стрелял из пулемета, от-

бивал врагов. Сжимая в единственном кулаке гаечный ключ, солдат осматривал трактор, находя в нем сходство со сгоревшим своим транспортером, вкладывал в труд неисчезнувшую ярость и ненависть, нацеливал трактор в близкое пожарище пустыни, сочетая с ней свое представление о зле, надеясь его сокрушить, отодвинуть зеленью хлебного поля.

Третий — краснолицый кузнец, увенчанный грязной тряпичей, с голой лохматой грудью, похожий на циркача. Он один, надувая жилы на лбу, перетаскивал наковальню, ложился под трактор, словно выжимал его на руках, и тот отзывался благодарным гудением. Силач не имел ни клочка земли, всю жизнь батрачил, жил по углам, убирал чужой дом, пахал чужое поле, холил чужих волов. Теперь ему обещали надел, и он ждал с нетерпением. Мечтал завести собственный очаг, жениться, народить детей и всю свою надежду и богатырскую силу, ожидание новой судьбы вкладывал в кузнечную работу.

На подхвате был худой темноглазый юнец в тюбетейке, в быстрых кивках и улыбках, перепачканный маслом. Он убегал по утрам из тесного, обнесенного глухой стеной отцовского дома, где кричали среди куриного помета и пуха его младшие братья и сестры, и покрикивала старая бабка, и молился его хворый дед, — убегал на машинный двор под навес, где висел говорящий металлический репродуктор, вились красные кумачи, собирались шумные люди, на которых хотелось ему походить. Он ко всем попевал на помощь, и коричневые глаза его светились доверием.

Волков смотрел на трактор, вспоминал Нила Тимофеевича, оставившего на синем железе свою быструю роспись. Думал, сколько воды утекло с того недавнего термезского митинга, сколько видели на своем пути трактора. Сколько рук, злых и добрых, тянулось к ним, начертало на них письма. И вот, одолев хребты и пустыни, явились в глухой кишлак совершать задуманное хлебное дело.

Шипел и брызгал огнем маленький горн. В нем пламенел стальной стержень. Здоровяк с распахнутой грудью налегал на деревянную рукоять мехов. Подхватил клещами тяжелый шкворень, шмякнул на наковальню, нанес кувалдой удар. Удар получился неловким, стержень вырвался из клещей и упал. Кузнец сердито его подхватил, ударил, и снова вышло неловко — слишком мал был размах для удара. Здоровяк оглянулся на товарищей. Старик и юнец уткнулись в мотор. Безрукий лежал под машиной, выставив солдатские башмаки. Волков поймал взгляд кузнеца. Шагнул к нему,

перенял клещи со шкворнем, и тот отступил, отодвинул со лба тряпицу, крутанул тяжелый молот и врезал гулкий точный удар, расплющив железо.

Мартынов подскочил к мехам, начал их раздувать. Здоровяк бил и бил, бровями, губами, движеньем могучих плеч подсказывал Волкову, и тот, угадывая, вертел на наковальне малиновый металл, ловя сквозь него, сквозь клещи, сквозь свои напряженные мускулы мощь богатырских ударов, жар свистящего пламени.

— Так, Иван, бей! — раскачивался в такт ударам Саид Исмаил, весь в искрах и красных отсветах. — Бандитов бей! Хорошо! Империализма бей! Хорошо! Хлеб сей! Хорошо! Жена повидай! Хорошо! Бедным землю давай! Хорошо!

Отковали тягу. Кинули, алую, в корыто, вырвав шипенье и пар. Разгоряченные, пили воду, передавали друг другу баклагу. Пил Волков, проливая воду на грудь. Пил Мартынов, припадая усами. Остужал дышащие губы здоровяк. Пил юнец, зыркая счастливо глазами. Долго, тяжело пил усатый старик, и безрукий солдат, и последним Саид Исмаил. Все испивали единую чашу.

С утра за селеньем, где кончались ухоженные, изрезанные сохами поля и начиналась пустыня и в ее морщинистую пыльную коросту были врезаны ровные клетки новых угодий, еще сухих, не пропитанных влагой, но уже с подведенными сочными сосудами арыков, за селеньем стал сходиться народ. Афганские солдаты в грубокатаных робах и шапках, крестьяне, молодые и старые, в нарядных белых чалмах. Ребятишки, босые, в пестром тряпье, дергая за нитки реющих бумажных змеев. Советские солдаты в промасленных, побледневших на солнце бушлатах. Сидели на земле совсем уже древние старцы, с лицами, похожими на пыльный чернослив. Семейство кочевников набрело из пустыни — взлохмаченные, чернобородые. Музыканты разложили на ковриках свои барабаны и бубны, струнные, похожие на сухие тыквы инструменты.

На грубом столе белела кипа бумаг, притиснутых камнем. У стола собрались уездные партийцы с приколотыми красными бантами. Тут же полковник Азиз Мухаммад с бронзовым неподвижным лицом, затянутый в португую. В стороне светились усы Мартынова. Саид Исмаил, торжественный, вдохновенный, был готов к речам.

Волков смотрел на крестьян, сдержанных, но исполненных нетерпения, словно в каждом стояло накопившееся за века ожидание, словно воскресли и смотрели на эти ровные,

готовые к воде и зерну наделы все бесчисленные поколения смиренных людей, рождавшихся и сходявших на нет.

Говорил секретарь уезда, долго и пламенно. Указывал то в пекло пустыни, то на зелень реки, то в небо, призывал их в свидетели. Все слушали его, понимали — и раненый с перевязанным лбом, и чернолицый старик, и худой долго-вязый крестьянин, опиравшийся на землемерный аршин. И те, кто недавно в маленькой кузне ковал раскаленную тягу для плуга. В стороне, блестя стеклами, стоял синий трактор, весь увешанный брелоками, блестящими, и на крышу кабины, словно попона, был наброшен ковер.

Говорил Саид Исмаил. Волков, помня его лицо во время путча и боя, стиснутое болью и гневом, понимал, что теперь не о крови, не о пулях его слова, а о хлебных зернах, готовых пасть в борозду. Саид отодвинул с бумаг камень, приподнял шелестящую кипу. Стал выкликать поименно, вызывая из толпы бедняков. Вручал им акты на владение землей, и те двумя руками принимали трепещущую бумагу, прижимали к груди, боясь, чтоб не унес ее ветер, озирались то на родню, то на близкую ниву, не веря, что она уже их.

Ударили бубны, забренчали струны, застучали барабаны, и словно дунуло на людей, сорвало их с места. Кинулись к наделам, сначала гурьбой, тесно, толкаясь, а потом рассыпались каждый сам по себе, бежали, развевая одежды, хватая руками воздух, будто раскрывали объятия чему-то огромному, летящему им навстречу. Добегали, падали, прижимались лицом к земле, целовали, что-то шептали. И уже родня окружала их, подымала. Шли с аршинами, обмеряя участки, выкликали, старый и малый, топтали, сбрасывая башмаки, будто старались оставить на земле побольше своих отпечатков, приручали к себе, закрепляли ее за собой.

Вдоль арыков шли с лопатами, разгребая запруды. Вода начинала литься бесчисленными сверкающими ручьями, проливаясь в прочерченные по земле желоба, мгновенно исчезая, пропадая в сухой, не ведавшей влаги почве. Липко чернела, расплывалась влажной сочной силой, окутывая ниву стеклянным свечением. Вода сочеталась с землей. Землемеры, музыканты на поле колебались в прозрачной дымке, окутанные дыханием земли.

Уездный партиец с баночкой краски направился к трактору. Открыл капот. Вымытое железо с заваренными заплатками, следами от пуль несло на себе слово «Дружба». Партиец протягивал кисточку, приглашая людей писать. Под-

ходили, бережно, серьезно макали, ставили подписи. А кто не умел — просто красные точки.

Полковник Азиз Мухаммад писал свое имя, и другое, неизреченное, дышало у него на губах. Подошел и лихо расписался Мартынов. Подошел знакомый солдат, вывел «Кафтанов». Чуть помедлил и поставил рядом «Шатров» — имя того, кто спас из огня машину. Волков тоже приблизился, окунул в краску кисть, расписался и подумал, что вот он и начал свой очерк на краю крестьянского поля в афганском кишлаке Чус Лахур.

Бубны застучали сильнее. В кабину трактора сели старый мастер с темным железным лицом и счастливый юнец в тюбетейке. Трактор, задрав плуг, волоча пыльно бороны, медленно двинулся к пашне. И все шагали за ним, смотрели на отточенные жала лемехов. Лемехи коснулись земли, погрузились, рванули твердь и, вздувая пласты, двинулись, выворачивая тройную борозду, разбиваемую боронами. Мальчишки бежали следом, верещали трещотки, свистульки, музыканты бубнами славили рождение борозды.

Однорукий солдат прижал к груди плоскую посудину, полную сыпучей бело-желтой пшеницы. Примериваясь, встал в борозду. Рядом с ним, огромный, касаясь плечом, встал кузнец. Кивнули, вздохнули разом, шагнули на пашню, и кузнец, захватывая в огромный кулак горсть семян, метнул их под ноги. И они, невидимые, легли в борозду, вошли в плоть земли, нагрузив ее тяжестью будущего урожая. Шли по земле, засевая ее хлебом, надеждой. И уже им вслед выводили упряжку глянцевитых черных волов, чьи рога украшали бубенцы и ленты. Волы влекли бороны. Так и двигались — трактор, накрытый ковровой попоной, сеятели, музыканты и упряжка волов.

Волков ликовал вместе с ними, и ему казалось, в распахнутой борозде шагает Нил Тимофеевич, и неизвестный солдат Шатров, и те два погибших механика, и другие, кого потеряли в тяжелой дороге, — ожили и идут в борозде, окруженные тесной толпой.

Мчались по пустому шоссе среди солнечных сыпучих откосов, на скорости пролетая прямые отрезки, сбрасывая газ на поворотах, подтягивая к себе автоматы, и вновь набирали стремительность, до звона и дрожания металла. Мартынов впереди, взбудораженный быстрой ездой, обнимал худые плечи шофера, приговаривал:

— Давай, Абдулла, милый, гони!

Тот кивал, отвечал белозубой улыбкой, давил газ, и стальные крепи машины начинали стонать, и обочины превращались в солнечную, не имевшую очертаний струю.

Первые километры пути, когда оторвались от поселка и навстречу то и дело попадались люди, ослы, машины, тянулись кишлаки, Волков испытывал беспокойство, но потом настороженность улеглась и осталось ощущение разрываемого пустого пространства, синевы у вершин, приближения к ним, ожидания.

— Эх, друзья,— говорил Мартынов, радостно оборачиваясь.— А ведь у меня-то завтра рождение. Мои сейчас пироги затевают. Жена не часто, правда, а один раз в году печет. Ну, я вам скажу, пироги! Замечательные! Три сорта. Во-первых, с капустой. Во-вторых, с картошкой. И в-третьих — с яблоками.

— Приедем, праздновать будем. А я думаю, чего это у меня бутылка завалилась! — радовался Волков.

— Ты, будь добр, отрежь мне пирог с картошкой! — смеялся Саид Исмаил.

— Саид, дорогой, да если бы мы сейчас были дома, да я бы тебя в центре стола усадил и кормил бы тебя пирогами и жене приказал, и теще. Был бы ты у меня самый дорогой гость!

— Я у тебя буду гости,— соглашался Саид Исмаил.— Ты будешь у меня в Герате. Ты, Иван — оба гости. Пироги не будут, плов будет, шашлык будет!

— А что, приедем к нему, а, Михалыч? Пусть барана колет.— Мартынов синел глазами, разглаживал ус, обнимал шофера.— Гони, Абдулла, гони, друг!

Тот ухмылялся, повторял белозубо: «Гони!», и машина с веретенным шелестом врезалась в сияние гор.

Волков прижался к стеклу. Внизу была яркая рыжая круча, дважды пересекаемая дорогой. У подножия, охватывая гору сверканием, текла река. Между рекой и нижней дорогой виднелось крохотное одинокое дерево с круглой тенью, и рядом белело животное, то ли ишак, то ли теленок, и вид этого улетающего вниз откоса, синевшей реки, сиротливого дерева с белым живым существом поразил его как что-то знакомое, виденное. Следил, как дерево скрывается за откосом, ожидал, когда снова появится.

— Ты, Иван, бери с собой свой переводчик,— говорил Саид Исмаил.— Знаешь,— он обращался к Мартынову,— такой у него есть переводчик, очень красивый.

— Правда, Михалыч? — Мартынов обернулся к Волкову.

Они сделали поворот и снова вернулись на пологий склон, ярусом ниже. И снова была река, и приближенное голое корявое дерево, и перед деревом белела ослица, смиренная, неподвижная, предназначенная бог весть для кого на безлюдной пустой горе.

— Если будешь писать жене, передавай привет от Саид Исмаил. Скажи, приеду пирог кушать. Буду плов учить делать, настоящий афганский плов.

— Напишу! — смеялся Мартынов. — И жене напишу, и теще!

Они вернулись на склон, на его нижний уступ, и теперь, набирая скорость, мчались над самой рекой, над волнистым черно-синим перекатом, и Волков смотрел, как между рекой и обочиной, раскинув корявые ветки, приближается дерево и белая ослица, привязанная к стволу, покорно кого-то ждет на бестравной каменистой земле. Всмотривался, готовый поравняться на миг, пролететь, позабыть навсегда.

— А ты знаешь, Михалыч... — повернулся к нему Мартынов.

Их шатнуло взрывом, тупым, расчленяющим железо ударом. Тугой короткий огонь швырнул машину на склон, выламывая из нее узлы, проволакивая обшивкой. Колотясь, она взлетела по склону, задержалась на миг и с жестяным громким стуком прокатилась обратно, переворачивалась, рушилась на дорогу, начинала гореть.

Волков, оглушенный болью, ослепленный вспышкой, был выброшен из дверей. Не теряя сознания, чувствуя набегающую из разбитого лба волну крови, видел, как кувыркается на горе машина, готовая расплющить лежащего на склоне Саида Исмаила, и усилием ужаса отводил от его головы колотящийся короб, простучавший на дорогу, одевшийся пламенем. В обломках он видел скрюченную фигуру шофера и бьющегося, кричащего Мартынова. Кинулся на крик, удивляясь своей способности двигаться, смахивая с бровей набегающую кровь. Передняя дверца была вырвана, крыша смята, и Мартынов, зажатый металлом, дергался и выкрикивал. Волков, упираясь ногой в стойку, тянул его что было сил из дымящейся кабины, выволакивал на дорогу. Видел запрокинутое, мертвое, страшное лицо шофера с выбитым кровавым глазом, его оскаленный, с поломанными зубами рот. Укладывал Мартынова на асфальт, успевая заметить, как вывернута в колене его нога и волочится рука, открыва-

ется в коротких бессмысленных криках рот под окровавленными усами, и в синих побледневших глазах — ужас и боль.

Саид Исмаил шевельнулся на склоне. Попробовал сесть, снова свалился на бок. Не вставая, отжимаясь рукой, стал продвигаться вниз, останавливаясь, ощупывая ладонью голову. Когда он спустился к шоссе и, шатаясь, встал у обочины, прогремел выстрел. Пуля ударила в асфальт, оставила белую метину и с вибрирующим медленным звуком пролетела над Волковым.

— Давай его сюда, за кювет! — крикнул Волков, и они вдвоем с Саидом Исмаилом грубо отволокли по земле цеплявшегося, стонущего Мартынова, перевалили через мелкую канаву кювета, опрокинули на спину за каменным невысоким бруствером. Отсюда вершина была не видна. Осыпь вела к реке. На осыпи близко стояло одинокое дерево с привязанной белой ослицей. Волков очнулся от ужаса, от машинальности движений, поразился неясному совпадению с чем-то. И опять грянул выстрел, пуля ударила в насыпь, с шорохом вошла в гравий и там успокоилась.

— Мина. Засада. — Саид Исмаил, хрипя и отплевываясь, держал на весу перебитую кисть. — Шофер?

— Убит. — Волков глядел на раскрывающийся беззвучно рот Мартынова.

— Мартынов, ты как? — Саид наклонил к раненому свое страдающее широкогубое лицо.

Ударил выстрел. Взметнул в стороне солнечный фонтанчик. Волков поднял автомат Мартынова, неловко, боясь задеть ссадину, накинул ремень.

— Оружие где? — спросил он у Саида.

— Машина осталась. Только это. — И он, задрав край рубы, вытащил пистолет. — Только вот.

Все обозначилось во всей очевидной ясности: вершина горы со стрелками, которые рано или поздно начнут спускаться к дороге, где горела машина. Невысокая каменистая насыпь, за которой они укрылись, недоступная прицелам с вершины. Крутой откос к реке с усохшим деревом и привязанной белой ослицей тоже вне пределов стрельбы — обширное, освещенное солнцем пространство, вдруг понятое во всей простоте, существовавшее всегда, и они, появившись здесь, должны скорее в него вписаться своей жизнью и смертью.

Снова чмокнул выстрел, пуля, не тронув бруствер, прошла выше в пустом солнце, невидимая, упала в реку, среди мельканий и блеска.

— Слушай,— сказал Волков Саиду Исмаилу.— Приведи ослицу.— Чертеж окружавшего их пространства был понятен и прост, осмыслен им до конца.— Они не тронут с горы. Не достанут. А если что, я прикрою.

Он сдвинул перед собой два больших камня, сухих и светлых снаружи и влажных с подбрюшья. Сблизил теснее. Медленно, осторожно выглянул из-за них. С горы, от вершины, спускались трое, боком, держа на весу винтовки, двое в белых повязках, один в ярко-синей накидке. Волков, успокаивая себя, перевел автомат на одиночные выстрелы. Выставил ствол из камней и, целясь в синее, выстрелил. Он был неважный стрелок, к тому же гора меняла объем просторного светлого воздуха, в котором намечен был выстрел. Трое перестали спускаться, вскарабкались вверх, укрылись за кромкой. Оттуда ударило несколько залпов, сквозь дым от горящей машины булькнуло многократно в камни.

Волков отстранился от кремневой бойницы, оглянулся. Саид у дерева отвязывал ослицу.

— Ну как ты? — спросил у Мартынова Волков.— Как ты?

Тот смотрел прямо вверх синими, полными слез глазами.

Саид тянул на веревке ослицу. Животное двигалось вверх послушно и кротко, будто знало, что его поведут, будто заранее было кем-то оставлено. Саид остановился поодаль внизу, хоронясь от вершины. Держал на весу бессильную кисть, сжимал в другой руке веревку.

— Сейчас,— сказал Волков.— Как нам лучше его водрузить? Верхом или, может, поперек? А? Мартынов? Как лучше?

Тот не ответил, закрыл глаза. Задышал тяжело, словно терял сознание.

— Надо живот вниз,— сказал Саид Исмаил.

Они схватили Мартынова за грубошерстную куртку у плеч. Сволокли тело. Бутсы его зашуршали, заколотили пятками о камни. Мартынов застонал, замотал головой.

— Ничего,— говорил Волков.— Ничего, потерпи.

Хлопнул выстрел. Пуля пролетела к реке. Ослица дрогнула, прижала белесые мохнатые уши.

— Исмаил, давай подымай!

Вдвоем, в три руки, приподняли тяжелое, мешкообразное тело, взгромоздили на ослиную спину, и животное под тяжестью зацокало ногами, заводило розоватыми, в белесых ресницах глазами.

Мартынов лежал на ослице, свесив вниз желтые волосы,

почти касаясь земли руками и носками ботинок. Глаза его были открыты, выпучены, он хрипло дышал.

— Не свалится он, Саид,— Волков, пригибаясь, вернулся к брустверу. Сквозь кремневые глыбы увидел, как сверху снова спускаются, теперь уже трое в белых повязках и четвертый все в той же яркой синей накидке. Просунул ствол, выстрелил в далекую синюю точку, опять промахнулся. Выстрелил снова, загоняя их за кромку горы.

— Саид, уходи!

— Иван, лучше будем остаться,— пробовал возражать Саид Исмаил.— Будем ждать. Придет бэтээр.

— Может, придет,— кивнул Волков.— Но вы уходите. Пока я здесь остаюсь, они вас не станут преследовать. А потом, когда вы уйдете, попробую вас догнать. Или к тому времени придет бэтээр.

Они посмотрели друг другу в глаза, дорожа самой возможностью видеть друг друга. Саид Исмаил кивнул, повернулся, потянул за собой ослицу. И та послушно пошла, перебирая хрупко ногами, колыхая на себе тело Мартынова. Башмаки Мартынова бились о камни, Волков боялся, что он упадет, но тот не падал, раскачивалась под брюхом ослицы желтоволосая голова.

— Иван! — крикнул Саид Исмаил, но Волков ему махнул, прогоняя, прижимаясь к камням. И, не видя никого на горе, выстрелил, слушал, как быстро гаснет, без эха, звук выстрела. Ослица и Саид удалялись, были уже на фоне сверкающей синей реки, словно ею оплавлены. Снова посмотрел на гору. С бровей на глаза продолжала сочиться кровь. Он вытер ее рукавом, потом ладонью, а ладонь просушил о землю, не желая трогать окровавленной рукой автомат. Машина продолжала гореть. Дым стелился вдоль пустого шоссе, его наносило на Волкова, и тогда сквозь дым гора начинала струиться, и он старался зорче оглядывать склон.

Ослица была у самой реки, уменьшаясь, удаляясь, подвигаясь к уступу, за которым река исчезала. Волков следил за их удалением, отпускал от себя, сам удалял, хотел, чтобы они исчезли, и удерживал, не пускал, желал, чтобы они оставались. И когда они исчезли за выступом, вдруг почувствовал такую тоску: пустая рыжая осыпь, голубая река, чужая и жгучая, безлистое дерево, причинявшее острую боль, и он лежит при дороге, в дыму от горящей машины, а над ним в вышине на кромке горы притаилась и ждет его

смерть — внезапно приблизившись, приняв образ горы, реки, дерева.

«Быть не может,— думал он,— чтоб так просто... Чтоб вся моя жизнь, с того переулка в снегу, со старинной вмо-роженной тумбой, и я вбегаю в наш дом, и все за столом так рады, и бабушка, и дед Михаил, и все это было, и вот — это небо и дым, искореженный остов машины, и я здесь один, безо всех...»

Он обернулся в надежде, что там, из-за выступа, вдруг покажется Саид Исмаил и кончится его одиночество. Но ре-ка сыпала бесчисленные холодные блески, и никто не яв-лялся. Он смотрел вдоль шоссе, вызывая, выкликая, чтоб возникло, приближаясь, урчание, и на мягких колесах, при-земистый, длинный как ящерица, выскользнул БТР, и можно было бы крикнуть, мощным скоком кинуться на броню, в круглый темный люк, на сильные твердые руки.

Но шоссе оставалось пустым, тянуло прогорклым дымом. Машина тлела вместе с убитым шофером.

Он достал из нагрудного кармана блокнот, документы, шариковую ручку. Отбросив горстями сыпучую землю, поло-жил все это, присыпал, задвинул плоским обломком сланца. Взглянул на часы. «10 марта. Энный километр шоссе Лашкаргах — Кандагар. Горы. Река. Обочина. Лежу у камней...»

Пуля рванула о камень вблизи головы, пахнуло раско-лотым кремнем. Другая пуля, с опозданием, срикошетив, тяжело провыла, и он, сжав глаза, плотнее прижался к откосу, а когда открыл, увидел: от вершины спускаются люди, он насчитал восьмерых, а они все появлялись из-за гребня, медленно, осторожно спускались, и среди них, держа на весу винтовку, был тот, в ярко-синей накидке. Они про-должали спускаться, и возникло желание вскочить, кинуться вниз к реке, надеясь на резвость ног, туда, где исчезли друзья, и он, задыхаясь, страшась, повторял: «За други своя, за други!..»

А те, на горе, спускались редкой цепочкой, осторожные, гибкие, развевая балахонами, и он, одолев страх, перевел ры-чажок на очередь, чувствуя холодный металл, прижимаясь к нему пульсирующим горячим лицом. Глядел сквозь прорезь. И такое напряжение в душе, такое томление, что зрачок, пробегая вдоль мушки, превращал ее в вороненый крохот-ный вихрь, в малую воронку, расширял ее в другое про-странство и время. И она расширилась, в ней возникла дру-гая земля, в травах, цветах, проложенных ветром дорогам,

и она, его милая, спускалась с горы, поскальзываясь на траве, и он ждал ее приближения, видел, звал дорогое лицо. Она прошла совсем близко, его не заметив, из неба прынул черный скворец, уселся ему прямо на зрачок. Он смотрел на черную мушку, медленно вел ее вниз, вслед горцу в синем тюрбане. Старался ровнее дышать, унять, успокоить дыхание, как его когда-то учили.

И оттуда, куда она удалилась, начиналось невидимое, в рокоте, гуле, движение на пустынном шоссе, несло, приближалось, и те на горе замерли, слушая нарастающий вой. Отступали, пятились, бежали на склон.

Первая зеленая машина с плоской башней, выбрасывая гарь за кормой, вырвалась на дорогу, ударила дымным огнем. Волков — словно прокатилась над ним высокая, из солнца и тьмы волна, унося и смывая огромную часть его жизни, избавляя от смерти, отодвигая ее в другое, ему предстоящее будущее, — приподнялся над камнем. Жарко, жадно дышал. Ловил этот свет, этот воздух. Возможность видеть и жить. Смотрел на стальную, в грохоте пулемета машину.

*Торговцево
1979—1981*

В ОСТРОВ- ВАХ ОХОТНИК...

Роман

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Еще несколько таких пробуждений здесь, в Пномпене, когда на черных фасадах в пять утра, перед отменой комендантского часа, загораются желтые, лампадно-чадные окна. Шлепают, шелестит падающая из кранов вода. Стучат по камням голые пятки. Позванивают звоночки выводимых велосипедов, прислоняемых к стенам у дверей. Мостовая еще пуста, под запретом. Поднимаются на окнах циновки, и видно, как женщины, неприбранные, медлительные после сна, отвязывают москитные пологи, скатывают на полу постели, расчесывают длинные черно-блестящие волосы. Мужчины, полуголые и худые, с переброшенными через плечо полотенцами, пьют чай за низкими столиками, поглядывают на безлюдную улицу, на звездное небо, прислушиваясь к шелестам, звукам. И вдруг на углу визгливо и яростно, с мембранным металлическим эхом, ударит в громкоговорителе музыка. И сразу метнутся на дорогу тени велосипедистов, полосуюя тьму, легкие, острые, как стрижи. Гуще, чаще — и вот, мигая и вспыхивая, слетаются в колющий подвижный ворох, мешаются с треском моторов, с лучами автомобильных огней, окутываются бензиновой вонью, растревоженным тлеющим запахом нечистот, сладостью гниющих фруктов, дымом жаровен. Над крышами, гася молниеносно звезды, налетает латунный рассвет. Лужа на тротуаре липко желтеет. Разгромленное здание рынка проступает горчичной громадой. И на грязном балконе напротив, где разбрызганы метины артиллерийских осколков, начинает розоветь сохнувший женский платок.

Еще несколько таких пробуждений, и он вместе с женой, слава богу, оставит этот номер в отеле, напоминающий походный бивак: москитные сетки, фотокамера, фляга, обшарпанный полевой бинокль, оставит корреспондентство, Пномпень и вернется в Москву, в свой любимый ухоженный дом с видом на Яузу, на хрупкую лазоревую колокольню, к любимым занятиям, к работе над докторской диссертацией, прерванной три года назад, когда его, востоковеда, знающего вьетнамский и кхмерский, выступавшего в периодической прессе с анализом индокитайских проблем, пригласили в газету, предложили корпункт в Пномпене, еще разгромленном, умертвленном, недавно освобожденном от полпотовских банд. И он, работавший некогда в прессе, дороживший памятью о своих молодых стремительных рейдах на Дальний Восток, в Ханой, в джунгли на тропу Хо Ши Мина, искусился этой возможностью, бесценной для любого ученого, оказаться в самом центре, ядре исследуемых проблем. Принял предложение газеты, приехал работать в Пномпень.

Кириллов стоял под душем, разбивая о плечи вечно теплую, не несущую свежести воду, смывая ночную испарину. Смотрел сквозь приоткрытую дверь на жену, расставлявшую по столу чашки, вазочку с вареньем, галеты. Ее рукодельный сарафан из цветастой тайландской ткани открывал смуглые полные плечи с глянцеви́то-влажным отливом. Черно-стеклянные, как у кампучиек, волосы раздувались от крутящегося в потолке вентилятора, и она, раздражаясь, отгоняла их от лица быстрыми взмахами. Ее круглое лицо казалось рассеянным, и на нем светилась радостная растерянность и забота, появившаяся в последние перед сборами дни. Она отходила от столика и поспешно, с ножами и ложками, возвращалась к нему, стараясь попасть под пропеллер, спасаясь от горячего влажного воздуха, тампоном стоящего в номере, не обновляемого сквозь открытый балкон. Там, среди ровного потного жара, гремела, дребезжала толпа.

— Большие чемоданы начнем упаковывать вечером, когда ты вернешься. А мелкие вещички я уж сама сейчас начну собирать,— говорила она, торопя его, вся уже нацеленная в предстоящий день, в обременительно-желанные хлопоты, в скорое московское будущее.— Я тебе говорила? Сегодня у нас в Культурном центре мероприятие с кхмерскими врачами из госпиталя. Не спозаранку. Я могу и попозже пойти. А сейчас начну упаковываться.

Он вытирался мохнатым, непросыхающе-влажным поло-

тенцем, стараясь встать на такое место, где перекрещивались бы легковейные сквознячки от крутящихся лопастей, дули струйки кондиционера. Слушал ее наставления. Согласно и чуть насмешливо принимал ее волю.

— Ты, пожалуйста, заскочи сегодня на рынок, ладно? А то потом замотаемся и забудем купить, что хотели. Ну, эти бронзовые статуэтки и колокольчики. Я заметила, в Москве они пользуются наибольшим успехом. Все-таки в них есть аромат буддизма, аромат Кампучии.

Он охотно, следуя ее мыслям, уже сидел в московском застолье, не мешая ее громким, чуть бестолковым рассказам, в подтверждение которых она раскрывала коробку, одаряла милых сердцу друзей темной бронзой, под восхищенные оханья нежно звучащей в ее бережных смуглых руках.

— Ты знаешь,— сказала она, перестав накрывать на стол, глядя на него почти умоляюще, словно он мог не поверить,— мне сегодня опять наше Троицкое приснилось. Будто я лежу у самой печки, за той перегородочкой, где твоя шуба висела. Тебя нет, но я знаю — ты где-то близко. То ли на улице, где луна, сугробы, наш куст колючий. То ли в сенцах, где лыжи твои стоят. Я вижу в оконце оставленные тобой на снегу следы, глубокие, с тенью. И печка так жарко натоплена, такая духота в избе, что нечем дышать. И я удивляюсь, почему же ты вышел на снег без меня, почему ничего не сказал? Проснулась, а электричество опять отключили. Вентилятор встал, кондиционер не работает. Задыхаюсь, под пологом лежать невозможно. А ты хоть бы что! Спишь, только часы твои светятся. Я по твоим часам следила: полночи вентилятор бездействовал. Только под утро завертелся, и я ненадолго заснула.

Он мимолетно подумал, что перебои с электричеством опять участились, но это оттого, что на станции меняют машины, устанавливают новые агрегаты, и через пару недель, обещают, Пномпень получит в достатке энергию. Перестанут размораживаться холодильники, отключаться кондиционеры и фены. Но это их с женой уже не будет касаться.

— Ты знаешь, я лежала в темноте и думала. Неужели скоро мы окажемся среди русской весны и лета? Поедем в наше Троицкое, и опять у нас под ногами будет прохладная молодая трава, по которой можно бесстрашно ходить босиком. И студеная речка, в которую можно безбоязненно войти и поплыть. И я услышу ту самую изумительную, не исчезнувшую за эти годы деревенскую речь, которой мы когда-то

так восхищались. Пойдем на могилу к тете Поле, приберем ее, повесим на крест веночек. Выпьем красного рюмочку, как когда-то она сама выпивала. Помнишь? Пригубит, захмелеет, разругается и запоем: «В островах охотник цельный день гуляет, если неудача, сам себя ругает...» Я все думаю последнее время о тех наших днях, о том нашем дне бесконечном, который все длится, длится...

Она умолкла, и в продолжение ее слов здесь, в Пномпене, в латунно-недвижном воздухе с душным испарением сточных канав и цветущих, словно лакированных деревьев вдруг пахло сухой белизной снегов, солнечной сыпучей метелью из другого пространства и дня, наполнило его мгновенным ликованием, силой и кануло, оставив по себе похожее на испуг страдание. Так бывало не раз, когда неожиданно, в минуту усталости или слабости или на грани гибели он вдруг кидался в ту даль за спасением, в тот день, отпущенный им обоим как чудо. И они проживали тот день многократно, всю остальную жизнь, выкликали из прошлого те солнечные сухие метели.

Он выпил чай, подливая себе в розовую чашечку из фарфорового с синим аистом китайского чайника. Обнял жену на прощание, прикоснувшись губами к влажному шелковистому плечу, испытав мимолетное волнение, нежность, легчайшую боль за нее.

— Не хлопочи сегодня с ужином, ладно? — сказал Кириллов, сжимая в ладони брелок с ключами. — Помотаюсь по городу, нанесу прощальный визит в отдел печати МИДа, заеду за тобой в Культурный центр, и мы поужинаем у китайца.

Он спустился вниз, постоял перед своей серо-стальной «мицубиси», жмурясь от солнечного туманного жара, привыкая к маслянистому ожогу улицы, движением зрачков охватывая ее мельканье.

Велосипедист в синей повязке упругими сандалиями давил педали, нес на багажнике деревянную поперечину, на которой вниз головами висели связки кур: растопырили крылья, мерцали кровяными налитыми глазками, проносили полураскрытые клювы над горячим асфальтом. Другой велосипедист вез на рынок корзины; окруженный их белым, выпуклым ворохом, он ловко лавировал, пронося в потоке свой плетеный горб. Продавец соков толкал тележку со стопкой нарезанного зеленого сахарного тростника и давилкой,

похожей на старый «Зингер», оставлял за собой тонкую стручку воды от тающего, укутанного в тряпку льда. Тонконогий, бритый, в белом шелковом облачении, прошел послушник, долго сквозил в толпе своей белизной, черносиней голой макушкой. Две молоденькие женщины, в брюках, в одинаковых сиреневых блузках, остановили свои велосипеды, запрудили поток и, не замечая этого, беспечно смеялись, показывая друг другу пучки редисок.

Кириллов смотрел на шелестящее, вспыхивающее спицами многолюдье, на истошно гудящие, мигающие поворотными сигналами мотоциклы, на «Лады», «Москвичи», «тоёты», с гудками пробирающиеся по осевой, увязающие среди велосипедных рулей, соломенных шляп и повязок. Отмечал про себя, что и этот день неуловимо отличается от вчерашнего усилением, повышением жизненности. Пномпень, доставшийся ему безгласным и вымершим, с обугленной чернотой переплетов, трупным ветерком из подвалов, все эти месяцы медленно собирал в себя загнанную, распуганную жизнь, смелеющую, стекавшуюся в него опять ручейками. Крестьяне из соседних провинций, редкие уцелевшие старожилы заселяли город, возвращали ему голоса и лица. Город, все еще раненный, с перебоями дыхания и пульса, оживал, торговал, работал.

«А ведь может статься, что больше уже никогда его не увижу, и надо таким и запомнить,— подумал одновременно с печалью и облегчением Кириллов.— Еще два денечка последних...»

Он заметил, как подкатил к тротуару автобус, остановился у ржавого, с пустыми глазницами светофора. Из автобуса вышли пионеры, тонконогие, хрупкие, в белых рубашках, шелковых красных галстуках, синих пилотках. Заскользили уверенно сквозь толпу, рассекли перекресток, запрудили его. Худой длиннорукий юноша в белых толстопалых перчатках вскочил на тумбу, легкими точными взмахами, верещаньем свистка стал управлять перекрестком. Погнал велосипедистов в узкие ворота, образованные пионерами, давая простор тяжелому армейскому грузовику с тюками риса, «мерседесу», стремительно скользящему на открытый асфальт. Кириллов умилялся, любовался движением детских рук. Подумал: «Ну что ж, муниципалитету хвала. И это и это запомнить...» Сел в машину, в ее душное, накаленное чрево, запуская мотор, включая кондиционер, зная, что через минуту прохладная свежесть выдавит из машины пропахшую пластиком духоту.

По дороге в министерство иностранных дел он завернул в агентство Аэрофлота, где — шуткой на шутку — перемолвился с красивой желтоволосой сотрудницей, напомнив о билетной броне, о местах багажа, раскланялся с полужнакомым, виденным пару раз в посольстве аграрником-рисоводом, у которого завершался контракт.

— Я никак не знаю, каким мне рейсом лететь, — с узбекским акцентом, беспокойно блуждая по рекламе лиловыми глазами, спрашивал рисовод. — Через Ханой или Хошимин?

— Теперь все равно. По времени то же самое, — легкомысленно отозвался Кириллов, не желая вникать в чужую, казавшуюся пустяковой проблему.

А сам радостно, мгновенно вообразил предстоящий ему полет. Из Пномпеня над туманно-голубыми, курчавыми в джунглях горами с оловянной струей Меконга в Хошимин, недавний Сайгон, с разгромленными коробами ангаров, где в бетонных пазухах догнивают взорванные бомбардировщики, алюминиевым сором блестят разодранные, расщепленные «дугласы», завалились набок пятнистые, без винтов «сикорские». Полет над вечерними Гималаями с их зелеными, красными ледниками, словно вставленными в хребты прозрачными кристаллами, потом в Бомбее, в жужжании порта — аметистовый, огромный «ди си» с синей надписью «Панамерикен». Краткий сон над тьмой океана, и в Карачи под крыло самолета подкатывает цистерна с горючим, и шофер-пакистанец, разматывая шланг, оттирает мокрый, в бисере лоб. Полет над Афганистаном в ночи, над незримыми зубьями Гиндукуша, а под утро — мимолетный промельк Ташкента, и вот уже апрельские разливы в полях, сияние березняков, упругий удар о землю в аэропорту Шереметьево, и она, его Вера, ликуя, хватает его за руку, восторженно смотрит в глаза, требует, чтоб и он ликовал.

По дороге в министерство, продолжая вбирать последнее, прощальные впечатления, он проехал мимо Ватпнома, спрятанного в тенистые куши, одетого в деревянные леса реставрации, но уже украшенного бумажными фонариками, шелковыми полотнищами. Храм готовили к близкому празднованию буддийского Нового года, когда площадь перед святилищем наполнится возбужденной, нарядной толпой, из нее полетят вверх цветные шары и змеи, ударят хлопучки салюта, в вечерних дымах жаровен заскользят, замелькают лучи прожекторов, и храм, позлащенный, с парусной стройной кровлей, поплывет над толпой, как корабль. «Но и этого уже не увижу», — без сожаления подумал Ки-

риллов, осторожно обгоняя велорикшу, везущего в своей трехколесной повозке женщину в шляпке.

Он сделал шелестящий вираж вокруг памятника Независимости, воздвигнутого Сиануком, успев разглядеть в золотистом воздухе каменные резные скульптуры и смуглые лица караульных с красными ярлыками петлиц. Свернул на набережную Меконга, громадно и тускло ослепившего его утренним солнцем. Река текла могуче, пустынно, без кораблей, челноков, далекие лесистые берега тонули в тумане. На набережной у воды сидели полуголые тонкоплечие люди. Мальчишки, глазированно-блестящие, ныряли у берега, доставали отекавшую голубоватую грязь, рассматривали ее на ладонях, роняя на животы потеки жидкого ила. Тут, говорили ему кампучийцы, на каменном спуске к Меконгу, полпотовцы расстреляли и бросили в реку захваченных в плен военных, их жен и детей. Рассказывали, что в первое время ныряльщики доставали золотые кольца и серьги, браслеты и украшения из серебра. Все гранитные плиты были в толстом слое застывшего ила, в обломках извлеченных со дна ракушек.

Королевский дворец в островерхих золоченых шпицах заструился головами драконов, засверкал лезвиями света, тая в глубине бархатно-алый прохладный сумрак с резными колесницами, тронами, с нефритовым, полупрозрачным Буддой, чуть слышно дышащим, выгибающим стан на высоком среброкованом алтаре.

В министерстве иностранных дел, в приемной, секретарша с тихой улыбкой пригласила его в гостиную, обитую темным шелком, усадила за низкий столик, поставила перед ним высокий стакан с напитком, с плавающими кубиками льда. Он жадно пригубил, останавливая себя, зная, что влага ненадолго остудит его тело, тут же выступит под рубашкой горячей росой. Он, европеец, так и не научился управлять своей плотью в изнуряющей, днем и ночью работающей парилке. Ожидал представителя отдела печати, чтобы сказать на прощание несколько слов благодарности, обеспечить своему преемнику теплый прием и контакты.

В гостиную вошел Сом Кыт, представитель министерства, работающий с социалистической прессой, невысокий, смуглый, с мягкими, осторожными жестами. Его широко-скулое, темнотубое лицо было настоящим кхмерским лицом, знакомым Кириллову по пресс-конференциям, по одной-

двум поездкам, организованным для журналистов. Он поднялся навстречу кхмеру, стараясь в улыбке, в рукопожатии выразить всю меру сердечности, за которой должны последовать слова признательности и нескольких мелких, но важных для преемника просьб.

Кириллова не смущала сдержанность Сом Кыта. Несмотря на внешнюю замкнутость, он был постоянно вежлив, внимателен ко всем пожеланиям корреспондентов.

— Дорогой Сом Кыт,— Кириллов говорил по-французски, придавая своим первым словам полушутливый тон протокола.— Я пришел поблагодарить вас за то добро, что видел от вас все это время. Вы откликались на все мои пожелания, которые теперь, задним числом, могут показаться капризами.

— Я рад вашему визиту,— ответил кхмер на чистом французском.— Я сегодня сам собирался искать вас. Ваша просьба нашла в министерстве отклик. Мы готовы пойти вам навстречу.

— Какая просьба? — не понимая, переходя на кхмерский, спросил Кириллов, чувствуя, что в словах Сом Кыта таится какая-то темная точка, растет, приближается, наподобие стремительной воронки, готова раскрыться.— Какая просьба, дорогой Сом Кыт?

— Месяц назад вы обратились к нам с пожеланием посетить северо-западные районы Кампучии. Я приношу извинение за промедление с ответом. В этой поездке есть доля риска в связи с продолжающимися террористическими актами на дорогах к северу от Баттамбанга. Требовалось время на составление программы и разработку маршрута. Теперь все трудности позади. Я собирался вас известить: мы можем выехать завтра.

Маленький стремительный водоворот приближался, разрывая, отталкивая это солнечное легкое утро с предвкушением отъезда в Москву, с чувством прощального, необязательного пребывания в этом городе, откуда его выносило на самолетных моторах, на нетерпении, на счастливом страстном стремлении в прежнюю, желанную жизнь, уже доступную, уже почти наступившую. Темная воронка, как фреза, увеличиваясь, рассекая острыми кромками эту чаемую жизнь, возвращала на поверхность реальную, исчезнувшую, с прогрохотавшим за окнами военным грузовиком, с обугленным, иссеченным фасадом, с замкнутым смуглым лицом Сом Кыта, выкладывающего на столик программному поездки.

Действительно, месяц назад Кириллов обратился в отдел печати с просьбой организовать для него поездку на северо-запад, к границе с Таиландом. Но ответа так долго не было, что он перестал его ждать. Отказался от поездки к границе, стал готовиться к другой — на родину.

И первая мысль теперь: извиниться перед Сом Кытом, отшутиться, сказать что-нибудь про встречу в Москве, про готовность служить ему гидом в Кремле и московских музеях. А уж эту поездку к границе пусть совершит его преемник, человек достойный и деятельный, с которым ему, Сом Кыту, будет приятно общаться.

И вторая мысль: выйдет некорректно, неловко. Он, Кириллов, поднял эту проблему, заставил работать МИД, вверг в заботы и хлопоты большое число людей, желавших ему помочь. А теперь, когда программа готова и можно отправиться в этот отдаленный, еще не посещавшийся журналистами район, он идет на попятную.

И третья мысль: он не может отказаться, он должен поехать, следуя этике отношений двух дружественных стран, двух людей, пусть не близких, знающих друг о друге не много, но связанных общей работой, общим товариществом, действующих заодно в этой измученной, возрождающейся стране.

И четвертая мысль: ему, журналисту, ученому, опять предоставлен уникальный, счастливый случай видеть, узнавать, понимать. Ввергнуть себя в сверхплотный, непознанный пласт, в такой раскаленный контакт с действительностью, где ценою трат обретается знание о грозном мире.

И пятая мысль: о жене, ничего не ведающей об этом разговоре, укладывающей свои легкие сарафаны и платья, развешивающей их мысленно в московском шкафу.

Эти мысли возникли в нем как единая бесшумная вспышка усталости, тревоги, обостренного, посекундно нарастающего интереса, затмевающего все остальное, переводящего его волю и дух на привычный, оставленный было регистр. И, пройдя сквозь мимолетную, незаметную для собеседника тень, сделав — не логикой, не размышлением, а всей своей сущностью — выбор, он улыбнулся Сом Кыту:

— Не знаю, как благодарить вас за помощь. Надеюсь, поездка будет плодотворной. Если вы не возражаете, я готов познакомиться с программой.

Сом Кыт бережно раскрыл на столе старую, склеенную на сгибах скотчем туристическую карту Кампучии. Стал пояснять маршрут.

Поездка была рассчитана на неделю. Совершалась не самолетом, а машиной по шоссе номер пять, вдоль юго-западной кромки озера Тонлесап, до Баттамбанга и Сиенреапа, с заездом в крестьянские кооперативы, на фабрики, с посещением пагод. Предусматривала встречи с интеллигенцией и духовенством и, если позволят обстоятельства, посещение вьетнамских и кампучийских частей, стоящих на пути у полпотовских, проникающих из Таиланда банд. План поездки был согласован на самом высоком уровне, и Сом Кыту до конца рабочего дня оставалось подписать несколько пропусков, открывающих доступ в военные части, а также разослать радиogramмы в провинциальные комитеты, извещающая о прибытии.

— Еще раз, товарищ Сом Кыт, хочу поблагодарить министерство за эту поездку,— произнес Кириллов по-кхмерски, окончательно оставив тон протокола, перейдя на естественный для спутников тон партнерства.— Я бы хотел узнать, как мы будем решать в дороге проблему ночлегов и продовольствия. Стоит ли брать с собой москитную сетку, запас продуктов?

— Ночевать мы будем в отелях. Обедать и ужинать в ресторанах. В Баттамбанге и Сиенреапе вы можете рассчитывать на европейскую кухню. Единственное, что следует, быть может, с собою взять — это медикаменты.

— Какие именно?

— Профилактические, от лихорадки. Мы, быть может, будем работать в джунглях. И желудочные. Хотя, повторяю, мы будем есть в ресторанах, где соблюдается гигиена.

— Благодарю за совет. В конце концов, от лихорадки и желудочных заболеваний можно защититься москитной сеткой и кипятильником. Это ведь не тайландский снаряд и не гранатомет диверсанта, перед которыми москитная сетка бессильна.

Сом Кыт улыбнулся, сдержанно откликаясь на шутку.

— От возможных случайностей на дорогах нас защитит охрана.

— На какой машине мы едем? — поинтересовался Кириллов, представляя себя и Сом Кыта в своей «мицубиси», а сзади пятнистый, наполненный солдатами грузовик.

— Мы поедем на «тоёте», — сказал Сом Кыт. — Дорога очень плохая, не ремонтировалась пять лет, и нужен вездеход. Машина вместительна и надежна. Кроме нас и шофера поедут два солдата охраны. На похожих «тоётах» перемещаются представители ЮНИСЕФа. Это в какой-то мере

обезопасит нас от нападения из засады. Полпотовцы не стреляют по ЮНИСЕФу, зная, что ЮНИСЕФ доставлял, да и сейчас доставляет, через Таиланд продовольствие в их лагерь.

— Хорошо,— сказал Кириллов, соглашаясь с разумностью доводов.

Белые машины с голубой, видной издали эмблемой международной помощи часто сновали по городу, связывались в сознании людей с поставками риса в недавние страшные месяцы, грозившие мором и голодом. Продовольствие из соцстран поступало другими каналами, не связанными с рекламой.

В своих репортажах и очерках Кириллов писал о советском рисе, спасшем голодающие, обреченные на гибель селенья. О советском бензине, оживившем убитые Пол Потом промышленность и транспорт. О советских портовиках, вернувших к работе пирсы и краны Кампонгсума. О советских врачах, положивших предел эпидемиям в Пномпене.

— Завтра в пять утра машина придет за вами в отель,— сказал Сом Кыт, аккуратно складывая карту.

— Нет,— попросил Кириллов,— если можно, к посольству. Утром я отгоню мою машину в посольство и буду вас ждать у въезда.

— Хорошо,— сказал Сом Кыт.— На всякий случай, я живу рядом с вашим посольством. Дом двенадцать, первый этаж.

— Я очень рад, дорогой Сом Кыт, что мы едем вместе.

— Спасибо,— ответил тот.

Кириллов катил по городу, над которым клубилась желтая едкая туча, бесшумно вспыхивая молниями. Выбирая улицы побезлюднее, он проехал мимо бывшего концлагеря Туолсленг, о котором писал в первых после приезда в Пномпень репортажах,— угрюмого, грязного здания, опутанного колючей проволокой. Теперь тут размещался музей полпотовских зверств, выставлялись орудия пыток, экспонировалась выложенная черепами карта Кампучии, предсмертные фотографии узников, мужчин и женщин, пропущенных через истязания. В глазах у всех было одинаковое выражение близкой, необъяснимой для них смерти.

Он миновал концлагерь, с облегчением оставляя за собой бремя неисчезнувших, накопленных здесь мучений. Чтобы

снять с себя этот гнет, вернулся на многолюдную трассу, медленно ехал среди звонов, визгов и выкриков.

Предстояло немедленно действовать. Заручиться поддержкой друзей-вьетнамцев, подготовить жену, смягчить ее огорчение. Но нечто невнятное, останавливающее, почти цепящее, возникнув в нем, разрасталось, превращалось в чувство тревоги и недоумения.

Он катил по узкому, свободному пространству вдоль осевой, сдувая гудками легких, блистающих спицами наездников, оставляя за машиной ртутный след. Эта тревога, проносимая им сквозь горячий Пномпень с клубящейся тучей, наполненной душным ливнем, была связана не с заботой о предстоящих встречах, не с мыслью об огорчении жены, не с опасностями предстоящей дороги, хотя и это присутствовало в нем. А возникало некое знакомое чувство, что снова, в который уж раз, кто-то незримый, зорко за ним наблюдающий, управляющий его судьбой, легчайшим щелчком от нажатия невидимой кнопки послал команду. И эта команда отклоняет его путь от желанного, того, к которому стремится душа. Коррекция чуть заметным поворотом рулей, и он пойдет по иному, проложенному в чьей-то карте маршруту. Так было всегда: стоило возникнуть ощущению свободы, стоило воспрянуть душе, и она, душа, уносилась в желанный простор, стремясь что-то вспомнить, вернуться туда, где было ей хорошо, где была она дома, как снова — бесшумный щелчок в области сердца, и оно, откликнувшись болью, послушно принимает команду.

Он ехал в смятении по городу, не умея распознать источник этой нацеленной на него воли, действовавшей всю его жизнь, вписывающей его жизнь, стихию его души в задуманный жесткий чертеж.

Застрелявая в клубах перекрестков, тормозя, слыша, как шуршат по машине одежды, прикасаются чьи-то руки, замечая, как быстрые блестящие глаза заглядывают на него сквозь стекло с велосипедных сидений, из повозок, из-за маленьких столиков под навесами, где китайцы, держатели крохотных харчевен, ставили перед едоками чашки с дымящимся супом, с красно-проперченной дунганской лапшой и бутылочки с соевым соком, Кириллов стремился выбрать на безлюдное место. Свернул на пустырь, на красную липкую землю, где огромно, достигая пальмовых лохматых вершин, громоздилась свалка машин, самая крупная в городе. Это было кладбище убитых Пол Потом механизмов, собранных в громадный курган, знаменующее, как было

задумано, окончание эры моторов, начало иной, домоторной эры. Кириллов встал, открывая стекло, пуская в салон струю горячего влажного воздуха.

Пахло цветущими деревьями и кислотой разлагающегося железа, истлевающего и гниющего в едких испарениях тропиков. Казалось, деревья усиленно испускают свои природные терпкие яды, чтобы поскорей уничтожить и растворить отданный им на истребление металл.

Кириллов смотрел на измятые, взметенные вверх скелеты «мерседесов», «пежо», «кадиллаков», на их выдранные, пустые глазницы, ржавые диски, ошметки проводов и пружин. Будто автомобили встретились здесь в страшном одно-временном ударе, спикировали в свалку с разных направлений, высот, смянаясь в металлический ком. Было тихо, беззвучно, но он помнил время, когда вся огромная жестяная гора тихо дребезжала, звенела, охваченная негромкими неторопливыми стуками. Это жители Пномпеня, спрятавшись в недра кургана, вырезали, выколачивали зубилами из мертвых машин последние остатки металла, обгладывая автомобили, выбирая из крыльев, капотов и крыш по лоскуту. Собранные металлические стопки несли на окраины, где вдоль дамб, вдоль сырых, с цветущими ирисами болот толпились рукодельные, наспех возведенные жилища, вбирая в себя прибывающих в столицу крестьян. Они, эти кампучийские крестьяне, терпеливые и смиренные, превращали изделия могущественных автомобильных компаний в свои уютные жилища. Теперь острый кризис жилья миновал. Возрожденные, пущенные заводы и фабрики строили рабочим жилье, сносили убогие лачуги.

Устав от вида обломков, он тронул машину, направившись было в посольство, но снова, желая продержаться в исчезающе-кратком состоянии свободы, проехал сквозь город к окраине, затормозив у телевизионной мачты, мертвой, с разгромленной у основания студией. В сорванные двери виднелись взломанные шкафы с электроникой, тонкие приборы и механизмы со следами остервенелых ударов. Через порог с мокрой земли устремились в помещение цепкие зеленые стебли. Уже ворвались внутрь студии, оплели металл, продолжая бесшумно работу погромщиков. Карабкались на пультах компьютеров, застилали дисплеи, тянулись к дырявому, сквозящему потолку, к самой мачте, норовя добраться до ее железных конструкций, нависнуть, источить и свалить.

Было жутко смотреть на это агрессивное торжество при-

роды, торопящейся стереть все следы ненавистной ей техники, на столь быстрое и простое исчезновение с лица земли плодов человеческой деятельности, казавшихся незыблемыми. Но он знал: оборудование вновь заработает, вновь оживут в домах померкнувшие голубые экраны...

Неподалеку, под могучим дуплистым деревом, оранжевый бонза расставил поминальный алтарь, курящиеся тростинки, нищенскую дароносицу. Сидел, скорчившись, подхватив грязно-оранжевые полы хламиды. На дымки, на куренья шли какие-то медленные печальные женщины, затянутые в длинные юбки, и худые тихие дети с коричневыми, казавшимися огромными глазами. Приближался буддийский Новый год, повсюду обильно курились алтари: поминали убитых.

Кириллов старался в который раз понять мотивы убийства цветущего, полнокровного города, которым еще недавно любовалась вся Азия, убийства не постепенного, не частями, а разом, в одночасье, как были убиты Герника и Хиросима. Пномпень был разрушен не бомбовыми ударами чужой авиации, не ненавистью чужеземцев, а усилиями самих кампучийцев. Одержимые фанатической «крестьянской», «деревенской» идеей, ненавидя цивилизацию, машины, всех, кто стоял у станков, сидел в аудиториях, держал перо или кисть, колонны «кхмер руж» входили в покоренный Пномпень. Заранее, в лесах, в период партизанской борьбы, политическая верхушка полпотовцев планировала избиение госаппарата, военных, университетских и банковских служащих, инженеров, врачей и бонз — всего, что составляло опору культуры. По городу несли военный «джип», и человек с мегафоном, облаченный в черную форму, истошно кричал: «Всем покинуть город! Скоро начнется бомбардировка!»

Началось изгнание из города: жителей — всех, поголовно — строили в долгие стенающие колонны, гнали вон, в поля, на дороги, и «город», отданный на растерзание «деревне», город без жителей, остывал, как тело, из которого вылили кровь.

Он помнил освобожденный Пномпень в первые дни приезда. Распахнутые настежь квартиры с нетронутой на столах посудой. Город простоял так три года до падения Пол Пота, пока не кинулись в него из провинций тысячи изнуренных, обнищавших людей. Ворвались в него, расхватывая, растаскивая рассыпавшуюся в руках одежду и утварь, заселяя многолюдно особняки и дорогие кварталы.

В великих трудах постепенно новые власти возвраща-

ли городу жизнь — подключали электричество, воду, отводили эпидемии, голод, давали работу и хлеб. И медленно, в муках город подымался из праха.

В первые дни работы, наблюдая рухнувший город, он все спрашивал себя: «Почему умертвили Пномпень? В чем природа инстинкта, отрицающего прогресс и культуру? Неандертальский рецидив, ориентированный на джунгли, на пещеры, именовавшийся «кампучийским социализмом»?»

За эти два года, встречаясь с пленными палачами и чудом уцелевшими жертвами, с интеллигентами, скрывавшимися под личиной крестьян, с крестьянами, прошедшими через каторгу, с политиками и военными, вырвавшими страну из гибели, выслушивая бесчисленные, жутко однообразные исповеди об убийствах и казнях, сбивчивую, из демагогии и фанатизма состоявшую апологию «кхмер руж», именуемых в народе «черными воронами», он выстраивал концепцию катастрофы, поверяя ее теорией мировой социалистической практики, отрицавшей Пол Пота как нонсенс. Кампучия была жертвой «пещерного режима», спровоцированного в недрах революционного, меняющего мир обновления.

Было несколько явных и неявных причин, политических, культурно-философских, военных, которые ему, Кириллову, историку, взявшемуся за ремесло журналиста, предстояло оформить в своей будущей диссертационной работе.

Происшедшее не гнездилося исключительно в истории кхмеров, лишь имело свою в ней метафору. Так когда-то Ангкор, цветущий и славный, был покинут людьми, отдан лианам и джунглям, простоял сокрыто века, пока не прорубились к нему археологи, открывая в дебрях дивный заросший град.

Пномпень уцелел, не умер. Раненый, он продолжал жить.

Нгуен Фам, вьетнамский пресс-атташе, знакомый еще по Ханюю, принял его в прохладной гостиной с лаковыми миниатюрами на стенах. Разливал кофе в крохотные чашечки, маленьким улыбающимся ртом, умными веселыми глазами выражая радушие, и Кириллов знал — неподдельное.

— На улице нечем дышать. Наверное, ливень будет. — Кириллов, пройдя из машины к посольскому особняку по бесцветному пеклу, снова успел перегреться. Откинулся в

тень шторы, сторонясь полосы солнца.— Рано в этом году начинается сезон дождей.

— Да, тяжело, вы правы,— ответил Нгуен Фам, излучая сочувствие.— Но за местных крестьян можно порадоваться. Уже начали сеять рис. Ранние дожди — к урожаю.

— Интересно, как вы, северяне-вьетнамцы, переносите климат Кампучии? — Кириллов знал: Нгуен Фам родом из Ханоя. Там они и познакомились во время его первого журналистского приезда во Вьетнам. Их беседы в отеле прерывались воздушной тревогой, рвалось и мерцало в небе от налетов бомбардировщиков, висела красно-дымная трасса от умчавшейся ввысь ракеты.— И вообще, как вы себя здесь чувствуете? Легче вам или тяжелей, чем в Ханое?

— Да как вам сказать? Тогда, под бомбежками, мы были моложе, и многое казалось нам легче. А теперь прошли годы, и многое нам кажется тяжелым. Я хотел вас спросить: как здоровье вашей жены? Как Вера? Я не видел ее на открытии ярмарки.

— Благодарю, она здорова. Считает дни и часы до нашего отлета в Москву. А ваша жена? Почему и ее не было?

— Она сейчас в Хошимине. Ее отец назначен директором фабрики, да что-то заболел. Жена полетела его навестить.

— Передайте Раймонде, если я ее уже не застану: мы с женой часто вспоминаем замечательные хайфонские устрицы, которыми она нас угощала в Ханое вопреки всем воздушным тревогам.

Любезности — от чистого сердца — были произнесены, и можно было приступать к деловой беседе.

— Конечно же ранние дожди — благодать для крестьян. Слава богу, Кампучия может надеяться на хороший урожай.— Кириллов отпил с наслаждением горько-сладкий глоточек кофе.— Но, видимо, ранние дожди — одновременно и помеха для армии. Мешают боевой активности.

— Насколько я знаю,— вьетнамец сделал глоток,— войска стремятся сейчас разгромить в горах последние базы Пол Пота, не допустить инфильтрации из Таиланда новых банд до начала обильных ливней. Противнику трудно будет в сезон дождей проникать через болота и джунгли с продовольствием и оружием в Кампучию.

— Вы знаете, дорогой Нгуен Фам, кампучийцы предложили мне побывать в районе границы, и я завтра еду туда. Считаю необходимым проконсультироваться с вами. Рассчитываю на вашу поддержку.

— Пожалуйста. Мы всегда готовы помочь друзьям. Друзья должны помогать друг другу. Это очень хорошо, что вы едете. Уверен, кампучийцы покажут все, что вас интересует. И мы, разумеется, в свою очередь, пойдем вам навстречу. О чем бы вы хотели просить?

Кириллов мягко, ненастойчиво перечислил ряд хорошо продуманных просьб, связанных с посещением действующих вьетнамских частей, с предоставлением транспорта, быть может, и вертолетного.

— Вот и все,— весело сказал Кириллов, сопровождая свой перечень улыбкой.

— Хорошо,— улыбнулся в ответ Нгуен Фам.— Я обо всем доложу послу. Он помнит вас по Ханю. Он будет рад, узнав, что едете именно вы.

Они пожали друг другу руки, давние друзья, не смеющие загадывать, в каком уголке Азии им еще предстоит увидаться.

Перед тем как вернуться в отель к жене, желая продумать, проверить, все ли дела переделал, Кириллов проехал по набережной, свернул на разрушенный мост, вышел перед распавшейся пустотой, где внизу, в бурунах, ржавели разодранные взрывом конструкции, огромно, слепо катился шоколадный разлив реки, гнили на отмелях поврежденные теплоходы и пятнистые, киями вверх, военные самоходки. К машине подбежали дети, голые, босые и грязные, уставились на него настороженными, испуганными, голодными глазами.

Он приблизился к краю обрыва, чувствуя за собой тревожные взгляды детей. Перед ним, за рекой, в голубых волнистых туманах, лежала разоренная больная страна, населенная сиротами, вдовами. Еще тлела в могилах плоть миллионов убитых, еще в джунглях длилась борьба, там, у границы, еще боялась и пряталась жизнь. Эти синие дали и воды, эти близкие молчаливые дети нуждаются в защите и помощи. Поэтому он отложит свое возвращение в Москву, сядет завтра в «тоёту» и покатит на северо-запад по шоссе номер пять.

Он подъехал к советскому Культурному центру, когда из ворот по двое, по трое, сдержанно-оживленные, выходили кампучийцы — то ли после просмотра фильма, то ли после курсов русского языка. Вера, словно ждала его, распахнула окно библиотеки, крикнула нетерпеливо и весело:

— Иду, иду!

Кириллов, усадив жену рядом с собой, растерялся, боялся взглянуть на нее, поспешно рванул машину вперед, а въехав в поток, боясь расспросов, включил кассету, заслоняясь гремящим, яростным диксилендом от ее близкого, счастливого лица.

— Осторожней! — охнула она, когда он вплотную промчался мимо возницы, везущего на велотележке гончарную башню горшков, обогнал тяжелый армейский грузовик, в котором с автоматами сидели вьетнамцы. — У меня ведь ужина нет, ты помнишь? Помнишь, что мне обещал? — Она легонько, пальцами, коснулась его затылка, и это была не только нежность, но и просьба ехать потише. И он, сбавляя скорость, усмехнулся их тонкому, безошибочному знанию друг друга. — Ты помнишь, что обещал?

— Конечно. Поужинаем под полосатым тентом.

Они вышли у ресторана с открытой верандой под натянутым полосатым тентом. Прошли мимо стойки, где хозяин-китаец, откупоривая толстобокую бутылку, им поклонился. Миновали большой зал, пустой в этот час, с рекламными плакатами польской и чехословацкой авиакомпаний на стенах и негромким, для услаждения слуха, джазом. Очутились в заднем, с прогалом на улицу, помещении, продуваемом ветром, с маленькими, не слишком опрятными столиками, за которыми сидели кампучийцы, поглядывали на перламутровую пивную пену в своих стаканах, кидали в пенные пузыри кубики льда. Едва они устроились за столиком так, чтобы видна была улица, металлически потемневшая от тучи, с чьей-то сорванной соломенной шляпкой, мчащейся среди спиц и педалей, к ним подошла жена хозяина, широколистая, увядающая китаянка, устало улыбаясь, расставила перед ними приборы, блюдечки с белыми хлебцами, свежими, испеченными из пшеничной душистой муки.

— Ты вибирай. В прошлый раз я выбирала, теперь, пожалуйста, твоя очередь. — Она отдала ему карту и тут же добавила: — Пожалуйста, угости меня супом из креветок, если их привезли сегодня из Кампонгсома. И возьми, я тебе советую, на прощание две порции лягушек. В Москве, я знаю, ты будешь вспоминать о лягушках и требовать, чтобы я пошла на болото с сачком и ведрами. Так что закажи земноводных, торопись напоследок!

Он передал заказ китаянке. Отказался от пива, но попросил принести две рюмки камю. Смотрел, как она вдале-

ке за стойкой снимает черную пузатую бутылку, оттирает пыль, наполняет рюмки. Рядом, в проеме, шелестела, мерцала улица. Два служителя-китайца мускулистыми худыми руками перевортывали прозрачную глыбу льда, несли ее, отекающую водой, в ледник, где хранилась свежая рыба моллюски, омары, привезенные торговцами с побережья. Вера, не замечая его состояния, была говорлива, трунила над ним — над его недавней слишком короткой стрижкой, над его буддийской манерой улыбаться по всякому поводу, даже по поводу лягушек и устриц. И он не мог улучшить минуту, чтобы сказать ей, разрушить столь любимые в ней веселье и легкомыслие, не частые в последнее время.

На крохотном подносе китаянка принесла коньяк. Он сам снял рюмки, и Вера подняла свою, щурясь, собрав у глаз тончайшую кисею морщинок, напоминавших крылья бабочки. Она не увяла, не изменилась резко за эти годы, а лишь поутихла, погрустнела, посмуглела, утратив млечную девичью свежесть и горячий, слишком яркий румянец, созвучный с тем давним троицким днем: млечность — со снегами и тихими, в сугробах, метелями, румянец — с зорями и снегирями на дорогах. Он, прожив с нею свою молодость и зрелость, пройдя через ссоры и взаимное раздражение, порой тяжелое, нападавшее на обоих уныние, утомление друг другом, а однажды почти потеряв ее, он мог сказать, что не было, помимо нее, женщины для него. Он исчерпывался ею целиком. У них не было детей, он чувствовал их отсутствие как постоянную боль, сочетавшую их в безмолвное, на бережении основанное единство. Он суеверно думал о себе и о ней как о людях, волей судьбы не имеющих продолжения в будущем и нашедших свое завершение друг в друге. Смотрел на ее узкое запястье, охваченное гибким индийским серебром, на золотистую рюмку у ее губ.

— Ну вот, мой милый,— начала она, чокнувшись с ним мимолетно.— Слушай, что я тебе скажу. Что собиралась сказать весь день, поджидая тебя. Вот видишь, подходит к концу еще один наш с тобой срок. Как и те другие, прошедшие. Я ведь помню тебя еще тем молодым аспирантом, которого мы, первокурсницы, боготворили. А когда ты покинул цивилизацию и уехал в деревню, мы распускали о тебе таинственные слухи, строили фантастические предположения. Помню тебя деревенским мужичком-лесничком в твоём добровольном изгнании. Видите ли, пожелал жить на природе, «осознать себя в мироздании»! Я приехала в Троицкое поразведать о тебе, подивиться на твое место в миро-

здании. Как видишь, так и дивлюсь по сей день. Помню, как ты укатил на целину, на осеннюю жатву, прямо после свадьбы, из-под венца. Ты говорил, что хочешь проверить свою способность быть вместе с народом в самые трудные его часы, а мне казалось все это надуманным, невозможным, обидным для меня: как ты мог меня покинуть? Ходила в университет, сдавала зачеты, ждала твоих писем, плакала от обиды и любви к тебе. Помню тебя солдатом, — худой, измученный, приехал в отпуск, и твои ночные пробуждения, вскрики. Все тебе казалось, что на Москву летят враждебные ракеты и тебе надо куда-то бежать, на какой-то твой пост. Помню тебя ученым, как ты писал свою кандидатскую, пропадал в Историчке, в Иностранке, а я поджидала тебя у Яузы, и как хорошо нам было идти до Лефортова, и на той осенней, черной, ночной воде в прудах плавали утки. Помню наше темное время, о котором говорить не хочу, вычеркиваю его и вымарываю. Твое газетное время, бесконечные проводы, возвращения, ночные твои появления, твои рассказы, твои сувениры — то цветок из пустыни, то камень с какой-то горы, то лоскут алюминия из крыла самолета, то глиняный лепной петушок. И потом Вьетнам, пекло, самый разгар этих ужасных бомбежек. Я раскрывала газеты, колдовала, заговаривала заголовки корреспонденций. Отводила от тебя их самолеты, их авианосцы, чтобы они не долетели, не доплыли, промахнулись, разбились. Может, эти мои колдования помогли в той войне вьетнамцам? Помню наше краткое, последнее, казалось, такое спокойное, такое прочное житье в Москве, наш новый дом, к которому успели привыкнуть, обилие свободного времени, обилие у тебя интересной работы, замечательных, приходивших к нам в гости людей, ваши бесконечные, исполненные дружелюбия диспуты. И опять ты сорвался с места, опять понесся — за новым, как ты объяснял мне, опытом. И вот теперь Кампучия, наш пномпеньский период. Тут было много страшного и жестокого, но и важного для меня, для тебя. Об этом будем еще вспоминать, извлекая, как ты говоришь, «уроки и наставления для старости». Но я рада, что он кончается, этот период, и мы скоро будем в Москве. И я хочу тебе сказать, мой родной, самое подходящее время сказать, что я тобою горжусь. Твоим умом, твоей волей и храбростью. Знаю, дома все это превратится для нас в какое-то новое качество. Для тебя, должно быть, в твою диссертацию. Для меня? В продолжение моей к тебе любви и служения. Вот и выпьем за это!

Они выпили, глядя, не мигая, друг другу в зрачки, слыша близкий над крышами гром. Двое прохожих вбежали под тент, спасаясь от пыльного ветра, смеясь, указывая пальцами на сорванные с голов, колесом катящиеся шляпы.

Им принесли суп из розовых, бледных креветок, остро-сладкий, с плавающими ломтиками ананаса. Они черпали ложечками-совочками ароматную гущу, откладывали на блюде колющие панцири вываренных креветок. Китайка принесла две тарелки обжаренных нежно-золотистых лягушек, и они брали руками хрупкие конечности с нежными белыми мускулами, очищали до блестящих косточек.

Подошел хозяин, один из немногих хуацяо, китайцев, живущих за пределами Китая, кому новые власти позволили открыть ресторан. И он умело воспользовался дозволением. В его заведении всегда была свежая рыба, отменные мясо и птица. Он с поклоном осведомился, всем ли довольны гости. Улыбнулся Кириллову как старому знакомому.

Под тент залетел, пробежав по стеклянным рюмкам, отблеск молнии. Треснуло, ударило в крыши, и на камни, на асфальт, превращаясь у земли в белую пыль и пар, рухнул ливень, тяжелый, сплошной, горячий, плюща, разгоняя толпу, расшвыривая к стенам велосипедистов.

Они смотрели из-под тента на водопад, у Веры было изумленное, восхищенное лицо, и он, одолевая шум ливня, неуверенным голосом произнес:

— Знаешь, я все медлил... Все не хотел тебя огорчать... Нам придется ненадолго отложить наш отъезд. Ненадолго, дней на десять...

— Что? — Она повернулась к нему, и он успел разглядеть колеблющуюся грань на ее лице, как бы между светом и тенью. Между недавним, все еще длящимся ликованием и испугом, набегающим, как тьма, готовым обратиться в страдание. Его поразила эта черта, словно бритвой рассекающая надвое ее лицо.

— Помнишь, я обращался с просьбой в МИД организовать мне поездку к границе? Ну, помнишь, я тебе говорил? Так вот, они дали согласие. Завтра утром еду на северо-запад, к границе. Все уже решено. Может, и к лучшему? — пытался он ее заговаривать. — Увижу Ангкор. А то что скажут наши в Москве? Жить в Кампучии и не увидеть Ангкора! Видишь, мечты сбываются...

— Я чувствовала, ты что-то таишь. — Она медленно качала головой, и он испытывал муку, видя эти горестные покачивания. — Сразу в машине почувствовала. Боже мой,

почему нельзя быть ни в чем уверенной! Неужели всю жизнь надо чувствовать, что ты живешь на вулкане? Почему тебе надо ехать? Твой срок окончен! Сюда едет сменщик Лукомский! Вот пусть он и отправляется к границе! Полон сил, полон газетного рвения! Все хвастался в Москве, что лучший среди вас знаток восточной архаики. Вот и увидит Ангкор! Почему именно тебя, измотанного, истрепанного лихорадкой, на последнем пределе усталости, перед самым отлетом в Москву, где кончишь с этой газетной чехардой, станешь нормальным человеком, почему тебя на границу, в джунгли?

Она почти кричала сквозь хлюпанье и стуки воды. Два кампучийца за соседним столиком на нее оглянулись. Кириллов беспомощно, желая отвести ее тоску, прервать ее болезненные причитания, неловко шутил:

— Как почему меня? Ты же знаешь, я крупнейший специалист по границам. Все с чего началось? В Троицком, ты помнишь, мы устанавливали границу между нашим и соседним лесничеством, и я брал тебя с собой на санях, и ты правила нашей лошадкой, и вывалила-таки нас с лесником в сугроб. Ты помнишь?

На мгновение, от воспоминания или от молнии, в глазах ее стало ярко и слезно. Она быстро накрыла его руку своей

— Прости,— сказала она.— Прости. В котором часу ты едешь?

— В пять утра.

— Надо идти собираться.

— Да есть еще время! Дождь переждем. Что собирать-то? Положи рубашек штук пять. Кипятильник, чай. Да пару бутылок водки. Все уместится в сумку.

— Консервы, пакеты с супами? Может быть, кастрюлю, посуду? Где вы там будете есть? Где спать? Боже мой, да ведь там малярия!

— Да что ты! Спать и есть мы будем в отелях. Баттам банг — вполне цивилизованный город. Со мной едет чиновник МИДа, Сом Кыт, ты его знаешь. Сделаю дело и скоро вернусь.

— Господи!..

Ливень кончился, превратился в испарину. Улица в туманных сумерках стеклянно блестела. Мчался по асфальту клокочущий темный поток. Дети, визгливые, голопузые, барахтались, торопились вымокнуть, плюхались животами в воду, окатывали друг друга. Их родители, стоя на балконах и в открытых дверях, не мешали им, радовались дож-

дю. И уже мчались велосипедисты, подымая на спицах прозрачные перепонки воды.

— Пойдем,— сказала она уже иным голосом, собранная, озабоченная, устремленная в предстоящие сборы.— Поглажу тебе в дорогу рубахи.

Они лежали в номере без огня, приподняв марлевый полог. Он смотрел на ее лицо, близкое, чуть светящееся, на ее ноги, вытянутые, отливавшие во тьме серебром. В потолке чуть слышно лепетал вентилятор. Сквозь открытую балконную дверь виднелась улица с последним перед комендантским часом движением. Торговец соками устало толкал по мокрому асфальту тележку с затепленной лампадкой, похожую на алтарь. Напротив, в доме без электричества, зажигались масляные светильники, озаряя внутренность комнат. Мужчина, полуголый, пронес на худой руке светильник, поставил его куда-то ввысь. Женщина кормила грудью ребенка. Другая, в соседнем окне, стелила на пол циновку, подвязывала москитную сетку. Знакомые, изученные до мелочей мирки, бесшумно, наивно открывавшие себя — свои труды, утехы. И уже катил по улице «джип», и солдат, высываясь с мегафоном, возвещал начало комендантского часа, сдувал последних прохожих, последних возниц с лампадами, гасил на фасадах окна, будто кто-то невидимый летел над городом, тушил огни.

Кириллов чувствовал ее близкое дыхание, ловил смуглый отблеск на голом плече. Старался поместить голову так, чтоб огонь далекой — из окна напротив — лампы лучился в ее волосах.

— Поймай какую-нибудь музыку,— попросила она,— нашу, русскую...

Он положил себе на грудь маленький прохладный транзистор, включил, пробежал диапазоны, надеясь уловить и услышать сквозь хрусты и скрежеты далекий родной напев, подобный тому, что когда-то звучал в их зимней жаркой избе. Блестел самовар, пестрели на клеенке рассыпанные тузы и валеты, краснела недопитая рюмочка с ягодкой горькой смороды, и тетя Поля, восхищенная, умиленная, среди фикусов, чугунков и занавесок, старушечьим, с каждым куплетом молодеющим голосом запевала: «В островах охотник цельный день гуляет...»

Он крутил транзистор, но на грудь ему сыпались колючие вспышки, ударяли чужие голоса и звучания. Повсюду, куда бы он ни кидался, желая пробиться на север, его встречали заслоны. Бурливый Китай и Таиланд, кипящий Гон-

конг, kloкочущие Сингапур и Малайзия. Били в бубны, свистели на флейте, окружали энергичной, быстрой речью. Он почувствовал себя в ловушке, испытав душный мгновенный обморок, словно на потолке выключили вентилятор. Весь эфир представился вдруг наполненным жалящими пламенными язычками, маленькими летающими драконами с красными ртами, цепкими колкими лапками, кольчатыми, перепончатыми хвостами.

Она протянула руку, убрала, заглушила транзистор. Наваждение исчезло. Ее прохладная ладонь скользнула ему на грудь. И он торопливо, благодарно прижал ее к себе, обретая вновь дыхание, биение сердца.

Из руки ее прямо в грудь лилась прохлада, расцветало хранимое, сберегаемое, принесенное сюда через хребты и пустыни, сквозь кровавую бойню, сквозь бремя прожитых лет чудо, видение того далекого, исчезнувшего дня, когда они были молодыми. Их Троицкое, зима, снегопады, заячья лежка в кустах...

Он просыпается от шагов тети Поли. Она нарочно, чтобы наделать побольше шума, наступает на самые шаткие скрипучие половицы. Бормочет, ворчит будто бы на полено — его сухой березовый стук слышится в печке — или на сковородку — картошка начинает гневно шипеть, ее горьковатый дух витает по дому, и кот, унюхав жарено, вякает и мурлычет. Но на самом деле все эти шумы — чтоб разбудить его, разрушить его молодой крепкий сон. Наконец она не выдерживает, грохочет чем-то длинным, то ли кочергой, то ли ухватом, отчего многоголосо и разом отзываются самовар, чугунки, стаканы, ведра, умывальник, и она среди этого хора восклицает:

— А ну-ка вставай у меня, а то лесники придут и девуку твою уведут!

Он открывает глаза. Крохотное оконце синее, до половины заваленное снегом. Куст шиповника, верх забора — в белой волнистой бахrome. У окна, в полутьме, его рабочий стол с кипой книг и бумаг. С потолочной балки свисает и медленно кружится голубоватая шкурка убитой белки. Ружье на стене. Залатанный полушубок. На ременной петле клеймо лесного объездчика, чугунное, с деревянной ручкой. Ситцевая — вместо дверей — занавесочка. И, глядя на ее цветочки, он окончательно просыпается, испытывая похожую на испуг радость: там, за перегородкой, она, его Вера,

должно быть, уже не спит, притаилась под одеялом, на высокой, с никелированными шарами кровати, прислушивается, как он там, то есть здесь, за перегородкой. И мгновенная мысль: опять сегодня будет огромный, наполненный ее присутствием день, бег на красных охотничьих лыжах, запах мороза и сгоревшей солярки, гомон мужиков на лесосеке, и вечером, как и вчера, они втроем станут играть в карты, будет свистеть, переливать через край самовар, и кот ляжет на половик, черно-бархатный среди бело-голубой чересполосицы, и может быть — об этом страшно и сладко думать, — может быть, это случится сегодня, желанное, ожидаемое, отдаляемое ими обоими, присутствующее уже в этих новогодних солнечных днях, морозных звездных ночах.

— А вот я на вас сейчас кота напущу, — шумит тетя Поля. — Он-то вас, лентяев, подымет!

Они завтракают втроем, тыкая вилками в горячую масленую сковородку. Из угла, из коричневых рам, смотрят на них образа в желтой и белой латуни с бумажной выцветшей розой, с линялым пасхальным яичком, и в их блеске — что-то новгоднее, елочное. Тетя Поля мигает глазками, поглядывает на них хитровато, а они то смело взглядывают друг другу в глаза, то смущенно озираются на фикусы, на белую печку, на фотокарточки на стене. Вера в синем пушистом свитере с высоким, под подбородок, воротом. Волосы черно-стеклянные, отражающие снег за окном, а румянец столь ярк, что ему хочется тронуть губами этот близкий жар на щеке.

— Не смотри на меня, — просит она, и он испуганно отводит глаза в окно, где розовеет, искрится перед восходом сугроб, разрезанный лыжным следом, где вертится на заборе прилетевшая сорока и шагают совхозные шоферы в валенках, оклеенных красной резиной, заводить в гараже свои стые обшарпанные грузовики.

— Ну вот что теперь, — командует тетя Поля. Все эти дни она их наставляет, опекает, бережет друг для друга, и они покорно ее слушаются, верят: она желает им добра, своим мудрым разумением ведет их по этим огненным дням. — Хозяин в лес, на работу. А ты, хозяйка, хотела пирог испечь. Сегодня, так и знайте, гостей ждать. Будут малеванные по избам ходить, цыганить. У меня бутылочка красенького припасена. А пирог давай вместе печь. Ступайте сейчас к Куличихе, молочка принесите. У них прошлым месяцем отелилась корова.

Тетя Поля достает глиняный узкогорлый кувшин с по-

тресканной синеватой поливой, обтирает края полотенцем, передает Вере. С кувшином они выходят на улицу.

Небо красное над горой. Солнце не встало, но близко. Из-за леса, зубчатого, черного, поднимаются два румяных столба, колеблются, движутся, и он суеверно связывает их с Верой, с собой: «Это мы... О нас... В этот день...» По заре высоко, маленькая и точеная, летит сорока. Застывшая, вмороженная в лед, розовеет колонка. Блестит врезанный в дорогу розовый тракторный болт. Соседка, несущая ведро, несет в них расплавленный розовый блеск.

— Скажи сюда что-нибудь,— она протягивает ему кувшин, и ему кажется, что в его бездонную глубину вловлено это утро, столбы зари, крохотная острохвостая птица, облачко пара от Вериного дыхания. Приближает губы к кувшину, говорит в его бездну:

— Люблю!

Они идут мимо изб. В окнах, в каждом, в сумерках топится печь. На мгновение возникает озаренный овальный зев, ленивое чадное пламя, темная тень хозяйки. И кажется, печи смотрят своими черно-красными ликами на них, идущих куда-то, провожают их.

Они заходят в избу к Куличихе. Тепло, пахнет дымом. Пущенное во всю мочь, играет радио. В печке рассыпалось на угли сгоревшее полено. Угол избы отгорожен жердями, и на соломе коричнево-темный теленок хмуро смотрит угольным глазом. Худая белесая девочка тормозит растрепанную куклу.

— А бабуня во дворе, доит,— тихо сообщает она.

В тесном парном сарае, наполненном коровьим дыханием, свистят молочные струйки. Куличиха, костлявая, сухая старуха, цепко, ловко оттягивает соски. В дальнем углу, где насест с неподвижными курами и гора малиново-золотого навоза, раскаленно светится крохотное замусоренное оконце. Луч низкого солнца, пронзив сарай, впился в коровий бок, сверлит, жалит, отражается на кромке ведра, на косах и вилах, на сухих травинках. Под кровлей, очнувшись, процокал, переступая когтями, петух, загорелся, как слиток в луче.

— Сейчас, погодите, налью! — Куличиха перекрещивает, передвигает белые спицы молока, вкалывает их в клочущее ведро.

Они ждут. Он смотрит на Веру, стоящую среди солнечных пятен, развешанных по стенам грабель и кос, старых бензопил, мотоциклетных колес, и она ему так дорога, так

хочется ее вот такой и запомнить, и она, угадав его мысль, говорит:

— Ты думаешь, я не смогла бы жить здесь, с тобой? Доить корову, топить печь, носить на коромысле воду, шубу тебе латать, пока ты бродишь в своих дремучих лесах. Думаешь, не смогла бы?

Они идут обратно по накатанной, уже белой дороге. Вмерзший тракторный болт как осколок стекла. Грузовик обгоняет их, за стеклом — малиновое ухмыльнувшееся лицо шофера. Он несет молоко в кувшине. Оно дымит. Теперь ему кажется, что это из млечной белизны, из кувшина родился морозный утренний мир, белые поля, небеса, заин- девавшая колокольня, незастывшая, в дымке, река, далекий стучащий трактор, распахивающий клином снега. И такое знание о добром, истинном устройстве земли и неба! Так он любит ее! И как бы в продолжение этой любви, перенося ее на все сущее, он любит Куличиху, тетю Полю, петуха на насесте, белоснежную равнину с блестящими метелями. И, протянув ей кувшин, говорит:

— Выпей!

Стоит, улыбается, смотрит, как пьет она парное молоко на зимней дороге.

Теперь, спустя столько лет, оглядываясь в тот давнишний, исчезнувший год — из метелей, из весенних ручьев, из цветов, вспыхивавших на лугах и полянах, он спрашивает себя: что оно было, это скопившееся в нем ожидание, наивно открытая вера в свою неслучайность, в свой путь, в который он нацелен подобно каленой стреле, взведен на упругой, готовой метнуть тетиве? И не было при этом цели, которую он должен пронзить, а только светоносное, подобное небу будущее, где щедро уготованы ему вера, любовь.

Вернувшись в Москву из Троицкого, едва поселившись с Верой в их маленькой комнатке на Селезневке, где трамвай, поворачивая, сбрасывал с дуги синюю шелестящую искру, он уехал на целину, на жатву, объясняя Вере этот поспешный отъезд своим призванием историка, желанием понять свое время, свой народ, совершающий вмененный историей труд.

Его письма к ней, которые он спустя много лет перечитывал, найдя их в лаковой лаосской шкатулке с инкрустированной цаплей на крышке, — письма, наполненные молодой риторикой, не подкрепленной опытом умозрительностью, показались ему интересными именно этой наивной свеже-

стью, искренним изумлением перед возможностью видеть и знать.

Те длинные, идущие за Урал эшелоны с новыми тракторами, комбайнами, мерцавшими лаком и стеклами, в куमाчах, транспарантах, напоминали ему парадное шествие. Он заражался их праздничностью, испытывал пьянящий восторг. А потом — зрелище огромной мастерской в открытой степи, где были собраны изуверченные в жатве машины с проломленными бортовинами, лопнувшими гусеницами, будто они расстреляны в упор из пушек, подорвались на минах. Усталые ремонтники в робах тыкали электродами, меняли узлы и детали, готовили машины к новой встрече с пшеницей, с этой изумрудной, шелковой степью, где наливаются, зреет удар урожая. И он, глядя на изъеденное, сожженное хлебами железо, начинал догадываться о жестоких столкновениях природы и техники, о тяжком, непомерном труде человека, добывающего хлеб насущный.

Он поселился в длинном, сбитом из щитов общежитии, в переполненной комнатке, где молодые крепкие парни, грубоватые на шутки и выходки, подобно ему учились водить комбайны, махали топорами на постройке коровника, латали прохудившуюся крышу зернохранилища, гоготали, пили вино, схватывались в коротких, быстро остывавших ссорах смыкались тесно над общим котлом. Молдаванин, грузин, чуваш, белозубый полтавский хлопец, длинноносый, с тонкой улыбкой латыш, быстрый в движениях, похожий на кавалериста казах, — он попал в их пестрое братство, в их многоязычье, где от каждого лица проецировались образы двух земель и народов, сочетавшихся в единую общую землю, в единый общий народ. И это единство во множестве вошло в него как знание о своем стомерном отечестве, из бессчетных дыханий слившемся в одно могучее, как эти степи, дыхание.

Погиб на дороге, рухнув в провал моста, их товарищ, татарин. Они несли его гроб на малое, за поселком, кладбище, менялись ношей в пути. Он смотрел, как к тесовым доскам припадает то раскосое лицо казах, то худое белобровое латыша. Готов был плакать, не стыдился близких слез. Проходили мимо мехдвора, где работал, крутил мотоцикло комбайн, мимо домов с выходящим навстречу людом. Сквозь горе, подставляя плечо под гроб, не умом, а сердцем, всей своей болью чувствовал: они — едины, они — одно. В гульбе, в трудах или в горе они — единый народ, одна, на шестой части суши, артель.

Написал ей об этом письмо. Вложил в него вырезку из местной газеты, свой первый напечатанный очерк, кинув в конверт колосок. В ответ она прислала ему рисунок: себя, сидящую у окна, за окошком трамвай, на столе колосок.

Целинная жатва, единственная в его жизни... Хлеба созревали, давили, теснили дороги, тревожили, будили ночами своей безымянной могучей силой, своим белым в ночи колыханием. Он выходил по утрам на бугор, чувствовал счастливым, страшась сердцем веющую из степи непомерную мощь, с которой ему предстояло сразиться.

Первый выход в поле. Красные, с крутящимися мотовилами, похожие на самолеты комбайны тронули ниву, ударили железом в белое стекло, надкололи. Закружили над нивой красной жужжащей эскадрилей, окутываясь стрекотом, блеском, вываливая за хвостами белые взрывы соломы. Укладывали в грузовики желтые литые слитки пшеницы, и машины, отяжелев от зерна, уезжали на ток. Ему на мостике, под матерчатым тентом, казалось: из-под брезента, из кузова, высвечивают золотые полосы света, и грузовик уносится, охваченный сиянием.

Первые дни работы от синей зари до малинового вечернего солнца. Щедрая трата молодых непочатых сил, когда в обед сходились в круг, гремели ложками, подмигивали, подшучивали, успевали схватиться в короткой возне, пихнуть кулаком соседа. Разбегались к комбайнам с удалыми пшеничными лицами наездники на грохочущих красных машинах.

И первая усталость, когда хлеба все вставляли и вставляли перед стригущим железом. Солнце как огромный, опущенный в степь электрод. Злые вспышки, хруст, скрип на зубах, кислая из фляги вода. Казалось, нива, едва он по ней проезжал, вновь зарастала хлебом, и он терял счет пространству и времени. Молчаливые, утомленные, сходились к котлу. Он заметил, как покраснели, слезятся глаза у казаха. Как усох, покрылся черной щетиной грузин, двигал худым кадыком под отвисшим воротом свитера.

Ломались мотовила и зубья, изъеденные шелком хлеба. Сообща ремонтировались, подползая под железное брюхо, касаясь друг друга кулаками, плечами, звеня инструментом, возвращая машину в жатву. Приходили с работы и падали в короткое, на три часа забытие. И во сне продолжали нестись колосья, мерцали стрекозы, взрывались копны соломы. Он уже не писал ей письма, некогда было писать.

Для него, горожанина, не привыкшего к тяжелой работе,

настал момент измождения, когда утром не захотелось вставать. Навалилась усталость, желание, чтоб его оставили здесь, на железной койке, как некогда мать по его капризу и жалобе оставляла дома, позволяла пропускать занятия в школе. Но он одолел в себе слабость, бросился догонять комбайнеров, черных, худых, шаркающих кирзой по стерне.

Пошли вдруг дожди. Под низкими, текущими с севера тучами пронеслись и исчезли стада легконогих сайгаков, и за ними, словно догоняя их, повалил белый снег. Неубранная пшеничная степь замутилась метелью, и комбайн молотил белые хлопья, и грузин-комбайнер под сорванным тентом, весь в снегу, дыша паром, был как снеговик с угольными глазами.

Ранние сумерки. Каменно-синяя, придавившая степь заря. Срезанные валки пшеницы запаяны в лед, в непрерывный хрупко-блестящий желоб с замороженными колосьями, васильками, стрекозами. Впереди по валку, разминая его и раскалывая, катит грузовик, и шофер из Полтавы высывается из кабины своим закопченным, похожим на печной зев лицом, что-то кричит. А он не слышит сквозь вой шкивов, сидит за штурвалом, в обледенелой на спине телогрейке, ломая движеньем лопаток негнувшийся железный доспех. И такая усталость, такая немочь, что впору бросить это дикое, не имеющее скончания поле, каменную, неживую зарю, непосильный, не его, не ему предназначенный труд и уехать прочь — к свету, к теплу, к милым сердцу. И такая слабость души, чувство тщеты придуманного самому себе испытания!

И вдруг от зари, от седых, переполненных снегом туч явилась ему она, его Вера. Присела рядом на мостик, обняла горячей рукой, поднесла к губам гулкий, парной кувшин...

Добыли последний хлеб. Шли молчаливой гурьбой, оставив под дождем избитые, с прогнутыми бортами комбайны.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На рассвете Кириллов уселся в машину, принял от жены дорожную сумку с припасами, обнял ее, не вставая с сиденья, поймав на себе всевидящий взгляд голоного юркого портье.

— Возвращайся скорей! Чтоб все было хорошо! — торо-

пилась она сказать.— Рубашки у тебя в целлофане. И там же платки.

Она вскользь, промахиваясь, коснулась губами его виска, и улыбка ее была беспомощной, а глаза знакомо-испуганными, умоляющими.

— Через неделю! — Он нарочито браво и резко захлопнул дверцу, отсекая себя от нее. И облегченно, как бы на время о ней забывая, пустил машину, обращаясь всем своим существом и энергией в предстоящее дело. Видел в зеркальце, как, удаляясь, она смотрит на него, скрывается, превращается в невидимый, следящий за ним неотступно луч, в котором ему двигаться, жить.

Он подъехал к дому Сом Кыта, позвонил в облезлую дверь запущенного двухэтажного здания с металлическими жалюзи на окошках. Должно быть, прежде это был магазин, еще сохранилась на фасаде полустертая вывеска. Открыл Сом Кыт. На мгновение удивился. Затем смутился. Мимолетное выражение недовольства проскользнуло на его смуглом лице. Видно было, что ему неприятно открывать чужому свой унылый, обнаженный быт, голые стены, квадратное, тускло освещенное торговое помещение, где среди неуютных шкафов и кроватей стоял мотоцикл, верстачок с инструментами и запасными частями,— полугараж, полужилье, в котором вынужден был обитать работник МИДа. Жена Сом Кыта, немолодая, с худым, робким лицом, укладывала саквояж. Замерла, подняв на Кириллова глаза. И тот, извиняясь и кланяясь, не ступая дальше порога, вдруг почувствовал острое сходство между этими сборами и своими, недавними. Он сам и Вера, Сом Кыт и его жена, неустройство жилья, отсутствие в доме детей — все было неуловимо похоже.

— Дорогой Сом Кыт,— произнес Кириллов,— я только хотел убедиться, остались ли в силе наши планы.

— Я приеду к посольству через десять минут,— ответил Сом Кыт. Его жена виновато улыбалась Кириллову, будто о чем-то просила.

Кириллов загнал машину за ограду посольства, пустынного в этот утренний час. Передал ключи дежурному, пожелавшему счастливого пути. Направился на улицу, где в зеленой глянцеvitой листве уже солнечно золотилось на вершье пагоды, одной из немногих, восстановленных после погрома.

Хрустя и урча, подкатила белая «тоёта» с помятым, наспех выправленным и подновленным крылом. Сом Кыт

распахнул створки в торце, и двое солдат, оставив на сиденьях автоматы и вороненую трубу гранатомета, гибко выпрыгнули на землю. Маленький мускулистый шофер тут же открыл капот, сунул в горячую глубину свои крепкие ловкие руки.

— Что-нибудь не в порядке? — как бы между прочим спросил Кириллов, сам же цепким взглядом осматривал машину, ее стертые, без протекторов шины, наспех замазанный рубец на крыле.

Солдаты, молодые, в кофейной выглаженной униформе, улыбались Кириллову, радуясь предстоящей поездке, воле без муштры и казармы.

— Все в порядке, — успокоил его шофер. — Аккумулятор старый, слабый. А остальное в порядке.

— Тогда едем, — сказал Кириллов, передавая сумку солдатам, усаживаясь рядом с шофером, дружески кивая Сом Кыту.

Пномпень в золотистом солнце промелькнул за стеклами своими руинами, дворцами и пагодами. Меконг ударил бесшумной слепящей гладью. И синее пустое шоссе номер пять зашелестело под колесами их белоснежной машины.

Колеса шелестели лишь первые полчаса. Шоссе перестало быть синим и гладким, превратилось в рваную корку ломаного асфальта. Выбоины и колдобины шли непрерывно, словно трассу долбили снарядами. Машина билась, проваливалась в дыры с жестким хряском. Удары сквозь изношенные амортизаторы отдавались в черепе. Автоматы, труба гранатомета, липкая бочка с горючим подскакивали, колоутили людей. Кириллов, боясь стиснуть челюсти, оглядывался на трясущихся, страдающих солдат, ждал очередного падения в яму. И только маленький скуластый шофер крутился как выюн за рулем, пытался вписать «тоёту» в немыслимый, непрерывный зигзаг.

Они нагнали огромный разболтанный грузовик, ржавый и пятнистый, с поломанными бортами. В кузове тряслось заржавелое, в дырах сооружение, похожее на вытяжной шкаф. Пытались обогнать грузовик, но медленная громада громыхала и виляла среди ямин, загораживая бортами шоссе, и не реагировала на гудки. Кириллов задыхался от жары и пыли, дымившей из-под грузовика. Не мог понять, куда и зачем движется по мертвой дороге доживающий

век грузовик, везущий мертвый, отработанный хлам, не годный даже в мартен. Будто этот грузовик был послан ему из недавнего, уже миновавшего времени как напоминание о только что пережитой беде, о рухнувшей стране и хозяйстве.

Водитель чертыхался, сплевывал пыль, давил на сигнал, пытаясь сунуться в объезд на обочину. Но грузовик будто угадывал его намерения, тут же подставлял измызганный борт, сыпал на ветровое стекло сухую, рыхлую пыль. Один солдат не выдержал, что-то крикнул, оскалась, открыл окошко, выставил автомат и дал в воздух долгую злую очередь. Грузовик остановился. «Тоёта» обошла его, солдаты кричали, грозили кулаками, а из высокой кабины с расколотым стеклом смотрело усталое немолодое лицо с повязкой на лбу и рядом — два испуганных детских.

Кириллов глядел на дорогу, помнившую роскошные стретельные лимузины, безмятежные веселые лица богачей и туристов, мчавшихся развлекаться, подивиться на каменное чудо Ангкора, не ведавших, не прозревавших будущего. С тех пор по этой дороге, прогрызая асфальт, прокатились войска, простонали колонны изгнанников, прошаркали бесчисленные босые подошвы беженцев, погорельцев. Весь мятущийся, сорванный катастрофой народ прошел по этой дороге. И теперь он, Кириллов, движется в желобе людской беды и несчастья, упавшего на эти плодородные красноватые земли с зеленью пернатых, волнуемых ветром пальм, голубоватой, пленительно-чудной далью, не сравнимой ни с чем в своей нежности, красоте.

Он знал: мир во всей своей полноте сдвинут с былых основ, охвачен мучительной перестройкой и ломкой. Государства, выдираясь из-под рухнувших колониальных империй, складываются в новое мировое сообщество, в новое мировое хозяйство, внося в него каждое свой вклад и пай — ресурсами, умениями, знаниями, неповторимостью национальных культур. Он верил: это медленно возводимое здание встанет в грядущем мире. Но любой просчет, любая деформация плана, любая злая диверсия оборачиваются крушением конструкций, обвалом возводимого свода. Он склонен был объяснять катастрофу страны и народа невежеством торопливых политиков, извращением социальных идей, мощным давлением извне сил, желавших превратить Кампучию в плацдарм войны и экспансии, в источник дарового сырья. Сочетание примитивной воли одних и целенаправленно-подрывной других развалило часть миро-

вого здания у этого юго-восточного, обращенного к океану фасада.

— Взгляните,— прервал его Сом Кыт, указывая сквозь пыльное стекло,— это каналы, прорытые по приказу Пол Пота. Он хотел здесь выращивать много риса, надеялся на большие урожаи. Здесь работало несколько тысяч людей, рыли руками, палками, большинство погибло. Но направление каналов было выбрано неправильно. Вода по ним так никогда и не пошла.

Кириллов смотрел на ровные, сужавшиеся к горизонту, расчертившие красноватую землю каналы. Их безжизненный марсианский чертеж, знакомый ему, виденный почти во всех провинциях, и был чертеж катастрофы.

— Здесь у нас запланирована остановка. Посещение кооператива Претьюонг.— Машина, повинаясь указанию Сом Кыта, оставила ухабы шоссе, съехала на пыльный проселок.

На растрескавшейся, без травинки, земле, рядом с осыпью ржаво-красного канала копошились люди. Долбили рытвины, взмахивали мотыгами, наклонялись, подымали, несли что-то круглое, похожее на кочаны или тыквы. Тут же белели груды этих округлых, извлеченных из земли плодов, и Кириллов гадал, что за неведомую агротехнику он наблюдает, что за редкий, неизвестный плод собирают крестьяне на этих безводных, с виду бесплодных почвах.

— Это что за культура? — поинтересовался он у Сом Кыта.

Но тот не ответил. Машина встала. Они вышли, двинулись по растрескавшейся твердой корке к работающим. Крестьяне, опустив мотыги, смотрели, как они подходят. Кириллов ступал по хрустящему грунту, вглядываясь в белые, аккуратно-округлые кучи, напрягая, расширяя зрачки, еще не веря, еще боясь ужаснуться и уже ужасаясь, столбенея, угадывая в округлых, костяного цвета шарах черепа, многоокие, с темными глазными провалами, с блеском хохочущих ртов. Одинаковые, словно калиброванные, устрашающие своим обилием, веселостью, неправдоподобной, не свойственной смерти свежестью белых зубов.

— Что это, что это? И здесь они тоже?..— тянулся он к Сом Кыту, но тот шел, не отвечая.

Оглянулся, пропуская мимо девочку с худенькой шеей, несущую в руках череп. Она держала его бережно, как кувшин, донесла, положила с легким костяным стуком на

груду, поправила, нацелив глазницу в ту же сторону, что и другие.

— Пол Пот,— сдавленно сказал Сом Кыт.— Место казни. Могилы...

Сутулый, в обвислой одежде крестьянин, руководивший работой, опустил к ступням перепачканную кирку, пояснил:

— Мы пришли сюда рыть водоемы перед началом больших дождей. Хотели использовать эту пустошь под посевы. Начали копать и сразу натолкнулись на это. Сначала одна могила, потом другая, потом третья, десятая. Наверное, все поле в таких могилах. Мы уже выкопали триста голов и все еще продолжаем их находить.

— Как это все случилось? Кем они были? — Кириллов смотрел на хохочущие черепа, пытаясь домыслить исчезнувшие лица, угадать имена. Над ними стекленел и струился воздух.— Как их убили? — спрашивал он, ожидая услышать одну из бесчисленных, повторяемых многократно историй, звучавших, как жуткое преданье.

— Не знаю,— ответил крестьянин.— Нас здесь не было в это время. Всю нашу общину угнали на север. Там мы корчевали джунгли, расчищали поля под посевы. Но я видел, как убивали наших людей. Их ставили вот так,— он чертил киркой линию,— голова к голове. Приковывали к железному пруту и вели. Перед вырытой ямой стоял охранник. В руках он держал мотыгу. Бил в затылок переднего, тот падал, его место занимал второй. Он тоже получал удар мотыгой в затылок, тоже падал. Наступала очередь третьего. И так удар за ударом, пока охранник не уставал. Его сменял другой. На моих глазах убили так восемьдесят или сто человек.

— За что? — спросил Кириллов.

— Ни за что. На всех не хватало еды.

— А что же вы теперь...— оглядывался он на стекленеющий воздух.— Что теперь собираетесь с этим делать?

— Хотим оставить их так, у дороги. Чтобы люди видели.— Крестьянин поклонился, отошел, застучал киркой о землю, отзывавшуюся костяным бильярдным звучанием.

Кириллов, страхась, почти на носках, ступал по растрескавшейся земле, бывшей недавно человеческой плотью. Заглядывал в открытые ямы, где белели россыпи костей, темнело тряпье. Над могилами дрожал выпущенный на свет тяжелый пар, и было трудно дышать. Вся окрестность текла и струилась, словно тут еще носились безгласно тысячи прозрачных, излетевших к небу душ.

Сом Кыт склонился над грудой голов, побледнел, съежился, усох. Касался черепов медленной напряженной рукой, словно гладил их и ласкал. И Кириллову казались страшными эти необъяснимые прикосновения. Он боялся смотреть в его сторону.

«Где я-то был в то время, когда это случилось? — старался он вспомнить, перешагивая ржавый железный прут с приваренными кольцами, в которые, как браслеты, вдевались запястья казнимых. — Ну конечно, Москва, снегопад, вечернее миганье Садовой, белая тень Андрониковского монастыря. У нас гости. Вера, нервно-радостная и радушная, ставит на стол разносолы. Зажигает свои любимые красноватые свечи. Мы пьем, едим. Легкомысленные шутки, смешки. Остроумный злой анекдотик. Или едкая сплетня. Или, напротив, философский экспромт. Какой-нибудь изысканный интеллектуальный этюд, в который каждый по мере сил вкладывает свою долю. И поздние проводы, поцелуи. Набегающий зеленый глазок такси. И мы, усталые, идем с ней вдвоем, и я держу ее под руку... А в это время здесь, на безвестной утренней пустоши, они шли к своей яме, склоняя обреченные черноволосые головы, отдавая себя под тупые удары железа, и их палачи, утомившись, отдыхали, усевшись на землю, а они обреченно ждали, когда те отдохнут... Как искупить их смерть? Как искупить мое, одновременное с ними, благополучное пребывание в мире? Истребить палачей? Воскурить дымы алтарей? Поставить обелиск у дороги? Или великой любовью, немедленным, не терпящим отлагательства поступком помочь оставшимся жить, вот этим крестьянам, их детям? Заслонить их собою? Но как?»

Чувство вины, сострадание, его потрясенный дух требовали немедленного, конкретного действия. Но кругом голубели волнистые дали, блестели купы кокосовых пальм, темнели склоненные, изнуренные крестьянские лица. Девочка с худой шеей проносила мимо костяной шар.

Неслышно подошел Сом Кыт, бледный, бескровный.

— Кооператив рядом. Нас ждут, — сказал он чуть слышно.

Они повернули к машине.

Их принимал председатель кооператива. Миех Сирейрит — представил его Сом Кыт. Их привели в прохладную сумеречную хижину, поставленную на высоких сваях, близко к шелестящим вершинам пальм. Сквозь гладкий, словно

пластмассовый пол, набранный из расщепленных пальмовых пластин, веяли свежие сквознячки, пахло близкой скотиной, душистым домашним дымом, как пахнут все крестьянские земные жилища. Так пахло и в Троицком, подумал он мимо-летно.

Женщины, стуча тугими пятками, принесли в мешковине, вывалили на пол груды кокосов, зеленых, тяжелых, только что выломанных из пальмовых гнезд. Женщины улыбались, поглядывали на приезжих, большими ножами ловко, до белой мякоти, отсекали зеленые маковки орехов, будто откупоривали, открывали крышки, просекали маленькие отверстия, ставили перед гостями, воткнув в орех соломинку. Кириллов благодарно, с наслаждением тянул сладковатый прохладный сок, смачивал холодной струйкой иссохшие губы, язык. Поглаживал зеленый, похожий на тяжелую молочную кружку орех.

— В нашем селе...— председатель чуть прикрыл глаза, выговаривал слова медленно и спокойно, словно вспоминал.— В нашем селе раньше было пять тысяч жителей. При Пол Поте нас всех погнали на север, в болота, в джунгли. Не позволили взять с собой ни скот, ни одежду. Разлучили семьи, отделили мужчин от женщин, жен от мужей, и два года мы валили деревья, вырывали вручную пни, копали канавы, отводя болотную воду, пахали землю, впрягаясь вместо волов, сеяли рис и лишь издали, во время работы, наблюдали за своими близкими. Когда Пол Пота прогнали, мы вернулись сюда. Только половина людей вернулась. Наши дома сгорели, скот пропал, поля заросли лесом. Двести тридцать пять вдов, триста восемь сирот живут среди нас. Половина наших людей умерли от голода, от малярии или были просто убиты.

Он рассказывал свою повесть тихо, спокойно, словно летописец, словно не о себе, а читал какой-то древний свиток о давнишней, постигшей его предков беде, от которой к ним, ныне живущим, дошел лишь пергаментный манускрипт.

— Государство как могло оказывало нам помощь. Дало рис для семян, одеяла, кровати, немного денег, чтобы мы могли купить инвентарь, несколько пар буйволов. Мы первым делом построили приют для сирот, больницу для больных и раненых. Сообща поставили жилища, распахали наши заросшие земли, собрали первый, спасший нас от голода уро-

жай. Сейчас мы вам покажем, у нас есть дома, есть птица, есть немного волов и буйволов, своя школа, свой учитель. Мы стараемся дать работу тем, кто лишился кормильца. Стараемся, чтобы в наших людях исчезли уныние и страх, потому что страх и уныние — это болезнь, грозящая смертью. Но многие из наших людей все еще болеют и мучаются.

Он был не стар, почти моложав на вид. Но, глядя на его сухое, желтоватое, заострившееся во всех чертах лицо, Кириллов разглядел в нем и великое утомление, иссушившее кожу до последней кровинки, и великое, скопившееся под веками горе, которое он не желал обнаруживать перед чужими, и великие бережение и заботу, положившие на его лоб перекрестие из глубоких морщин. Заботу о попавшей в беду общине, готовой умереть и исчезнуть, бережение, и мудрость, и волю вождя и ревнителя, ведущего свой народ сквозь погибель к спасению.

— Нам сообщили с посланцем, что в нашу деревню едут высокие гости, — председатель приоткрыл веки, и взгляд его был спокоен и прост. — Мы готовы показать нашему другу, — он чуть поклонился Кириллову, — все, что он пожелает увидеть. Если гости отдохнули немного, мы можем начать осмотр.

Они шли мимо взорванной пагоды, древнего длинного храма, превращенного в глыбы руин, с остатками игольчатых башенок, осыпавшихся, размываемых дождями фресок. Кириллов смотрел на маленьких будд с отбитыми руками, отколотыми носами, сидящих в терпеливых смиренных позах, напоминая больных на приеме в травматологическом пункте. Перешагивал каменные красно-золотые обломки, с которых смотрели фрагменты лиц — то длинный карий глаз, не утративший всевидящей силы, то розовый, в мягкой улыбке рот. Остатки стен с выпуклыми драконьими и львиными мордами были иссечены автоматами, продырявлены залпами пушек. Должно быть, храм с его толстой кладкой, амбразами служил опорной позицией и во время боя был атакован, а затем, после взятия, разрушен зарядами тола. В его расколотой, открытой небу скорлупе наспех, из разломанных плит, соорудили алтарь. Маленький Будда, склеенный, с белыми швами на улыбающемся лице, сидел среди курящихся палочек. Перед алтарем вместо жертвенных чаш стояли две латунные артиллерийские гильзы с букетиками вялых цветов. И вид этих гильз с маркировкой калибра, принесших погибель храму и поставленных — в неведении зла — на алтарь, поразил Кириллова.

— Они ворвались сюда и перебили монахов,— говорил председатель, тихо кивая на пагоду, чью позолоту, лазурь, опрокинутые в траву, чтит еще его прадед.— Здесь раньше жило сорок бонз. Теперь у нас только один. Мы встретили его случайно на дороге и пригласили к себе.

Они приблизились к деревянному, на столбах, навесу, где рядами стояли самодельные ткацкие станы. Женщины, похожие друг на друга своими позами, монотонными движениями рук, остановившимися на мелькании нитей зорко-слепыми глазами, ткали многоцветные полосатые полотнища, медленно льющиеся на землю сквозь деревянные части станов.

— Это все вдовы,— тихо пояснил председатель.— Они не могут заработать на хлеб тяжелым трудом в поле. Ткани мы отвозим на рынок, и их дети не голодают.

Тихо падали на серый земляной пол красные, черные, желтые полосы. Кириллову казалось: вдовы, еще молодые и женственные, вплетают в разноцветные нити свою тоску, одиночество, и тот, кто наденет одежды, сшитые из этих материй, вдруг почувствует острый ожог.

Его провели в просторное, крытое пальмовыми листьями помещение, где стояли железные, похожие на клетки кровати с тонкими, не скрывавшими сеток циновками. Множество детей, больших и малых, сидело на этих кроватях. Они держали на коленях миски, ловкими, быстрыми щепотками хватали и ели рис, при появлении посторонних разом встали, воззрились чернильными, расширенными, не испуганными, а вопрошающими глазами. В этих глазах среди живого свежего блеска, детского любопытства, лукавства, готовности бежать и смеяться оставалось потаенное отражение боли и муки, того, что миновало, ушло и унесло с собой образы гибнущих близких.

— Их было очень трудно учить,— говорил председатель.— Они не понимали, что им говорят. Не хотели гулять и играть, а сидели здесь целыми днями. Сейчас они придут сюда только поесть.

Они шли по селу мимо хижин, стараясь держаться в прохладе кокосовых пальм. Дома, сколоченные наспех из старых, кое-где обгорелых досок, были подняты на высокие сваи. Под ними, в тени, полуголые мужчины чинили деревянные бороны, сохи, смазывали дегтем двуколки. Кириллов жадно подмечал все, что говорило о продолжении жизни. Видел: здесь, в лачугах, среди дыма очагов, стука молотков, живет больное, израненное племя. Еще недавно оно

колебалось на пограничной, предельной черте, стремясь на ней удержаться, не упасть, одолеть свою немощь, ожить и воскреснуть. Одолело, вернулось к жизни. Это сражение за жизнь отражалось на лице председателя, во взглядах двух мускулистых мужчин, перетаскивавших на руках изогнутую соху. Кириллов чувствовал: роковая черта медленно, в великих усилиях сдвигается в сторону жизни. Прокричал во дворе петух. Выкатила из проулка, застучала тяжелыми ободами двуколка, и возница им поклонился, и волею, качая складчатыми отвислыми шеями, окатили их жарким запахом пота. Село готовилось к севу. За домами, где начинались поля, в стекленеющем сухом воздухе люди копали водоемы — накопители для скорых ливней. В пруду, в темно-маслянистой, как нефть, воде спасались от зноя буйволы, выставив фиолетовые плоские спины, громадные полумесяцы запрокинутых рифленых рогов.

Они приблизились к облезлому двухэтажному дому, над которым в зелени пальм струился, шелкал на ветру красный двухвостый змей, праздничное предновогоднее украшение из шумного, блестящего шелка.

— Здесь мы храним семена для посева, — сказал председатель, ступая под навес, подымая голову к пролому в кровле. — А это, — он указал на дыру, — это упала американская бомба, еще давно, когда они нас бомбили. Не взорвалась, а только пробила крышу.

В помещении на чистом, подметенном полу стояли весы. Два крестьянина, взяв за углы дерюгу, бережно опускали на весы тюк риса. Весовщица двигала гирьками, старалась поймать драгоценное, ускользающее равновесие. Учетчик писал в тетради. Горстка риса, несколько зернышек, просыпалось на пол, и учетчик быстро, цепко, словно птица клювом, сощипал с пола зерна, кинул их обратно в тюк.

Кириллов смотрел на куль, чувствовал сквозь мешковину незримую, но близкую, дышащую белизну риса. Ему казалось: на этих драгоценных зернах, пронесенных сквозь бомбежки «летающих крепостей», пожарища деревень, избиения землепашцев, на этих зернах тончайшим резцом записаны все обиды и беды, нанесенные народу. Но тем же резцом, той же искусной рукой начертан на зернах тайный рецепт исцеления. Брошенные в землю, они оплетут своими корнями могилы, уловят в легкие подземные сети все осколки и упавшие пули, превратят былую боль и беду в хлеб насущный, в грядущие неистребимые урожаи.

Его окружили крестьяне, и он расспрашивал председателя, учетчика, смуглых внимательных земледельцев о пахотных землях, о плодородии почв, о видах на урожай, о количестве рук и ртов, о тягловой силе и сохах. Он старался понять, как далеко отодвинулся голод, что неотложно нужно хозяйству, чтобы рис, пополнив запасы семян, накормив общину, пошел в города. Он думал о поставках техники, о тракторах, в которых так нуждался крестьянский подорванный мир, о новых плодоносных сортах, способных здесь, в благодатном для злаков климате, трижды в год давать урожай, о грядущем превращении полупервобытных лоскутных наделов в житницу азиатского риса.

Он вдруг вспомнил плантации под Владивостоком на Ханке, зеркальные водяные квадраты, над которыми летал самолет, сеял с воздуха рис, а осенью разлапистые, на гусеницах, комбайны ходили по слякоти, оставляя на черной земле горы белоснежной соломы.

Они шли по селу, и в конце проулка Кириллов увидел тесно сдвинутую толпу. Подумал, что это митинг или богослужение. Люди, заметив председателя, расступились. На земле, в тени пальм, на рассыпанной белой соломе лежала буйволица с огромным, вздутым горой животом, с бугрящимся в судороге боком. Запрокинула слезную глазастую морду, прижала уши. К рогам были подвешены маленькие бренчащие колокольчики.

— Будет прибавление стада,— сказал председатель, и лицо его, скупое и сдержанное, осветилось быстрой, короткой улыбкой.

Люди, окружавшие телившуюся буйволицу, помогали ей чем могли. Когда она начинала дышать, вываливая язык, открывая желтые зубы, переводя дыхание в тягучий, страдающий, пересыпанный звоном бубенцов рев, женщины вместе с ней начинали стонать, причитать, словно брали на себя ее муки. Когда судорога сжимала ее мышцы, катилась под кожей волной боли, мужчины напрягали плечи и бицепсы, словно отдавали ей свою мощь. Девочка с тонкой шеей, та, что носила на поле страшную мертвенную ношу, была теперь здесь, держала над головой буйволицы широкий лист, защищая ее от солнца. Мальчик, из тех, кто был в сиротском приюте, откликаясь на звон бубенцов, гремел раскрашенным бубном. Здесь были и другие сироты, убежавшие со своих железных кроватей, и вдовы, оставившие свои горькие деревянные станы. И старый выбритый бонза в желтой хламиде, с голым костистым плечом, длиннопа-

лыми худыми ногами. Все ждали рождения теленка, связывая с его появлением уверенность в своем воскрешении.

Кириллов суеверно, почти молясь, забывая, кто он и зачем приехал, сливался в ожидании с толпой, болел за них, за себя, желая им и себе единого, общего блага. Смотрел на рогатого зверя. Там, где розовели сосцы и струнно, в сухожилиях, натянулась нога, вдруг возникли голова теленка с розовым маленьким носом, слипшимися золотистыми ушами, крохотные костяные копытца. И вдруг, увеличиваясь, выскальзывая, выпадая на множество протянутых рук, родился теленок. И рев буйволицы, пересыпанный игрой бубенцов, слился с людским восхищенным гулом. Обнимались, пускались в пляс. Вдовы улыбались, охорашивались, оборачивались во все стороны. Сироты босоного топтались, норовя погладить теленка. Его положили на солому к голове буйволицы, и та, изможденная, умиленная, отражая столпившихся людей сиренево-темным, слезно блестящим глазом, лизнула теленка.

Председатель проводил их к машине. Положил на сиденье подарок — несколько зеленых кокосов.

Они пообедали в маленькой придорожной харчевне под открытым небом. Сидели за изрезанными щербатыми столами, пропитанными жиром и фруктовым соком. Наматывали на палочки нежные ворохи китайской лапши, отпивали из горячих чашек острый, переперченный красноватый отвар, похрустывая колечками лука. Солдаты штыками раскупорили подаренные кокосы. Сок был сладок, охлаждал обожженный лапшой язык, а белая неспелая мякоть напоминала вкусом русский лесной орех. Солдаты, уталив голод, разрезвились, хохотали, подталкивали друг друга локтями, кидали обломками скорлупы в пальму.

Снова катили по дороге, напоминавшей нескончаемую трещину. Кириллов вглядывался в окрестные, появлявшиеся нечасто селения. У обочин глазели на их автомобиль дети, маленькие, голопузые, любопытные, много детей, недавно обильно народившихся. Словно семьи, поредевшие во время недавних мытарств, торопились восполнить убыль, множились, плодились, отгораживались от перенесенных несчастий новой, не ведавшей этих несчастий жизнью. И не было видно стариков, не вынесших тягот — долгих маршей, каторжных трудов, болезней. Их, стариков, чьим присутствием дорожит и гордится любой народ, думал Кириллов, создаст теперь только время, состарив ныне живущее поко-

ление, накопив в старцах уроки, заветы, и тем вернет нации мудрость.

Машина вдруг встала. Шофер, огорченный, выскочил и полез под капот.

— Что стряслось? — спросил Кириллов.

— Подача топлива!

Шофер долго громыхал чем-то, ремонтировал. Захлопнув крышку, вернулся. Пытался завести — безуспешно.

— А теперь что? — опять спросил Кириллов.

— Аккумулятор пустой. Стартер не работает! — ответил блестевший от пота шофер. — Толкать надо! — и, кивнув солдатам, уселся за руль.

Солдаты налегли на пыльный торец, тяжело тронули упирающуюся «тоёту». Сом Кыт, выставив вперед сухие руки, пришел им на помощь. Кириллов, выбрав рядом с ладонями Сом Кыта пустое, бархатное от пыли место, пристроился, надавил. Они вчетвером толкали машину, и Кириллов, видя свои белые руки рядом со смуглыми Сом Кыта, мельком всматривался в его близкое, нахмуренное в напряжении лицо, поразившее его недавно у сухого канала своей болезненной, пугающей бледностью. Сейчас оно снова было темно-коричневым, сдержанным, с твердыми от усилий скулами.

Двигатель застучал, заработал. Они снова катили по жаре, пропыленные, утомленные, ослепленные белым, равномерно жгущим солнцем, обдуваемые горячей струей ветра, приносившего запах душных болот и лесов.

Под вечер, после захода, по красной, как перец, пыли они въехали в Баттамбанг, одолев запруженный велосипедистами мост над зеленоватой недвижной рекой. В сумерках подкатали к двухэтажному, в маленьком парке, отелю с дергающейся неоновой вывеской. Шофер поставил под деревья машину, вылез, усталый, разминая затекшие ноги. Кириллов увидел под соседними купами точно такой же, как их, белый вездеход, но с синим клеймом ЮНИСЕФ.

— А это кто? — спросил он Сом Кыта.

— Я узнаю, — ответил, помедлив, тот.

Служитель, раскланявшись, принял от Сом Кыта бумаги, что-то записал в раскрытую книгу, отвел их наверх, в номера. Кириллову — отдельный, поменьше, а остальным — общий, с выходами на открытую, вдоль всего фасада галерею на уровне темных древесных крон.

Кириллов, чувствуя предельную усталость, рассеянно оглядывал грубо выбеленную комнату, деревянную некраше-

ную кровать с четырьмя нестругаными стояками, к которым была приторочена москитная сетка. Сломанный кондиционер, отсутствие в потолке вентилятора, не сулящие свежести сумерки — все увеличивало чувство усталости.

Ванна и умывальник бездействовали. Но под заржавелым душем стоял огромный глиняный чан с водой, в котором плавал железный таз. Кириллов наклонился над чаном, слушая свое гулкое дыхание, легкий звяк о глину скользящего по воде таза. Разделся, вымылся, стоя на кафельном нечистом полу, ополаскивая себя мутной водой, взятой, по-видимому, в реке.

Стало легче, вольней. Не вытираясь, разгуливал по номеру, чувствуя, как прохладно испаряется с тела вода. Побрился электробритвой, рассматривая свое сухое, с натянутой, запекшейся кожей лицо, светлые, скрывавшие седину волосы, невеселые, серые, вдруг горько сощурившиеся в отражении глаза.

Надел свежую рубашку, улавливая на ней легкий, сохранившийся запах утюга. Вышел на галерею и уселся за низкий столик, где уже стоял цветастый китайский термос и чашки. Пил бледно-зеленый теплый чай, наслаждаясь чистотой омытого, охлажденного тела.

Неслышно подошел Сом Кыт, выбритый, в свежих одеждах.

— Я отпустил солдат и шофера, — сказал он, присаживаясь. Кириллов налил ему из термоса чая. — У шофера здесь родственники, и они пошли к ним поужинать. Мы можем поужинать в ресторане у рынка. Здесь недалеко, и мы можем пройти пешком. — Он аккуратно, с кивком благодарности, пригубил из чашечки. — Вы просили узнать, чья машина внизу. Здесь остановилась итальянка, представительница ЮНИСЕФа. Приехала позавчера из Таиланда. Собирает сведения о потребностях и нуждах района с целью оказания помощи.

Кириллов всматривался в две одинаковые, белевшие рядом машины. И, подумав, что пора наконец после переживаний первого дня ближе сойтись с Сом Кытом, предложил:

— Дорогой Сом Кыт, не хотите ли перед ужином выпить? У меня есть водка.

Но тот со сдержанным кивком благодарности отказался:

— Благодарю, я не пью.

Они двинулись пешком от отеля по темным горячим улицам. В домах светились открытые окна балконов, люди,

отдыхая, смотрели на улицу. Лучились, перемигивались маслянистые коптилки торговцев, освещая то жареных на сковородке рыбин, то зеленые связки бананов. Фасады с лепниной и узорные решетки балконов, некогда нарядные и игривые, теперь обветшали, шелушились, были завешаны сохнувшим бельем, вялыми, наподобие флагов, простынями. По невнятному совпадению запахов, желтоватых отсветов в окнах, лепных карнизов Кириллову показалось, что он находится в каком-то среднерусском летнем городке, быть может, Александрове или Касимове, и вот сейчас за углом увидит обвалившиеся торговые ряды с колоннадой, колокольню с остановившимися часами, ампиный особнячок, а в городском саду за штакетником дохнет сквозь сирень наивно и страстно духовой оркестр. Но с балкона, разрушая иллюзию, прыснула визгливая азиатская музыка, в длинных окнах за деревьями зажелтели развешанные одежды буддийских бонз, и где-то рядом печально, сначала редко, а потом учащаясь, измельчаясь в коротких, торопящихся, тревожащих ударах, прозвенел монастырский гонг.

— Моя жена из Баттамбанга, — тихо и как-то внезапно сказал Сом Кыт, глядя на темную зелень куста, на решетку белого дома, и чувствовалось, что он что-то вспомнил, и вспомнил хорошее, и Кириллов был благодарен ему за приобщение к воспоминанию — к белизне проплывшего дома, к розовому, за оградой, кусту.

Из-за поворота с воем сирены, с миганием фиолетовых вспышек выскочили трескучие мотоциклы. Седоки в белых шлемах, в военной форме мчали во всю ширину улицы, тесня велосипедистов и пешеходов. За ними, слишком низко, словно на просевших рессорах, прошумел широкий, с хромированным радиатором «бьюик». Процессия промчалась, оставляя пыль и гарь, повернула в освещенную зелень увитых плющом ворот.

— Председатель Народно-революционного комитета, — сказал Сом Кыт и добавил, как бы извиняясь, успокаивая Кириллова: — Я отпустил солдат, у них тут родственники и друзья, но в городе совершенно спокойно. Нам ничего не грозит.

Они вошли в ресторанчик с верандой над откосом, сбегавшим к темной реке. У стойки, из пестроты бутылок, бесшумно, с выражением готовности, возник хозяин. Провел их на веранду, в прохладу, забегая вперед, успевая смахнуть полотенцем со стола несуществующие крошки. И прежде чем залюбоваться мерцавшей рекой, Кириллов, отодвигая

стул, заметил через столик белолицую темноволосую женщину, европейку, в белой кисейной рубашке, красивую в отдалении, с тонким сильным носом, пунцовым ртом, с ярко блеснувшими на него, Кириллова, глазами. Рядом с ней сидел кхмер в очках, что-то быстро ответил на ее беглый вопрос, должно быть, о нем, Кириллове. Кириллов чуть поклонился, и она, кивнув, белозубо улыбнулась в ответ.

— Как я понимаю, ЮНИСЕФ на этот раз представлен не просто синей эмблемой,— сказал он по-французски, принимая от хозяина карту заказов.

Он выбрал себе стейк по-английски, пиво со льдом, передал карту Сом Кыту. Отмахивался от летящих из тьмы крылатых термитов, падавших обильно на стол. Хозяин снова махнул полотенцем, сбивая слюдяных насекомых. Там, куда он махнул, была темная ночная река, и женщина в черно-лиловых одеждах, еще темней, чем вода и трава, медленно входила в воду, приседала без плеска, охватывала свои черно-мерцающие плечи длинными руками, и было не видно, но угадывалось, как ткань, намочнув, приняла ее гибкие, округлые очертания.

— Как будет по-русски «вечер»? — спросил Сом Кыт, глядя на реку и на красноватые веретенные отражения на той стороне, поколебленные купающейся женщиной.

— Вы изучаете русский? — удивился Кириллов.

— Я изучаю немецкий, английский, испанский и русский.

— Так много языков одновременно? Ведь это, наверное, сложно?

— Я должен скорее их выучить. Когда кончится международная изоляция Кампучии, и ее признают все страны, и она займет свое место в ООН, я надеюсь получить место в каком-нибудь посольстве в Европе.

— А может быть, в Советском Союзе?

— Штат посольства в Советском Союзе и в социалистических странах укомплектован полностью. Но когда нас признает весь остальной мир, потребуется много знающих языки дипломатов.

— Какова же ваша первоначальная профессия, Сом Кыт? Как попали в МИД?

— Я преподавал историю в коллеже. После свержения Пол Пота в МИД набирали людей, знающих французский язык. Я знал французский язык. Так я попал в министерство.

И снова, как утром, когда он вошел в дом Сом Кыта, бездетный и тихий, и увидел беззащитное, умоляющее лицо женщины, ему опять почудилось некое сходство между ним

и собой. Оба историки, оба изменили профессии, соединили свои усилия волею случая, двигавшего их из разных углов земли к этому тесному ресторанному столику.

Женщина медленно, словно грациозное водяное животное, колыхалась в ночной маслянистой реке, появлялась на красноватом волнуемом отражении. Итальянка за дальним столиком разговаривала со своим визави, чокнулась рюмкой и снова улыбнулась Кириллову.

— Дорогой Сом Кыт,— осторожно спросил Кириллов,— простите меня за вопрос. Я видел сегодня ваш дом, в котором не слышно детских голосов, как, впрочем, и в моем, бездетном... У вас есть дети?

И тот, чуть шевеля худой кистью, на которую, хрупко блестя крыльцами, сыпались слюдяные термиты, ответил:

— У нас было двое детей. Но они погибли. Нас разлучили. Жену погнали на северо-восток строить военную дорогу. Меня на север — пилить на болотах лес. А детей — младшему сыну было шесть лет, старшему двенадцать — куда-то сюда, на болота. Они умерли здесь, на пути в Баттамбанг, на прокладке каналов.

Кириллов молчал, чувствуя, как ноет, щемит где-то в глубине, под сердцем. Смотрел на смуглую руку Сом Кыта, по которой бежали и скользили термиты, одевая ее мерцающим. Тот резко стряхивал их, принимая от хозяина потную бутылку пива, миску с брусочками льда.

— А как будет по-русски «лед»? — спросил он Кириллова, наливая ему пива в стакан.

Они вернулись в отель с подмигивающей вывеской, вокруг которой роились мотыльки и термиты. Пожелали друг другу спокойной ночи. Кириллов направился было к себе, но спать не хотелось. Он выгнал из-под марлевого полога москитов, заправил кисею со всех сторон под тюфяк, вышел на галерею. Оранжевая, как буддийский монах, стояла над черными деревьями луна. Трещало, свистало в листве, на земле, в небесах несметное, незримое скопище, создавая своим равномерным, не имевшим направления и источника звуком иное пространство, геометрию ночного неправдоподобного мира.

Сквозь соседнюю полуоткрытую дверь он увидел лежащего под пологом Сом Кыта — полуголого, затушеванного кисеей, будто тот был в воде. Он читал, шевелил медлительными губами.

Кириллов двинулся по галерее мимо закрытых дверей, перед которыми стояли низкие столики, а на них отражали луну стальными крышками китайские термосы. В конце галереи сквозь черные ветви близких деревьев он увидел белую одежду, блеск бутылки, узнал лицо итальянки — белое, яркое в одной своей половине, обращенной к луне, с блестящим мерцающим глазом, и темное, погруженное в лунную тень, с чуть видной искрой второго зрачка.

— Добрый вечер,— сказал он по-французски, не останавливаясь, а лишь замедляя шаг, готовый либо пройти мимо, либо откликнуться на приглашение присесть, оставляя женщине мгновение на выбор.

— Добрый вечер,— использовала она это мгновение.— Хотите выпить со мной?

— Интересно, что пьют путешественники из Европы после полуночи в странах Юго-Восточной Азии? — Он присел на плетеный стул, наклонился к бутылке чинзано.

— Они пьют свою одинокую долю,— сказала она, и они рассмеялись дружелюбно и весело.

Он назвал, налил обоим, выпил вино, всем своим видом показывая, как оно ему нравится, как он признателен ей за приглашение, за вино, за эту пустую веранду с оранжевой близкой луной.

— Меня зовут Лукреция Чикорелли,— сказала она, принимая его безмолвную благодарность.— Если вам интересно, я действую здесь от имени католического фонда в Париже. В прошлом месяце я побывала в Таиланде, а теперь вот здесь, в Кампучии. Я пыталась проехать к границе, но власти мне не позволили. Застряла здесь на несколько дней, завтра еду в Сисопхон, а потом возвращаюсь в Пномпень.

— Ужасные дороги, не правда ли? — Он сочувствовал ее неудаче, ее трудной, объяснимой лишь одержимостью деятельности. Как бы вскользь, невзначай спросил: — Вы сказали — католический фонд? Простите, а кто его субсидирует? — Он знал, что подобные фонды, озабоченные «кампучийской проблемой», как правило, субсидируются ЦРУ. Но хотелось услышать версию.

— Пожертвования, благотворительность,— сказала она.— Кое-что дает Ватикан. Наш фонд, если можно так выразиться, это фонд милосердия.

Давая ей понять, что расспросы не будут назойливы, не преступят известной черты, Кириллов закрыл на мгновение глаза.

— А что, — улынулась итальянка наивно и женственно, — что привело в такую даль вас? Вы — инженер? Военный? Какая-нибудь особая миссия?

— Да нет, никакой. Обычный журналист. Обычная журналистская миссия. Я еду в Сиенреап. Осмотреть Ангкор и Байон. Меня интересует состояние исторических памятников. Ведь многие при Пол Поте были разрушены. В тайландской печати то и дело появляются сообщения о том, что в районе Ангкора бои и часть барельефов и статуй пострадала. Это неправда. В Ангкоре спокойно. Я хочу осмотреть памятники, написать о работе реставраторов.

— И вы решили ехать в Сиенреап на машине? По такой ужасной дороге? Разве не нашлось самолета? — В ее улыбке был легкий упрек ему и за этот ответ, и за вопрос об источниках финансирования, легчайшая насмешка над ним.

— Самолет из Пномпеня летает не часто. Следующий обещали через неделю. Вот и пришлось машиной, — ответил он, как бы не замечая насмешки.

И она, подобно ему, прикрыла на мгновение глаза, успокаивая его, заверяя, что и ее расспросы не будут докучны и она не нарушит этикета, не испортит игры.

Он снова налил вино, отгоняя от рюмок, ее и своей, маленькие крылатые искры, — на стол из тьмы на блеск стекла все сыпались и сыпались беззвучно слюдяные твари.

— Вы сказали, что были в Таиланде. В какой же форме и кому ваш фонд адресует помощь? — Бутылка была влажной снаружи, а вино прохладным, видно, лежало на льду. — Вы, как я понимаю, проводите здесь рекогносцировку... Я хотел сказать, проводите анализ и поиск, — спохватился он, как бы извиняясь за употребленное слово, исправляя двусмысленность. — Естественно, вам хочется знать, в какой форме и куда наиболее эффективно вложить ваши средства. Именно это я имел в виду. — Он знал: продовольственная помощь с Запада вместе с боеприпасами, и почти одними и теми же каналами, попадает в военные лагеря Пол Пота, размещенные вдоль границы в Таиланде. Вооруженные банды, проникающие в Кампучию, нуждаются и здесь в складах продовольствия и оружия. — По видимому, — продолжал он, — нужно очень аккуратно и наверняка вкладывать ваши средства. Иначе, а это уже, увы, случалось, продовольствие может попасть в дурные руки. Оно может достаться бандитам, будет способствовать не целям милосердия, как вы говорите, а напротив — пролитию крови.

— Да, да, вы правы! — она слегка наклонилась к нему,

ослепив на миг белизной лица, а затем ушла в тень, словно заслонила от него, и он успел разглядеть выражение испуга, сменившееся выражением почти искренней боли.— Вы правы, определенные силы в Таиланде делают все, чтобы наши одежда, зерно, консервы не попали к этим несчастным беженцам. Дай бог, если половина доходит. А ведь эти бедняки находятся на грани голодной смерти. Вы не представляете, как сильна в тайландских кругах коррупция. На Востоке она вообще всегда была необузданной. Помню, в Пномпене мы возмущались казнокрадством, царившим среди государственных служащих.

— Вы жили в Пномпене? Знаете язык?

— Я жила в Пномпене, знаю язык. У меня там было много друзей. Видимо, все погибли. Я так хочу подольше задержаться в Пномпене, но боюсь, мне не позволят.

Лицо ее открылось лунному свету, стало моложе, ярче, как бы выплыло из прежней исчезнувшей жизни, из другого, неведомого Кириллову Пномпеня — без руин, без кладбищ мертвых машин.

— Я так и не успела почувствовать, какая обстановка в Пномпене.— Словом «обстановка» она как бы обнаруживала интерес к человеку, обладающему недоступной ей информацией.— Интересно, как чувствует себя интеллигенция при новом режиме? Да и есть ли она вообще, эта интеллигенция, в нашем с вами европейском понимании?

Он видел, ее интересовало наличие в Пномпене кругов, вернее, остатков кругов той интеллигенции, чьи корни уходили на Запад, в Париж, Нью-Йорк. Она была разгромлена, эта рафинированная, жадная до наслаждений прослойка, сошла на нет после крушения Лон Нола и явления «красных кхмеров». Ее остатки бежали в Европу или ушли в Таиланд, находятся на дотации Запада. Ссорятся, винят в поражении друг друга, деградируют на чужбине. Лучшая, наиболее жизнестойкая часть стремится вернуться на родину, способствовать ее возрождению. Отдельные реакционные ее группы с эфемерной военной структурой, вооруженные американским оружием, начинают входить в контакт со своими бывшими губителями, заключают сделку с Пол Потом. Кириллов понимал итальянку, но не выдал своего понимания.

— Вы знаете,— сказал он,— интеллигенция есть, и ее все больше. Она казалась совсем уничтоженной, но это не так. Многие, скрывая свою интеллигентность, рядились в проститутинов. Теперь же, когда установилась стабильность, они понемногу обнаруживают свое истинное лицо. Оказы-

вается, он не крестьянин, не подмастерье, а интеллигент. Появились учителя и чиновники, хотя по-прежнему не хватает врачей, инженеров. Но те, что есть, надо отдать им должное, работают с двойной нагрузкой. Что же касается власти, ее отношение к интеллигентам определяется их готовностью служить возрождению родины.

— Возрождению? О да! — Она благодарила за ответ, одновременно продолжая выпрашивать. — А как, скажите, обстоят дела со снабжением города? Верно ли, что по-прежнему нет резервов продовольствия? Что голод может вспыхнуть в любой момент, что возможны голодные волнения?

— Преувеличение! Про резервы не знаю, но рынок обилен. Мясо, рыба, птица — все что угодно! Хотя цены весьма высоки и доступны не всем. О голодных волнениях не может быть и речи. Муниципалитет нормирует продовольствие. Кроме того, он наделил жителей мелким скотом и птицей, и теперь — вам это, должно быть, трудно представить — в самом центре Пномпеня кричат петухи. Представляете, в районе Королевского дворца или Школы изящных искусств!

Она засмеялась, подняла изумленно брови, как бы представляя этот петушиный крик, продолжала расспрашивать:

— Я понимаю затруднения властей. Ну, положим, в столице в конце концов и удастся наладить регулярные поставки продуктов. Но в провинции? Вы сами могли убедиться, в каком состоянии дороги, мосты, связь. Вся инфраструктура разрушена. Нет складов, нет холодильников. Хотя — вы не знаете? — железная дорога Пномпень — Баттамбанг как будто действует? По ней иногда все-таки следуют поезда?

— Право, не знаю, — ответил Кириллов. — Это не моя забота. Моя забота — барельефы Ангкора. — И, желая переменить разговор, спросил: — А вы, наверное, бывали в свое время в Ангкоре?

И внезапно, срываясь из области умолчаний, уловок, оскальзываясь на тонкой невидимой грани, падая в свою усталость, женское одиночество, в разрушенное, истребленное прошлое, она яростно, зло сказала:

— В свое время? Да, в мое время я бывала везде! Я видела эту страну процветающей и счастливой! Конечно, вы скажете — и при Сиануке были казни, были жестокости. Но это пустяк. Он не казнил миллионами! У меня была прекрасная вилла, замечательные друзья! Я была счастлива! Я любила Камбоджу и кхмеров, их искусство, их веру. Я сочувствовала их стремлению к национальному возро-

дению, понимала их усилия, была готова им помогать! Быть может, Сиануку следовало бы уничтожать не сотни, а тысячи, тогда бы остались жить миллионы! Казалось, совсем недавно здесь, в Баттамбанге, у нас был праздник. Профессор Иенг Сисапон подарил мне серебряный буддийский сосуд. Его жена, танцовщица, танцевала ритуальный танец, осыпала нас лепестками роз. А сегодня мы разойдемся с вами по номерам без кондиционеров, без капли воды в краях, и под пологом у вас, как бы вы ни старались, уже скопились москиты, эти ужасные твари!

Она прижала ладони к вискам, глаза ее блеснули уже не злостью, не яростью, а слезами:

— Боже мой, боже мой! Мы с вами, два европейца, два белых человека, мужчина и женщина, встретились бог знает где, в самом пекле Азии! На тысячу километров вокруг нет людей, способных понять вас, меня! Понять наши мысли, проблемы! А мы с вами вынуждены заниматься бог знает чем, говорить друг с другом бог знает как и о чем!

Она вдруг быстро, сильно положила свою ладонь на его руку, потянулась к нему, всматриваясь, дрожа слезным блеском, прелестная, незащищенная женщина с неведомой ему в прошлом судьбой, с непонятной нынешней жизнью, бросающей ее в джунгли, на разбитые дороги, в запущенные придорожные харчевни, среди выстрелов и насилий. Она смотрела на него мгновение, ожидая ответного порыва, но он молчал, и она отняла свою руку.

— Да, вы правы, пора! Спокойной ночи!

Она встала, пошла, высокая, в белых брюках, в белой кисейной рубашке, неся на спине черную живую волну волос. И Кириллов провожал ее как бы двойным, расслоившимся зрением: старался запомнить, понять услышанную от нее информацию и сострадал ей, винился, что не умел разгадать ее драму, еще одну в этой истерзанной, охваченной борьбой стране.

Он лежал под пологом без сна, улавливая сквозь марлю чуть слышное дуновение прохлады, окруженный волнистым свистом, достигавшим пронзительной громогласной вершины и вдруг смолкавшим. Думал: рядом за стеной не спит Сом Кыт, а через несколько номеров под такой же москитной сеткой не спит итальянка. И все они погружены в этот свист насекомых, в лунную ночь, в единое, омывавшее их время, ежесекундно снимавшее с каждого тончайший слой жизни. И это роднящее их исчезновение, казалось бы единственно важное, толкавшее их всех в одну сторону — друг к другу,

а потом в никуда, даже оно не в силах одолеть отчужденности, спокойной и дружелюбной, как у него с Сом Кытом, утонченной и нервной, основанной на недоверии, как с итальянкой. Лишь мгновенная вспышка, порыв, как этот недавний, на который он не ответил...

Он лежал, думал. Вот он, Кириллов, сорока лет от роду, журналист и ученый, всю жизнь решал две задачи. Одну, явную, предмет его научных изысканий, — о мире, включенном в борьбу и конфликты, в непрерывное движение истории. И другую — о себе, вовлеченном в проживание жизни, конечной, временной, которой суждено оборваться. Рождение, взросление, мужание, потери любимых и близких, свет, дарованный ему в Троицком неизвестно за что. Любовь к жене, их бездетность. Их глубокая общность и связь, сочетавшая их с вещей, мучительной силой, связь, в которой — он этого не мог объяснить — присутствует их общая смерть. Он решал эти две задачи. Одну о мире — умом, трудолюбием, волей, изучая огромную машину политики, в которой, наподобие редуктора, вращались маховики и колеса держав, искрили, скрипели и сталкивались, обкалывались в гранях, зубцах. И другую — той неясной, не имеющей названия сущностью, душой, где живут отчаянье, боль, изумление, ожидание гармонии, счастья, ожидание повторения чуда — того деревенского утра, в котором он некогда жил.

Он берет в сенцах свои красные широкие лыжи с припоями вчерашнего снега. Оглядывается на приоткрытую дверь в избу, где в сумерках усмехается, светится глазами, губами ее лицо. Чувствуя ее за спиной, сходит с крыльца. Ставит на сугроб, в старый накатанный след свои охотничьи, похожие на лодки лыжи. Устраивает мешок за спиной, где одиноко болтается колотушка клейма. Набирает поглубже воздух и падает, как в воду, в легкий счастливый бег, несомый — из скрипов, скольжений, из коротких ожогов внезапной, срывающейся из-под лыжин метели.

Пробегает селом, отворачивая от мохнато промороженной церкви, от колхозной конторы, где пышут дымками столпившиеся бригадирские газики. Перескакивает через осевшую, заваленную сугробами изгородь, услышав, как хрястнул в глубине мерзлый кол. Шлепает плоско вверх по горе, на мгновенье прилипая к склону. Отдуваясь паром, входит под елки, где внизу — синие тени, беличий сор, а вверху — горячие гроздья шишек, легкие стуки невидимого в солнечном дыму дятла. Выскальзывает из-под елей на

выпуклое, прекрасное поле, огромное под небесами, окаймленное бором, дорогами, пересыпанное слюдой лисьих следов. Несется на лыжах, почти не касаясь земли.

Замедляя бег, подкатывает к торчащим из-под наста сухим заиндевелым соцветьям. Огненный клин лыжи останавливается перед зонтичным стеблем, хрупким, пересыпанным легчайшей белой пудрой. Он восхищается, любуясь совершенством его строения, зажигая смещением зрачка красное, зеленое, золотое мерцанье. Цветок пережил недавнее лето, прилеты шмелей, куренье пыльцы, умер, но родился в другой, зимней, кристаллической жизни и теперь несет в своих легких конструкция знание о морозных, малиновых восходах, блистающих черных ночах. Маленький беззвучный божок, к которому он подкатил на лыжах, чтобы поклониться ему, молить суеверно: пусть сбережет и его и Веру, сочетает их среди этих снегов и метелей.

Он скользит сквозь сухие, торчащие из-под снега соцветья. Наезжает на них, ломает с чуть слышным звоном. Удар лыжи в ломкий стебель. Сбитый иней, лишенный каркаса, еще хранит одно мгновенье контур цветка и осыпается мелким блеском. Лыжа переезжает поверженный, словно черным резцом начертанный стебель.

И вдруг из-под лыж — взрыв, удар, взвинченный снежный буран. И в этом размытом вихре возникает распластанное изображение зайца. Прижатые уши, растопыренные когтистые лапы, бугор лохматой спины. Зверь в прыжке оглянулся на него круглыми, не испуганными, а хохочущими глазами. А он, с колотящимся сердцем глядя на воронку в снегу, оставшуюся под красным полозом, успевает подумать, что и в зверином хохочущем лике, и в поле, и в недавнем серебристом цветке — во всем этом как-то живет ее лицо, любимое, бело-алое.

Он ломится напрямик сквозь плети орешника на гул голосов, на стуки и хрусты, на запах дыма. Поляна утоптана, в ворохах обрубленных сучьев — два сине-дымных бледных костра. Скрипит и лязгает близкий невидимый трактор. Мужики по двое обминают снег у берез, машут топорами, выкалывая из стволов желтые, как сливки, ломти. Враскоряку, приблизив к снегу красные жаркие лица, держат на весу бензопилы, погружают в комли их звенящие вихри. Выхватывают вибрирующую зубчатую сталь, когда береза начинает крениться, и вот, зачерпывая из небес жидкий ковш синевы, она хлещет ударом по снегу, подпрыгивает и пружинит. И другие лесорубы ловко, весело подбегают к поверженному

дереву, начинают стесывать сучья, блестя топорами, поругиваясь и покрикивая.

Лесники видят его, машут, подмигивают синими хмельными глазами. Их двое. Сергей Полунин из Троицкого, долговязый ходок, работник, себе на уме. Его новый, недавно поставленный дом, словно сбитый из яичных желтков, красуется в центре села, пахнет смолой, коровой, железом и смазкой упрятанного в сарай мотоцикла, блестящей сталью нержавеющей цепи, на которой рвется клыкастый жаркий кобель, когда красивая молодая хозяйка выносит дымную миску с похлебкой. Другой лесник, Одинокое Сашка, вечно в подпитии, растерзанный, на одной пуговице, с легким сорочьим скоком, балагур, матерщинник, гуляка, пропадающий по неделям из дома, бражничающий по окрестным деревням, пешком, без собаки, по пороше, по следу и запаху находящий зайца, бьющий сквозь хмель без промаха из разболтанной, брызгающей во все стороны пламенем «тулки».

Оба рады его появлению. Зовут за собой, торопят достать клеймо. Заговорщически кивают на пыльщиков, на лошадь в санях, где под соломой припрятана водка и домашнее сало.

Подходят к свежесрезанным пням, осыпанным опилками. Березы, расчлененные на дровины, снесены в высокие поленницы, стоящие словно срубы. Он извлекает клеймо, прицелясь, бьет, чеканя на пне звезду, чувствуя затихающий в пне удар.

— Рубль удар! — торопят его лесники. Он рад их понуканиям, артельному, на поляне, труду, в котором и ему теперь место.

Они обмеривают поленницы, принимают содеянную лесорубами работу. Бригадир, здоровенный белесый мордвин, складным метром ощупывает дровины, плутовато ухмыляется лесникам, округляя недостающие вершки. А он, махая клеймом, делает вид, что не замечает его плутовства, его копеечной выгоды.

Собираются все к саням, круто дыша паром, откладывая бензопилы, вгоняя в стволы топоры. Тракторист в мазутной робе оттирает о снег масляные черные руки. Достают бутылки и сало, одинокий драгоценный стакан. Наливают, пускают по кругу. Задрав кадыки, выпивают, похоже вытираясь ладонью, быстро хмелея, заговаривая разом бестолково и радостно.

Он отказывается от водки, удаляется от их голосов и

запахов, идет мимо трактора, уткнувшегося в сугроб, мимо лошади с рыжими глазами к костру. Костровище с пепельной жаркой начинкой протопило снег, разметало вокруг себя розоватые обгорелые веники.

В поваленной березе торчит топор, вонзив в ствол блестящий мысок, храня короткий взмах вогнавшего его лесоруба. Вовлекаясь в этот неисчезнувший жест, он выдерживает из ствола литой, по руке инструмент, обрубает сучья. Двигается вдоль ствола от комля к вершине, отсекая белые, а потом темно-розовые ветки. И вдруг, подумав о ней, поджидающей его за лесами, испытал такое волнение и нежность, что прижал ледяной топор к горячей щеке, словно хотел в своей щедрости и любви оживить и согреть разящую сталь.

Оставил за собой вечеряющую поляну с галдящими пильщиками. Вышел на гладкую, накатанную добела дорогу, в которой блестили золоченые струйки соломы, румянились на елях высокие шишки, тихо посвистывали, перелетали с ветки на ветку синицы.

Он шел по дороге, тянул за собой на веревочке лыжи, и они колыхались послушно, постукивали на ледышках. Не было усталости, каждый шаг был сильным, свободным. Не было и мыслей, а в душе жило только ощущение своей воли, молодости. Дорога, безлюдная, казалась бесконечной в обе стороны, и, идя по ней, проложенной кем-то словно для него одного, он благодарно следил за крохотной перелетающей в вершинах птахой.

Его нагнал грузовик. Знакомый шофер затормозил, приглашая в кабину. Он хотел отказаться, продолжить свой одинокий путь, но передумал, согласился, не желая обидеть шофера. Сел не в кабину, а запрыгнул в обмороженный кузов, где лежал в ледяном обнаженном блеске лом. Встал, ударив по кабине ладонью.

Мелькали ели, жег, свистел ветер, выбивал из глаз длинные слезные искры. Грузовик выскочил из леса на гору, и он вдруг вознесся над огромной родной предвечерней далью, где мерцали в заре деревни, белели колокольни, стояли над речками ветлы. И в глубоком остоявшемся вздохе, в счастливом перебое ставшего необъятным сердца он почувствовал, как вырастает до неба, исполненный силой и счастьем, обнимает весь мир, царит в нем, но не грозно, не властно, а ликующе: он есть и был в этом мире всегда, никуда не уйдет вовек, и смысл его бытия — в этом недвижимом, из мечты и любви озарении.

Теперь, когда он думал о своей больше чем наполовину прожитой жизни, казавшейся прежде неповторимой, с единственной, только ему на роду записанной судьбой, он обнаруживал, что жизнь его своими основными чертами, своими поворотами и изломами схожа с жизнью остальных современников, несет в себе приметы послевоенного, мирного течения лет, когда целое поколение, потеряв на войне дедов, отцов, взросло, возмужало в благодатное, не ведающее бойни время. Наговорилось, налюбилось, надурачилось, нафрондировалось, насладились трудами и праздностью, ученьем и битием баклуш, напутешествовалось за Урал, за Дунай, в Африку и в крохотные русские городки, не тронутые переменами, белеющие церквами за лесами, за реками. На неповторимость его судьбы всеобщая жизнь страны, поколения отложились общими для всех веками. Так было с целиной. Так стало и с армией.

Он, гуманитарий, изучавший в университете историю, был призван ненадолго в армию, разлучился с женой, с Москвой, был ввергнут в новый суровый опыт, выводивший его молодой интеллект на предельные рубежи, связанные с пониманием хода всемирной истории, своего в ней места. Чем тяжелей, изнурительней — лопатой, топором, молотком — была его работа, тем ярче были вспышки прозрения, подвигавшие его разум навстречу грозным вопросам века.

Они жили в одноэтажной казарме, среди чахлах, начинавших желтеть лесов.

Ночь. Он дежурный. Ровный двухъярусный строй железных кроватей. Спящие лица солдат. Мир в копошащихся сонных звездах придвинут к грозной черте. И он своими обветренными, почерневшими от железа руками, своим любящим сердцем охраняет мир от беды. Встает между миром и гибелью. Заслоняет собою мать, Веру, ту темную, с синей сосулькой арку, где целовал ее в свой короткий приезд в Москву, красно-белый фасад Третьяковки, куда когда-то вела его мать.

На болоте в торфяниках случился пожар. Пламя спалило сухие травы, смолистое сосновое мелколесье. Прогрызло в торфе красные дыры, ушло в глубину, стало глотать подземные пласты, двигаясь, вырываясь огненными протуберанцами. Их бросили на тушение пожара. Бульдозер выворачивал тяжелые дымные корни, заваливал огнедышащие ямы. Водитель, очумевший от дыма, кашлял, пил из ведра холодную воду. Они с лопатами двигались на стену огня, отсекая его от сухой луговины, где в дощатых сараях лежало имуще-

ство подразделения. Офицер направлял их хрупкую цепь, и он, подчиняясь приказу, вытирая едкие слезы, отплевываясь от песка и праха, шел, как в атаку, страшась, одолевая свой страх, обегая красные раскаленные проруби, думая, что вот так же бежал в атаку отец. Погасили пожар. Ком горящего торфа обжег ему спину. Он лежал с волдырем в лазарете, мучился от боли, бессонницы. Писал жене бесконечное, на многих страницах письмо. Вспоминал, умолял, мечтал о близкой их встрече, переводя свою боль в нежность, мольбу. Она откликнулась, появилась, невидимая, в палате, присела у его изголовья, положила на ожог белый снег с той давнишней лесной поляны.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Утром он проснулся от рокота двигателя, голосов, смеха во дворе отеля. Не одеваясь, выглянул на галерею. Итальянка в дорожном комбинезоне усаживалась в машину. Бодрая, энергичная, с алыми смеющимися губами, прощалась с кампучийцем в очках, готовая продолжать свой путь, свой неясный Кириллову труд. Захлопнула белую дверцу с синей эмблемой, прикрывшись ею, как щитом «Тоёта» мягко покатила на улицу, затормозив у ворот, пропуская шеренгу солдат.

Появился Сом Кыт, сдержанный, аккуратно одетый, и Кириллов был рад его появлению. Вспомнил вчерашний разговор в ресторане, растерялся, не умея выбрать верный, свободный от сострадания тон. И по-русски сказал:

— Доброе утро.

Сом Кыт улыбнулся темными лиловыми губами с едва заметной, померещившейся благодарностью, ответил по-русски:

— Доброе утро.

Им предстояло сегодня несколько визитов и встреч. Первым было посещение недавно пущенного кирпичного завода, почти кустарного «первенца баттамбангской индустрии», как пошутил про себя Кириллов, отлично понимая при этом, сколь важен для разрушенной экономики края сам этот первый пуск.

Сом Кыт достал клеенчатую тетрадь, куда был занесен график встреч. Рассказал Кириллову биографию директора завода Совангсона, с которым предстояла беседа. Инженер, обучавшийся прежде в Париже, он избежал истребления, скрыв свою профессию и истинное имя. Назвавшись про-

стым ремесленником, работал на рубке леса и выжил. После крушения полпотовского режима сам явился к новым властям, предложил свои услуги. Ему поручили восстановление кирпичного производства, ибо жилища, больницы, школы лежали в развалинах и кирпич ценился, как хлеб. Совангсон, еще дистрофик после каторги, еще с приступами лихорадки, собрал голодных, не знавших города и кирпичного дела крестьян, сумел обучить их делу, сумел вдохнуть силы, сумел через срывы и нехватку материалов пустить первую печь, дать провинции первый кирпич. Сейчас он — близкий друг председателя Народно-революционного комитета, о нем знают в Пномпене, приглашают на работу в столицу. Он — перспективный человек, у которого большое будущее.

Кириллов переносил в свой блокнот из клеенчатой тетради Сом Кыта сведения о директоре, с интересом ждал этой встречи.

Они встретились с директором Совангсоном в маленькой конторке при заводе. Директор, с черной европейской бородкой, в очках, с почти полным отсутствием ритуальной восточной вкрадчивости, усадил Кириллова напротив себя, кратко приветствовал, сказал, что рад помочь чем может.

— Вы — ведущий инженер и, видимо, как никто осведомлены о хозяйственных проблемах провинции, — начал Кириллов, испытывая острый интерес к собеседнику, стремясь разглядеть в нем оптимиста, работника, одолевшего в себе и в других безнадежность, апатию. — Вы, по-видимому, представляете экономическую структуру района, его потенциал, ориентацию. Мне бы хотелось услышать, как идет возрождение. Какие проблемы вам, инженеру, хозяйственнику, приходится решать?

Директор заговорил не сразу, словно пробегая мыслью по пространству провинции, где некогда на цветущих плантациях зрели плоды и злаки, работали заводы и фермы, пульсировали дороги и высоковольтные линии. Теперь многое из этого все еще ржавело и гнило, зарастало мхами и травами, нуждалось в спасении. Морщины на бледном директорском лбу сложились в мучительный ломкий чертеж.

Он перечислял наизусть, будто читал по списку, названия заводов и ферм, которые готовились к пуску, говорил о станках и моторах, о мощностях трансформаторов и электрогенераторов, о протяженности дорог, о нужной для их восстановления технике, о профтехучилищах, где крестьяне,

знающие лишь деревянные сохи и ступы, должны превратиться в сварщиков, шоферов, дорожников.

Кириллов быстро писал, чувствуя, что эти сведения есть часть продуманных экономических выкладок, излагаемых языком эрудита.

Директор, путивший крохотный кустарный заводик, который чавкал за окном мокрой глиной и оглушал ревом волов, криками погонщиков, изложил свой взгляд на индустриальное возрождение страны, возрождение, ориентированное на соседние Вьетнам и Лаос, на Советский Союз и соцстраны, основанное на обмене, на взаимной выгоде, гарантированное стремлением людей, ресурсами вод и земель, возможностью экспорта продовольствия и минералов с удобными выходами в океан.

— Я не фантазер, я прагматик. Я занимался во Франции горным делом и машиностроением. Я приспособливал мои знания к той действительности, которая складывалась при Сиануке и Лон Ноле. Теперь в Кампучии иная действительность, и я размышляю над моделями, возможными в этой действительности.

Кириллов, отрываясь от блокнота, встретился с его глазами, умными, острыми, пронизательно мерцавшими сквозь очки. Его губы шевелились энергично, уверенно. Это был инженер, особый тип человека, в котором главное — любовь к механизмам, исследование их, одинаковых на всех континентах. Но в этом кхмере, привлекавшем своей эрудицией, Кириллова интересовало другое. Как глубок его социальный выбор? Насколько он верил в социалистический путь Кампучии? Кто он — человек, прошедший сквозь ад лагерей, сломанный в прежних идеалах и верованиях и лишь вынужденный служить победителям? Или, напротив, его идеалы и верования были той силой, что провела его живым через ад, помогает действовать и творить в новой победившей реальности?

— Мне приятно, что в вашем лице я имею дело с оптимистом. — Кириллов пробирался сквозь экономические постулаты и термины к сущности собеседника, пытался нащупать ядро его личности. — Сегодня в Кампучии все больше оптимистов. К народу возвращается вера, надежда на благо. Хотел бы я знать, что помогает лично вам сохранить оптимизм?

И директор, понимая его, облегчая его задачу, улыбнулся:

— Инженеры вообще оптимисты. Они привыкли считать

и думать. Моя профессия не дает мне впасть в уныние. Она, профессия, спасла мне жизнь. Там, в лесу, охранники не позволяли нам петь, говорить, даже думать. Угольком на стене лачуги я писал математические формулы, и это сохранило мой интеллект от распада. Дожди заливали наши бараки, пол превращался в гнилое зловонное болото. Я придумал сток для воды, мы осушили барак, избавились от лихорадки и язв. На корчевке мы вручную выдирали пни, надрывали себе жилы и умирали. Я сделал элементарное — из веревки и слег — устройство, и оно спасло наши кости от переломов, а мышцы от разрывов и растяжений. Я построил ловушки наподобие силков и капканов, в них иногда попадались полевые зверьки и птицы, и голодная смерть меня миновала. Инженеры — оптимисты, потому что они знают, как взяться за дело. Очень важно, чтобы у нации было достаточно инженеров.

Он улыбался и одновременно оставался серьезным. Он подшучивал над собой, приглашая и Кириллова к шутке, но говорил о вещах сокровенных, касавшихся жизни и смерти. Кириллов, встречавший немало примеров лицемерия и фальши, привыкший сомневаться, перепроверять многократно, верил своему собеседнику.

— Вы сказали о нации. Но для того, чтобы она жила, ей мало одних инженеров. В ней должно присутствовать нечто еще.

— Да! — перебил директор Кириллова. — В ней должна присутствовать вера! Вера нации в свою жизнестойкость. В то, что насилие не вернется, Пол Пот не вернется. Что людей не погонят в неволю, не отнимут у матери ребенка, не отнимут у жены мужа. Что дело, к которому их теперь призывают, не обернется бессмыслицей, гибелью, как те раскорчевки, уже зарастающие джунглями, как те каналы, по которым не может течь вода. Мы, кхмеры, нуждаемся сейчас больше всего в доброй мирной работе, дающей нам пропитание, заслоняющей от пережитого ужаса. Вот почему я решил во что бы то ни стало пустить кирпичный завод. Я больше всего боялся, что люди, увидев, как дело наше не клеится, печь не горит, кирпич при обжиге раскалывается, боялся, что они утратят веру, разбегутся, снова превратятся в нищих, бродяг. Я был и директор, и инженер, и монах, и учитель, и брат. Я был первым среди них и последним. У меня не было ни моторов, ни топлива, не было ни мастеров, ни рабочих. Я собрал весь мой опыт, весь опыт страшных лагерных размышлений над судьбой моего наро-

да. Сообща, голодные и босые, вот этими руками мы пустили заводик. Когда-нибудь после, я знаю, мы будем пускать большие заводы, отправлять из Кампонгсма большие корабли, полные зерна и товаров. Но это, уверяю вас, нам будет сделать легче, чем было пустить вот этот маленький кирпичный заводик!

Кириллов кивал, соглашался, дорожил возможностью видеть верящую, стойкую духом личность. В нации, которую стремились убить, оставался и жил фермент, служивший гарантией жизни. Сохранился тип человека, знакомый ему по родине, человека, готового — вопреки всем бедам и тяготам — творить и строить. Возводить города из пепла. Поднимать со дна корабли. Действовать вопреки убивающей логике смерти, неся в себе логику жизни.

— Я, наверное, вас утомил,— извинился директор.— Я расхваливаю мое детище, будто это атомная станция или космический корабль. Совсе нет! Прошу! Приглашаю вас осмотреть производство!

Огромный, сколоченный из дерева чан, похожий на громадную бочку, стучал, сотрясался, сочились сквозь щели коричневая глиняная жижа. Быки, впряженные в деревянные, уходящие в чан мешалки, шли по кругу, вздувая загривки, ревели, стонали от тяжести. Погонщики били их по бокам, понукали, скалились, сами очумелые, яростные. По дощатым желобам в чан бежала вода, сыпался бурый песок. В недрах чавкала глина, проворачиваемая незримыми лопастями, взбухала, пузырилась в невиданном деревянном реакторе, работающем на энергии бычьих сердец. Быки, пенно намылив ярмо, скользя копытами по жиже, надрывались, крутили грохочущий вал, словно земную ось, поддерживая вращение земли. Погонщики, закатав по колена штаны, тонконогие, грязные, визгливо, истошно вскрикивали, не давая быкам передышки, не давая земной оси замереть и застыть, двинуться в обратную сторону.

Созревшее месиво глины в лопающихся парных пузырях сползало на мокрые железные листы, дышало, готовое к лепке, готовое принять на себя отпечаток человеческих рук, восстать из мертвого праха или, не дождавшись оживления, опасть и осесть черствой грудой, не возрожденной чудом материей.

Рабочие совками врезались в глину. Отхватывали сочные доли, кидали их в формы. Встряхивали, тасовали, дергались головами, плечами, словно вколачивали в глину отпечатки лиц, ладоней, притоптывали голыми пятками,

ходили в шаманском танце, заговаривали месиво, замуровывали в нем свои беды. Мальчик с деревянным клеймом метил круглой печатью каждый подготовленный кирпич.

Бесчисленные ряды кирпичей сохли на железных листах, испаряли влагу, туманили пространство. И сквозь их живое дыхание струилась и плавилась даль, колебался и расслаивался город, двоилась и подымалась в небо дорога, и велосипедист в синей шапочке парил, не касаясь земли.казалось, все держится на зыбкой неверной грани, готовое испариться, исчезнуть, превратиться в мираж, обнаружив после себя пустоту.

Печь, как глазастый, многолапо упершийся в землю дракон, раскрывала огненный зев, высовывала раздвоенный красный язык, качала загнутым дымным хвостом, глотала жадно ломти, проталкивала их в свое сводчатое раскаленное чрево. Истопник просовывал в печь длинный железный прут, словно бил и колот дракона, и тот хрипел и взвивался от боли. Дух огня, обжигающих летучих стихий касался глины, превращал ее в легкую звонкую твердь, готовил ее к созиданию, воплощению в храмы и пагоды, дворцы и людские жилища, в непрерывно возводимый в мире чертог, куда каждый в свое время и час, перед тем как уйти и исчезнуть, вложит свой малый кирпич.

Горячие, поспевшие, как хлебы, кирпичи выходили на свет. Смугло-телесные, золотистые, они остывали под ветром. И уже подкатывали телеги, запряженные волами. Грузчики бережно клали кирпичи на телеги, накрывали их тканями, выезжали на дорогу, ведущую в город.

Несколько кирпичей упало на землю. Грузчики бросились их подбирать. Директор наклонился, поднял кирпич, положил его рядом с другими. Сом Кыт поднял и положил. Кириллов взял с земли теплый, сухой, слабо прозвеневший кирпич, положил его в общую кладку. Подумал: этот кирпич с крохотной, заключенной в круг эмблемой Ангкора захватил в себя и его, Кириллова, прикосновение, будет хранить его, коптясь в очаге крестьянского дома, введет в соприкосновение с другими неведомыми людскими жизнями.

С Сом Кытом они посетили художника Нанг Равута. Один из немногих интеллигентов, уцелевших после избиений и чисток, он слыл теперь местной знаменитостью. Ки-

риллов помнил, каких трудов стоило правительству открыть в Пномпене кинотеатр, собрать театральную труппу, наладить выпуск газет. Он хотел понять, чем же дышит культура в провинции и есть ли ей чем дышать, сохранились ли люди культуры.

В ателье художника двери были распахнуты на улицу, на жару, где дребезжали велосипедисты, гоняли голосащие дети и всякий проходящий мог заглянуть в мастерскую.

Художник, как маленький бронзоволикий божок, спустился к ним по стремянке откуда-то сверху, голый по пояс, мускулистый, с ершистой седой головой. Держа пятнистую палитру и кисти, поклонился им. Сом Кыт представил Кириллова, объяснил цель визита, а Кириллов тем временем разглядывал огромное, уходящее к потолку панно, над которым трудился художник.

На обширном холсте грубо, бегло и хлестко была нарисована карикатура — группа разномастных кривляющихся кукол, и над каждой были выведены их имена. Толстолицый, смазливо-отталкивающий Сианук. Маленький плотоядный Лон Нол. Ушастый, клыкастый, похожий на кабана Пол Пот. В цилиндре, в штиблетах, с козлиной бородой дядя Сэм. На теле каждого был нарисован круг с темной сердцевиной наподобие яблочка мишени.

— Этот стенд заказал мне муниципалитет. — Художник пришел на помощь Кириллову. — Такой же стенд я сделал для Сиенреапа, там не осталось своих художников. Скоро, вы знаете, мы празднуем Новый год. Эти стенды будут установлены в местах народных гуляний. Люди будут целиться в эти мишени стрелами, дротиками. Это их развлечет. — Он замолчал, изучая гостя, желая убедиться, что этот нехитрый, на потребу минуте, труд правильно понят. — Мне часто приходится рисовать агитационные плакаты. Может быть, вы видели на рынке плакат, призывающий соблюдать гигиену, не пить сырую воду? Или при въезде в город, у моста, призыв не сорить, убирать дворы и подъезды? Сейчас это очень насущно. Люди, поселившиеся в городах, не знают грамоты, не умеют читать, и многое приходится им объяснять изображением, рисунком.

Кириллов сравнивал его поденную, яростно-небрежную работу с теми агитками и плакатами, что явились в революционной России, были мгновенным отблеском схватки, на своих ярких, похожих на кляксы листах запечатлели резкое членение мира.

Здесь, на этом холсте, действовала та же эстетика, металась та же кисть вовлеченного в борьбу искусства, занятого черновой, неблагодарной работой на рынках, в казармах, в больницах.

— Но помимо этих у меня есть и другие работы. Я их мало кому показываю. Они о том, что было с нами недавно, исчезло из жизни внешней, но здесь, внутри,— он дотронулся до груди,— здесь оно осталось. Эти рисунки я посвятил тем, кого нет сейчас с нами, кто не может говорить. Я говорю за них.

Он раскрыл широкую папку, стал выкладывать один за другим листы, на которых черной тушью были нарисованы сцены избиений и пыток, горящие храмы и хижины. Впряженные в оглобли женщины волокли по болоту тяжелые сохи и бороны, и надсмотрщики били их плетями. Вереница согнувшихся, закованных в колодки людей падала в яму под ударами мотыг, один за другим, будто фишки домино. Вздернутый на дыбу мученик раздирался огромными клещами. Поверженный монах подставлял палачу свою бритую голову, и тот вгонял в нее громадный гвоздь. Все рисунки были оружие, стенающие, похожие на бред. Они сыпались из папки, наполняя мастерскую своим сверхплотным страданием, устремлялись, как духи, в квадрат растворенных дверей, в город, наружу, словно хотели вернуться в мир, откуда они были изъяты. И художник, зная их сокрушительную, ранящую силу, собирал их обратно в папку, заслонял своим маленьким телом улицу, велосипедистов, детей. Затягивал на папке тесемки, упрятывая виденные и пережитые ужасы.

— Мы все слишком много страдали. Мы измучились и ожесточились в страданиях. Мы привыкли к слезам, к плачу. Наши сердца превратились в камни. Сейчас нам нужно проповедовать умягчение сердец. Художник должен вернуть человеку сердце, вернуть добро, красоту. Я стремлюсь это делать в моих работах.

Он открыл другую папку, и, отрицая предшествующую, в ней возникли разноцветные, нарисованные в старинной буддийской манере, с обилием золота и лазури, танцовщицы, наездники, пагоды, улыбающийся под деревом Будда, хлебопашцы у розовых длинноногих волов, женщины, несущие младенцев. И не верилось, что этот разноцветный рай существует в той же душе, где чернеет и корчится орущий столичный ад.

— Если вам интересно, у меня есть еще работы, скульп-

турные. Подойдите сюда! — Он поманил Кириллова в дальнюю часть мастерской, к плотно затворенным дверям.— Послушайте!

Кириллов прислонил ухо к двери. За тонкой переборкой услышал мерное, тихое шелестение, похожее на морошенье дождя или слабое, без пламени, тление.

— Что там? — спросил он.

— Мои скульптуры. Быть может, вы слышали, при Пол Поте меня схватили и хотели казнить. Охранник спросил меня, кем я был на свободе. Он всех для чего-то спрашивал перед тем, как отправить на казнь. Я сказал, что был художником. Тогда он спросил, смогу ли я сделать скульптуру. «Кого?» — спросил я. «Пол Пота», — ответил он. Я сказал, что смогу. Взял фотографию Пол Пота и, сверяясь, вырезал из древесного ствола скульптуру. Она им очень понравилась. Они оставили меня жить, но заставили вырезать скульптуры Пол Пота одну за другой, много скульптур. Я вырезал, а сам думал — неужели мое искусство должно воспевать воплощение смерти, того, кто отправил на смерть моих друзей и родных, моих учителей и учеников? Неужели я моим искусством сохраняю для потомков голову и лицо, которое я ненавижу, и он, убивший стольких, благодаря мне переживает и нас всех и себя самого, как знаменитые каменные лики Байона? Нет, думал я. Я выбирал для скульптур то дерево, которое уже было подпорчено жуками-пилильщиками, в котором уже поселились термиты. Я знал, что они сделают свое дело. Я вырезал много скульптур. Некоторые из них у меня. Посмотрите!

Он отворил дверь. В сумерках, по углам, большие и малые, некоторые в рост человека, стояли головы и бюсты Пол Пота, улыбающиеся, величавые, все в мелкой сыпи проточенных жуками отверстий, в белой муке иссеченной в прах древесины. В них, невидимая, совершалась работа. Насекомые неуклонно и слепо, проникнув внутрь голов, истребляли скульптуры, будто время не торопясь стирало, убирало следы того, что должно исчезнуть.

Скульптор подошел к большой улыбающейся голове, чуть тронул ее. Кусок щеки и губы отвалился, осыпался, и оттуда, изо рта и из глаз густо полезли термиты, побежали торопливые глянцевиые муравьи, извергаясь в копошении из головы.

Художник затворил плотно двери, серьезный, властный, знающий все наперед. Медноликий божок с ершистой седой головой.

...После обеда Сом Кыт сообщил Кириллову, что их ждут в буддийском монастыре у реки, в единственной уцелевшей пагоде, где верховный бонза Теп Вонг, совершающий поездку по провинции, готов принять советского журналиста. Кириллову был важен этот редкий, мало кому выпадавший визит.

Они проехали за город к реке, к рухнувшему, словно с переломленным хребтом, мосту. На другом берегу, за мостом продолжалась зарастающая, уходящая в джунгли дорога. Здесь же, на городской стороне, бугрились развалины монастыря, но не мертвые, а носящие следы обитания. Ухоженные, ровно посаженные, розовели лилии. На каменных чистых воротах красовался свитый в клубок дракон с белым, свежепроклеенным вдоль туловища швом.

Привратник с лицом морщинистым и коричневым, словно изюм, впустил их на просторный утоптаный двор с резкой игольчатой тенью пагоды. Кириллов, идя за монахом, за его оранжевым развевающимся балахоном, за желтыми, твердо стучащими о сандалии пятками, успел разглядеть подвешенное у входа било — корпус ржавого пустого снаряда. На земле перед храмом, на границе пекла и тени, стояли две медные чаши — ослепительно яркая на солнце и тускло-туманная в тени. В их расстановке чудилось сходство с неким древним прибором (весами, часами?), как будто готовились к какому-то ритуалу. Это насторожило Кириллова предчувствием чего-то невнятного, к нему обращенного.

Их ввели в прохладную приемную с легким стойким ароматом сандала. Сом Кыт снял туфли, опустился на колени перед Буддой, румяно-белым, раскрашенным, как муляж, произнес отрешенно несколько сутр. Кириллов, подобно ему, оставил у порога обувь, прошел и уселся за маленький столик, на низкую резную скамейку.

— Нас просили подождать, — сказал Сом Кыт, перемолвившийся со служителем. — Верховный бонза Теп Вонг окончит беседу с монахом и выйдет к нам.

Кириллов смотрел в открытую дверь, туда, где на пыльном дворе стояли две медные чаши, ослепительно яркая и тускло-погасшая. И вид этих чаш продолжал его тревожить и мучить. Граница света и тени говорила о некоей заложенной в мир двойственности, быть может, о добре и зле, о жизни и смерти, о выборе между тем и другим.

Изображение Будды, аляповатое, в цветных мазках, вдруг напомнило ему его детскую полузабытую игрушку —

коня на колесиках: серые яблоки, красная сбруя, длинные, как у Будды, глаза, розовый, улыбающийся рот. Это странное сходство, как и вид стоящих, для чего-то приготовленных чаш, все усиливало его ожидание. И как бы в ответ на него в дверь влетела бабочка. Желтая, яркая, заметалась вокруг его головы, вокруг плеч Сом Кыта, будто опутывала их обоих общей невидимой нитью. Стала кружить по комнате. И Кириллов, поставив ноги в носках на прохладный белесый пол, пристально следил за ней.

Ударило близкое било, сначала редко, внятно, затем учащаясь, измельчаясь до нервных пульсирующих звуков. И на последнем погасшем ударе, развевая оранжевую накидку, вошел верховный бонза. Наклонил бритую голубоватую голову, поднял ее, превращая землисто-желтое, болезненно-озабоченное лицо в улыбающуюся маску, на которой за раздвинутыми губами желтели крупные зубы. Широким взмахом руки усадил их, поднявшихся, на скамейку. Сел сам, забросив обильные складки одежды меж колен. Замер, выставив костлявое худое плечо, продолжая улыбаться.

— Я знаю,— произнес он после минуты молчания,— вы проделали длинное и нелегкое путешествие. И вам еще предстоит длинный путь. Пусть исполнится все задуманное вами и вы благополучно вернетесь домой.

Бабочка, исчезнувшая было, вдруг снова стремительно налетела, вонзилась в воздух, облетела вокруг лиловой головы Теп Вонга, мелькнула у смуглого бесстрастного лица Сом Кыта, сверкнула желтизной над Кирилловым и, заметавшись, оставляя в воздухе тонкие, быстро гаснущие знаки, пропала. Кириллов следил за ней, пытался прочесть начертанные ею письмена.

— Я потревожил вас моим посещением, желая уточнить некоторые данные,— произнес Кириллов, раздвигая, расщепляя внимание: улыбающийся желтозубый Теп Вонг и Будда со знакомым лицом коня, две чаши — света и тьмы и легкая золотистая бабочка, принесшая ему невнятную, но важную весть.— Мы все знаем о страшном уроне, понесенном буддийскими общинами во время недавних гонений. Известны общие цифры потерь. Но, видимо, вам, совершающему эту поездку, открывается более полная картина несчастья.

Верховный бонза мгновенно согнал с губ улыбку, словно провернул невидимый диск. Сделался грустным, тревожным.

— Теперь мы действительно располагаем более полны-

ми данными,— ответил он, помолчав, внутренне просматривая список потерь — убитого, сожженного, взорванного.— За три года и восемь месяцев, когда мы пребывали во тьме, были уничтожены все монастыри и пагоды, умерщвлены почти все монахи. В начале сезона дождей семнадцатого апреля семьдесят пятого года началось разрушение пагод и убийство монахов. Прежде в Кампучии было тридцать пять тысяч монахов, теперь же нет и трех тысяч. Разрушено бессчетное количество храмов, многие из них очень древние, известные культурному миру. О них написаны книги.

Теп Вонг напрягал голое худое плечо с выступавшей птичьей ключицей. Говорил с Кирилловым бесстрастным языком статистики. Обращался к собеседнику той своей частью, что была открыта политикам, прессе. Другая его сторона, невидимая, была обращена к разгромленным пагодам, истребленным духовным знаниям, умерщвленным сподвижникам — разоренному гнезду его веры, в которое вторглось зло, полной мерой осуществилось в судьбе соплеменников и теперь сгнуло. И он поставлен среди руин и пожарищ начать кропотливое пчелиное дело, повинаясь законам добра и продолжения жизни.

— Я родом из села,— говорил Теп Вонг.— Моя пагода находилась в полутора километрах от города. Я видел, как были убиты шестьдесят монахов, началось уничтожение изображений, изгнание людей из жилищ. Мы, монахи, не могли укрыться или сменить обличье. Нас легко узнать, у нас бритые головы. Некоторых из нас убивали на месте, других выгоняли на дорогу, третьих отправляли на тяжелые работы. Но монахи не умеют работать в поле. Они никогда не работали в поле и сразу же погибали от непосильных трудов. У монахов нет семей, и, когда монаха изгоняли из храма, его некому было кормить, и он умирал от голода.

Кириллов слушал еще одну, тихим голосом рассказываемую повесть о великих несчастьях. И его внимающая, откликающаяся на чужие страдания душа напряглась в ожидании и муке. И бабочка снова влетела в поле его ожидания, и, беззвучно охнув, он вдруг обрел иное зрение: он увидел тропку к реке, ту, давнишнюю летящую бабочку, они с отцом бегут за ней, ловят, а она ускользает от них. И вот они на волжских летних песках. Отец, голотелый, блестящий, занес его в реку, держит над бегущей, быстрой водой. Он видит сквозь волнистую толщу дно, желтый песок, гальку. Ему жутко. Река страшит и пугает, но он верит в отца,

верит в его сильные руки, близкое смеющееся лицо. Два чувства в нем — страх перед волжской водой и жаркая детская вера в отца.

Отец был убит на войне, в зимней сталинградской степи. Когда-то в юности он отправился в степь искать могилу отца. Бродил по выюжным заволжским дорогам, по засыпанным хуторам и селам, выспрашивал старух, выглядывал имена на братских надгробьях. Так и не нашел, изведаясь и измёрзнув, вернулся в Москву, сохранив в себе навсегда чувство вины, невыполненного сыновнего долга. И теперь изумленно, со страхом, боясь, что вот-вот пропадет, смотрел на бабочку. Снова видел близко, как тогда, на реке, родное лицо, вспоминал фронтовую фотографию: отец, молодой лейтенант, с усиками, с сияющими, солнечно-выпуклыми глазами...

— Почему же, как вы полагаете, — Кириллов, преодолевая наваждение, старался поддержать разговор, — почему такая ненависть к монастырям и монахам?

— В монастырях скопились ценности нашей древней культуры. Пол Пот использовал пагоды как тюрьмы и места уничтожения людей. Святыни были превращены в темницы и места казней. Людям говорили: «Монахи — это трупы. Кто хочет им поклониться, пусть идет к трупам». Когда приходишь теперь на развалины пагод, видишь кости умерщвленных людей.

Бонза говорил о несчастьях, но улыбался широко, желтозубо, будто приглашая Кириллова не верить в силу несчастья.

Бабочка летала над ним, билась о невидимую, воздвигнутую между всеми живыми преграду. Кириллов был благодарен ей за то, что она вызвала образ отца из небытия. Он явился из русской ветреной степи, отозвался через столько лет на зов, избрав для этого знойный день в кампучийской пагоде, где он, Кириллов, постаревший, перегнавший годами отца, сидит перед бритоголовым монахом и две чаши сквозь открытую дверь наполнены светом и тьмою.

Снова ударил гонг, мерно, тягуче, убыстряясь, исходя в мелких торопливых ударах, извлеченных из стальной оболочки снаряда. На дворе появились люди; мужчины, женщины, дети несли дымящиеся курения, проходили мимо поставленных чаш, что-то бросали в них.

— Конечно, своими силами мы не сможем построить заново пагоды. Народ приходит нам на помощь, — бонза

улыбался застывшей улыбкой, кивая на людей перед храмом. — Они принесли нам деньги.

Кириллов опять видел Волгу в тяжелых зеленых льдах, огромную метельную степь в белых наледях. И мысль: где-то здесь отец, быть может, у него под ногами. Кинуться, прижаться лицом, прожигать дыханием лед, шептать сквозь мерзлую землю.

Отец ушел от него в тот момент, когда в нем, в ребенке, стали открываться первые сознание и память, и отец успел уронить в это первое сознание несколько зерен, нанести малые метины, как бы обозначив себя, сделав крохотные зарубки. Он, сын, бережно нес в себе эти зарубки, ожидая, что из них вдруг тронется в рост его дремлющая детская память и возникнет отец, живой, любимый.

...Вот отец усадил его на колени, рисует ему грузовик. И ему так нравится этот рисунок, красивые колеса и фары, красивая кабина с шофером. Но отец вдруг рисует взрыв, ударивший в грузовик, брызнувший черными карандашными брызгами. И таким неожиданным был этот взрыв, так жестоко перечеркнул красивый рисунок, что он не удержался, жалобно, громко заплакал. И отец утешал его, превращал взрыв в цветущий на обочине куст, рассаживал на нем белок и птиц.

В детском саду вечер. Все дети ушли, воспитательницы тоже ушли. Осталась одна сторожиха, ходит в тяжелых валенках среди желтых, с наклейками, шкафчиков. Он остался один. За ним никто не пришел. Обида на мать и на бабушку. Детское чувство беды и войны за черными окнами, в которые сыплет метель. Внезапные шаги в коридоре. На пороге — большой человек, в снегу, в блестящей тающей изморози. Идет к нему, улыбается, окликает по имени, прижимает к себе. И он, чувствуя щекой жесткие ворсины шинели, не узнавая в лицо, сыновним инстинктом понимает — это отец явился за ним. Окончена его мука, беда. Отец ведет, несет его в колючей пурге, и такая вспыхивает в нем радость, любви!

Позже, узнав, что отец погиб, видел, как мать доставала все один и тот же треугольник письма, маленький фотоснимок отца в лейтенантской форме. И плакала, плакала, до обморока, до беспамятства, вызывая в нем такую боль, такое страдание. Тайком достал из письма этот маленький черно-белый портрет и спрятал, надеясь уберечь мать от слез. Сам доставал украдкой, рассматривал офицера в фуражке, с усами, с сияющими глазами.

— Эти пожертвования пойдут на строительство? — спросил он рассеянно, глядя на вереницу людей, на крохотные дымки в их руках, на пальцы, кидавшие в чаши дар.— Деньги эти — на строительство пагоды?

— Нам очень трудно,— ответил бонза.— Нам нужно ремонтировать храмы, открывать монастырские школы. Мы нуждаемся в продуктах, деньгах. Но враг, принесший столько страданий, еще не до конца разбит. Еще гибнут люди. Мы хотим, чтоб скорей воцарился мир. Вы видели разрушенный мост? Мы решили отдать пожертвования правительству, чтоб скорей починили мост. Чтоб войска могли пройти по мосту в джунгли, где прячется враг.

Снова ударил гонг. Бонза, подхватив с колен оранжевые длинные складки, распушил их. Поднял вверх руки с растопыренными пальцами. Продолжал улыбаться, давая понять, что аудиенция окончена. Кириллов поднялся, попрощался. Искал глазами желтую бабочку, не находил. Виденье, его посетившее, улетучилось, оставя по себе легчайшую боль, исчезающую мысль об отце.

Программа дня была выполнена. Завтра предстояла поездка к границе. Шофер и солдаты в преддверии трудной дороги погнали машину в мастерскую на другой конец города менять аккумулятор. Кириллов и Сом Кыт высадились из «тоёты» у рынка, среди лоскутно-красного вечернего многолюдья, скрипящих двуколок, длинных, облезших, неуклюже поворачивающих автобусов, дощатых прилавков, на которых под матерчатыми тентами, напоминавшими драные паруса, шла торговля, не спадавшая в час предвечернего зноя. Весь рынок напоминал огромный парусный флот.

Кириллов пробирался в тесноте, в криках и воплях, видя, как продавцы, покупатели, заметив его, прекращают торг, застывают с полуоткрытыми ртами, шепчутся, смеются у него за спиной, пораженные видом европейского, не появлявшегося здесь долгие годы лица.

Миновал мясные ряды, липкие, темные от крови, где доски столов раскисли от парного мокрого мяса и по ним лениво и сыто ползали жирные мухи. Рассеченные свиные туши. Ряды отрубленных поросячьих голов с белесыми ресницами. Торговцы при его появлении откидывали сальные рогожи, зазывали его криком «мсье», обдавали душным запахом млеющих на жаре кусков.

Протиснулся в рыбные ряды, где, скользкие, в чешуе,

в перламутровой высыхающей слизи, лежали речные и озерные рыбы, от больших и круглых, как блюда, до мельчайших, как стеклянные подвески, мальков, пересыпанных крупинками тающего льда.

Тут же в ведрах продавали сонных живых лягушек, а в ситах — горстки дочерна обжаренных жуков-плавунцов со сложенными на животах гребными ножками.

Овощные и фруктовые ряды сочились сладостью, пряностью. Специи в открытых мешочках зеленели, краснели. Хрустели раскалываемые кокосы. Лился сок из давилок. Кириллов чувствовал, как пропитывается едкими, сахарно-эфирными испарениями.

Он отмечал обилие продуктов, опровергавшее слухи о возможности голода в провинциях. Приценивался. Цены были высокие, но рынок клокотал, сыпал деньги. Город встречался с деревней, шел товарный обмен, шла жизнь.

Он осматривал прилавки контрабандных, привезенных из Таиланда товаров — транзисторов, радужных тканей, запасных частей к японским велосипедам и мотоциклам. Рассматривал изделия из золота — цепочки, кольца, кулоны, — накрытые стеклянными колпаками, под бдительным оком зорко-вежливых, хорошо одетых торговцев. И в дальнем углу, на земле, на горячем солнце наткнулся на скопище бесчисленных, не имевших применения предметов: локутов металла из ржавых автомобильных капотов, обломков бамперов, кусков магазинных вывесок, осколков посуды, истоптанных рукодельных сандалий, вырезанных из автомобильных покрышек, смятых латунных гильз — всего, что осталось от недавней разрушающей и крушащей поры, уже исчезнувшей, выброшенной на свалку, оставшейся лишь ворохом убитых, потерявших названия вещей.

Голосила толпа. Пестрел, мерцал, хлопал полотнищами рынок. Пекло солнце. Мухи то и дело шлепались на лицо. И он, окруженный чужими лицами, дурманыщими запахами, стиснутый людскими жизнями, шумными, звучными, рвущимися себя обнаружить, закрепитесь в этом мире, усилиться, — он вдруг испытал мгновенную усталость, тоску. Почувствовал себя инородным, чужим и непонятым, из других широт и пространств. Он был здесь в самом центре, в самом ядре иного народа, иной культуры и расы, что много веков, подобно бьющему из недр гейзеру, выталкивает на поверхность желтолицых, смуглых, едкоголосых людей, сформированных по иному, отличному от его, Кириллова, образу, с другими губами и скулами, другим разрезом глаз,

отпечатывает в них другой образ мира. А он — с иным, здесь неуместным лицом, иной любовью и памятью, заброшенный в чужую судьбу и историю, — что он такое? Где-то там, на севере, без него, в великих трудах и заботах существует его народ, вершится родная история. Там что-то ждет его, выкликает, беззвучно требует его возвращения — и ненайденная могила отца, и последнее материнское платье, вянувшее в московском шкафу, и Троицкое на белой горе.

Слабость, посетившая его, была столь сильна, разом отняла столько сил, что он покачнулся. Сом Кыт возник перед ним, внимательно заглянул в глаза.

— Сегодня мы много работали, — сказал он. — Теперь пойдем отдыхать. Позвольте, я угощу вас напитком.

Он повернулся к торговцу соками, что-то сказал. Тот выхватил несколько сочных зеленых отрезков сахарного тростника, сунул под пресс чугунной, старомодной, с литым колесом давилки, пропустил сквозь валки, выжимая в стакан зелено-желтый мутноватый напиток, кинул брусочек льда. Протянул, улыбаясь.

Кириллов благодарно принял, устыдившись минутной слабости. Тянул сладостно-холодную жидкость, чувствовал на себе серьезный, внимательный взгляд Сом Кыта.

При выходе из рынка, где дымились маленькие открытые кухни и за столами под тентами люди хватали палочками горячую снедь, он увидел вьетнамских солдат, пивших кокосовый сок. Лица их были худыми, усталыми, форма — линялой, разодранной о сучки и колючки джунглей. Увидели его, зашептались. Один поднялся, спросил: «Советский?» И последовали крепкие молодые рукопожатия, улыбки, кивки. Кириллов шагал по городу, все продолжал улыбаться, все нес на ладонях их радостные, быстрые прикосновения.

В гостинице на галерее их поджидал худощавый человек в военной форме. Назвал свое имя — Тхом Борет и должность — офицер службы безопасности. Пожатие его руки показалось Кириллову негибким, неполным, и, отпуская ладонь Тхом Борета, он заметил, что пальцы его наполовину обрублены.

— Завтра по программе у вас поездка к границе, — сказал офицер. — Я считаю своим долгом предупредить вас, что к северу от Баттамбанга действуют несколько террористических банд. Сегодня днем была взорвана водоразборная заслонка на одном из каналов.

— У нас есть охрана, — сказал Кириллов, всматрива-

ясь в изможденное, с рельефом скул и надбровных дуг лицо.

— Этого недостаточно. Мы дадим вам машину с солдатами.

— Спасибо.

— С кем бы вам хотелось встретиться?

— Я буду рад побеседовать со всеми, с кем вы сочтете возможным. Я бы просил о встрече с представителем уездной власти, чтобы он проинформировал меня о состоянии дел в уезде. Хотел бы, если это возможно, осмотреть места террористических актов. Если мне будет позволено, хотел бы встретиться с захваченными в плен террористами, услышать, как они смотрят на ситуацию в собственной армии.

Офицер записывал его просьбы в блокнот, и Кириллов видел, как неловко и трудно сжимают ручку обрубки пальцев.

— Мы постараемся устроить вам встречу с пленными завтра утром. Есть ли у вас просьбы еще?

— Может быть, по дороге они возникнут,— мягко улыбнулся Кириллов.

— Утром я за вами приеду,— сказал Тхом Борет, и Кириллов с галереи видел, как он садится на мопед, выкатывает в сумерки.

Они сидели на открытой галерее под звездами, наслаждаясь слабыми, шевелившими листву дуновениями. Маленький столик, чашечки, дощатый пол мерцали и искрились от бесчисленных прозрачных чешуек, оброненных обескрылевшими термитами. Чернели близкие деревья. Над ними чисто, ясно, словно в мороз, сверкал звездный ковш. Знакомый, он размещался иначе, задрав рукоять дыбом, меняя вид всего неба. Кириллов смотрел, как дрожит, стекает звезда, заслоняемая черной листвой.

— Как по-русски называется это созвездие? — спросил Сом Кыт, и лицо его в нежных, чуть видимых отсветах обратилось к ковшу.

— Большая Медведица,— ответил Кириллов, и ему показалось, что в глазах, на лбу, подбородке Сом Кыта крохотными искрами отразилось созвездие.— А по-кхмерски?

— Мама в детстве выводила меня на открытое место под звезды, называла это созвездие Крокодилом.

Кириллов отказался от привычного образа ковша, от

северного имени Медведица. Соединил звезды иными линиями. Над деревьями вдруг засиял серебряный крокодил, растопырив лапы, изогнув в середину неба хвост, заняв центр, осмысленно распределив по остальному своду другие созвездия.

Они молча смотрели на звезды. Кириллов старался видеть небо глазами Сом Кыта. Стремился почувствовать, что лилось с небес в душу кхмера, исчислявшего под этими звездами свои поколения.

— Когда нас угнали на каторгу, мы жили в бараке. Ни у кого из нас не было часов. По этому созвездию я узнавал время, будил всех, и мы еще в темноте, в четыре часа, шли на работу.

Замолчал, продолжая следить за медленным, едва заметным глазу вращением серебряного зверя. Кириллов ждал. Ощущал тончайшую полупрозрачную преграду между ним и собой, рассекавшую две их отдельные жизни. Что же должны они сделать, в чем открыться друг другу, как сложить и сверить свои истины, чтобы, прежде чем расстаться и порознь доживать свои жизни, возникло между ними единство? Это чувство остро поразило его. Чувство различия и сходства. Несочетаемости, разделенности полупрозрачной стеной — и возможности пройти сквозь нее. Случайности встречи — и скрытого в ней не случайного замысла.

— Вы удовлетворены тем, как проходит поездка? — спросил Сом Кыт.

— Да, — ответил Кириллов. — Я очень рад, что путешествую именно с вами. Ваши комментарии и советы помогают мне лучше понять, чем сегодня живет Кампучия, в чем ее основные проблемы.

— Председатель кооператива, и директор завода, и верховный бонза — все говорили одно. И я повторю вслед за ними: в первую очередь Кампучии нужно изжить из себя тьму. Надо изгнать из каждого кхмера тьму. Нас посетила тьма. Она всегда была и есть в мире. Она есть и в каждом из нас. Но иногда она начинает копиться, стекаться и множиться, разом посещает целый народ. И тогда в этом народе происходят несчастья. Умирают люди, пустеют города, гибнет хлеб, разрушаются храмы. Мы все стали жертвами тьмы, — и он замолчал, бесстрастный, с твердым лицом, высеченным из смуглого камня.

— Вы правы, — ответил Кириллов. Ему хотелось глубже вовлечь в разговор Сом Кыта, но увести его от образов буддийской поэтики. — Вы правы, есть законы гибели целых

культур и народов. Мы, историки, пытаемся их обнаружить. Но появление Пол Пота не кроется в кхмерской истории, не кроется в революционном процессе как таковом. Я полагаю, здесь сложная комбинация анархистских и нигилистических идей, европейского буржуазного модернизма, антипролетарских, экспортируемых из-за рубежа, навязанных силой доктрин и конкретной злой воли, сконцентрированной в группе кровавых маньяков.

— Есть законы тьмы и законы света,— спокойно, как бы не услышав Кириллова, произнес Сом Кыт.— Люди всю жизнь сражаются с тьмой, обращаются к свету, стремятся одолеть тьму. Нам, кампучийцам, пережившим несчастье, надо изгнать из себя тьму. Изгнать страх, ненависть, недоверие друг к другу, потребность мстить, убивать. Наша главная цель лежит сегодня не в экономике, не в политике, а в человеческом сердце. Вина Пол Пота в том, что он отобрал у нас чувство света, чувство надежды на свет. Многие не верят в возможность труда, в возможность семейной жизни, в возможность согласия. Вернуть чувство света — вот что нам надо. Я хочу, чтобы вы это почувствовали. Мне кажется, во время состоявшихся встреч вы это могли почувствовать.

Кириллов кивал, соглашался. Ему не мешали метафоры Сом Кыта. Он расшифровывал их для себя как горькую социальную истину. Народ, познавший полпотовский режим массовых погребений и казней, оказался отсеченным от будущего, утратил перспективу истории. Выпал из истории. Новая, революционная власть вернула народ в течение истории, вернула ему социальную цель. Он знал безусловно: мир во всей пестроте, во всей неоглядной сложности, иногда заблуждаясь, иногда поддаваясь обманам, порой в своем нетерпении хватаясь за автомат и взрывчатку,— мир втягивается в социализм, в неизбежный, неотвратимый процесс. И он, Кириллов, в свои лучшие минуты, сквозь рутину и черновую работу, сквозь утомление души, чувствовал себя в согласии с этим мировым движением, сопрягал свои силы и цели с мощью двинувшегося в путь человечества. И это сознание пути, своего в нем участия возвращало ему силы и энергию.

Кириллов ждал, что Сом Кыт снова начнет говорить, но тот молчал. Но и сказанного было довольно. Они молча сидели, слушая свисты цикад. Над черными деревьями, надетый на незримую ось, вращался серебряный зверь. Они стали ближе друг к другу, и оба об этом знали.

Простились, пожелав друг другу спокойной ночи. Сом

Кыт ушел в свой номер. Там слышался смех. Солдаты, полуголые, выгнув свои гибкие спины, играли на кровати в карты.

Кириллов улегся под полог, переживая знакомое, посещавшее его иногда состояние. Будто он, живущий сегодня, ввергнутый в борьбу и политику, лежащий в этом маленьком номере, страдая от духоты и бессонницы, будто он имеет своего двойника, свое подобие. Когда-то они были едины, в том далеком январском дне. Но потом личность его раздвоилась, и одна половина, принявшая его нынешний вид, пустилась по дорогам, по странам, в яростном напряжении борьбы, а другая — в иное движение, в иное знание, приоткрывшееся на снежной дороге в летящем грузовике. И эти два двойника, пройдя по огромным кругам, должны непременно встретиться. Сойтись, восполнить друг друга, сложить воедино свой опыт, обрести полноту.

Разрезанный, съеденный наполовину пирог. Остывающий самовар, истертый кирпичом, с россыпью медалей, с двурогой ручкой крана, на котором висит прозрачная капля. Расколотая стеклянная вазочка, и в ней цветные липкие конфеты-подушечки. Все это сдвинуто на угол стола, клеенка под лампой сияет, и они втроем играют в карты. Он держит перед собой их замусоленный веер, вытягивает шею, подглядывает к тете Поле. Та сердится, выставляет остренький локоть, норовит шлепнуть его картой по носу. Вера, в темном свитере, в его латаных валенках, возмущается, гневается, прижимает карты к груди:

— Это нечестно, бессовестно! Я так отказываюсь! — Она и впрямь готова кинуть карты, чуть не плачет.

И он изумляется детской искренности, наивной силе ее огорчения. Для нее сейчас нет пустяков, и карточная игра выражает всю полноту отношения к миру.

— Ну не буду, не буду! — торопится он ее успокоить. — Храни на здоровье свои шестерки!

Сыплются карты, шелестят дамы, короли и валеты. В их шлейфах, коронах, кафтанах — карнавальная праздничность, созвучная новогодней ночи, многоцветной и звездно сияющей над избами. Масти несут в себе образы минувшего дня, еще до конца не исчезнувшего, горящего жарко под веками. Трефы — как темные с кругляшками в концах переключин кресты на заброшенном кладбище, по которому он пробежал, ломая лыжами мерзлые кусты бузины. Черви — как протаявшая на солнечной кочке красная ветка брусни-

ки. Пики — словно стая ворон, поднявшаяся в белизне с металлическим криком. Бубны — румянец на щеках почтальонши, попавшейся ему на дороге.

Он снова проигрывает. Тетя Поля довольно посмеивается:

— Это кто же у нас опять дурачок?

Вера счастливо, беззвучно смеется, выхватывает, сует им в глаза некозырную шестерку, которую удалось напоследок подкинуть. И он опять удивляется полноте ее счастья, обнаруживающего себя во всякой малости.

В подполе под печкой прокричал петух, глухо, стыло. Вечером тетя Поля, боясь больших морозов, сняла с нагнесты и пустила в подпол петуха и кур. И теперь петуху пришла пора петь. От его сдавленных криков становится жутковато и сладостно. Чудится другая, укрытая в землю жизнь, другое пространство и царство. Они втроем это чувствуют, слушают подземные крики.

— Достань петуха! — вдруг просит Вера. — Достань петуха, погадаем!.. И зерна, зерна, тетя Поля!..

Она начинает тормошить и его и тетю Полю, и та, ворча, делая недовольное лицо, но втайне радуясь, увлекаясь предстоящей затеей, лезет за печь, достает из мешка горсть овса. Он наклоняется к подполу, тянет за железное, ввинченное в половицу кольцо. Из подполья дует сыростью, холодом. Он во тьме старается различить притаившихся птиц.

Сжимая плечи, протискивается вниз и в тусклом освещении видит белеющих, друг к другу прижавшихся кур, и среди них крутобокий, с выгнутой шеей петух накаляется злыми глазками, гневно нацеливается острым клювом. С опаской, осторожно он берет петуха за бока, и тот, недвижимый, напрягает у него в ладонях крылья. Он подымает цветную птицу наверх, бережно ставит на пол, как вазу, и петух, ослепленный, замер. Пылает гребнем, упер в пол чешуйчатые желтые ноги, переливается золотом и синью.

— Вот сюда, поближе. Сейчас я посыплю овес, — она священнодействует, будто век занималась волхвованием. Истово, увлеченно, уверенно, но и со страхом, с суеверным дрожанием рук хватает из миски зерна, сыплет перед нахочленной птицей.

Тетя Поля смотрит на их забаву. В глазах ее два тонких лучика, то ли печальных, то ли смеющихся. Она не мешает им тешиться, охраняет их, радуется их молодости, которой еще длиться и быть, когда она сама уйдет и исчезнет.

Петух, будто в нем срабатывает невидимая пружина, дергает головой, прозревает, напрягает на шее радужный ворох и внезапно, сильно бьет клювом в зерно, разбрызгивая, проклевывая до деревянной доски. Глаза его жадно блестят. Кривой клюв склонен набок. Гребень утолщился, набряк кровью. Проглатывает зерна и снова с костяным стуком колотит, рассеивая, рассыпая из зерен узор.

— Все! Теперь убирай его! Я буду гадать! — командует она, и он послушно опускает птицу обратно в подпол.

Петух, тяжелый, набитый зерном, вспыхивает в последний раз оперением, гаснет в темноте, как лампа.

— Теперь слушай меня, смотри!..

Она стоит над зерном на коленях, проводит над полом рукой, будто снимает с тайны покров. Лицо ее верящее, вещее. В нем страх и восторг. Он почти пугается, почти верит вслед за ней, чувствует свою от нее зависимость, ее власть над собой. Она читает по открывшимся ей письмам его судьбу, его жизнь, его смерть.

— Слушай, что скажу про тебя. — Она всматривается в какую-то невидимую, ей одной понятную нить. — Твоя жизнь, — водит она пальцем над зернами, — ты видишь, вот, вначале такая полная, ясная, вдруг начинает двоиться, течь в разные стороны, как бы двумя ручьями. Один, вот этот, вскоре совсем прерывается, чахнет, вот-вот исчезнет. А вторая ветвь, второй ручей твоей жизни петляет, мечется, разлетается в разные стороны. И опять сливается с первым, образует круг, полноту. Ты спросишь, что это значит? Должно быть, очень скоро ты оставишь свои леса и деревню и начнешь метаться, искать себя сразу на нескольких разных дорогах. И будут у тебя на этих дорогах болезни — вот видишь? — печали, великие разочарования и какое-то то ли затмение, то ли усталость, а вот здесь, где исчезло зерно, ты чуть не погибнешь. Но ты будешь спасен вот отсюда, где кто-то очень верный и любящий следит за тобой. И в конце концов ты прозреешь, обретишь полноту, станешь наконец мудрецом!..

Он смотрит на ее летающую ладонь, на расположение зерен, в которых вещей подземной птицей проклевана его судьба, его жизнь. И вдруг чувствует, что еще немного, и от избытка любви и печали он может вдруг разрыдаться.

— Тетя Поля! — просит Вера, когда эта потеха окончена и овес до зернышка подобран ее цепкими пальцами. — Вы все обещали сундук свой раскрыть, показать наряды. Что у вас там, в сундуке?

Отмахиваясь, отнекиваясь, тетя Поля идет к сундуку, вставляет ключ в курлыкающий музыкальный замок, струнно, пружинно вызвонивший какой-то кузнечный напев. Отворяет горбатую крышку и являет на свет лежалый матерчатый ворох, скопившийся за целую жизнь.

— Чего смотреть? Выбирай!

Они обе, молодая и старая, склоняются к сундуку. В четыре руки извлекают одежды. Ему кажется, что вслед за лежалыми тканями множество лиц мгновенно населяет избу, множество чуть слышных голосов звучит, смеется и плачет.

— Подождите, а вот это, вот это что? — то и дело Вера достает сарафаны и юбки, прижимает к плечам, талии, буд-то на себя примеряет не одежды, а всю долгую тети Полину жизнь. — А вот это, вот это что?

Подвенечное платье, пожелтевшее, с тряпичной бесцветной розой, прожжено угольком у подола. Русская, с вышитым воротом, с заплатками на локтях рубаха мужа расползлась от сильных взмахов косой, топором, от широких объятий и плясов. Детские башмачки, стоптанные, хранящие память о крохотной быстрой ноге, скользнувшей когда-то по половице с сучком. Гимнастерка с позеленевшими пуговицами, с дырочкой над карманом — для ордена или гвардейского значка. Сукно немецкой шинели, перекроенное многократно, бывшее и детским одеялом, и пальтушкой, и ковриком. Шапки, тулупчик, крашенные нитяные клубки, старые кофты и блузки. И отдельно — проглаженное чистое одеяние на последний путь, завернутое бережно в белое полотно. Тетя Поля рассматривала свой погребальный наряд, строго сжав губы, расправляя сбившуюся ткань.

На дне сундука лежало старинное зеркало в резной деревянной раме с откидной для упора ножкой, тусклое, с облезшей изнанкой, свинцово-туманное, словно время напустило в стекло свой дым.

Они ставят зеркало на стол, подходят втроем и смотрят. Отражаются, как на портрете, серьезные, охваченные одной рамой, запечатленные навсегда.

— Ну что же мы носы-то повесили? — Тетя Поля прибирает ткани в сундук, и вслед за подолами, рукавами и лентами ныряют под крышку растревоженные невесомые духи. — А мы вот что с вами сейчас!

Из угла, из-за печки она выносит черную бутылку с наливкой. Достает из шкафчика зеленые литые лафитники. Ловко, зубами, выдергивает деревянную пробку, обмотан-

ную пропитанной соком тряпицей. Разливает густую, маслянистую, черно-красную наливку.

— А ну-ка, молодые, пригубьте!

Они пьют. Наливка сладкая, терпкая, склеивает губы. Смородиновая ягода чуть горчит. Мгновенный хмель коснулся их разом, разрумянил щеки. Глаза у всех заблестели.

— Тетя Поля,— просит Вера, и ему кажется, жар ее щек палит и его.— Тетя Поля, спойте «В островах охотник...». Ну пожалуйста, спойте!

Той хочется петь, но она отказывается, трясет головой. А Вера ее уговаривает, и тетя Поля начинает сдаваться. Глаза ее расширяются, будто видят иную даль, далекое былое застолье, мужа, родню, гостей. Выпрямляет стан, вытягивается, становится тоньше, легче. Дребезжащим старушечьим голосом, созвучным сучкам в потолке, латунным окладам иконы, линиям на занавеске цветкам, запекает:

В островах охотник целый день гуляет...

А в нем — вдруг чудный, сладкий удар красоты, любви, грусти. Обожание здесь сидящих, понимание их всех, сведенных в зимней русской ночи, призванных жить на эту благодатную землю. И он, молодой на коне охотник, скачет в дубравах, в лесных островах и угодьях, в темной шляпе с пером, с красной розой в петлице, с ружьем и в сапожках. А она, его милая, приподнявшись, следит за ним из трав и цветов.

Сидят втроем и поют. Три их голоса. Три цветка на черном подносе. Три ангела на темной иконе.

Вспоминая этот огненно-белый, звездно-блестящий день, он думал потом многократно: что было той силой, которая начинала в нем действовать каждый раз, когда в жизни его наступали покой, соразмерность? Что выталкивало его каждый раз из области испытанного, ясного опыта, ввергало в зыбкий, непроверенный мир, меняющий свои очертания, с тенями и тьмой, грозящей разрушением? Он копил в себе знание о жизни ценой усталости, утрат, черствя душой, обугливаясь и темнея, удаляясь от белизны и покоя, быть может, для того, чтобы, собрав рассеянную в мире тьму, вернуться с ней в былой свет, превратить и тьму в белизну, превратить в хлеб камень.

Каждый период его жизни, каждый ее поворот был связан с поступком, в котором проверялась его способность действовать вопреки инерции жизни, его готовность отка-

заться от очевидных, лежащих на поверхности истин. Он словно готовил себя к какому-то предстоящему в жизни поступку, к грядущему, поджидавшему его огню. К какому, он и сам не знал.

После армии, вернувшись в Москву, жадно, стараясь наверстать проведенное вне книг, вне ученья время, он взялся за свою диссертацию. Воскресил аспирантские черновики и наброски. Библиотеки, архивы, встречи с маститыми востоковедами, уроки языка. Его резкий, живой, изголодавшийся по знаниям ум утолял свой голод в беседах и спорах, среди идей, проверенных классическим опытом или едва народившихся, сомнительных, готовых исчезнуть под напором практических знаний. Вера работала в школе, добывала деньги на жизнь, давая ему возможность писать диссертацию. И он, встречая ее вечерами, утомленную, побледневшую, огорчался, мучился чувством вины. Снимал с нее пальто, бежал ставить чайник. Укорял себя за их утлый быт, подслеповатую комнату с видом на облезлый фасад, на вечно скрипящий, скрежещущий внизу трамвай.

В Москве, после армии, он застал, как ему показалось, новое состояние мыслей. Среди интеллектуалов, с кем ему выпало общаться, вспоминались, открывались заново забытые понятия и истины, оброненные на дорогах во время быстрых виражей и движений. Старина, фольклор, деревенская красота, писаная и реченая, вдруг явились в город — собиранием икон и прялок, коллекциями крестьянских игрушек, домашними любительскими хорами, распевавшими песни Севера, обожанием всего, что дышало народностью. Университетские экспедиции и ревнители-одиночки, музейные этнографы и любители-дилетанты отправлялись в Заонежье, на северный Урал, где чахли оставленные, заброшенные деревни. Привозили в столицу рукописные, времен Аввакума, книги, языческие заговоры и былины. И этот ввоз ощутимо менял городскую культуру, ее цвет, аромат, обращал к традиции, не давая ей исчезнуть и кануть.

И жило, росло другое направление умов, выхватывающее из будущего его скрытые контуры, связавшее себя с реальным социальным процессом — освоением новых пространств, космосом и вытекающими отсюда мышлением, социологией и политикой.

Эти два направления, часто отрицая друг друга, оттачиваясь в полемике, были двумя воплощениями одной и той же задачи — расширить, раздвинуть рамки своего вре-

мени, увеличить объем культуры. Он, востоковед, изучавший Китай и Индию, был увлечен российской историей, связанной с Востоком. Гуманитарий, вращавшийся в кругах филологов и историков, книжников и витий, он поверял их домыслы своим опытом, добытым на целине и в армии, и конечно же опытом Троицкого.

В ту пору в их комнатке на Селезневке появился искусствовед-реставратор, вечно всклокоченный, белобрысый, в одной и той же брезентовой, испещренной красками робе, в которой тонул на Мезени, когда перевернулась ладья, и он, едва умея плавать, вынес на себе Николу XVI века. Показывал его друзьям, называя свое спасение «чудом о Николе Мезенском». Часто полуголодный, без гроша, добывал для музеев шедевры, выхватывая их то из рухнувшей, открытой дождем часовни, то из брошенной, продуваемой ветрами избы. Его возвращения с Севера превращались на их селезневской квартирке в небольшие выставки резного дерева, алых сарафанов, шитых жемчугом кокошников. С годами из суетливого, неухоженного скитальца, подвергавшегося насмешкам знакомцев, он превратился в маститого знатока древней живописи, автора переводимых на многие языки монографий. В его квартире, напоминавшей музей, собирались московские театралы, художники, дорожа его словом и мнением. Кириллов, сохранявший с ним дружбу, однажды застал у него космонавта, пристально, молча изучавшего изображение Ильи-пророка: человек в огненном шаре возносится в небеса.

Он дружил с молодым архитектором-футурологом, резко и зло отрицавшим помпезные здания, похожие на куличи, и уныло-бетонное однообразие новых районов. Его казавшиеся фантазиями проекты Города Будущего напоминали стальные цветы, взмывали в небо, отрывались от земли, сохраняя на ней живую природу. Его пророчества о соседстве журавля с самолетом, луга с заводом, о поселениях на дне океана и в космосе казались разноцветными, похожими на заонежские сказы утопиями. С годами из непризнанного, отвергаемого чудака, обивавшего пороги архитектурных мастерских, он превратился в резкого, волевого, с жестким изнуренным лицом строителя, возводящего в пустыне свой Город. Опреснитель, электростанция, сверкающие сооружения из бетона и стали, спасающие человека от злой радиации солнца, искусственно возвращенные сады, бассейны — Город, откуда мобильные десанты устремлялись в пески за нефтью, золотом, никелем. Фантастическая, дей-

ствующая в пустыне машина, вызывающая в памяти читанные когда-то книги о марсианских городах.

Бывал у них джазмен, наполнял дом звучанием своего саксофона. Он стремился, как говорил, в джазовых ритмах выразить славянскую музыкальность. Он так и сошел в безвестность со своими этюдами. Появлялся психолог, изучавший психологию толпы, ставивший свои эксперименты на площадях в часы пик, у проходных заводов, на митингах и демонстрациях. Также канул в безвестность.

К ним в дом стал захаживать немолодой известный писатель. Кириллову нравились его изящные, остроумно-ироничные новеллы, которые он дарил им с Верой, оставляя дружеские дарственные надписи. Нравились его манеры, седые красивые волосы, черно-серебряный перстень, небрежно поставленная в их заросшем дворе машина. Кириллову казалось: писателя привлекает их молодой, неутомимый дом, хоровод вечеринок, разномастный люд, яростные споры в застольях. Он строит здесь, моделирует мерцавший, как он говорил, новый роман.

Однажды Вера сказала, что писатель любит ее, зовет к себе, и она просит ее простить. Она устала от вечной неустроенности, убогого быта, этих сборищ, похожих на взрывы шутих, после которых — пустота и груда немытой посуды. Устала от неуверенности в завтрашнем дне, который, она знает, обернется какой-нибудь его новой выходкой, поездкой куда-нибудь в Арктику или к бурятским буддистам. Просила не винить ее, забыть Троицкое, забыть, что она есть на свете.

Месяц без нее, как непрерывная — в душе, в костях, в сердце — боль. Ужас от того, что случилось. Чувство несчастья. Чувство сокрушившей его беды, когда образом этой беды стал ее поясok, забытый в шкафу, подворотня с голубым фонарем, где, казалось, недавно ее целовал, весь город, где в каменном кольце завернута, существует, живет его неистребимая боль.

Она вернулась через месяц, встала на пороге в темном, нарядном платье, с тоненькой цепочкой на шее. Сказала, что из театра. Что случившееся было безумием, наваждением. Он может ее ударить. Она страшно перед ним виновата. Не просит прощения. Просто пришла об этом сказать и сейчас уйдет. Любит его.

Он почувствовал, что наступило для него исцеление. Боль исчезла. Испытывал к ней нежное, до слез бережение, жалость, робеющую, боящуюся себя обнаружить любовь.

Грел ей чай, сушил ее промокшие туфли, набрасывал на плечи свой мохнатый, вязанный ею шарф. И Москва за окном туманилась, двоилась в осеннем дожде. Он обнимал ее, чувствуя, что они прошли еще один огненный, данный им в испытание срок, что-то спалив в нем бесследно, сохранив неопалимое. За дождями, туманами кто-то смотрел на них, любящий, из далекого белого дня, запевал негромко: «В островах охотник...»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Утром они сидели с Сом Кытом на галерее в теплой розовой тени. Шурились на брызги колючего белого солнца в листве. Изучали истертую туристскую карту. Сом Кыт вычерчивал Кириллову предстоящий маршрут к границе: от Баттамбанга к Сисопхону и севернее, к пограничной черте, а оттуда — в Сиенреап к Ангкору. Тхом Борет, офицер безопасности, принес на очках два маленьких ослепительных солнца. Стиснул Кириллову руку своей твердой беспалой ладонью.

— А мы здесь, как видите, подсчитываем километры, запасы продовольствия и пресной воды,— пошутил Кириллов ненавязчиво, сквозь смех, изучая изможденное лицо, на котором при свете дня виднелись слабые оспины и надрезы, словно древние отпечатки на кремне.— Сколько езды до границы?

— До самой границы нам вряд ли удастся доехать,— угадывая просьбу и любезно отказывая, сказал Тхом Борет.— По-видимому, только до Сисопхона или чуть севернее. Дальше ехать просто опасно. Вокруг Сисопхона, я сказал вам вчера, действует несколько банд. Каждый день нас извещают о случаях террористических актов. Передвигаться по дорогам даже днем рискованно. Трудно обеспечить безопасность.

— Какие сообщения о терроре поступили за последние сутки? — Кириллов продолжал изучать Тхом Борета. Ему казалось, что твердая кремневая оболочка лица — лишь верхний, недавно застывший слой, под которым, с трудом удерживаемая, кипит горячая магма. К ней, неокаменевшей, к невидимой человеческой сущности ему хотелось добраться.

— Вчера в Сисопхоне обстреляли дом председателя уездного комитета. Позавчера, я, кажется, вам говорил, разрушили дамбу. Сегодня утром мне сообщили: севернее

Сисопхона подорвалась на mine машина ЮНИСЕФа. Шофер в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Представительница ЮНИСЕФа, женщина, убита взрывом.

— Итальянка? — вырвалось у Кириллова. — Та, что жила здесь, в отеле?

— Да, — ответил хладнокровно Тхом Борет. — Она покинула отель вчера утром. Видимо, мину заложили незадолго до появления машины. Возможно, организовано покушение специально на нее.

— Почему? С какой целью? — Кириллов, пораженный, глядел вдоль галереи, туда, где виднелся знакомый маленький столик под ветками. Он увидел их, недавно здесь сидевших, и ее лицо между светом и тьмой, блеск белых, открывавшихся в смехе зубов, и внезапное ее побуждение, когда она жарко коснулась его руки, словно что-то предчувствовала, от чего хотела спастись, призывала его на помощь. — Кто она? Вы о ней что-нибудь знаете? — спрашивал он Тхом Борета.

— Нам кое-что известно о ней. Она жила при Сиануке в Пномпене, была женой офицера генерального штаба. Муж ее был убит при Пол Поте, а ей удалось спастись. Она жила в Таиланде, была тесно связана с группой националистов. Похоже, под эгидой международной благотворительности снабжала их продовольствием, медикаментами, а также оружием. В Пномпене пыталась войти в контакт кое с кем из оставшихся прежних друзей. Может быть, ее гибель — простая случайность. Но, может быть, кто-то третий следил за ней, решил ее убрать. Группировки Пол Пота, Сон Сана и прочие стремятся объединиться в коалицию, но это лишь внешне, формально. Между ними по-прежнему происходит борьба — за власть, за оружие, за продовольствие. Возможно, убийство итальянки — следствие этой вражды. Все это предстоит еще выяснить.

Кириллов думал: вот еще одна жизнь, прошедшая сквозь катастрофу, колеблясь на рубеже света и тьмы, не смогла одолеть этот рубеж, канула в тьму.

Ожидали машины. Кириллов осторожно, чтоб не показаться навязчивым, расспрашивал Тхом Борета об обстановке в районе границы. Сверял свои собственные представления и данные, полученные в столице, из посольских источников, с этими, непосредственными, из зоны борьбы, от участника этой борьбы. Его интересовали лагеря террористов, укомплектованные японскими сборными домами, западногерманскими кухнями, американскими медпункта-

ми,— там велась подготовка боевых контингентов, иностранцы-инструкторы преподавали навыки диверсионной борьбы, учили пользоваться взрывчаткой для подрыва мостов, инфракрасными зенитными мини-ракетами «ред ай». Он расспрашивал Тхом Борета, старался запомнить названия и цифры, лучше понять тактику террористических действий — то, как противник, не считаясь с потерями, засылал в кампучийские джунгли боевые отряды; в горных, труднодоступных пещерах с источниками пресной воды устраивал тайные базы и оттуда мелкими группами наносил удары, перехватывал на проселках одиночные машины, истреблял в деревнях активистов. Тхом Борет отвечал на расспросы подробно и внятно, произносил названия деревушек, речек и гор, насыщал ответы статистикой. Впрочем, до известной черты, за которой начиналась область профессиональной секретности: замышлялись и длились не оконченные еще операции, уходили разведчики в стан врага, устраивались засады в горах, шли непрерывные кровавые стычки — изнурительная для обеих сторон борьба.

— Вы так хорошо знаете местность, мельчайшие горки, деревеньки,— сказал Кириллов, благодарный за сведения.— Вы, наверное, родом из этих мест? Из Баттамбанга или Сиенреапа?

— Нет,— сказал Тхом Борет, ослепляя его маленькими стеклянными солнцами, и лицо его в мельчайших надколах напоминало кремневый, прошедший обработку наконечник.— Я родился и жил в Пномпене. Но в этих местах пять лет назад я партизанил в отрядах «кхмер руж». Был командиром отряда. Поэтому знаю провинцию. Должно быть, теперь именно поэтому мне поручили район.

Кириллов не удивился. Он знал: многие из бывших командиров «кхмер руж» порвали с Пол Потом, возглавили антиполпотовскую революцию, занимают видные посты в партии и правительстве.

— Простите мое любопытство.— Кириллов, по роду журналистской профессии привыкший добывать информацию, знал, что в этой израненной стране судьбы тех, кто давал информацию, тоже были информацией и свидетельством. В каждой отдельной судьбе была выжжена, как клеймо, катастрофа. Подозревая подобное и в жизни Тхом Борета, Кириллов повторил свой вопрос: — Как вы пришли в опасность?

— Я здесь воевал с войсками Лон Нола и первый вошел в Баттамбанг.— Тхом Борет отвечал с прежней сдер-

жанной откровенностью, будто не делал различия между информацией служебной и личной: все — и служебное и личное — входило в контекст борьбы. — Когда мы штурмовали город, мне приказали взорвать у монастыря мост через реку и отрезать гарнизон неприятеля. Я взорвал этот мост вместе с караулом солдат. Когда мы сражались в джунглях, мне приказали напасть на колонну броневиков. Я напал на колонну, сжег пять машин и сам из пулемета расстреливал убежавшие экипажи. Но когда мы вошли в Баттамбанг и город был уже наш, мне приказали разрушить монастырь, в котором укрылись монахи, и я отказался. Потом мне приказали расстрелять врачей и раненых в госпитале, и я опять отказался. Я знал, что в городах, таких, как Пномпень, Баттамбанг, засело много грязных, продажных людей, спекулянтов, грабителей. Там свили гнезда шпионы, убийцы, и мы их должны уничтожить. Но когда один за другим стали поступать приказы убивать инженеров, учителей, архитекторов, я отказывался их выполнять. Меня арестовали, обвинили в связи с Вьетнамом и отправили в Пномпень, в Туолсленг.

Рассказ Тхом Борета был не исповедью, а как бы обычным отчетом, перечнем неких сведений, быть может полезных другому. Кириллов слышал множество таких отчетов за годы работы в Кампучии, улавливал в них нарастание — с партизанской поры — народных надежд, стремление в новое общество, добываемое силой оружия, общество, в котором сбылись бы пусть неясные, пусть фольклорные представления о правде, добре. И потом, после победы Пол Пота, падение этих надежд до нуля, до отчаяния, до самого дна катастрофы — в ужас, в биологию выживания, в смерть.

— Меня привезли в Туолсленг и поместили в отдельную камеру. Стали выведывать мои связи с вьетнамцами, требовали, чтобы я называл имена и явки. Мне показывали фотографии каких-то людей и спрашивали, знаю ли я их. Я никого не знал. Меня сначала просто били. Потом привязывали к кровати лицом вверх и жгли лицо и тело раскаленными железными палочками. Однажды ко мне привели вьетnamца. Спросили, знаю ли я его. Я его не знал. Тогда меня забили в колодку, закрепили недвижно руку и отрубили пальцы. Вылили на них банку спирта, и я потерял рассудок, несколько недель был в состоянии безумия. Когда я опомнился, меня снова повели на допрос. Поставили передо мной человека с лицом, сожженным паяльной лампой, и спросили, знаю ли я его. Я ответил, что нет. Тогда они привязали

меня к столбу, привели в камеру мою жену, с которой, воюя в джунглях, я не виделся несколько лет. Спросили, знаю ли я ее. Я сказал, да, знаю, это моя жена. Они раздели ее, привязали к кровати и спросили, стану ли я наконец говорить. Я умолял пощадить жену, потому что я действительно ничего не знаю. Они клещами оторвали ей оба соска, и я видел, как брызнула кровь, и жена закричала, и лицо ее было как яма, полная смерти. Один из них достал маленькую стальную коробочку, раскрыл ее над грудью жены, высыпал на нее желтых сороконожек, которые, как только почуяли запах крови, кинулись и впились в ее оторванные соски. Это последнее, что я помню,— кричащую жену и ядовитых изогнутых сороконожек, впившихся в ее раны. Я потерял разум, был как безумный. Не знаю, почему они меня не убили. Меня освободили вьетнамцы. Когда я поправился, мне предложили бороться с Пол Потом, и я согласился.

Он умолк. Его кремневое, оббитое на страшной наковальне лицо было бескровным. В очках дрожали два слепящих жестоких солнца, на которые было невозможно смотреть. Кириллов, сострадая, принимая в себя его боль, одновременно думал, сколь беспощаден он должен быть к врагам, какую ненависть видят враги сквозь стекла его очков.

Во двор отеля въезжала «тоёта». Шофер, опуская стекло, махал, приглашая садиться.

Мимо охранника с автоматом они въехали в просторный, засаженный деревьями двор с дощатым двухэтажным строением, похожим на надвратную башню. Ворота под башней, ведущие в другое, существующее за зданием пространство, набранные из толстых, окованных железом досок, были заперты. Перед ними стоял второй часовой, висел флаг республики с зубчатой эмблемой Ангкора.

— Здесь что? — спросил Кириллов, оглядывая цветущие кусты, посыпанные песком дорожки, нарядно раскрашенный флигель — все словно в сквере для прогулок — и угрюмые двери, от которых веяло тюрьмой и неволей.

— Здесь лагерь для перевоспитания пленных, — ответил Тхом Борет. — Пленные проходят здесь трехмесячный курс перевоспитания. Затем мы отпускаем их домой. Сегодня как раз выпускаем очередную партию в шестьдесят человек... Прошу вас сюда, — указал он на флигель. — Здесь вам покажут пленных.

Они уселись за пустым деревянным столом в прохладной, продуваемой ветром комнате. Солдат внес, прижимая к груди, тяжелые, как булыжники, кокосы, обрубленные с макушек, с торчащими пластмассовыми палочками, поставил их перед каждым. Кириллов, постоянно испытывающий жажду, потянул в себя непрерывную сладковатую струйку сока.

Отворилась дверь. Солдат впустил человека, сутулого, с длинной костлявой шеей, с черной нечесаной головой. Глаза исподлобья бегали пугливо. В вялых, опущенных углах рта, в крупных перепачканных руках были усталость, неуверенность. Человек не знал, как и куда поместить худое, неумелое тело.

Тхом Борет властно, кивком, указал ему место напротив, словно толкнул его блеском своих очков, и тот послушно, торопливо сел. Тхом Борет пододвинул ему кокос с трубочкой, но тот смотрел, не понимая, на плод, и Тхом Борет коротко, жестко приказал ему: «Пей!», и тот пугливо схватил губами трубочку, слабо зачмокал и тут же отпустил ее. Уставился в доски стола, выложив перед собой пальцы с нечищеными ногтями.

— Он был взят в плен два месяца назад,— сказал Тхом Борет.— Он из полпотовской банды. Вы можете с ним побеседовать. Второй — он там, за дверью,— из группировки Сон Сана. И с ним побеседуете. Что-нибудь нужно еще?

— Нет, спасибо,— ответил Кириллов, переводя взгляд на Сом Кыта, бесстрастно взиравшего на полпотовца, быть может, одного из тех, кто у сухого канала убил мотыгой его детей, и на Тхом Борета, чья воля и власть над пленным выражались в стиснутом, беспалом, выложенном на стол кулаке. Между ними троими пульсировало исчезнувшее электричество пронесшейся над Кампучией грозы, обуглившей их всех. И Кириллов, вовлеченный в поле их отношений, чувствовал его, как ожог.

В предстоящей беседе ему, журналисту, хотелось выяснить, кто он теперь, солдат разгромленной полпотовской армии. Каков он, боец «кхмер руж», недавний хозяин страны, палач и насильник, выбитый за ее пределы? Стараясь тоном, голосом, выражением лица снять ощущение допроса, мысленно экранируя пленного от солдата у двери, от полевого телефона с блестящей ручкой, от колючей жесткой оптики Тхом Борета, он стал спрашивать, пытаясь заглянуть в темные бегающие глаза человека.

— Простите, кто вы? Я бы хотел узнать ваше имя, откуда вы родом?

Пленный медленно поднял глаза, посмотрел на его чужое, нехмерское лицо, пытаясь сочетать его с кхмерской речью, с видом двух других, грозных для него соотечественников. Не смог, потупился, отнеся это ко всему остальному, случившемуся с ним, не имевшему объяснения.

— Мое имя Тын Чантхи,— тихо ответил он.— Мне двадцать семь лет. Я из деревни Трат, она тут, под Баттамбангом.

Он снова беспокойно забегал глазами, передвинул было лежащие на столе руки, опять торопливо вернул их на место, словно боялся выйти из отпущенного ему пространства.

— Значит, вы крестьянин? Занимались сельским хозяйством?

— Да,— был тихий ответ.

Кириллов, оглядывая его сутулые плечи и впалую грудь, сравнивал его с теми, кого видел в полях, на обочинах, роющими колодцы, ремонтирующими двуколки и сохи, таскающими кули с посевным зерном. Перед ним был точно такой же крестьянин, один из тех, во имя которых сначала освобождалась страна, совершалась революция, именем которых затем разрушался Пномпень, убивались другие крестьяне, в чьи руки, отодранные от сохи и мотыги, вложили автомат, кто, потрясенный, со смущенной душой, спутанным, омраченным сознанием, ждал теперь своей участи на разоренной, измученной родине.

— Как вы попали в боевые отряды Пол Пота? — спрашивал Кириллов, делая освежающий глоток кокосовой влаги.

— Как? — переспросил он и, помедлив, ответил: — Это было почти год назад. К нам в деревню пришли из леса вооруженные люди. Стали ходить по домам, всех выводить на улицу. Силой увели нас с собой. Нас было сорок мужчин и восемь женщин. Нас всех увели в Таиланд и включили в войска.

Кириллов знал: банды Пол Пота под ударами вьетнамских и правительственных войск теряют солдат, тают от эпидемий и голода. Пол Пот теперь не истребляет людей, как бывало, не избавляется, как он заявлял, от излишков населения. Теперь он охотится за людьми, силой вербуя их в банды, где каждый солдат на учете.

— Я хотел вас спросить. «Красные кхмеры» всегда гово-

рили, что они защищают бедных крестьян от богачей, от Сианука, Лон Нола. Теперь, когда «красные кхмеры» заключают союз с Сиануком, что они говорят об этом своим солдатам? Что они вам говорили?

Человек ответил не сразу, и в ответе его чувствовалась все та же душа, похожая на костровище с уцелевшей по краям путаницей обугленных веток, с дырой черного пепла посередине.

— Мы никогда не любили Лон Нола и Сианука. В нашей деревне были на стороне партизан. Мы помогали «красным кхмерам», когда они к нам приходили. Давали им рис, мясо, одежду. Мы радовались, когда они победили, когда партизаны вошли в Баттамбанг и Пномпень. Мы думали, у нас станет больше земли и мы перестанем платить налоги. Но нас выгнали из нашей деревни, переселили на болота и сказали, что мы теперь «ударная бригада». Нас там заставляли работать по тринадцать часов и не давали еды. Тогда очень много наших людей погибло от малярии и голода, и я понял, что «красные кхмеры» принесли нам несчастье. Нас освободили вьетнамцы и распустили всех по домам. Я вернулся в деревню, из старых досок построил дом и думал, что смогу спокойно работать. Но меня опять силой прогнали из дома, увели в Таиланд. Нам говорили наши начальники, что мы должны бороться с вьетнамцами; все кхмеры должны с ними бороться, потому что они захватили Кампучию, отнимают у крестьян рис, а народ голодает. Мы стреляли во вьетнамцев, минировали дороги, по которым шли их войска. Много наших людей погибло, а я рад, что попал в плен. Здесь мне объяснили в беседах и лекциях, что вьетнамцы спасли нас от режима Пол Пота, они наши друзья и не желают нам зла.

Так говорил, запинаясь, бегая глазами, кампучийский крестьянин, чье сознание, знающее лишь труд на красноватых пашнях, деревенские праздники и моления в пагоде, было смято встречными ударами пропаганды.

— Чему вас обучали в Таиланде?

— Мы учились стрелять из минометов и автоматов. Учились минировать асфальтовое шоссе и обычную земляную дорогу. Женщин обучали минометной стрельбе и минированию. А детям, кто был моложе шестнадцати, показывали только автомат.

— А зенитные ракеты «ред ай» вам не показывали? Вы знаете, что такое американские тепловые ракеты?

— Нет, я их не видел. Но некоторые их учились пускать.

Они похожи на небольшие базуки, стреляют с плеча. Они чувствуют в небе горячие моторы.

Еще раз подтверждалось: полпотовцы переживают нехватку людей. Идет тотальная мобилизация в деревнях, в бой бросаются все, кто в силах держать оружие.

— В каких боях вы участвовали? — Кириллова интересовала тактика лесных сражений.

— Только в двух, — поспешил он ответить.

и — В каких?

— Один раз мы подкрались к вьетнамскому командному пункту. Установили на горах, в трех разных местах, минометы. И в сумерках сделали три выстрела, с разных сторон, чтобы они не могли определить направление. И тут же ушли. Не знаю, какой мы им причинили вред, но они в темноте нас не преследовали. Второй раз мы заложили на дороге мину, ждали, когда проедет машина. Проехал большой грузовик с военными, но мина почему-то не взорвалась. В других боях я не участвовал.

— Как вы попали в плен?

— Сам пришел и сдался, — он взглянул на Кириллова первый раз прямо, словно умолял ему верить. — Положил свой автомат.

Кириллов смотрел на «красного кхмера». Это был не тот закаленный в партизанских боях, выносливый, фанатичный, знающий свои цели и средства боец, что входил победно в Пномпень, сознательно, испытывая ненависть ко всему, что выше и сложнее его, участвовал в истреблении города, без тени сомнения убивал ударом мотыги, гнал на каторгу в малярийные топи своих соотечественников, а когда от границы двинулся вал вьетнамцев, отстреливался до последней пули, бросался с гранатой под танк. Тех фанатиков почти уже не осталось. Они были выбиты в кровавых боях. Их место заступили вот эти взятые в облавах крестьяне, страшющиеся вида оружия, кидающие его при первой возможности. Группировка Пол Пота еще существовала и действовала, еще держалась иностранным оружием, знаниями чужеземных инструкторов, но таяла, исчезала, была уже армией прошлого. Подобно иным разгромленным воинствам, выброшенным за родные пределы, была обречена на гибель. Она еще стреляла, взрывала, но бессильна была победить. Ее затронули разложение и упадок. Вот какую весть нес на своем лице этот пленный, не знающий, куда поместить свое изнуренное тело, свою измученную душу.

— После того как вы пройдете перевоспитание, чем бы вы хотели заняться?

— Я? — переспросил человек, словно изумляясь вопросу. — Я бы хотел вернуться в мою деревню и пахать землю.

Кириллов отпустил его, глядел вслед в сутулую спину. Всей душой желал ему счастья. Мысленно видел его, согнувшегося над сохой, идущего в борозде за парой круторогих быков.

Он провел опрос еще нескольких пленных и среди них — члена националистической группировки Сон Сона, хотел определить их моральный дух, готовность к сопротивлению, но нового не узнал. Подтвердилось общее, из первой беседы почерпнутое впечатление: военный процесс в стране завершился и лишь локально и искусственно поддерживался Западом и его союзниками для создания очага напряженности, для перенесения «кампучийской проблемы» в русло активной антивьетнамской и антикхмерской политики.

— Вы закончили? — спросил Тхом Борет, не вмешивавшийся в разговор, лишь иногда, когда пленный умолкал в нерешительности, одним блеском своих очков понуждая его говорить. — Если вы не устали и если вам интересно, можете посмотреть, как мы отпускаем пленных.

Кириллов согласился и, продолжая на ходу укладывать в памяти добытые сведения, вышел с остальными на солнце.

На земле, на солнцепеке, перед зданием с флагом рядами сидели люди в одинаковых позах, с одинаковыми смоляными волосами. Разом, словно птицы, они повернулись при появлении Тхом Борета и остальных, следили многоглазо и зорко за их приближением.

Перед сидящими возвышался стол. На нем лежала кипа бумаг. Темнел закрытый ящик, похожий на ларь. Блестела металлическая миска. Кириллов и Сом Кыт пристроились в тени. Тхом Борет в форме, перехваченной ремнями, блестя очками, прошел к столу, к другим военным, вытянувшимся перед ним. Снял очки, погасив два слепящих луча, стал близоруко щуриться. Лицо его утратило жесткость, было теперь не кремневым, а просто усталым и серым. Стоял у стола изнуренный больной человек, готовясь что-то сказать.

— Вы, — начал он, и голос его был не для команды, не для ораторской речи. Не было в нем приказа и окрика, а почти просьба. — Я очень рад вам сказать, что с этой минуты, — он посмотрел на часы, — вы больше не пленные, не солдаты врага, а свободные люди, как я, как вон те, что

идут за оградой. Вы — граждане Кампучии, такие же, как и весь народ.

Сидящие не издали ни звука, только потянулись к нему глазами, жадно, остро, словно проверяли, словно искали подтверждения словам, а один, очень юный, тряхнул черноблестящей копной волос, оглянулся на близкую улицу, где за оградой сновала толпа, мчались велосипедисты.

— Вы все,— продолжал Тхом Борет,— видели много горя. Вас заставляли делать зло другим людям, заставляли убивать, мучить, взрывать. В народе, в деревнях еще плачут вдовы убитых вами мужчин. Еще голодают дети, которых вы сделали сиротами. За ваши поступки можно было бы вас судить, строго наказать, может быть, даже убить. Но нельзя убивать бесконечно. Нельзя кампучийцам бесконечно убивать кампучийцев. Зло должно быть остановлено. Кто-то должен не сделать ответного выстрела и оставить патрон в патроннике. Наша власть не желает вам мстить. Слишком много было убито за эти годы, и мы не хотим убивать. Мы говорили с вами об этом много раз. Вы соглашались с нами. Вас ждет земля, ждут ваши родные и ваши дети, ждут ваши соседи, вас ждет родина, которая забыла вашу вину и помнит только одни пережитые вами несчастья. Идите сейчас домой и не несите с собой злых мыслей. Отдохните хорошенько и принимайтесь за работу. Теперь только работа, только братская помощь друг другу помогут забыть беду. Сейчас вам выдадут деньги и рис. Тот, кто живет дальше от города, у кого дорога длиннее, получит больше риса. По приезде домой вам хватит еды на три дня, а потом приступайте к работе. Счастливой дороги и доброго Нового года.

Они захлопали. Отросшие волосы на их головах заколыхались, как перья. Тхом Борет стал выкликать по списку. Каждому, кто подходил, выдавали из ящика деньги. Зачерпнув из мешка алюминиевой миской, сыпали рис кому в платок, кому в перетянутую узлами рубаху, в изношенные ветхие ткани, в которых они пробирались в лесах, стреляли, которые стелили под себя на ночлегах, накладывали вместо бинтов на ожоги и раны.

Кириллов вспоминал слова Сом Кыта о преодолении тьмы. Видел: Тхом Борет, изведавший страшное зло, оставил его на себе, не пустил его дальше, закрыл своим искалеченным телом огромный клокочущий желоб, сквозь который втекает в мир зло. И оно, остановленное, бурлило где-то поблизости, не в силах залить этот солнечный двор с красным флагом на башне, с зубчатым силуэтом Ангкора.

Люди, получив свой рис на дорогу, шли к выходу, топтались у раскрытых ворот, словно боясь пересечь черту, все ту же черту между светом и тьмой. Переступали, убыстряли шаги. Почти бежали. Влетали с разбегу в толпу. Становились толпой, народом.

К воротам, где стояла их белая, готовая к движению «тоёта», подъехал «уазик» с военными. Солдаты с гранато-метами через плечо, с автоматами вышли, стали прогуливаться.

-- Охрана пришла,— сказал Тхом Борет.— Можем ехать к границе.

Они погрузились в машины. Кириллов и Тхом Борет — в «уазик», а Сом Кыт с солдатами — в «тоёту». Двинулись через город, очень скоро сменившийся полями, рощами, в которых параллельно шоссе тускло блестела, струилась железнодорожная колея.

Кириллов издали старался определить состояние дороги. Желтела полузаросшая насыпь. Мелькали маленькие аккумуляторные мосты. Солнце непрерывно бежало в стальном натянутом рельсе. Дорога, он это знал, вела к границе. В мирное время она служила сообщению и торговле. Во время войны была блокирована, потеряла весь парк вагонов и тепловозов, но оставляла возможность для быстрой переброски войск и припасов.

Кириллов смотрел в окно, ждал появления придорожных сел, которые обнаруживали себя сначала все учащающейся ездой велосипедистов, потом пешеходами с тюками, корзинами, мотыгами на плечах, и наконец близко к обочине возникало село, свайные хижины, пальмы, дым очагов и жаровен. Близость Нового года, его канун ощущались в нарядных, чистых, иногда ослепительно ярких одеяниях женщин, в цветах, украшавших дышла воловьих упряжек. На хижинах обильно, празднично висели красные флаги. В пальмах на высоких шестах волновались двуххвостые змеи. На одном перекрестке толпа шумно играла огромной раскрашенной куклой, колыхавшей белой красноглазой башкой. Кириллов махнул рукой тонкобедрой женщине, поймав ее молодой любопытный взгляд. Но среди оживления и праздничности, словно легкие набегавшие тени, все чаще начинали мелькать люди в солдатской форме. Солдаты при виде их кавалькады еще издали начинали вглядываться, узнавать, подымали полосатую, преграждавшую путь перекладину. У перекрестков

были отрыты траншеи, иногда пустые, но чаще с солдатами, разморенными, но не дремлющими, вооруженными. Блеснул вороненым стволом зенитный, без чехла пулемет. Кириллов чувствовал, что по мере приближения к границе их захватывает постепенно нарастающее поле тревоги.

— Вот здесь,— показал в окно Тхом Борет,— вот здесь итальянка погибла.

Кириллов окунул лицо в тугой пыльный воздух, увидел брошенный на обочину, разорванный белый корпус «тоёты» с синим закопченным клеймом. Чужая гибель и боль, к которой он прикоснулся, приняли образ женщины — она пустилась следом за ним, чуть касаясь травы ногами, с приподнятой в беге струей волос, отстала, пропала вдали... Дрожание раскаленного воздуха. Растрепанные зеленые пальмы.

Они въехали в Сисопхон, в солнечную разноцветную пыль, увязая в запруженных улицах. Пробивались гудками, катили среди ленивых телег, колыхающихся воловьих голов. В прохладной, с развевающимися занавесками комнате встретились с председателем Народно-революционного комитета, встревоженным, неуверенным, тем самым, кого террористы обстреляли накануне в его собственном доме. И, беседуя с ним, Кириллов все представлял рассекаемое очередью оконное стекло, брызги посуды, женские истошные вопли.

Председатель неохотно и скупно, словно не зная, чем обернется для него эта беседа, объяснял, что взрывы дамб и каналов враги предпринимают для того, чтобы создать искусственный голод и таким образом направить народ в Таиланд на заработки. Там, в Таиланде, их перехватят и загонят в лагерь и военные центры.

— Народ,— председатель немного оправился и стал разговорчивей,— народ приходит в комитет и просит построить в селах школы, больницы, а враги являются из Таиланда и уводят с собой целые селения.

Еще он сказал, обретая уверенность, возмущаясь, что бандиты не только стреляют, а занимаются грабежом, контрабандой. Из Кампучии в Таиланд течет поток серебра, драгоценностей, старинной буддийской бронзы и скульптур из храмов. Бандиты проникают в старые храмы, откалывают молотками головы маленьким каменным буддам и в Таиланде продают их за доллары. Много ценностей уплывает из Кампучии в Европу, Америку.

Председатель встал, прошел в угол комнаты, сдернул со стола покрывало. И Кириллов увидел лежащую навзничь

обломанную статую с улыбающимся тихим лицом, желто-черные ритуальные колокольчики с отлитыми фигурами крылатых танцовщиц. Взял осторожно один, тряхнул и поставил. В воздухе долго и нежно продолжало звенеть.

Все это отобрано у бандитов, сказал председатель. Но главная беда крестьян, подолжал он, это обстрелы пограничных селений из тайландских орудий. Гибнут люди, скот, посеы. Поэтому после множества жертв власти решили убрать людей от границы, эвакуировать все села на двадцать километров в глубь территории. А это большая для народа мука. «Большая мука», — повторил он со вздохом.

Они выехали из Сисопхона, и за городом шоссе в направлении границы быстро опустело. Только редкие и, казалось, испуганные велосипедисты шарахались от их машины, и слева тускло светилась пустая железнодорожная колея — продернутая в полях и рощах замолкшая струна.

Впереди запылило. Они нагнали железную гусеничную громаду транспортера. На броне сидели вьетнамцы в пробковых шлемах, в грязных, намотанных на шею тряпицах, защищавших их от москитов. Транспортер был американский, видимо захваченный в Южном Вьетнаме, грыз теперь гусеницами шоссе у границы с Таиландом. Кириллов успел разглядеть соскобленную краску с брони, где было клеймо США, а в люке — усталое, желто-серое лицо водителя.

Чем ближе подвигались к границе, тем чаще попадались войска. Разболтанные пятнистые грузовики, тоже американские, везли зеленые снарядные ящики. Прокатила батарея пушек, щитки орудий были исцарапаны и избиты, завешены вялой, сорванной недавно листвой. Проехала санитарная машина с крестом, рядом с водителем сидел солдат, и голова его была забинтована. Они уже были в зоне опасности, в зоне сгустившейся тьмы.

Внезапно «уазик» качнуло, поволокло, заколотило на выбоинах. Водитель остановил машину, что-то сказал Тхом Борету.

— Колесо спустило, — пояснил тот Кириллову.

Вышли, захватив автоматы. Обе машины встали на пустынном шоссе. Солдаты разминались, довольные паузой. Шофер возился с домкратом. Тхом Борет, извиняясь, сказал:

— Десять минут, не больше!

Кириллов был рад остановке. Решил пойти к железной дороге, взглянуть на нее своими глазами. Перепрыгнул кювет. По растрескавшейся почве двинулся на блеск колеи,

чувствуя, как вслед ему смотрят, тревожась о нем, Тхом Борет и Сом Кыт, как солдаты сжимают оружие, оглядывая пустое пространство.

У насыпи, окруженный зеленью, сочился крохотный ручеек. Перескакивая его, Кириллов успел заглянуть в его мелкое светлое дно, спугнул с травинки прозрачную водяную стрекозу. И ее наивный, лучистый полет породил в нем забытое детское чувство: ручеек был похож на другой, подмосковный, на их давней даче.

Колея уходила в обе стороны прямо, тронутая не ржавчиной, а словно смуглым загаром. Бетонные шпалы с металлической крепью были в хорошем состоянии, но начинали прорастать хрупкой, колкой травой. Он прикоснулся к нагретому рельсу, смотрел в пустую, с вонзившейся сталью даль, голубую и волнистую у горизонта.

Его потянуло к ручью. Он спустился к воде, засмотрелся на желтое придонное дрожание песчинок, на слюдяное порхание стрекозки. И вдруг сладостное телесное чувство посетило его на безымянном километре азиатской дороги...

Из лучей, из блеска воды воссоздался забытый день. Мать с этюдником сидит на берегу заросшего пруда. Мокрый лист акварели повторил желто-белую, на той стороне, усадьбу, кажется, Суханово. Он застыл на бегу, поймав материнский, медленно-грациозный взмах кисти, испытал к ней мгновенный прилив нежности, любви, ему захотелось, чтоб она оглянулась, заметила в нем эту нежность. Кинул в воду камень, желая привлечь внимание,— и только испугал ее, раздосадовал.

Мать, не старая, не больная, впадавшая в забытье, в беспомощную несчастную сумрачность, а другая, ранняя, молодая, из детства, с прекрасным темнобровым лицом, расчесанная на прямой пробор, в том синем с прозрачными пуговицами платье, от которого по дому лился тонкий чудный запах духов. Этот запах связался в нем до конца со страницами старинных книг и альбомов, с деревянной скрипучей лестницей в Доме архитектора, спускаясь по которой вдруг попадаешь в серебряное сияние огромного зеркала, с дворцом в Кускове, где снег, янтари драгоценного паркета и бирюза застывшего, иссеченного коньками пруда, с полуразрушенной церковью в Раздорах, наполненной свежим сеном, куда ухнул из-под купола до самого пола.

Он вспоминал теперь мать всю разом, за все выпавшее им в совместной жизни время, молодой и старой одновременно. Вспомнил, как читала она ему, больному, про первый

бал Наташи Ростовой, и корешок недавно купленной книги золотился сквозь легкий жар, и уже навсегда слились в его памяти вальс Наташи, и влюбленность князя Андрея, и склоненное родное материнское лицо. Много лет спустя, когда мать болела и он к ней приходил, ухаживал за ней, поил чаем, бегал за лекарством в аптеку, раскрыл он их разошедшийся книжный шкаф и увидел «Войну и мир», потрепанную, с облезшей на корешке позолотой. Отыскал первый бал Наташи, стал читать матери. Она сначала противилась, потом увлеклась, благодарно ему улыбалась. А он, читая, возвращал ей через много лет ту полученную им энергию света, и она после чтения затихла в спокойном исцеляющем сне.

Теперь, в кампучийских предгорьях, мать снова посетила его. Он смотрел на слабое мерцание воды недвижно, безмолвно.

— Ну вот можно и ехать! — Сом Кыт приблизился к нему осторожно, деликатно его окликнул.

Кириллов очнулся, встал и двинулся обратно к машине.

Впереди замерцало, за клубилось. Стало приближаться, проступать шевелящимися живыми ворохами. Они вдруг въехали в дымное звякающее многолюдье, густо осевшее вдоль дороги. Катили среди разбросанного утлого скарба, курящихся костров и жаровен, словно очутились в таборе. Кочевники присели на краткий отдых, ненадолго коснулись земли. И так неожиданно было появление этого скопища среди жарких безжизненных пустырей, что казалось: люди, и скарб, и повозки ссыпались прямо с неба, усеяли сорный пустырь.

— Кооператив «Коуп». Две тысячи жителей,— сказал Тхом Борет.— Переселяются от границы. Их все время обстреливали. Снаряды и ракеты рвались прямо в деревне. От этого места до границы ровно двадцать километров.

Их машина медленно двигалась, стараясь не наехать на груды сухих жердей, на расставленные по асфальту пожитки, на детей, замиравших, испуганно, до черноты расширявших глаза при их приближении. Пустые тарелки и миски светлели на пыльной земле, но к ним никто не подсаживался. Груды трухлявых бревен были сложены у обочины, две женщины, подняв гнилушку, несли ее куда-то в дрожащую даль. Вбитые в землю колья удерживали пузырящиеся синие пленки, под ними, укрываясь от зноя, недвижно сидели люди — казалось, утлый парусный флот, скомканный бурей,

движется без путей. Катилась двуколка с легкими спицами, впряженный в нее человек, голенастый, с журавлиной шеей, бежал, на коляске в позе Будды сидел маленький старый бонза в желтой одежде, с бугристой бритой головкой. Пугливые, с проступающими рельефом ребер, ключиц и лопаток люди копали землю, но, казалось, их труд направлен не на строительство, а на разорение, в нем чудились паника, обреченность.

Женщина, босая, узкобедрая, заслонила собой двух грязных кривоногих голышей. Кириллов поймал ее ужаснувшийся взгляд. Вспомнил: вот так же выглядели в первые после освобождения дни лица всех кампучийцев. Он уже успел позабыть в Пномпене это общее состояние, это общее — из страха, из готовности бежать и спастись — выражение лиц. Но вот опять повстречал его, опять содрогнулся.

Люди, на которых он смотрел из машины, не ведали мира. Они все еще были в войне, в области затмения и тьмы. Светило солнце, но, казалось, оно было с черной раковиной.

— Стоп, здесь! — Тхом Борет остановил машину около строящегося дома, темного, на сваях, короба, собираемого из старого дерева. Люди, с пилами, молотками, окружили строение, резали, колотили, строгали, и казалось, они строят в пустыне ковчег, торопятся успеть перед бедствием. — Строят школу, — сказал Тхом Борет, выходя из машины.

Их заметили, прекратили работу. Держали в опущенных руках инструменты. Тревожно следили за автоматами, гранатометами. Кириллов чувствовал их робость, пугливую беззащитность, готовность по первому слову что-то делать, от кого-то спастись. Вошел в их круг, стараясь осторожными жестами, мягким выражением лица успокоить людей.

Тхом Борет подозвал их поближе, и они, оставив пилы и топоры, послушно сходились, усыпанные опилками, нечесанные, несмело топтались в тени от недостроенной школы, сквозь которую сквозила горячая испепеленная пустошь. Тхом Борет объяснил цель их приезда, представил Кириллова. Люди закивали головами, тихий шелест пронесся и стих. Они смотрели теперь на Кириллова, желая понять, что сулит им его появление.

Кириллов чувствовал ненужность, неуместность вопросов, ничего не добавлявших к очевидной, откровенной картине горя. И все же спрашивал: о частоте артналетов, об уроках, потерях, погибших полях, урожаях.

Они молчали, охваченные круговой немотой. Не желали, не умели впустить в свое несчастье другого.

Тхом Борет кивнул самому старшему, понуждая его к ответу. И тихий глухой ответ был о рвущихся на деревенских дворах снарядах, о чадных, пылающих хижинах, о растерзанных взрывом быках, о бегущих с полей землепашцах, о воющем, нарастающем визге, ухающем за селом, вздымающем столб жирной плодородной земли с ростками зеленого риса. Кириллову хотелось своей широкой грудной клеткой, плотным сильным телом заслонить впалую костлявую грудь стоящего перед ним человека, его понурые стариковские плечи, всю его хрупкую жизнь, которую стремились истребить, вырвать из почвы, лишить солнца и неба.

Его рассказ был об уездном начальстве, о сельском сходе, о поднявшемся тихом плаче, когда всем миром, разобрав жилища до последних щепы и гвоздя, захватив с собой белье и посуду, храмовые святыни и сохи, семена для посева и стареньких бонз, угоняя птицу и скот, торопились они спастись от огня, от войны — беженцы и погорельцы. Война гналась за ними, насылала свои колесницы, свои танки с крестами, самолеты с прицельной оптикой. Бежали, бегут с древнейших времен, оставляя пагоды, колокольни, мечети. Остановились в этой горькой долине, строят утлый ковчег из хлорвиниловых пленок и щепок, надеясь уплыть на нем от несчастья.

Кириллов вдруг остро, ясно ощутил, сколь неотложно важна помощь этим измученным людям, как истинно и глубоко в человеке стремление спасти другого, как связано оно с сокровенным, вмененным людям добром, с той извечной в его народе способностью делиться последней рубахой, последней коркой. И, стоя под тропическим солнцем, среди азиатских скуластых лиц, он перенесся на мгновение к родимой земле, к ее неоглядным нуждам и тяготам, к ее великим трудам и богатствам.

Негромкие жалобы кампучийских крестьян были на нехватку семенного зерна, обрекавшую их на скудный урожай и на голод. На близкие ливни, от которых им негде укрыться. На непаханую, дикую, без единого ключа и колодца землю, которую предстоит им осваивать. На начавшиеся детские болезни, на отсутствие учителей и врачей. На скудный, на пределе существования, быт, где на счету каждая ложка и гвоздь, где в сохи вместо волов будут впрягаться люди, а дети в четыре руки станут поднимать тяжелую мотыгу.

Кириллов записывал, держа на весу блокнот, будто рисовал с натуры этот разоренный войной край. Услышал, как на дороге заурчало, залязгало. В клубах синей гари, качая пушкой, шелушась броней, прошел танк, и усталый танкист,

стоя по пояс в люке, хватал ртом воздух. Танк проехал сквозь табор, оставив дымный висящий след, словно прорубил туннель. И в этот туннель, невидимые, пронеслись клубящиеся грозные силы, пролязгали сквозь селенье, и народ расступился, пропустил их сквозь себя. Кириллов писал, слыша зловонье сожженной солярки, кислого металла и пороха, затмившее робкий дым очагов, запах древесных распилов.

Они пошли вдоль табора дальше и встали перед вбитыми в землю колами, на которых были укреплены сколоченные, покрытые циновками щиты, заменявшие пол, а сверху трепыхалась синяя пленочная крыша. Стен не было, открывался глазам бедный быт — ворохи тряпья, горшки, старая швейная машинка. Два детских лица поднялись из ветоши, наблюдали приход чужих. Рядом с жилищем шелестела все так же дырявая, в виде навеса, пленка, и под ней, привязанный, стоял бык.

Он понуро опустил костлявую голову с белыми бельмами. Тонкая липкая слюна тянулась до земли с воспаленных, в красной коросте губ. Его бока запали и шелушились, были покрыты язвами, на которых густо сидели мухи. Бык дышал, натягивая на ребрах кожу, и дыхание его было свистящим и хриплым.

Появилась женщина с ведром. Испугалась, увидев незнакомых. Поставила на землю ведро.

— Это вдова Бам Суана,— тихо сказал старейшина.— Ее мужа убил тайландский снаряд, а бык заболел.

Горе, что двигалось по этой земле, касалось не только людей. Оно касалось животных, растений, воздуха и камней.

— Я думаю,— тихо обратилась к Кириллову вдова,— может быть, бык поправится и мы сможем на нем пахать. Я собираю траву, делаю ему примочки и даю пить. Мне кажется, ему стало лучше. Пусть он останется слепой. Дочка будет идти перед ним и показывать дорогу, а мы с сыном станем править сохой. Мне кажется, он все-таки может поправиться...

Она подняла ведро, подошла к быку. Стала отжимать над ним мокрую тряпку, сгонять мух, прикладывать примочку к горячечно дышащим бокам. Бык ниже опустил голову. Кириллов видел: сквозь бельма из бычьих глаз льются слезы.

Они катили по безлюдной дороге к границе. Кириллов смотрел, как качается хлыст антенны над капотом «уазика», сечет близкие горы, леса. На обочине, вылезая кормой на

асфальт, возник танк. По его осевшему в рытвину корпусу, не зеленому, а желто-ржавому цвету Кириллов издали понял, что танк подбит и сгорел. Тут же, неподалеку, зарывшись гусеницами в землю, ржавела боевая машина пехоты, а чуть в стороне на обугленных скатах осел транспортер.

Тхом Борет остановил машину. Все вышли. Кириллов разглядывал разбитую технику — оборванный порыв наступления, напоровшийся на встречный порыв. Видимо, здесь, у дороги, находился полпотовский противотанковый расчет, погибая, он отметил рубеж своей гибели телами сожженных машин.

— Вот здесь, у этой черты, мы должны повернуть обратно, — сказал Тхом Борет. — Дальше ехать нельзя. Дальше мы не можем обеспечить вам безопасность.

Кириллов, ссутулив плечи, мучаясь жаждой, проводя сухим языком по колючим губам, смотрел перед собой на шоссе. Ему казалось: от пыльной обочины, от развалившихся танковых гусениц через избитый асфальт проведена невидимая черта, тот предел, до которого они докатились и встали, исполнив намеченное. Оттуда, из-за черты, оттесняя, дует невидимый ветер, враждебные неясные силы чем-то грозят, словно все еще длят тот недавний гранатометный удар, развернувший танк толчком в лобовую броню. Он чувствовал это давление своим усталым, измученным телом. Пора было поворачивать вспять. Впечатлений было довольно. Поездка его удалась, выполнена его задача. Теперь от этой черты можно развернуться — и обратно, в Ангкор, и дальше, в Пномпень. Через сутки обнять жену, успокоить ее и утешить, сбросить прелую, потную, пропитанную ядовитой пылью растений одежду. День-два на отдых. И потом его подымут широкие белые крылья «ИЛа», унесут в небеса от этих джунглей, от этой невидимой, прочерченной приграничной черты. И будет май в Москве, сирень на площади Большого театра и в толпе — родные, усталые лица москвичей. Он будет толкаться среди них, спускаться в метро, выныривать то у «России», у золотых церквей, то у Красных ворот с мерцающим в сумерках виражом Садовой. А об этой черте, о танковой упавшей плашмя гусенице и не думать.

Он переступил на месте пыльными башмаками. Чувствовал, как в душе его напряглась, выгнулась невидимая, слабо звучащая мембрана, отделяя его, стоящего здесь, от того, другого, гуляющего у Большого театра, в другом, будущем пространстве и времени. Медленно одолевал в себе искушение.

— Дорогой Сом Кыт.— Кириллов вглядывался в осунувшееся лиловогубое лицо кхмера, на котором проступила щетина и острые кости скул, а в углах покрасневших глаз скопилась мокрая пыль.— Мне кажется, нам следует продолжить путь и достигнуть границы. Иначе, и я надеюсь, вы со мной согласитесь, картина будет неполной. Какой журналист упустит возможность вести репортаж из тех мест, откуда бьет огонь артиллерии? Весомость каждого слова увеличивается на вес снаряда. Поэтому, дорогой Сом Кыт, мне кажется, мы должны просить любезно сопровождающего нас Тхом Борета сопровождать нас и дальше, к границе.

Он видел: Сом Кыт смотрит перед собой на асфальт, на ту же черту, незримо преграждавшую путь, на тот предел, где оканчивается их путешествие и можно разворачивать колеса машин в другую, безопасную сторону, туда, где в необжитом жилище его одиноко ждет жена, и корректный доклад в министерстве об исполненном деле, и отдых, и, быть может, близкое повышение по службе. Та же тончайшая, колеблющаяся мембрана звучала в душе Сом Кыта, Кириллов чувствовал, как тот пытается ее успокоить, одолеть искушение. Пролагает себе путь сквозь невидимую, ведущую к границе черту.

— Я тоже думаю, что нам следует побывать на границе,— обратился Сом Кыт к Тхом Борету.— Иначе впечатления будут неполными.

— Дальше ехать нельзя,— твердо сказал Тхом Борет.— Таково условие программы. Дальше имеющимися средствами охраны я не смогу обеспечить вам безопасность. В вечернее время прекращается движение на трассах. Я не могу взять на себя ответственность. Программа полностью выполнена.

— Дорогой Тхом Борет,— Кириллов чувствовал, как кожаные сухие ремни стягивают ему щеки и губы, но старался улыбаться,— вы же знаете, что никакая программа, даже столь тщательно и разумно составленная, как наша, не может учесть всех экспромтов и неожиданностей.

— Неожиданностей я и боюсь,— твердо стоял на своем Тхом Борет.— Затем и составлялась и утверждалась программа, чтобы избежать неожиданностей. Я, ответственный за программу, не могу гарантировать вам безопасность.

— Дорогой Тхом Борет,— настаивал мягко Кириллов,— после того, что вы все перенесли в этой жизни, понятие «безопасность» приобретает относительный смысл. Не правда ли, Сом Кыт?

— Да,— кивнул тот.— Нам надо проехать к границе. Я говорю это от имени министерства иностранных дел.

— Не знаю,— колебался Тхом Борет.— Я не вправе принимать решение сам. Я должен связаться с председателем провинциального комитета. Должен связаться с Баттамбангом по радио.

— Так сделайте это,— сказал Сом Кыт.— Сделайте это от имени министерства иностранных дел.

Тхом Борет направился к «уазику», где блестел жгут антенны,— вызывать по рации Баттамбанг. Кириллов невесело усмехнулся, вспомнив образ давнишней, в детстве читанной книги: развилка пути, белый камень на обочине, богатырь на коне водит по земле копьём, на камне — вещи, начертанные кем-то слова. Нет ни коня, ни камня, лишь разбитый сгоревший танк, горстка усталых солдат, но все тот же отмеченный на дороге чьим-то древним извечным копьём рубеж.

Солнце пекло. Попискивала в «уазике» рация. Тхом Борет вызывал Баттамбанг. Кириллов, желая укрыться от зноя, спрятать от других свое изнуренное тело, подошел к танку. Ухватился за теплую скобу, за облупленную крышку люка. Влез в нутро танка.

В танке было сумрачно, душно. Выгорело все дотла. Будто влетела туда и взорвалась шаровая молния, единой вспышкой испепелив все живое и плавкое. Он устроился на сиденье водителя среди торчащих обугленных рычагов, рыжей осыпавшейся окалины, в которой валялась окисленная оружейная гильза. В сумрак вонзался и тонко, струнно дрожал луч солнца сквозь маленькое, прожженное в броне отверстие. Огонь кумулятивного снаряда пробил сталь, прожег в ней канал, вдунул в танк смертоносный пылающий шар. Кириллов наклонил голову, поймал зрачком круглый прожог в броне, поместил глаз в то место, где недавно свистело веретено плазмы. Его живое ухающее сердце находилось в том месте, где некоторое время до него билось сердце сгоревшего человека. Его живые ноги упирались в пепел и прах, бывший некогда человеческой плотью. И он, живой, смотрел сквозь пробойну на голубые горы, курчавые далекие заросли, на медлительную тихую птицу под белой тучей. И думал о родине.

Он видел ее внутренним зрением сразу всю, словно пролетал над ней в серебристой высоте, как крылатое семечко, бесконечно малое в сравнении с ней, огромной. И одновременно был больше ее, нес ее в себе, обнимая, окружая своей

жизнью, был ее хранителем. Из сожженной брони, сквозь скважину, в которую струйкой дула смерть, он своим встречным, одолевающим гибель движением посылал ей, далекой, луч своей любви. Желал ей жизни вечной. Желал ей мудрости, доброты. Желал великого трудолюбия и терпения в неусыпной, затеянной предками работе по преобразению жестокого мира, в которой бесчисленные вереницы работников гибли в огнях и бедах, спасая ее от бед и огней. И он, один из бесчисленных ее сыновей, на исходе сил слал ей в поддержку, в подмогу лучик своей малой жизни, надеясь, что он ей пригодится, долетит сквозь пространства земель и вод.

Здесь, в изувеченном танке, среди окисленной теплой брони, он думал о том белоснежном дне, из которого столько лет все черпал силу, спасаясь ею и спасая.

Тетя Поля окончила песню, а вслед все еще тянулся весь воссозданный ею мир цветов, красавиц, скакунов и наездников. Но вот и они отлетели в морозную темень за окошками, почти пропали и смолкли. Но потом превратились в невнятный звон, фыркание, скрип полозьев. Стали вновь приближаться, затопотали под окнами, пробарабанили в стекла, прозвякали щеколдой крыльца, прогрохали по мерзлым половицам сеней, опрокинули с аханьем пустое ведро, со стуком отворили дверь в избу, и в натопленный жар, окутанные паром, нанося на валенках снег, теснясь, визжа, заполняя все размалеванными, накаленными лицами, огненными подолами, вывороченными овчинами, ввалились ряженные. Пошли ходуном, валом, вытаптывая, высвистывая, расшатывая избу, точно вкатили огромное, цветное, грохочущее колесо.

— Эй, хозяева, принимай колдунов! Откупайся, а то заколдуем!

Летят со стола в подставленный мешок конфеты, кусок пирога, литой зеленый лафитник, бутыл с наливкой — все одним махом. Он видит, каким восторгом и ужасом отражает ее лицо нашествие размалеванного дикого толпища, как готова она влететь в их скачущий круг, в ночное разноцветное солнце и как страшится, робеет.

Он вглядывается в черное, сажей наведенное лицо то ли козла, то ли черта, блеющее, скалящее твердые, стиснувшие морковку зубы. И в солдата со свекольно-красными кругами на щеках, делающего «на караул» ухватом. И в бабу непомерных размеров в пегих юбках, с наклеенными мочаль-

ными волосами. И в цыгана с луковыми кругляками в ушах, с черными усищами из конского волоса. И постепенно под красками, сквозь рев и визг, колочение палкой в противень, хмельные переборы баяна, начинает узнавать лесников Полунира и Одинокова, и пильщика-мордвина, и шофера, подбравшего его на грузовик, и тракториста в валенках, оклеенных красной резиной, и старую толстую Куличиху, и молодую грудастую почтальоншу, и хромого возницу сельпо. Они, преобразенные, утратившие знакомые дневные обличья, морочат, ворожат, пленяют, зазывают в свое толпище.

— Айда на коне кататься! Ему, вишь, вино в овес влили. Сдурел конь-то!

Он цепляет в руках телогрейку, помогает Вере набросить тулупчик. И, стиснутые, толкаемые, подгоняемые тумакami, они выносятся сгоряча на мороз, на студёный ветер и звезды. На дороге, в саях, нервничает, мнетса, фыркает конь, тот дневной, стоявший на лесосеке. Теперь он кажется огромным, гривастым, в серебристом кудлатом инее, с вылупленными, черно-блестящими глазами.

Она смеется, протягивает к коню ладони, но тот кривит бархатные горячие губы, грызет железо, и на мохнатых, бьющих об дорогу копытах лунными серпиками блестят подковы.

Все окружили коня, навешивают на дугу конфеты, серебряные бумажки, ленточки. Кто-то тянется, никак не нацепит вырывающийся, норовящий улететь бубенец.

Насаживаются тесно и густо — тугая спина к спине, хочущая голова к голове, хмельное дыхание к дыханию — сжимают обморочно стенающий баян. И он, схватив незаметно ее близкую горячую руку, чувствует, как откликается она на его пожатие, как ей хорошо и счастливо. Ему хочется поцеловать ее близкое, быстроглазое, темно-голубое лицо.

— Эй, кто может, держись, а кто не может, ложись!.. Ну, пошел... Ну, поехал!.. Ну, черт, полетел... — и, скрипнув, дрогнув, сани рванули, понесли по деревне вой, визг.

Мелькают избы, мимо которых шли утром, но там, где в утренних окнах краснели печи, теперь мигают зажженные елки. Колокольня прошумела шатром, в радужных небесных сверканиях, на совхозной конторе полыхнул в темноте кумач. Кончилось Троицкое, и ветер с поля резанул по щекам, подхватил скрип саней, рев баяна, обезумевший гик возницы, храпящий ответ коня. И — мгновенье безвременья, бесшумный полет над землей. Глубоко внизу деревни бросают

ввысь красные сыпучие искры. Тенистые поляны в лесах, на которых, задрав глазастые морды, смотрят вверх седые лоси. И внезапное, как пробуждение, падение вниз, в снег, в обжигающий дымный сугроб. Сани колыхнулись на повороте, и они вдвоем, уцепившись один за другого, вывалились в снежную глубину, видя, слыша, как удаляются сани, уносят пиликанье, звон бубенца.

Они стояли среди ветреного туманного поля с колыхающимися волнистыми небесами. Притихли, онемели вдруг, отдалились, боялись коснуться друг друга. Ему казалось, что они уже здесь были когда-то, он ее сюда приводил, уже видел и эту безбрежную пустоту в небесах, и эту стылую непроглядную даль. Мелькнула мысль о краткости, случайности их встречи, и охватила такая боль и тоска, непонимание, незнание себя, своих путей и дорог, что слезы вдруг набежали, и небо сквозь слезы оделось тончайшим перламутром.

— Ты что? — говорит она, трогая осторожными пальцами его губы и брови. — Пойдем!

Они медленно, она впереди, а он сзади, идут к селу. Она, нагибаясь, пишет на пышном снегу их имена. Он читает, и ему кажется, буквы медленно отрываются от снегов, уползают в небо. Там среди высоких разноцветных разводов начертаны их имена.

Много позже, когда он защитил диссертацию и поступил в институт на работу, для них после стремительных, обильных переменами лет наступил покой. Их жизнь как бы остановилась, наподобие светила в небе. У них появился достаток. Они расстались со своей комнатушкой, с рассохшейся допотопной мебелью, перенеся в новый дом лишь березовое, залитое воском полено, светившее на столе среди их молодых вечеринок, освещая спорящие лица. В институте его ценили, сулили в науке будущее. Она была горда его успехом — статьями, монографией, выступлением на симпозиуме. Была хозяйкой дома, умела принять, привлечь, сгладить двумя-тремя словами возникающие шероховатости в разговоре. Жила его интересами, дорожила этим первым, выпавшим им на долю покоем. А он чувствовал, как в нем назревает знакомое беспокойство. Копится, ищет выхода, превращается в энергию движения, выталкивая его за пределы их светлых комнат с видом на Язу, на голубую, как перышко сойки, колоколенку, и ему не терпелось снова кинуться навстречу многоголосой, оглушительной реальности, за пределы библиотек, кабинетов, туда, где ждали его испытания,

ждал неведомый опыт, требующий от него не просто мыслей и чувств, но и поступков.

Он оставил институт, подрядился в газету на внештатные, от случая к случаю, поездки, опять вернувшись к прежнему неустройству, к прежней бивачной жизни. Колыхнул, двинул с места застывшее было светило. Встречал его то на Курилах, то на Памире, то в белых тундрах Ямала.

Она мучительно перенесла перемену. Ей казалось: она виною всему. Их бездетный дом пуст для него и тягостен. Он бежит из дома, бежит от нее. Она не сумела создать ему дом. Он ошибся, женившись на ней.

Он чувствовал Верину муку, старался ее отвести, старался ее заговаривать. Следил, караулил, как в ней нарастает страдание, каждый раз кидался на помощь. Чтоб она не оставалась одна, чтобы мука ее не превратилась в болезнь, стал брать ее с собою в поездки.

...Танкер, как огромный серебряный клин, раздвигает обские воды, проходит сквозь радуги, дожди и туманы, погружаясь в запахи то пиленого леса, то мокрых холодных трав, то рыбьей икры и молоки. Она, его Вера, сидит на носу на посеребренном железе, и там, куда она смотрит, возникает красный, озаренный лучами бор, и белая отмель с перевернутыми, легкими, как семечки, лодками, и встречный, протяжно загудевший корабль. Весь угрюмый, под низкими тучами север согрет ее дыханием и взглядом.

Металлургический завод в ночной казахстанской степи мечет огненные рыжие космы, вздымает багровые, застилающие звезды клубы, и кажется: идет извержение, глухие удары сотрясают степь. Днем они ходили по чадно-синим цехам, по которым неся нарастающий грохочущий вихрь раскаленного сляба, сминаемого в звенящую, обжигающую ленту. Смотрели, как в домнах, в тяжких закопченных квашнях, созревает чугунное месиво, выплескивается белой слепящей струей. Как в мартенах сплавляются, тают, превращаются в вялый стальной кипятки остатки разбитых машин. И ее лицо, изумленное, восхищенное, казалось ему центром, вокруг которого мечутся огненные стихии. Теперь они сидят в степи у крохотного тлеющего костра. Он палочкой выкапывает из углей картофелины, сдувает с них пепел, передает ей теплые клубни.

Карьер под Старым Осколом. Конический туманный провал — будто вглубь, в земное ядро — и на дне провала идет чуть различимое шевеление, движутся поезда и машины, чавкают механизмы, гложут, долбят, вычерпывают стальную

сердцевину планеты. Они с Верой спускаются по бесконечной спирали, и уже наверху, затуманенные, остались метели, леса, морозное солнце, а здесь — металлический центр, отвердевший, кристаллический космос, осколки стальных метеоров. Она шагает перед ним по ржавой дороге, мимо зубьев ковшей, крутящихся колес, гусениц. И мимолетная мысль: она ведет его по кругам преисподней, показывает ему потаенную, жестокую сущность мира и выведет снова наружу, где белое поле, засохший из-под снега цветочек, остекленая заячья лежка.

Он ездил, жадно наблюдал чертеж колоссальной огнедышащей — из бетона и стали — цивилизации, возводимой от океана до океана, чувствовал сверхнапряжение народа, своим умом, умением выминающего из жестоких необжитых земель новую пластичную форму, строящего на шестой части земли невиданный доселе дом.

В «нефтяных городах» на Оби он видел создание энергетической базы, за которой следили в Гамбурге и Йокогаме. В Каракумах, плывя по ленивой воде канала, он видел, как мертвенно-лунный, изрытый ветрами грунт одевается цветением и зеленью и к воде торопится припасть, прикоснуться исчащая в пустыне жизнь.

Он изучал цивилизацию социализма, создаваемую из грубой материи и из энергии духа и воли многомиллионного, действующего на своих пространствах народа, стремящегося среди великих противоречий века воплотить вековечные чаяния — о правде, обилии, братстве.

Были мгновения успеха, когда свежий газетный лист нес в себе черно-белый оттиск только что виденных им зрелищ. Напечатанный очерк приносил удовлетворение, чувство, что он не ошибся в выборе, приносил заработок. Но бывали дни неудач, когда его неумение, недостаток журналистского опыта губили замысел. Очерк, не сумев уловить кипящий, ускользающий материал, выходил неживым, отвергался редакцией. И он погружался в тоску, в чувство своего дилетантства, своего бессилия, в досаду из-за наступившего безденежья.

Растерзанный, исчерканный карандашом материал лежит на столе. Отвращение к бумаге, к оставленным редактором пометкам, к себе самому, бездарному, покусившемуся на недоступное ремесло, отвернувшемуся от истинного своего назначения. И вся его жизнь — неоправданная, непрерывная ломка, вечный эскиз, подмалевки. И она, его Вера, расплатилась за это своим покоем, своим домом, чувством

семьи и достатка. Он своими неудачами сделал и ее неудачницей, повинен в ее несчастьях.

Он винулся перед ней, целовал ей руку, глядя, как в темной комнате мерцает на стене зеленоватое отражение Яузы. Каялся в том, что повел ее за собой по этим неверным путям и привел в тупик. Тоска его была велика. Она клала ему руку на лоб, чертила у виска легкие кольца, как бы скручивала обратно в свиток его больные мысли, его неверие в себя, превращала их в память о ночной мерцавшей дороге, где стоял запряженный в сани конь и кто-то молодой и счастливый вплетал ему в гриву красную ленточку.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Он вылез из танка, отряхивая с ладоней мелкую рыжую пудру сгоревшей стали. Направился к машине, где Тхом Борет совещался с Сом Кытом, и оба они вместе с солдатами и «уазиком» отбрасывали длинные, предвечерние тени.

— Я получил разрешение доехать до пограничного пункта, — сказал Тхом Борет. — Надо ехать сейчас. Скоро начнет смеркаться.

— Мы заночуем у солдат, — пояснил Кириллову Сом Кыт. — Для бесед у нас будет вечер. А утром отправимся в Сиенреап.

— К сожалению, я не смогу сопровождать вас в Сиенреап, — сказал Тхом Борет. — Охрану обеспечат вьетнамцы. Им сообщили о нашем приезде. Надо ехать, — и он повернулся к машине.

Они катили, подымая солнечную пыль, навстречу синим кудрявым предгорьям. Подъехали к лесной опушке, сквозь которую дальше, в джунгли, уходила дорога. Под зеленым пологом, у вечерних красных стволов стояла палатка, замер закиданный ветвями транспортер, развернутый пулеметом вдоль трассы. Туда же смотрели расчехленные, в земляных капонирах пушки. Из палатки, где висели антенны и слышалось бормотание рации, вышли вьетнамцы, без шлемов, в легких рубашках, сандалиях. Двинулись к ним навстречу, улыбаясь, протягивая для рукопожатий руки.

— Тхеу Ван Ли, — представился Кириллову вьетнамец, легкий в движениях, гибкий в плечах и поясе, юношески моложавый на расстоянии, а вблизи — со следами долгой, не юной усталости на смуглом, обтянутом сухой кожей лице, с пергаментными трещинками у глаз и у губ.

— Нам только что сообщили из штаба, что вы едете.

— Это и есть граница? — отвечая на рукопожатие, спросил Кириллов, озираясь на черные обугленные сваи, темные ямы с гнилой недвижимой водой, на синий опрокинутый остов автомобиля и алебастровую, с облупленной краской, скульптуру слона.

— Граница.— Тхеу Ван Ли, услышав от Кириллова вьетнамскую речь, радостно, чуть заметно дрогнул лицом, заулыбался шире.— Там Таиланд.

Сом Кыт протянул офицеру бумаги, но тот, продолжая улыбаться, отрицательно покачал головой, передал их другому, который стал тихо переводить с кхмерского содержание документов.

Тхом Борет и Сом Кыт продолжали говорить с офицерами, а Кириллов, чувствуя на себе взгляды сидящих на лафете артиллеристов, шагнул под деревья.

Оглядел слона — алебастр был истрелян, изодран осколками, нарисованная коварная попона облезла, иссеченная рубцами и метинами. Синий длинный кузов «кадиллака» хранил в себе последний, направленный к границе рывок, стремление ускользнуть, умчаться, он лежал перевернутый, с расплюснутым задом, получив в хвост удар свинца и огня. В ямах на месте сожженных хижин кисли головки, и над ними, над золотистой гнилой водой роились комары и москиты.

Кириллов смотрел на границу, изгрызенную танковыми гусеницами, истоптанную пехотой, пропустившую сквозь себя тающие банды «кхмер руж», простреленную, продырявленную недавнюю границу войны. Одну из многих в сегодняшнем мире расплавленных, разрезанных автогенном границ. Вся карта мира, как мигающий пульт,— в аварийных огоньках индикаторов...

Сом Кыт отвлек его, подходя:

— Нас приглашают пить чай.

Его стоическое невозмутимое лицо, усталое, освещенное низким, цвета сурика, солнцем, показалось Кириллову родным.

Они вошли в просторную палатку с утоптанном полом. Кругом были расстелены лежаки с марлевыми сетками. Стоял низенький, наспех сколоченный стол, деревянные плоские плахи вместо стульев. Чернели сталью сложенные в углу автоматы. За брезентовой перегородкой тихо бурлила рация, и связист настойчиво выкликал позывные.

— Вы устали с дороги,— приглашал их за стол Тхеу Ван Ли.— Рис уже варится, а сейчас освежитесь чаем.

Повинуясь командирскому взгляду, солдат принес за-копченный, снятый с костра котелок. Тхеу Ван Ли вытряхнул в него пачку зеленого вьетнамского чая.

Кириллов пил, наслаждаясь горячим дымно-чайным ароматом, напомнившим юношеские лесные прогулки. Вьетнамец улыбался, видя, что гость получает удовольствие.

— Мы рады вашему прибытию. Рады прибытию советского друга,— вежливо, полагая, что именно такие слова приличны при встрече, говорил Тхеу Ван Ли.— Спасибо, что вы посетили нашу воинскую часть.— Соблюдая церемонию, он одновременно зорко наблюдал за Кирилловым.

— Вдали от дома хочется видеть родные места, не так ли? — Кириллов кивнул на открытку с видом вьетнамских гор, прикрепленную к брезенту палатки.

— Скоро мы увидим родные места своими глазами,— сказал офицер.— Через несколько дней наша часть снимается и уходит во Вьетнам. Уже получили приказ. Скоро уходим домой.

— Я рад за вас,— сказал Кириллов.— Рад, что увидите родных и близких. Пусть эти последние дни в кампучийских джунглях пройдут для вас спокойно.

Он отдыхал от дорожной тряски, благодарный за приют, верящий в свои слова и свои пожелания.

— К сожалению, и эти последние дни не проходят для нас спокойно. Как раз сейчас, в эти минуты, завершается очень важная операция. Наша часть проводит захват секретной базы противника. Как раз в эти минуты.— Тхеу Ван Ли взглянул на ручные часы.

— Что за секретная база? — Кириллов расслабленно продолжал пить восхитительный, утоляющий жажду напиток, стараясь продлить ощущение покоя, не торопиться с расспросами, как можно дольше оставаться среди необязательных, вежливых, приятных для гостей и хозяина фраз.

— Разведчики обнаружили в горах засекреченную базу, хорошо оборудованную. Там собраны большие запасы продовольствия и пресной воды. Я не знаю, может быть, эта база предназначена для крупных деятелей. Может быть, даже для самого Пол Пота. Я слышал по тайландскому радио: он собирается сюда прилететь вместе с западными журналистами и сделать какое-то заявление. Показать, что его правительство действует не в Таиланде, не за рубежом, а в Кампучии. Хотя едва ли. Говорят, Пол Пот большой трус. Эту базу мы сейчас атакуем.

Кириллов уже справился со своей усталостью, перевел ее

в чуткое ожидание и фиксирование. Подключил к своим измотанным нервам скрытые, как неприкосновенный запас, ресурсы энергии.

— Вы полагаете, там могут находиться какие-нибудь крупные птицы?

— Мы не знаем. Несколько дней назад туда прилетал вертолет. Мы не знаем, кого и что он привез.

— Сом Кыт,— Кириллов обернулся к кхмеру, внимательно слушавшему, перевернувшему чашку донцем вверх,— вы слышали, Сом Кыт? Быть может, в самом деле это и есть та база, на которую в сопровождении прессы задумал прилететь Пол Пот? В последнем заявлении из Бангкока, вы помните, он утверждал, что его правительство отнюдь не правительство в изгнании, а национальное, действующее с территории Кампучии. Может, именно здесь и готовится этот спектакль?

— Едва ли это может случиться,— сказал Сом Кыт.— Пол Пот не пойдет на это. Такую базу можно соорудить и в Таиланде. Провести спектакль в Таиланде. Джунгли везде одинаковы. На пленке джунгли есть джунгли.

— А где эта база? — спросил Кириллов вьетnamца.— Как далеко отсюда?

— Она в горах, далеко. Мы связываемся с войсками по рации. Скоро выйдем на связь... А вот и рис, угощайтесь!

Солдат внес котелок, в котором белоснежно, овеваемый паром, мерцал рис. Поставил в центр стола, разложил перед всеми палочки. Кириллов достал из сумки бутылку водки. Открыл ее, а сам думал о далекой базе, где идет в этот час сражение, ахают минометы, солдаты в пробковых шлемах атакуют в вечерних сумерках.

Он налил водку в чашки, пронося бутылку сквозь прозрачный рисовый пар. Вьетнамские и кхмерские лица были в красных, струящихся сквозь открытый полог отсветах, Тхеу Ван Ли протянул к чашке гибкую руку, готовясь произнести любезный тост за гостей.

Он почти поднял чашку, когда далеко, приближаясь, буравя воздух, свертывая его в свистящую спираль, что-то пронеслось над деревьями и ахнуло, потрянуло стволы. Взрыв, перепончато лопнув, медленно затихал шуршанием опадавшей листвы, хлюпаньем липких комков. Вновь засвистело и шлепнуло, словно чмокнула огромная пробка. Тугой спрессованный удар прошел сквозь брезент, и Кириллов лицом ощутил давление взрыва.

— Таиландцы! Артналет! — Тхеу Ван Ли вскочил, делая

успокаивающий охранительный взмах рукой. — Прикрывают проникновение банды. Или наоборот, отход ее через границу в Таиланд.

Они вышли наружу. Кириллов из-под крон смотрел на открытое за стволами деревьев пространство, откуда они недавно приехали, — малиновая земля, темно-синий асфальт дороги. В лесу, то ближе, то дальше, скрежетало и рушилось, раскалывались и хрустели деревья, будто кто-то огромный ломился вслепую к опушке. Продрался, взметнул два высоких взрыва, разбухавших, осыпавшихся дымом и грязью. Артиллерия плотно стреляла несколько минут, снаряды рвались на брошенных крестьянских полях, словно перетряхивали их, жадно искали последнюю укрывшуюся жизнь.

Артналет прекратился внезапно. Стало тихо. Только птицы, сметенные с веток, полетели из джунглей, молчаливые, красные на солнце.

Вернулись в палатку. Тхеу Ван Ли улыбался смущенно, как бы извиняясь за прерванный ужин. Поднял чашечку с водкой. И тост был за дружбу братских армий, за удачу в личных делах и за скорое возвращение домой. Кириллов видел, что локти на рубашке вьетнамца аккуратно заштопаны, голая, в сандалии, нога расчесана в кровь от укусов лесных насекомых, а глаза без улыбки, усталые и тревожные, обращаются к отгороженному отсеку, где посвистывала рация и слышался голос радиста.

Они поужинали, отдыхали в сумерках. Когда стемнело, солдат принес и засветил три коптилки из сплюснутых гильз, расставил их по палатке. Возникло три отдельных освещенных пространства, и в каждом совершалось свое. В дальней, у стены, области света два солдата, вьетнамец и кхмер, разбирали и чистили автомат. Протягивали к светильнику холодно-блестящие детали, передавали друг другу, словно обменивались чем-то лучистым, окружавшим их пальцы.

В ближнем, колеблемом шаре света сидели Тхом Борет и Сом Кыт, положив на колени руки, недвижные, одинаковые, повторявшие друг друга своими потерями, бедами, своим нынешним терпеливым и истовым ожиданием.

Третья коптилка, стискивая латунными кромками обгорелый фитиль, подымала прозрачную летучую сферу, в которой сидели он сам и Тхеу Ван Ли, заключенные оба в единый — из световых оболочек — объем.

— Я рад, что война для вас скоро кончится и вы верне-

тесь домой,— сказал Кириллов, чувствуя их совместный полет сквозь единое исчезающее время.

— Спасибо,— ответил Тхеу Ван Ли, благодарно склоняя голову, вписываясь в округлый прозрачный свод, отделявший свечение от тьмы.— Я воюю уже одиннадцать лет.

— Вы вернетесь к своей семье, к своим любимым и близким и отдохнете наконец от войны,— произнес Кириллов.

— У меня нет семьи, нет любимых и близких. Отец и мать, сестра и два брата погибли от бомбы. А жениться я не успел. Нет у меня дома, жены,— не жалуясь, не печалясь, ответил вьетнамец.

— Где же вы воевали?

— Сначала воевал под Ханоем, был зенитчиком, отбивал налеты американцев. Однажды мы подбили их «Фантом». Мой напарник в этом бою был убит, а меня обожгло напалмом,— он притронулся к пуговице на своей линялой рубашке, будто хотел ее расстегнуть, показать ожог, но раздумал.— Потом я воевал на тропе Хо Ши Мина. Мой зенитный пулемет стоял на грузовике. Мы сопровождали войска на юг, прикрывая их от воздушных атак. Там я вывел из строя один вертолет, но попал под ковровую бомбежку, и меня контузило,— он коснулся своей головы, будто ощупывал невидимый бинт.— После госпиталя меня послали в пехоту. Я брал Сайгон. Мы вели бои на военно-воздушной базе, и я видел, как улетали последние транспорты с американцами. Там, в одном из ангаров, мы подорвались на mine. Мне перебило ногу,— он сморщился, качнул коленом, словно оно заныло, несколько раз, укрощая боль, погладил его ладонью.— Потом, во время боев под Лангшоном, нас перебросили с юга на север. Я участвовал в рукопашных с китайцами, и мне проткнули штыком плечо. Здесь, в Кампучии, я брал Пномпень, с боями дошел до границы. Но пока не был ранен,— и он улыбнулся, оглядывая свои руки и ноги, отыскивая на своем израненном, обожженном теле место, которого не коснулся бы металл.— Теперь, наверное, я уж не буду ранен. Через некоторое время нас отводят с позиции. Возвращают во Вьетнам. Было решение правительств Вьетнама и Кампучии. Мы едем домой.

Он умолк. Они летели в бесшумной сфере огня, и рядом, по тем же орбитам неслись Сом Кыт и Тхом Борет, два солдата с «калашниковым». Три корабля, толкаемые пламенем самодельных латунных коптилок.

«Еще один народ,— думал он,— чья судьба — освобождаться от власти чужих империй, чья истина брезжит в про-

резях ружейных прицелов, в пожаре сел, городов. В нем, в народе, энергия сегодняшней боли, претворенная в энергию боя, должна обернуться в грядущий ослепительный свет».

Его, этого света, и желал Кириллов сидящему перед ним человеку, бездетному и бездомному, искалеченному долгой войной, другу и брату, обретенному в армейской палатке. Чувство, его посетившее, было жарким и истинным, и он молча искал слова, отвечающие этому чувству, готовился их произнести. Но из-за брезентовой шторы вышел радист. Шагнул в их летучую сферу, разрушая ее. Кратко сказал:

— На связь!

Тхеу Ван Ли быстро встал, ушел за экран.

Все прислушивались, ждали его появления. Ловили его лаконичные «да», «докладывайте», «сколько», «еще раз повторите». Кириллов переглядывался с Сом Кытом. Их ожидание было общим, нетерпение было общим.

Тхеу Ван Ли появился из-за экрана, на щеке виднелся рубец, оставленный наушниками.

— База разгромлена. Противник на базе уничтожен. Есть пленные. Некоторым удалось вырваться из окружения. Преследование с наступлением темноты остановлено. С нашей стороны имеются убитые и раненые.

— Какая информация о базе? — хотел узнать больше Кириллов. — Кто захвачен в плен?

— Еще неизвестно. Точных сведений нет. Захвачены бумаги. Но основной их разбор состоится, когда на базу будут доставлены пленные. Вот и все сведения. По рации больше не узнать.

— Нельзя ли попасть на базу? — Кириллов оглянулся на Сом Кыта, сверяясь с ним, тот кивнул согласно. — Как далеко отсюда до базы? Нельзя ли ее осмотреть?

— Нет, — жестко сказал Тхеу Ван Ли. — Туда пешком добираться сутки. По тропам, в джунглях. Это опасно. Возможны засады, мины.

— А машиной?

— Звериные тропы, болота. Даже танк не пройдет. Артиллерия не проходит. Солдаты несут на себе базыки и минометы. Война в джунглях. Только пешком.

— А можно ли туда долететь на вертолете?

— Мы сообщили в штаб о взятии базы. Думаю, из штаба на базу полетит вертолет. Но этого я точно не знаю.

— Если пойдет вертолет, то откуда? — настойчиво допытывался Кириллов, выстраивая мгновенный, неточный,

рассыпающийся и вновь собираемый воедино чертеж.— Откуда пойдет вертолет?

— Если он пойдет, то, наверное, из Сиемреапа. Там, на аэродроме, стоят вертолеты. Оттуда они обычно летают. Но этого я точно не знаю.

— Дорогой Сом Кыт,— Кириллов подсел к нему, осторожно положил ладонь ему на колено.— Хочу посоветоваться с вами. Для меня было бы крайне важно немедленно получить информацию о базе. Конечно, в конце концов бумаги попадут в МИД, и там я смогу познакомиться, но пройдет немалое время — пока-то их доставят из джунглей, пока рассортируют... Мне кажется, если вы согласитесь, нам следует утром ехать в Сиемреап, просить вертолет. Мне нужно самому побывать на базе, осмотреть ее, написать репортаж о разгромленной полпотовской базе.

Кхмер, соглашаясь, кивнул.

— В Сиемреапе,— сказал он, подумав,— мы окажемся лишь завтра под вечер. Это канун Нового года, и вряд ли нам дадут вертолет. Если вьетнамцы пойдут нам навстречу, мы получим вертолет послезавтра.

— Я рад, что вы согласны со мной. Утром на рассвете мы выезжаем. Может быть, все-таки удастся завтра получить вертолет.

Он был возбужден, но это возбуждение было предельной формой усталости, когда пущены в горение последние резервы энергии, тот запас, что природа оставляет на крайний случай. Это и был тот случай. Не напрасно они проделали путь. Не напрасно добирались к границе. Он выполнил ту задачу, с которой отправлялся в дорогу. И возникла другая, важнейшая. В ночных горах, в суточном переходе отсюда остывала, дымилась база. Оттуда, от дымящихся рытвин, от россыпей стреляных гильз, он должен повести репортаж о последних выпадающих на долю народа страданиях, о войне, отброшенной от домашних очагов и полей, о мире, долгожданном, спустившемся на эти реки и горы, о грядущей исцеленной стране.

Он не думал об этом в деталях, а одной только общей мыслью. Он был профессионал-журналист, и его профессиональный долг подсказывал ему единственно правильный путь: попытаться добыть вертолет и лететь на базу.

Сом Кыт был его партнером и товарищем. Страна, о которой радел он, Кириллов, была Сом Кыту родиной.

— Тогда, если гости собираются рано вставать, они могут лечь отдыхать.— Тхеу Ван Ли приглашал ко сну.

Он уступил Кириллову свое самодельное походное ложе под марлевой сеткой. Кириллов благодарно улегся, старался успокоить сознание, выбросить из головы прожитый день. Но последним видением вставали перед ним мохнатые столбы разрывов и летели из джунглей молчаливые красные птицы.

Утром они простились к Тхом Боретом, отпустили его с охраной по сисопхонскому шоссе в Баттамбанг, где ему предстояли выезды на место террористических актов, допросы, расследования, скольжение по кромке между жизнью и смертью, стремление отодвинуть эту жестокую кромку подальше от воловьих упряжек, везущих зерно на поля, от крестьянских сох, скребущих влажную землю.

Тхеу Ван Ли вызвался их проводить по проселку до моста, охраняемого взводом солдат, по опасному отрезку дороги, вьющейся среди лесистых холмов. К палатке подъехал закопченный зеленый «джип», обтянутый по торцу и по крыше брезентом, с открытыми бортами и измызганными стальными сиденьями. Сом Кыт уселся в «тоёту» вместе с вьетнамской и кхмерской охраной, а Кириллов — рядом с Тхеу Ван Ли. И их две машины покатили по раздавленной, разбитой дороге, и артиллеристы у пушек махали им вслед.

Утреннее солнце влажно брызгало из листвы. Дорогу под колесами перебегали рыжие, горбатые, похожие на сусликов зверьки. Джунгли против солнца казались дубравой, и Кириллова, отдохнувшего за ночь, посетила мгновенная радость — иллюзия иной земли и дороги, где-то под Задонском, в дубах, с песчаной разъезженной колеей, вот сейчас из-за крон возникнут ржавые главы собора, и запылит, зазеленеет палисадниками русский городок. Иллюзия быстро исчезла, но радость не проходила. И он после вчерашнего напряжения дорожил этой необъяснимой нечаянной радостью.

«Джип» продувало ветром. На приборной доске, зиявшей незастекленными пустыми отверстиями, еще виднелась полустертая наклейка с американской девицей. Два вьетнамских солдата, раздвинув колени, выставили в разные стороны автоматы.

— Дорогой Тхеу Ван Ли, — Кириллов стучался на ухабах о твердое плечо офицера, — вы ветеран трех войн. Разгромили трех неприятелей. Видели сверкающие пятки трех

удиравших армий. Наверное, интересную книгу могли бы написать.

— Во Вьетнаме почти каждый мужчина мог бы написать такую книгу,— улыбнулся Тхеу Ван Ли, понимая шутку.— К сожалению, за эти одиннадцать лет я научился хорошо стрелять, но не научился хорошо писать. Когда вернусь домой и отмою руки,— он показал свои сухие, с вьевшейся грязью ладони,— я возьмусь за бумагу и ручку. Нет, не книгу писать. Просто учиться.

— Вы не хотите остаться в армии?

— Признаться, нет. Устал воевать. Хочу поехать в родную деревню, где у меня есть родственники. Хочу жениться. Хочу родить детей. На том месте, где взорвалась американская бомба, я посажу мандариновое дерево. Пусть цветет, пусть дети под ним играют, пусть куры ходят, клюют зерно. На войне, вы знаете, я неплохо изучил моторы. Видел много разных машин, и целых и взорванных. Грузовики, самолеты, вертолеты, танки. И везде меня интересовали моторы. Я ~~знаю~~ много разных марок машин — американских, советских, китайских. Хочу работать механиком по тракторам. Родственники пишут, в нашу коммуну стали поступать тракторы.

— Я вас понимаю. Все так и будет, надеюсь.

Передернуло, колыхнуло воздух прозрачной тугой волной. Вблизи за стеклом над капотом со свистом и воем что-то пролетело, страшно и огненно, вытянув из леса мохнатый клин дыма, лопнуло в стороне от машины короткой вспышкой пламени, оставив чадную, опадающую копоть. Второй молниеносный удар — и похожая на кольчатого дракона ~~вспышка~~, ~~промерцав~~ раскаленным глазом, превратилась у обочины в шаровой взрыв света, машину стукнуло, и шофер, безумно крутанув баранку, развернул «джип» поперек дороги; и ветер от крутого виража и взрывной волны ударил в открытый борт. Тхеу Ван Ли рванулся, растопылив руки, заслоняя собой Кириллова, с силой отталкивая его назад, дальше от леса, помещая себя между ним и зелеными кущами; из которых, тая, расширяясь, тянулись две дымные трассы.

— Базука! — крикнул он, толкая спиной Кириллова, выдавливая его из машины на землю, за колесо, на пыльный грунт. Махнув солдатам, ударил очередью наугад по опушке, нырнул вперед, навстречу трескам, скрываясь в зарослях.

Кириллов на земле, заслоненный резиновыми скатами,

видел «тоёту», съехавшую в кювет, Сом Кыта в позе стар-
тующего бегуна, прыгающих с открытого места навстречу
стрельбе и лесу солдат. Успел осознать мгновенную картину
случившегося: удар гранатометов из джунглей, их промах,
взрывы на безлесном пространстве, бросок вьетнамцев на-
встречу стрельбе и засаде, и вот он один возле «джипа»,
заслоненный колесом и кюветом, из машины торчит ствол
автомата, поодаль Сом Кыт смотрит на него, машет рукой,
издали прижимая его к земле, а в близких перепутанных
кущах — треск стрельбы, чмокнувший взрыв гранаты. Серд-
це его колотится, рту, открытому в испуге, не хватает ды-
хания, и глаза, округляясь в подлобье, приобретают пано-
рамное видение, видят одновременно и небо и землю, про-
странство и сзади и спереди. Страх, слепой и горячий, про-
шел сквозь него, как судорога, вначале стиснув его мускулы
в неподвижные комья, а затем распрямляя их, толкая его
прочь от обочины, в чистое поле, прочь от стрельбы и взры-
вов. Но уже включились иные, контролирующие страх сис-
темы и силы, вновь собирали его в личность. Он выхватил
из машины автомат и приподнялся, чтобы перебросить себя
через шоссе.

Стрельба удалилась в глубь леса. Солдат вокруг не было.
Только в стороне белела рубаша Сом Кыта, он оглянулся
на Кириллова, резким жестом убеждая лежать.

Стрельба гасла, словно лес своей вязкой древесной
жизнью рассасывал энергию боя, и она останавливалась,
замирала в джунглях. Стало тихо. Только что-то чуть слыш-
но звенело — то ли малая птица, то ли чешуйчатая, в при-
дорожных камнях, тварь.

Сом Кыт оказался рядом. Быстро, тревожно оглядел
Кириллова с головы до пят, будто хотел, но не решался
ощупать.

— Надо вот так лежать, — он все-таки надавил на плечо
Кириллова, с неожиданной силой и властью прижимая
его к земле, а сам подымаясь над ним, заслоняя, как вьет-
намец в машине.

Кириллов осторожно снял с плеча его руку:

— Мне кажется, там все уже кончилось.

Из леса, продираясь сквозь заросли, появились солдаты,
вьетнамцы и кхмеры. Держа автоматы, растягивались вдоль
опушки, занимая оборону, готовые стрелять, защищаться.
Следом, под защитой их автоматов, показались четыре
солдата, неся пятого. Двое — за ноги у голых щиколоток
и двое — ухватившись за ткань рубахи у плеч, так что руки

волочили по земле. Во всей провисшей, непружинящей, послушно-безвольной позе пятого была безжизненность. Кириллов еще издали, вглядываясь, понимая, что это убитый, различил в нем Тхеу Ван Ли. Ужасался и тому, что случилось, и своей, как теперь казалось, существовавшей все это время уверенности, что так и должно было случиться: Тхеу Ван Ли будет непременно убит. Тайная, неосознаваемая уверенность, которая вдруг стала явью, обожгла его острой виной: он, Кириллов, предчувствовал его неминуемую гибель, но не удержал, не помешал, а заслонил свою жизнь его жизнью.

Солдаты вышли на дорогу, держа убитого на весу. Тот висел — голова на сторону, пальцы прочертили на земле две пыльных бороздки. Со спины, из-под выпавшей из-под ремня рубахи капала кровь.

— В машину,— сказал солдат, но другие колебались, глядя на кровь, и солдат повторил: — В машину.

Раскрыли створки «джипа». Протолкнули вглубь тело. Оно прошуршало, и солдат, потянувшись, уложил на груди убитого раскинутые руки. Они легли бессильно и гибко, худые в запястьях, с металлическим браслетом часов.

— Надо ехать,— сказал шофер, оглядываясь на близкий лес.— Ехать надо.

— Вы перейдете ко мне? — Сом Кыт смотрел на лежащее в «джипе» тело.

— Нет, здесь,— поспешно ответил Кириллов, не умея объяснить своего желания остаться с убитым, боясь отсечь в себе чувство боли, вины, сострадания.— Я поеду в «джипе».

Они расселись по машинам и тронулись по пустынной, освещенной солнцем дороге, сначала начеку, ошестинившись автоматами в сторону зарослей, когда же поросшие лесом холмы отступили и они выкатили на безлесную сухую равнину, все расслабились, погрузились в молчаливое, в такт езде, раскачивание.

Кириллов смотрел на убитого, на его лицо, белевшее среди солдатских башмаков, чувствовал своим затылком, как бьется на железном полу затылок Тхеу Ван Ли. Эта смерть, мгновенно случившаяся, приоткрыла простой механизм мира, чуть задержанный пологом из солнца, леса, дороги, из живых солдатских лиц,— механизм примитивный, наподобие деревянного винта в ткацком станке. Понимание этого делало бессмысленными все сложные, мучительные усилия, именуемые постижением жизни. Эта простая истина,

к которой он столь внезапно приблизился, делала ненужным ум, делала ненужной душу

В своей жизни он видел убитых, незнакомых и дальних, кого не знал прежде: угодившего под танк пехотинца, вьетнамца на тропе Хо Ши Мина, кампучийцев в освобожденном Пномпене. И тех, кого знал, с кем только что вел разговор: вьетнамскую переводчицу, смешливую и прелестную, чья рука вдруг случайно коснулась в машине его руки, задержалась чуть дольше, и он на ухабах стал искать повторного прикосновения, и тревога «воздух» выгнала их всех из машины, и, лежа в кювете, он искал глазами ее маленькое легкое тело в защитной одежде с красным значком на груди, и пронесся над ними свистящий вихрь самолета, прочертив обочину серией мелких взрывов, и в дымной яме, где только что лежала она, тлели ошметки одежды, висел обрывок с красным значком, словно жизнь ее была вырвана с корнем, унесена у него из-под рук. И тогда после первого ужаса возникло это тихое, похожее на безумие прозрение — простой деревянный винт, заложенный в основание мира.

Но здесь, в машине, это состояние продолжалось недолго и сменилось другим. Он вдруг снова осознал, что эта смерть имела прямое к нему отношение, он — почти причина ее. Тхеу Ван Ли умер только потому, что он, Кириллов, жив. Вчерашним своим появлением в военной палатке, где был радушно принят, где вьетнамец угощал его чаем, уступил свое ложе, поместил вместе с собой в прозрачную сферу света, он, Кириллов, уже поставил его под пулю. Вьетнамец, кинувшись навстречу стрельбе, толкая Кириллова за машину, уступал ему уже не постель и не полог, а свое место в жизни. И что ему делать теперь? Чем благодарить за спасение? И кого благодарить? Как воспользоваться этим, ему предоставленным, для него сбереженным местом? Неужели они доедут сейчас до солдатского поста на шоссе, Тхеу Ван Ли унесут от него, похоронят в красноватой земле, а он, Кириллов, отделенный от него навсегда, улетит в Москву, будет спокойно жить, писать диссертацию, встречаться с друзьями, и не будет в его жизни поступка, не окажется слова и дела, коим он заплатит вьетнамцу за эту жертву?

Растерянно, в муке, он смотрел на близкое неживое лицо, лежащее у его башмаков, не зная, что ответить на эти вопросы.

Но и это состояние исчезло, сменившись другим.

Эта единичная смерть в единичной, не менявшей карти-

ну войны перестрелке входила в ряд бесчисленных, во все времена, смертей — на войнах, на эшафотах, в застенках, смертей, имевших свои объяснения, свои великие или малые цели, своих свидетелей, певцов и поэтов. Постепенно великие цели, именуемые богом, служением царю и идее, распадалась и меркли. Гасли царства, улетучивались религии, исчезали верования. Неужели история, требующая непрерывных жертв, неужели она всего только броуновое движение народов и армий, варевое идей и учений, которые теснят друг друга, уступая место новым? Неужели и эта смерть канет бесследно, ничего не изменив на земле? И живущее в каждой душе безотчетное стремление к благу, желание видеть мир вместилищем этого блага, вера в неизбежное, по крохам, по каплям нарастание этого блага в охваченном бойней мире, неужели эти желание и вера никак не связаны с ведущейся в джунглях борьбой, с его, Кириллова, появлением на этой дороге, с ударами базук из засады, с легким броском вьетнамца в сторону стреляющих куш, с этим неживым, с приоткрытыми губами лицом? И мир, меняющий свои очертания, есть только бесконечно длящийся абсурд?

Сомнение, настигнув его, не найдя немедленного разрешения, ушло, сменилось иным состоянием.

Вот он, Кириллов, в измызанной на локтях и коленях одежде, катится в американском трофейном «джипе» по пустой кампучийской дороге, склонившись над убитым, спасшим его от смерти вьетнамцем. А в этот час на другой половине земли, не ведая о нем, существует Москва, многолюдье ее площадей, его прежние друзья и знакомцы, тот дорогой и любимый мир, который живет два года без него и, наверное, не думает о нем. А он, Кириллов, что-то пропускает безвозвратно, от чего-то навеки отказывается, навеки себя чего-то лишает. Катит по неизвестной кампучийской дороге, тратя еще один невосполнимо единственный день своей жизни.

Так нес он в себе эту смерть, зная, что существует ответ на все невинные, мучающие душу вопросы. Но ответ требует силы и свежести, ясности духа и разума, и не здесь, не теперь станет он отвечать. Откладывая на потом этот близкий, неизбежный ответ, он превращался в прежнюю действующую, наблюдающую, обдумывающую события личность. Стал прикидывать, как добыть вертолет, как добраться до захваченной базы.

Они доехали до магистральной дороги, ведущей в Сиам-реап. У моста находился вьетнамский пост. Кириллов про-

стился с солдатами, последний раз взглянул на убитого, отпуская его от себя, зная, что долг перед ним он уплатит. Пересел в «тоёту» к Сом Кыту. И они покатили в Сиенреап, молчаливые, нацеленные оба на единое, им предстоящее дело.

Целый день, до туманного знойного вечера, они катили мимо сел, пальмовых рощ, рисовых полей с первыми редкими хлебопашцами. То влетали в предпраздничные толпы с флагами, лотками, огромными, из папье-маше пустотелыми куклами. То вновь оказывались среди волнистых отступающих гор, пернатых, млеющих пальм. И день казался нескончаемым, события утра отдалялись, были уже как бы вчерашними. Случившаяся смерть, дымные трассы, опушка с солдатами гасли, заслонялись зрелищами близкого праздника. Надрез, обнаживший вдруг голую кость, смыкался, глаза остывали, и острая боль сменялась, все глуше и глуше, болезненным воспоминанием о ней.

Они въехали в вечерний, красно-солнечный Сиенреап и сразу, не заезжая в отель, посетили вьетнамский штаб.

Их встретил заместитель командующего, маленький мускулистый полковник, крепкий в плечах, с коротким седеющим ежиком, желтыми прокуренными зубами. Яшмовая, с драконами пепельница была полна сигаретных окурков.

— Как прошла вторая половина дороги? — спросил полковник, и Кириллов понял, что о первой половине, о перестрелке, засаде в лесу он осведомлен.

— Доехали без приключений. — Кириллов чуть усмехнулся, зная, что и о второй половине пути полковнику все известно. Вспомнил, как на постах у мостов и шлагбаумов, стоило проскочить их «тоёте», связисты начинали крутить ручки полевых телефонов, и радисты надевали наушники. — Мы с моим коллегой признательны вам за обеспечение безопасности.

Сом Кыт кивнул, подтверждая благодарность.

— К сожалению, у границы все еще возможны инциденты, — сказал полковник, и они втроем, помолчав, безмолвно согласились не касаться случившегося, и видение убитого Тхеу Ван Ли мелькнуло перед Кирилловым и кануло.

— Мы благодарны вьетнамскому командованию за предоставленную возможность посетить боевую часть. — Кириллов взял на себя ведение беседы, зная, что Сом Кыт с трудом говорит по-вьетнамски. Молчаливо испросил на это по-

зволнения кхмера, получил молчаливое согласие. — Мы хотели уточнить, действительно ли база, которую вы вчера захватили, предназначалась противником для политических акций?

— Нам трудно судить об этом, — уклончиво ответил полковник. — Информация очень скудная. Только радиосводка.

— Быть может, для уточнения данных туда пойдет вертолет? — Кириллов чувствовал: полковнику известно все об их пребывании в части, об их намерении побывать на базе, о стремлении получить вертолет. Он ждал их появления в штабе, ждал расспросов о базе. — Вероятно, вы пошлете туда вертолет для вывоза бумаг и пленных?

— Мы избегаем посылать вертолеты в районы джунглей, — ответил полковник. — В прошлом месяце мы потеряли одну машину. У противника появились зенитные ракеты «ред ай». Они действуют ими по вертолетам и низко летящим самолетам. Мы избегаем посылать машины в горы, где нет навигации, нет резервных площадок.

Это не был прямой отказ. Это было осторожное отдаление просьбы, еще не произнесенной. Кириллов, досадуя на свой малый просчет, произнес эту просьбу:

— Мы хотели просить наших вьетнамских друзей позволить нам побывать на базе. Познакомиться на месте с захваченными бумагами. Именно поэтому мы решились потревожить вас вечером в канун праздника, за что приносим свои извинения. Мы просим, если это реально, предоставить нам завтра вертолет для посещения базы.

Полковник молчал. Кириллов чувствовал, что молчание его — лишь вежливость, лишь видимость обдумывания. Ответ был уже заготовлен.

— Завтра, вы знаете, Новый год. И едва ли состоятся полеты. Завтра все отдыхают. К тому же разрешение на подобный вылет может дать только командующий.

— Нельзя ли нам повидаться с командующим? — Кириллов улыбкой старался снять заключенную в этой просьбе известную бестактность. — Может быть, он пойдет нам на встречу?

— Командующий улетел в Пномпень, — сказал полковник. — И вернется не завтра.

Кириллов видел: положен предел разговору. Поднялся, поблагодарил полковника и все же завершил беседу последней попыткой:

— У нас к вам просьба, разумеется, если она не покажется вам очень трудной. Просьба связаться с командующим в Пномпене и изложить наши просьбы.

— Мы постараемся связаться с командующим,— помолчав, отозвался полковник. Встал, пожал им руки.— Желаю вам счастливого Нового года, добра вашим близким, исполнения всех ваших желаний.

— Желаем и вам счастливого Нового года, добра вашей семье и друзьям.

Они покинули штаб, добрались до отеля, огромного ветшающего дворца. Измученные, расстались, разбрелись по душным просторным номерам, помнящим богатых туристов из Америки и Европы, а ныне простаивающим без воды и кондиционеров.

Кириллов разделся и лег. Слышал, как неохотно погружается в ночь азиатский горячий город. Ощущал свое голое, потное, тоскующее по душу тело вместилищем огромной, похожей на болезнь усталости.

И снова мысль его, перебрав весь долгий исчезающий день, окровавленный и простреленный, устремилась в другое, вьюжное время, чудное, снежно-сверкающее, где он был поставлен среди мерцающих звезд и сугробов, и она, его милая, вела его за руку по начертанным на снегу письменам. И чувство, что нынешняя, на моторах и пропеллерах, жизнь не уносит прочь, а, напротив, приближает его к былому, к той, другой, оставленной жизни, это чувство посетило его.

Они стоят на снегах. Лицо его поднято ввысь. Небо над ним выгнуто невидимой тяжестью, давлением живой, напряженной силы. Оно — тончайшая лучистая твердь, колеблемая незримым дыханием. Вот-вот оно распахнет, и откроется чудная, во весь свод, красота, ударит синева, прозвучит и прольется глубокое, к нему обращенное слово. Он ждет, стремится взглядом раздвинуть тугую завесу. Но она гибко колыхнется, не поддается, отделяет его от иного, недоступного знания.

— Идем,— говорит она, берет его за руку и ведет осторожно, но властно.

И он послушно шагает, ставя ступни в ее неглубокие, оставляемые на настe следы.

Далеко за буграми в полях звенит бубенец, пиликает баян, налетают раскаты смеха, взвизги. И он ловит эти родные, ранящие и веселящие звуки, в которых и старинная лихая гульба, и давнишние тоска и рыдания, и далекий гуд невидимого за лесом пожара. И чья-то родная, потерявшая дом душа все колотится ветром в забитые темные ставни, кидается серым волком в овраг, золотится глазами, морочит бубенцом и гармоникой.

— Идем,— торопит она, и он, без собственной воли, весь в ее власти, идет за ней следом.

У края села они спускаются к застывшему ручью, бес-снежно блестящему. Шагают по черному льду, в котором остекленели и замерли пузыри и волнистые струи и запаян хрупкий, золотистый в ночи дубовый листок — знак исчезнувшей осени, остановившееся, остекленевшее время. Он смущен ее волей и властью. Откуда в ней эта настойчивость, сила? Кто ему дал ее в поводыри? Как он связан с ней среди этих ночных горизонтов?

Они идут мимо спящих изб, и он знает — в тепле, в темных срубках, упрятаны: вот в том — однорукий скотник-старик, уставший за день среди коровьих дыханий и переступов, а там — тракторист, вывозивший стога из полей, вечно хмельной и драчливый, с женой, продавщицей сельпо, а там — ветхая беззубая бабка, вдова приходского дьякона, ее полногрудая дочка-бухгалтерша и тонконогая школьница-внучка. А дальше, под белой крышей,— тетя Поля на старушечьей высокой кровати. Он любит их всех, спящих в избах, и предчувствует неизбежное, совместное, его и их, исчезновение с земли, и верит в длящуюся общую жизнь, и знает, что есть нечто, роднящее их, всех живущих, между собой...

— Вот здесь... Мы пришли... Постой...

Они останавливаются у старой кузни под разломанной крышей. Сквозь черные клетки обрешетки он видит, как пульсируют, напряжены небеса, осыпаются изморозью. Из кузни веет ледяным углем, железом, накаленной морозной наковальней, и кажется, в этой кузне были откованы доспехи небес, здесь трудился неведомый искусный работник.

Туманно, стоцветно. Он смотрит сквозь старые колья, призывая кого-то, ожидая ответа на вопрос, который не был задан: он сам со своей молодой, явившейся в этот мир жизнью, он сам и есть тот вопрос.

— Ты слышишь меня? — говорит она. — Ты слушай меня. Слушай, и помни, и знай. Я люблю тебя. И буду всегда любить. Буду всю жизнь беречь и хранить. Буду служить тебе любовью. Когда-нибудь, я это знаю, моя любовь сохранит тебя и спасет. Может, в тюрьме. Или в болезни. Или в безумье. Или на войне. Но когда-нибудь, ты увидишь, когда тебе будет страшно и худо, я приду и спасу тебя. Ты слышишь меня? Ты мне веришь? Ты любишь меня?

Она кладет ему руки на плечи, тянется к нему, белая лицом. И то ли с ее лица, то ли из накаленного неба, из-за

стропил разрушенной кузни, из-за темных елей — бесшумный, молниеносный удар света: пронесся над снегами, селом, над ними, озарил, промерцал и умчался, оставив гаснущий след.

Спустя много лет, когда кончилась пора журналистского ученичества, он приобрел имя, стал спецкором центральной газеты. Выполнял ответственные, связанные с политикой задания, отражал пропагандистские наскоки противника. Реального, живого противника он видел на пресс-конференциях, за коктейлем в журналистском баре, где представители американских, английских, западногерманских агентств, дружелюбные, очаровательные, обменивались с ним словами приветствий, и он отвечал им улыбкой, зная, что за каждым из них числятся десятки отточенно-острых, умно-беспощадных, направленных против его страны публикаций, использующих каждую боль, каждый промах и трудность, атакующих каждый успех и победу. Он видел противника в столицах Европы: штаб-квартира НАТО в Брюсселе, выходящие из машин генералы — и маленький, как свистящий топорик, истребитель британской армии, пикирующий над дорогой в Арденнах. И он видел противника в его яростном, истребляющем действии, атакующего социализм не в газетной статье, не пропагандистским залпом, а грохотом ракет и ковровых бомбежек, эскадрильями «фантомов», взлетающих с палуб авианосцев, превращающих деревни в жаркое пожарище, рисовые поля — в зловонное месиво. Несколько раз он ездил в воюющий Вьетнам, и там наконец его прежний опыт востоковеда, знатока этой пылающей оконечности Азии, слился с журналистской профессией, образовал сплав аналитика и репортера. Серия вьетнамских его публикаций получила широкий отклик.

Он ездил в районы Вьетнама, где американцы испытывали химические военные средства. Джунгли без крон, превращенные в остроконечные, вбитые в небо гвозди, в черный, мертвый частокол. Дохлые, разбухшие на жаре обезьяны, протухшие рыбы в черно-синей, похожей на нефть воде. Безжизненные термитники с ссохшимся комом умерщвленных сцепившихся насекомых. Бесшумный, без пролета бабочки, птицы воздух. И в местном госпитале — кашляющие кровью дети.

Он писал репортажи о зенитчиках, отражавших атаки «фантомов» на стратегический мост. Стальная дуга моста,

пропускавшая сквозь себя трассы бомб и снарядов, грязно-желтые взрывы воды, и навстречу пикирующему, пульсирующему огнем самолету — раскаленные пунктиры зенитных пулеметов и пушек. Под каской темнобровое, в струйках пота лицо зенитчика, выбрасывающего вслед улетевшему самолету маленький, с красной царапиной кулак. Снял каску, и девичьи волосы рассыпались на затылке. Женский зенитный расчет держал у моста оборону.

На тропе Хо Ши Мина, разветвленной, как дельта, под шатром джунглей двигались непрерывно цепочки пеших солдат, вереницы велосипедистов с оружием, подскакивали на ухабах грузовики и пушки. Он перенес ковровую бомбежку, когда в лесу, надвигаясь стеной, превращая небо и землю в одну черно-красную клокочущую завесу, ломился кто-то огромный, слепой, раскалывая деревья, превращая грузовики в щепы, сдувая, сметая людей. Он упал в зловонную лужу рядом с крутящимся пушечным колесом, вдавился в жижу лицом, слыша, чувствуя, как кто-то гигантский прошел над ним, переставляя ухающие мохнатые ноги, провернул в высоте красные, в лопнувших сосудах глазищи.

Вернулся в Ханой, в отель, измызганный и изодранный. Запер номер на ключ. И внезапное, наподобие безумия затмение смяло его. Продолжали взметаться взрывы, бежали и падали люди. Ему захотелось разбить графин с водой, висящий на стене репродуктор. Он чувствовал, как погружается в тьму, и последним усилием сознания, желая уцелеть и спастись, схватился за внезапно мелькнувший образ: старая кузница, сугроб у реки, Вера запрокинула к мерцающим елям лицо, и проблеск молниеносной лазури. Этот проблеск, как малая искра, повторился в ханойском отеле. Воскресил, вернул ему разум.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Утром он проснулся и медленно, не сразу, втягивался в огромность пустынного старомодного номера с альковами, статуэтками, пейзажами в золоченых рамах. Из-за штор косо, бледно сочилось солнце. С металлическим эхом играла музыка. И это мембранное, резонирующее в громкоговорителях звучание породило мгновенную иллюзию московских праздничных толп, поющих на углах репродукторов. И следом — возвращение в реальность. Сиенреап, буддийский Новый год, и вот-вот прикатит машина вьетнамцев и их повезут к вертолету.

Одевался, чувствуя, как ломит тело после вчерашней дороги, неловкого прыжка из машины. На обоих локтях запеклись ссадины, и, сгибая руки, он видел, как треснула корка, засочилась кровью. Запрокинутое неживое лицо возникло и, повинуясь его воле, исчезло.

Дали воду, и он принял душ и побрился. В его запасах оставалась последняя чистая рубаша. Прежде чем ее надеть, он вынул из сумки другую, скомканную, постирал ее и повесил на спинку кровати, зная, что она не скоро просохнет во влажном горячем воздухе.

Вышел в коридор, в полутемный холл в надежде увидеть Сом Кыта, но того еще не было. Администратор отеля, немолодая, с былой красотой женщина улыбнулась из-за стойки печально. На стойку вскочила длиннорукая горбатая обезьяна. Защурилась, замигала на Кириллова, стала грызть ногти. Женщина тронула обезьяну гибкой, еще красивой рукой, снова слабо улыбнулась Кириллову.

Он вышел из отеля, с высокого каменного портала осматривал пустынную гулкую площадь, наполненную пружинно-металлической музыкой. Далеким пестрым пунктиром катили велосипедисты. Вьетнамский патруль двигался в тени пальм.

Сзади кто-то тронул его за локоть. Он оглянулся. Обезьяна, бесшумно подкравшись, вложила свою чернопалую руку в его ладонь. Его поразило это человекоподобное прикосновение сухой горячей руки, в котором было нечто от сочувствия, утешения. словно зверь, наделенный пронизательностью человека, исполнился к нему сострадания. Так и стояли рука об руку. Потом обезьяна, забыв о нем, кособоко покатила по ступеням, мягко, с чуть слышным шлепком скакнула на пальму, тонко заскулила, грозя кому-то невидимому.

Вернулся в номер. И внезапная тоска и потерянности опять охватили его. Слабея, охнув, как от боли, он улегся плашмя на кровать, лежал лицом вверх, стиснув веки, чувствуя ломоту во всем теле, слушая непрерывную азиатскую музыку, все убыстрявшую визжащее яростное колесо. Ему казалось абсурдным пребывание здесь, в этом безвкусно-роскошном номере с неостановимым, необратимым проживанием минут, с которыми он не знал, что поделать. Когда-то, очень давно, его захватила политика, грозные, формирующие сегодняшний мир силы понесли его, он отдал себя их движению, слил с ними свою волю, судьбу. И вот они привели его в этот номер и как бы на время оставили, отлетели. Смотрят на него, выжидают: что станет он делать, отпу-

щенный на свободу, лежащий навзничь на скомканном, из китайского шелка, покрывале, на лазоревых птицах, цветах? Как воспользуется этой свободой?

Ну что ж, он ею воспользуется. Как нормальный, выполнивший свой долг человек. Он сделал, что должен был сделать, и может теперь вернуться. Его стремление добраться до базы — просто большая инерция вовлеченного в гонку сознания. Род психоза, которым он болен давно, добывая, разыскивая, накапливая бесконечные сведения. Они, эти сведения, увеличивают непомерно свой груз, но не приводят к простому ясному знанию, не приводят к истине, объясняющей жизнь. И надо прервать эту гонку, прервать накопление сведений. Повернуться вспять. Тем более что нет вертолета. Нет и, конечно, не будет. Надо найти Сом Кыта, поздравить его с Новым годом и пуститься обратно в Пномпень, где Вера, самолетный билет, близкое возвращение домой, туда, где смысл его бытия, где оставлено время на последние, важнейшие в жизни усилия: понять, кто он есть? Зачем родился и жил? Зачем дана ему Вера? Зачем было Троицкое? Надо, помимо всяческой информации, помимо накопленных сведений, понять, что есть жизнь, данная ему то светом, то бойней, то любовью, то великим унынием, то Россией, Кремлем, то душными джунглями, зрелищем разгромленных пагод.

Он чувствовал, что в состоянии подняться и тронуться в обратный путь. И никто ему не будет судьей. Сейчас от него самого зависит выбор решения. Он сам себе архитектор. Сам себе судья.

И он лежал, чувствуя сквозь веки бледное жидкое солнце, без прошлого и без будущего, на шаткой ускользающей грани личной свободы и воли, не умея ими воспользоваться.

Он вдруг почувствовал: в комнате кто-то есть. Открыл глаза — никого. Снова закрыл. И снова ясное ощущение, что комната его не пуста, что в дальнем, полутемном углу присутствует кто-то и наблюдает за ним. И этот кто-то — она, его Вера, в их московской квартире, сидит на диване с ногами в его кабинете, смотрит, как он работает. Ее долгий спокойный взгляд не мешает ему. Он любит, чтоб она вечерами сидела в кабинете, читала, вязала, пока он не устанет и они не пойдут перед сном на прогулку. Молодой снег сыплет в синеве фонарей, пронзаемый лакированным блеском машин. У Каляевской в маленькой булочной они купят теплые бублики, пойдут по улице Чехова, ломая обсыпанные маком кругляки, поедая их вместе со снежинками. Памятник Пуш-

кину с проносящимися над его головой электрическими буквами на крыше «Известий», у подножья, на свежем снегу, краснеет гвоздика. Тверской бульвар сцепил в высоте голые ветки с притихшими сонными галками. Особняки, решетки в снегу, голубой в водостоках лед. Минуют огненный проруб Калининского проспекта, белую Кропоткинскую, дымно-розовый пар бассейна. Проходят любимый свой путь до ленивых льдов на реке, до морозной рекламы «Ударника», и если оглянуться — Кремль воспарит в ночной позолоте, и они, шагая обратно, глядят на дворцы и соборы. Днем в Александровском саду обрезали деревья, и она подняла отсеченную веточку тополя. Принесла домой, поставила в воду, и ветка распустилась, наполнила зимний его кабинет горько-миндальным запахом. Весной она высадила тополь во двор, ухаживала целое лето. Тополек прижился, вырос. Она говорила: под старость сядет под этим тополем, вспомнит прогулку, бублики, гвоздику у Пушкина, Кремль и их, молодых, гуляющих по зимней Москве.

Открыл глаза. Дальний угол с золотистыми сумерками. Никого. Но все еще длился, чуть струился по комнате исчезающий запах мороза и горькой тополиной ветки.

Медленно встал. Тело болело, но слабость души прошла. Сомнение его миновало. Он одолел свою слабость, один или с помощью Веры, но дух его, потемневший на шаткой грани свободы, снова был в несвободе — в служении, в деле. На спинке кровати, под выстиранной рубашкой, словно укрошенный ею, с маленьким красным зевом, извивался дракон.

В дверь постучали. Вошел Сом Кыт, торжественный, в нарядной рубашке.

— С Новым годом, — сказал он, улыбаясь Кириллову, кланяясь ему от порога. — Я пришел вас поздравить. Пожелать вам, дорогой друг, здоровья, исполнения ваших желаний, благополучия вашим близким.

Он достал из нагрудного кармана, протянул Кириллову перламутровый инкрустированный ножичек на цепочке. Тот, растроганный, принял подарок. В ответ, поздравляя, достал из сумки новую, с золоченым пером паркеровскую ручку, одарил ею Сом Кыта. Оба стояли, держа подарки, улыбались друг другу.

— От вьетнамцев вестей никаких? — спросил Кириллов.

— Я был в провинциальном комитете, звонил к вьетнамцам. Вестей никаких.

— Думаю, они свяжутся со своим посольством в Пномпене и в конце концов пойдут нам навстречу.

— Сегодня едва ли нам дадут вертолет. Я вызвал машину. Мы можем поехать в Ангкор. Через несколько минут, — он взглянул на часы, — будет Новый год. Будет салют.

Они вышли из отеля на каменный подъезд. Их «тоёта» белела у самых ступеней. Шофер и солдаты козырнули им, приложили ладони к фуражкам. Площадь была пустой, и только вьетнамский патруль двигался в тени пальм.

— Ну вот сейчас, — Сом Кыт следил за секундной стрелкой. — Сейчас — Новый год!

И в ответ вдали, за деревьями, за красными черепичными кровлями прозвучала слабая очередь. Ей откликнулась другая, погромче. В разных концах города застрекотало беспорядочно, часто. Стрельба усиливалась, охватывала кольцами город. Над мохнатыми деревьями полетели пульсирующие колющие трассы, зачертили небо, зашипели сигнальные, бледные на солнце ракеты. Весь город сотрясался, трескался, лопался от очередей, словно катились уличные бои. Рассыпанные гарнизоны и патрули палили яростно в небо в честь наступления буддийского Нового года, и близко над пальмами, оглушая, ударила трескотня, — это вьетнамцы, подняв автоматы, разряжали свои магазины, издали улыбались, кивали им, стоящим на ступенях отеля. Солдаты-кхмеры выскочили из «тоёты» и в два автомата, вбирая головы в плечи, по-мальчишески блаженно грохнули подряд несколько очередей, рассыпая гильзы, окутываясь дымом. Кириллов, оглушенный, затыкая уши, смеялся, глядя на Сом Кыта, и тот смеялся, а город свивал над собой букеты красных и зеленых, медленно парящих ракет, чертил молниеносные перекрестия автоматных и пулеметных трасс. Реже, реже — и смолкло. И вынеслись велосипедисты и дети, и площадь запестрела женскими длинными одеждами.

Они сели в машину, покатали по шумному, жаркому городу к окраине, к зеленому огромному лесу, к Ангкору.

Он знал Ангкор издавна, по хрестоматиям и альбомам. Издалека мечтал о нем, изучал, стремился к нему, связывая с его образом характер страны и культуры. И читая сводки о боях под Сиенреапом, он с болью представлял минометные взрывы, выкалывающие из черных стен барельефы царей и героев, автоматные трассы среди сумеречных ниш с каменными буддами. И пугался, и страдал, и стремился увидеть Ангкор.

Теперь, проехав по зеленой аллее, он вышел из машины и был поражен громадой сумрачного ступенчатого храма, растолкавшего джунгли. Коссе, воронкой ввысь, расходив-

лось небо. Падали из-за туч синие лучи. Храм словно приземлился с неба, как огромный инопланетный корабль — тяжкий, геометричный, инженерно сконструированный, переполненный ношей. На бесчисленных барельефах кишели люди, звери, растения, изделия рук человеческих, инструменты, оружие. И казалось, это из него, приземлившегося, выпалились на землю семена цветов и деревьев, превратившись в окрестные джунгли, изверглись звери, птицы и рыбы, населив небеса и воды, и люди построили свои города по образу и подобию Ангкора, избрали себе царей, затеяли войны, труды, моления, повели исчисление времен, начали историю царств. Весь мир вышел из этого огромного каменного лона, здесь заложены программа конца и начала бытия. Каменная, мощенная плитами, огражденная резными перилами дорога уводила к храму через наполненный водой, заросший лилиями ров. На перилах, на львиных и драконьих башках стоял ручной пулемет, и солдат-кампучиец в протершихся кедах, опершись локтями о камни, пропустил их.

Они шли с Сом Кытом к медленно приближавшейся рукотворной горе. Под ногами у них, на плитах, извивались резные травы, струились звериные и рыбы тела, и казалось, они движутся среди кишашей, шевелящейся жизни.

Они осматривали храм. Долго, бесконечно шагали в прохладных галереях, излучавших льдистое, исходящее из плит свечение, мимо высеченных барельефов, где клубящимся непрерывным напором скакали кони, ревели боевые слоны, сражались враждующие армии, падали в прах города, казнили пленных и мучеников, венчали триумфаторов, пировали, любили, строили ладьи, пускались в охоту и рыбную ловлю, молились, затихали на смертном одре, кружились бесплотными душами среди светил и галактик.

Он погружался не глазами — душой в бесконечные жития. Касался гладкого, то блестящего до черноты, то красноватого камня, ощупывая, как слепой, то голову молодого царя, то хобот боевого слона, то грудь танцовщицы. Тела, казалось, были выточены из метеоритных камней, покрыты ржавыми, из космоса принесенными окислами, отшлифованы ревушим огнем, сотворены не земным мастерством, а в иной, небесной гранильне.

Он быстро устал. Понимал, что свидание с храмом слишком коротко. Что за эти минуты ему не обнять заложенный в сооружении смысл. Но не жалел об этом. Когда-нибудь после, в другой земле, ему явится видение храма, и смысл себя обнаружит.

Они обошли галерею с маленькими полуразбитыми буддами, лишенными рук и голов. По изглоданным, покосившимся ступеням они поднялись на самую высь, и он, задыхаясь, с ухающим сердцем, с кружащейся от духоты головой, смотрел на сумрачно-золотую, истрелянную пулями статую, а в округлом проеме позади нее, как в иллюминаторе, синели озера, леса, летели птицы, дышали пашни, и Будда, словно пилот в золоченом скафандре, вел свой громадный корабль.

Осмотрев Ангкор, они побывали в соседнем Байоне. «Улыбающиеся горы», — думал он, глядя на огромные мягкогубые лики, высеченные на черных утесах. Там, среди горячих, шуршащих осыпями изваяний, он видел змею, стеклянно скользнувшую в трещину. Маленький зеленый кузнечик прыгнул ему на рукав, спокойно сидел, двигая прозрачным хлорофилловым тельцем. Кириллов, несмотря на усталость, пережил давно не посещавшее его чувство единства человека, камня и твари, сочетаемых, согретых общим для всех, бьющим из-за тучи лучом.

Они вернулись в отель. Войдя к себе в номер, Кириллов почувствовал себя столь уставшим, что, едва раздевшись, ухнул на кровать и уснул.

Проснулся в сумерках с легкой, как в юности, и прозрачной веселостью. Лежал в темноте, пока не услышал приближающиеся шаги Сом Кыта. Поторопился подняться, застегнуть рубаху, пригладить волосы.

— Входите, дорогой Сом Кыт. — Он зажег свет, почти с нежностью глядя на знакомые, смугло-строгие черты кхмера. — Какими известиями вы порадуете меня на этот раз?

— На этот раз, — улыбнулся ему Сом Кыт, — я хочу сообщить вам, что нас ждет новогодний ужин. Полагая, что за время поездки вас могла утомить азиатская пища, я на свой риск заказал европейскую кухню. Стейк и овощи. Надеюсь, я вам угодил.

— Я тронут, дорогой Сом Кыт. Вы вспомнили, что я европеец, в то время как сам я об этом стал забывать. Стал забывать и о том, что в сумке у меня прячется еще одна бутылка водки. И как бы мне хотелось, чтобы вы, дорогой друг, изменили своей обычной привычке и в честь Нового года выпили со мной за компанию.

— Должен вам сказать, — улыбнулся кхмер белозубо, — за эти нелегкие дни я понял, что мне нравится наша компания. Я выпью немного водки.

Они ужинали одни в пустом, огромном, печальном зале

с запыленными зеркалами и люстрами. Официант, облаченный в лежалый белый жилет, прислуживал им с выражением грусти, давая понять, что в прошлом его услугами пользовались великие люди. Но эта чопорная грусть на лице официанта и их одинокая трапеза, отраженная в десяти зеркалах, только веселила Кириллова. Тем более что горячее кровавое мясо розовело на тарелке, пестрели наклейки на бутылочках с соусами, кудрявились листья салата.

Он налил в рюмки водку.

— Дорогой Сом Кыт, что пожелать вам в этот первый вечер Нового года? Выскажите свои пожелания, а я буду просить судьбу, чтоб она помогла им осуществиться.

Сом Кыт поднял рюмку и очень серьезно, не замечая легкой иронии в словах Кириллова, произнес:

— В этот первый вечер Нового года у меня нет личных желаний. У меня вообще не осталось личных желаний. Все мои желания связаны с судьбой моего отечества. Пожелаем ему, и вы и я, отдохновения в мире, урожаев на полях, младенцев в семьях. Пусть в Новом году тьма еще дальше отступит от его границ и порогов, от сердец и помыслов его сыновей. Ведь именно к этому мы с вами оба стремимся. За тем и пустились в дорогу. Если вы мне позволите, пожелаем в этом Новом году счастья моей дорогой родине.

Они чокнулись, выпили во благо стране, шумевшей за шторами ночным гуляньем, мерцавшей развешенными вдоль палм цветными фонариками.

Ему было хорошо сидеть за чистой скатертью, есть вкусное мясо и пьянеть, глядя на торжественное лицо Сом Кыта.

— Дорогой Сом Кыт,— сказал он, испытывая умиленное чувство.— Я рад, что судьба нас свела. Мы многое пережили за эти дни. Поверьте, я дорожу вашим обществом. Эту поездку я никогда не забуду.

— В свою очередь, отвечу вам встречным признанием. Все эти дни я наблюдаю, как вы работаете, как не щадите себя. Я знаю, уже теперь вы бы могли пожелать вернуться в Пномпень. Ибо цель поездки достигнута. Но вы остаетесь, несмотря на усталость, несмотря на то, что вас ждет жена, ждет близкое возвращение на родину. Поверьте, я это очень ценю. Я учусь работать, глядя на вас. Я многому от вас научился. Так и должен работать настоящий журналист и политик.

— Ну какой я политик, Сом Кыт! Я — ученый! И скоро, обещаю вам, вернусь в Москву, к моей любимой библиотеке, к письменному столу, к моей диссертации. Если бы вы знали, как я хочу в Москву!

— Есть сведения, я поделюсь с вами, есть некоторые намеки на то, что меня могут послать на дипломатическую работу в Москву. Быть может, третьим секретарем посольства.

— Сом Кыт, да за это же надо выпить!

— Хочу вам сказать, что по возвращении в Пномпень буду счастлив принять вас с женой в моем скромном доме.

— С удовольствием приду! А когда вы с супругой приедете жить в Москву, я приглашу вас к себе. Поверьте, у нас будет много прекрасных вечеров в Москве!

— Вот за это и выпьем, за Москву!

И они выпили за красно-седые башни, и желто-белый, целомудренно-чистый дворец, и за диво Василия Блаженного.

— А теперь мы погуляем, не так ли?

Они медленно шли в толпе по переполненной улице. Кириллов чувствовал хмель, чувствовал жар от бесчисленных встречных лиц, освещенных гирляндами огоньков. Испытывал безотчетное, непрерывно длящееся блаженство. Женщина с лилово-черными волосами и приколотым к блузке цветком встретила с ним глазами, улыбнулась, почувствовав его состояние. Двое юношей проводили его долгими взглядами, оглянулся — они все еще смотрели. Солдат-кампучиец, без оружия, пил сок, опустил стакан и посмотрел на него. Он радовался, что замечен ими, что их лица обращаются к нему, следят за ним, и мимолетно, с каждым, делился своим блаженством.

Рыночная площадь клокотала толпой, взрывалась возгласами, свистом, озарялась прожекторами, множеством масляных мигающих светильников на лотках и колясках. Люди ели, пили, брели, бежали, скакали, свивались в хвосты и очереди, в жужжащие пчелиные сгустки. И вид веселящегося люда, не помнящего прокатившихся бед и потерь, отзывался в Кириллове жарким желанием продлить их праздник, заслонить их собой, защитить.

— Как хорошо, Сом Кыт! Как хорошо!

— Да, хорошо!

В центре площади были устроены аттракционы. Народ густо окружил место игрищ, ликовал, стенал, замирал, снова охал и голосил наивным восторгом, наивным огорчением и радостью.

Их пропустили вперед, кивали, кланялись, вовлекали в игру. Они оказались перед дощатым белым щитом, на котором карикатурно, аляповато были нарисованы фигуры

Пол Пота, Лон Нола, Сианука и дяди Сэма, и Кириллов вспомнил художника из Баттамбанга: его искусство жило, веселило, работало.

В руки им вложили по два пернатых заостренных дротика, и Сом Кыт, прицелившись, ловко, точно послал их в Пол Пота, пронзив ему лоб и жирную, исколотую другими попаданиями грудь. А Кириллов, неумело, неловко метнул свой дротик и оба раза промахнулся.

Тут же, в соседнем скопище, они наблюдали народную игру, протекавшую в деревянном, похожем на просторную кадку загоне. В стенках кадки были выпилены круглые норки, кончавшиеся сетками, как бильярдные лузы. За пределами кадки стояла плетеная корзина с живыми крысами. Хозяин игры длинным сачком выхватывал из корзины крысу, помещал ее посреди кадки, накрывал колпаком. Играющие выбирали каждый свой номер, делали ставки, сыпали на поднос бумажные деньги. Хозяин снимал с испуганного, сжавшегося зверька колпак, и крыса, ослепленная светом, оглушенная гамом, сидела, мигала, шевелила усами. Толпа начинала свистеть, улюлюкать, кидать в крысу щепки, и та испуганно металась и рыскала по загону, пока не толкалась в лузу, ныряла в нее, билась, запутавшись в сетке, а толпа ревела, как в Колизее, и счастливцев, гордый победой, собирал с подноса бумажный денежный ворох.

Им предложили сыграть и в эту игру, но они отказались. Гуляли, ели сласти и к полуночи, усталые, разморенные, вернулись в отель. У портала в тени от колонн они заметили военный «джип». В холле из низкого кресла поднялся офицер-вьетнамец. Отдал честь. Поздравил с Новым годом. Сообщил, что из Пномпеня получена телеграмма командующего и завтра утром их ждет вертолет.

Они простились с вьетнамцем. Потом друг с другом, до утра. Кириллов вошел к себе в номер, отрезвленный, точный и ясный. Собрал свою сумку. Медленно разделся и лег. Сегодняшний день еще трепетал и звучал за шторами. Но был уже пройден и прожит. На завтра был назначен полет.

Они идут по деревне к избе торопливо, почти бегом, он впереди, она сзади. Он не оглядывается, но знает — она боится отстать, и боится идти, и идет, и уже не отстает, и пойдет, куда он захочет, и он чувствует и ее страх и свой собственный — вдруг отстанет и это теперь не случится? — и знание, что оно непременно случится.

На дороге блестят замерзшие водяные капли. Сверкает

втиснутый в лед тракторный болт, тот, что утром краснел на заре. Все видно ярко, остро в ночи, и их влечет бесшумная, неодолимая сила.

Изба. Проискрил на сугробе след, оставленный его утренней лыжей. Колющее плетение шиповника. На носках, чтобы не скрипнула на крыльце половица, не стукнула щеколда, пробираются в сени, в запах осиновых невидимых дров. Нащупал дверь. Душный, жаркий, темный дух дома. Оконца, тусклое сияние стекол. Старушечье, чуть слышное дыхание на высокой, в темном углу, кровати.

В шубах за занавеску, за перегородку, где тесно, бело от печи. Голубое, мерцающее льдом оконце. На печи колючая тень от шиповника. Сняли шубы. Ее темный пушистый свитер. Взмахи рук. Электрический треск волос, полыхнувшая на воздетых руках зарница. Красно-черное в темноте, тяжелое одеяло кровати.

Лежат близко, не касаясь друг друга, отдалившись друг от друга, закрыв глаза. И сквозь закрытые веки, сквозь все запреты и заповеди — медленное приближение друг к другу, без слов, одним дыханием, одним шевелением губ, скольжение, влечение друг к другу, падение с ледяного наката в сверкающую бездну. И нет избы, и длящийся молниеносный полет над снегами, лесами к далекой краснеющей точке, к малой багровой бусине, к красному тугому бутону, из которого вдруг вспыхнул алый огромный мак, превратился в шар красного света, и он, раскрывая глаза, ослепленный, в слепоте прозревает свою жизнь, свою смерть, свое избавление от смерти, свое, во веки веков, пребывание с нею, с любимой. Погасло. Он возвращается в крохотное пространство избы. Ночь. Рядом она, его милая.

В черном небе латунная лента. Пальма, черная на заре, со страусиным плюмажем. «Джип» у подъезда. Капли воды на капоте, желтые, как мандариновые брызги.

Вьетнамский офицер, аккуратный, в портупее, козырнул Кириллову и Сом Кыту. Принял вещи. Оглядывался с переднего сиденья, когда проносились по пустынному городу. Любезно отвечал на вопросы. Да, их штаб связался с посольством. Да, видимо, это указание посла и командующего. Да, на базу вместе с ними полетит начальник разведки.

Аэродром был в легчайшей золотистой дымке, словно окутан пылью цветущих трав и деревьев. Они прокатили по бетону мимо военных транспортов, белесых старомодных истребителей, разрушенного двухкилевого американско-

го бомбардировщика. На дальнем конце, одинокий, отточенный, темнел вертолет.

— Начальник разведки,— представился им невысокий, с седыми висками вьетнамец, в кителе без знаков различия, с кобурой и фотоаппаратом.— Экипаж готов. Можно лететь.

— Мы признательны командованию за предоставленную нам возможность.— Кириллов пожал вьетнамцу руку, глядя не в лицо, а мимо, на поле, где расхаживал с карабином охранник.— Должно быть, вы что-нибудь знаете о базе?

— Мы знали о ее существовании прежде. Долго ее искали. Она тщательно маскировалась. Мы засекали ее по передатчику. Несколько раз на короткое время он выходил в эфир. Мы послали на захват базы специальные части. Теперь она наша.

— Вы намерены вывезти пленных с базы?

— Да, бумаги и пленных. Вы бы, конечно, могли ознакомиться с ними и здесь, в Сиенреапе, или даже в Пномпене. Но вы предпочитаете лететь.

— Мы полагаем, что оперативней все увидеть на месте.

— Как вам угодно. Командующий дал разрешение.

— Еще раз спасибо. А сколько мы будем лететь?

— Часа полтора.

— Спасибо.

Они уселись в вертолет на железные лавки. Тут же, укрепленная обручами, стояла оранжевая стальная цистерна с горючим. Лежали на полу два автомата. Пилоты захлопнули дверцу, запустили винты.

Их пронесло над бетоном, и Кириллов в иллюминатор успел разглядеть над собой ширококрылую, лениво сносимую птицу. Взмыли над пальмами, и блеснуло огромное озеро, словно приподняли над землей металлический лист, послали вслед вертолету бесшумную вспышку.

Вдруг возник Ангкор, обнаружил свой каменный, раздвинувший джунгли четырехгранник. И Кириллов, прижимаясь к стеклу, смотря на проплывающий внизу храм, представил, как сидит золоченый простреленный Будда, представил себя, вчерашнего, с зеленым кузнечиком на рукаве. Струнка шоссе натянулась и лопнула. И он вспомнил, как день назад мчался по дороге и где-то здесь укрывалась засада, был бой. В красноватых полях, над которыми они пролетают, лежит засыпанный Тхеу Ван Ли, тень вертолета скользит по его могиле. Но поля и дороги исчезли, и за клубились внизу зеленые волнистые джунгли, то с провала-

ми горных долин, наполненных синей мглой, то с золотистыми, освещенными солнцем вершинами.

Вначале он зорко смотрел, стремясь различить тропы идвигающиеся цепочки солдат, вспышки и дымки перестрелок. Но леса тянулись непрерывно и плотно, поражая обилием нечеловеченной первобытной природы, в которой нет места людям, а господствуют стада слонов, обезьян, таятся проглоченные джунглями храмы, следы погибших, побежденных природой цивилизаций. Он старался сосредоточиться на этих мыслях, но они скоро утомили его, и он стал осматривать вертолет, оранжевую цистерну с топливом, лежащие на полу автоматы. Обнаружил, что на одном из его башмаков начинает отставать подошва. Попробовал ее, она еще держалась, но грозила вот-вот отвалиться.

Его толкнуло спиной о шпангоут, и в толчке, в круговом, наклонившем вертолет вираже, увидел падающего на него с противоположной лавки начальника разведки, его растопыренные руки, и Сом Кыта, ухватившегося за ремни.

Машина выровнялась, заревела надсадно, продолжала горизонтальный полет. Начальник разведки метнулся к кабине, и один из пилотов снял шлемофон, слушал его сквозь гул, что-то отвечал ему в ухо.

Вьетнамец появился через минуту, растерянно наклонился к Кириллову:

— Горим!..

В правом иллюминаторе виднелось бледное мелкое пламя. Перьями налетало к стеклу, пропадало, и вместо него тянулись синие волокна дыма. Пламя вновь возникло, злее и ярче, и откуда-то сверху, как в дождь, западали огненные тягучие капли.

— Горим! — снова не крикнул, а бесшумно, сквозь вой винтов, произнес начальник разведки.

Вертолет выл металлически и трескуче. Кириллов, отшатнувшись от обшивки, смотрел сквозь бледный наружный огонь на джунгли, не пугаясь, оцепенев, не давая места страху, не давая пространства никакому другому чувству.

Вьетнамец снова навис над ним седовласым лицом:

— Топливная система!.. Горючее!.. Будем садиться!.. Ищут место посадки!..

Вертолет снижался. Джунгли толпились внизу сплошным плотным войлоком. Зеленые, сквозь дым и красноватые огни они казались лиловыми, как через светофильтр. Он подумал, что вертолету для посадки нет места и придется садиться прямо в деревья. Представил удар в металличе-

ское брюхо машины, ломающиеся вершины, хруст отсекаемых сучьев, скрежет и скрип металла.

Он поднялся, чтобы перейти к другому, бездымному борту, но из пола, снизу, из невидимых щелей ударил огонь, охватил нутро фюзеляжа, пропал, брызнул едкой, бескопотной вонью и снова возник, свистя и треща, окружив их всех, заслоняющих лица локтями, приседающих, стремящихся вырваться из обжигающих обручей.

— Бочка!.. Взорвемся! — крикнул вьетнамец.

Отталкивая его, из кабины набежал на огонь пилот, упав на колени, что-то делал у бочки, перекрывал какой-то вентиль, напрасно, как казалось Кириллову, и бессмысленно.

Огонь почти пропал, но брюки его горели, и ногу вдруг обожгло и ужалило. Он стал бить по прожженной ткани, сшибая огонь, превращая его в тлеющие угольки.

И эта боль, и вид своей тлеющей одежды, и забившийся в кашле Сом Кыт, и начальник разведки, вместе с летчиком что-то творивший в дыму, и вой металла, и ожидание, что сейчас, сию минуту они умрут в огромной бесшумной вспышке, расшвыривающей их в небесах, осыпающей их горячей рухлядью на землю, — все это родило в нем мгновенный, черно-белый испуг, превращая весь мир в негатив. В сотрясенной душе было только страстное нежелание смерти, страстное отрицание гибели. Но приблизилось на тонком луче, возникло иное знание. Знание о единстве и разумности мира, о возможности в нем — сквозь гибель и смерть — добра и спасения. Возможности победы в борьбе, в той, в которой сложил свою голову отец в сталинградской степи и вьетнамец в стреляющих джунглях.

Распалась оболочка реальности, рассыпался металлический короб, и в избу в отворенную дверь, с облаком пара, давя на перламутровые кнопки, краснея подолами, лицами, ввалилась ликующая толпа, и родной, как дух, высокий, как спасение, голос запел: «В о-острова-а-ах охо-о-отник!..»

Это длилось мгновение и кончилось. Снова был вертолет. Огонь, треск обшивки. Внизу открылась поляна с одиноким деревом, и на поляне под деревом и дальше, запрокинув лица, стояли люди в военном.

«Свои? Чужие?.. Что теперь?..»

Он прижался к стеклу, глядя вниз на поляну. Горящий вертолет, свистя лопастями, шел на посадку.

Афри- ка- нист

роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Близко, у лица — солнечная резная трава, земляничина, кудрявый цветочек. Выше — горячие смоляные вершины, синева, облака. Он прижимается к теплой земле своим гибким счастливым телом, скользит, раздвигает стебли. Смотрит туда, где бабушка сидит на пенечке, беловолосая, в белой шляпке, держит раскрытую книгу. Ее лицо, родное, серьезное, отражает и лес, и траву, и небо. И он движется на это лицо в снопе напряженного света, в луче от нее к нему. И в этом луче столько любви и нежности, их неразрывность, совместная жизнь на земле. Он крадется к бабушке, моля, чтоб она не заметила, продолжала читать. Но столь сильно напряжен его дух, столь зорко нацелен зрачок, что бабушка чувствует его приближение, отрывает от книги глаза. Оглядывает траву и поляну, отыскивает его. Глаза их начинают встречаться, а его относит, отдаляет, переворачивает, словно поляна насажена на незримую ось, и бабушка пропадает, проваливается, заслоняемая поднятой дыбом землей. И он с громким вскриком, не в силах ее удержать, испытывает такое страдание, такую безнадежность, понимая, что все это сон, и бабушки нет давно, и нет давно той поляны. И это прозрение во сне переходит в пробуждение, в явь, в сердечную боль. Пустой гостиничный номер. Сумрачная с пологом ниша, в которой свертывается, исчезает пространство сна, где еще дрожит и мерцает нечто любимое, гаснущее. Лежал, опрокинутый. Глаза его были в слезах.

Бобров медленно, принуждая себя, поднялся с кровати. Почувствовал голым плечом прохладный язычок кондиционера. Вяло, утомленно прошел босиком по мягкому, устиланному номер паласу. Тускло отразился в зеркале, избегая отражения, не желая видеть свое длинное худое тело. Приблизился к гардине, пропускавшей жидкое сумрачное свечение. Медлил, ухватившись за ткань, вдыхая сладковатые запахи пластиков, вянувших эфирных растений и одорантов. Дернул, сдвигая гардину. И огромный, сине-сверкающий удар океана бесшумно толкнул его в грудь. Выгнутая сферическая поверхность воды надвинулась на него, пронесла близко, у самых окон, черно-красные контуры рудовоза. Корабль удалялся, оставляя негаснущую темно-голубую дорогу, и вдали, на разном приближении белели еще корабли. Он стоял, залитый слепящим светом, забывая, отпуская от себя сновидение, врезаясь в новое утро. Африка. Столица Мозамбика Мапуту. Вид из отеля «Полана».

И этот переход от внутреннего, сумеречного объема сна к внешнему, ослепительно выпуклому, был точно и цепко им зафиксирован. Быть может, именно так и начнет свой фильм — этим сном, пробуждением. Еще одно, очень личное, случайно пережитое чувство, которое выхватит из себя, превратит в образ, выставит на всеобщее обозрение. Будущий фильм, еще не созданный, созидался в нем поминутно. Выстраивался, осыпался. Все было важно, все шло в накопление. Исследовал внешний, незнакомый, пугающе новый мир и свое в нем присутствие.

Накинул на голые плечи халат. Вышел в прохладный, гасящий шаги коридор. Обменялся кивками с молчаливым служителем. Мимо закрытого застекленного бара, мерцавшего медью и никелем, направился к выходу. И снова слепящий свет. Белоснежный, старомодно-громадный фасад отеля. Глянцевитые пернатые пальмы. Плотная зелень газонов, и на ней, белой графикой, стулья и столики с витыми ножками, спинками. Садовник брызжет из шланга на куст, колеблет отяжелевшие цветы. Бирюзовый бассейн с двумя секущими воду пловцами.

Он стоял, мысленно превращая белизну отеля, деревья, овал бассейна в съемочную площадку. Смотрел на все это взглядом режиссера, взглядом будущего зрителя, взглядом еще не существующего героя. Он сам и был тот герой, носил его личину и роль. Создавал себя поминутно из мгновенно возникающих зрелищ. Он как бы разделялся, раздваивался. Шел впереди самого себя. Одна его сущность, открытая

новому опыту, доверчиво и наивно шла вперед. Другая наблюдала за первой, осторожно и пристально. Следила за ее превращениями. Таков был метод работы. Метод создания героя.

Бобров стоял среди полосатых зонтиков в липко-бархатной духоте, чувствуя колебание невидимой небесной мембраны. Океан и небо, прозрачные и пустые, пульсировали, меняли давление, и его сосуды и сердце страдали, улавливали приближение далекого шторма.

Фильм, который он собирался снять, был о советском ученом-африканисте, приехавшем в Мозамбик, где в буше проходили сражения. Шла еще одна «необъявленная война». Молодая республика отбивалась от вторжений ЮАР. И ученый, затевающий новую книгу, добывал ее в зоне боев, в зоне мучительной, охватившей весь мир борьбы. Был свидетелем этой борьбы, летописцем. Выхватывал идеи и знания из раскаленной, ему открытой реальности.

Этот образ, едва намеченный, был еще неясен Боброву. И он, режиссер, здесь, в Африке, стремился понять своего героя, стать им на время. Исследовать тот огромный, грозный театр, в котором действовали народы и армии, идеологии и социальные системы. Ту действительность, что еще недавно казалась далекой от его московского дома, от прежних его картин. Его герой, как и сам он, москвич, испытал на себе непомерное давление века. Изучал рассеченный надвое мир. Стоял на краю расширяющейся, расколовшей мир трещины.

Бобров в своем стремлении все это понять чувствовал себя неопытным, даже наивным. Так было всегда — в начале нового фильма. Но был упорен. Копил драгоценное знание.

За парашютом, под зеленым спуском, по набережной мчались машины. Разбивался о гранит вал океана. Белый корабль мягко подплывал по синей шелковой полосе. Бобров, болезненно щурясь, сжал веки, превращая океан и корабль в фиолетовый негатив, ощущая закрытыми глазами жгучую радиацию неба, бесшумно пронзавшую его плоть непрерывными летучими вспышками. Одолевал свою слабость и обморочность. Пошел к бассейну.

Два англичанина, оба инженеры-нефтяники, прибывшие в Мозамбик по контракту, буравили бирюзу, методично, остро вонзались руками, расталкивали воду ногами. Бобров сбросил халат. Коснулся стопой тугого прохладного буруна из подводной трубы. Лег и поплыл, одеваясь шелестящими

прозрачными оболочками, пробивая их, слушая звонкое, отраженное от кафеля эхо. Пропускал мимо себя стремительные, пенные тела пловцов. И лишь когда инженеры встали, отдыхая, пошлепывая ладонями воду, он поплыл к ним и тоже встал.

— Доброе утро, мистер Колдер! — улыбнулся бодро и благодушно пожилому англичанину с курчавой сединой на груди, старательно и прилежно выговаривая английские слова.— Доброе утро, мистер Грей,— отвесил легкий поклон молодому белозубому инженеру, пускавшему из-под ладони блестящую водяную струю.

— Доброе утро, мистер Бобров,— отозвался молодой, радуясь не столько его появлению, сколько своей силе и свежести, лазури бассейна, белой уютной громаде отеля.— Вы опоздали, и мы уж думали, что не увидимся с вами. Разве что только в Бейре.

— Вы сегодня улетаете в Бейру?

— Еще до завтрака.

— Удачного вам перелета. В Бейре мы непременно увидимся.

Инженеры были ему интересны. Компания, заключившая с ними контракт, восстанавливала нефтепровод из порта Бейра через весь Мозамбик в Зимбабве. Континентальная, не имеющая выхода к морю, Зимбабве получала горючее через Южно-Африканскую Республику. С тех пор как в Хараре появилось черное, с социалистической программой правительство, ЮАР перекрывала дороги, задерживала товары и топливо. Нефтепровод из Бейры вырывал Зимбабве из-под контроля Претории. За работами на нефтепроводе зорко следила ЮАР. Проблема нефтепровода занимала Боброва. Африканист, его новый герой, мог оказаться в Бейре. И он, режиссер, дорожил этим беглым знакомством...

— К сожалению, мистер Бобров, мы так и не успели с вами купить африканские маски,— Колдер, церемонно уже прощаясь, опустил руки по швам, поклонился, и этот салонный кивок был комичен в сочетании с волосатыми, искривленными в воде ногами.— Я так и не успел узнать, где можно приобрести настоящие африканские маски.

— Я полагаю, у нас с вами еще будет такая возможность,— ответил Бобров.— Меня консультировал наш советник по культуре. Он сказал, что в Бейре есть отличные резчики. Надеюсь, через пару недель мы встретимся в Бейре. Тогда и отправимся к мастерам, найдем там скульптуры и

маски, выполненные в чисто африканской традиции, без поздних, сувенирных, на потребу рынка, наслоений.

— Это было бы прекрасно,— повторил свой поклон Колдер.

— Мои пристрастия не требуют консультаций,— дружески засмеялся Грей.— Африканские бабочки по чистоте африканских традиций не сравнимы ни с какими масками. Я все жду не дождусь, когда мы покинем Мапуту и приедем на трассу. Я достану мой походный сачок и поймаю первую бабочку в провинции Софала. Признаюсь, в Мозамбик я отправился не ради нефти, а ради бабочек. Вы думаете, с моей квалификацией я не нашел бы себе работу в Англии? В свое время я отказался от выгодного контракта на морских буровых и уехал в Нигерию. Конечно, это было сущее пекло и ад, эти нигерийские болота и джунгли. Но теперь, смею надеяться, я обладаю лучшей в Соединенном Королевстве коллекцией западноафриканских бабочек. Через год, я уверен, она пополнится экземплярами отсюда, с восточного побережья.

— Мне понятна ваша страсть, мистер Грей,— Бобров против солнца рассматривал молодое, в брызгах, лицо англичанина.— Какая-нибудь нимфалида гаусапе, если вам посчастливится ее поймать, в самом деле удивительно напоминает ритуальные маски зулусов. Самае, если хотите, является ритуальной маской природы, неповторимым отпечатком этой части африканского ландшафта.

— Вы знакомы в энтомологией, мистер Бобров? — восхитился англичанин.— Да вы универсал!

— Профессия режиссера претендует на универсальность,— улыбнулся Бобров.— Когда-то я тоже коллекционировал бабочек. И теперь не удержался, заглянул перед поездкой в атлас. Только у меня к вам просьба. Когда станете охотиться с сачком в провинции Софала, будьте осторожны. Там ведь стреляют. Газеты пишут, положение обострилось. В районе нефтепровода идут боевые операции. Диверсанты из ЮАР будто бы намерены взорвать трассу.

— Бог с ними, пусть! — легкомысленно отмахнулся Грей.— Меня не интересует политика и военное дело. Мое дело — пустить насосные станции и обеспечить на трассе подачу топлива. Если станции будут взорваны, я готов по новому контракту снова их восстанавливать. Меня не интересует эта политическая каша. Она одна и та же в Африке, Азии и Латинской Америке. Пусть ее хлебают политики. Меня интересуют только бабочки.

От белого фасада «Поланы» по зеленому газону, огибая стулья с витыми спинками, мягко подходил портье. В смугло-вишневой паре, глянцеви́то-черный, он держал у груди маленькую грифельную доску с начертанными мелом цифрами — приглашал абонента к телефону. Англичане взглянули. Быстро извинились. И оба энергично поплыли к другой стороне бассейна, где в маленькой кафельной нише стоял аппарат. Грей снял трубку и стал говорить, двигая гибкой мокрой спиной. Бобров расслышал окончание фразы:

— Обязательно теодолит и бинокль!

Медленно вышел из воды, отираясь полотенцем, накидывая на плечи халат. Издалека махнул инженерам. И, боясь потерять малую толику добытой в бассейне энергии, двинулся в номер.

Брился, причесывал влажные волосы. Облачался к завтраку в светлый легкий костюм. Просматривал, пробегал наперед начинавшийся день, таивший, среди множества встреч и контактов, ливень, грозу. И эта беглая мысль о дне, который предстояло прожить, провести в узнавании, в работе, была связана с тончайшей мукой, с чувством убывания жизни, истекавшей из него поминутно. Он запрещал себе это знать, стремился заделать течь. Но сквозь тонкий прокол продолжалась утечка, и он чувствовал, что мелеет, что его все меньше и меньше.

Вышел к завтраку, держа в руках ключ с тяжелым гербом «Поланы». Кафе еще было закрыто. Сквозь стеклянные двери виднелись стремительные официанты; неслись навстречу друг другу, занимали позиции у столиков. Властный, в белых перчатках метрдотель кивками направлял их бег. Обитатели гостиницы, все с ключами и литыми гербами, чем-то напоминавшие дипломированных собак, прогуливались по дорожкам, поглядывая на двери. Бобров усмехнулся сходству, вписал себя в их движение. Старался всех запомнить, переносил в свой будущий фильм.

Здесь были два корейца из Пхеньяна с красными значками Ким Ир Сена. Коротко стриженные, с черными пышными макушками, неразлучные, не удалявшиеся друг от друга, отделенные от прочих настороженным ритмом походок и взглядов. После завтрака они усаживались в зеленый «джип» с шофером в пятнистом мундире и исчезали до вечера.

В кремовом костюме, стройный, с курчавой, металлически-синей бородкой расхаживал молодой африканец. «Министр энергетики из Танзании», — так отрекомендовал-

ся он за чашечкой кофе Боброву и с тех пор улыбался ему спокойно и ярко.

Три шведа, тощие, похожие на братьев, прекрасно переносившие жару. Седые, длиннорукие, с голубоватыми фарфоровыми зубами, с эмблемой ООН на рубашках. Эксперты здравоохранения, за обедом чуть дольше, чем следовало, салфетками протирали ножи и ложки.

Молодые, очень красивые мужчина и женщина, словно жених и невеста. Много улыбались, много смотрели один на другого. Аграрники из Бразилии, специалисты по разведению риса.

Два советских кораблестроителя. Полный, не отнимавший платка от потного, малинового лица, в промокшей, прилипшей рубашке. И седой, мускулистый, синеглазый, с наколкой на волосатой руке. Приплыли из Севастополя с огромным доком для ремонта мозамбикских рыболовецких судов. Их заботы, их гудящие голоса — о каких-то причалах и кранах, о каких-то домкратах и сварщиках.

Бобров гулял по тропинке, обменивался взглядами, иногда и кивками. Азиаты, европейцы, африканцы явились сюда, на этот мировой перекресток, где встретились расы и страны, сплетаясь в сложный живой узор. Он чувствовал этот стык на южной оконечности Африки, как встречу искрящихся кромок. Мозамбик, прогнав португальцев, строил, воевал, торговал. Привлекал к себе бизнесменов и экспертов, военных спецов и советников, гулявших теперь по дорожкам с литыми гербами в руках. Бобров двигался среди них, стараясь угадать их истинную задачу, наделял ролями в картине.

Двери раскрылись, пропуская всех в просторный зал, уставленный белыми столиками. Усаживались, стукали стульями. Чернолицые, с яркими белками официанты тут же наклонялись, принимали заказ. Всей позой выражали любезность, готовность служить, исполнять. Бесшумно исчезали на кухне.

Бобров прошел на пустынную веранду, где стояли кадки с пальмой и ореховый, закрытый в этот утренний час рояль. Заказал себе кофе. Подносил к губам, наслаждаясь, горько-сладкую чашечку, подливая горячие сливки. Смотрел, как подходит к нему, издали кланяясь, стройный, легконогий Маквиллен, англосакс, инженер из ЮАР, специалист по локомотивам. Один из немногих юаровцев, работающих еще в Мозамбике. Они познакомились третьего дня на теннисном корте. Встречались за кофе и в баре, ведя неспеш-

ные, с деликатными прощупываниями разговоры. Искали их продолжения.

— Вы не пришли сегодня на корт, мистер Бобров, отдав предпочтение бассейну,— Маквиллен усаживался, движением бровей подзывал мгновенно возникшего официанта, чуть слышно заказывал: — Омлет. Кофе.

— Вы знаете, что-то мне не по себе с утра. Не хотелось делать резких движений. Должно быть, меняется давление

— Вы правы, я тоже чувствую, как давит сегодня. Вы должны были заметить: здесь, в Мозамбике, сумасшедшие перепады давления. По несколько раз на день. И жестокая радиация, как нигде в Африке. Европейцы обычно очень страдают. Всякая хворь, что мирно в них дремлет в Европе, здесь просыпается и сжигает их в течение месяца. Один мой родственник из Ливерпуля, спортсмен, отменного здоровья, приехал сюда работать и через три месяца с безнадежной формой рака был отправлен в Европу. Вы —европеец. Поэтому берегитесь здешнего климата.

В этой любезности, как показалось Боброву, таилась легчайшая двусмысленность. Утонченное предупреждение и угроза. И, расслышав их, Бобров не остался в долгу:

— Я стараюсь, насколько возможно, быть осторожным. Но ведь даже вы, уроженец Африки, чувствуете ее радиацию.

— Ну нет, не настолько, чтоб ее бояться! — рассмеялся Маквиллен.— Мой ген за несколько поколений африканских предков приобрел иммунитет. У меня уже устойчивый африканский ген. Здесь, в Мозамбике, я любил бывать в юности. Очень любил эти белые горячие пляжи и Мапуту, тогда он был Лоренсу-Маркеш, этот удивительный город, изысканный и прекрасный: «Португальский Парадиз», как мы его называли.

Он сощурил светлые голубые глаза, глядя сквозь окно на пышную синеву океана, с белым, пробиравшимся сквозь пальмы кораблем. И город в утренней дымке розовел, переливался, мерцал, казался выточенным из перламутра.

Пили кофе. Обменивались любезностями. Не торопясь, как бы наслаждаясь друг другом, сочетаемые этой утренней, рафинированной, понимаемой обоими красотой. Надежной, старомодно-величественной архитектурой отеля. Взмелеянным садом — в каплях водяного блеска, в желтых и алых соцветиях, над которыми, у самой веранды, вяло и пьяно, не в силах оторваться, летал махаон.

Маквиллен был для Боброва первым человеком из Юж-

но-Африканской Республики. Был объектом его изучения. Образ мыслей, поведение, лексика — все было важно. Он рассматривал Маквиллена сквозь фокус съемочной камеры, незримо вел фонограмму своих с ним бесед. Маквиллен был окружен для него враждебным полем иной идеологии и политики. Но сам Бобров стремился не обнаружить своей враждебности, не отпугнуть собеседника. Привлекал его своим искренним к нему интересом.

— В прошлый раз,— Бобров напомнил Маквиллену,— в прошлый раз вы так интересно рассказывали о своих локомотивах. Значит, все-таки конфронтация между Мозамбиком и вашей страной уж не столь велика, если вы продаете технику. Даже при стрельбе на границе возможен торговый обмен? Это что, недоразумение или форма политики?

— Вам было действительно интересно? Сначала я решил, что вы собираетесь снимать фильм о фольклоре бушменов и о танцевальном искусстве зулу, но теперь я вижу: вы питаете интерес и к политике.— Маквиллен, оторвавшись от зрелища океана, повернул к нему молодежавое, привлекательно открытое лицо.— Моя мысль была очень проста. Мозамбик, подобно Анголе, подобно Ботсване и Замбии, объявил себя так называемым «прифронтовым государством». Таранят, атакуют белую цивилизацию юга. Но они, поверьте, совершают ошибку, стратегическую, навязанную им идеологией и расовым чувством. Их слабые, рухнувшие после ухода португальцев экономики не способны обойтись без нас. Мы, ни для кого не секрет, располагаем технологией, машинами, капиталом. Располагаем идеями и ресурсами. Готовы поделиться всем этим с соседями в обмен на лояльность, сотрудничество. Готовы пойти навстречу их нуждам, превратить изнурительную прифронтовую борьбу в союз, в созвездие, как мы говорим, дружественных государств. Вместо этой, сулящей процветание общности мы получаем отсюда импульсы ненависти. Мы терпеливы. Делаем скидку на неопытность и экспансивность африканских вождей. Но белое терпение не беспредельно. Черные вожди Мозамбика, поддерживающие наших внутренних террористов, боевиков АНК, должны знать, что наши самолеты, поднявшись с приграничных аэродромов, могут бомбить Мапуту через пять минут после взлета.

И любующиеся глаза его повернулись на розовый город, и в них блеснули тонкие трассы — отражения пикирующих, ринувшихся вниз самолетов.

Бобров уловил эту молниеносную, сквозь все оболочки суть. Понимал, что и сам свою обнаруживает. Каждый в своей прозорливости чувствовал сущность другого. Знал, что и другой ее чувствует. Не торопились вступать в полемику. Сохраняли возможность нейтрального общения.

Африканист, московский ученый, герой его фильма, был еще пустотой, которую предстояло заполнить. Создать характер, портрет, неповторимость судьбы. Прошлую московскую жизнь и оставшихся в России любимых. И нынешнее африканское делоисследование, состоящее из бесчисленных встреч, здесь, в воюющей Африке. Бобров каждый раз, даже в самых мимолетных контактах, стремился понять: как бы в этих условиях действовал герой его фильма. Он, режиссер, дилетант в африканской политике, играл своего героя. Осторожно играл его роль, иногда неудачно, иногда на грани провала, терпеливо, методом проб и ошибок, копил свое знание. И теперь, в этой встрече, был верен своей задаче.

— Я не опытен в вопросах южноафриканской политики,— сказал Бобров,— хотя действительно задуманный мною фильм — политический. Однако из того, что я знаю,— я уверен: камнем преткновения, через который никак не переступить молодым африканским государствам, остается ваша внутренняя расовая политика. Концепция апартеида оскорбительна не только для черных африканцев, но и для белых, европейцев. Вы теряете не только в глазах африканского мира, но и всей западной цивилизации, к которой себя причисляете. Многие интеллигенты на Западе прислушиваются к вашим теориям как некоему эху недавней, прокатившейся по Европе беды. В Европе, насколько я знаю, смотрят на ваше общество с испугом и иногда с отвращением.

— Ах, дорогой мистер Бобров,— доверительно, с оттенком необходимого превосходства, ответил Маквиллен.— Понятно, вы — русский, находитесь в плену своих идеологических догм, но даже европейские либералы из своего далека не понимают сущность местных проблем. Предубеждены, обмануты пропагандой. Принимают за чудовище то, что вблизи выглядит достаточно гуманно, разумно и эффективно. Является результатом коллективного политического и социального мышления, рожденного за долгие поколения гражданами нашего юга. Апартеид, если отбросить ряд его издержек и частностей,— продолжал он, стараясь быть понятым, но не оттолкнуть собеседника,— апартеид, или

«раздельное развитие», является уникальным изобретением белого интеллекта, воплотившего, если угодно, в социальной сфере принципы теории относительности.

— Поясните,— поощрял Бобров, стремясь уловить сквозь жалюзи слов слабое свечение волновавшей его истины. Ту эфемерную, основанную на взаимном любопытстве связь, установленную между ним и Маквилленом. Еще молчащий, не несущий сигнала провод, но уже протянутый, существующий, зафиксированный ими обоими.

— Поймите же наконец, волею исторических сил в одной стране, в одном и том же пространстве и времени, существуют бок о бок две принципиально несовместимые структуры, две расы, с разными скоростями развития, с разным вектором исторических судеб. И их столкновение в этом общем пространстве и времени сулит аннигиляцию, гибель. Поэтому и возникла необходимость расщепить это слипшееся, общее пространство и время. Создать как бы два разных пространства и времени, белое и черное. Две разных истории, белую и черную. И это расщепление, это разделение в рамках одной страны и есть апартеид, поносимый в Европе. Европейский гуманизм, быть может, и хорош в монорасовом обществе. Здесь же, если следовать ему слепо, он влечет за собою зло, катастрофу. Для белых и черных.

Бобров изучал неведомый ему тип человека. Своим интересом, реакцией стремился поощрить собеседника, продлить возможность общения. И не мог отрешиться от мысли, что ведет беседу с противником. Нес в себе это многомерное сложное чувство.

— Признаюсь, для меня это все звучит как некий сюрреалистический манифест,— Бобров уже не мог избежать полемики.— Я не стану судить моралью моего общества и моей системы. Я ставлю себя на место просвещенного, может быть, идеального европейца. Такой западный человек, как мне кажется, огромными усилиями изживал у себя колониальный и расовый эгоизм и не может позволить его другим, то есть вам. Вести, которые от вас приходят,— это вести о бантустанах, синониме концентрационных лагерей. Законы о пропусках и расстрелы демонстраций рифмуются для всех с понятием — диктатура. Невольничий труд на алмазных и урановых шахтах, ваше процветание и экономический бум гарантированы овчарками, избияниями и казнями. Мир еще не вполне остыл от Гитлера и невольно ищет вашему обществу аналогий. Вряд ли все мы

действительно — жертва пропаганды. Апартеид для нас есть форма белого подавления и насилия, стремящихся удержать в берегах черный гнев и страдание, черные стремление и волю вновь обрести на своей прародине не сюрреалистическое, а вполне реальное пространство и время, отнятые у них бурами.

— Видите ли, я англосакс, а не бур и вовсе не сторонник тех извращений, которыми изобилует наше общество. Я говорил вам о принципе, о модели, я желал вам помочь в вашей будущей работе над фильмом,— благодушно улыбнулся Маквиллен, прощая Боброву его эксперимент над собой.— Ваш будущий герой — африканист, если он специалист по фольклору, не может не радеть за черную культуру и этнос. Но именно апартеид гарантирует этносу и фольклорной стихии гармоническое, незамутненное существование. Изолирует от урбанистической культуры белых, от ее разрушительного влияния. Как бы мне хотелось, дорогой мистер Бобров, когда-нибудь, когда появятся для этого условия, принять вас в моем доме под Йоханнесбургом. Быть для вас гидом в моей стране. Снять, хотя бы отчасти, скопившиеся в вас предрассудки.

— Как бы мне хотелось,— Бобров улыбнулся ему в тон, благодарил за приглашение, окрашивая благодарность тончайшей неагрессивной иронией.— Как бы мне хотелось найти хоть одного черного африканца, разделяющего вашу философию. Но боюсь, не найду такого ни в бантустане, ни на Робенайлленде.

— Да боже мой! — раздражение легкой вибрацией пробежало по лицу Маквиллена. И Бобров не умел понять: раздражился ли он на реплику или на необходимость поддерживать утомительную видимость спора.— Простите мне язык инженера, но апартеид, если угодно, есть ультрасовременный реактор с графитовыми замедлителями, позволяющими во благо пользоваться энергией двухрасового, из двух половин состоящего общества. Если замедлители выйдут из строя, если они будут разрушены, если половины сомкнутся, возникнет цепная реакция! Случится взрыв! Общество будет взорвано! И в этом взрыве не уцелеют ни белые, ни черные! Европа и Запад, столь щепетильные в вопросах расового гуманизма, проиграют свою судьбу здесь, на юге Африки. Приграют в состязании с вами! Приграют коммуникации и ресурсы, проиграют геополитику, уступив все это вам, коммунистам. Крах Претории отзовется в конечном счете крахом Парижа, Брюсселя, Нью-Йорка!

Это говорю вам я, белый патриот Южной Африки, готовый, в случае катастрофы, на тотальное сопротивление, до последней капли крови, последнего патрона! Бок о бок со своими белыми братьями, не только военными, но и бизнесменами, профессорами, рабочими, связанными единой расой, единой родиной, единой миссией в мире!

Он уже не улыбался. Стал жестким, костяным. Согнул мускулистую руку, шевеля гибкими пальцами, словно искал спусковой крючок. Бобров видел в его руке не светлую теннисную ракетку, а смуглое древко винтовки. Зрачок, на него устремленный, мерцал, дрожал, уменьшался. И все-таки своей интуицией, своим чувством актера он улавливал тончайшую фальшь, тончайшую игру в этом взрыве; Маквиллен что-то скрывал, что-то прятал за своим возмущением.

— Да, вы правы. Это будет ужасно! Вы сказали о своей вилле под Йоханнесбургом. Конечно, в случае гражданской войны можно защитить заводы, министерства, гарнизоны. Но нельзя защитить домашние очаги, защитить отдельные жизни.

Маквиллен чуть дрогнул, малая, едва заметная судорога прокатилась по его телу. Утратив жесткость и резкость, распуская невидимые узлы, Маквиллен превратился из спортивного, полного сил супермена в утомленного, нервного человека, под стать и ему, Боброву, теряющему энергию сквозь невидимые прорехи и щели.

— Это верно,— сказал Маквиллен, вновь обретая целостность.— Можно отвечать за себя, отвечать за свою собственную жизнь. Но нельзя отвечать за любимую женщину, за любимого ребенка. Белые, особенно англосаксы, под напором черного террора колеблются, смущены. Иногда приходит мысль: не собрать ли свои пожитки и не уехать ли куда подальше?

— А вы? Вы сами? Вы не подвержены колебаниям? Для вас такой вариант невозможен? Вдруг и вы, в конце концов, захотите покинуть ЮАР?

— Ну нет, до этого еще далеко. Пока что я хочу поехать в Зимбабве, окончив дела в Мозамбике. У черных победителей Хараре, как это водится, не спорятся дела в экономике. И меня опять приглашают консультировать их по проблемам локомотивного парка.

— В самом деле? Я тоже намерен быть в Хараре недели через две. Там у меня друг в советском посольстве.

— Ну что ж! — искренне радовался Маквиллен. — Зна-

чит, мы снова встретимся в Хараре. Впрочем, там трудно не встретиться!

Они допили кофе. Поднялись и раскланялись, словно добрые знакомые, готовые к новым встречам. Расстались с улыбками. Бобров шел, упруго расправив плечи, держа на губах улыбку. Постепенно, по мере удаления, сутулясь, стискивая губы, тускнея лицом, торопился в номер, в его пустоту и прохладу, в сумрачность штор, в шелест кондиционера.

2

Все это время он думал о фильме. О его образе, его неочерченно грозном, невнятно тревожном ритме, созвучном «сердцебиению» времени, перебоям, экстрасистолам века. Еще жили, появлялись на экране его прежние работы. О них писали и спорили, выпускали о них монографии. Казались такими недавними, неостывшими мысли о родной старине, которым посвятил он свой фильм,— те кони в его ранней картине, несущиеся по белым хлебам, расплескивающие осенние воды, скачущие в снегопадах,— заколдованный непрерывный бег алых коней, метафора его любви. И другой его фильм, где символами новейшей, данной ему в проживание истории были раскаленные целинные жатвы, где, захваченные в огромные спирали, кружили красные комбайны, полыхали взрывы космических пусков, где белый стебель ракеты вырастал на огненном, рвущемся из земли корневище. И все те же кони — входили по трапу в «Антей», бились, ржали среди дрожащей обшивки, летели в небесах: солнечный, ревущий пропеллер, врезанный в грудь коня. Он хотел рассказать о труде, всенародной артельной работе, творимой среди трех океанов. Страна выковывалась, вытачивалась, отливалась в невиданные формы усилиями бесчисленных, занятых созиданием творцов. И третий его фильм, о Москве. Ее галактика, ее необъятность. Свернутая в тугую спираль, неся в своей сердцевине драгоценную почку Кремля, расширялась во времени и пространстве. Его герои — архитекторы, космонавты, художники — и в будничных делах и заботах, и в минуты печалей оставались мечтателями, несли в себе предчувствие будущего, служили ему. И он, режиссер, отыскав на московской окраине старый цветущий сад, сделал его метафорой фильма. Древний сад на рязанской земле, иссеченный татарскими саблями. Сад под Смоленском, раздавленный гусеницами танков. И каждый раз находятся ру-

ки, возвращающие яблоням жизнь. Эти образы Москвы и сада слились для него воедино. Сад разрастался. Герои — архитектор, проектирующий город в пустыне, сажает деревья в камнях. Динамитом взрывает в скале горячие дымные ямы. Сыплет влажную, привезенную самолетами землю, бережно сажает привезенный из Москвы черенок.

Он готовился к новой работе. Умудренный, отказавшийся от юной романтики, он хотел рассказать в картине о своем понимании жизни, о своих проверенных, испытанных временем идеалах. Хотел рассказать свое время. Но оно, это время, вдруг стало меняться, и он, художник, еще прежний, но уже измененный, еще неясный себе самому, чутко ловил перемены.

Что-то изменилось в нем и вокруг. Словно кончилась, стала отлетать, удаляться целая пора. Будто грозная тень упала на прежние ценности. Мир стал являть свою жестокую, до времени скрытую суть. И он, художник, оглядываясь на недавнее творчество, изумлялся своей слепоте, своей затянувшейся юности, помешавшей ему предсказать грозное назревавшее время. В ней, в этой новой эре, был заложен чертеж катастрофы, отрицавший его бытие, его мировоззрение и творчество, все то драгоценное, что таила в себе земля, Родина. Он не мог примириться с этим. Не мог примириться с абсурдом.

Начал искать и метаться в поисках нового опыта. Стремился понять это грозное жестокое время как схватку добра со злом, в которой сады уцелеют. Искал материал, подтверждающий эту надежду, человеческий образ, способный ее воплотить.

Постепенно этот образ нашелся. Образ человека, исследующего зону войны. Москвич, близкий ему, режиссеру, по опыту, связанный корнями с Москвой, но действующий в той части земли, где уже раздаются выстрелы, гибнут люди. Там, в Мозамбике, ученый исследует тенденции века, пронесит сквозь войну свои ценности, свои сады.

Таков был образ героя. Таким его видел Бобров. Менялся с ним поминутно ролями. Решал извечную проблему художества: отношение героя и автора. Отношение искусства и жизни...

Недолго он просидел без движения в глубоком кресле, чувствуя время как убывающую паузу между только что завершившейся встречей и вновь ожидаемой. В дверь осторожно постучали. Он отошел на стук, внутренним, требующим усилия рывком приводя себя в состояние деятель-

ности и готовности. На пороге стоял Микаэль Манубо с капельками черного пота на кварцевом лбу, в ярко-синей рубашке, открывавшей цилиндрически-округлую шею, чугуно-смуглые бицепсы. Сквозь широкий ворот виднелся черный рубец, уходивший под рубашку на грудь.

— Микаэль, я ждал. Очень рад! — приглашал его в номер Бобров. Одновременно с рукопожатием легонько ударял в тугое, литое, как ядро, плечо. Радовался его красоте, силе, мягкой, появившейся на лиловых губах, улыбке.

— Простите, Карл. Я не мог появиться вчера. Обстоятельства помешали прийти, — гость быстро, последовательными ударами зрачков, оглядел комнату, словно снял мерку, моментальный план и чертеж с расположением дверей и окон, помещая себя в центр измеренного, осмысленного пространства. И это неясное, постоянное выражение тревоги не ускользнуло от него, режиссера.

— Наше прошлое свидание было очень важным для меня, Микаэль. Мне многое стало понятней в вашем движении, в вашей борьбе. Африканский национальный конгресс, бывший для меня, признаюсь, почти абстракцией, знакомой лишь по кратким сообщениям в прессе, олицетворен теперь вами, вашими друзьями. Прошлый раз вы принимали меня в своем бюро, а теперь я предлагаю вам этот номер. Здесь спокойно, никто не мешает.

— Это очень хороший номер, — сказал Микаэль. — Очень уютный. С тех пор как я покинул ЮАР, я перевидел столько гостиничных номеров, как правило, очень бедных. Увы, не могу принять вас, Карл, в моем доме. Он там, откуда я уехал давно.

— Когда-нибудь, Микаэль, я навещу вас в вашем доме, я верю.

— Когда-нибудь, обещаю вам, Карл, — засмеялся Микаэль, постепенно отпуская от себя поле настороженности и тревоги, занесенное им снаружи. — Как только мы победим и Африканский национальный конгресс соберется на свое первое заседание в Претории, вы получите официальное приглашение АНК в качестве нашего почетного гостя и друга. А потом я приглашу вас домой. Но пока, Карл, позвольте вам вручить другое, более скромное приглашение, — он достал из кармана карточку. — Сегодня вечером в «Олимпии» выступает наш ансамбль «Амандла». Вернулся из турне по Европе. Новая программа. Большой успех. Вам будет интересно, я знаю, — он передал Боброву билет. На нем черной краской был оттиснут кулак, сжимаю-

щий копье с наконечником. Бобров уже знал — это была эмблема боевого крыла АНК «Копье нации», наносящего расистам военные удары.

— Я не останусь в долгу. Вот вам ответный презент.

Бобров достал из шкафа монографию, посвященную его кинофильмам, богатое, с цветными иллюстрациями издание на английском, где мчались алые кони, взмывала в буре света ракета, вездеход прорезал бархан, цвела огромная яблоня, и герои его картин, оснащенные кто сварочным аппаратом, кто кистью, вырисовывали на огромном, в шестую часть суши холсте с небывалыми чертами портрет. Он писал посвящение под своей собственной, еще молодой фотографией.

Микаэль бережно принял подарок. Читал надпись, шептывая сиреневыми губами. И Бобров испытал удовлетворение, видя книгу в его гибких, с розовыми ногтями пальцах, знакомых с автоматным спуском.

— Благодарю вас, Карл. К сожалению, я не видел ваших картин. Но я видел некоторые советские фильмы. Несколько фильмов о войне, которую вы пережили. Они произвели на меня большое впечатление. Я хочу, чтоб ваша картина о Южной Африке удалась. Ваша картина, надеюсь, станет вкладом и в наше дело. Здесь, на этом портрете, вы такой молодой, — он рассматривал фотографию, где Бобров — руки в боки, растрепанные волосы, на фоне самолетного кля.— Ничего, что я называю вас Карл? Мне трудно произносить русское имя Кирилл.

— Я уже привык, что вы меня так называете.

Микаэль подошел к окну, перелистывал книгу. Страницы, принимая в себя блеск океана, одна за другой перебрасывали отсвет на лицо африканца. И Бобров словно делал пробы, фотографировал, кадрировал его жизнь и судьбу.

Блеск. Перемена страницы. Он, студент африканского колледжа, изучает юриспруденцию, разбрасывает в аудитории прокламации АНК.

Блеск. Перемена страницы. Бунт в Соуэто. Пламя баррикада повстанцев. Удары по толпе из брандспойта. Автоматные залпы в упор.

Блеск. Перемена страницы. Добровольный уход в изгнание. Лагерь молодых бойцов. Обучение стрельбе и минированию. Подготовка к возвращению на родину.

Блеск. Перемена страницы. Атака на полицейский участок. Горит подбитый «лендровер». Боевик-африканец с побледневшим лицом зажимает дыру в животе. Убитый по-

лицейский в кювете. А он, сжимая автомат, огрызаясь короткими вспышками, продирается в колючих кустах, в холмы, в леса, от шоссе, где воет сирена, пульсирует лиловый огонь.

Блеск. Перемена страницы...

Бобров всматривается в Микаэля, в борца АНК, чувствуя его жизнь как непрерывную, добровольно избранную смену опасностей. Как ориентированное на юг устремление, где среди городов и алмазных копей, гарнизонов и атомных центров жил его непокоренный народ. Действовала мощная, внешне обильная цивилизация, но уже обреченная, расколота, несущая в себе крах и крушение. И он, африканец, бил и бил в ненавистную твердь, вонзая копьё своей ненависти; сквозь все динамитные взрывы, сквозь кровь и бесчисленные жертвы прозревая иное общество, искупающее кровь и насилие.

— Микаэль, я хотел вас спросить,— Бобров извлекал из стола кипу южноафриканских газет, доставленных ему советским пресс-аташе, «Ранд дейли мейл», «Санди пост», «Ситизен», разворачивая их все на жирных, через полосу, заголовках: «Шествие террора», «Война в городах», «Еще один полицейский пост атакован».— Хотел вас спросить, Микаэль,— он касался черных фотографий, где в похожей на нефть луже лежал убитый боевик-африканец, вывернул голову, блестя белками и оскалом зубов. Два полицейских в фуражках поднимали носилки, с которых свисала белая безжизненная рука. В копоты, с выломанной рамой, зияло окно.— Этот последний налет на полицейский участок. Не поймешь, как все здесь случилось. В моей картине будет сцена атаки. Бойцы, отправляющиеся на задание. Бой, диверсия. Я хочу все это знать. Вы должны мне помочь. Я слышал, вы были ранены. Вы участвовали в операциях. Расскажите, как это бывает.

Микаэль смотрел на газеты. На дверь. На стены. На откинутую штору окна. Нерешительно улыбнулся:

— Я не все могу говорить, Карл. Есть тактика, есть конспирация. Есть особые, свойственные нам приемы борьбы, о которых не знает полиция. Например, вот эта операция в районе Орландо,— она еще не закончена. В районе Орландо армия проводит охоту в поисках наших людей. Участвуют броневики, вертолеты. Я не все могу говорить. К тому же я отошел от «Копья нации». Здесь, в Мозамбике, я занимаюсь политикой.

— Понимаю вас, Микаэль,— Бобров шагнул к тумбоч-

ке и включил кассетник, наполнив номер мягкой и плотной музыкой.— Я и не прошу вас о многом. Мне не нужны конкретные сведения о будущих, конкретных, запланированных операциях. Я и не спрашиваю, связаны ли вы вообще с «Копьем нации». Но я знаю— вы были в бою. Вы понимаете, что такое бой, нападение. Как я должен все это снять? Меня интересует схема. Модель атаки. Нарисуйте! Как это бывало у вас,— и он выложил на стол чистый лист, выкатил на него карандаш.

Микаэль вслушивался в музыку, словно проверял ее плотность и герметичность. Присел к столу, взял карандаш.

— Было так,— он провел две параллельных прямых.— Вот здесь проходило шоссе,— подумав, словно вспоминая, начертил квадрат у шоссе.— Вот здание караульного помещения, где дежурил вооруженный наряд,— поодаль,— на мгновение повиснув острием карандаша над бумагой, вывел второй квадрат.— А это помещение для отдыха. Там они спали после вахты, оставив оружие в караульной,— и обвел все неправильным быстрым овалом.— Это изгородь из досок. Вот здесь, с шоссе — ворота. А вот здесь, с противоположной стороны,— он ударил карандашом в овал,— была прореха в стене, дыра. Вот общий план объекта на местности.

И Бобров старался в этом простом чертеже увидеть картину жизни, другую страну и реальность. И тут же ее моделировал, превращал в площадку для съемок. Расставлял юпитеры, кронштейн с кинокамерой. Он совершал двойную работу: как можно полнее старался представить жизнь и тут же превращал ее в образ.

Играла мягкая бархатная музыка. Летал карандаш. Возникал на бумаге эскиз. Бобров уже видел тот отдаленный кусок земли, теплые сумерки, шелест машин по шоссе. Светятся окна казармы. Разомлевший сержант, сняв фуражку, слушает, как тихо взрываются стручки перезревших акаций. С бумаги пахло дуновением бензина, бурьянной сухой обочиной.

— Мы подогнали машину с тыла, сюда! — Микаэль нарисовал узкий ромбик у пролома стены.— Один остался в машине. Двое проникли в пролом и заняли позицию вот здесь, у этих прогалов, где висели лампы и освещали двор,— он нарисовал две маленькие, прижатые к стене фигурки с палочками наперевес, изображавшими автоматы. И от них две быстрых длинных стрелы вдоль помещений, указывающие направление стрельбы.— Четвертый,— он ри-

совал фигурку,— обошел пост снаружи и ждал в кустах, когда шоссе опустеет и в воротах не будет людей.

Играла музыка. Темнело шоссе, метало машины, отлетавшие, с красными хвостовыми огнями. Трещали, сворачивались колкие сухие стручки, осыпая семена на плечи бойца. Таились в тени автоматчики, беря под прицел освещенные, приоткрытые двери.

— Операция протекала вот так,— Микаэль остановил карандаш на фигурке в кустах. И затем с силой, резко провел черту к воротам, задержав ее перед будкой.— Этот боец из кустов с двумя гранатами вбежал сквозь ворота. Кинул гранаты в окно. И сразу, не задерживаясь, устремился к пролому в стене, где его поджидала машина. После взрыва из дверей, вот отсюда,— он провел стрелу от автоматчика, распушив ее лохматыми росчерками,— двое отдохавших полицейских выскочили, и были один убит, другой ранен. Из будки, уцелевший от взрыва, выбежал еще один полицейский и был тут же застрелен,— он тронул вторую стрелу.— Затем автоматчики стали пролезать сквозь пролом к машине. Но очнувшийся, оглушенный взрывом сержант открыл вслед огонь и убил одного из наших. Он так и не пролез сквозь дыру, упал, зацепившись за доски. Машина с тремя бойцами покинула место боя.

— А где были вы, Микаэль?

— Я был тем, кто кинул гранату.

Играл кассетник. Чернели заголовки газет. Смотрело со снимка запрокинутое молодое лицо с оскалом белых зубов, в блестящей нефтяной жиже.

— Это Хамфри Жакубо,— сказал Микаэль, проведя ладонью над снимком, словно хотел закрыть убитому глаза.— Он участвовал в прошлом году в операции в Аттериджвилле под Преторией. Был ранен в ногу, лечился. Ему предлагали продлить лечение, но он потребовал, чтоб его включили в группу. Должно быть, больная нога его и подвела. Не успел убежать. Полиция хотела тайно похоронить его, но на кладбище собралась толпа африканцев. Пели песни, выкрикивали лозунги АНК. Хоронили его под полицейскими дулами как героя нации. Хамфри Жакубо и после смерти, лежа в гробу, продолжал бороться. И зарытый в землю продолжает бороться.

Сидели молча, слушали джаз. Пальцы Микаэля, подхватив мелодию, гибко стучали в бумажный лист, где был начертан график боя, одного из многих, превращавших Южную Африку в поле гражданской войны.

— Куда вы скрылись, когда сели в машину? — нарушил молчание Бобров, выхватывая, запоминая эту сцену погребения героя, стремясь представить другую, новую, уже волновавшую сцену: отход бойцов после боя. — Где вы укрылись? Куда-нибудь в леса? В какое-нибудь потайное убежище?

— Нам, вы знаете, Карл, приходится вести борьбу в особых условиях. У нас в стране нет обширных пустынь и безлюдных бушей. Мы действуем среди больших городов, в урбанизированной, цивилизованной среде. Мы с вами в прошлый раз говорили, какие это сулит преимущества. И какие опасности. Очень трудно, согласитесь, у всех на виду подготовить операцию скрытно. Очень трудно при таком количестве глаз замести следы. Трудно хранить оружие. Трудно его поставлять.

Бобров, не получив прямого ответа, не настаивал. Заговорил о другом:

— Вот в этой «Санди пост», — Бобров указал на газету, — я прочитал, что начинается новый период борьбы. Партизаны переносят удары на индустрию. Это верно? Чем это вызвано?

— Пожалуй, тремя причинами, — подумав, сказал Микаэль. — Во-первых, мы не хотим человеческих жертв. Мы не хотим пролития крови. А налеты на полицейские станции неизбежно оборачиваются жертвами. Второе: ЮАР, вы знаете, высокоиндустриальная страна. Множество чувствительных, уязвимых для саботажа объектов, таких, как нефтехранилища, тепловые станции, мосты и дороги, — все они являются удобной мишенью для ударов. И третье: если вывести из строя трансформаторную подстанцию, скажем, под Преторией, и лишит город электричества или, к примеру, взорвать телевизионный центр в Дурбане и погасить в округе телевизионные экраны — это увидят и услышат все, вопреки полицейским умалчиваниям. А мы в АНК хотим, чтоб нас видели, слышали, ощущали нас как грозную силу.

— Скажите, Микаэль, если я захочу снять атаку на какой-нибудь индустриальный объект, на тепловую станцию, или на мост, или на нефтехранилище, — это не будет преувеличением? Действительно, возможны такие удары?

— Я не знаю, Карл. Это вне моей компетенции. Мы здесь, в Мозамбике, не планируем операций. Мы здесь только беженцы. Мы — политики, основавшие свое бюро не вдалеке от родного порога, за который нам нет хода.

И, чувствуя, что не следует быть слишком настойчивым, давая отдохнуть собеседнику, желая использовать паузу для того, чтобы обдумать услышанное, Бобров предложил:

— Хотите немного выпить?

Сидели и пили виски у отдернутой шторы. Далеко, в океане, плыли две парусные лодки. И дальше на стеклянной лазури белел неподвижно корабль.

— Карл, у меня есть для вас сообщение,— Микаэль осторожно поставил стакан.

— Слушаю вас, Микаэль.

— Вы упоминали об одном белом инженере из Йоханнесбурга.

— Я виделся с ним сегодня.

— Я хотел предупредить вас, Карл: он не просто инженер. Он еще нечто иное.

— Что же иное?

— Может статься, что он связан с секретными службами. Собирает сведения.

Бобров вспомнил синеглазого инженера, свое сложное ощущение от него. Легкую, едва заметную зыбь, пробегающую по лицу инженера, размывавшую его очертания. Материал, к которому он прикасался, вдруг перестал быть внешним. Вошел в него, стал им самим, начал в нем прорастать. Еще неявно, несильно начал менять его жизнь. Внес малую поправку в судьбу, изменив ее направление.

— Какие сведения он может собирать, Микаэль?

— По-видимому, его интересуют мы, люди АНК. По-видимому, работая на железной дороге, он стремится вскрыть пути снабжения боевых групп АНК оружием. Стремится обнаружить методы проникновения наших групп сквозь границу. Его интересуют беженцы из ЮАР. Например, завтра, вы знаете, в Ресано Гарсиа тот самый день, когда мозамбикские рабочие уезжают в ЮАР на заработки, несколько тысяч разом, и столько же возвращаются с угольных шахт обратно. Его интересует эта миграция как возможный способ заброски наших людей в ЮАР, а их агентуры сюда, в Мозамбик.

— Вы обмолвились, что едете завтра в Ресано Гарсиа?

— Может быть. Но проблема в другом. Нам стало известно, что они готовят репрессивную, военную акцию здесь, в Мозамбике, против нас, активистов АНК. Они собирают данные о наших центрах, о пресс-бюро, типографиях. Адреса домов, где живут наши люди. Номера наших машин в

Мапуту. Акция должна вот-вот состояться. Маквиллен, нам кажется, связан с проведением акции. Мы не знаем, что именно они замышляют. Когда? Каким образом? Какими средствами? Против кого? Я просто хотел сказать, чтоб вы были с ним осторожны. Вы общаетесь с нами и, быть может, поэтому представляете для него интерес.

Они молча сидели, больше не касаясь стаканов. Бобров смотрел, как скользят машины по набережной и по зеленому склону, по тропке спускаются двое военных, длинноногие, гибкие, в пятнистой зелено-коричневой форме.

И вид этой травяной горячей горы вернул ему забытое, посетившее его сновидение: лесная трава, кудрявый цветочек, бабушка читает Тургенева и он, ликуя, прижимаясь к земле, скользит на ее излучение. Это чувство, возникнув, отслоило пространство и время, утянуло его в милую даль, где брезжили лица любимых. И, пробыв там недолго, он снова вернулся в реальное пространство и время. Смотрел на близкий, без морщин лоб Микаэля, на его мелкокурчавые волосы.

— Карл, и еще в продолжение к сказанному.

— Да, Микаэль.

— Вы общаетесь с нашими людьми. Иногда с теми, чьи имена не должны называться. Я понимаю, вам это нужно для вашей работы. Но вы должны быть осторожны.

— Микаэль, разумеется! Я благодарен вам за беседы, которых вы меня удостаиваете. Вы можете быть уверены, я никогда не воспользуюсь ими во вред АНК.

— Вы не поняли меня, Карл. Общаясь с нашими людьми, вы должны быть осторожны в интересах своей собственной безопасности.

— Что мне может грозить?

— У противника много глаз. Он наблюдает. Иногда противник проникает в наши ряды. Был случай, когда мы изобличили предателя. Он принес нам много вреда. Многих наших людей постигла гибель.

Бобров чувствовал: он находится в непривычном для него, выше его понимания, поле опасности. В том поле, какое никогда не присутствовало в его прежних работах. Там, на Родине, во время работы над фильмом, было иное поле, иное неведение, грозившее иногда поражением, сулившее крушение и горечь. Но никогда он, художник, не подвергался личной опасности, грозившей его уничтожить. Это был новый опыт — опыт общения с опасностью.

— Как вы поступили с предателем? •

— Мы его уничтожили.

И опять воображение устремилось туда, в близкий, грозный, ему приоткрывшийся мир. Он уже думал о том, как снимет сцену уничтожения предателя.

— Как вы узнали, что он предатель? Чем он себя обнаружил?

— Начались провалы операций.

— Каких, если можно?

— Можно. Это было давно. Нападение на полицейский патруль в Давейтоне. Минирование здания сталелитейной компании в Йоханнесбурге. Атака на ферму в Тсипизе. Создание склада оружия в Умплази. Наши товарищи гибли, попадая в засады. Их расстреливали на дальних подходах к цели. Кто-то из тех, кто был связан с планированием операций, информировал полицию и безопасность. Мы сверили множество фактов. И подозрение пало на него. Тогда мы посвятили его в ложную операцию, в якобы замышлявшееся минирование супермаркета в Порт-Элизабет. Полиция оцепила супермаркет и три часа вела обыски и облавы. Мы изобличили его. Судили и уничтожили.

— Как все это было? Суд, истребление...

— Это было не теперь, а давно. Я не был с этим связан,— уклонился Микаэль от ответа.

— Как его звали? Как мне назвать его в фильме?

— Назовите его просто Чики.

Бобров вдруг ощутил мгновенную, опустошающую тоску и усталость. Будто кто-то в единый миг отнял у него весь запас его жизненных сил. Его дух, томясь и предчувствуя, желал обрести себя в иных, не связанных с бедой состояниях. В простоте и свободе, вне тайных умолчаний и хитростей, связанных все с той же бедой, с ненавистью, с пролитием крови. Его дух стремился к иной земле и природе, к той далекой, почти неправдоподобной поре, когда он, юный, любимый и любящий, сидел с друзьями в застолье. Пели хором древнюю степную песню, про коней и орлов, про «зелен сад», и душа стремилась к душе, душа обнималась с душою. Теперь, пролетев по незримым кругам, не найдя бывшего застолья, его дух, утомленный, вернулся, опустился к столу, где лежал чертеж боевой операции.

— Я признаюсь вам, Микаэль, мои прежние картины были далеки от тех проблем. Были далеки от крови. Когда я готовился к этой поездке, я изучал материалы, читал статьи и книги, и мне казалось, я многое понял. Но теперь

я вижу, что все гораздо сложнее. И черные могут оказаться врагами, и белые могут оказаться друзьями.

— Вы правы, Карл, здесь все иначе. Признаюсь, я сам в начале пути исповедовал принцип: «Африка — черным!» Был, если угодно, черным расистом. Одна листовка, которую я расклеивал в колледже, призывала: «Сбросим всех белых в океан». Поверьте, мне не легко далось новое сознание. Для этого мне пришлось пройти через камеру пыток, где черный сержант пытал меня током. Через побег из тюрьмы, — два белых юриста помогли мне в побеге и укрыли меня. Оказалось, что и черные предают и пытаются черных. И черные богачи сосут кровь из черных рабочих. Мы сейчас понимаем: нельзя допустить, чтобы наша борьба зашла в расовый тупик. Я верю: в будущей социалистической Южной Африке станут жить, как братья, забыв прежние распри, покончив с прежней враждой, черные, белые, цветные. Это долгий, мучительный путь. Братство наступит не завтра. Но зародышем этого братства является наш АНК. Мы, члены Конгресса, белые, черные, цветные, живем вместе, рискуем вместе, погибаем вместе. У нас общие идеалы, общая судьба. Опыт, выстраданный в недрах АНК, мы принесем в будущую свободную Южную Африку.

И в нем, в Боброве, в ответ на этот политический, похожий на исповедь монолог, — внезапное понимание, обретение метафоры. Все той же, никуда не исчезнувшей, кочующей из одной его работы в другую. Возможность той истинной жизни, тех «цветущих садов», о которых пели когда-то в застолье, — мелькнула в глазах африканца, откликнулась горячей бесшумной вспышкой.

Встали, пожали друг другу руки.

— Если сочтете возможным, приходите сегодня послушать «Амандлу».

— Благодарю за билет. Приду.

Провожал Микаэля. Выглядывал в коридор. Осторожно выпускал. Поворачивал ключ в замке.

Вернулся к столу и сидел неподвижно, присутствуя одновременно в разных пространствах. Здесь, в гостиничном номере, перед кипой смятых газет. На юге, в холмах Транскея, где визжали тормоза полицейских машин и кто-то бил по «лендроверу», одевая машину бледным огнем. И далеко, на севере, где жена и дети сидели за накрытым столом, и в их любимых лицах и в стеклянной вазе, наполненной зимними яблоками, отражалось неяркое московское солнце.

Работа, которую он замышлял, была об Африке. Об африканском горе, африканской борьбе, африканском стремлении к правде. Но он, режиссер, хотел, чтобы картина была важна соотечественникам. Жителям среднерусских сел, погруженных в вековые пшеничные и ржаные заботы. Сибириякам, в непролазных топях возводящим города и заводы. Ученым, хозяйственникам, бьющимся над решением мучительных проблем экономики, исследующим боли и противоречия развивающегося общества. Ценителям культуры, связавшим свой дух с народным искусством и творчеством. Он хотел, чтоб картину об Африке советские люди восприняли как свою.

Этот африканский процесс был связан с кровью, борьбой, уносил жизни. Сотрясал границы африканских, охваченных враждой государств. Но этот гул и трясение слышались далеко за пределами Африки. В Москве, в вологодской деревне, в кавказской сакле, в узбекском кишлаке. Влияли на жизнь всей земли. Отечество, в сверхусилиях поддерживая равновесие мира, было в том же процессе. Входило в то же грозное движение истории, где уже не было отдельных путей и течений, а все сливалось в единый, суливший великие испытания и беды поток. И он, художник, почувствовав это однажды, пережив остро и больно, хотел, чтобы это поняли и пережили другие.

Герой его фильма, африканист, был пока понятен в одном: связанный с Африкой профессией, интеллектом, научными изысканиями, был связан с ней и душой, своим любящим, страдающим сердцем, своей судьбой. Он действует в Африке, ощущая африканские идеалы и ценности как свои. Отстаивает идею единого, справедливо устроенного человечества. И хотелось показать советских, работающих в Африке, людей — геологов, врачей, рисоводов. Исследовать их дух и сознание.

Все это требовало усилий и поисков.

Узнавание, как казалось ему, шло слишком медленно. И порой его охватывала паника.

В дверь постучали. Он пошел на стук открывать. Впускал к себе молодого приветливого атташе по прессе Ермакова, радуясь его свежести, его организованным, точным движениям.

— Мы все, Кирилл Андреевич, все в посольской колонии под впечатлением вашего вчерашнего выступления.— Ерма-

ков благодарил, и Бобров верил, что это не простая любезность.— И удачно так получилось. Сначала — ваше выступление. А потом — ваш фильм. Я видел его в Москве, но здесь он смотрится совсем по-другому. Эти ваши красные кони на белых снегах, эти русские дали — в Африке чувствуешь их по-особому. Мы как раз сегодня говорили об этом с послом.

— Передайте послу мою благодарность за помощь. Без поддержки посольства я, разумеется, ничего не сумел бы сделать. Очень интересные у меня контакты и встречи.

— Вот, Кирилл Андреевич, я вам обещал привезти. В полиции были столь любезны, что продлили ваши права, и теперь вы, как говорится, опять на колесах. Можете ездить на вашем «пежо». Только осторожнее. После Москвы левостороннее движение в Мапуту очень коварно, — и атташе передал Боброву карточку с фотографией и свежим штампом.

— Это неоценимая помощь! Не знаю, как и благодарить вас. Все эти дни я был скован. Машина мне очень кстати. Завтра я собираюсь в Ресано Гарсиа. А с левосторонним движением понемногу свыкаюсь.

— И вот еще вы просили, — Ермаков из папки вынул несколько газет и журналов. — Вы просили подобрать материалы о присутствии Соединенных Штатов в этом районе, об их влиянии на военную машину ЮАР. Я подобрал материалы на английском. Ведь вы владеете только английским? Вот здесь статья об импорте намибийского урана для атомной энергетики США. Вот здесь, очень интересно, пишет один англичанин, — о стратегических амбициях НАТО, связанных с югом Африки. Вот здесь — о капиталовложениях Америки в экономику Претории. А вот здесь — интервью с американцем, участником вьетнамской войны. Он был в подразделении ЮАР, действовавшем на юге Анголы. Вот, я вам оставляю.

— Вы вчера мне интересно рассказывали, — говорил Бобров, усаживая гостя, мимолетно, ладонью, скользнув по решетке кондиционера: не опасна ли дующая ледяная струйка. — Вы вчера мне интересно рассказывали о южно-африканском узле. Действительно, это не только местное, не только африканское дело. В этот узел затянут весь мир. Весь мир, как он есть, влияет на эту зону, а она, в свою очередь, влияет на мир. Вы упоминали о тайных и явных связях ЮАР и Америки, об их политическом, экономическом и военном сближении. Значит, Штаты здесь, на африкан-

ском юге, пытаются стянуть в кулак две зоны своего влияния, в Атлантике и в Индийском океане? И их военные амбиции простираются до Антарктиды? Я знаю, вы недавно в Мапуту, но уже вполне освоились с местной проблематикой?

— Я изучал ее еще в Москве, — ответил Ермаков. — Я защищал диссертацию по этому региону.

— Так, значит, вы не только дипломат, но и ученый? Африканист?

— Ну если угодно, — усмехнулся пресс-атташе. — Хотя, конечно, дипломатия — это нечто другое. Я только привыкаю к моей нынешней роли.

И этот молодой, начинающий свой дипломатический путь человек вдруг стал по-особому важен Боброву — как возможный прообраз героя. В его раннюю, молодую пору, в первую встречу с Африкой. Потом, как было задумано в фильме, будут поездки африканиста в Анголу, в горящие леса и саванны. Его машина в окрестностях Луанды попадет в засаду «командос», шофер будет ранен, и герой переймет управление, гоня машину по красным пыльным проселкам. На реке Кунене, где взорванный мост осел в шоколадную воду, за его «лендровером» будет гоняться «мираж», вспарывая из пушек асфальт. И теперь, наблюдая спокойное белозубое лицо атташе, Бобров незримо, со всей осторожностью и суеверием делал фотографические пробы, писал фонограмму речи: не таким ли в молодости был и его герой?

— Огромное вам спасибо, — говорил Бобров, пряча газеты. — Я быстро прочту и верну. Но только не завтра. Завтра я — в Ресано Гарсиа.

— Не беспокойтесь. Кстати, если вы вернетесь рано, заезжайте к профессору Антонио. Он спрашивал о вас. Хотел бы вас видеть. Будет весьма пестрое общество. Португальцы, чилийцы. Вам может быть интересно. Вы помните его дом? Прямо около католической церкви. Ориентир — телевизионная вышка.

— Я уже немного узнал город. Теперь, опять получив машину, узнаю его еще лучше.

— Кирилл Андреевич, если у вас возникнут какие-нибудь проблемы, звоните мне в любое время. Хоть среди ночи. Вы знаете мой телефон.

Бобров был тронут вниманием пресс-атташе. Был готов с ним сидеть и беседовать. Но надо было двигаться в город, успеть до обеда на встречи. Они вместе спустились в гостиничный холл, где в стеклянных дверях возникали отражения

людей, рассекались прозрачными плоскостями, сливались с отражениями подъезжавших машин. Портье провожал их поклонами. Звонил телефон. Служитель, в лиловом сюртуке, похожий на джазмена, виртуозно вонзал медные штекеры в гнезда.

Бобров подошел к окошечку банка, желая поменять деньги, извлекая долларовый билет. Банковский служащий сквозь прозрачный полукруг, обрамленный золотой каймой, любезно возвратил ему сотенный банкнот.

— К сожалению, мы ведем обмен банкнот достоинством только в десять долларов и ниже.

— Почему? — удивился Бобров.

— Поступило сообщение, что начали ходить фальшивые купюры в пятьдесят и сто долларов. Мы не можем рисковать.

— Так что же мне делать? — Бобров растерянно вертел зелено-серый банкнот, оглядываясь на Ермакова.

— Вы можете отнести его в центральный банк, и после экспертизы вам его поменяют.

— Сколько же длится экспертиза?

— Несколько дней.

— Но мне нужны деньги сейчас! Я хочу купить авиационный билет в Бейру!

— Ничего, Кирилл Андреевич, — успокоил его Ермаков. — Мы поедem в аэропорт. Там у меня знакомый чиновник. Он нам поменяет. Их можно понять, — добавил он. — ЮАР забрасывает в Мозамбик фальшивые деньги. Стремятся подорвать валютную систему страны.

Они вышли в жаркий, заструившийся по щекам воздух. Ермаков сел в свой лимузин, а Бобров прошел на стоянку, где в тени, плотно, с другими машинами, стоял его «пежо», полученный на время в посольстве. Погрузился в душный, скопившийся в машине жар, включил кондиционер. Выждал минуту. Тронулся вслед за Ермаковым, за его мигающим поворотным огнем, вписываясь неуверенно, робко в левосторонний поток, переключая скорости левой рукой. Осмелев, ехал в равномерном полуденном блеске, пропуская над собой лиловые своды акаций, соривших на асфальт сине-сиреневые душистые осыпи. Машины, люди двигались в струящейся синей поземке. Пальцы, сжимавшие руль, казались сиреневыми от обилья цветущих деревьев.

Улица Ньерере в супермаркетах, банках и трестах была похожа на длинный пирс с причалившими кораблями. Сквозь толстые стекла с остатками фирменных знаков виднелись пыльные, без товаров прилавки, безлюдные, опечатанные

офисы. У голого, без бутылок бара сидел охранник, уперев подбородок в винтовочный ствол. Рядом, в витрине с обломком манекена, был наклеен плакат: черный кулак, сжимающий автомат, и надпись: «Борьба продолжается!»

Маленькие нарядные виллы в лепных балконах, с витыми козырьками, кронштейнами, тонули в цветах, вьющихся красных розах,— бывшие резиденции богачей-португальцев. Теперь были населены до предела нахлынувшими из деревень африканцами. Из пролома изгороди высыпала толпа полуголых кричащих детей. Резиновый мяч, скакнув на проезжую часть, мягко ударил в крыло.

Центральный столичный госпиталь выгнул эстакаду. В раскрытых окнах, на белом фасаде темнели африканские лица. Темнолицый врач садился в карету «скорой помощи», и рядом — миловидная сестра милосердия, смуглая, в белой шапочке с крохотным красным крестом.

Бобров потерял из вида Ермакова, пристроился в хвост расхлябанному, с открытым кузовом грузовику, где громыхла и подпрыгивала пустая железная бочка. Два подростка, в заплатах, чумазые, колотили голыми пятками, гибко вписывались в танец скачущей и грохочущей бочки. Кузов под ними ходил ходуном. Мелькали дома и деревья. И юноши, с упоенными лицами, вошли в ритмическое сочетание с небом, землей, с пульсирующей в них жаркой молодостью, с обильной и юной африканской силой.

Любуясь и одновременно утомляясь их скоком, их танцем, Бобров на спуске обогнал грузовик, настигая Ермакова. И в этом скольжении по блестящей, стального вида брусчатке, в слоистых испарениях, подобно легкому обмороку, вписался в другой поворот и спуск — московский, от Таганки к дому на Котельнической набережной, сквозь сеть снегопада, к барочной голубой колокольне. Автомобильный перехлест на мосту, земляничина светофора на Яузе, громада островерхого дома и — предчувствуемый за снегопадом, за гарью — невидимый близкий Кремль. Близкий, как тепло и дыхание, как лицо жены или матери.

Очнулся, пропуская перед бампером медлительную африканку. Она несла на голове корзину, сочетая неподвижность маленькой литой головы с круговым движением бедер под цветной, до земли, драпировкой.

Они приехали в аэропорт. В этот час между утренними и вечерними рейсами здание было пустынным. Рекламы авиакомпаний казались обшарпанными и линиялыми. Ермаков постучал в окошечко банка, объясняя служащему, в

чем их затруднение. И тот, подумав, кивнул, принял доллары и, извинившись, скрылся. Видимо, для того чтобы без помех исследовать деньги.

Они стояли у окошечка, разговаривали, рассеянно оглядывали зал. Снаружи зашумело, залязгало. Дальняя дверь отворилась, и в нее быстро, резко вошел офицер, похожий на гибкого леопарда, в пятнистой форме, в берете и бутсах. И за ним потянулась нестройная многолюдная вереница пестро одетых юношей, растерянных, бестолково-покорных. Наполнила зал, загибаясь вдоль стен. Несколько солдат, повинуясь окрикам офицера, равняли шеренгу.

«Новобранцы», — понял Бобров, оглядывая молодые лица с яркими, будто вспыхивающими белками, курчавые бородки, пухлые африканские губы. По-видимому, их везли в Бейру, на пополнение бригад, воюющих в лесах Софалы и Газы, где ширился контрреволюционный мятеж, шли лесные сражения.

Он заметил пожилую женщину, льнувшую к худому юнцу, видимо сыну, в джинсах, в оранжевой шапочке. Она брала его за руку, гладила, заглядывала в глаза, что-то говоря непрерывно. Солдат, пробегая, выравнивая вереницу, отеснял ее. Она послушно отстранялась и снова, когда солдат удалялся, прижималась к сыну. Тот смущался, ему было неловко перед товарищами, перед командиром. Он пугался этих материнских причитаний и ласк. Хотел казаться твердым и мужественным.

Бобров глядел на них все тем же острым, жадным, все подмечающим взглядом. И вдруг испытал такую внезапную боль, такое горькое, слезное понимание, связав эти проводы в мозамбикском порту не с работой над фильмом, а с другими — то ли с будущими проводами сына, то ли с проводами погибшего под Сталинградом отца. Весь скопившийся в нем, предками заложенный опыт солдатских прощаний, разлук породил такое страдание, желание блага, что юноша вздрогнул. Оглянулся на него и мгновение смотрел, желая понять. Виновато ему улыбнулся. И он, Бобров, слал ему во спасение свою мудрость и жизнь.

На взлетном поле жужжали винты. Невидимый транспорт ждал новобранцев. Офицер отворил дверь, и жужжание винтов усилилось. Офицер стал пропускать вереницу, оставливал и вновь пропускал. Женщина двигалась вслед за сыном, продолжала говорить торопливо.

— Что она говорит? — спросил Бобров Ермакова.

— Она говорит: «Роберту, пусть хранит тебя дева Ма-

рия! — переводил Ермаков, прислушиваясь. — Ты сырую воду не пей!.. Ты ее кипяти, Роберту!.. Что же ты сделал со мной?.. Почему ты меня не спросил?.. Разве тебе было плохо со мной? Захотелось тебе воевать? Отец твой погиб на войне!.. Я думала, больше не будет войны!.. А ты идешь на войну!.. Не ходи на войну, Роберту! Прошу тебя, не ходи!.. Пойдем скорее домой! Я попрошу офицера, он тебя отпустит домой!.. Я скажу, у меня нет никого, только мой сын Роберту!.. Мой муж погиб на войне, а сын пусть живет со мной! Я скажу, он отпустит тебя!..»

Она ощупывала его и оглаживала, глядя на близкие двери, затягивающие в себя ее сына. Там жужжало и выло. Уносило его в страшный, ей неведомый мир. А сын мучился, любил и стыдился, хотел ускользнуть от нее в эти двери. Отсесть от себя ее муку, ее трясущееся беспомощное лицо.

Офицер, горячий и потный, пересчитывал новобранцев.

Солдат, набегая, оттеснил женщину. Оторвал ее руки от сыновьей рубахи, подтолкнул к дверям юношу. Она отпустила сына, и тот исчез. И тогда она издала тонкий вопль, похожий на визг. Кинулась следом, ударяясь о жесткие, острые локти солдата:

— Роберту!

Его уже не было. Жужжали винты. В дверях теснились гибкие молодые тела. Офицер, не замечая ее, считал новобранцев.

Зал опустел. Она стояла перед захлопнувшимися дверями. Что-то бормотала бессвязно. Держала перед собой руки, будто кого-то качала. Медленно, шаркая, переводя дух, двинулась к выходу. И Бобров слышал, как она лепетала:

— Дева Мария... Роберту!..

Винты утихли, удалились на другой конец поля. И скоро с тяжелым металлическим воем взлетел самолет.

Вернулся служитель, отсчитал деньги. Бобров поблагодарил, перешел к другому окошечку, где девушка-кассир била пальчиком в крохотный калькулятор. Взял билет до Бейры, куда скоро, через несколько дней, ему предстояло лететь. Сопрягал себя с новобранцами, с причитающей африканкой. Как и они, он был подхвачен жестокими свистящими силами, дующими над Африкой. Несся в одну с ними сторону.

Простился с Ермаковым. Садясь в машину, снова увидел женщину. Она брела одиноко по жаркому солнцу. Едва переступала ногами. Все кого-то качала, кого-то несла на руках.

Он приехал в управление безопасности, где ему был заказан пропуск. Сидел в кабинете с телефонами, с портретом Саморы Машела, с черно-красным флажком ФРЕЛИМО и зелено-голубой картой Мозамбика. Смотрел на близкое, улыбающееся лицо Соломау, знакомое ему по Москве, дружелюбное, являющееся многократно то в людном гуле аудитории, в их институте, то в маленьком, учебном, просмотровом зале, то в снежно-вечернем сумраке Тверского бульвара. Нестареющее, широколобое, широконосое лицо с маленькой твердой бородкой, в которой с годами появились седые колечки.

— Так что ответил тебе министр на мою просьбу? Позволит принять участие в операции? — Бобров пил кофе, радуясь его крепости, капелькам концентрированной горькой силы. — Ты передал ему мою просьбу? Ты как человек, знакомый с кинематографом, знакомый с проблемой кино, — ты мог найти аргументы?

— У меня был разговор с министром, Карлуш, — осторожно подбирая русские, нетвердо произносимые слова, не торопясь с ответом, стараясь придать словам пластичную форму, сказал Соломау. Вытянул на столе худые длинные руки в белоснежных манжетах с дорогими блестящими запонками.

— Так какова же реакция министра? Могу я принять участие в твоей операции? Могу посмотреть, как ты будешь ликвидировать этот самый аэродром подскока? Мне эта сцена нужна в моем фильме! — настаивал Бобров, не принимая растяжимую, доступную толкованиям форму ответа.

— Я еще раз передал министру твою просьбу, Карлуш. Так же, как ты сам сказал ему на приеме.

— И что же?

— Министр ответил: он понимает твои проблемы. Он хочет, чтобы твоя работа у нас, в Мозамбике, проходила успешно. И чтоб ты, довольный, благополучно вернулся домой.

— Надеюсь, это не все, что было им сказано по поводу моей просьбы?

Светло-серый пиджак прекрасно сидел на плечах Соломау. Красно-лиловый галстук был в согласии с бронзово-темным лицом. А он помнил Соломау, семяющего на московском морозе в нелепых оранжевых кедах, в натянутом на уши берете. Трамвай на повороте у Университета Лумумбы жестко скрипел железом. Туманились в дымном солнце алюминиевые купола Донского монастыря. И потом, в жарко

натопленной читальне, где африканцу тепло и уютно, они сидят бок о бок, и он, Бобров, помогает ему разобрать путаную запись в конспекте.

Он подумал, что будущий его герой, подобно ему самому, мог знать в Москве Соломау. И, используя эту дружбу, как и сам он сейчас, заручается поддержкой друга, мог бы стать свидетелем самых острых военных коллизий. Той скрытой в саванне борьбы, недоступной для глаз европейца. Поляна с тлеющей жухлой травой, падающие от пуль африканцы. Вертолет родезийских «командос», отбрасывая огромную тень, садится, как летающая тарелка, высаживает десант. Соломау, скалясь, жарко дыша, прижимая трубу гранатомета, целит в свистящую, с проблеском винтов машину, бьет тугой дымной трассой, поднимая горбатый взрыв. И африканист, онемев, обессилев, видя свою смерть, принявшую вид вертолета, смотрит на пятнистых десантников.

Все это промелькнуло мгновенно. Бобров примерил на себя чужую роль и судьбу. Отказался от нее. Оставил на себе налет этой роли, тончайшей, осевшей пылицы.

— Ответь, министр позволил мне примкнуть к твоему отряду и отправиться в провинцию Газа на поиски аэродрома подскока? Ведь операция состоится, не так ли? Аэродром продолжает действовать?

— Он продолжает действовать, Карлуш,— Соломау гибко поднялся к карте, щелкнул по ней длинными пальцами.— Они по-прежнему перелетают границу,— он сделал легкий взмах, как бы переплескивая из ЮАР в Мозамбик невидимый самолет.— Летают вот здесь, вдоль границы Зимбабве,— он вел ладонью, словно поддерживал незримую, летящую над лесами машину.— Где-то здесь, на аэродроме подскока, они садятся, заправляются топливом и летят сюда, в Софалу, в район боевых действий. Везут диверсантов, взрывчатку,— он звонко щелкнул в точку по карте.— Если мы найдем аэродром и его уничтожим, мы поможем действиям наших военных бригад.

— Мне эта схема была понятна еще в прошлый раз, дорогой Соломау,— кивнул Бобров.— Но этого мало для фильма. Я был бы теперь готов проверить ее не у твоей замечательной карты, а на живой топографии в Газе. Поэтому меня и интересует ответ министра.

— Я тебе всю правду скажу, Карлуш,— Соломау вернулся в кресло и туго вытянул руки, словно делал гимнастику.— Его волнуют две вещи. Твое участие в боевой операции, очень скрытной, а ты — иностранец, хотя друг, хотя худож-

ник. И волнуют вопросы твоей безопасности. Лес, дорога, засады. Вот две проблемы, которые мы обсуждали с министром.

— Они почему-то не волновали его тогда, на приеме, когда он обещал мне содействие. Я просил его переложить все проблемы на тебя, командира отряда. Объяснил ему, что мы тысячу лет знакомы, с тех пор когда ты сам собирался снимать и ставить кино. Будем считать, что ты режиссер, и я вхожу в состав твоей съемочной группы, и мы едем снимать сцену ликвидации аэродрома подскока.

— Так я ему и сказал, Карлуш,— мягко улыбнулся Соломау.— Именно поэтому он передал мне право решать вопрос о твоем участии в операции. Как понимаю, он просто закрыл на это глаза. Не сказал ни «да», ни «нет». Если что-то с тобой случится, то тогда я, возможно, буду обвинен в самовольстве, и вся ответственность падет на меня. Остается надеяться, что с тобой ничего не случится.

— Дорогой Соломау, как хорошо, что ты еще не министр, а только командир отряда. Но я боюсь: с твоим тактом и склонностью к иносказаниям ты тоже скоро станешь министром. Кто же будет мне помогать, когда я приеду сюда со всей своей съемочной группой?

— Тогда мы поищем какого-нибудь другого командира отряда!

Они тихо смеялись, глядя один на другого, старинные знакомцы. Из разных глубин и колодцев черпали они воду, но сливали ее в общую чашу, пили ее вместе, вдвоем.

— Ты уже не пишешь стихов, Соломау? Так и не поставил свой фильм, о котором ты мне говорил? О своих партизанских походах? — Бобров смотрел на близкое, казавшееся моложавым лицо, где худоба и темный цвет кожи скрывали тонко нарезанные морщинки.— Ты оставил искусство?

— Должно быть, надолго, Карлуш. Среди охоты за диверсантами остается мало места искусству. Вот здесь ему остается совсем мало места,— он осторожно коснулся пальцами лба.— Совсем мало места.

— Я помню твои стихи. Помню, как сделал перевод твоего стихотворения на русский и мы поместили его в студенческую газету. Там были такие слова: «И больше ничем не спрашивай меня. Ведь я всего лишь отзвук твоей боли и надежды, Африка!» Там были такие слова?

— Они и остаются. Они остаются здесь,— Соломау коснулся пальцем сердца.— Но уже не выходят наружу. Как

видишь, Карлуш, я не стал поэтом, не стал режиссером и оператором, а стал офицером. Спасибо тебе за тот перевод, спасибо тебе за конспекты. Спасибо тебе за все, что ты для меня тогда сделал. Спасибо за теплую шапку, которую ты мне подарил в Москве, когда я в берете приехал в самый мороз и люди на ваших белых, снежных улицах на меня оборачивались.

— А я помню, как под Новый год я торопился, опаздывал в институт на вечер, и вдруг рядом затормозило такси, и ты открыл дверцу и усадил меня рядом, и там, в такси, была елка, и ты все нюхал ее, удивлялся ее русскому смолистому запаху. Надеюсь, и теперь я могу рассчитывать на место в твоём «джипе». Не сейчас, конечно, а денька через три, когда ты отправишься на поиски аэродрома подскока. Но также и завтра, если ты не изменил своих планов и мы едем на границу в Ресано Гарсиа.

— Ладно, Карлуш, будем считать, что прошло три дня, и ты в моём «джипе», и министр об этом ничего не узнает. Что касается завтрашней нашей поездки, не могу ли я рассчитывать на место в твоей машине? Мой шофер меняет у «лендровера» задний мост. Остальные машины в разгоне. Дорога до Ресано Гарсиа хорошая, и твой «пежо» не пострадает.

— Будем считать, что настало завтра, ты сидишь в моём «пежо», и министр об этом ничего не узнает!

Они рассмеялись, пожали друг другу руки. Проходя мимо охранника, все еще улыбаясь, Бобров вспоминал: по белой московской улице, сквозь сугробы, идет африканец, в кедах, в малиновом шарфе, в натянутом на уши берете.

4

Он поставил машину в тени бетонного ребристого здания с вывеской «Проект Лимпопо». Такие же черно-желтые эмблемы были наклеены на дверцах двух микроавтобусов, с которых рабочие сгружали алюминиевые ящики.

Поднялся по лестнице сквозь треск печатных машинок, сторонясь пробежавших, на ходу читающих клерков. Постучал в приоткрытую дверь, услышал по-русски: «Войдите!» Шагнул на это, показавшееся родным, приглашение. Оказался в небольшом кабинете, где два человека, похожих, обветренно-солнечных, некабинетных, пшенично-степных, сидели напротив друг друга. Оглянулись недовольно, перенося на него, вошедшего, скопившееся раздражение спора.

— Кирилл Андреевич! — воскликнул один, радостно меняясь лицом. — Наконец-то вы к нам пожаловали!

— Не помешал? — спрашивал Бобров, извиняясь, пожимая обоим руки, дорожа этими крепкими, со встряхиванием, пожатиями.

— Да какое! Может, наоборот, поможете мне уломать этого упрянца!

Начальник проекта «Лимпопо» Ступин, — с ним Бобров познакомился накануне, во время своего выступления в польской колонии, — маленький упругий крепыш, сердито насупился, зыркнул на второго, показавшегося Боброву тоже знакомым. Где-то мельком виделись, то ли на улице, то ли в холле гостиницы.

— Посидите, Кирилл Петрович, мы тут должны один разговор добить, — Ступин указал ему на глубокий диван, куда и опустился Бобров, видя перед собой их обоих на фоне большой рукодельной карты с синей струей Лимпопо, испещренной цветными клетками.

— Вы меня, Александр Лукич, ни добром не просите, ни кулаком не грозите. Не стану контракт продлевать! — «волжанин», отвлекаясь от Боброва и тут же о нем забывая, устремился на Ступина. — Я перед вами чист, полный контракт отработал. «Онучкин, наладь стройбазу!» Наладил, только начал домой собираться: «Онучкин, останься еще на полгода. Наладить рембазу». Ладно, остался, наладил. А теперь опять: «Останься, наладь техпрофобучение». Нет уж, Александр Лукич, хватит! Ведь, кроме Лимпопо, и другие речки в мире текут. Ока, например. Или, скажем, Клязьма. На Оке, в Спас-Клепиках, мать-старуха живет. Поеду домой отдохнуть. С женой пожить, с ребяташками. На мать успеть поглядеть. Не держите меня, Александр Лукич. Пусть кто помоложе в Африку едут, на Лимпопо свое счастье поищут!

Бобров напряженно, чуть-чуть слушал Онучкина, хотел понять его, тоску и усталость, ту силу, что влекла его на милую половину земли. Его сны и видения: старый дом, окрапленный рябинами, мать идет от колодца и в ведрах, в воде, играет бледное солнце. И мгновенное, ответное, подобно панике, чувство не здесь и не так проживаемой жизни, которой все меньше и меньше, посетило Боброва. Вдруг уже не успеть налюбоваться, наглядеться на милых, надышаться морозом и снегом, насладиться березняками, порошами.

— Вот ты мужик упрямый! Будто я тебя здесь на всю

жизнь оставить хочу! На Лимпопо тебя поселяю! — шутя, но и с сердитым, плохо скрываемым нетерпением убеждал начальник проекта. — Ну поработай еще годок. Я тебя в Бейру с собой возьму, города посмотришь, лучше страну узнаешь. А? Поработай?

— Нет, Александр Лукич, я свое отработал и другие города смотреть не хочу. Мне с детьми охота пожить, с женой, пока оба совсем седыми не стали. Они мне пишут: «Папка, приезжай, поплывем на теплоходе до Астрахани». Много я всяких городов перевидел, а вот наших, поволжских, повидать не успел. В Костроме не успел побывать. В Ярославле не успел побывать. В Астрахани не успел. А какие, говорят, города! В Африке таких не увидишь. Плыдем мы с женой, с ребятишками по Волге, на зеленые берега, на белые города любимся!

— Да еще успеешь, насмотришься! А сейчас здесь твое место. Ну потерпи! Я тебе одну вещь скажу. Ведь тебя как классного работника к награде представить хотят. Привезешь из Африки орден.

— За доверие спасибо, Александр Лукич. А ордена, вы знаете, я и у нас добывать умел. Из Тургайской степи оба с вами по ордену в Москву привезли. И из Туркмении, из Голодной степи. Нет уж, домой пора!

— Ты вот сюда своей волей ехал, Онучкин. «На Африку, говорил, погляжу! Хочу, говорил, ее руками пощупать!» Ну и щупай теперь! Ты с Лимпопо другим человеком вернешься. Теперь уж не техникой, а людьми управлять сможешь!

— Ну зачем мне, Александр Лукич, дорогой, людьми управлять! Это вы управляйте. И мной, и другими. У вас это лучше выходит. А мне бы только в семью вернуться и там управиться. У ребятишек отметки в дневнике проверять. У жены — как она щи сварила, благодарность ей выносить. Вот оно, мое министерство! Вон он, мой главк!

Бобров их слушал, и ему казалось: эти двое ждали его с разговором, наводили на какую-то мысль. Все о том же загадочном для него человеке, его герое, африканисте. Поддавался ли тот, путешественник и скиталец, извечному, насылаемому на всех искушению? Славой, властью, богатством, что уводят нас от родного порога? И кружим по странам, по царствам, ищем ослепительной правды, открываем Чукотки, Аляски. Ставим ногу на лунный грунт, но, когда упадем бездыханно от хвори, от пули, от слабости на какой-нибудь чуждый утес, под какой-нибудь стылой звездой, над

нами пронесут, как лучину, ту забытую робкую истину — об отчѣм пороге, о бабушке, о портрете отца.

— Может, ты боишься, Онучкин? Может, я зря тебя уговариваю? — Ступин, теряя терпение, засмеялся с металлической неприятной издевкой. — Может, ты труса празднуешь? Стрельбы боишься? Почувствовал, что обстановка в провинции обостряется, и, как сказать, потише местечка ищешь? В Спас-Клепиках и правда потише!

— Нет, — укоризненно ответил Онучкин, не впадая в ответное раздражение, а как бы жалея начальника за этот неправый упрек. — Нет, Александр Лукич, труса никогда я не праздновал. Нам и в Москве говорили: не на курорт, а в «горячую точку» едете. Кто не захотел, тот отказался. И здесь вы могли меня хорошо понять. Когда нам склад горючего подожгли и я из огня трактора выводил, плечо до волдырей себе сжег. И когда буровую на базу везли и нас по пути обстреляли, ранили мозамбикского мастера, я не отказался с буровыми в лес уходить, никакого труса не праздновал. А про Спас-Клепики вы зря говорите, что там спокойно. И слава богу, что там не стреляют.

— Да ты мне свою тоску-то не пой! Довольно мне тебя уговаривать! Правильно говоришь, не по путевке сюда приехал, а по заданию государства. Ты — государственный человек! Не ты лично контракт заключал, а в твоём лице государство! Ты здесь политику делаешь! Ты пойми, ты же государственный человек, Онучкин!

— Да что вы меня политграмоте учите, Александр Лукич! — смутился впервые и внутренне поколебался Онучкин. — Мы все государственные. Сиську сосем, а уже государственные. В детский садик идем, а уже государственные. Это я все понимаю.

— Ты же здесь поездил, Онучкин, ты страну, как никто, повидал, — наступал начальник проекта. — Ты же видел, как народ здесь живет. Дом — три палки, корыто, горшок, — вот и все богатство! Ты ребятишек их с голодными пупками, с ребрышками цыплячьими видел? Мы с тобой видели, как с голоду умерших детей хоронят! Как женщины здесь беременные, вот-вот родит, лица на ней нет, а на поле идет, тупой тюкает, свой колосок добывает. Как мужчины на себе сохи таскают с пеной у рта. А ты им своей водой, своим плугом, своим трактором хлеба дашь. Может, оттого, что ты еще на год останешься, здесь в первый раз от сотворения мира человек человеком станет. Ты на своих домашних не доглядишь, жену не долюбишь, детишек по голове не

догладишь, но благодаря тебе кто-то проживет на земле не до тридцати лет, а до пятидесяти! Ребенка не похоронит. Сытыми глазами на мир посмотрит и увидит его красоту!

Ступин, вдохновенный, верящий, уже не убеждал, говорил не против Онучкина, а вместе с ним, для себя, для него. И Бобров поражался продолжению образа все тех же «цветущих садов», что люди несут в себе сквозь бойни и мор.

— Ладно, Александр Лукич,— тихо сказал Онучкин.— Давай контракт, подпишу. Придется на Лимпопо профобучение налаживать!

Встал и зашагал из кабинета, коренастый, плотный, оставив до другого наболевшего случая свои ропоты, тоску и усталость. Пошел садиться за рычаги и баранки, бурить и торить дороги, в топях, в пустынях, в своей собственной, утомленной, стремящейся к свету душе.

Остались вдвоем со Ступиным. Давая остыть собеседнику, Бобров осторожно вовлек его в разговор о проекте. Хотел узнать поподробнее. Об огромном, на долгие годы замысле, превращавшем топкую пойму Лимпопо в житницу риса. Голодающая, в продовольственных нехватках страна будет накормлена. Река отдаст свою силу электрическим станциям. Первобытные наделы земли, разрозненные скупые клочки соберутся в госхозы, в поселки с больницами, школами. Народ, добывший в войне свободу, добудет в трудах свое благо. Об этом, помолодев лицом, взбив на макушке вихор, рассказывал Ступин, похожий на прилежного школьника. Тыкал указкой в самодельную карту, в клетки будущих рисовых чеков, в трассы дорог, водоводов.

— Да вы бы приехали к нам в Шай-Шай, Кирилл Андреевич, посмотрели бы, как наши работают,— приглашал он Боброва на Лимпопо.— Это, пожалуй, для Африки первое такое исследование. Весь природный комплекс исследуем. И климат, и воды, и почвы. Белое пятно стираем. Вам бы интересно увидеть.

— Я как раз, Александр Лукич, хотел вас об этом просить. Дня через два собираюсь в Шай-Шай. По одному специальному делу. Но также и к вам заглянуть. Очень хочу посмотреть на проект. Ищу ему место в картине.

— Ну рады будем, конечно! Вы нам о своих фильмах расскажете... И о будущем. Вы уж когда к нам приедете, выступите перед нашими, будьте любезны. Мы ведь все в некотором роде африканисты.

— Да я уж видел, как вы сейчас с одним из них разговаривали,— засмеялся Бобров.

— Он африканист, уверяю вас! Онучкин — африканист настоящий. Ему бы в отпуск слетать, отдышаться, и опять его в Африку потянет. Африкой он болеет. Конечно, тяжело здесь северному человеку, что и говорить. Вода не та, и воздух не тот, и звезды не те ж. А вот тянет сюда! Яростная здесь природа, яростная жизнь. Может, поэтому нас и тянет сюда? Я в Алжире работал, и в Нигерии работал, и в Танзании работал. Каждый раз зарекаюсь — хватит! И снова еду. Люблю Африку!

Боброву казалось, в этом белесом, по-мальчишески стриженном ученом пульсировала все та же древняя, непонятная многим страсть, уносившая человека от своих ворот и подворий к великим хребтам и рекам, расширявшая ему восторгом зрачки от зрелища мечетей и пагод, научавшая чужим языкам и поверьям, влекущая к чужому укладу и быту. Та драгоценная, в народе живущая широта, обнимавшая, как дыханье, другие народы, презиравшая империи и царства, созывавшая в общий круг и союз. Одолевали границы и расы, разорванность вер и культур, разбросанность по лику земли. Делили с чужаком свой хлеб и утеху, свой труд и беду.

— Послезавтра утром я хочу поехать в Шай-Шай,— сказал Бобров, поднимаясь.— Могу я рассчитывать, что ваши люди меня там встретят?

— Да зачем встречать! Я сам послезавтра еду! Зачем вам свою машину трепать. Утром на «лендровере» за вами заеду, вместе в Шай-Шай и махнем! Хотите, с нами на базе живите. А нет, тут же рядом отельчик есть. Все вам покажем. По Лимпопо покатаем!

Они расставались, одаряя друг друга радушием, два соотечественника, сведенные на черном, воюющем, строящем, добывающем свою истину континенте.

5

Приближалось время обеда, тот мучительно обнаруживающий себя в Африке промежуток, когда в его биоритме открывался провал. Обнаруживалось резкое понижение тона. словно земля в своем осевом вращении посылала силы своих полей — гравитацию, магнетизм, электричество — навстречу ему. И он вступал в противоборство с земными энергиями. Его посещала мгновенная усталость и слабость.

Раздавленный, прижатый центробежным вращением, борясь с перегрузками, он глазами, сердцем, взбухавшими головными сосудами слышал кружение земли. Казался себе крохотным зашкаленным амперметром, включенным в планетарные витки электричества. Искал, где бы укрыться и лечь, занять горизонтальное положение, как в кабине стартующего корабля, чтобы переждать этот мучительный отрезок дня, выдержать давление неба.

Он погнал машину за город, пригибаясь к рулю, как бы убегая от солнца, чувствуя за спиной настигавшую его громадную тень земли. В предместье, у океана, начинались прибрежные сосны, ютилась рыбацкая, продуваемая ветром деревушка. Рыбаки выводили в океан свои утлые парусники, вечером возвращались с уловом. И тогда под соснами толпились приезжающие из Мапуту машины, и можно было встретить весь дипкорпус и аккредитованную прессу, с женами: покупали рыбу, осторожно перекладывая с боку на бок свежих, холодных, пахучих, лежащих в тазах тунцов. Приносивались к розовым мерцавшим креветкам. Принимали в кошелки и сумки черно-радужных, стучащих створками мидий.

Сейчас на берегу было пусто, ни единой машины. И маленькие пепельно-мохнатые обезьяны с темными стариковскими личиками кинулись навстречу ему, ожидая подачки.

Он поставил автомобиль в зыбкой тени под соснами. Достал из багажника циновку. И пошел на близкий слепящий свет океана по песку, по коричневым палым иголкам, оставив у машины разочарованных сердитых обезьянок.

Шел по дюнам, не выходя из-под сосен, боясь ступить на желтый горячий кварц с торчащими кактусами, за которыми липко и мелко зашевелился отлив, увеличивая вдаль свою синеву, свое солнце, туманился в огромный океанский простор с чуть видными у горизонта парусами. По отливу бежали глазированные дети, взрывая пятками плещущий свет. Падали в соленые лужи, превращаясь в яростные, черно-слепящие взрывы. Их старшие сестры и матери в разноцветных намокших юбках стояли по колено в воде, гибкими, похожими на журавлиные шеи руками выхватывали из мелководья моллюсков, кидали их в подвешенные на шеи мешки.

Он нашел защищенное место за песчаным бугром, где на отмели слабо колыхалась рыбацкая лодка. Расстелил под качающейся сосной циновку. Медленно, словно боясь потерять равновесие, разделся. Лег, почувствовал, как уп-

лотнился под циновкой песок, принял контуры его тела. Лежал, остывая, как горячая в песчаной форме отливка. Радовался тому, что добрался до безлюдного места. Дышал запаленно и часто. Медленно затихал, выпадая из жесткого ритма. Вытягивался, принимал постепенно наиболее благоприятное, обтекаемое положение, в согласии с мировыми, реющими над ним силами. Не боролся с ними, а отдавал себя в их власть, в их полет, в их звучание. Чувствовал непрерывный, тихий свист, мелькание розоватых теней сквозь веки. В голое тело ударялись бесчисленные, слетавшие с дюн песчинки, оторвавшиеся от океана, крохотные, успешные нагреться в полете брызги. Открыл глаза, и над ним лохмато, бесшумно пронеслась голубая бабочка, повторяя в воздухе контуры его тела, пугаясь невидимого, исходящего от него поля. И этот испуг бессловесной твари, унесшей с собой его отражение, передался ему, как тончайшее страдание.

Немощь, приключившаяся с ним в последнее время, была не болезнью. Не несла распада, разрушения органов. Не влекла прямой физической боли. Она коренилась в чем-то, что было связано с запасом энергии, с тем механизмом жизни, что компенсирует траты сил, таится в безымянном, не имеющем анатомического названия центре.

Это была не болезнь, нет. Это было, как казалось ему, исчезание. Было медленной неуклонной тенью, наступавшей на него отовсюду, бросающей в него свои сумерки, превращавшей его в неживое, в ничто.

Он только догадывался о природе постигших его перемен. Постигших прежде, в Москве, толкнувших в Африку.

По-прежнему он оставался верен своим идеалам. Тем ранним, лежащим в основе его искусства чаяниям — о неизбежном, вызревающем в человечестве братстве, понимании общей судьбы на земле, задачи переустройства земного дома и самих себя в этом доме для грядущего всечеловеческого труда в мироздании. Той, с юности воспринятой философии, что питалась книгами великих мыслителей, общением с молодыми друзьями, выбредающими из иллюзий и заблуждений, беседами с дедом-философом.

Он по-прежнему умел и любил работать. От первого институтского дипломного фильма до больших, получивших признание картин он не бегал от жизни, не искал вдохновения в испытанных временах, выверенных традицией приемах и образах. Входил в сверхплотный искрящийся контакт с непроверенной, не запечатленной в искусстве реально-

стью. Побеждал ее и смирял. Находил ей образ. Давал ей имя. Нарекал ее. Его работы, метафорические, с избыточной образностью, были летописью проходивших в стране перемен. И новый, задуманный фильм об Африке был в том же ряду. Он должен стать оттиском с живого, страдающего лика земли.

И по-прежнему здесь, далеко от отчизны, он служил своему государству. В глобальной борьбе и схватке, завершавшей век, расколовшей человеческий род, он действовал во имя Отечества. Нес в себе его напряжение. Желал ему, сквозь невзгоды, высшей судьбы. Служил ему верой и правдой, своим искусством.

Все было так, как всегда. Внешне он оставался все тем же. Был горой, как однажды пошутил его друг. Но там, в глубине горы, что-то осыпалось и рушилось.

В глубинных залеганиях, в известняках и песчаниках, силами грунтовых вод вымывались и выносились слои, вытачивались пустоты и полости. И постепенно в сердцевине горы открывалась пещера. Задувал подземный сквозняк. Начинали селиться угрюмые, не ведающие света силы. И город, построенный на горе, повис на хрупком утонченном своде, готовый рухнуть в провал. И надо было не медля ставить столбы и опоры, возводить подземные крепи, взять в бетон и в железо открывшуюся в глубине пустоту. Но не было знания. Не было знания о подземной архитектуре души, тронутой оползнем.

Он лежал среди ветра, свистящего в соснах, несущего из океана далекий шторм. Тело его, неподвижное, вдавилось в песок. По ногам, казавшимся окаменевшими, бегали тени. Множество легких, летучих песчинок сыпалось ему на грудь, застревало в волосах, медленно, мельчайшими приращениями погребало его. По плечу, как по камню, полз зеленый цепкий жучок. И он казался себе почти неживым, и хотелось остаться здесь, быть занесенным песчинками, сухими опавшими иглами, уйти без следа в дюну. Перестать расходовать свои убывающие силы на деятельность, на мышление, на самую жизнь. Безболезненно перейти в неживую природу.

В соснах раздались голоса. На берег, неся свернутый рулоном парус, весла и снасти, вышли голоногие худые рыбаки. Прошли совсем близко от его головы, на него не глядя, оставляя твердыми пятками лунки в песке, брызгая сыпучими бурунчиками. Приблизились к лодке, и Бобров следил, как, упираясь, напрягая рельефные мышцы и решет-

ки ребер, они сталкивают пирогу на глубину. Навешивают парус, зычно, бессловесно перекликаются. И, вскочив через борт, ударив веслами, поймав в парус ветер, уходят по расплавленному жидкому блеску, чернея на нем, затихая головами,— в туман, в синеву, где у горизонта малыми зубцами маячили другие лодки. Рыбаки, в предчувствии шторма, торопились добыть улов.

Явление рыбаков, их упорная, вопреки стихиям, работа побудила его очнуться. Сначала не телом, продолжавшим лежать бессильно, а только встрепенувшейся мыслью. Но потом он поднялся, стряхивая с себя невесомую сеть песчинок, теней и опавшей хвои. Провел по груди рукой, оставляя гаснущий след, словно убеждаясь, что плоть не окаменела, жива. И устремился душою ввысь, торопясь, убыстряя движение, над морем, над рыбацкими лодками, взмывая свечой к небесам, как бы ища ту цель, к которой бы мог прикоснуться, воскресить свои силы и свежесть.

Это был шарящий молниеносный полет, в котором мысль шарахнулась от тучи с грозой и ливнем, от всплывшей в океане подводной лодки, от границы в полупустынной саванне, охваченной войной и пожаром, от чужих столиц. И вдруг восхитилась, поймав знакомый, сегодня уже залетававший в нее мимолетно образ: Москва, снегопад, видение Кремля.

Его первое, новогоднее посещение Кремля, когда им, школьникам, впервые открылись его врата. Арка, красные, убеленные инеем стены, словно в кирпичах из швов проступила соль времени. И он робко, страхась, пропуская над головой морозные переливы курантов, вошел в другое пространство. Воздух, земля, свет были иными. Как бы иной природы, иной концентрации. Величавое окаменелое время и его малая горячая жизнь вошли в сочетание. Его горящее от мороза лицо — с белыми лицами дворцов и храмов. Его глаза — с их золотыми глазами. И такая вдруг нежность, восторг. Понимание, что он ими принят, они его любят и видят, и он им родной. Они знают, что ему хорошо среди их белизны. Они поджидали его здесь всегда. Знали о нем, нерожденном. Примут его к себе, когда он исчезнет с земли.

Лесная высоченная ель, поставленная в Георгиевском зале, среди возбужденной молодой толпы, музыки, песен, казалась ему еще полной ветра. Двигала свое острие по огненным, пылающим солнцем люстрам и хрусталиям. И было больно смотреть, зрачки напрягались, читая имена геройских полков. И все они, бомбардиры, пехотинцы, стрел-

ки, все павшие на редутах и флешах, на великих полях и морях — все были здесь, на празднестве, собрались вместе с ним под елью.

Спустя много лет он получал в том же зале орден. Среди именитых людей, принимая награду, он вспомнил ту давнишнюю елку, то чувство ликования, восторга. На этот раз не было ликования, восторга. Было утомление от недавнего законченного фильма. Но зал был тот же, прекрасный. Белые солнца огней. Имена гвардейских полков. В них звуки пальбы и оркестров.

Лежа на мозамбикском песке, овеваемый ветром, приближавшим со стороны Мадагаскара тучу и дождь, он старался представить Кремль, рассмотреть его в мельчайших подробностях. Каждый красный кирпичик и лазоревый изразец, каждый завиток в каменных отложных воротничках на дворце, каждое колечко в цепях, поддерживающих кущи крестов. Не мог. Кремль не дробился на части. Сливался в целое. Парил над ним, как облако. И одновременно дышал в груди. Был не просто зрительным образом, был состоянием — из света, любви.

Он жалел теперь, отделенный от Кремля пространством земель и вод, своей огромной усталостью, жалел, что так и не прочел никогда надпись под шлемом Ивана Великого, солнечные, взметенные ввысь письма, предназначенные для великаньего ока. Он так и не стал великаном, не поднялся в рост с Иваном Великим. Жалел, что не рассмотрел, не запомнил всех птиц и зверей, все лики в Грановитой палате, весь цветущий, рассыпанный по стенам гербарий душистых трав и цветов. Не унес с собой в памяти фрески, когда ходил по соборам, а унес лишь гулкое, рассеченное светом пространство, переполненное все тем же, внеобразным, из печали и любви, состоянием. Ему казалось всегда: Кремль не имеет строителей, ни зодчих, ни каменщиков. Он строился сам, осаждал в себе то, что не умирает с отдельной смертью, не пропадает с исчезающими с земли поколениями. Каждое из них, отвоевав, отликовав, отсеяв, оставляло в Кремле свою нетленную часть, свое немеркнущее свечение. Любая малая жизнь, сгорая, исчезая с земли, вносила свою лепту, свой крохотный взят, свой мед, добытый в трудах и мучениях. И он теперь, чувствуя свое угасание, стремился к Кремлю. Хотел коснуться его куполов хоть малой снежинкой.

Умер дед, любимый наставник, с кем с детства до зрелого мужества существовала духовная связь. Это была первая

реальная смерть, разразившаяся в семье, после отцовской, случившейся в детстве. Погребальная машина, вместив тяжелый, желто крашенный гроб, окруженный притихшей родней, катила по зимней Москве. Он смотрел на бабушку, мать, на теток, беззащитных, стремившихся своими слабыми стареющими телами закрыть ту страшную брешь, открывшуюся вдруг среди них, куда устремился дед, куда и им предстояло уйти. И в нем, помимо боли и жалости, присутствовало огромное, до слез, недоумение, непонимание этого общего всех удела. Они проезжали Замоскворечье, задымленное, в толпе машин, и вдруг в прогале домов, в холодном январском солнце блеснул красно-блный Кремль. Явил соборы и башни, и словно на горе, в открытом застолье сошлась семья, любящая, тесная, дружная. И там, возвышаясь над всеми, сидели его дед, и бабка, и мать, и убитый на фронте отец, и он сам той маленькой благовещенской главкой сиял среди них. Это прозрение, возможность победы над смертью, возможность встречи в грядущем посетили его с видением Кремля сквозь стекло похоронной машины.

Роды жены, трудные,— кесарево сечение. Он, в белом халате, в маленькой предоперационной комнате. Бригада медиков у осциллографа следит за биениями, исходящими от сердца жены, от сердца еще не рожденного сына. Он тоскует, страдает, бессильный помочь. Призывает к ней, близкой, берущей на себя страшное бремя жизни, трепещущей между жизнью и смертью, призывает все спасительные добрые образы, посылает ей свою силу. Отворилась дверь. Его поманил хирург, еще в фартуке, в маске. И другой, от окна, от широкого белоснежного света, где в дымках розовела Москва и сверкала далекая гроздь Кремля, протянул к нему его сына. Крохотную орущую плоть в алой росе, омытую кровью жены. И он, отец, пережил свое отцовство как из счастья и боли испуг, как обморок. Снег. Кремлевское золото. Сын из алой купели. Их первое свидание и грядущее потом расставание. Он падал, пропадал в забытие на руки сестер и хирургов.

Они гуляют с женой, еще не женой, а невестой, по Александровскому парку. Он целует ее среди предзимних деревьев. И, словно от его поцелуя, посыпало, помело, повадило, окружило их колеблемой плотной завесой. На плечах и на шапках снег. Кто-то выскользнул из пурги в белой снежной папаше. Мелькнул красный угол башни. И внезапно дохнула трубная медь, будто в белой метели заиграл,

затрубил оркестр. И из белого занавеса многолюдным видением возникли и прошли три парада. Кожанки, банты, неровное колыханье штыков, кумачи и призывы гражданской. Овчинные полушубки, ушанки, угрюмо-стальные жары — шествие сорок первого года. Каски, ордена и знамена, груды враждебных штандартов, вал победных полков. Три парада, возникая один из другого, превращаясь один в другой, проплыли в белизне снегопада. Кремль. Они подходят к стене. На розовом сыром кирпиче мокрым снегом вылепляют свои имена.

Его друг — футуролог, с кем свела их общая мысль, общая молодая задача: объяснить и осмыслить мир. Сквозь рознь и нехватку ресурсов, сквозь военные конфликты и споры раскрыть медленно встающую истину. О неизбежном единстве людей. О новом земном устройстве. О разумном управлении миром. Их беседы, их встречи, когда в полемике, с молодой игрой эрудиции, привлекались древнейшие тексты и трактаты социальных мыслителей, теории индустрии и техники и пророчества мудрецов и поэтов. Цитировали Ленина, Маркса, сопрягали Корбюзье с Циолковским. В их союзе, в их длящейся непрерывно полемике оттачивались не просто идеи, оттачивалось направление их жизней. И всегда для своих прогулок они выбирали набережную, Кремль, Красную площадь. Василий Блаженный вращал в небесах разноцветные жернова, а ему казалось: трется, перемалывается незримое, добываемое в мучениях зерно, чтоб когда-нибудь, когда завершится помол, мир убелился, принял цвет белоснежной пшеницы.

Теперь он лежал на песке, как малое зернышко, перенесенное через океаны и земли, и из этого зернышка выросло видение Кремля. Открыл глаза. Из океана, вблизи, в отдалении, подскакивая на волнах, разворачивая косые паруса, подходили лодки. Навстречу им из селения выбегали дети и женщины. Лодки, темнея бортами, храня в них пластику древних африканских пирог, выскальзывали на мелководе, врезались в песок. Рыбаки, голоногие, прыгали, расплескивали воду, стягивали паруса, волокли ладьи на песок. Шли на берег, навьюченные мокрыми, горбящими их сетями и веслами. Ребятишки и женщины волочили слизистые мешки с уловом.

Близко от его головы прошла шумная гомонящая ватага. Пронесла на бечевке плоскую рыбину с напряженными, дрожащими плавниками. На Боброва пахнуло океанской пучиной.

Он свернул цинковку, прошел к автомобилю. Оделся. Двинулся в город. Загнал на стоянку машину.

Пешком, держась теневой стороны, вернулся в «Полану». Работал до сумерек. Фантазировал, выстраивал сцены. Ему хотелось продумать ту, жестокую, связанную с устранением предателя. Гонка машин в дожде. Ночной, озаряемый молниями океан. Песчаная дюна в пучке автомобильных фар. И предатель, тот неведомый Чики, о котором говорил Микаэль, представлялся ему в красной рубаше, коренастый, плотный, еще не ведающий о своем конце, выходит из машины под дождь, оттирает лицо клетчатым желтым платком.

Он работал, отвлекался. Следил за бесшумными, возникающими за окном кораблями. Когда стемнело и по набережной покатались прозрачные, похожие на графины с водой огни, отложил бумаги. Пора было отправляться на концерт «Амандлы». Сел в машину и поехал в «Олимпию».

6

Перед кинотеатром на ночной улице в латунных отсветах рекламы клубилась толпа. Бобров оказался в ее плотном праздничном бурлении. Вглядывался в мужские и женские лица, в улыбки, пожатия рук. Явились не просто на концерт, не просто развлечься. Пришли увидеть друг друга, пережить свое изгнание, свое единение. Ансамбль «Амандла» позвал на свое представление, как созывают на митинг.

— Карл, добрый вечер! — Микаэль, улыбающийся, все в той же ярко-синей открытой рубаше, тронул его за плечо. — А мы вас искали.

— Я первая вас увидела, — рядом с Микаэлем стояла Мария, чуть поклонилась, протянула Боброву руку. И, пожимая ее тонкие пальцы, пробегая глазами по высокой прическе, по перламутровым, тронутым помадой губам, по открытой шее с серебряным кулоном, он испытал мгновенное волнение и радость, сочетав их с общей праздничностью, с мигающими лампочками рекламы, скачущими по тротуару детьми. Ветер, прилетев с океана, сильно пахнул, и Мария, скользнув руками по бедрам, прижала свое платье. — Будет дождь, — сказала она. — Вчера мы так и не повидались, Карл.

— Я заходил к вам в офис. Мне сказали, вы с кем-то уехали и вернетесь не скоро.

— Приехал наш товарищ из Лондона. Я была с ним эти дни. Теперь я свободна. Я приготовила, как вы просили,

газеты и бюллетени. Они вас ждут. Можете зайти в любое время.

— Спасибо, что не забыли мою просьбу.

Мария работала в пресс-центре АНК. Боброву было известно: ее муж два года назад был ранен в операции в Дурбане. Попал в плен. Был осужден. Теперь томился в тюрьме.

— Я говорил вам, Карл, «Амандла» только что вернулась из Европы,— сказал Микаэль.— Гастроли прошли с успехом. Я просматривал рецензии лондонских и парижских газет. У нас все больше друзей в Европе. Вы получите удовольствие, Карл.

— Сегодня поет Джон Мвамбе,— сказала Мария.— Он вышел из госпиталя. Легкие его заживают. Я спросила: «Тебе не больно петь, Джон? Пуля тебе не мешает?» Он мне ответил: «Пуля мне помогает».

— Мы не должны его больше пускать под пули,— сказал Микаэль.— Его голос — гордость Южной Африки. Его оружие — не автомат, а песни.

— Добрый вечер, друзья!

Бобров оглянулся, почти испугался. Перед ним стоял маленький, крепкий африканец, в красной с белыми шнурками футболке. Вложил в рукопожатье Боброву бодрый горячий удар. Толкнул Микаэля в плечо, и тот засмеялся. Извлек из кармана клетчатый желтый платок, вытер блестящий лоб.

— Мария, ты сегодня такая красивая. Похожа на артистку. Почему бы тебе и вправду не выступить с собственным номером? — спросил африканец в красном.

И Бобров, поражаясь совпадению — желтому платку и красной рубаше, видел в этом улыбающемся, приветливом человеке другого, неизвестного — Чики. Действовал волей творца. Совершал переселение душ. Помещал душу убитого, понесшего кару предателя в эту живую, ничего не подозревавшую душу. Помещал человека в свой будущий фильм, в сцену казни на берегу океана.

«Вот так он и будет выглядеть — предатель»,— думал Бобров, рассматривая крепкие, открывавшиеся в улыбке зубы, смеющийся взгляд, подкову усов над пухлыми добродушными губами.

— Так почему бы тебе не выступить с собственным номером? — повторил африканец в красном.

— Мой номер — постоянное сидение в офисе,— отвечала Мария.— Разве вы позволите мне отлучиться? Сижу, как пленная. Спасибо Франциско, он приехал и внес в мою

жизнь хоть некоторое разнообразие. Вот возьму и уеду с ним в Лондон. В лондонском отделении, сказал он, есть для меня хорошее место.

— Завтра ты будешь нужна нам здесь,— сказал Микаэль.— Завтра ты и я — мы едем в Ресано Гарсиа.

Бобров смотрел, как дружелюбны все трое. Как Мария держит под локоть крепыша в красной рубаше, как шутит с ним Микаэль. И крепыш, возбужденный и праздничный, оглядывается, притопывает туфлями, усыпанными медными бляшками, и все трое напоминают студентов, легкомысленных и спортивных.

«Ничего, он простит мне,— думал Бобров, отбирая у него его внешность, уже пользуясь ею по своему усмотрению.— Он — Чики, предатель, и он мне за это простит...»

— Пора,— сказала Мария.— Мы можем остаться без мест.

И сквозь тесные двери они вошли в помещение театра.

Зал был полон, сумрачно освещен. Казался черным от лиц. Вспыхивал белками. Вибрировал, гудел, шелестел, словно по рядам проходили высоковольтные жилы. Он сел в кресло рядом с Марией, пропустив Микаэля в глубь ряда. Стал осматривать зал.

Люди в рядах были те, кто покинул родину, близкую, лежащую рядом, за соседней границей, обильную и богатую, пленявшую своей красотой. Оттуда, с родины, изгоняя, истребляя, ввергая в муку и боль, целились в них беспощадные жестокие силы, и все они, здесь собравшиеся, были в рубцах и шрамах. Иных он знал в лицо. Ту маленькую хрупкую женщину, с девичьим бантом на платье,— ее избивали в полицейском участке, насиловали, и она от пыток на время потеряла рассудок. Того горняка с костылем,— белый мастер толкнул его под вагонетку, и ему отхватило ногу. Того седовласого, в белом пиджаке адвоката,— всю жизнь на судебных процессах защищал африканцев и сам угодил в тюрьму, прошел сквозь застенки и пытки. Тех студентов, что покинули добровольно колледж, оставили на время науки, взялись за науку войны с ненавистным правительством. Того измученного, с конвульсией боли бойца, подорвавшегося на mine,— только что поднялся с одра. Они принесли в этот зал свою боль и несчастье. Сложили их вместе. И Боброву казалось: зал заминирован этим стиснутым воедино страданием. Поверни взрывмашинку, и раздастся сокрушительный взрыв, сотрясающий твердь удар. Мария, вытянув гибкую шею, напряженная в кресле,

была как и те — раненая, обожженная. Он чувствовал ее соседство, как колеблемое близкое пламя.

Зажглись прожекторы — как лучи нетерпения из зала. Поднялся занавес, и под тихую музыку началось представление.

Наивные лубочные пантомимы изображали историю Южной Африки. Полуобнаженные темнокожие люди собирали плоды, мотыжили землю, танцевали и любили друг друга. Но вот появились пришельцы — белолицые, в шлемах, с мушкетами. Стали стрелять, убивать, заковывать в цепи туземцев. Сцены неравных сражений: копья и луки против пушек и ружей, падающие под пулями воины. Рабский труд на плантациях, звон кандалов, белокожий бур ставит ногу на голову темной невольницы. Черные шахтеры в разноцветных пластмассовых касках пробуют бунтовать, и их разгоняют стреляющие цепи солдат. Похороны убитых шахтеров и клятва оставшихся жить. Воплощение клятвы — налет смуглолицых бойцов на полицейский участок. Стук автоматов, вой полицейских машин. И медленно краснеющее, накаляющее сцену зарево с возносящимся словом «Африка». И к этому слову тянутся сжатые кулаки, автоматы, мотыги. Звучит грозно-яростный хор.

Бобров смотрел на сцену и в зал. Наивные, плоско-облегченные лубки мгновенно тяжелели, становились выпуклыми, наполнялись состоянием зала. Зрители причитали, замирали, свистели и улюлюкали вслед белым полицейским. Стенали и плакали вместе с погребальной процессией. Метали вверх кулаки, вдохновляя боевиков-автоматчиков. Сам зал был зрелищем. Люди находились на той черте возбуждения, что казалось, позови их — и они с детьми, стариками, всей накаленной толпой пойдут к границе сражаться, погибать, отдавать свои жизни в этом огненном зареве. Искусство на сцене было смесью фольклора с политикой. Легкие быстродействующие агитки входили в молниеносный контакт с накопившимся в душах страданием, с жаркой африканской эмоцией, становились ритуальным, зовущим в сражение действием.

Бобров смотрел на Марию. Она, окончившая колледж в Кейптауне, учившаяся в Лондоне, знающая три языка, была, как и все, — наивная, страстная, яростная, африканка, имевшая свое горе, свою цель на близкой, ей заказанной родине. Стремилась туда вслед за группой бойцов-автоматчиков.

Певец Джон Мвамбе принимал грудью давление двух

скрещенных малиново-жарких прожекторов. Сжимал кулаки. Сек ладонями воздух. Выдыхал огромное, жаркое слово «Африка». Делал его то стоном, то молитвой, то грозным рыком. Его сонги были погребальными плачами над теми, кто был убит и замучен. Его сонги были как церковные песнопения, и зал превращался в храм, где каждый просил себе и близким милосердия среди непрестанных гонений. Его сонги были зовом в атаку, и зал превращался в толпу, готовую строить баррикады, сметать заслоны, идти под ружейные залпы. Он пел, и казалось, в нем вот-вот откроются свежие раны — и он упадет тут же на сцене, истекая кровью. В нем пела засевшая пуля, пели идущие на штурм автоматчики, звучали проклятья и хрипы упавших на мостовую бойцов. И зрители в зале жадно ловили слова. Откликались блеском белков, стиснутыми кулаками и скулами. Это были их песни и лозунги. Их черно-красное слово «Африка».

Бобров давно перестал наблюдать. Был не зритель, не в числе приглашенных. Не искал себе образов для будущей картины. Был с ними, в их беде, в их борьбе, в их грядущей неизбежной победе. Дышал с ними воздухом Африки. Был, как они, африканец.

И это охватившее зал единство, ведущее их биться, ликовать, умирать, сквозь толщу тьмы, заблуждений, к заложенной в каждом истине, — это единство достигло вершины, когда вынеслись на сцену зулусские воины и исполнили горячий танец. Ритуальные маски, щиты. Колющие, разящие копья. Звериные хвосты на запястьях. Амулеты и стук барабанов. Блестящие, потные, натертые до металлического свечения тела. И такая энергия, сила, нерастраченный древний жар. Душа континента, его алмазных и урановых недр, его океанов, его темнокожего с фарфоровыми белками народа, верящего в добро, красоту.

Бобров — словно в глаза его пролилось молодое сверкание — вставал вместе с залом, смотрел восхищенно на танцующих воинов.

Толпа шла к выходу. Он пропустил вперед Марию, двигался среди дышащих горячих тел. Старался не отстать от Марии, чтобы успеть с ней проститься.

Люди покидали душный кинотеатр и сразу попадали под шумный хлещущий дождь, расцвеченный огнями рекламы, разрываемой блеском машин. Топтались мгновение у выхода на стеклянной черте воды. Выдавливались идущими сзади. Успевали накрыть головы платками, целлофановыми накидками. Рассыпались с криком и визгом.

— Мария, до свидания,— он секунду держался перед волнуемой прозрачной завесой и, не в силах удержать нетерпеливый напор, шагнул под дождь, туда, где стояла его машина. И уже вытеснило под твердые прохладные струи, и он видел, как начинает прилипать, становиться прозрачным ее платье, лепит ей бедра и грудь.

Он разглядел освещенные черно-белые номера «мерседеса» и «датсуна». Испытал похожее на обморок мгновение, словно повернулся на невидимой спице, меняя местами реальный мир и его отражение, превращая все в иллюзию ливня, улицы, мигающих вспышек рекламы. Шагнул туда, где на мокром цветном асфальте стояла его машина. Но Мария тянула за руку:

— Быстрее, за мной!

И он, понимая, что теперь находится во власти вымысла, и в действительности этого нет, а началась работа его воображения и фантазии, и стал возникать фрагмент картины, возможный ее набросок, и его герой, волей случая, волей невозможных, каких-то неведомых ему обстоятельств, оказался в другой машине,— Бобров исчезал, терял свою личность.

— Быстрее, за мной! Здесь наши машины,— она увлекла его вдоль тротуара, где поодаль отливали капоты недвижных машин.

Она отворила дверцу, осветив салон, нырнула на заднее сиденье «датсуна». Смеялась, сдувала с пухлых губ дождевые брызги, отлепляла цветное платье от плеч и груди. Он поместился рядом, и шофер растерянно, как ему показалось, желая что-то сказать, сделал не то приглашающий, не то запрещающий жест.

— Ничего, Питер, это наш друг. Мы подвезем его,— сказала Мария.

Дверца открылась, озарилось нутро машины, и, прикрывая голову желтым платком, надавив на него плечом, втиснулся Чики, бурно дыша и посмеиваясь. Оглаживал на себе вымокшую красную футболку и ставшие пятнистыми белые брюки.

— Я кричал вам, а вы не слышали!.. Можно с вами... Ну как вам концерт? Вы, надеюсь, поняли, что дождь — это второе его отделение?

Снова дверца отворилась. Микаэль просунул голову, оставаясь весь на дожде. Оглядел их троих быстрым встревоженным взглядом.

— Вы здесь? Разве вы не...— и замаялся, что-то желая

сказать и не решаясь. Стало понятно, что допущена неловкость, он уселся в машину и теперь чему-то мешает.

— Пожалуй, я выйду, у меня там машина,— сказал Бобров, чувствуя близкое, подвижное тело Чики, заслонявшее выход, пугаясь этой близости.— Я лучше выйду.

— Да что вы,— Чики удерживал его, положил ему руку на колено.— Мы здесь все поместимся!

— Сидите,— вторила Мария.— Так не расстанутся друзья. Давайте по пути обменяемся впечатлениями о концерте.

— Ты, Чики, садись туда, в переднюю машину,— Микаэль стоял под дождем, хлеставшим его по спине, и его башмаки были в черном глянцеви́том потоке. За его спиной, едва различимые, стояли еще двое, белея рубахами.— Садись в «мерседес».

— Да нет, я здесь, ничего,— ответил Чики и повернулся к нему, соседу, тесня его.— Мне показывали рецензию в «Таймс» на концерт «Амандлы». Там напечатан снимок зулусского танца. Почему-то именно он больше всего поражает внимание европейцев.

— Хорошо, тогда я сяду здесь,— Микаэль повернулся к двоим у себя за спиной, что-то негромко сказал, и те поспешили к «мерседесу». Сквозь дождь было видно, как осветился салон стоящей впереди машины и в ней уже сидели люди, теснились, впуская двоих.— Поехали,— приказал Микаэль шоферу.

Тот включил фары, наполнив дождь алмазным блеском. Пустил машину вслед покотившемуся, замигавшему поворотным огнем «мерседесу».

Они мчались по ночному, шумящему ливнем городу. В ритмах огней, ртутных вспышках встречных дымящихся фар, в цветных озарениях реклам чудилось продолжение танца. Мелькание щитов и масок, синеватая сталь наконечников. Он оцепенел, погруженный в зрелище ливня. Чувствовал себя лишенным воли, подхваченным, вовлеченным в движение, которое невозможно прервать. Стал его частью и сутью.

Чики все так же, давя его мускулистым плечом, отирал лоб желтым платком, говорил оживленно и весело:

— Когда-нибудь мы послушаем с вами «Амандлу» в концертном зале Претории или Йоханнесбурга. И это будет триумф. Я напому вам это сегодняшнее представление в «Олимпии», и этот дождь, и как мы вчетвером, все не дома, все на чужбине, мчались по ночному Мапуту.

Он сказал это так искренне, в его словах звучала такая

вера в неизбежность их будущей встречи, что Бобров испугался двойным испугом. Если произнесенное — ложь и сидящий с ним человек — предатель, какая необъяснимая щель в преисподнюю и тьму душа человеческая. А если слова его искренни, то возможна жестокая, обрекающая его на гибель ошибка, и он, Бобров, бессилен ей помешать.

— Вы помните, я говорил вам во время последней встречи,— продолжал Чики.— Наше военное воздействие скажется рано или поздно на ходе дебатов в парламенте. И вот вам: читали в последней «Ранд дейли мейл»? Депутат от Националистической партии Крумфюгер выступил с предложением пересмотреть законодательство в сторону смягчения апартеида. Он сказал: «Мы перешагиваем порог гражданской войны, уже занесли над ним ногу. И прежде чем ее опустить, попытаемся исправить заложенные в наше общество деформации». Уж если представитель фашистов требует устранить деформации, значит, нет у них былого единства. Значит, они почувствовали укол «Копья нации»!

Близкое тугое плечо, горячее сквозь влажную ткань. Провал операции в Сильвертоне. Один человек убит. Трое захвачены в плен. Двое приговорены к смертной казни. Он, Чики?..

Вспышка встречного света. Хром радиатора в ливне. Близкое тугое плечо. Провал операции в Дурбане. Три человека убиты. Один взят в плен. Повесился в камере, не выдержав пыток. Он, Чики?..

— Я повторяю,— сказал Чики,— вы просили о встрече, я готов повидаться дня через два. Через неделю я улетаю в Лондон. Вам это удобно?

— Да, конечно,— ответил он поспешно, стараясь отделить себя от близкого плеча, от пульсирующего напряженного мускула. От чего-то еще, что билось, пульсировало в этом теле, затаянном в красное,— от темной неясной силы, к которой он, Бобров, был подключен в мчащейся сквозь ливень машине.

— А куда мы едем? — вдруг спросил Чики, прижимаясь к стеклу.— Микаэль, куда мы едем?

— Завезем нашего друга,— ответил тот, чуть поворачиваясь, отражая скулой голубоватую ударившую вспышку молнии.

— А разве вы не в «Полане»? — спросил Чики.

— Нет,— ответил Микаэль. И в этом «нет» почувствовалось жесткое, похожее на приказание, давление.

И он промолчал. И своим умалчиванием вступил в еще

более тесную связь с чем-то, что уже совершалось. Влекло их в черном, с разрывами света, пространстве.

«Полана» осталась далеко в стороне. Город кончился, и они скатились вниз к океану, мощно, с ревом давившему на шоссе своей тьмой, ураганом. Белые взрывы молний поджигали мутные пласты горизонта, выламывали из неба кристаллические глыбы туч.

Он узнал сосновую рощу, где лежал днем у солнечного прилива. Сейчас деревья проревели всклокоченной хвоей. Отпечатались колючими контурами на вспыхнувшей белой фольге.

Машины мчались вдоль океана и внезапно съехали с шоссе на мягкие, кустами поросшие дюны. Встали, уткнувшись раструбами фар в сочное паденье воды, в желтое сверкание песка, в мелколистые, терзаемые ливнем заросли.

Он видел впереди гляцевитый капот «мерседеса». Колею, в песке раздавленный кактус. Колеблемые ливнем, в лучах, от «мерседеса» быстро шли трое, промокая, зябко сутулясь. Приблизились, растворили дверцу. Пахнуло твердым ветром, рев и брызги залетели в машину. Один подошедший ухватил Чики за плечо, натянул футболку. Приказал:

— Выходи!

— Это что?.. Ты что? — Чики дернулся, вырываясь, вдавливаясь спиной в машину, прижимаясь к нему, и он почувствовал судорогу силы и страха, пробежавшую по близкой гибкой спине. Отшатнулся к Марии, к ее отвердевшему, утратившему мягкость телу.

— Выходи! — повторил тот, вне машины, дернул футболку, раздирая ее по плечу. Башмаком цеплял, выбивал ногу Чики, упершуюся в порожек машины.

— Что? Почему? — задышался Чики, свистел и хрипел дыханием сквозь оскаленные белые зубы. — Куда мы приехали?

— Предатель, — Микаэль с переднего сиденья смотрел на него, наставив пистолетное дуло. Дождь за его спиной плескался в огненно-белых лучах.

— Объясните! Вы все бесились!.. Я хочу говорить с руководством!.. Микаэль!..

— Мы выполняем приказ руководства! Ты предатель, и с этим теперь покончено!

— Это ошибка!.. Я не предатель!.. Вы бесились!.. Где улики? Где свидетели?.. Кто?..

— Свидетели те, кого ты предал на смерть. Тебя уличают Рикардо Ливанго, Джудди Кулилло, Марин Омангу, Фредерик Гумбе. Первые, кого ты отправил под пули, известив врагов о месте и дне операции, и их встретили на подходе к трансформаторной станции, расстреляли в упор из засады. Тебя уличают Грегори Спиру, Майкл Огуйе, Абраам Сванго, Никки Сибейло. Последние, кого ты отправил на смерть, известив полицию о месте перехода границы. Их застрелили в спину, на тропе. Они не успели ответить ни единым выстрелом. Тебя уличают все те, предатель, кто пошел из-за тебя под пытки, лишился рассудка и томится в тюрьме. Такие, как Авель Самайлу, муж Марии, которая тоже уличает тебя! Мы судим тебя судом нашей борьбы, нашей пролитой крови.

— Это ошибка! — задыхался Чики так, словно сердце его взбухало, становилось огромным, бычьим. И сам он с набрякшим загривком, мерцавшими жарко белками был похож на быка. — Это клевета!.. Давайте вернемся!.. Я докажу!.. Мария!.. Я не пойду!.. Это ошибка!..

Прижатый пульсирующей горячей спиной Чики, он испытывал ужас, свою с ним жуткую связь — через эту спину, через бурное близкое дыхание. Сам задыхался, хотел отделиться, отодраться от всего, что происходило сейчас, било в него бедой, несчастьем и ненавистью. Но некуда было уйти, ни духом, ни плотью, среди африканской грозы, среди хрипов и выкриков.

— Не пойду, вы должны доказать!.. Должны привести свидетелей!

— Они есть! Таможенник Максимилиан Риген, который был у тебя связным, передавал твою информацию!.. Полицейский сержант Навимбе, который принимал информацию!.. Мы допросили свидетелей! Все они называли тебя. Ты предатель, и тебя больше нет, — Микаэль ковырнул пистолетом воздух, как бы выколупывая из машины Чики.

— Микаэль, погоди! Ведь мы же с тобой друзья! Мы вместе с тобой начинали!

— Выходи!

— Мария, ведь это я познакомил тебя с Авелем Самайлу! Я присутствовал на помолвке!

— Выходи!

— Вы не можете так! Вы не можете! — он кинулся через сиденье на Микаэля, пытаясь перехватить ему руку.

Тот, кто стоял снаружи, хрустнувшим коротким ударом, осадил его. Рванул из машины, и Чики вывалился, упал на песок. Двое других подхватили его, вздернули, поставили на ноги. Толкая вперед, повели в лучах, осыпаемые быстрым дождем. Среди белых рубах краснела футболка Чики. Они отошли, и тот, что ударил Чики, вытянул руку. Слабый, из кулака рванувшийся свет отразился в небе зеленым взрывом и грохотом. Чики плоско упал. От «мерседеса» быстро, ежась под дождем, вышел еще один, с лопатой, и стал копать.

Машины мчались обратно в том же порядке, впереди «мерседес», сзади «датсун». Никто не сказал ему ни слова. Его не замечали. Его здесь не было. Все, что случилось, его не касалось. Сидел, забившись в угол, неся в своем теле недавнюю горячую судорогу другого тела, а в глазах — разящие полосы света, красное пятно на песке, взмахи лопаты.

Вымысел кончился, погас экран. Вернулась реальность. Бобров очнулся. Бежали в отражении мигающие огоньки рекламы. Из «Олимпии», как секунду назад, валила толпа. Он стоял на стеклянной черте опадающего ливня, и за эту черту, словно обморок, исчезало видение. Сцена неснятого фильма, уносившая с собой малую часть его жизни, прожитой им за других.

— До свидания, Карл! — выходил к нему из толпы Микаэль. Рядом с ним шел, улыбался африканец в красной футболке. — Может быть, завтра увидимся. Ведь вы отправляетесь в путешествие?

Коренастый в красном кивнул на прощание. Оба подхватили Марию под руки. Перепрыгивая лужи, подошли к «мерседесу», и, пока усаживались, озаренные светом салона, Бобров видел сквозь запотевшие стекла алое пятно футболки. Был виноват перед этим, в сущности хорошим, не ведающим ни о чем человеком, — за то, что вторгся в его судьбу, наделил его страшной ролью, осуществил над ним произвол. Машина, мигая огнями, скользнула в дождь.

Он сел в свой «пежо» и поехал к «Полане». Получил у портье ключ от номера. Под его осторожным внимательным взглядом, обежавшим намокший костюм, прошел к себе. Разделся и стал под душ. Стоял, стиснув зубы, чувствуя размытое, не имевшее центра, выходящее за пределы тела страдание. Страшился покинуть шелестящий душ, хрупко защищавший его зонтик воды.

Н

Свой новый, связанный с фильмом опыт он добывал сейчас не в съемочных павильонах, не в библиотеках и фильмофондах, не в родной, понятной среде, где герои угадывались в друзьях и знакомых, угадывались в нем самом и драмы и боли были драмами мирного времени. Нет, теперь этот опыт извлекался им из растерзанной, охваченной борьбою страны, где летели пули, герои за поступок платили жизнью, и он, художник, взаимодействовал с угрожающей, готовой ударить действительностью, работал под током. Жила была открытой, изоляция сорванной, и он работал на голом проводе без перчаток.

Он знал — этот будущий фильм, еще не воплощенный, непонятный, связанный с боями в саванне, диверсиями на мостах и дорогах, солдатскими переходами и маршами, — этот фильм для него решающий. Все прежние работы были к нему подготовкой. Были во многом игрой, связаны с избытком энергии, с избытком фантазии, и успех, который они ему принесли, был успехом молодого искусства, пробующего себя на пределе изобретательности и игры.

Прежние работы, отнимавшие огромные силы, доводившие его во время экспедиций и съемок до изнеможения и упадка, оставались — и он это знал — ниже его возможностей. Не захватывали все его существо, весь отпущенный ему жизнью ресурс. Он, художник мирного, благополучного времени, тайно чувствовал недостаточность отпущенных ему испытаний. Был в проигрыше перед теми, кто до него действовал в часы великих изломов, чье творчество разрывалось от непосильных растяжений истории, и сами художники, стремясь удержать расползавшиеся кромки времени, погибали в непомерных усилиях.

Работа, которой он теперь занимался, была отличной от предыдущих. Возникла на рубеже его собственной жизни, на рубеже, обозначенном грозно и явно, завершавшем долгое благодатное время, завершавшем век. Сулила ему неведомый, мучительный опыт. Он готовился к нему. Собирал свои силы. Звал на помощь любимых. Уже ходил поклониться Кремлю. Теперь обращался к матери.

Тот давнишний, летний дождь в детстве, когда от круглых синеватых вершин полетели быстрые проблески, ударяя то в близкий колокольчик, то в испуганную белую бабочку, то в мелькнувшую серую птицу. Мать, торопясь, сняла и раскрыла над ним свою розовую кофточку, и он чувствует,

как вздрагивает от дождя ее горячее тело. Две их кружки, полные ягод, краснеют в дожде, и в туманном, парном, упавшем на лес ливне они — вдвоем с матерью. Над ними мотаются, пеняются лесные зеленые головы, кричащие лица берез. Ему страшно и сладко, он прижимается к матери, слушая громогласные трески, жмурясь от белых вспышек. Дождь быстро кончился, превратился в шорохи, в солнечную капель, в слипшиеся колокольчики, в вялую летящую бабочку, в отяжелевшее, переполненное водой овсяное поле. Они идут с матерью по липкой, жидкой дороге, и росистая радуга — над стадом коров.

Быть может, тогда, в дожде, заслоняемый, обнимаемый матерью, он впервые, через вспышку страха, любви, ощутил свою мать как нечто, отдельное от него, обожаемое, драгоценное, но отдельное. И позднее, ловя в себе это чувство, пугался неизбежного, уготованного им впереди расставания. Его детская душа, пережив прозрение в дожде, как бы остановилась на миг, чтоб запомнить себя и мать среди горячих разноцветных туманов — запомнить для будущего, бесконечно далекого времени, когда матери рядом не будет.

Теперь, в номере африканской гостиницы, в которую бил и стучал океан, чем-то грозил, неочерченным и громадным, отчего сотрясалась душа, ему захотелось спастись, заслониться мыслью о матери. Не той ее розовой кофточкой и простертой над ним рукой, а мыслью о ней. Как она там, на другой половине земли, старая, в их обветшалой комнате, где вянет, линяет бабушкин рукодельный ковер, расшитый красными маками?

Черные гнутые спинки на ее старинной кровати. Красный, разошедшийся, из дедовских времен, гардероб. Вечером, когда вспыхивали огни в переулке, мать появлялась с работы, принося в дом запах снега, тонких духов и усталости. Утренние пробуждения, когда холодная материнская рука, проникнув под одеяло, будила его, и сине-морозное окно, где еще не забрезжила, не зажглась колокольня. Теперь, в пустоте просторного номера, он изумлялся, как мало знает о матери. Как бессознательно, не умом, не знанием, воспринимал он ее. Как трудно ему ответить: «Кто она, моя мать?»

Он помнил из ее рассказов, из сумеречной, пробужденной ее рассказами памяти: их отъезд в эвакуацию. Какой-то метельный разъезд. Поломка вагона. Сыпучие искры из-под колес. Пассажиров выгружают на снег, отцепляют вагон. И поезд отходит, удаляется красный огонь на хвосте. И мать,

побросав кули, прижимая его к груди, бежит за огнем, кричит, задыхается, успевая вскочить на скользкую ступеньку, подхваченная кем-то в шинели. Вносит его в тесноту прокуренного душного тамбура — свой кокон, спасая его от нашествия, от бледного молчаливого зарева, в котором уже погиб ее муж, вмерз башмаками, обмотками в жесткий снег после безымянной атаки. Эта давняя ночь на разъезде, уплывающий красный огонь все еще живут в его памяти, рождая сновидения и страхи.

Мать, как теперь ему было понятно, овдовев, став для него и бабушки единственной кормилицей, возложила на себя непомерные труды и заботы. Исчерпав все кладовые физических истаявших сил, существовала на своей к ним обоим любви. А также, как это ему открылось потом, на миссии, на вмененной, родовой задаче спасения, на том надличностном чувстве долга, что было частью охватившей страну идеи: выжить, пронести сквозь страшный период своих детей, чтоб не пресекся народ, чтоб продолжалась жизнь. Позже, опять-таки из рассказов матери, он знал о ее поездке в освобожденный Смоленск, сразу же за головными дивизиями. Она, архитектор, должна была помочь хоть как-то, на первых порах, изувеченному городу. И в его детском сознании, как и в следующие зрелые годы, жили картины и зрелища, виденные глазами матери. Жило материнское зрение.

Блестящий накатанный снег, окаймленный изорванной красно-кирпичной кладкой. По улице в полушубках идут пехотинцы. И она все ищет, все верит увидеть родное лицо, надеясь на чудо встречи.

Город, сожженный до погребов, с провалами закопченных строений. Исковерканные ворохи бесчисленных железных кроватей. И ее поражает их обилие. В каждой из них побывала война, выжгла из них человека. Кладбище мертвых кроватей.

Ночные налеты «юнкеров». Лязганье близких зениток. Пульсирующее ледяное окно с падением осветительной бомбы, ее радужно-мертвенный свет. И внезапная мысль — о далекой, неправдоподобной поре, счастливые беззаботные люди.

Он помнил: однажды, вернувшись, мать принесла большой, в бумагу завернутый сверток. Торжественно, призывая его и бабушку, распускала бечеву, сбрасывала обертку. И возник матерчатый оранжевый абажур на проволочном каркасе. Они с матерью неумело, боясь электричества, вы-

вернув в коридоре пыльные пробки, закрепляли абажур над столом вместо картонной в пролысинах самоделки. Вспыхнул восхитительный красно-золотистый шар света. Мать, гордая, счастливая, любовалась. И он понял, почувствовал: в их жизни миновала самая жестокая, на пределе выживания пора. Они пережили ее, вступили в новую пору, отмеченную этой обновой. Сидели все вместе, своим крохотным уцелевшим мирком. Ели под абажуром картошку. Черный блеск сквородки с оранжевым отражением.

Мать не ласкала его. Была скупа на поцелуи, объятия. Готова к упреку, к строгому выговору. Когда он пробовал ее целовать, останавливала, насмешливо говорила: «телячьи восторги». Он усвоил с ней сдержанные, не на открытой нежности отношения. От бабушки, не от матери, лился на него непрерывный свет обожания. Он узнал и понял потом: между матерью и бабушкой был уговор. Она, мать, своей строгой дисциплинирующей педагогикой должна была заменить ему отца, восполнить отсутствующее в семье мужское начало. А бабушка — как бы стать матерью, окружить его любящей женственностью. Скупость в прямых изъявлениях материнской любви ни тогда, ни позже не обманывали его прозорливости. Мать положила всю свою жизнь на служение ему, превратила ее в непрерывную, во имя него совершаемую жертву.

Ее отказ от второго замужества, когда в доме начал появляться мужчина, полный, печально-внимательный, с пепельными длинными волосами, профессор-искусствовед. И он, выставший ребенок, видел, что матери с ним интересно. Она одного с ним мира, одной культуры. У бабушки на лице появилось выражение заговорщической озабоченности. А его, растущего без отца, влекли грубовато-плавные движения гостя, запах табака и мужского одеколона. Потом тот перестал приходить. И годы спустя, вспоминая о нем, он услышал от бабушки: профессор сделал предложение матери, но та отказала. Отказалась от достатка, от довольства, продолжив свое вдовство. Во имя него, сына, боясь, как бы новый, чужой человек не травмировал сына, не причинил ему страдание. Не разрушил их тройственную, на беззаветности, жертве основанную связь.

У дворовых подростков, у сверстников стали появляться велосипеды. У тех, кто имел отцов. В чьих домах первый послевоенный достаток отзывался появлением новой мебели, радиоприемников, красивой посуды. Эти хромированные, голубые и алые велосипеды, порхающие по переулку, их

счастливые, легконогие наездники вызывали в нем восторг и печаль, когда друзья, собираясь в ватаги, прозвенев звонками, прошелестев летучими спицами, исчезали за поворотом. Неслись, невидимые, облетая округу, внезапно появляясь во дворе, потные, розоволицые, возбужденные. Давали и ему прокатиться. Мать, заметив его огорчения, его вожделения, отказала себе в новом платье, купила ему велосипед, восхитительный, голубой, с белым, никелированным рулем и педалями. Он вел машину рядом с ней из магазина, пешком. Поднимал ее по лестнице на четвертый этаж. Ночью, босиком, выскакивал в коридор полюбоваться на ее сверкание.

Теперь, спустя столько лет, в этом африканском отеле среди океанского рева в нем возникло ощущение полета, когда мчался по широкой Новослободской, пахнувшей клейкими тополями, хлебной сдобой, влажным, омытым асфальтом, делая легкий, сверкающе невесомый вираж, пересекая пространство улицы. Годы спустя там стали скапливаться автомобильные пробки. Он смотрел на рычащие радиаторы, на задыхающегося, теснимого постового и думал: неужели когда-то он проносился здесь на порхающих спицах? Это юное чувство посетило его, было связано с матерью, с ее некупленным платьем.

Ей казалось, он, ее сын, опекаемый ею и бабушкой, лишенный мужского влияния, может вырасти баловнем, не обрести в характере волевых твердых черт. И ее педагогика искала способы преодолеть эту истинную или мнимую недостаточность. Отсылала его в школьные походы. Поощряла увлечение лыжами. Радовалась сближению со студентом-ботаником, забиравшим его в лесные подмосковные экспедиции. Школьный друг, энергичный бойкий подросток, приглашал в свой дом, многолюдный, шумный, где отец, старший брат, оба охотники, любили доставать из чехлов пахнущие смазкой двустволки, в которых, если переломить стволы и взглянуть внутрь, начинали сверкать и струиться стальные зрачки, и он держал с восторгом ружье, вдыхал чуть слышный сохранившийся запах выстрела. Слушал мужественные повествования о кострах, половодьях, взлетающих утках и рябчиках. Он просил у матери, чтоб она купила ему ружье. И она, страшась любого оружия, разрешила купить — вороненую одноствольную «тулку», в которой для него, в ее черно-синих плоскостях и овалах, орехово-желтом прикладе таилась волшебная сила, еще не испытанная возможность поступка, удали, молодечества.

Он собирался на свою первую охоту, снаряжал патроны. На дедовском, красного дерева столе вырубал из валенка войлочные пыжи. В торцы латунных, кисло пахнущих гильз загонял красные, с зеркальным донцем капсюли. Мерил крохотным ковшиком крупчатый черный порох. Черпал горстки дрови из консервной банки, где свинец, спрессовав свои горошины, сиял черно-угрюмым слитком. Он заряжал патроны, предвкушая выстрелы и трофеи, и одновременно успевал замечать страх, с которым мать готовилась его отпустить. В безвестность, на несколько дней, с ружьем, его, над кем все годы дрожала бабушка, грела ему утром чулки, чтобы он из постели надевал все теплое. Этот страх ее и тоску, не умея их до конца объяснить, он чувствовал в то апрельское утро, когда с рюкзаком, в сапогах, с тяжелым в чехле ружьем, похожий на новобранца, уходил от нее на вокзал. И все его поездки, охоты, то в компании друга, то в одиночку, были для нее и для бабушки ожиданием из страхов, слез и бессонниц.

Малиновая, вечерняя, перевернутая плугами пашня с недвижной талой водой, тяжелыми холодными запахами земли, прошлогодней травы, с тончайшими ароматами оживших весенних опушек. Береза в заре. Ее черное сквозное плетение. Прозрачность веток, в которых белеют могучие древесные струи. Он, опустив ружье, дышит этой пашней, зеленым темнеющим небом, где уже начинает белеть, блеснуть влажной ртутью луна. Он — между гаснущим солнцем и встающей луной, чувствует вращение земли. Последние мелкие птицы, тонко посвистывая, пролетели в заре и канули. Крохотная, с малиновой грудкой, задержалась на вершине березы, сорвала с погасшего дерева последнюю каплю света и камнем упала во тьму. И глаза напряженно, до темных кругов ищут первой звезды, пока внезапно не увидят ее. Влажную, голубую, яркую. Одна, другая, третья. Явление на небе звезд. Ружье, воздетое ввысь, без патрона, с зеркальным окуляром ствола, — не оружие, а прибор, телескоп, в который луна бросает длинный скользящий луч. Зрачок, окруженный сияющей сталью, ловит звезду. Между ней, бесконечно удаленной, сверкающей, и зрачком нет ничего в мироздании. Это чувство необъятного, вырезанного дулом пространства, принадлежащего только ему, чувство луча, соединяющего зрачок и звезду, — рождает головокружение. И пока он смотрит на звезды, из березы бесшумно и плавно, раскрывая угловидные крылья, вытянув криво шею, нацелив игольчатый клюв, вылетает вальдшнеп.

Мгновенно сжимающееся на вальдшнепе пространство. Он, охотник, дрожащими пальцами загоняет патрон, бьет в пустое, помнящее птицу небо. Рыжий трескучий сноп. Оседающий едкий дым. Оглушенный, изумленный случившимся — звездой, птицей, выстрелом.

Теперь, спустя столько лет, постаревший, усталый, лежа в номере африканской гостиницы, он задним числом посвящал этот выстрел матери. Тот старинный салют в ее честь.

Африка, где он теперь оказался, стала вдруг непонятной, враждебной, начинала давить всей мощью своей таинственной тверди, жарко-туманными небесами, горячими желтыми водами, жгла и колола звездами, мучила своими напевами. Не хватало душе родного слова и отклика, и он призывал на помощь образы родной стороны. Символы Родины, которые ему были опорой, были вехами в мироздании, которые, быть может, поведут его по бушу в красной, как перец, пыли. Сохранят в осенней саванне, прорезаемой вертолетными гулами, где «пума» пикирует на солдатскую цепь, пульсирует огнем пулемета. Посетят в блиндаже, где, раненые, стонут бойцы и их черные тела неразличимы в ночи, — только повязки и стоны. Этими вехами, на которые под чужими неверными звездами устремлялась душа, могли быть и образ усадьбы в Архангельском, и синяя ледяная сосулька, прилипавшая к водосточной трубе, и сомовский портрет Незнакомки, — на холст, на раму, на тончайшие трещинки в раме падает замоскворецкое солнце в морозное окно Третьяковки. И все эти образы, эти напевы «Средь шумного бала» или «Вдоль по Питерской», все эти спасающие душу видения были связаны с матерью. При ней в первый раз прозвучали. Ею были показаны.

Даже в самую жестокую пору, когда бились просто за жизнь, и позднее, когда выжили, она искала в жизни прекрасное. Находила в родном искусстве, в природе, истории. Находила для себя и для сына. Ее разговоры с ним, нечастые, как правило, во время болезни, — о России, Москве, о погибшем отце, о студенческой поездке на строительство Днепрогэса, — эти материнские рассказы стали неразмываемой основой его позднейших размышлений о судьбах отчества. Сложились не просто в разумение, знание, но в не подверженную искушениям веру.

Много позже, когда умерла бабушка, когда он женился и народил троих детей и мать сама стала бабушкой, — она стала той последней ступенькой, с которой их род спускался в прошлое, исчезал в небытие, становился историей уже не

рода, а народа, отечества, сливаясь с историей переселений, народных волнений и войн. Заняв это предельное место, она вдруг переменялась — нравом, образом мыслей, пониманием своей новой роли хранительницы заветов и заповедей. Лицом, осанкой вдруг стала походить на прабабку, чья фотография с золотым обрезом, с гербами и медалями на обороте, хранилась в семейном альбоме. Стала копить, собирать в себе все незабытые, услышанные от ушедших стариков подробности семейной судьбы. Ветвистой, очень яркой и яростной, богатой натурами, среди которых являлись колоритные, сохраненные в фотографиях типы купцов, проповедников, художников и земских врачей, уходящие родословными в неочерченные крестьянские толщи.

Это скопившееся в ней богатство она старалась передать внукам. Продернуть в будущее нить родовых преданий. Сохранить вместе с памятью об умерших любимых людях нечто, связанное с возможностью продолжить их жизнь, удержать на земле их бесшумную, следующую за живыми толпу. Готовила и себе место среди этого бестелесного толпища, глядящего со старинных портретов, из трещин стола и буфета, из хрустальных, в форме кубов чернильниц, из окон московских домов на Каретной, Страстном и Палихе — там, где жила когда-то родня, где туманились в дождях, снегопадах их фигуры и лица.

Она взялась писать мемуары. Своим кудельным, вьющимся почерком, знакомым ему по письмам, что получал от нее в пионерских лагерях, она писала в тетрадь. И рождались бесхитростные, по-аксаковски живые и образные описания свадеб, застолий, поездок за границу, посещения бабушкой с дедом, тогда молодых еще земцев, Льва Толстого. Она описывала дни революции, облавы и выстрелы, голод в Москве и извозчика на Кузнецком, где ей покупали шляпку. Она скоро утомилась, перестала писать. Однажды он пришел к ней, застав ее больной и беспомощной. Ухаживал за ней, боролся с ее тоской, с дрожанием ее губ и слезами. Она погрузилась в короткий сон, лежала с худым длинноносом лицом среди полосатых поблекших подушек, которые в детстве, он помнил, были радужными, как оперение селезня. Он открыл ящик дедовского стола, достал тетрадь с ее записями и стал читать последний, не оконченный ею отрывок. И вдруг нашел описание летнего в роще дождя. Ее испуг, ее веселье, когда она с ним, с сыном, стояла среди белых берез, и летели от голубоватых вершин солнечные стеклянные проблески, и металась белая бабочка,

и она раскрыла над сыном свою розовую кофточку, заслоняла его молодым, горячим, обжигаемым каплями теплом.

Бобров сидел в темноте, слушая, как уходит, удаляется шторм в океане. Мать с другой половины земли посылала ему свои слабые силы. И он их принимал благодарно. Жил в невидимом, невесомом свечении своих мыслей о ней.

8

Утром автомобили на стоянке были усыпаны сиреневыми лепестками акаций, сбитых и смоченных ливнем. Открывая дверцу, он глядел на зеленые, беспокойные буруны океана, туманное от испарений солнце. Пальцами машинально перетирал шелковистые чешуйки цветов.

Соломау предстал перед ним, худой, улыбающийся, в открытой рубашке, с ремешком фотокамеры, похожий на студента. Они миновали утренний, казавшийся позолоченным Мапуту. Неслись по шоссе, пустому, шершаво-синему, по просторной, редко поросшей долине среди конических, размытых дождями термитников. Изредка встречались тростниковые хижины, копошились с мотыгами полуголые женщины в полосатых, облегающих бедра материях, белели низкорослые, кофейного цвета коровы. Мчались к границе, в Ресано Гарсиа.

— Ты думаешь, сегодня удастся увидеть самолет? — спрашивал Бобров, чуть вздрогнув от налетевшего, ударившего в стекло насекомого, оставившего прозрачный отпечаток своей гибели. — Он должен появиться сегодня?

— Если наши подсчеты верны, он должен появиться, — кивнул Соломау. — Он перелетает границу каждую неделю во вторник, около полудня. День его нет. Он пропадает на нашей территории. Потом возвращается, пересекает границу в обратном направлении.

— Всегда в том же самом месте?

— Там, недалеко от границы, у них военно-воздушная база. Ему нет смысла тратить горючее на облеты, обманные петли. Он идет напрямую, на бреющем полете. Пограничники несколько раз пытались его встречать пулеметом, но он идет очень низко, возникает внезапно. Пулеметчики не успевают ударить.

— Что у него на борту?

— Он забрасывает к нам в тыл диверсантов. Взрывчатка, оружие. Вывозит группы обратно. Нам стало известно:

в Софале начало действовать подрывное подразделение «Бур», из белых. На прошлой неделе они взорвали сахарный завод и десять метров железнодорожного полотна — от угольных шахт к порту Бейра. В докладе министру я высказал предположение о начале «динамитной войны». О возможной угрозе порту, а главное — нефтепроводу Бейра — Зимбабве.

— Ведь он еще не пущен? — Бобров вспомнил англичан-инженеров, улетающих на строительство трассы. — Нефтепровод нельзя защитить?

— Очень трудно, — сказал Соломау. — Леса и болота. Очень трудно. Пока они не трогают трубы. Но я думаю, едва его пустим, начнут сразу рвать. Защищать нефтепровод нужно не в Софале и Манике, а в Газе, на аэродроме подскока. Там делает посадку самолет с диверсантами. Там он берет горючее, чтоб долететь и вернуться обратно. Вся операция по уничтожению аэродрома подскока — это операция по защите нефтепровода. Так я сказал министру.

— Так оно и есть, Соломау. Очень тебе признателен, что ты позволяешь мне наблюдать операцию.

И вдруг подумал невольно: как окончит свой век этот спокойный, давно знакомый ему африканец? От пули? От взрыва машины? В какой-нибудь таящейся впереди перестрелке? Или в старости, дожив до седины, успев насладиться миром, вспомнит о той перестрелке? И вторая мысль: какой-нибудь зимний московский денек, и он сам, старик в пятне янтарного солнца, пропуская его под дремлющие тяжелые веки, вдруг вспомнит это шоссе, на обочине размытый термитник, на стекле капельку сока, оставленную убитым жуком.

Они въехали в Ресано Гарсиа, маленький городок, в предгорьях. Докатили почти до шлагбаума, перед которым стояли два трейлера. Пограничники с автоматами заглядывали под синие с эмблемами тенты. Скатали с асфальта на пыльные улицы с обшарпанными домами, где бегали голопузые дети и томились в тени заборов собаки. В погранкомендатуре справились у сержанта о начальнике заставы. Тот посмотрел сквозь открытую дверь на их машину, на белое лицо Боброва, на фотокамеру Соломау: видимо, собирался спросить документы. Не спросил.

— Лейтенант на вокзальной площади, в таможне. Попробуйте разыскать его там.

Они оставили машину у комендатуры и пешком направились к центру, оставляя за собой столбенеющих, взираю-

щих на Боброва ребяташек, их расширенные, как белая морская галька, глаза.

Чем ближе к вокзалу, тем многолюднее становилось на улицах. Встречные были одеты в комбинезоны, иногда в сапогах, иногда с притороченными к поясу пластмассовыми касками и шахтерскими фонарями. Имели озабоченный вид. Их нервные голоса раздавались из переполненного трактира, из лавки, из тенистых, под деревьями уголков, где они сидели, вытирая платками горячие лбы.

— Сегодня с той стороны возвращаются наши шахтеры. А другие туда уезжают.— Соломау оглядел сидящих на земле людей, красные, синие, белые каски.— Оттуда поезд уже пришел, а туда еще нет. Такой здесь сегодня день.

Боброву казалось, Соломау огорчен тем, что здесь происходит, и тем, что он, Бобров, это видит.

Он знал: по-прежнему, как в былые колониальные годы, Южная Африка для своих шахт и заводов вербует в Мозамбике рабочих. Мозамбик, переживая хозяйственный спад, стремясь возродить экономику, обладая излишком рабочей силы, позволяет ЮАР вывозить сезонных рабочих. Возвращаясь обратно, они привозят товары, которых не хватает в стране, деньги, пополняющие валютные фонды республики. Вся вербовка, отправка, пребывание на месте работы регламентируются властями ЮАР. Приехавшие живут в изоляции, под жестким полицейским надзором.

На площади у маленького вокзала сочно блестела наезженная колея. Было пестро, многолюдно. В сидящих, покуливающих, закусывающих или просто идущих людях Бобров различил две эти партии, прибывшую и отъезжающую. Составляя одну толпу, они не смешивались, были двух разных оттенков.

Прибывшие, изможденные, с костяным рисунком скул, подбородков, светились, сквозь утомление, радостью, почти ликованием. Улыбались, смеялись, других приглашали смеяться, любоваться купленными за границей обновками. Щеголяли в химически-ярких рубашках, в черных шляпах, несмотря на палящее солнце, в радужных галстуках. Высились груды упакованных, перетянутых шпагатом коробок. Зыркали выпуклыми глазами. Оглаживали кто новый нарядный термос, кто хромированный вентилятор, кто швейную в тусклой смазке машину. Приехавшие их встречать жены и дети гордились своими кормильцами, примеряли к груди и прическе украшения, брошки. В открытые окна таможни были видны чиновники, они пересчитывали кипы юаровских

денег, строили из металлических монет ровные башенки. Прибывшие рабочие поджидали вечерний, идущий в глубь Мозамбика поезд, чтобы разъехаться по своим городам, деревушкам. Отдыхать, собирать на рассказы соседей. Удивить их новым транзистором, жилеткой с блестящей цепочкой.

Покидавшие родину почти не имели вещей, кроме стареньких сумок и касок. Смотрели в нетерпении на белые рельсы. В их нетерпении была угрюмая решительность. Ее природа, как казалось Боброву, состояла в необходимости тронуться в путь — в обратный, к той недавней поре, когда они помнили себя несвободными. Когда их земля и страна были не их и они отбивали ее в партизанской войне, роя ловушки для португальских транспортеров и танков, бросая гранаты в виллы белых хозяев. Первое, добытое в революции благо не было связано с материальным достатком, ибо засухи терзали поля, простаивали брошенные португальцами заводы и порты. Этим благом было чувство непопранной личности, достойного пребывания в мире. Чувство неотнятой родины, где тропа, по которой идешь, дерево, которое рубишь, поле, в котором сеешь, бессознательно отзываются в тебе чувством свободы. Вот от этого добытого ими богатства теперь они добровольно отказывались. Отправлялись в жестокий мир, их отрицавший, покупавший их мускулы, презиравший их, зорко за ними следивший сквозь прорези пулеметных прицелов. И этот добровольный, вспять проделанный путь отражался в их лицах нетерпением, похожим на панику.

Он услышал тонкое, напоминавшее пение причитание, прерываемое ритмичной музыкой. Решил, что это проводы. А когда приблизился, увидел стоящий на земле транзистор и худую женщину с тощими, в стоптанных сандалиях ногами. Она прижимала к впалому животу белую, в угольной пыли каску, расколотый шахтерский фонарь. Трясла головой, словно что-то непрерывно отрицала. Плакала тонко, притоптывала в такт играющему транзистору. Люди, ее окружавшие, внимательные, молчаливые, не мешали ей.

— Что с ней? — спросил Бобров, оглядываясь на маленького шахтера в черной нарядной шляпе.

Тот увидел белого. Быстро качнулся в сторону, ничего не ответив, заслонился товарищами.

— Почему она плачет? — спросил Бобров у подошедшего Соломау. Тот перевел вопрос, слушал ответ другого шахтера в новых, уже запыленных башмаках. — Ее муж не

вернулся. Его завалило в шахте. И с ним еще четверых.

Женщина тонко и монотонно голосила, прижимая к трясущемуся животу белую каску. Те, кому предстояло ехать на заработки, старались на нее не смотреть. Вглядывались в пустую солнечную колею, поджидая состав.

Бобров, отходя, испытывал сострадание. Чувствовал угрюмые, недоверчивые взгляды на своем лице. Вспомнил другую женщину, отпуславшую на войну новобранца. Их несчастье имело одну природу. Пришло из-за гор, из ЮАР.

Бобров увидел, как на площадь по шуршащей кривой въехал автомобиль. Встал, колыхнувшись упруго носом. Из него поднялись Микаэль, незнакомый худой африканец и Мария в сиреновом, кружевами отороченном платье. Направились через площадь. Поймали его изумленный взор и сами удивились, как будто мгновенье помедлили, будто о чем-то желали ему просигналить. Микаэль взял спутников под руку, и втроем они пошли к вокзалу, огибая тюки и сидящих шахтеров. Бобров смотрел, как скрывается сиреневое платье.

Машина была знакомой, вчерашний «датсун». Казалось, в нем еще лежит оброненный желтый платок.

Начальника пограничной заставы, молодого, в полевой форме лейтенанта, они нашли в таможне. Утомленные служащие вскрывали тюки, погружали руки в пестрые ворохи дешевых товаров. Соломау показал лейтенанту бумагу, что-то негромко сказал. Тот, спокойный, серьезный, взглянул на Боброва, пожал ему руку.

— Ему сообщили из Мапуту о нашем приезде. Он ждал нас в комендатуре до самого прихода поезда,— сказал Соломау, продолжая расспрашивать лейтенанта.

Он говорит: самолет перелетает границу каждый вторник. Двухмоторный «Командор-700». Мы установили пост перехвата с крупнокалиберным пулеметом. Но прицельная стрельба невозможна. Сейчас мы поедem на пост.

Бобров был взведен, начеку. Не он, а его герой садился сейчас в военную исцарапанную машину, слушал разговоры военных, готовился увидеть границу. Исследователь, ученый, политик касался избранной темы не в тихом архиве, не в шелесте библиотеки, а в зоне борьбы и опасности, где могли засвистеть пули, могла пролиться кровь. Его, ученого, кровь. Его научный эксперимент был связан не с лабораторией, не с бесстрастным анализом. Это был эксперимент на себе. Он своей собственной жизнью исследовал разорван-

ный мир, помещал себя в зону разлома, в зону извержения вулкана. Не он, режиссер, а герой прижимался к железу «джипа», ожидая плечом буравящий стенку удар, вспышку возможного выстрела.

Они катили на «джипе» в предгорьях. Погружались в тенистые, поросшие лесом ложбины, возносились на плоские, в редколесье вершины. И близко от них, то исчезая в зарослях, то обнажаясь, тянулась граница. Расчищенная просторная просека с двумя рядами заостренных столбов, опутанных колючей проволокой. Срезанный лес начинал восстанавливаться плотным зеленым подшерстком. Цепкие стебли хватались за проволоку, вплетались в спирали и перекрестья колючей стали.

Бобров сквозь дверцу машины чувствовал телом границу. Она обдирала ему бок, обжигала, соскабливала с него оболочку. Он чувствовал черту, отмеченную заостренными кольями, как взбухший больной рубец. Оттуда, из-за кольев, дули жестокие силы. Превращались в его сознании в заостренные фюзеляжи бомбардировщиков, пикирующих на Мапуту, в танковые клинья бригад, вонзившихся в саванну Анголы. Там, за лесами, на тайных полигонах и ядерных центрах, создавалось оружие, и на картах генштаба значились цели ударов — столицы прифронтовых государств. За кромкой синеватых предгорий пульсировала, обрастала кораблями и базами оконечность материка, на стыке двух океанов. Тянулись супертанкеры с нефтью, шныряли подводные лодки. Громогласно и тяжело, уже содранная со всего континента, но еще державшаяся на последнем гвозде, действовала жестокая цивилизация. Отстаивала себя ненавистью, вызывая ответную ненависть. Обреченная цивилизация белых, готовая спалить вместе с собой весь континент.

Он чувствовал здесь и другого врага, нацелившего свои мегатонны на родные, удаленные от этой границы пределы. На то зеркало с тусклой радугой, в которое смотрелась бабушка, расчесывая гребнем свои седые длинные волосы. На то озеро, в которое вбегал его сын, рассекая тонкой рукой гладкую поверхность с кувшинками. Враг был жесток и силен. Все тот же, один, лишь меняя обличья, вкладывая оружие то в руки мусульманских мятежников, то в руки гвардейцев Сомосы. Здесь, на африканской границе, он действовал против его, Боброва, отечества.

Так чувствовал он эту границу — хрустящий разлом от сжатия мировых напряжений.

Они свернули с дороги, проломив кусты. Навстречу под-

нялись два пограничника в защитной одежде с автоматами. Вытягивали шеи, вглядывались. Узнавали командира. Бобров, сбивая с брюк пыль, вышел и увидел замаскированную ветвями зенитную установку — вороненый, нацеленный в небо раструб и ленту из патронника, набитую латунью и сталью. Зенитчик вскочил, застегивая ремешок на каске. Отодвинул ногой флягу.

Соломау и лейтенант говорили с солдатами. А Бобров сквозь полупрозрачные деревья осматривал границу. Сухую, словно вытопанную скотом поляну за частоколом. Открытое пространство неба. Мысленно провел ствол пулемета от кроны близкого дерева к волнистым далеким холмам вдоль зеленых зазубрин леса, где должен был пролететь самолет.

Зенитчик с напарником заняли места у установки, чуть повернув ее, описав стволом вороненый солнечный конус.

— Он пролетает обычно здесь, — Соломау очерчивал пальцем контуры холмов. — Должно быть, тут у него ориентиры. По каким-то приметам он выбирает себе направление. Лейтенант видел его два раза. Белый, с красными линиями. «Командор-700». Может нести на борту около восьми человек. Раньше полудня он не летает. Сейчас, — он обнажил худое запястье с часами, — одиннадцать двадцать. Может, сегодня удастся его обстрелять.

Бобров прилег на выгоревшую траву. Тронул ладонью. Сорвал блеклый стебелек. Растер его, вдыхая чуть слышную вялость, взволновавшую его своим санным тонким запахом, заслонившим на мгновение черный огонек на стволе пулемета. Робкий запах засыхающей хрупкой травинки. Вспомнил, как в юности, устав бродить по опушкам, вышел на поле к стогу. Упал спиной на звонко-пружинный скат и лежал, держал у глаз блеклую сухую травинку. Своим наивным восхищенным сознанием, юной горячей мыслью верил, что одно лишь усилие духа — и из этой травинки можно вынести огромное знание об устройстве и смысле мира, о недрах, океанах, светилах, о своей, не ведающей смерти, душе.

Ему показалось — он услышал работу мотора. Оглянулся: Соломау и лейтенант, прервав разговор, тоже слушали, одинаковые в своих чутких и острых позах. Звук то пропал, то возвращался, все ближе и ближе, с той стороны, из-за кольев. Пограничники, прячась в кустах, сливаясь с ними зеленью униформ, тянулись на звук, оба молодые глазастые, похожие на пантер.

— Карлуш,— требовательно позвал Соломау.— Ближе сюда и спрячься!

Теперь они лежали втроем, слушая железное подвигание двигателя, которое вдруг захлебывалось, наступала пауза, необходимая для переключения передачи. Мотор взывал с новым звуком, одолевая невидимый подъем, приближался к границе.

На поляну, тупо колыхаясь, выехал грузовик, блеснул пыльно стеклом, послал сквозь колючую проволоку вспышку солнца. Зеленый, с брезентовым верхом, он выбрасывал гарь, двигался вдоль опушки, погружался в ухабы, словно что-то искал. Наконец встал в тени широкого дерева, и Бобров заметил, как с вершины, испуганная грузовиком, взлетела и канула в лес большая птица.

Дверца кабины отворилась. На землю, захватив с собой автомат, забрасывая его на плечо, прыгнул военный в очках, в пятнистой, зелено-коричневой форме. На мгновение снял и снова надел картуз, обогнул грузовик. И на его взмах стали выпрыгивать солдаты, упруго и ловко, по прыжкам — молодые и сильные, все в одинаковых камуфлированных облачениях, с автоматами. Бобров, чувствуя, как обостряется зрение вместе с тревогой и растущей опасностью, понимал, что его посетила удача.

Пограничники распластались, едва выступая из травы, в звериной готовности к прыжку.

— Буры! — тихо, не сказал, а выдохнул лейтенант, и дыхание, показалось Боброву, колыхнуло у губ почти видимое, прозрачное, как спирт, пламя ненависти.

Солдаты гурьбой отошли от грузовика. Командир, мелко вспыхивая очками, оглядывал частокол, что-то указывал. Боброву казалось, что указывал прямо на них, лежащих. Плотнее вдавился в землю.

Выстроились в шеренгу, держа автоматы стволами вниз. И вдруг залегли, почти скрылись, слились с чахлой зеленью. Лишь всматриваясь, Бобров различал под деревом бугрящиеся, шевелящиеся тела, мелкие вспышки командирских очков.

То ли вскрик, то ли слабый хлопок. Часть цепи поднялась и рванулась вперед. Солдаты, сгибаясь в беге, выставив автоматы, взрывая бутсами пыль, неслись на колючую проволоку. Приближались, розовея лицами, с открытыми дышащими ртами, в яростной энергии бега, готовясь пробиться сквозь проволоку. И Бобров отшатнулся, испытал их напор и удар. Видел: пограничники, лейтенант, Соломау

отжались на руках, готовые вскочить и метнуться, принять на себя и рассечь этот плотный разящий вал. Уже слышались удары подошв, хрипы и крики. Уже у переднего на розовом раскаленном лице под желтыми бровями голубели глаза. Цепь почти разом рухнула, достигнув невидимого рубежа, сверкнули чернотой автоматы, и металлически лязгнули спущенные вхолостую затворы. Солдаты поднимались, отряхивались. Оглядывались на границу. Трусцой возвращались к опушке и снова залегли.

Бобров, вытирая пот, видел: по черному лбу лейтенанта катится маслянистая струйка.

Снова хлопок и вскрик. Вспышка очков. Солдаты вскочили, метнулись вперед. Мелькающая пятнистая форма. Вихри травы и пыли. Набегали клином на проволоку, готовые ее прободить. И им навстречу, клин на клин, нацеливались из травы пограничники. Их яркие, блещущие ненавистью белки, прыгающие желваки, стискивающие оружие кулаки.

Цепь рухнула, выбив пыль, и из этой пыли лязгнуло вразнобой. Звук чужой близкой стали отозвался у Боброва в височной кости ноющим эхом боли.

И в момент этой боли над лесом, ввинчиваясь жужжанием, возник самолет, глазированно-белый, с красной вдоль фюзеляжа полоской, крутил два серо-стальных пропеллера. Мелькнул и исчез в деревьях. И вслед ему, с опозданием, в пустоту, в сплетение ветвей, ударила зенитная очередь, беспомощно, зло, огрызаясь стуком и звоном желтых ошпаренных гильз. Зенитчик, отпустив рукояти, бил себя кулаком в лоб. Дым относил. Падали срубленные пулеметом суки. Буры на той стороне оглядывались, смеялись, грозили поднятым вверх оружием.

— Отвлекли! — сказал Соломау. — Самолет пропустили!

Лейтенантдохнул голубоватой, прозрачной на солнце ненавистью. Смотрел на пятнистых солдат, запрыгивающих в грузовик, на пустое пространство неба, где прошел самолет. Стискивал кулак с пистолетом. И Бобров подумал: здесь, на границе, он впервые не вспомнил о фильме.

Вернулись в Ресано Гарсиа. Соломау сказал, что хочет остаться на сутки, проследить возвращение самолета. Расстались, условившись встретиться через несколько дней в провинции Газа, в Шай-Шай, оттуда планировалось начать операцию.

За время, что он был на границе, два состава увезли шахтеров в разные стороны. Городок опустел. На площади валялись бумажные обертки, обрывки цветного упаковочного шпагата. Ребятишки хватали его, носились, мелькая струящимися разноцветными ленточками.

Бобров пошел к машине, оставленной у кабачка на площади. Рядом с его «пежо» стоял «датсун», все тот же, знакомый, и Бобров приготовился увидеть Микаэля с Марией.

По ступенькам поднялся в кабачок. Действительно, за столиком в углу с открытыми бутылками пива сидели Микаэль, его спутник, три незнакомца и с ними Мария. Все разом оглянулись на его появление. Он сел в стороне у окна. Благодарно кивнул служителю, открывшему перед ним коричневую потную бутылку с надписью «Пала-Пала» и несущейся антилопой. Наслаждаясь, пил. Глядел, как в открытом окне дети играют с собакой.

Микаэль что-то тихо говорил остальным. Трое незнакомцев были в ярких новых рубашках, в темных жилетках. Три каскетки, желтая, красная, голубая, лежали на подоконнике. И эта слишком яркая жокейская внешность лишь подчеркивала их внутреннее беспокойство, пружинную стиснутость мускулов. Все трое прижимались спиной к стене, водили глазами, словно просматривали сектор прострела от окон к дверям.

Мария встала и пошла к его столику. И пока она шла, Бобров смотрел на ее гибкую поступь, волновавшую плечи, и ее тело в движении несло в себе вторую, не связанную с походкой волну. Он подумал, что эта волна делает ее движение похожим на танец. Она подошла, присела, поправив сиреневое платье.

— Карл,— сказала она, не здороваясь.— Мы увидели вашу машину и поджидали вас. Мы встретили здесь наших товарищей. Оттуда. Они бежали из тюрьмы. Слава богу, они здесь, на свободе. Так оказалось, что наша машина переполнена. Не могла бы я вернуться в Мапуту с вами? Если это не нарушает ваши планы.

— Нет, никаких планов, Мария. Буду рад услужить. Я возвращаюсь один.

— Тогда я скажу нашим, что еду с вами.

Она отошла, и он снова смотрел, как в едином, охватившем ее тело движении живет другое, необъяснимое для него, колеблющее ее небольшую голову и ноги на высоких, чуть

подгибающихся каблуках. Она что-то сказала другим. Те разом встали. Микаэль издал благодарно ему кивнул. Тесно, плечо к плечу, они направились к выходу. Садясь в машину, одновременно, как по команде, захлопнули дверцы, и «датсун» рванул шумно с места, скрылся из вида.

Они не торопились с Марией уходить. Сидели, глядя, как в вечернем краснеющем солнце туманятся горы, висит над дорогой пыль, сквозь которую, бронзоволицый, полуголый, похожий на неостывшую отливку, идет старик.

Потом они катили по синему, с поперечными тенями шоссе, попадая под удары низкого солнца. И Боброву казалось: эти бесшумные световые удары были призывом и речью, обращенными к нему из саванны. Кто-то звал его в горы, леса. Но он не умел разгадать. Был отделен от сигналов скоростью машины, зрелищами прожитого дня.

— Очень тяжелые дни, вся неделя,— сказала Мария.— Время очень быстро летит, под какой-то уклон...

— Да,— он опустил стекло, наполнив машину шумом, запахом лесистой равнины с летящими сквозными деревьями, похожими на зонтичные соцветия. Коровы, бело-розовые на заре, смотрели им вслед с обочин.

— Все равно, я знаю, мы все очень скоро погибнем,— сказала она, и лицо ее, озаренное солнцем, вспыхнуло этим багровым, в ней живущим знанием. Но они тут же въехали в глубокую, от высоких деревьев, тень, и лицо погасло. Он боковым зрением продолжал чувствовать этот возникший на ее лице ожог.— Мы все здесь погибнем рано или поздно,— продолжала она. Он не отвечал, не глядел на нее. Чувствовал, как мучительно ей, как она взывает к нему, о чем-то просит.— У меня предчувствие, мы все здесь скоро погибнем.

— Это бывает, Мария. Это усталость, нервы.

— На вилле, где мы живем, есть газон и дорожка. Через эту дорожку от стены дома проходит муравьиная тропка. Муравьи по стене поднимаются к окну, в дом. Я любила смотреть, как они тащат в сад по своей тропке всякие крошки, соринки. И вот недавно они все ушли. Пропали из дома, из сада. Подхватили свои яички, личинки и ушли. Я видела, как они уходили. Трава шевелилась, блестела. Это к несчастью. Они почувствовали, что над домом нависло несчастье, и ушли.

— Ну что вы, Мария! — пробовал он шутить.— Просто они съели все ваши крошки. Или нашли дом, где крошки

вкуснее. Это дело обычное. Знаю я этих муравьев! Они ушли за лакомством, а вы бог знает что надумали!

— Если бы я могла, я бы тоже ушла. Я чувствую, как над домом нависло несчастье. Я бы ушла ненадолго, недалеко. Забыть про этот ужас! Про войну, про политику. Я ведь женщина, и еще молодая.

— Вы прелестная женщина, Мария,— сказал он.

— Я мечтала стать лингвистом. Все говорили, у меня дар к языкам. Хоть бы ненадолго поехать в Европу, поехать в Лондон! Чтоб можно было засыпать без страха, просыпаться без страха! Чтоб люди перед сном не клали под подушку оружие. Чтоб, садясь за рабочий стол, открывая ящик, не бояться, что грянет взрыв. Не осматривать каждый раз сиденья машин и багажники в поисках бомб. Если мне встретился здесь в магазине или на улице человек и он слишком пристально посмотрел на меня, это не значит, что я понравилась ему. Это может значить, что он следит за мной и мне нужно от него укрыться. Когда мне в офис приносят корреспонденцию, бандероль, я боюсь их вскрывать, ибо это может быть взрыв-пакет. Месяц назад нашей сотруднице Кларе оторвало обе кисти, когда она вскрывала посылку, присланную в наше представительство. Здесь нет ни минуты покоя! Я чувствую себя под прицелом. Чувствую, кто-то целится в меня сквозь окно офиса. Целится, когда я сплю. Вы не представляете, что значит знать других людей, любить, дружить с ними, и потом они уезжают — и половина из них не возвращается никогда. Ты видишь их на газетных фотографиях убитых, в луже крови, или перед казнью в зале суда. Вы не представляете, что значит любить человека, быть замужем и уже пять лет не видеть его. Знать, что его мучают, терзают, бьют и, может быть, в эту минуту, когда мы едем с вами, его душат петлей в камере или засовывают под язык электрическую клемму.

Она задохнулась, закрыла лицо руками. И солнце, мелькая в стволах, поджигало ее узкие пальцы, словно хотело отнять их от стиснутых глаз.

Бобров гнал что есть силы, будто хотел побыстрее проскочить этот мучительный отрезок пути, вывести ее из области страданий и страхов.

— Дорогая Мария, вы устали, измучились. Мы все ужасно устали. Вы молодая, прелестная, вы еще будете счастливы,— он пытался ее успокоить, передать ей свои необильные силы, поддержать ее колеблющийся дух.

— Вы знаете, что мне часто снится? Дверь!

— Какая дверь?

— Меня собирались пустить на свидание к мужу. Привели в тюрьму. В этой тюрьме больше всего меня поразили двери. Это был каземат, подземный коридор без дневного света с тусклыми зарешеченными лампами. Какой-то грязно-допотопный, почти средневековый, но с новенькими, установленными у потолка телекамерами. И двери, ряд одинаковых дверей, ведущих в камеры. Каждая была сделана из толстенных досок, как будто из борта старинного корабля. Я подумала,— наверное, на таких кораблях приплыли когда-то голландцы, приплыл Ван Риебек, а потом из этих галионов сделали тюремные двери. Доски были окованы толстым железом и покрыты зеленой масляной краской, как броневики. На них были навешаны тяжелые засовы и скобы старинной кузнечной работы, с колесами и рычагами, и тут же поновей, заводские, и совсем новые, хромированные, блестящие замки с автоматикой и сигнализацией. Каждая эпоха навешивала на эти двери свой замок, не убирая старых, и все замки работали, все смазывались, все действовали. Дверь напоминала хорошо продуманную, сконструированную машину. Воздух в коридоре был металлически-синий, туманный от обилия железа и машинного масла. За одной из этих дверей был мой муж. В последнюю минуту тюремщики почему-то раздумали, не пустили меня, вывели обратно. Я только видела дверь и чувствовала, что за ней мой Абель, его глаза, губы, мускулы, дыхание. Отделены от меня этой работающей железной машиной. С тех пор мне стала сниться эта дверь. То реже, то чаще. Сейчас она мне снится все время. Огромная, в замках, в зубчатых колесах. Надвигается на меня, давит, вминает. И я просыпаюсь с криком, и мне кажется, в комнате еще присутствует ее маслянистый железный дух!

Они въехали в вечерний, загорающийся огнями Мапуту. И Бобров чувствовал, как не хочется ей расставаться, уходить к своим страхам и снам.

— Мария, если это удобно... Если у вас есть время... Меня пригласили на вечер в один дом... День рождения... Португалец, профессор. Коммунист. Приехал в Мозамбик преподавать в университете историю. Будут друзья из землячеств. Будут музыка, песни... Хотите, пойдем?

— С радостью, Карл! Хочу!

Он ориентировался на усыпанную красными гроздьями телевизионную вышку. Миновал освещенную сквозь деревья бело-желтую католическую церковь, чем-то похожую на

московскую на Ордынке. Подкатил к двухэтажному дому, где жили преподаватели университета, и поставил машину перед узорной чугунной решеткой. Повел Марию, поддерживая ее теплый локоть, на звуки музыки, раскаты смеха.

— О, Карлуш! — встретила его на пороге хозяйка, неподдельно-обрадованно, быстрая, яркая, не заслоня узким подвижным телом озаренную глубину, наполненную голосами, мельканиями. — Антонио спрашивал о вас. Мы так рады.

— Здравствуйте, Кирилл Андреевич, — вторил ей пресс-атташе Ермаков, держа в руках стакан с блестящей льдинкой. — Я ведь говорил, что вы будете.

Бобров представил Марию. Вводил ее вслед за хозяйкой, за Ермаковым в шум, в гитарный звон. Хозяин, профессор Антониу, в белой, расстегнутой на груди рубаше, склонил к гитаре смуглое, горбоносое, с пышными усами лицо. Перебирал струны цепкими пальцами. Лицо его, португальское, мужественно резкое, несло в себе общее для всех гитаристов выражение чуткого слушания, наивного изумления и удали. Быстрым округлившимся оком посмотрел на вошедших, одновременно и грозно, чтоб не мешали, и радостно-ласково, приглашая войти, и насмешливо-счастливо, уговаривая восхищаться и вслушиваться в сладкий печальный рокот, в старинный перезвон, в котором — пыль родимых каменных дорог, деревянные, осевшие в соленой воде причалы, ржавые якоря от ушедших в песок каравелл.

Их, вновь вошедших, сразу посадили за стол. Улыбались, здоровались, представлялись. И тут же ставили перед ними тарелки, угощали салатом, ломтиками вареного мяса, подносили вино. Бобров, видя смущение Марии, чокался с ней, шепотом поручал ее вниманию хозяйки, и та понимала, обращалась к ней с ненавязчивой обходительностью и заботой.

Он двигался среди гостей от кружка к кружку. Ненадолго вступал в разговор. Мгновенно улавливал царившую в кружке атмосферу, которая была частью общей задушевности и легкой, связанной с музыкой и вином, экзальтацией. Отвечал на шутки, вступал в политические диспуты. Если не понимал португальского и испанского, пользовался услугами Ермакова. И все время не выпускал из поля зрения Марию, встречался с нею глазами, кивал, ободрял.

Португальский инженер Алешандре, работающий в порту, живой, с волнистыми блестящими волосами, не отпускал руку Боброва, встряхивал ее, и Ермаков, косясь на свою тающую в стакане льдинку, переводил:

— Говорит, хочу, чтоб вы его поняли... Есть три причины, почему он покинул Лиссабон и снова вернулся в Мапуту. Говорит: в нем сохраняется комплекс вины перед африканцами, перед континентом, которые они, португальцы, угнетали веками. Но он коммунист и приехал сюда не избавлять в себе этот комплекс, а сознательно, как к товарищам по идеологии, как к братьям по мировоззрению. Приехал сюда отдать свои силы социализму, здесь, на юге Африки, в Мозамбике. Потому что социализм — это единый мировой дом, и неважно, говорит, где возводить его стены.— Бобров кивал, чувствуя летучий струящийся жар, слетавший с узкой ладони инженера.— Но главное, говорит, не забывайте, что хоть мы и португальцы, но Мозамбик — наша родина. Мы, говорит, здесь родились, мы — африканцы и вернулись к себе на родину. Мы здесь свои!

Он покинул инженера, уступив свое место высокому мулату, кажется, врачу из Центрального госпиталя. А сам уже вслушивался в речи хозяина, профессора Антониу, смотрел в его выпуклые, с сиреневым отливом глаза, на крепкую грудь, открытую под белой рубахой, на холеные усы, колеблемые движением губ:

— Современная европейская культура, как я вам пояснял в прошлый раз, подорвана непрерывной рефлексией, самоистязанием. Она сюрреалистична, больна. Ее энергия есть история оскудевшей души, забывшей о Ренессансе. Африканская культура, вы можете в этом убедиться на любом сельском празднике, позитивна, проста, осуществляется с одинаковой целостностью на индивидуальном и коллективном уровне. В ней энергия самой природы — океана, солнца, леса. Ее эмоции, подобно урану и нефти, есть тот ресурс, которым Африка начнет делиться с остальным миром. Джаз, напоивший Америку, — это лишь пробный выход в мир африканской энергии. Эту эмоцию, этот огонь можно передавать в Европу волноводами с любой деревенской свадьбы, — и он делал жест своей смуглой кистью, будто бил в раскрашенный кожаный бубен.

Синеглазый немец из Дрездена, геолог, приехавший на танталовые месторождения, еще не освоил Африку, знал о ней понаслышке. Но желал выглядеть знатоком континента, наклонял к Боброву млечно-розовое, с белокурой бородкой лицо:

— Если посмотреть на политические границы в Африке, то увидим, что это одновременно и геологические границы. Империалисты, мы это знаем теперь, делили между собой

месторождения и проводили между ними границы. Что такое граница между ЮАР и Мозамбиком? Собственно, там, где кончаются в ЮАР полезные ископаемые, сразу начинается Мозамбик. Не случайно все военные экспедиции в Африку, английские, французские, бельгийские, включали в себя геологов. Собственно, это были геологические экспедиции под защитой винчестеров. Вы согласны со мной?

Маленькая чилийка Марта, с девичьей косичкой, переплетенной красной ленточкой, с темными кругами у глаз, говорила Боброву полусшепотом, конспиративно оглядываясь; и Ермаков, переводчик, невольно перешел на шепот и тоже оглядывался.

— Мы все здесь живем с нетерпением, когда партия примет решение переходить к вооруженной борьбе... Я изучаю автомат и гранату... Когда будет дан приказ, я вернусь в Чили и стану сражаться... Я отомщу им за Клавдио... Теперь мы видим: путь Альенде был ошибочен... Реакция разгромила парламент... Мы вернемся на путь Че Гевары. Мировое коммунистическое движение должно понять — центр революции перемещается в Латинскую Америку... Если не время сейчас возвращаться в Чили, я готова ехать в Сальвадор, в Никарагуа, в Гватемалу... В любое место, где народ сражается за свободу!

Из кувшина в два стеклянных стакана она налила самодельное домашнее вино. Чокнувшись с ней, Бобров выпил горько-сладкий напиток за Чили, за оружие, за свободу, и ее длинные, слезно-черные глаза замерцали благодарно и жарко.

Плотный, с квадратными плечами кубинец Рафаэль, ветеринар, собиравшийся в Бейру, говорил ему, старательно подбирая английские слова:

— Эта болезнь называется — африканская чума свиней. Не свиная чума, как вы говорите, а африканская чума свиней. У нас на Кубе от нее погибли тысячи свиней. Их заразили. Это была диверсия, отравление ЦРУ. У меня есть опыт борьбы с эпидемией. Сейчас здесь, в Софале, началась точно такая же эпидемия. Я уверен, это тоже диверсия. Их заразили буры. Мне говорили: в госхозах умирает много свиней. Мне надо скорей лететь. Мы встретимся с вами в Бейре. Запомните — африканская чума свиней!

В этом кружении и многоголосии Бобров все время наблюдал за Марией: хорошо ли ей. Она чувствовала его взгляд, отвлекалась на мгновение то от беседы с хозяйкой,

то от ухаживаний профессора. Кивала ему, и он видел: ей хорошо.

Зарокотало, забренчало. Чилийка Марта поставила на стул ногу в темной туфельке, положила на колено гитару, была в нее, созывая, скликая. И все подходили, окружали ее, и она, откидывая голову, открывая голую шею, запела «Венсеремос». Взяла чуть выше, напрягаясь, готовая сорваться, умолкнуть. Но другой чилиец, смуглый, седой, встал с ней рядом, запел, словно обнимая ее слабый, трепещущий голос, и они вдвоем продолжали: «Мы победим!» Кубинец откликнулся на испанское родное звучание, шагнул к ним, словно встал под их знамя. Песня рокотала, расширялась, принимая в себя все новые голоса. Профессор одной рукой притянул к себе жену, другой — сжимал черную гибкую кисть африканца и пел, истово блестя глазами: «Мы победим!» Африканец вторил ему, не зная слов, выдыхая мотив широкими жаркими губами. Белокурый немец гудел, рокотал и лишь в припеве выкликал по-испански: «Мы победим!»

Бобров пел со всеми бессловесно, лишь иногда угадывая, вторгаясь, путая русский с испанским. И песня была заклинанием и порукой им всем, слетевшимся на африканский берег через океаны, смерти и войны во имя одной заботы, одной роднящей судьбы, отнимавшей их силы и жизни, дарившей несравненное чувство родства, вселенского братства и истины, вершинной, возможной лишь в песенном хоре, или в бою, или в последнем перед смертью прозрении: о бессмертии, чистой жертвенности, готовности пасть за других.

Он пел, и ему казалось, что все они несутся с этой песней в огромной, продуваемой мировыми ветрами трубе, прижатой к чьим-то громадным губам. Их голосами поет чей-то огромный, мировой, не имеющий очертаний голос. И его отдельная, слабеющая, готовая кануть жизнь не исчезнет, вольется в общий, неумолкаемый хор мира.

Расходились, прощались с хозяевами. Обменивались поцелуями, пожатиями рук. Катили с Марией по ночному Мупуту, ослепляемые редкими вспышками фар.

Мария, опустив стекло, черпала воздух длинной темной рукой.

— Было хорошо. Прекрасные люди. Карл, вы обещали подарить книгу. Где рассказывается о ваших фильмах. У Микаэля есть, а у меня нет.

— Мы можем заехать ко мне. Если не поздно.

— На минутку можем заехать.

«Полана» казалась белым шатром, натянутым среди под-

свеченных палм. На темных газонах белели завитками и гнутыми спинками стулья и столики. Бассейн чуть колыхал отражение фонаря. Пропуская вперед Марию, он ненароком тронул черные глянцевитые кусты, и с них упала светящаяся, словно рапидом снятая капля.

Вошли, не зажигая огня, в прохладу номера. За стеклянной стеной, успокоенный, невидимый, дышал океан. Туманил мерцавшее небо, качал далекий, мигавший бакен.

Он включил кассетник, негромкую, терпкую музыку, созвучную этим туманным мерцаниям. Мария сама положила ему на плечи руки. Он обнял ее, осторожно и бережно, за гибкую спину. Вовлекал ее в медленное кружение мимо стеклянной стены, видя, что глаза у нее закрыты и на веках — пылинки света. Щека ее была бархатной и прохладной. Она медленно поворачивала к нему лицо, и он целовал ее, превращаясь в ее дыхание, в ее биения, видя ее донным, разгоравшимся под веками светом, пропадая в нем, теряя свои очертания.

— Нет,— сказала она.— Нельзя. Он видит и знает. Нельзя.

Он очнулся, отпустил ее, отошел. Ее слова были о человеке, исхудалом, томящемся за железной дверью, следившем за ними, танцующими. И другие глаза, жены, смотрели, как он идет мимо белых столиков, роняет каплю с куста.

Он вез ее по ночному Мапуту к окраине, к пригороду Матола, следуя ее указаниям, вписывая машину в узкие улочки среди спящих одноэтажных домов. Бензоколонка с белой, на стекле нарисованной раковиной и мигающей надписью «Шелл». Решетка с черными чугунными перекрестьями, напоминающая церковную ограду. Круглое, как зеленый шар, дерево, несущее в своем центре глянцевитый фонарь.

— Вот здесь, Карл, спасибо. Дальше не надо,— сказала она. Он знал: она не хочет, чтоб он ее провожал до виллы, где живет их товарищество. Не следовало знать, где находится эта вилла, никому, и ему в том числе.— Спасибо,— сказала она, протягивая ему руку. Он поцеловал ей запястье, отпуская ее, освещая ей путь фарами.

Видел, как она идет. Обнимал ее этим светом. Желал ей блага, хранил, защищал этой бестелесной летучей материей. Выключил фары, и казалось, они все еще продолжают светиться. Она скользнула в чугунную, перевитую цветами калитку и исчезла. Он сидел устало в машине, смотрел, как в круглом дереве зеленеет фонарь.

Беломорская лодка, смолисто-синяя, в грохотании двигателя, с ворохом мокрых сетей, с плоскими зеркалами врезанных в днище рыбин. Колотится о валы, как о булыжники, проваливается в белые пенные ухабы. Катя, жена, с развеянными волосами, в брызгах, блеске и хохоте. Над ней — бесшумно и косо парит красноклювая чайка. За ней — в белых цветах острова. И он, ухватившись за руль, проводя ладью среди отмелей, островов, чувствует ее, как яркую, горячую, влекущую его силу. Правит, послушный ее воле и красоте.

Ночь в их московском доме. Она кормит новорожденного сына. Большая, белая, в красном, приспущенном на плече сарафане. Отводит от груди темный упавший локон. Он смотрит на жену, на сына, на ночное окно, где огненным длинным пунктиром бежит электричка, пульсирует бесшумная ягода самолета. И такая в нем нежность, такая ей подчиненность. Мир вокруг — как огромный застекленный фонарь, в котором горит драгоценное красно-белое пламя, — она, его Катя. Он издали, мыслью, всем любящим своим суеверьем просит, чтоб ее оберегли, чтоб пламя ее не задули.

Туманный снегопад в Шереметьеве. Проблески, гарь машин. Угасающий рев улетающего в метель самолета. Она провожает его, утомленная, похудевшая, держит его за рукав. А в нем — нетерпение: поскорее уйти и проститься. Весь устремился туда, где ждут его образы будущей, самой важной, желанной работы. Где в горящей африканской саванне идут бои. Бригады ангольской пехоты отражают таранный удар. Горит в лесу транспортер. Косо, похожий на клин, пикирует «мираж». Оглянулся напоследок сквозь стеклянную стену, заслоняемый спиной пограничника. Она беззвучно, беспомощно машет, что-то силится ему досказать, какое-то последнее, заветное слово, что должно его сберечь, сохранить. Не может. Уже отсечена, заслонена зеленой фуражкой. А в нем — внезапная боль, словно в сердце ткнули заостренную спицу.

Он думал теперь: после мучительной юности, когда растущая душа как бы слепа, стеснена, тоскует, не понимая себя, своего появления в мире, неизбежного ухода во тьму, после длящегося долго затмения он встретил ее. И любовь к ней была как светоносная вспышка, озарившая далеко все вокруг, поставившая его, доселе случайного, в самый центр мира. И в этих ясных, от нее исходящих лучах в одночасье, без труда и усилия, открывалось ему огромное знание: о при-

роде, о предках, о Родине, о законах добра и зла, о заложенном в мироздании благе, медленно, наподобие древа, прорастающего в душах людей. В его жизни появился небывалый по силе источник, из которого он черпал энергию для бесчисленных свершений и дел. Родил и взрастил детей, объехал полмира, внедрялся умом и духом в самые жестокие сверхтвердые слои бытия, превращая недвижимую глухую материю в дух живого искусства. Был щедр на дружбы, принят в людские содружества, где в бесчисленных встречах, в яростных спорах и диспутах рождались его представления, возникали его картины, росла концепция мира, продиравшегося сквозь войны и кровь к грядущему неизбежному благу, к земному братству людей. И в недрах этой расширяющейся бурной вселенной, он знал, лежит тот юный взрыв и прозрение. Его любовь.

Когда первый слепящий свет стал утихать и из этой вспышки начали появляться контуры новой возникшей жизни, он, как бы очнувшись, обнаружил себя среди народившихся детей и свою маленькую тесную комнатку, сквозь которую шла чередой забот и помех, хлопот о хлебе насущном, разрастающийся мучительный быт, и она, его Катя, стирающая, кормящая, исцеляющая, гоняющая с сумками по магазинам, плачущая, бунтующая, болеющая и усталая, неприбранная и раздраженная, но все так же любимая, — вызывала в нем новое изумление. Кто она, эта женщина, данная ему в непрерывное проживание жизни? Поделившая с ним в детях свою плоть и свой дух. Следящая за ним поминутно в его дневные и ночные часы. Когда он рядом, за письменным столом, или летит над полдневной Сахарой. Идет с ним рядом по их переулку в дожде, в снегопаде, или по улицам европейских столиц, или тогда, в амстердамском музее, на старинном холсте, где овцы, коровы и кони, и путники разложили дары, и плывет над холмами хвостатая голубая звезда, и она, его Катя, держит на коленях младенца, и мир вокруг все тот же драгоценный фонарь, колеблющийся тихое пламя. Кто она, следующая за ним по пятам во дни ликований и тягот, проживающая вместе с ним его век, закрывающая ему глаза на прощание, идущая следом за гробом, приносящая на могилу цветы? Кто она, его Катя?

Ее женственность облакалась в таланты. Она рисовала. В их путешествиях он оставлял ее на карельской можжевеловой круче среди озер и сосновых боров. Или у суздальской белой церквушки, где на желтых одуванчиках паслись смиренные козы. Или сам, небритый, худой, садился с кни-

гой позировать. Позже, в Москве, спустя много лет, она доставала из папок свои акварели, раскладывала на полу в пятнах зимнего солнца, рассматривала их печально и сладостно.

Она играла на гитаре и пела. Ее романсы и песни, путанные, с ею самой досочиненными словами, могли длиться часами. И собравшиеся любовались ею, вдохновлялись ее песнопениями. И он ревновал, изумлялся ее богатству, ее власти над собой, был очарован этими рокоющими родными звучаниями.

Она была артистична, склонна к игре, к представлению. Ее рассказы, изображения в лицах, смешили, увлекали. Он помнит то время как одно непрерывное представление, где она была режиссером, а дети кружили вокруг нее хорожды, клеили маски, натягивали ширмы, облекали в этот театр свои распри и дружбы, свое нерасторжимое на всю жизнь единство.

И весь этот щедрый, рвущийся наружу порыв, обещавший творчество, был уловлен в семью, в повседневность. В домашний быт и в детей. В культ служения мужу. На этой энергии, не реализованной в искусстве и творчестве, держалась огромная семья. Излечивались хвори, умирялись ссоры, изгонялось уныние, делалось великое множество черновых изнурительных дел. Держался дом, где она уже не рисовала, не пела, а правила, как, должно быть, правили ее бабки, прабабки из далекой родни, — мудростью, трудом, и терпением, бывшими все той же любовью.

Ее мудрость пришла не сразу. Она роптала и жаловалась. Кляла эти очереди в магазинах, эти переполненные снедью сумки, бесконечные стирки и мойки, плиту проклятую. Пробовала бунтовать. Пошла работать в кукольный театр, в мастерскую марионеток.

Он вдруг почувствовал, что у нее возник свой мир, ему недоступный. Она приносила из театра отзвук другого сообщества, где царили иные мысли и отношения, куда он не был включен. Смысл этих отношений для нее был именно в том, что домашняя жизнь в них отсутствовала. Однажды она принесла домой стеклянную бородатую куклу, смешно вращавшую глазами, шевелившую бородой. Но детям играть не дала. Поставила бережно на свой столик. Сказала, что это подарок, автопортрет — художника-кукольника, талантливого милого человека.

Он враждебно смотрел на маленького бородатого идола, очень живого, поселившегося вдруг в его доме. Воспринял

как одушевленное, враждебное ему существо. Однажды после работы зашел к ней в театр, застал в мастерской пирушку. На верстаках среди фольги, банок с клеем, незаконченных, слепленных из папье-маше царевен и королей стояло вино, блестели стаканы. Пили, чокались. Стихли и чуть смутились при его появлении. Но быстро приняли его в свой круг, сунули ему стакан с вином и забыли о нем. А он наблюдал свою Катю, ее пылкость, свободу, счастливые раскаты смеха и того, бородатого художника, его голубые глаза на смуглом лице, следившие за Катей, светлевшие и сиявшие, когда она обращалась к нему, и темневшие жадным счастливым ожиданием, когда она отворачивалась. Кто-то попросил ее спеть. Она согласилась, вздохнула глубоко. Запела, и тот синеглазый ей вторил. Они пели незнакомую ему долгую песню, северную, свадебную, про коня, жениха и невесту. Он слушал их, обращенных друг к другу, наминавших два зеркала, в которых перелетал, отражался один и тот же блеск света. Вдруг испугался, ослабел почти до обморока. Ему стало так худо, так больно, что стакан с тихим звоном выпал из рук и разбился. Она взглянула, увидела его муку. Побледнела сама. Кончила петь. Устремилась к нему и при всех обняла, поцеловала, заслонила от того безымянного, страшного, что почудилось ему в их пении. Увезла домой. Очень скоро после этого вечера ушла из театра. Куда-то убрала, затеряла бородатую куклу. Окончательно смирилась с материнством, с домом, с хозяйством.

Он понимал, ей нужен хотя бы недолгий отдых. И когда позволяли дела, когда оканчивались экспедиции, съемки, мучительные сдачи картин, когда никто из детей не болел, они оставляли их на попечение бабок и отправлялись в короткие, на несколько дней путешествия. И потом, в худые минуты, он вспоминал эти чудные путешествия среди прохладных трав и студеной вод, среди ветреных вольных лесов.

Ярославль. Белые волжские корабли. Она медленно ступает по сумрачному, пахнущему сыростью храму, рассматривает фрески, и ее появление высвечивает пространство стены, будто фреска возникает с ее появлением: то похожий на месяц нимб, то крыло, то терем, то рыба. Она водит его за собой, показывая царства и страны, и он послушно идет, пытается разгадать ее притчу.

Их ночлег в лесах за Касимовом. Тонкие высокие травы, которые он боялся сломать, расставляя палатку. Короткая теплая ночь с падениями метеоритов. Крики печальной птицы. И всю ночь где-то рядом звенели колокольцы, взды-

хало близкое стадо. А наутро город за Окой бело-розовый, коровы пьют его отражение. Пастух, косноязычный, с курчаво-островерхой головкой, похожий на фавна, подарил им берестяную дудку. И спустя много лет, когда было им худо, их посетило уныние и они отчужденно сидели за кухонным столом, она извлекла эту дудку. Дунула в нее, засвистела. И встали тонкие травы, зазвенели в ночи бубенцы, возник бело-розовый город. И они — молодые и любящие — следили за падением ночных метеоров.

Какая-то речушка за Тулой. Она лежит на зеленой копне, читает томик стихов. А он из машины следит за ее губами, за смуглым, перетянутым бретелькой плечом, за круглым под цветастой тканью коленом. И вся она, оставаясь на зеленой копешке, приближается, увеличивается, входит в него. Поднялся, отобрал из рук ее томик, заложил страницу цветком. Она отталкивала его, кидала в него легкое сено, а он ее обнимал, целовал, заставляя стихать и смиряться. Потом, через многие годы, вдруг увидел у дочери томик, все тот же, потрепанный, зачитанный. Взял, листая страницы, что-то искал, вспоминал. И вдруг натолкнулся на тот прозрачный, сухой, ставший бесцветным цветочек.

Он помнит, когда их союз сотрясался. Свое увлечение другой. Ему казалось возможным отделить свое новое чувство от того, что совершалось в семье. Расчленил себя сверхпрочной преградой. Рассечь две области жизни. И в одной, как прежде, был дом, растущие дети, непрерывное бремя забот, растущая год от года усталость. А в другой половине — недолгие счастливые празднества, создаваемые искусственно обоими, где нет места обыденному, а все напоминает хрупкий счастливый блеск тех же елочных украшений, которыми она нарядила маленькую вчерашнюю елку. Задерживала смуглые волнистые шторы, и они при свечах пили вино, и он смотрел на ее красивое любимое лицо и думал: значит, возможно это разделение, эти два одновременные чувства, две одновременные любви.

Но та преграда, что он воздвиг, оказалась непрочной, нестойкой. То, что у смуглых волнистых штор казалось чудным золотистым свечением, проникало в дом и семью тончайшей злой радиацией. Катя, не зная всей правды, чувствовала это губительное, залетевшее в дом излучение. Мучилась, ужасалась, без упреков, без объяснений, обманывая себя, стараясь спасти свой очаг. То принималась звать его в путешествия. То требовала, чтобы он занялся детьми. То затевала перестановку, избавлялась от старых вещей,

от которых, как казалось ей, исходит все зло. Он видел — она болеет, ее дух все знает и чувствует. Винил себя. Гневался, протестовал, чувствуя, что и сам разрушается: она, Катя, болея, и его ввергает в болезнь. Своими страданиями и его заставляет страдать.

Их объяснение в ночи, когда поздно явился, и она, измученная ожиданием, в каком-то неопрятном, больничном, как ему казалось, халате встретила его у порога. Внезапно, от великой усталости, от жалости и вины, он открылся во всем. Не помнит, что говорил и что она отвечала. Было чувство непрерывных, наносимых друг другу ударов, от которых оба слабели, исчезали и рушились. И в последнем усилии перед тем, как выкрикнуть последнее необратимое слово, повернулся и вышел. Рванулся на машине по ночной апрельской Москве, прочерчивая в ней ртутный из страдания и бессилия след. Круглящимися глазами успевал замечать то дымные туши градирен, то шпиль небоскреба, то колоннаду. Въехал в глухое подворье, встал у кирпичной стены. Лежал в машине, слушая, как льется и капает, гремит в водостоках железо, звенят, опадая, сосульки. Казалось, Москва разрушается, осыпается, в ней что-то уходит, превращается в льдистый туман. И что-то строится заново в этой ночной, невидимой глазу работе.

Кончилось его наваждение. Под утро усталый и тихий он вернулся домой. Она встретила его, ни словом, ни жестом не упрекнув, не напомнив. Он видел, что в ней, как и в нем, что-то сломалось и кончилось, унеслось в ледяной туман. Но что-то осталось и выстояло, с чем им дальше жить вместе. Сидели и пили чай. Светало. Дети вставали. Дочь удивленно и сонно, в белой ночной рубаше, заглянула на их чаепитие.

Что он помнит и знает о ней? Суеверье, не позволявшее ей расстаться с шоколадными, в серебряных обертках, туфельками, что он подарил ей в первые дни знакомства. Так и висели десятилетие на гвоздике в глубине буфета. Желая ее поддразнить, он лез в шкаф, говорил, что соскучился по шоколаду и сейчас съест башмачки. Она пугалась, кидалась спасать свои амулеты. Обижалась на него, огорчалась.

Не умела толком накрыть на стол, накормить его завтраком. То не ставила сахар, то забывала ложку, то не было масла в масленке, то не куплен был хлеб. Никогда не удавалось ей собрать воедино эту несложную комбинацию предметов. Он удивлялся, смеялся, раздражался, даже гневался. А потом махнул рукой. Оставляя газету, сам вылезал за

ложкой, еще раз — достать из холодильника сыр, еще раз — поставить и разогреть остывший чайник.

Ее голубое колоколом платье, которое сшила перед тем, как родить. Тяжело ходила по дому, останавливалась, вздыхала. Клала ладонь на свою налитую грудь, на высокий живот. Оставляя рукопись, он прижимался лицом к ее дышащему теплему телу, слыша в глубине слабые дрожания и стуки. Неродившийся сын посылал ему свои первые живые сигналы. Через много лет в деревне сын с приятелями мастерил из этого платья бредень. Рвали его, кроили, приторачивали к кольям. А она молча следила за ними, распускаясь на ленты давнишнее ее одеяние.

Умер ее отец. В яркий январский мороз они шли по белой дорожке кладбища, толкая гнутые, с витыми полозьями сани, где стоял гроб. Он чувствовал, как Катя замерзает, каменеет на яростном раскаленном ветру. Ухватившись за бумажный венок, отражает в своих слезных глазах туманную Москву, и черную могилу, и красный гроб, в который вгоняли блестящие гвозди. К вечеру после поминок она слегла с сильным жаром. Бредила, звала то отца, то его, куда-то кидалась, спасала от кого-то детей. Он всю ночь был рядом. Клал ей на голову мокрое полотенце, поил малиной. И наутро — чирикание воробьев на снегу, и она, очнувшись, смотрит на него долго и пристально, держит его руку в своей, белой, большой, повлажневшей.

Не сразу, не явной мыслью, не во всей глубине он осознал загадку и тайну их совместного бытия на земле. Их слияние в некую сущность, превышающую в своей полноте их раздельные жизни. То единство, на котором держался мир.

Никогда свой опыт, связанный с матерью, женой и детьми, он не использовал в фильмах. Боялся к нему прикоснуться. Считал его заповедным. Но он, этот опыт, был тем донным свежим потоком, той подземной чистейшей влагой, что поила его. И в мгновения, когда он иссякал, когда сгорал от суховея и засух, он погружался в эту «воду живую», спасался в ней от гибели. И снова был жив. Сады его цвели, леса его зеленели.

Так думал он о ней, своей Кате, сидя в машине, на окраине Мапуту в Матола, отпустив от себя другую, темноликую женщину. Глядел на зеленый в древесной кроне фонарь. Медленно пустив машину, миновал бензоколонку с надписью «Шелл», чугунные крестовины решетки. Катя сидела рядом, опять волновалась о детях; не спят, ждут их возвращения.

Зеленая сырая долина с солнечным туманом, с зеркальцами болот. Плоское течение Лимпопо с редким скольжением челнока, без птицы, без рыбьего плеска. Стальной узкий мост у Шай-Шая с полосатым шлагбаумом и стеклянной будочкой сборщика проездного налога. Дребезжащее многолюдие города с черной крикливой толпой, с обшарпанными, набитыми до отказа автобусами. Горячие холмы за окраиной и внезапные шумные ливни, ошпаривающие шоссе и понурые чахлые пальмы, превращающие округу в кипящее варево. И после в густых испарениях — запахи сладковатого тлена, исходящего от жирной земли, от одежды, от дощатых ободранных стен. Запах Африки, запах твоей проживаемой жизни.

Он поселился в маленьком придорожном отеле на окраине города рядом с бензоколонкой и баром, где под яростное стенание кассетника пили пиво, гомонили и ссорились, разом кидались к дверям, когда подкатывал помятый, раздутый, как старый чемодан, автобус, и из окон смотрели серьезные, глянцеви́то-черные лица, и водитель пил пенистое пиво.

Он поджидал Соломау. Поднимался на ближний холм, откуда открывалась пятнисто-зеленая саванна с серыми, похожими на кучи хвороста хижинами и неровными клочками полей. Вечерами, в сумерках оттуда начинали звучать тамтамы и мерцать багровые отблески очагов и костров. Он слушал барабанный стук, лежа без простыни в нагретом номере, наблюдая, как меркнет небо, как темнеет контур высокой перистой пальмы с мохнатыми кошелками кокосов. Дожидался первой звезды и ночного, приносящего прохладу ветра, начинающего тонко свистеть и шелкать в невидимых пальмовых листьях. И этот дребезжащий мембранный звук, и туманные звезды, и запах сладковатого тления порождал в нем непрерывное, не уходящее чувство печали. Будто он что-то забыл и покинул. И это что-то — уже недоступное — было в полете светлячка за окном, в крике бессонной птицы и в нем самом, лежащем среди шелеста ночи. Он не искал причину печали, просто слушал ее. Забывался под утро коротким сном, и бабушка в белой шляпке, в белой холщовой юбке сидела на пеньке и читала. Он прижимался к теплой земле своим гибким счастливым телом, стремился на свечение ее любимого, родного лица.

Утром под окна подкатил на «уазике» Ступин и, браво развернувшись, загородил свет черно-желтой эмблемой с надписью: «Проект Лимпопо», железной дверцей, исхлестанной о колючие заросли.

— Завтракали, Кирилл Андреевич? — он прыгнул на землю в полевых из мягкой кирзы сапогах, в мятом картузе, с кожаной сумкой через плечо, похожий на деревенского землемера или на председателя степного колхоза. — Значит, так, Кирилл Андреевич, программа у нас такая. Осмотрим наше хозяйство, наше богатство. Как варим трубы, обучаем мозамбикских рабочих. Так сказать, варим швы дружбы. Потом, если желаете, поедem на трассу водовода, как раз сегодня вывоз труб состоится. Посмотрите на нашу артиллерию. Там же, неподалеку, в новой деревне открываем водопровод, подключаем колонки. Как говорится, праздник воды. Оттуда на катере по Лимпопо обратно, домой. А вечером милости просим к нам в гости. У зама моего день рождения. И вам приглашение персональное!

Он улыбался растресканными губами, шевелил белесыми бровями. И Бобров, глядя на него, испытывал чувство облегчения и благодарности. Чувство уверенности от его суетливо-веселых движений, подмигиваний, от всей его сути, проверенной в другой, любимой земле.

— Так что, если готовы, Кирилл Андреевич, — едем!

В машине, в заднем отсеке, лежали буровые насадки. («Может, успеем к буровой проскочить. Бурим вдоль всей Лимпопо на пресную воду для будущих кооперативных хозяйств».) Перетянутая ремнями папка с торчащим сочным корневищем и стеблем. («Да вот, ботаника нашего подвезу на ландшафт. Составляет гербарий поймы, подсчитываем травяные ресурсы для будущих животноводческих ферм».) Марлевый белый сачок на палке. («Энтомологи, мухоловы наши, просили захватить. Изучают насекомых-вредителей».) И пока катили по городку, обгоняя велосипедистов, медлительных женщин, несущих на головах тюки, кувшины, длинные суковатые бревна, Ступин, крутя баранку, рассказывал о «проекте Лимпопо». О ломте африканской земли, отнимаемом у наводнений и засух, отдаваемом в руки республики. Добыли себе свободу, теперь добывают хлеб. Учатся по-новому жить. Строят дома и дороги. Строят самих себя. В великих трудах, в нетерпении строят новую Африку.

Машинный двор на берегу Лимпопо. Запах солярки, жезла. Механик, красный и гневный, кому-то грозит кулаком, складывает губы в короткое беззвучное слово. «КрАЗы» вы-

брасывают синюю гарь, выруливают под погрузку. Краны кладут на прицепы сваренные стальные хлысты, тяжелые, как дальнобойные пушки. Шифером крытый навес — защита от палящего солнца. Дощатый верстак с накатом круглящихся труб. Сварщики — белый и черный — искрят, шелестят электродами, варят трубные стыки. За их головами, сквозь сталь, — туманная зелень поймы, ленивый разлив Лимпопо.

Спасаясь от солнца, Бобров вошел под навес. Два сварщика, африканец и русский, менялись держателями, озарялись взрывами света. Один, в кепке козырьком на затылок, с рыжим, прилипшим ко лбу вихром, бугрил под рубахой мускулы, объяснял другому, худому, чернильно-блестящему, в засаленной красной каскетке, в подражание первому свернутой козырьком на затылок.

— Да ты, Альварес, маткин берег, тоньше, тоньше вари! Вот так подводи! Ты его чувствуй огнем, не железом! — он умачал свою речь португальскими, с чудовищным произношением словами. Вкладывал держатель своей белой рукой в темную руку напарника, и они вместе, как на плакате, варили трубу. Слово от контакта этой белой и темной плоти вспыхивала дуга электричества, плавилась и брызгала сталь. — Ты понял, Альварес, что я тебе говорю?

— Си, си! — кивал африканец, отнимая, остывшую, наполненную алым соком иглу. — Маткин берег!

— Вот беда! — обратился рыжеволосый к Ступину. — Которую неделю вместе работаем. Он уж варить научился, а толком не поговорили ни разу. На пальцах кое-как объясняемся! Он русский, как я португальский! Разговариваем друг с дружкой огнем и железом. Вот и все любезности! А я бы ему хотел объяснить!

— Что ты ему хочешь объяснить? — предложил свои услуги Ступин. — Могу перевести.

— Ну да? Так переводите, давайте! — обрадовался сварщик.

Положил свою тяжелую руку на острое плечо африканца, оглаживая его. И тот, понимая, приготовился слушать. Открыл белые зубы, показал быстрый алый язык, облизнув пересохшие губы.

— Вы ему вот что скажите, — сварщик тыкал себе в грудь железным, напоминавшим зубило пальцем. — Что вот я, Николай Потапов, сварщик высшего класса, каких и в России мало, верно говорю! Могу варить фольгу для конфет, а могу и броню для танка. Но больше, конечно, трубы для пресной воды. Перевели? Хорошо. Теперь дальше ему скажи-

те, где Потапов пройдет с аппаратом, там после него вода течет. Москву пресной водой поил, Москва мою водичку пьет. В Кызылкумах нитки водоводов тянул, и сто садов после меня выросло. Где электродом кольну, там и яблоня! Где кольну, там и груша! Еще скажите: сюда, в Шай-Шай, к ним приехал, чтоб его профессии научить, прочные швы варить, по-русски! Ну, жизни ему хорошей желаю и все такое! Ну конечно, по жене я соскучился, и по сыну, и по снегу, и по городу Саратову. Скажите ему, есть такой город хороший! А в Африке мне у них в общем-то нравится, есть на что посмотреть. Волгу я видел. Обь знаю. Енисей, Сырдарью — тоже. А теперь Лимпопо узнал. Река, конечно, хорошая, хотя воду из нее пить нельзя. Польза с нее будет, если с умом подойти. Ну что ему еще-то сказать?

Ступин серьезно, старательно переводил, и Боброву казалось: он пропускает сквозь себя горячую силу, исходящую из одной бесхитростной открытой души, вливает ее в другую. В этой силе присутствует бескорыстное желание блага и печаль по оставленным дома, по любимым лесам и раздольям, к которым стремится душа.

Потом говорил африканец, Ступин переводил, а Потапов склонил голову набок, чтобы надежней и лучше услышать.

— Альварес Недру Массинге — я. Вот здесь моя деревня, Муланго, рядом. Нас три брата было. Отец наш умер, когда ему было тридцать шесть лет. Все у нас так в Муланге живут — недолго. Старший брат сражался в рядах ФРЕЛИМО, хорошо воевал, герой, его убили португальцы. Средний брат сейчас служит в армии, тоже герой, сражается с врагами в Софале. А я мусор собирал в Шай-Шае, больше ничего не умел. А теперь вот умею, сварщиком стал. Мы построим водовод к Муланго, чтобы наши люди пили чистую воду и не болели. Чтобы был рис у нас, были школы, были врачи. Пусть наши люди живут долго, пусть до старости живут. Не воют, а рис сеют. Я пока не женат еще. Но выучусь до конца на сварщика, заработаю денег, тогда и женюсь. У меня будет много детей. Одного я назову — Потапов. Ты, Потапов, когда поедешь в свой город, ты приходи мне снег посмотреть. Ты, Потапов, хорошо объясняешь, учишь. Спасибо! Маткин берег!

Африканец счастливо смеялся, брызгал белизной, причмокивал бархатно-алым языком. И Боброву казалось, что теперь Ступин пропускает сквозь себя другую, горячую, торопливую жизнь, из другой глубины и судьбы. Две эти жизни, добытые из разных глубин, сливались в единое русло.

Ступин взял кусок мела и на трубах, уложенных встык, схваченных неоконченным швом, написал: «Мозамбик — СССР».

— А теперь давайте работать!

И сварщики, мокрые от пота, в две руки стали варить. Передавали друг другу летучую звезду. Озарялись, утрачивали на мгновение цвет кожи. Казались отлитыми из слепящего сплава.

Ступин вывел его за ограду, туда, где на бурой обочине выстраивалась колонна «КрАЗов» с притороченными хлыстами труб.

— Садитесь, Кирилл Андреевич, а я вас в пути нагоню, — открывал он Боброву дверь в кабину, протягивая вслед бутылки с прохладительным напитком. — Финагенов, обеспечить нетряскую езду, — наказал он худому, с большими костистыми руками шоферу, чье лицо в резких выступах, почти лишенное мышц, казалось обгорелым каркасом.

Синие запавшие глаза не откликнулись на шутку начальника, повернулись непонимающе, оглядев Боброва. И тот, помещая себя среди горячего запыленного железа, почувствовал в человеке страдание. Откликнулся на него состраданием.

— Освежитесь немного, — сказал Бобров, открывая окошку бутылки, протягивая одну шоферу.

Тот благодарно кивнул. Схватил губами горлышко, жадно пил, заливая невидимые угли. И Бобров гадал, какая болезнь в человеке, что сутулит его, вводит в подлобье глаза.

Передний «КрАЗ» занавесился гарью, пошел. Труба на прицепе, зазвенев, провела своим жерлом черту. Натянулась, пульсируя, вписываясь гибко в трассу. Колонна мощно, тяжело, сотрясая землю, двинулась вдоль Лимпопо. Водитель давил рычаги, подставлял лоб под близкое дуло трубы.

Бережно, осторожно прошли Шай-Шай, протянув сквозь город тусклую сталь. Толпа на улицах останавливалась, глазела. «КрАЗы» катили мимо лотков и лавчонок. Африканский черно-блестящий люд изумлялся, восторгался. Босые ребятишки подпрыгивали, били в ладоши. Женщины, балансируя бедрами, держа на головах кули и сосуды, махали вслед гибкими, в браслетах, руками.

Шофер усмехнулся не глазами, одними губами:

— Вот вам русская артиллерия в Африке.

Они двигались по шоссе плотной ревущей колонной. Аккуратными дугами вычерчивали повороты. Боброву казалось: пойма — как натянутый зеленый подрамник, на ко-

торый уже брошен чертеж будущих трасс и поселков, рисовых просторных полей. «КрАЗы» на своих гремящих прицепах буксировали будущее, втягивали его в африканские саванны и топи.

— Мать у меня умерла, — сказал вдруг шофер, водя глазами, отыскивая кого-то среди латунно-туманных вод, хлюпающей сочной зелени. — Письмо прислали — мать умерла.

Бобров не знал, что ответить. Молча повторял глазами его движения, тоже кого-то искал

— Болела она. Сестра прислала письмо. Пишет, что умерла. Письмо сюда долго идет. Месяц, как померла.

Бобров слушал слепую работающую мощь механизма, ее готовность к непосильной работе. И хрупкую ломкость сидящего за рулем человека. Хотел его защитить, заслонить, как когда-то в юности готовил к морозам яблоню, кутал и пеленал черенок.

— Обидел я ее, а прощения попросить не успел. Шумнул я на нее, а она от крика моего вся сжалась, маленькая, худенькая. Моргает, будто заплакать хочет. Мне бы кинуться к ней, обнимать, целовать, прощения просить. А я взял да уехал. И все у меня мысль здесь была: как же это я сказал ей тогда не по-хорошему, грубо. Надо было письмо написать. Жене написал. Брату написал. Дружку написал. А ей все откладывал. И вот умерла! Я ее все представить себе стараюсь, когда молодой была. Когда песни с подружками пела, были у нее две подружки — соседки. Когда с работы приходила и пальтушку на гвоздик вешала. Хочу молодой представить, а она все смотрится, какую обидел. И нету мне теперь покоя. Ничего на ум нейдет, только она. Как же это она умерла, а меня не простила! Как же я к ней не успел! И что мне делать теперь? Бросить все и к ней лететь на могилку? На могиле у нее прощение просить? Или уж тут, в Африке, прощение у ней зарабатывать? Как быть, как жить, я не знаю!

Он на мгновение снял руки с баранки, беспомощно смотрел на свои большие растопыренные пальцы. «КрАЗ» послушно и преданно продолжал свой путь по шоссе, пока ладони опять не схватили руль.

— День наработаюсь, думаю: упаду — усну! Нет, не сплю! Все думаю: как жить? Вот мать обидел, на поминки к ней не успел. Вино зря пил. С другом самым близким поссорился да так и не помирился. Жене изменял. Сыну, случилось, щелбаны давал. Почему? За что? Работать умею. Ба-

ранку крутить умею. А жить я умею? Сколько я этих труб железных возил! И в степи казахстанской возил. И в Заполярье. И на Курилах. И в Африке вот вожу. Как деньги зарабатывать, знаю. А как жить, я знаю? Кто меня научит, как жить? Как мне у матери прощение ее зарабатывать?

Словно в ответ на его тоску, то ли разжалобившую, то ли возмущившую природу, потемнело, надвинулось и разом, всей мощью и тяжестью упало на асфальт, на кабину, на ветровое стекло. Ливень, горячий, плотный, не из струй, не из капель, а из литых колонн воды рухнул на землю. Машины провалились под воду. Все померкло от темной, охватившей кабину гущи. Шофер заглушил мотор, сдвинул машину к обочине. Сидели, сдвинувшись тесно плечами, будто их окунули в огромный kloкочущий чан.

Ливень унесло, как отрезало. Вышло солнце. Все, что было водой, что не успело впитаться в потемневшую, покрасневшую землю, превратилось в пар. Колонна «КрАЗов» стояла, виднеясь одними кабинами в белом парном колыхании.

Бобров, задыхаясь от жара, от испарений, от горькой услышанной исповеди, соскочил на землю. Поскользнулся на раскисшей почве. Стоял в тумане, чуть различая близкие слепые громады, и земля, поглощая влагу, шевелилась и лопалась. Вздучился один за другим красный пузырь земли, и из него на воздух и свет высывалась жирная голова червя, толстенная, скользкая. Черви лезли, словно росли. Земля на глазах прорастала червями. Он отдернул ногу, и под ней, в отпечатке ступни, лопнула красная почва, и захлебывающаяся, жадная, безглазая голова пробилась наружу. Казалось, под ногами не почва, а хлюпающая живыми соками плоть. Это устрашающее обилие жизни, ее мгновенный синтез, химия солнца, воды, минеральных веществ земли, превращаемых на глазах в примитивную живую материю, ужаснули его. Своим непомерным, требующим себе места напором эта примитивная жизнь действовала против другой, утонченной, хрупкой, болезненной,— против него самого, против синеглазого измученного шофера.

Туман утянуло в саванну. Шоссе сверкало. «КрАЗы» вновь заревели, двинулись тесной колонной. Свернули с асфальта. Осторожно прошли мимо круглых приплюснутых хижин, пронесли над их тростниковыми кровлями звенящие стальные хлысты. Бобров из высокой кабины видел округлый, окруженный забором двор, худую корову, женщину

с голой грудью, кормящую ребенка, следящую глазами полет трубы.

В низине после ливня скопилась вода. Машины врезались в топь, буксовали, надрывались, вышвыривали из-под колес черно-красные липкие взрывы. Тонули по самые оси. Шофер, худой и костлявый, вцепился в баранку, двигал невыбритым кадыком, вращал голубыми глазами. Надсаживался вместе с машиной. Желал пробиться сквозь топь. Сквозь муку и непонимание себя. Что-то хотел отыскать в себе самом, в нем, Боброве, в африканских хлябях и топях. Какую-то истину о себе и о мире.

Колонна надрывалась и билась, пока не подошли трактора. Закрутились, блестя гусеницами. Трактористы набрасывали на крюки тросы, дергали, тянули машины. Проволакивали их по болоту. Выводили на сушь. Провожали до трассы.

Ступин в замызганном «уазике» подхватил Боброва и повез его по проселку среди мокрых кустов. Снова вышли на пойму, но уже не в зелень, не в топь, а на расчерченные квадраты полей, на клетки рисовых чеков. В каналах бежала вода. Маленький, ярко-синий, двигался трактор, чернил за собой борозду. И влажно и сочно сверкнули ряды одинаковых крыш недавно возведенной деревни.

— Когда я сюда подъезжаю,— Ступин шурился на встречное солнце,— такое, знаете, чувство, такой открывается вид, будто это у нас под Москвой, под Кубинкой, где дача моя. Вот, думаю, сейчас подкачу, а мои самоваром меня встретят. Только у нас правее еще церквушка видна.

И он особым зрением видел в мозамбикской деревне на берегу Лимпопо образ родной стороны.

Они прошли по деревне вдоль новых домов, часть которых еще заселялась. Крестьяне, жившие по округе крохотными хуторками и хижинами, мотыжившие клочки суходола, добывавшие с трудом пропитание, теперь съезжались в крупный поселок. Учились жить сообща, обрабатывать большие наделы, водить трактора, пользоваться благами культуры.

Дом, в который они заглянули, приглашенные приветливым молодым африканцем, был вместилищем двух эпох. Во дворе стояла деревянная ступа, выточенная из древней колоды, похожая на идола, белесая от вьевшейся муки, окаменевшая от бесчисленных, уплотнивших ее ударов. В углу скопились мотыги, вырезанные из твердого корня, без гвоздя и железа. Лежал деревянный, с обвисшей тетивой, охотничий лук. Старик с трахомными глазами, с костяшками

тонких колен и подведенными ребрами, сидел в тени, чуть прикрытый ветхими тканями. Стоянка времен неолита. Муляж в музее истории. И тут же, в другом углу, юноша в красной рубаше перебирал мотороллер, раскладывал на куске нейлона детали. Цепко, зорко оглядывал хромированные элементы.

В комнате на полу лежала циновка, стояли глиняные и деревянные миски с остатками скудной трапезы. Голые ребятишки подняли от пола встревоженные белоглазые лица. И тут же — стол со стопками книг, антенна транзистора. Подросток, видимо школьник, опрятно одетый, приветствовал их любезным поклоном.

С потолка свисала электрическая лампочка, окруженная рукодельным, из камыша, абажуром. Висел портрет Саморы Машела в рамке с наклеенными камушками и ракушками. Похожими на амулеты.

Два уклада, два образа жизни сошлись под единым кровом. В этом доме без выстрелов, без пролития крови, осуществлялся перелом бытия. Так когда-то в России бородастый мужик ставил на божницу портрет Ильича, тушил лучину в светлице и ввинчивал первую лампочку, заносил обутую в лапоть стопу над стальной педалью «фордзона»

Тот давнишний пример революции, рожденной в русской истории, через столько лет повторился здесь, в Мозамбике.

Вдоль деревенской улицы, по которой они проходили, стояли столбы электричества. Висели фонари. В бетонные основания были врезаны чугунные колонки, еще сухие, без смуглого глянца, без сочной поросли, горячие и пустые на вид. Но на каждой красовался веночек из белых и красных цветов. Толпились нарядные женщины с сосудами и коромыслами. Казалось, колонка — маленький чугунный божок, собравший на поклонение людей.

За деревней краснела кирпичной кладкой небольшая насосная станция. Топтался народ. Носились ребятишки, собаки. В отворенную дверь строения виднелся перекрытый вентилем отрезок водоводной трубы, также увитый цветами. Механик, маленький, взмокший, белесый, оглаживал стекла манометров. И Бобров узнал в нем Онучкина, того, что неделю назад встретил в Мапуту у Ступина: не желал продлевать контракт, а Ступин его уговаривал. Сейчас Онучкин был возбужден. Проверял показания приборов. Встретился глазами со Ступиным, выражая готовность.

Начался митинг. Председатель кооператива, немолодой утомленный крестьянин со значком ФРЕЛИМО, сказал, что

в годы войны он сражался в этих местах. Здесь, где деревня, был бой. Партизаны сожгли грузовик с солдатами. В перестрелке был убит командир Онгано. Теперь убитый командир тоже сюда пришел. Радуете воде. Пусть люди пьют воду и вспоминают командира Онгано.

Затем говорил учитель, молодой и серьезный, присланный из университета. Говорил, что науки — как влага, от которой расцветает в человеке ум и совесть. Человек пьет воду. **Человек пьет знания. Пьет одновременно из двух источников жизни.**

Говорила женщина-врач, худенькая, с красным крестиком, вышитым на белой рубашке. Она просила людей пользоваться чаще водой. Мыть фрукты и овощи. Мыть посуду и руки. Тогда у детей не будут болеть животы. Люди, переставшие пить болотную и речную воду, избавятся от эпидемии и станут жить долго.

Председатель кооператива оглядел свой народ. Музыкантов с тамтамами, женщин с сосудами. Что-то сказал Ступину. Тот переспросил, закивал. Махнул рукой Онучкину. Механик скрылся в насосной, и там застрекотало, забило. Онучкин приблизился к вентилю. Уперся твердо ногами. Стал крутить кран. И под ноги ему, у порога насосной, с шумом, блеском, окатывая его, разбиваясь плоским солнцем, ударила в желоб вода. Он отскочил как ошпаренный, а вода kloкочущей силой била в бетон, текла. И народ с гиком, гомоном надвинулся на нее. Черпали ладонями, кружками. Пили, смеялись, брызгали друг на друга. Топотали голыми пятками в жидком сверкании под рокот тамтамов. И по всей деревне, у всех колонок гремели барабаны и дудки. Во дворах, почуяв воду, ревела скотина. И Онучкин, мокрый насквозь, с прилипшими брюками, с рыжей ржавчиной на руках, смотрел счастливо на водомет, на африканские танцы.

Одна и та же вода омывала весь мир. Единое желание блага жило в каждой душе. Оно, это благо, привело Онучкина на другую окончечность земли. Здесь, в африканской деревне, он делал все то же дело. Давал людям воду.

Женщины, наполнив сосуды, гибко сгибаясь под коромыслами, удалялись в потемневших от влаги одеждах. Музыканты уносили свои инструменты. Народ расходился. Онучкин закрытил вентиль. Из трубы падала блестящая капель. На запас воды из саванны летели белые бабочки. Садились на мокрый бетон, пили воду. Желоб под железной трубой был усеян пьющими бабочками.

Он думал о своем герое, африканисте. Хотел представить его в момент одиночества, когда на время отступили мысли о войне и политике, отодвинулись контакты и встречи и он, герой, оказался вдруг в тишине. Наедине со своими, не ведомыми никому состояниями. Со своей печалью, усталостью. Непониманием своей собственной, поминутно исчезающей жизни. Он, герой, выходит в сумрачный, быстро темневший двор маленького придорожного отеля, за которым лежит саванна. Деревья утрачивают объем, начинают плоско чернеть на зеленой заре. В баре играет музыка. Хлопает дверь. Слышатся возгласы, пение. Подкатывают к бензоколонке машины, и заправщик, юркий, визгливый, понукает непроворных шоферов.

Он стоит на сорном, в обедках, дворе, глядит на высокую косматую пальму с мохнатыми мешками орехов. Ворона, белогрудая, с черными плечами, нацелилась на него сверху умным, зорким зрачком. Мимо, обнявшись, оглядываясь на него, прошла молодая пара. Мужчина держит руку на бедре женщины, и рука повторяет колебание ее бедер. Они остаются у дверей соседнего номера, и, пока мужчина вставляет ключ в скважину, женщина смотрит и улыбается. И вид этой влажной улыбки и вороний, нацеленный сверху зрачок внезапно пугают его. Ошеломленный, он боится шевельнуться, чтобы страх не усилился. Ищет опору и не находит. Черный, почти невидимый, вопит заправщик. Из бара слышится крик. Женщина и мужчина скрываются в номере, и на окна падает цинковка.

Он медленно двигается на соседний сумрачный холм, чувствуя, как птица из пальмы следит за ним. Достигнув вершины, слышит барабанные рокоты. Далекие, близкие, звучат тамтамы, гудя в саванне среди невидимых хижин. Холмистая равнина под гаснущим небом полна пульсирующих, ритмичных звучаний. Мерцают багровые отблески. Искрятся костры, дымятся очаги. По вытопанной у порогов земле топчут босые ноги. Гибкие пальцы вибрируют на кожаных гулких мембранах. И этот нежный негрозный рокот чужой земли, сладкий дым чужих очагов, чужая, его не замечающая любовь не пускают в себя, мягко и равнодушно обтекают его, усиливают чувство потерянности. И, не находя опоры здесь, на земле, он смотрит ввысь, отыскивая первую звезду, как когда-то в юности, на охоте, и это темное, быстро меркнувшее небо с еще не видимыми, но уже прозреваемыми

звездами создает иллюзию другой земли: черная крошечная изба, резкая, ночная на синем сиянии, и он с детьми стоит в остывающих лопухах и ждет, когда над коньком загорится первая звезда, и игра их в том, чтобы первым, опередив остальных, увидеть. Он уже видит ее, в мельчайшей лучистой пыли, но молчит. А дети на цыпочках, в нетерпении, вглядываются что есть мочи, и он ждет с веселым испугом их готовый раздаться вскрик. И вместо детского крика — внезапное, острое, болезненное прозрение: это он, Бобров, стоит один в ночной африканской саванне, взяв на себя бремя другой судьбы, вложив в другую вымышленную судьбу бремя своей собственной жизни. Он и герой, меняясь местами, уже не живут отдельно. Мнимое стало явным, а реальность подчинилась вымыслу.

— Кирилл Андреевич, — услышал он сзади. Ступин из сумерек звал его. — Гляжу, а вас в номере нет. Вы что там, молитесь? — смеялся он громко. — Поехали! Наши все собрались.

Советская колония на окраине Шай-Шая, поселок в две улицы из японских сборных домов. Клуб, где краснеет флажок, плакат с Кремлевской стеной, скатерть с графином. И оживленные лица, смугло-розовые от загара, своим одинаковым, добродушно-внимательным выражением показавшиеся вдруг родными, незаменимыми, извлекающими его из недавней тоски и потерянности, повергавшими в другое, противоположное состояние — растерянной нежности к ним, благодарности, желания им что-то сказать, совсем не то, что они ожидают, — быть может, о той подмосковной избе, о звезде в лучистой пыли, о детях среди темных репейников.

Приветствовали шумно именинника, молодого горбоносого армянина, специалиста по буровому оборудованию. Желали ему добуриться в конце концов до родной Армении. Подтрунивали над ним, говоря, что древнейшим, коренным населением Африки были, конечно, армяне. Благодарили торжественно и серьезно за вклад в «проект Лимпопо».

Выпили, оживились, расшумелись. Разорили архитектуру стола. Бобров, утомленный долгим днем, разъездами, выпил несколько горьких рюмок. Но опьянение не пришло, а печаль не исчезла. Лишь изменилась оптика: удлинился стол, застеклилось колеблемое голосами и дыханиями пространство. Все лица чуть отодвинулись, ярче осветились, охваченные легчайшим жаром. Он вступал в беседы. Откликался и чокался. Смотрел на эти удаляющиеся от него, помещенные в сияние лица. И ему вдруг показалось, что он с ними проща-

ется и больше никогда не увидит. Они уедут, а он останется здесь, и нужно что-то через них передать: пусть разыщут жену и мать, пусть запомнят его и расскажут. Но это длилось мгновение.

— Вот все мы здесь, в Африке, кто год, а кто больше. А скажите, знаем мы Африку или нет? — требовал немедленно ответа длиннолицый, с белесыми глазами сосед, специалист по почвам. Прикладывал ко лбу щепоть худых, слишком обильных, больше пяти, как казалось Боброву, пальцев. — Знаем африканского человека, африканскую душу, если так можно выразиться? Только-только ее для себя открываем. Вот, к примеру, я замечаю, африканец днем, в жару, ложится в тень, дремлет, отдыхает. Руки не подымет. В нем как бы жизнь замирает. Сердце медленней бьется, дыхание — такой биоритм. А наш человек удивляется, как это в полдень — и не работать! Он, наоборот, норовит показать класс работы. И пот с него, бедного, бежит, и глаза на лоб лезут, и пульс — как отбойный молоток! Да что ты, милый, с собой делаешь! Отдохни, дождись вечерка и прохлады! Нет, не может! Северный биоритм! И как тут себя перестроить? Как научиться африканскую воду пить? Африканский цветок нюхать? По африканской траве ходить? Знать, по какой можно ходить, по какой нельзя. Какая тварь тебя укусит, а какая безвредна. Вот на этом уровне мы сейчас Африку познавать должны, а не только экономика да политика! Вот об этом книгу должны написать. Так или нет, я вас спрашиваю?

Боброва вдруг осенило. Ведь этот худой почвовед, специалист по черноземам, суглинкам, был африканист. Нет, не только изучающий Африку, а ей себя посвятивший. И он был тоже герой его фильма.

Бобров вглядывался в говорящие губы, в белесые моргающие ресницы и старался представить, каким этот костлявый стареющий человек был в детстве. Мягкую желто-белую челочку на нежном выпуклом лбу, хрупкие розоватые пальцы.

Он желал их всех о чем-то спросить. Об оставшихся вдали стариках. О них самих, работающих не покладая рук. И из этих рук, сжимающих инструмент, что-то ускользает незримо, утекает меж пальцев невидимой прозрачной водой.

— Но это, согласитесь, взаимнообразно, — прислушивался к разговору, вносил в него свою лепту серьезный, с милым, «московским», как казалось Боброву, лицом инженер. — Они нас изучают, а мы их. Ну вот, скажем, африканцы на улицах Москвы, например, на Тверском бульваре,

в нашей толпе. Они ведь то же, что и мы с вами здесь, в Мозамбике. Изучают наши нравы, наши морозы, нашу толкучку в часы пик. Наши демонстрации и наряды в праздники. Все, что в нас есть и сильного, и слабого. Я здесь говорю своим мозамбиканцам, помощникам, давайте лучше узнаем друг друга. Если что не так, не будем таить про себя, а прямо, без обиды, скажем: так-то и так! Пойдем сговоримся! Нам ведь теперь вместе жить! Вместе нам жить на земле-то!

И этот инженер был африканист, герой его фильма. Бобров слушал его призыв жить в любви и братстве. Был благодарен за этот призыв, за то, что и его приняли в застолье. Все старался вспомнить, где видел этого москвича. Может быть, на каком-то переходе метро в летучей беготне. Или в Ленинке у тихой зажженной лампы. Или в музее Толстого в Хамовниках. Где-то он видел его, и видел не раз, многократно.

— А я считаю! — пылко, как будто ждал возражений, и торопливо, словно боясь, что его перебьют, говорил совсем юный энергетик с девически нежным чернобровым лицом. — А я считаю, что сегодня без нас уже ни одно дело на земле не обходится. Без нас, я считаю, ни в Африке, ни в Азии, ни в Антарктиде уже обойтись невозможно!

Бобров, умиленный его юностью, его пылкой, требующей к себе внимания душой, его желанием блага, хотел представить его лицо, когда он спит. Заглядывал в него, как отец.

— Я, дорогие мои, был в Ливане, был в Марокко, был в Иордании, — инженер по моторам, чуть окающий, катящий свое волжское «о» сквозь названия стран, тоже казался знакомым. — И подумаешь, что только в мире творится! Народ на народ! Государство на государство! Обвиняют друг друга! Делят, спорят! Чуть что, начинают стрелять, воевать. Конечно же во всем есть своя механика, своя, как говорится, политика. Расизм и империализм, это верно. Но будет когда-нибудь мир на земле. Когда — не знаем, а будет. Договорятся по-людски и черный, и белый, и желтый, и красный. Не договорятся, так все погибнем! Справедливость должна быть!

И этот моторист вносил свою лепту в Африку, вносил свою лепту в мир. Боброву вдруг показалось, что он узнал инженера. В школе, в соседнем классе, был ученик, окающий, рассуждающий, и хотелось с ним подружиться, послушать его рассуждения. Но тот внезапно уехал, в другой город с родителями, и забылся. Вырос, возмужал, живет

свою жизнь без него, Боброва, и вдруг теперь встретились в Африке. Но это только ему показалось.

В нем продолжалась эта недавно возникшая двойственность. Он и не он. Другой человек поселился в нем, вел по своим путям. Жизнь словно двоилась, отслаивалась, текла одновременно в двух руслах. В явном, принадлежавшем ему, Боброву, обнаруженном речью, жестом, поступком. И в неявном, не его, таившем в себе иную глубину и течение, иное объяснение всему. Как свечение вокруг их лиц и голов.

Сидящий через стол буровой мастер, коричневый, прокопченный, весь в морщинах, окалине, как печной под, говорил:

— Бурил я на воду. От базы сто километров. Лес, буровая работает. Вагончик, где я живу. Палатка для африканцев-рабочих. Другая палатка — три автоматчика черные, нас берегут, если что случится, бандиты появятся. Работаю. Некому слова сказать. Только и знаю по-португальски: «Вверх — вниз. Хорошо — плохо». В вагончик свой приду, не поверите, разговариваю с вещами. Всем имена роздал. На табуретку сажусь: «Прости, говорю, Евдокия Петровна, маленько я тебя потревожу». Чайник кипятить ставлю: «Давай, говорю, Николай Иванович, быстрее закипай». Разговариваю с ними, как с живыми. Ночью — страсть! Африканцы у своих костров посидят — и спать. А я вагончик запру, а из леса вой, свист, огоньки летают, кто-то в стекла царапает, кто-то по тебе пробегает. Змея, сороконожка? Ужас! Не бандитов страшно, а этих пауков и сороконожек! Не поверите, у меня с собой роман Дюма был «Королева Марго». Так я его наполовину от руки переписал. Вот такая вышла тетрадь! — он показывал пальцем толщину невидимой тетради, и пальцы его, гончарно-красные, словно выпачканные в африканской земле, чуть дрожали.

Все они, здесь собравшиеся, были африканисты. Встречались с Африкой. И Африка в них, белокожих, пензенских, вологодских, московских, обнаружилась добротой, красотой, познала себя самое. И Бобров вдруг вспомнил Марию, как танцевал с ней недавно в номере и потом провожал до дерева с зеленым, застывшим в глубине фонарем. И трезвящая мысль и забота о Соломау: отчего его долго нет. О том, что скоро им ехать в эти леса по этим красноватым землям в поисках аэродрома подскока. Вот что он вспомнил вдруг, глядя на дрожащие пальцы буровика, сжимавшие несуществующую тетрадь.

— А все-таки Африка — это, братцы мои, замечательно! — Ступин, маленький, сухонький, стриженный ежиком, оглядывал всех подчиненных, друзей синими счастливыми глазами. — Ведь будем, будем ее вспоминать! Стариками станем и внукам своим будем рассказывать, как видели стадо слонов, не ручных, диких! Как выловили рыбину из реки Лимпопо, вот такую вот рыбину! Какой-нибудь томик книжный откроем, да хоть ту же «Королеву Марго», а там на страничке засохший комарик, из Африки долетел! Мы ведь, братцы, в Африке с вами сейчас!

И все вдруг притихли. Молча сидели, улыбались и как бы вспоминали уже из другого, еще не наступившего часа и этот вечер, застолье, и самих себя, дружных и сильных, собравшихся в Африке.

— Ступин! Александр Лукич! Начальник ты наш дорогой! Сыграй на гитаре, спой! Ну что-нибудь наше такое!

Ступин встал, куда-то шагнул, снова явился с гитарой. Сел, отодвинувшись от стола. Погладил рукой зашелестевшие на грифе струны. Подставил колено под гулкий лакированный короб. Поднял брови изумленно, восторженно. Мгновенно превратился в другого человека, созвучного с желтым мезонином в листве, с белой беседкой в саду. Запел старинный романс голосом не сильным, но истинным, из души, из близких слез. И все сидели, как бы обнявшись, внимали ему, горевали, неслышно плакали от избытка красоты и любви. И Бобров, удаленный от них на длину своего ясновидения, обнимал их всех, всех любил и со всеми неслышно прощался.

13

Он лежал в своем темном номере, опустив на окне циновку. За тонкой дощатой стеной слышались вздохи и шепоты. А когда ненадолго стихали, начинала звучать тревожная малая птица с близкого сухого холма, на котором недавно стоял. А потом опять за стеной шептались, вздыхали. И он, отделенный от незримых соседей проницаемой переборкой, а от встревоженной птицы — пластинчатой гибкой циновкой, хотел их не слышать. Убегал от них в свою мысль о доме, о близких.

Подмосковная, темная, на первом снегу, изба, купленная им у старика. Место их летнего многолюдного гнездовья. Выпал снег. Серый дощатый забор с поникшей мертвой крапивой — под белыми волнистыми купами. Их «родовая»

береза, отяжелевшая, полная снега. Дети, все трое, катают липучие шары, повизгивают, похохатывают от восторга, от холода, от белизны. Строят снежную бабу;

Он из окна, из сумрачной теплой избы, где в печке тлеет рассыпающееся на последние угли полено, смотрит на детей, на курчаво-травяные дорожки, остающиеся за снежными комьями. И кажется: зрелище этой игры сквозь светлый квадрат окна дано ему как забава и как назидание. И он старается его запомнить, унести в себе навсегда. Прямо в память, в душу вставлен белый прямоугольник окна, играющие дети.

Старшая Настя накатала самый большой шар. Оглядывается на братьев быстрым счастливым взглядом. Лицо ее под пушистой шапочкой алое, яркое. Дует, кладет под язык розовые замерзшие пальцы. В снежный шар влипли, захваченные вращением, листья березы, красная, оброненная летом ленточка, самоварные стружки. Дочь гордится своим изделием, кичится им перед братьями.

Средний, Васенька, в кожаном ладном тулупчике, дыбом стоящей шапке, катает что есть мочи свой шар. Хочет угнаться за сестрой. Сердится на младшего Андриюшеньку — путается под ногами, накатал совсем маленький рыхлый комочек, хлопывает его своей пестрой малиновой варежкой. Васеньку раздражает неуклюжий укутанный брат, перепоясанный кушачком, похожий на спелое яблоко. Вася кричит на него, гонит с пути, накатывает свой круглый ком на снежный комочек брата, проглатывает, вбирает в свой шар. И младший, обиженный, потрясенный, громко, беспомощно плачет.

Настенька кидается на помощь Андриюше, отчитывает гневно обидчика. Отгоняет, оттесняет его в угол к забору, где убеленный стоит куст шиповника, у которого летом бабушка дремала под клетчатым пледом в непрерывном своем забытье. Настенька лепит Андриюше новый шар. И все трое, еще возбужденные, продолжают катать шары. И он, отец, смотрит на них из окна изумленно, словно прозрев.

Дочь, Настасья. Первая. Ее неожиданное появление в жизни, еще в длящейся, неоконченной первой любви к жене. Вдруг возникла из этой любви, сочетала в себе их плоть, их дух, черты их лиц, перемешав, перепутав неразделимо. Понесла их обоих в себе, их общую, чудесно возникшую сущность. Помчала в грядущее, где и их не будет, и ее не будет. Забросила их любовь в бесконечность.

Ее рождение в дождливый апрельский день, когда возвращался из родильного дома, так и не повидав ни жену, ни дочь. Ошеломленный известием, медленно в нем прораставшим, чувствовал, что мир изменился. Дочь, еще для него неведомая, уже присутствует вместе с ним в этом мире; мелкий холодный дождь, зеленый отсыревший фасад, гудящая дымная трасса — все примелькавшееся и привычное вдруг обновилось, посвежело и как бы расступилось, освободив в себе новое место — для родившейся дочери. Он поднимал мокрое лицо к дождливому московскому небу, нес в себе это печально-радостное изумление.

Ее привезли домой, и родня поджидала, все больше женщины, без мужчин, не доживших до этой минуты. Все были возбуждены, растревожены, будто их одряхлевших жизней коснулось это рождение. Освежило, продлило век на земле. Положили на кровать белоснежный, перевитый лентой кокон. Жена осторожно, гордясь, чувствуя на себе взоры родственников, страшась этой первой демонстрации и одновременно нахохлившись, готовая кинуться на защиту своего детища, разматывала ленты, разворачивала кружева. И на дне этой многослойной, как белый кочан, оболочки возникла дочь. Крохотная, изумившая его своим человекоподобием. Все молча рассматривали ее, каждый по-своему празднуя это прибавление рода, это сочетание двух семейств, поредевших, не восполнявшихся долгие годы. Бабушка, пропущенная всеми вперед, строгая, опираясь на палку, смотрела в лицо своей правнучке. Приблизила к ней свои темные морщины, седые волосы, невидящие, затуманенные слепотой глаза. Будто привела с собой и поставила прежние, исчезнувшие с земли поколения.

Однажды, еще почти в младенчестве, когда отдыхали на даче, дочь заболела. Утром проснулась в жару. Лицо, рот, все маленькое, накаленное жаром тело покрылось сыпью. Он испугался, схватил ее, закутав в одеяло, нес по утреннему поселку к шоссе. Стоял на асфальте, подымая руку навстречу редким пролетавшим машинам, чувствуя, как вздрагивает, всхлипывает, тихо стонет дочь. И такой вдруг страх, что она погибнет, умрет у него на руках. Бессилье помочь, незнание, куда бежать за спасением. И явившаяся вдруг молитва, бессловесная, направленная в утренний тихий туман, в лиловый, поникший у дороги цветок. Молитва о спасении дочери. Вера, что спасение возможно. И в ответ на дороге с тяжким воем возник самосвал. Он тянул навстречу машине дочь. Шофер останавливался, пускал его в кабину. Он

был благодарен шоферу и горячему рычащему грузовику. Прижимал к груди дочь, мчал в больницу.

Ее взросление. В вязаном полосатом платъице топотала по комнате, играла в уголке, тихо хныкала от обид, сладко смеялась от удовольствий. Ее ревность к родившемуся брату, мгновенно оттеснившему ее из центра внимания, забравшего себе родительские страхи и ухаживания. Детская любовь к брату. Однажды серьезно предложила ему, отцу: «Давай сделаем так, чтобы Васеньки больше не было». Его испугала эта сосредоточенность и твердость ее лица. Возможность недоброго чувства среди самых близких и родственных. Возможность родовой и семейной ссоры в идеальном, задуманном ими с женой единстве.

Ее стремительное взросление. Ее перемены, будто оглядывалась во все стороны разом, отзывалась на разные оклики, несущиеся к ней отовсюду. В ней вспыхивали увлечения, дарования. Вдруг начала рисовать, усеивала дом ярчайшими фантастическими рисунками дворцов, животных, деревьев, портретами богатырей и царевен. Он изумлялся щедрости, неисчерпаемости открывавшейся в ней природы, легкомысленного первозданного творчества. То увлекалась музыкой, днями у нового, гулко-свежего пианино. Разбирала пьесы. И он украдкой, умиленный, смотрел, как ее детская несильная стопа давит медную педаль, бегают хрупкие пальцы, утопают в черно-белом звучащем мелькании. Лицо ее тоже менялось. В нем проступали черты то его отца, то матери, то заглядывали лица дальней и близкой родни. И уже ушедшие, собранные в родовом альбоме, запечатленные на толстых с золотыми обрезами снимках. словно все они спешили в ней проявиться, снова вырваться в жизнь. Бабушка утверждала, что Настенька похожа на прапрабабку Аграфену Петровну, чье величавое, полное лицо в чепце светило из прошлого, как высокая за осенним туманом луна.

Однажды на даче за какой-то ее проступок, за дерзость или проказу, он рассердился, прикрикнул. Резко, гневно отослал ее прочь, чтобы шла с глаз долой. И она от жестокого слова передернулась, вся уменьшилась, потускнела, словно потухла. Повернулась и пошла на мокрый вечерний луг. Он испугался, раскаялся, испытывав внезапную слезную боль. Смотрел, как она удаляется прочь от родного порога в холодную предвечернюю темень. Не оглядывается, слабо ступает по тропке. Он шел за ней следом, таясь, жалея, любя. Предчувствуя ее путь по земле из далекого, уготованного ей старостью дня, когда пусто, тягостно, огромная

жизнь прожита, нет ни любимых, ни близких, некому к ней подойти, некому приголубить, и скорбь — неизбежная тьма. Он испытал желание кинуться к ней, обнять, целовать. Так и шел, не смея приблизиться, за ее беленьким платьем.

В последних классах повзрослела, изменилась походкой, цветом лица, выражением глаз. Исполнилась недетской прелестью, первой женственностью. Стала увлекаться нарядами. Поставила в комнате зеркало, часами рассматривала себя, втихомолку красила губы. Охладела к занятиям и книгам. Забросила музыку. Усвоила ненатуральные, как казалось ему, смех и ужимки, когда появлялся в их доме кто-нибудь из одноклассников-юношей. Он стыдился, корил себя за отцовский эгоизм, неумение смириться с неизбежной ее близкой любовью, неизбежным ее материнством.

И тут же, в пору взросления, оттеснив на время наряды, зеркала, дискотеки, вдруг возник в ней интерес к семейной истории, к семейной хронике. Зачастила к своей бабушке, выслушивая от нее предания о родовой старине, о родовых трагедиях, перелистывая негнущиеся страницы альбома, где на тяжелых, как золотые пластины, снимках строго и одухотворенно взирали ее предки. Она к ним тянулась, всматривалась в них. словно к чему-то готовилась, набиралась от них сил.

Но это быстро прошло. Отмахнулась, оставив родовые переживания на потом. Опять запестрели наряды. Комната ее зазвучала модными дисками. Разноперая шумная молодежь набивалась к ней. Танцевали в красных миганиях цветомузыки.

Тот последний, казалось, недавний вечер в семье, перед поездкой в Африку. Его день рождения. Дома только свои. Мать, одолев свои немощи, пришла к ним. Жена испекла пирог. Всем, даже детям, налили шампанское. Дочь, его Настя, подняла бокал. Сказала, что гордится своим отцом, желает на него походить. Он самый любимый, самый дорогой для нее человек. А в нем в ответ — спокойное умиротворение. Понимание, что так и должно у них быть. Все будет у них хорошо.

Сейчас, лежа в уютной придорожной гостинице, он думал о них. Опять переселялся в давнишнее снежное утро к белому проему окна.

Дети, скатав шары вместе к кусту шиповника, где летом в кресле дремала их прабабка, лепят из снега ее же, прабабку. Счастливыми возгласами поощряют себя, тешась, веселясь своей выдумкой. Посадили ей на голову разлез-

шуюся соломенную шляпку, «парижскую», привезенную во времена оны из Парижа. Накинули ей на плечи старушечий ветхий платок. Вставили в бок деревянный посох, на который бабушка тяжело опиралась, и он, Бобров, подхватывал ее под острый локоть и вел осторожно по траве, по желтым одуванчикам в ее любимую тень, в ее кресло. Перед тем как задремать и забыться, она сжимала ему молча и благодарно руку, словно прощалась, словно боялась, что уже не проснется. Дети лепят ее теперь. Вставили вместо носа морковку, а вместо глаз угольки. Вася прибежал в избу, шумно порылся, вынесся, хлопнув дверью, и нацепил на морковку старые треснувшие очки. И все они хохочут, потешаются, любят на свою скульптуру. А он из окна грустно улыбается, смотрит на воздвигнутый памятник бабушке, на Васеньку, обнимающего свою снежную прабабку за талию.

Рождение среднего, Васеньки. Ночью, под утро жена разбудила его легким прикосновением, и он сразу понял: пора. Вызвал «скорую помощь». Спустился встречать на мокрую пустую улицу, отражавшую беззвучную черно-красную зарю. Мчались в машине. Он обнимал жену, кутал ей плечи. Прижимал ладонь к ее большому дышащему животу, и в ответ стучало твердо и требовательно, пробивалось наружу, желая обнаружиться в этом утре, в этой заре, в беге машин. Он предчувствовал, знал: это сын, уже вошел с ним, неродившимся, в связь. Испытал к нему веселое, из страхов и нежности чувство. И оно, это чувство, уже не кончалось. Менялось из года в год, усложнялось, наполнялось опытом их совместной жизни. Сын Василий был самый любимый. Они сочетались самой тесной мучительной связью. В нем, Василии, так казалось ему, продолжается таинственный, от него, отца, исходящий путь, целостный, нерасщепленный в родовых ответвлениях. Передаваемый от звена к звену как запечатленное, произнесенное слово, как хранимый завет, который послан от поколения к поколению к какой-то неясной грядущей цели, к далекому, поджидающему их адресату.

Сын был подвержен мгновенно возникавшей в нем страсти, действовавшей слепо, требующей немедленного осуществления. И эта пылкость, этот духовный состав из легких горючих энергий и были той силой, что толкала сына к внеразумной далекой цели.

С женой из поездки, из приволжского, когда-то разбойного села привезли игрушечных деревянных коней. Целый табун алых, черных, янтарно-желтых, усыпанных цветами и

листьями. Высыпали их на ковер перед сыном. И тот онемел, изумленный. Перещупал, перевернул все игрушки. Выбрал одну — красного, с крупным загибом коня, с намалеванными цветами и ягодами, словно конь мчался в травяной степи, в стеблях и бутонах. Уже не расставался ни днем ни ночью. Требовал к себе в кровать, на прогулку, в коляску. А когда стали резаться зубы, целовал его и кусал. Спустил много лет с женой обнаружили стершуюся линялую игрушку и на ней отпечатки первых сыновних зубов. Сидели перед деревянным коньком, постаревшие, молчаливые, взявшись за руки.

Был целый период, когда, поздно возвращаясь со студии, он поспевал лишь к ночному укладыванию детей. Торопился в их темную комнату, где дочь и сын не спали, с нетерпением его поджидали, требовали очередную вечернюю сказку. Еще в городе, еще в метро, по дороге домой он сочинял эту сказку. Нес ее в себе, улыбался, вызывая недоуменные взгляды. Обычно сказка была о геройстве, об ужасах, подстерегавших героев, о волшебных избавлениях от гибели. И он, подтрунивая над детьми, доводил свой рассказ до кульминации, до какого-нибудь появления дракона, занесшего над царевной свою чешуйчатую лапу, обрывал рассказ, говоря: «А продолжение вы услышите завтра». Дочь скоро разгадала его хитрость, терпеливо помалкивала и посмеивалась. А сын начинал возмущаться, страстно теребил его, даже пробовал колотить, требуя продолжения рассказа. Вымаливал его страстно и жадно. И только после того как однажды, прервав повествование, вверг сына в горячие рыдания, он устыдился своей забавы, прекратил эти перебои. Доводил рассказ до конца.

Он мало бывал с детьми: фильмы за фильмами, поездки, работы на студии, изнурительный, месяцами длящийся труд. Дети требовали свежей души, нерастраченной, полной эмоции. А этого не было. Все убыстрялась гонка, все взвинченной становилась работа. Душа была обращена в иное. Но все-таки выпадали им встречи, опорные, памятные на всю жизнь, во время которых мгновенно, торопясь, усваивали огромное друг о друге знание, перед тем как снова растаться.

Вечером на даче, устав от писаний, позвал с собой Васеньку в лес печь картошку. Нагрузил его корзиночкой с клубнями. Шел впереди через поле, оглядываясь, замечая, как торопится сын, как горд приглашением отца, старается ступать ему вслед, не ропщет на тяжелую ношу. Он учил

сына выбирать место для костра подальше от сосняка. Показывал, как очищать от сухой травы землю. Учил складывать костер, сначала из мелких веточек, из завитков бересты, потом из смолистых суков покрупнее. Отдав коробок сыну, учил зажигать костер от первой спички, защищая ее ладонью от ветра. И когда в первых сумерках, запаленный сыном, горел костер и Васенька в белой панамке, перепачканный землей и пеплом, восхищенно смотрел на пламя, он, отец, подумал, что в этом нехитром уроке они повторяли первобытный урок, древнюю изначальную азбуку. Сидели, прижавшись, в облаке красного света.

Позднее, когда сын повзрослел, он, отец, учил его вождению машины. Сажал между колен, отдавал руль, понукая, подсказывая. Машина, ведомая сыном, взлетала на высокие бугры, планировала с легким шелестом вниз. И было счастье скользить в этой плавной, между небом и землей синусоиде.

Был момент, когда в развитии сына как бы наступила остановка. Он, отец, толкал его силой вперед, требовал чтения, дисциплины, непрерывных усилий ума. А сын вдруг стал плохо учиться, забросил гимнастику, погрузился в рассеянность, вялость. Был в вечном полусне и забывчивости. В который раз, после очередных назиданий, проверял его учебный дневник, находил его в беспорядке. Теряя терпение, глядя в сонное, виноватое и потерянное лицо, любя его, кляня себя за свой крик, страдая, делая причиной страданий сына, ввергаясь в мгновенную цепную реакцию гнева, схватил дневник, желая ударить сына. Сдержался на последней черте, шмякнул дневник о стену. Лежал в своей комнате, потрясенный, несчастный, чувствуя свою несостоятельность. Кто-то тронул его за плечо, погладил голову. Сын стоял перед ним, утешал. И такая любовь к сыну, такое усиление вины, что отослал его из комнаты, чтобы тот не увидел слез.

Когда сын начал мужать, он, отец, не имея возможности часто с ним разговаривать, ограничивался тем, что подкладывал ему книги, иногда с бумажной ленточкой на тех страницах, что советовал прочитать. То статью о Вернадском в журнале. То историю дипломатии. То зачитанный, с иллюстрациями Боттичелли томик Данте. Однажды ненароком послушал сыновью беседу с друзьями, где тот излагал учение о дантовском аде. Обрадовался, что его, отцовский, урок был усвоен сыном, как некогда он сам, не имея отца, пользовался наставлениями деда, прочитал по его рекомендации тот же самый затрепанный томик. Передавался по наследству завет.

Однажды сын явился домой избитый, почти изувеченный, в крови. Он, отец, отослав едва не падающую в обморок мать, сам отирал сыну кровь, делал примочки, ощупывал его юношеское, страдающее от побоев тело. Это была уличная драка, жестокое избиение, когда на двоих напала свора. И сокрушенный, истоптанный ногами сын был потрясен не физической болью, а вероломством и трусостью друга, убежавшего, кинувшего его в несчастье. А также подлой жестокостью стаи, добивавшей его, упавшего, беззащитного.

После этого урока сын разом повзрослел. Перенес интерес от техники, где хотел подвизаться, строить аэродромы и порты,— на общество. Их беседы об общественном устройстве, о государстве, о нигилизме и крушении веры. О мучительной, заложенной в программу людей идее справедливости и добра, затемняемой то ложно понятой истиной, то злой осмысленной волей, то животной, таящейся в людях природой. Он, отец, моделировал сыну мир, моделировал общество, в котором живут. Не скрывал, не шифровал собственных бед и терзаний. Старался объяснить ему мир как медленное, но неизбежное, сквозь все катаклизмы, прозревание.

Однажды со съемок картины он, отец, привез домой пятнистую военную форму. Сын тут же нарядился в нее, наполнил своим длинным телом, будто форма была сшита ему, ждала его. Вышел в этом наряде гулять. Расхаживал, окруженный приятелями, счастливый, еще глупый ребенок, уже готовый для формы, годный для оружия кораблей, транспортеров и танков. И в нем, в отце, внезапная паника. Увидел сына в горящем танке, умирающего, словно он, отец, этой формой вверг его в смерть. И страстная суеверная просьба: пусть гибель минует сына, пусть возьмет вместо сына отца. Он, отец, готов умереть вместо сына. Подставить себя под пулю, отдаться огню. Только бы сын уцелел. И тоска его вдруг отпустила. Он почти успокоился, словно просьба была услышана.

Он смотрел на удалявшихся юношей, на сына, долгового и нескладного, в пятнистом мундире. О чем-то жарко рассуждали и спорили. И он, умудренный, усталый, проводил их, прекрасных и юных, родных и любимых, словно парил над ним, желал защитить и сберечь.

Так думал он, лежа в африканской гостинице, слыша, как подымается из саванны ночной напряженный ветер и перистая пальма наполняется вибрирующим дыханием. За стеной лежат любовники, а он снова прижимается к окну, к

белоснежному квадрату зимы, в котором играют и кричат его дети.

Младший, Андрюшенька. Когда жена носила его, вдруг у нее, беременной поздней беременностью, открылся недуг, мешавший рожать. Врач советовал прекратить беременность, грозил бедой. Как крайнюю и все же опасную меру предлагал кесарево сечение. Был домашний вечер, когда вдвоем сидели под лампой. В соседней комнате резвились дети. А они решали судьбу нерожденного. Уговаривал отказаться от родов. Страшился, что вот она, родная, белолицая, чернобровая, и ее вдруг не станет. А она, чутко, двойным слухом, слушала в себе растущую, одной ей ведомую жизнь. Умудренная не его, а своей, высшей мудростью, успокаивала его, брала на себя все его опасения и страхи. Сказала, что согласится на кесарево.

Он помнит явление младшего сына. Хирург приподнял его в каплях красной росы, словно вынул из жаркой купели. Окно, золотые главки Кремля, его обморок. Не вынес зрелища сына.

С младенчества был строптив и упрям. Действовал наперекор чужой воле, добываясь всегда своего. Добывал свое право криком, капризом. Однажды своим упрямством вывел мать из себя, и та отшлепала его сгоряча. Он орал, сидя на полу, не от боли, не от обиды, а продолжая настаивать на своем, продвигаться этим криком сквозь огорчения и слезы матери к своей цели. Он, отец, не вмешиваясь в распрю, испытал к сыну раздражительное чувство за это прямое, не подкрепленное реальной возможностью стремление.

Позднее, когда сын вырос, у него со старшим братом Василием начались сложные, мучительные для обоих отношения. Младший лез постоянно к старшему, встревал в его развлечения, посягал на его собственность — на фантики, марки, радиодетали, на его дружбы и общения. Мешал старшему, раздражал его, частенько получая от него тумака, навлекая за это на старшего гнев родителей и под защитой этого гнева все-таки добывая себе от Василия то альбом с открытками, то фонарик, то транзисторный приемник. Он, отец, чувствовал: в сыне заложен некий вектор, некая стрелка цели, сориентированная по неведомой ему, отцу, силовой линии. Сын, как маленький летательный аппарат, двигался по своей, уже заложенной в нем программе, которой лучше не мешать, устраниться, дать свободу полету.

Это чувство подтвердилось, усилилось, когда однажды

осенней, быстро спускавшейся ночью в избе он лежал с легким ознобом. Кутался в шерстяное одеяло, и сын требовательно, властно, так что он, отец, не мог отказаться, поднял его из постели и повел наружу смотреть на звездное небо. И там, под холодными звездами осени, когда огромная крыша чернела резким конусом и звезды выплывали, нарождались под кровлей, разноцветно, безмерно сверкали, сын, прижимаясь к отцу, восторженно тянулся к ним своим маленьким бледным лицом, словно обнимал отца, увлекал за собой, отрывал от поблекшей травы, дубовой, переполненной ливнями кадки, устремлял отца за собой в разноцветно-туманный орнамент. И он смирялся, покорялся сыну, следовал его воле и знанию. Отрывались от бренной земли, сын впереди, а он сзади, неслись друг за другом ввысь. Но это будет потом, не сейчас. Теперь же он смотрит в зимнее окно, где у пыльного стекла краснеет крылышко летней бабочки. Дети на снегу перед скульптурой прабабки водят хоровод, выкрикивают, славят своего идола. Настенька коноводит, управляет братьями. Василий схватил Андрюшеньку за руку, тянет за собой, и тот, теряя пеструю варежку, перебирает что есть мочи крохотными валенками, торопится за братом. Что-то их отвлекло. Оставили снеговика, задрали к березе лица. Там, в прозрачных ветвях, сидит, как цветок, снегирь. Снялся, полетел вдоль забора, на кусты соседского дома, и они кинулись его догонять.

Разом опустело и стихло. Снежная баба в очках. На снегу оброненная рукавичка сына. Он смотрит на утоптаный снег, на брошенную рукавичку и думает: этот день не исчезнет. Свернется в свиток и будет лежать в хранилище. И однажды, в минуту печали, он протянет руку, извлечет этот свиток. И опять возникнет белый под березой лужок, снеговик, маленькая пестрая варежка, и он, не усталый, не старый, уповающий, ждущий от жизни великих радостей, смотрит на своих играющих, гомонящих детей.

Бобров услышал налетающий шум мотора. Скользящий удар луча по циновке в окно. Скрип тормозов. Кто-то спрыгнул, прошел и несильно, властно постучал в его дверь. Бобров соскочил босиком, открыл. Били лучами фары. В них клубилась неосевшая пыль. Соломау в военной маскировочной форме стоял на пороге.

— Прости, я разбудил тебя, Карлуш. Я заехал сказать, что утром мы выезжаем. Ты не раздумал? Готов?

— Нет, не раздумал.

— Тогда отдыхай. На рассвете я буду здесь.

Он вскочил в машину, пуская двигатель, поворачивая веер лучей мимо пальмы, холма, в саванну, куда им завтра предстояло движение.

На заре, похожей на бесшумный красно-копотный взрыв, к гостинице подъехал коричнево-зеленый пятнистый «ленд-ровер». В нем сидели солдаты в маскировочных защитных мундирах, одинаковые, плечо к плечу, держали у колен автоматы. Соломау, затянутый в пятнистую форму, с кобурой на бедре, с ремешком фотокамеры, без улыбки цепко пожал Боброву руку. Принял его саквояж, пропуская вперед к водителю. Усаживался рядом, третьим, надавив на него гибким, в длинных мышцах телом. Сзади, в отсеке с солдатами, стояли связанные проволокой канистры с горючим, был приторочен высокий жбан с пресной водой. Сидел, стиснутый солдатами, безоружный африканец в штатском. В багажном отделении у торца Бобров заметил тюк, укутанный прорезиненной тканью, тщательно закрепленный между изношенными автомобильными баллонами.

— Что там? — спросил машинально Бобров.

— Взрывчатка, — ответил тот, делая знак шоферу, пуская вперед «лендровер».

Машина в развороте попала в выбоину, стукнула амортизаторами. И Бобров, слыша, как лязгнули о пол автоматы и канистры, уже не мог не думать о поклаже в багажнике, зажатой среди изорванных шин.

Промчались по спящему, серо-пыльному городу. Пересекли Лимпопо, красное, как вино, отражение. Врезались в прямое, липко шелестящее шоссе. Заря стояла повсюду, слева, справа. Акации просвечивали зарей, зонтично-плоские, стриженные. Среди них огромные, как каменные бутылки, чернели стволы баобабов.

— Легко меня нашел, Соломау? — спросил Бобров после первых молчаливых минут, распуская в себе узлы напряжения, чувствуя, как они слабеют в соседе.

— По следам, — усмехнулся Соломау, выкладывая на колени фотокамеру. — Мы все оставляем следы.

— Я старался ходить осторожно, не касаясь земли.

— Даже самолеты оставляют следы. Сегодня я надеюсь найти следы самолета. Этот человек мне поможет, — он кивнул назад, и Бобров догадался, что речь идет о штатском, комкающем в руках грязно-белую, выдавшую виды пана-

му. — Он привезет нас в деревню, где живет его родственник, знающий аэродром. Сегодня мы должны найти аэродром. Завтра прилетит самолет.

Он снова напрягся. На лбу его собрались перекрестья и дуги, будто отпечатался план операции. Карты саванны с нанесенным аэродромом подскока.

Заря исчезала и таяла. В деревьях замелькало маленькое колющее солнце. В машину пахло дымом. Скользнула у обочины хижина, розовая с задранными рогами корова. Мужчина от порога провожал глазами «лендровер».

— Какие новости в Мапуту? — Бобров дождался, когда карта на лбу Соломау погасла.

— Президент выступил с большой речью на митинге. Он сказал, что, если ЮАР развяжет против Мозамбика войну, ей придется иметь дело со всей черной Африкой. И эту войну мы закончим в Претории.

— На границе опять беспокойно?

— Они концентрируют войска. Нарушают воздушную и морскую границу. Я не думаю, что в ближайшие недели возможно вторжение. Их связывают Ангола, Намибия. Но это давление на нас. Давление на процессы в наших центральных провинциях. Положение в Манике и Софале осложнилось. Усиливаются боевые операции. Растут потери, особенно в нашей пятой бригаде. Похоже, что буры готовят массированный удар по нефтепроводу Бейра — Умтали. По порту Бейра. По железной дороге. Хотят перерезать пути снабжения в Зимбабве, вывести из строя мосты. Опять воскрешается план «Буфало», ставка на «Мозамбикское национальное сопротивление». Нам стало известно: в бандах «сопротивления» действуют белые диверсанты. Накоплено оружие и взрывчатка. Мы ожидаем в эти недели обострения в районе Бейры. Ожидаем начала «минной войны».

Бобров кивнул, откликаясь на сообщения Соломау мгновенной реакцией, не своей, а героя, африканиста. И он, африканист, мысленно выхватил из невидимой картотеки карточки. Считывал уже имеющуюся информацию, заносил вновь полученную.

«Нефтепровод Бейра — Умтали. Общая длина 288 км. Внутренний диаметр трубы 10 дюймов. Пропускная способность — 1 миллион тонн топлива в год. Предназначен для снабжения Зимбабве бензином, керосином, дизельным топливом, получаемыми с нефтеналивных причалов порта Бейра. Призван полностью покрыть потребности Зимбабве в нефтепродуктах, уменьшить зависимость республики от комму-

никаций ЮАР. Южно-Африканская Республика многократно за последние годы искусственно сокращала потоки грузов в Зимбабве через свою территорию, ссылаясь на перегрузку дорог и нехватку вагонов. В статье из американского журнала «Ньюсуик» приводится высказывание военных ЮАР: «Если бы мы закрыли нашу границу с Зимбабве, разбомбили ее слабые коммуникации с Мозамбиком, то черный промарксистский режим Зимбабве оказался бы загнанным в угол».

— Соломау,— продолжал Бобров, стремясь утолить не свой, режиссера, интерес, а другого, кто принял его черты, действовал вместо него.— Двести восемьдесят восемь километров нефтепровода, мосты, насосные станции. Есть ли у пятой бригады опыт, необходимый для защиты нефтепровода?

— Будет очень трудно, я знаю. Нефтепроводы защищать очень трудно. Мы едем сейчас защищать нефтепровод. ЮАР готовит нефтяной шантаж против Зимбабве. Но они сами уязвимы в вопросах топлива. Они создают производство синтетического горючего, создали производство «Сокол». Но их хранилища, их трубы и оборудование так же уязвимы, как наши.

Шоссе. Горячий, залетающий в кабину ветер. Запасное колесо на капоте «лендровера». Браслет на запястье шофера. И тот, другой, поселившийся в нем, Боброве.

Невидимый бланк в картотеке.

«План «Буфало». Составлен спецслужбами ЮАР и Южной Родезии. Предусматривал инспирирование сепаратистского движения в центральных провинциях Мозамбика на племенной основе. Захват Шимойо и Бейры и провозглашение независимости центральных провинций. Расчленение Мозамбика и создание буферного государства. План был сорван в связи с созданием независимого Зимбабве. «Мозамбикское национальное сопротивление» — создано спецслужбами ЮАР и Южной Родезии в 1977 году. Тактика: действие военизированных банд, террор, истребление активистов ФРЕЛИМО, захват государственных складов продовольствия и раздача их от своего имени населению. Ядро движения — бывшие сотрудники репрессивного португальского аппарата, агенты ПИДЕ, ренегаты ФРЕЛИМО, элементы из спецслужб ЮАР».

— Кто сейчас в руководстве мятежников? — Бобров оперировал «банком» той информации, что копил по крохам его двойник, пополнял постоянно. Не просто из прессы, из от-

крытых, доступных изучению источников, а из множества личных контактов, необязательных, подчас мимолетных встреч. На приеме за рюмкой коктейля, в салоне самолета, в непринужденной беседе, в гостиничном номере, принимая гостей. Или, как сейчас, в пятнистой военной машине. Драгоценный, по пылинкам добываемый опыт.— Я слышал, в руководстве МНС перемены?

— Их прежний главарь был недавно нами убит. При захвате их базы в Ламето. Их новый руководитель — четыре класса образования. Служил в португальской армии в чине сержанта. Был во ФРЕЛИМО начальником тыла как раз в пятой бригаде. Арестован за хищения и спекуляцию. Бежал. Вошел в руководство МНС. Семья его сейчас находится в Южной Африке. Нам известно, что он сам недавно вернулся из ЮАР, где получал инструкции. Может быть, на том самолете, что мы видели с тобой в Ресано Гарсиа.

Еще одна незримая пометка на карточке. Факт, внесенный в картотеку, увеличивающий «банк информации». Африканист. Съёмки фильма о расколотой, стреляющей Африке.

— Что еще говорил на митинге президент?

— Он сказал, обращаясь к народу: «Если вы не защитите себя сегодня, враг покончит с вами завтра».

Шоссе давно уже кончилось. Они сбавили скорость, съехали на песчаный проселок. Струя ветра, дувшая в боковое окно, погасла. В кабине стало душно. Скопился тромб бензиновых, из канистр, испарений. Машину подбрасывало на рытвинах. Кусты звонко хлестали по дверцам. На капоте, зацепившись за притороченное колесо, зеленела обломленная веточка. Бобров при толчках, падая в пружинное сиденье, чувствовал колыхание взрывчатки, елозившей между пустыми баллонами. Соломау спрашивал о чем-то человека в панаме, говорил на языке, непонятном Боброву, и тот отвечал односложно.

Солдаты зачерпнули из жбана воду. Пустили по рукам кружку. Жадно пили, двигая худыми кадыками, мгновенно покрываясь черно-блестящей испариной. Протянули Боброву. Тот принял благодарно. Пил, постукивая о зубы алюминиевым краем. Вода казалась густой, кисловатой, утратила прохладу и свежесть. Пил Соломау. Пил шофер, крутя баранку. Продолжали движение по горячей саванне. Бобров липким промокшим плечом чувствовал горячее, как компресс, прикосновение плеча Соломау.

В этом изнуряющем однообразном движении ему каза-

лось, что этот день был предначертан в череде предшествующих дней и лет, таился среди них, был запланирован: и это обморочное колыхание в пятнистом «лендровере», чернолицые солдаты, страдающие от жажды и тряски. Его появление здесь, в этой африканской саванне, определялось давнишней, действовавшей в одном направлении силой, толкавшей его своим острием. Эта сила начиналась не в нем, Боброве, исходила не из души, не из сердца, а откуда-то сзади, из-за спины, где клубилась горячая пыль. Была проявлением сторонней, ненавязчивой, непрерывно действовавшей воли. И он, измученный, парализованный, отданный во власть этой воли, двигался по невидимой, прочерченной по саванне силовой линии.

Старался думать о том человеке, кого выбрал в герои. Хотел представить его облик, лицо, его привычки, пристрастия, его прошлое, любимых и близких. И все, что он знал о нем, было знанием о себе самом. И все, что не знал, незнанием себя самого. Ему добровольно отдавал он свой облик, свои черты и приметы. Наделял его своим прошлым. Вверял свою жену и детей. Награждал друзьями. Он, Бобров, перестал быть собой, перешел во власть другой судьбы и характера, им же самим сотворенных. Проживал свою жизнь, как чужую. И в этой потере себя, в обретении себя в другом таилась неясная, но грозная, неизбежная истина. Роль диктовала поступки. Вымысел творил бытие. И все, двоясь и меняясь, двигалось, послушное уже не его, режиссера, воле.

Он пытался схватить глоток свежести, вырваться из бензиновых испарений.

— Соломау,— спросил слабо,— что нами движет? Что движет тобой, Соломау?

Тот повернул к нему близкие воспаленные, в красных прожилках белки. Мгновение молчал, пытаясь понять вопрос, понять состояние Боброва. Всплывал из своего сонливого, терпеливого ожидания. Понял вопрос. Ответил:

— Мною движет ненависть. Ненависть к тем, с кем я сражаюсь всю жизнь. Кто убил многих моих друзей и хочет убить меня. Кто хочет убить Мозамбик. Ненависть — та реактивная турбина, которая мне сообщает движение.

— Ненависть? — Бобров утомленным сознанием пытался вызвать в себе подобие этого чувства. Вернуть себе энергию жизни любой ценой, пусть даже энергией ненависти. Не мог, не умел это сделать.

— Ты знаешь,— продолжал Соломау.— Я юнцом всту-

пил во ФРЕЛИМО, сражался в партизанском отряде. Здесь же, в Газе, недалеко отсюда. У меня был друг Эдуарду. Наши дома были рядом, матери наши дружили, и бабушки наши дружили. Мы с ним вместе росли, как братья, вместе сражались в отряде. Против нас португальцы бросили батальон — грузовики, транспортеры. Солдаты охотились за нашим отрядом, а мы уходили от погони. Рыли ямы для машин, и грузовики проваливались в ловушки, как слоны. Нападали с тылу, вели за ними наблюдение. Командир отряда, ты, может быть, знаешь его, — он теперь начальник штаба третьей бригады, — вызвал нас с Эдуарду и послал в разведку: португальские грузовики прикатили в соседнюю деревню, и надо было узнать, сколько их там и что они собираются делать. Мы пошли в деревню, прикинулись беженцами, побирушками. Ходили между грузовиками, считали солдат и оружие. А с португальцами был проводник, предатель, убежавший из нашего отряда. Во все времена, во всех движениях были и будут предатели. Он нас заметил и выдал. Нас с Эдуарду втащили в кузов грузовика, откинули борта и привязали на досках проволокой рядом, бок о бок. Сначала нас били шомполами, требуя, чтобы мы указали дорогу в отряд. Когда бьют меня, Эдуарду меня ободряет, говорит про наш дом, про то, как вместе купались, про наших матерей, про товарищей, оставшихся в отряде. Когда его бьют, я его ободряю. Солдаты топтали нас башмаками, и один здоровенный, в кованых бутсах, подпрыгнул на Эдуарду и вмял ему бутсы в лицо. Я слышал, как захрустели его сломанные зубы. Несколько раз мы теряли сознание. Они выливали на нас из ведра воду, приводили в чувство и снова принимались топтать. Они поняли, что ничего от нас не узнают. Тогда они стали совещаться. Сержант сказал, что одному из нас они подарят жизнь. «Вот эта монетка, — показал он медяк, — тебе, — кивнул он Эдуарду, — орел. Тебе, — повернулся он в мою сторону, — решка. Чье счастье выпадет, тот и жив». Он смеялся, глядя на нас, держа над нами монетку. Я сквозь слезы и кровь смотрел на маленький кругляшок в его руках и думал: неужели в этом кругляшке моя смерть? Он кинул монету, она упала на доску между мной и Эдуарду, и я увидел, что она упала на решку. «Ты — счастливчик, — сказал мне сержант. — Можешь идти к своим и рассказать, какие мы милосердные и справедливые. Но не торопись, побудь еще немножко с нами». Они сволокли нас на землю, протащили за деревню на выгон, на круглую пустую поляну. Там росли два дерева.

Они привязали нас к этим деревьям лицом к лицу. Повесили Эдуарду на грудь взрыв-пакет, протянули бикфордов шнур. Подождли и отбежали. Я смотрел на эту круглую поляну с сухим коровьим пометом, на близкое дерево, на привязанного Эдуарду, на шипящий, с дымной головкой шнур. Эта головка пузырилась, искрила, извивалась, подбиралась к Эдуарду. Он, привязанный к дереву, с изувеченным ртом, говорил косноязычно: «Смотри на меня, Соломау!. Запомни меня, Соломау!. Отомсти за меня, Соломау!..» Я плакал, не хотел смотреть, отворачивал голову от бегущего по шнуру огонька, который был у его ног, взбирался наверх. «Нет, ты смотри на меня, Соломау!.. Не женись, не имей детей, пока не отомстишь за меня, Соломау!..» Шнур догорал, крутился маленький последний отрезок. Эдуарду крикнул: «Да здравствует...», и в это время раздался взрыв. Меня опалило огнем. Там, где стоял Эдуарду, из дерева был вырван клочок и дымился красный ком из костей и кожи. Кровь Эдуарду долетела до меня, брызнула мне на лицо. Я не знаю, что он собирался крикнуть. Наверное: «Да здравствует Африка!» Теперь ты понимаешь, Карлуш, что мною движет. Я не женюсь, не имею детей, не выпустил ни одной книги стихов. Я сражаюсь за Мозамбик, за Эдуарду, за Африку. Я все еще чувствую его кровь у себя на лице.

Он осторожно тронул свою выпуклую худую скулу, словно боялся стереть каплю крови. И Боброву показалось, на черной коже на мгновение возник и погас алый горячий кружочек.

Они продолжали колыхаться в ухабах. Все так же было душно и обморочно от бензиновой вони, от лязгания прикладов об пол. Но бессилье его миновало. Вектор движения по-прежнему бил вперед. Указывал своим острием. Но он, этот вектор, начинался теперь в его жарком, страдающем сердце. Был осмысленным выбором,двигающим его в африканской саванне. Здесь, среди кустов и ухабов, пульсировала силовая линия совершаемой в мире борьбы, и он, Бобров, отдавал ей свои силы, питал ее своим электричеством.

Колея исчезла и стерлась. Машина шла по нетронутому волнистому грунту. Вламывалась в тенистые заросли, выныривала среди яркого света. Давила цепкие, оплетающие желтоватую землю травы. Проводник за спиной шофера односложно подавал голос, вперя палец вперед. И шофер менял направление, переключал скорости, прорывался сквозь корзинное плетение веток.

Машина въехала в рыхлую кучу. Развалила ее, заскользила, забуксовала. Шофер дергал ручки, чертыхался. Указывал на другие подобные кучи, словно нарытые, выдавленные из-под земли огромным кротом.

Проводник что-то сказал, усмехнулся. Соломау усмехнулся в ответ.

— Слоны,— сказал он.— Слоны недавно прошли. Свежий помет.

Он приказал солдатам выйти, толкнуть машину. Бобров вместе со всеми выталкивал «лендровер» из колеи, наполненной свежим пометом, в котором скользило, вращалось колесо. Почувствовал твердый удар в плечо. Жук-скарабей упал на землю, вбирал под панцирь прозрачные крылья, жадно полз к разбросанной колесом куче. Из саванны на запах под разными углами летели, планировали жуки, ударялись о машину, мундиры солдат, падали, зарывались в помет. Боброву хотелось отойти от ревушей, изрыгавшей копоть машины. Послушать жужжание жуков. Приложить ухо к земле и уловить чуть слышное трясение тяжелых, переступающих в зарослях ног. Но «лендровер» вырвался из цепко-скользкой рывтины. Солдаты уселись на лавки. И Бобров угнезвился на своем месте, прижатый плечом Соломау.

Вновь, едва заметная, чуть прочерченная, обозначилась колея. Кусты расступились, и на поляне открылась маленькая лесная деревня. Несколько круглых тростниковых хижин, напоминавших корзины для ловли рыб. Покосившийся, из кольев, загон. Вскопанная, неряшливо тронутая мотыгой земля с чахлыми всходами. Машина встала у хижины, и навстречу ей вышел и тут же замер, будто у проведенной черты, мужчина с голыми костистыми плечами, с худосочными, в драных брюках, ногами. Женщина в ветхой замусоленной юбке держала в руках домашнее орудие, похожее на пестик. Высыпали голопузые, курчавые, похожие на козчиков дети. Все испуганно воззрились на вылезавших солдат, на оружие, на обилие скрежещущего железа, возникшего среди их глиняного, тростникового быта.

Проводник и Соломау подошли к хозяину хижины. Раскланивались, пожимали друг другу руки, обменивались приветствиями. Бобров, не понимая языка, слушал краткие, гулкие, словно из крынки излетающие звуки. Рассматривал утопанный гладкий двор, сложенный из закопченных камней очаг, плоский с углублением камень, убежденный и выщербленный бесчисленными истертыми зернами. Из-за тына

слезно и кротко смотрела тощая коровья морда. У женщины на худых запястьях висели браслеты, в ухе, под кольчатой измелченной прической, качалась серьга. Вид этих настояренных, измученных людей, едва прикрытых одеждой, каменные орудия, запах дыма, животных, невидимых, куснувших, недавно содранных шкур создавали впечатление первобытной древности. И «лендровер», автоматическое оружие, амуниция солдат своими пряжками, колесами, дулами отрицали эту робкую, зацепившуюся за землю жизнь. Грозили тронуть неосторожно, отсечь ее хрупкие корни, умчаться дальше, даже и не заметив крушения. Как трактор, пройдя по дюне, сдирает зыбкую сетку трав, сводя на нет столетнюю работу растений, удерживавших, оплетающих пески. Превращает дюну в пыльный подвижный бархан.

Хозяин скрылся в хижине и скоро опять появился, держа в руках хромированный транзистор. Вытянул усик антенны, крутил рукоятку. Соломау бережно принял беззвучный приемник, осматривал его, поворачивал. Бобров приблизился и пожал хозяину руку, твердую, сухую, шелушащуюся ладонь крестьянина, избитую о мотыгу. Отвечал улыбкой на его испуганно-виноватую, щербатую улыбку.

— Этот транзистор подарил ему белый летчик,— сказал Соломау.— Он знает, где аэродром. В приемнике кончились батарейки. Летчик обещал привезти новые.

Бобров принял от Соломау приемник. Прочитал выдавленную на пластмассе надпись: «Сделано в Южно-Африканской Республике».

— Его зовут Меамбо,— продолжал Соломау. Мужчина, услышав свое имя, кивнул.— Он знает, где аэродром и склад с горючим. Он гонял туда скотину и несколько раз виделся с летчиками. Они сказали ему, что прилетели из Мапуту. Что они инженеры и будут строить дорогу. Просили проследить, чтобы никто не тронул горючее. Подарили ему сахар, муку и транзистор. Он готов показать нам аэродром.

Хозяин еще раз кивнул. Унес свою драгоценность, мерцавший металлом транзистор, в хижину. Вернулся и что-то сказал жене. Пошел в сопровождении Соломау к машине. Проводник в панаме остался у хижины. Устало присел в тени, довольный, что его оставляют в покое.

Они снова катили, сжатые душным железом, огибая кусты и деревья. Меамбо указывал направление узким скрюченным пальцем, словно прокалывал в зарослях дыру, пропуская невидимую дратву — все ту же незримую, проходящую сквозь саванну силовую линию.

Добрались до кустистой ложбины, встали, загнав машину в тень просторной акации. Соломау, Меамбо и два солдата ушли на разведку. Остальные повалились в тень. Расшнуровали ботинки. Пили, осторожно промывали глаза. Машина остывала, тонко звенела, будто в ней поселился сверчок.

15

Он был измучен. Рубаха и брюки казались жаркой, едкой примочкой. В голове продолжалось гудение. И, желая покинуть это близкое от машины, вибрирующее пространство, он брызнул себе на лицо теплой водой из фляги, шагнул за акацию, на хрустящую сухими чешуйками землю. И будто прошел сквозь стену, в иной свет и воздух. Шаг за шагом удалялся от поля тревоги, погружался в слабое, нежно пульсирующее поле природы. В шелест мелких стеблей под ногами, в робкий посвист невидимой птицы, в переменное жарко-прохладное дуновение. Щурясь, почти закрыв глаза, шел на это дуновение, вверяясь ему, меняясь в нем, сбрасывая металлические и бензиновые запахи. Шел, подхваченный струящимся ветром, неся под закрытыми веками неяркое свечение солнца.

Он услышал внезапный хруст, испугавший его скачок, глухой стук о землю. Успевая раскрыть глаза, еще пугаясь счастливым испугом, увидел вскочившую из-под куста, метнувшуюся в ударе копыт низкорослую антилопу. Ее острый костистый хребет, желтую пятнистую кожу, жилистые, струнно-сильные ноги, толкнувшие вперед шар мускулистого тела, вытянутую заостренную нежно-коричневую голову. И вся она в стеклянном блеске ворсинок, скосив сердоликовый глаз, возникла на одно мгновение и тут же исчезла, оставив в зрачках свой фотоснимок. Застывшее в солнечном воздухе изображение животного, поджавшего хрупкие ноги.

Эта встреча восхитила его. Ему было удивительно и счастливо думать, что антилопа слышала его еще издали. Чутко вытянув шею, ловила его приближение, его шаги, его запахи. Он не знал о ней, а она уже знала, уже видела его сквозь редкую зелень куста.

Он нагнулся, тронул руками неглубокую песчаную выемку, где лежало животное, подстилку из вороха блеклых засохших соцветий и древесных чешуек. И ему казалось: он улавливает неулечившиеся запахи зверя. Она, антилопа, где-то близко, отбежала и слушает, уперев в землю заостренные резные копытца, обратив в его сторону чуткий лик.

Этот продолжавшийся незримый контакт был связью, долгожданной и истинной, с другой саванной и Африкой, с древним, вечным и чудным, пустившим его в себя, уготовившим ему место под прозрачной тенью куста с чуть видной звериной лежкой. Обещавшим ему иную долю и жизнь.

Это было так сильно, так сладко. Было связано с преобразованием мира. И оно, это преобразование, совершалось не взрывчаткой, не пулей, не нацеленным в мир оружием, а чудом. Волнением ветра, прозрачной колеблемой тенью, легким скоком пробежавшего зверя. Он стоял на коленях, касаясь ладонями теплой земли в том месте, где недавно лежала антилопа. Гладил ее глянцевитые дышащие бока, вздрагивающий пружинный хребет, шелковистые прижатые уши. Заглядывал в неиспуганные, выпуклые, отражавшие его облик глаза.

Медленно, улыбаясь, брел среди зарослей, неплотных, сквозных, прерываемых солнечными прогалинами. Саванна была недикой, возделанной, но не человеком, не мотыгой, не плугом, а иным, изначальным садовником, посадившим и этот глянцевитый округлый куст, и рядом струящееся волнообразное деревце, населившим свой сад быстроногими антилопами, свистящими птицами, бесшумными пролетавшими бабочками.

Бабочки, огромные черно-зеленые броминусы и нежно-голубые элегры, вспыхивали, появлялись на миг, озарялись солнцем. Их подхватывало, переносило через сферу плотного, непроницаемого для полета воздуха и влекло вниз, за древесную крону, всех по одному и тому же пути. Он пошел вслед за бабочками, поднимая кверху лицо, чувствуя близкое, напряженно распростертое тело бабочки, гонимое лучами и дуновениями, планирующее вниз за дерево, на невидимую близкую цель.

Вышел на поляну, увидел цветущий куст. Тот распушился в самом центре круглого, напоенного светом пространства. Отбрасывал легкую тень. И в его вершине, в белых соцветиях клубились, порхали бабочки, сотрясали цветы, переливались, взлетали. Страстно, слепо падали в пахучие кисти, перебирая их лапками, вонзая крохотные пружинки своих хоботков. Весь куст дрожал, осыпался лепестками, опьяневшими бабочками, чуть слышно звучал. Бобров, восхищенный, окруженный цветами и бабочками, шагнул в этот куст, встал среди расступившихся веток.

Ему показалось вдруг: здесь, под ветвями, существовало пространство как раз для него. Повторяло контуры его плеч,

его ног, очертания его лица. И он встал именно туда, где и было уготовано его истинное, принадлежащее ему в природе место. Здесь, через этот куст, через эту поляну, проходит блестящая ось, центр мира. И теперь, встав в этот центр, он совпал с легчайшей спицей, на которую надета земля. Ему казалось, у него обнаруживается новое зрение, новый слух, новый разум. Вот-вот увидит сквозь ветки, сквозь их ясно-прозрачную оптику истинное, уходящее в бесконечность пространство. Его слух улавливал тончайший шум, издаваемый растущими листьями, шелест цветочной пыльцы, продвижение корней в земле. Он почти понимал лепетание бабочек, язык антилоп и птиц. Он стоял в кусте, готовый к прозрению. Глаза его оделись влажной лучистой влагой. Он чувствовал приближение огромного ясного знания. Бабочки садились ему на одежду, на руки. Не боялись его, принимали за куст. Он и был этот куст, испускавший из себя побеги, окружавший древесными объятиями небо с полетами светил. Уходящий корнями в землю, в толщу, вглубь, до раскаленного пылающего ядра, но не жгущего, а творящего. Утратив имя, без прошлого и без будущего, он был центром мира, царил в своем прозрении, в бессмертии, в желании любви и блага.

Это длилось одно мгновение. Но близко, за деревьями раздались сигналы машины. Властно, требовательно выкликали его, называли по имени. Смещали центр всего. Выхватывали его из ветвей, возвращали в реальное пространство и время. Ввергали в истинную, вмененную ему задачу.

У машины солдаты, раскрыв в торце двери, выгружали взрывчатку. Другие штыками секли и кромсали кусты, вырубая шесты. Просовывали их под проволоку, перематывающую тюк со взрывчаткой. Соломау вместе с шофером извлекли из-под лавки ручной пулемет и зеленые металлические коробки с патронами.

— Есть! — сказал Соломау, когда Бобров подошел. — Есть аэродром! Мы нашли!

Он был возбужден. Его азарт был нацелен в начавшееся действие, знакомое ему и понятное. В нем не было утомления. Обнаружились скрытые источники силы. Ладонь гладила, словно ласкала, ствол пулемета. Рука казалась ворононой как сталь, в таких же радужных металлических отливах.

Солдаты подняли на шестах взрывчатку, положили себе на плечи и пошли. Соломау нес на плече пулемет, попра-

вляя, отталкивая мешавшую ему фотокамеру. Бобров подхватил жестяную, покрашенную в зеленое коробку с патронами. Шофер и Меамбо остались возле машины, принялись набрасывать на нее отсеченные ветки, маскировать под акацией.

— Надо пешком,— говорил Соломау, протаскивая пулемет сквозь колючие заросли.— Чтоб не было машинного следа. Может остаться след. Сверху заметно,— он посмотрел на небо, и Бобров, пронося патроны, выдираясь из колючек, рванувших ему кожу до крови, вдруг отчетливо, как бы просыпаясь, отмахиваясь от недавнего наваждения, ощутил себя в зоне опасности, в зоне близкого боя.

Прогал в кустах, воздух в нем обрел металлический отсвет, как и ствол пулемета, как и гибкая, с браслетом, рука Соломау. Глаза были готовы к появлению в небе металлического предмета, к появлению самолета.

Кусты неожиданно кончились. Открылась длинная, белесая пролысина, словно песчаная отмель.

— Вот он,— сказал Соломау.— Я знал, что он должен быть. Вот аэродром подскока.

Соломау был почти весел. Его посетила удача. Почти любовно, как крестьянин ниву, он оглядывал поляну. Обегал глазами опушку, отыскивал в небе невидимую малую точку, следил за ее приближением, снижал ее над резными вершинами, превращая в подскакивающий, бегущий, гасящий бег самолет. И тогда левый, обращенный к низкому вечернему солнцу глаз сжимался, а правый лилово вспыхивал, как раструб пулемета. Посылал в застывший белый фюзеляж самолета тугие продольные очереди.

— Завтра утром он будет здесь! Мы подготовили ему посадочную площадку!

Они шли по поляне — Соломау, Бобров и растянутая цепочка солдат, отбрасывая длинные тени. Наклонившись к земле, Бобров различил следы от ударов самолетных колес, сбивших дерн, прочертивших, продравших грунт. Во вмятине, свежей и черной, лежал на спине мертвый жук, металлически-синий. Муравьи копошились, прогрызая его хитин. Подумал: когда-нибудь вспомнит этот маленький фиолетовый слиток в выемке от самолетных колес.

Они сложили ношу на землю. Ставя патронную коробку рядом с кулем взрывчатки, Бобров увидел красный, врезанный в ладонь отпечаток, след его участия в боевой операции.

Он шел за Соломау краем поляны на близкий, усиливаю-

щийся запах бензина. Под деревьями, в глубокой траншее, лежали железные бочки с горючим, выкрашенные в оранжевый цвет, чуть прикрытые жухлыми ветками. Тут же стояла маленькая ручная помпа, был свернут шланг с хромированным штырем-пистолетом.

— Заправка,— сказал Соломау, оттаскивая ветки, раскрывая фотокамеру, делая несколько снимков, сверху, со стороны, стараясь захватить в кадр английские литеры, отсиснутые на оранжевых бочках, помпу и шланг.

Сюда, к краю поляны, подруливал самолет. Здесь наполнял свои баки. Трава была выжжена бензином. Валялась масляная, перепачканная ветошь.

— Накопитель горючего. Сюда он подрулит непременно. Здесь и будем минировать.— Соломау щелкал камерой, рассуждая вслух.

Тут же рядом в земле было вырыто укрытие под тонким накатом. Спустившись вниз в душную, пахнущую вениками полутьму, Бобров различил широкие нары, застеленные брезентом, врытый рукодельный столик, набранный из тонких, неловко отесанных досок, похожий на ксилофон. Стояла пепельница с окурками. Валялась скомканная цветная бумага. Лежала на нарах старая, засаленная, малинового цвета каскетка. Соломау пошарил внизу и выставил на стол пластмассовые прозрачные фляги, завинченные зелеными пробками. «Пресная вода»,— прочитал на наклейках Бобров и тут же: «Сделано в ЮАР».

— А я думал, может, виски найду! Да нет, виски они в кабине возьят!

Бобров сидел на нарах, представляя себе, как отдыхали здесь летчики и подрывники из батальона «Бур». Курили, готовили себя к бою, не снимая оружия. Или возвращались обратно, изнуренные, запыленные, оставляя за собой взорванные мосты и дороги. Его белые братья по расе, противники по убеждениям.

— Раньше они прилетали к нам на уик-энд, на отдых. В отели на побережье, с аквалангами для подводной охоты. Теперь они прилетают на другую охоту. Как видно, не совсем безопасную,— говорил Соломау, извлекая из-под нар и выкладывая на стол металлическую аптечку с крестом и спекшийся окровавленный бинт.— Некоторые из них остаются навсегда в Мозамбике.

Бобров помогал ему выносить на свет и раскладывать на куске брезента фляги с водой, пепельницу, аптечку, растрепанный англо-португальский словарь. Соломау снимал все

это многократно, в низком вечернем солнце, окрасившем кусты и поляну в красные горячие пятна.

— А теперь приготовим площадку, чтоб им было мягче садиться!

Он был веселый и быстрый. Что-то писал в блокнот. Чертил в нем какую-то схему. Прищелкивал пальцами. Смотрел на часы, на красное свечение поляны. Встал и быстро пошел, длинноногий, остроплечий, отмеривая шаги, удаляясь, неся за собой ходульно переступавшую тень. Был похож на землемера.

Солдаты осторожно раскрывали прорезиненную ткань, извлекали круглые мины, кубики тола, связки бикфордовых шнуров. Бобров подошел к ним ближе.

— Оставайся здесь, Карлуш,— остановил его вернувшийся Соломау — Сиди вот тут, отдыхай. Я обещал министру, что привезу тебя невредимым в Мапуту.— Он шутил, но шутка была подобна мягко произнесенному приказу. Отстраняла Боброва от прямого участия, отводила ему роль не бойца, а свидетеля.

Он послушно уселся на землю, прижавшись затылком к стволу акации. Следил, как Соломау с солдатами несут по поляне мины, высчитывая и что-то промеряя шагами, должно быть траекторию самолета, место удара колес о землю, путь прямого качения. И там, где начинался его ровный, затихающий бег по земле, они, согнувшись, ловкими цепкими взмахами вживляли в дерн мины. Блестели штыки, поблескивали круглые мины, погружаемые под корни трав. Соломау сглаживал, одувал, сращивал нанесенный поляне рубец. Своими ловкими, древними, лесными движениями был похож на охотника, ставящего силок на зверя. Земля в красных отсветах казалась отяжелевшей, заряженной. Несла в себе мины.

Бобров следил за минерами, действовавшими на африканской поляне, и одновременно видел другое, явленное ему иным зрением пространство.

Сиреневые снежные сумерки Тверского бульвара, когда в голых деревьях начинают наливаться голубизной фонари, и толпа густеет, темнеет, и желтый особняк с чугунной решеткой, и такие знакомые лица москвичей, озабоченные, торопящиеся, среди которых вдруг мелькнет полузабытое, где-то виденное, особое московское лицо. То ли матери в юности, то ли жены, когда едва познакомились, то ли деда, любившего гулять по бульвару, то ли собственное твое, кочующее по лицам других, от мальчика к старику, из века

в век. Видение московского вечера, пылающих витрин Елисеевского, пролетного сверкания улицы Горького посетило его на этой душной африканской поляне как ощущение двойственности и одновременности всего.

Он смотрел, как ловкие умелые люди минируют еще один участок земли, закладывают в планету взрывчатку, в добавление к уже заложённой. К существующим ядерным шахтам, к плывущим в морях субмаринам, к реющим в небесах бомбовозам. Во льдах, в дубравах, пустынях, на всех континентах, широтах, люди закладывали в планету взрывчатку, взводили оружие. И земля, заминированная, готовая к взрыву, продолжала носить на себе города, взращивала леса, колосила хлеба, принимала в себя легкие кости умерших стариков, выводила на свет младенцев.

И такое страстное желание блага, спасения испытал он, сидя без сил под акацией, вытянув усталые ноги. Такое желание мира далекому Тверскому бульвару с голубыми сосудами фонарей, и бульвару Капуцинов в Париже с пестрыми зонтиками и полосатыми тентами, и римским бульварам, осыпанным лепестками каштанов, по которым брел, любясь нарядной толпой, и бульварам Рамбле в Барселоне, по которым гулял безмятежно среди смуглых людей, торгующих заморскими птицами, рыбами. Он желал им всем уцелеть. Желал земле сохраниться, найти в себе силы и соки, чтобы растворить, рассосать, превратить в кислоты и ржавчину стальные оболочки оружия, разнести по крупицам, разложить и рассеять взрывчатку, оплести корнями и травами все окопы и бункеры, засыпать пылью прицелы, закупорить все дула и сопла, забить их прахом опавших листьев, хитином мертвых жуков, птичьим пометом.

Так думал он, следя за работой солдат, превращающих лесную поляну в минное поле.

Соломау подходил к нему легкой пружинной походкой, касаясь земли носками, исключая трясение почвы,— походкой воина.

— Завтра утром распределяю огневые точки,— он озирает поляну, быстро темнеющую, с резкой кромкой леса в гаснущем небе.— Запру его с того конца пулеметом. А здесь, у заправки,— пять автоматных стволов.

Они поужинали вместе с солдатами сухими галетами, запивая пресной водой из откупоренных юаровских фляг. Устраивались на ночлег.

Лежали с Соломау в землянке на нарах, подложив под головы подсумки с патронами. Было душно. Из открытого

лаза не вливалась прохлада. Бобров чувствовал близкий локоть соседа, его длинные, отдыхающие, распутившиеся мускулы.

— Не закрыть ли нам вход, Соломау? Сейчас прилетят москиты,— Бобров прислушивался к беззвучию ночи, в которой, ему казалось, что-то копилось, хотело себя обнаружить.

— Здесь не будет москитов,— сказал Соломау.— Здесь сухо и далеко от реки. Я помню, в это время года здесь не бывает москитов.

— А никто не придет? Никто не придет встречать самолет? Какой-нибудь сигнальщик? Чтобы обеспечить ему безопасную посадку.

— Только мы. Здесь некому больше быть. Это место слишком далеко от селений. Здесь нечего охранять, только бочки. Мы обеспечим ему безопасную посадку.

Они замолчали. Бобров больше не хотел тревожить Соломау. Тот нуждался в покое. Нуждался в отдыхе перед застрашным боем. Но Соломау сказал:

— Там, в машине, я сказал тебе, Карлуш, что мной движет ненависть. Но мной движет также надежда. Я знаю, мы будем еще долго бороться. Будем долго страдать. Много пуль будет выпущено в нас. Много пуль выпустим мы. Многие из нас погибнут. Но мне кажется, я доживу до победы. Доживу до дней мира и тишины. Я еще, может быть, успею жениться, успею родить детей. И, может быть, выпущу книгу стихов. Я по-прежнему пишу стихи. У меня есть несколько тетрадей стихов. Я описал в стихах и тот бой в Софале, когда нас атаковали родезийцы, и их вертолеты, как драконы, пикировали на нас, поливали огнем, и одни из нас падали лицом в траву, и их убивали из неба в спину, а другие вставали навстречу и били в небо из автоматов, поджигали их вертолеты. Я описал в стихах Москву, и снег, и как мы шли с тобой мимо фонтана, полного снега, и мне хотелось перенести этот фонтан в Африку, чтобы мои товарищи охладили этим льдом свои руки, накаленные у пулеметов. У меня много стихов про любовь, про ту, которая у меня была, и про ту, которой никогда не было. И если завтра нас ждет удача, я вернусь в Мапуту, напишу доклад министру о проведенной операции, а потом раскрою мою тетрадь и опишу в стихах и этот день, и вечер, и как мы лежим с тобой рядом, два брата, и назавтра бой. Карлуш, брат мой, хочу, чтобы все у тебя было хорошо.

И он легонько во тьме тронул плечо Боброва, и тот мол-

ча, благодарно кивнул. Лежали, засыпали, окруженные тьмой, тишиной.

Ему казалось, он спал мгновение и проснулся от тревоги, превращавшейся по мере его пробуждения, через серию сердечных ударов, в ужас. Будто кто-то смотрит в землянку шевелящимся мерцавшим лицом, то ли скалится, то ли беззвучно хохочет, вдувая в блиндаж ядовитый тончайший ветер. Круглое отверстие неба было в лохматых, шевелящихся звездах, словно небо двигалось, проносило мимо проема свои светила. Это чувство сорванных с основ, падавших звезд усилило его ужас почти до крика, и он, оглядываясь на спящего Соломау, перебрался через него, выкарабкался наружу. Небо колебалось, пульсировало. Гнало сквозь себя волнообразную огромную судорогу, толкающую звезды, сбивающую их в липкие сгустки, открывающую зоны пустоты и тьмы. Словно в небе действовала громадная перистальтика, мучилась непомерных размеров жизнь, и это страдание, этот ужас неба слетал на землю.

Он смотрел вверх, чувствуя, что там, на страшном от него удалении, что-то совершалось и гибло. Не умел объяснить себе — что. И это крушение, совершавшаяся в небесах катастрофа откликались в нем паникой и безумием.

Все вокруг чувствовало эту конвульсию неба, пробегающую по космосу судорогу. Мерцала и вспыхивала листва. Деревья страдали стволами, мучились ветвями, корнями. Шуршали в траве бесчисленные, кинувшиеся в бег насекомые. Муравьи, жуки, пауки сталкивались, кусали и пожирали друг друга. Мчались невидимые, гонимые в лесах антилопы.

Он видел: из неба что-то приближалось к земле из далекой, крохотной, металлической спирали галактики. Раскручивалось, увеличивалось, врезалось с бесшумным секущим свистом. И это «что-то» было погибелью, всеобщей, летящей на всех. И среди этой всеобщей, летящей на землю погибели он различил, как тончайший заостренный луч, свою собственную, выделенную ему одному смерть. Нацеленную только в него, углядевшую его на земле, захватившую его в свой прицел, знающую о нем все до конца, все его перемещения и пути, легким движением своего острия не выпускающую его из вида. Оружие из космоса стерегло его своим лучом с колыбели, и от него не уйти, не укрыться ни в блиндаж, ни в бункер, не заслониться мыслью о матери, о детях, о Родине.

Он чувствовал свою гибель как летящую на него неиз-

бежность. Земная жизнь вместе с ним, обезумев, стремилась куда-то, вырывалась из грунта и тверди, силилась одолеть гравитацию. Но земля удерживала ее на себе, отдавала под удары небес.

Это длилось одно мгновение, помутившее его разум. Он очнулся от окрика Соломау:

— Карлуш, ты что?

— А?

— Что с тобой, Карлуш?

— Сейчас...

Небеса умолкали, стихали. Звезды разноцветно сверкали. Мимо, кроткий, бесшумный, летел светлячок, сгибая невидимые стебли травы.

— Карлуш, иди отдыхай.

Он снова спустился в землянку, вытягиваясь на нарах, замирая, неся в себе чуть слышные невятные содрогания. А проснулся — увидел стоящего Соломау, опоясывающего себя кобурой. Зев в землянку, словно накрытый латуною, желтел от зари.

16

Бобров лежал один в кустарнике, в его проницаемой зеленой оболочке, в камуфляже солнечных пятен. Смотрел на поляну, пустую, чуть выпуклую, словно воспалившуюся за ночь от нанесенного ей надреза. В пространстве света и воздуха, невидимые, присутствовали прицелы оружия. В самом центре, где топорщилась желтоватая гривка травы, таился заряд. Туда, из-за кромки леса, Бобров мысленно снижал самолет, подводил его распростертые, с пропеллерами плоскости к этой желтеющей гривке, толкал и опрокидывал взрывом. Из-за многоярусного слоистого дерева, где скрывался пулемет Соломау, он вытягивал колющие, бледно вспыхивающие пунктиры, буравящие белые борта черной серией дыр. Многократно взглядывал на часы, ожидая немедленно-го действия. Торопил его, хотел, чтобы оно скорей совершилось. Срок появления самолета давно истек. Было пусто и солнечно. Куст наполнился душным сухим жаром. Солнце сквозь листву жгло его быстрыми скользящими прикосновениями.

Он старался представить себе самолет «Командор-700» в своем будущем фильме — белый с красными линиями, на бетонной дорожке у застекленного ангара, на аккуратно подстриженном поле аэродрома, и летчик спортивного вида, го-

лубоглазый, англосакс или бур, садится в кабину, кому-то машет, может быть женщине, и пускает винты. Представлял самолет над границей, видя, как лихо, на бредущем, прорывается он в Мозамбик, оставляя за хвостовым оперением ошеломленный наряд пограничников, запоздалую пулеметную очередь. Не набирая высоту, в сверкании винтов летит над саванной, огибая города и дороги, над бурым клубящимся войлоком с мгновенным проблеском реки и болота, пробивая стеклянные шары утреннего нагретого воздуха. Приближал самолет к поляне, ожидая услышать звук двигателя, увидеть стремительную над деревьями тень самолета. Но небо оставалось пустым. По гибкой, у глаз струящейся ветке ползли муравьи. Мерцала медовая, из разрыва коры вытекавшая смолка, и мерно и плавно над поляной парила большая птица.

Он смотрел на часы и почти раздражался. Начинал тосковать, уже не верил в успех операции. Полет отменен, или летчик не перелетал через границу, или неизвестными путями стало известно об их появлении здесь, о ловушке, устроенной на поляне. Самолет уже не появится, бессмысленно ждать, и они, промаявшись, соберут поклажу, оттащат к машине,— и обратное мучительное возвращение в Шай-Шай, жажда, липкий пот, бензиновое зловоние.

Он смотрел на парящую птицу, на ее растопыренные маховые перья, вяло-мощные повороты крыльев, клавшие ее в другой, соседний, восходящий поток. Она видела их, притаившихся в кустах и деревьях, терпеливо ждала их ухода, чтобы снова одной царить над поляной.

Он услышал далекий прибывающий звук самолета, металлически наполнивший небо. Стиснул себя в упругое ожидание из страха, из нетерпения. Слушал этот звук убыстряющимся, звенящим в ответ током крови. И тут же распускал себя в досаде и облегчении. Звук двигателя плыл высоко, падал шатром на леса. Бобров разглядел в синеве прозрачную, как из стекла, каплю самолета, летевшего на юг. Пассажирский «боинг» совершал рейс по маршруту Бейра — Мапуту. Бобров следил сквозь ветки его плавное исчезание, уход из неба. Шатер звука смещался, будто кто-то представлял невидимую, из неба, треногу.

Он снова лежал в горячей тени куста, и мысль, утомленная ожиданием, борясь с протяженностью времени, вовлекалась в иное движение. Он старался припомнить тот путь, уже несуществующий, в детстве, по исчезнувшему, теперь измененному городу, когда бабушка везла его на трамвае по

зимней, слабо освещенной Москве в гости, от Тихвинского переулка, где был их дом, к площади Ногина, к часовне героев Плевны.

Он воспроизводил этот путь от снежно-накатанного, тускло блестящего переулка с качанием фонаря на проволоке, с ледяной промороженной колокольной и утлыми, закрытыми на засовы лавчонками. Днем в них сидели инвалиды в кленчатых фартуках, скрипели напильниками, а теперь голубели на дверях огромные промороженные замки. Трамвай, полупустой, ледяной, с желтыми, из планок, лавками, скрюченным, продрогшим водителем. Мохнато-непрозрачные заиндевелые окна, где вморожены отпечатки монеток, затянутые сизые лунки от людских дыханий. И так славно чувствовать рядом бабушку, дышать на белые хлопья, прожигая их струйкой теплого воздуха, пока не заслезится, не засочится стекло, и в нем — перламутровое свечение ночного города, Палиха, Селезневка, Оружейная. Все отмечено уже несуществующими домами, поворотами, видом пожарной каланчи, рекламы кинотеатра, железной оградой сквера. А вот и последний круг у Политехнического музея, где на холодных, блестящих, как лезвия, рельсах толпятся и медленно скрипят, осыпают зеленоватые искры трамваи. И с мороза, из тьмы, из жгучего черно-ледяного пространства — в дом, в прекрасные нарядные комнаты, где их ждут, любят, целуют, окружают цветными книжками, красивыми чашками, угощают сладостями, и в серебряной ложечке, что он подносит к губам, дрожит отражение хрустальной чудесной люстры.

В это созерцание почти естественно, незаметно вливалось слабое дребезжание, как переборы кузнечика, но не природные, а металлические. И Бобров выделял их, гася все прочее, настраивался на этот негромкий, безошибочно узнаваемый звук. Возвращался в реальность: поляна, мерно сносимая белесая птица, стрекот невидимого, приближающегося самолета.

Самолет прошел в стороне, промахнулся, почти умолк, и явилась мысль, что он миновал поляну, отказался от посадки, напрямик проследовал дальше. Но звук вернулся, резче, разительней, в стрекочущей металлической силе, и, просвистев за соседними кронами, невидимый, прошел самолет, удаляясь, прочертив звуком ракурс своего удаления. Опять почти стихло, и повторился страх, что он не вернется: разглядел на песке колею машины или их, притаившихся под кустами, какой-нибудь отблеск металла, потревоженный, просматриваемый сверху ландшафт, какой-нибудь знак,

неведомое им условие посадки, отсутствующее, породившее у летчика чувство тревоги, заставившее его улететь.

Но звук приближался, вытягивался по стреле точно, ровно, нацеленный на поляну. И Бобров, стремясь на этот звук, внезапно над деревьями, почти фронтально, увидел снижающийся самолет, крутящиеся слюдяные пропеллеры, белый, как тень, фюзеляж и красные клинья в подбрюшье. Самолет увеличивался, покачивал, щупал крыльями воздух, примеряясь к посадке. И Бобров прижимался к земле, и одновременно вытягивался в сторону белой, с красными линиями машины. Фиксировал легкое, с приседанием на хвост касание самолета о землю. Солнечный дымок сорванной колесами пыли. Затихание винтов с редкими проблесками солнца. Бег легкой красивой машины вдоль мелькающих крон и стволов по поляне, к той редкой гривке травы, где был заложен заряд. Ожидание вспышки и взрыва. Самолет миновал, проскользнул эту гривку, и мысль: заряд не сработал, и в нем, в Боброве, мимолетное облегчение. Рвануло плоско и дымно. Вздрыгнуло машину, как на взлете, задирая в небо черные клювы моторов. Хвост зачертил по поляне, разбрасывая заостренный клубящийся дым. Белый фюзеляж устремился вверх и одновременно раскалывался. Красный круглый взрыв прорывал его, как пакет, разрушал, превращая в дымный клубок. И громкий, тугой, жаркий хлопок пронесся сквозь куст, где лежал Бобров, обдавая его гарью, зловонием взрыва, ослепляя пылью и светом.

Открыл глаза. Поляна горела сразу во многих местах. В колючих сквозных облаках красно и копотно горел самолет. Сначала он видел лишь беззвучные краски. И медленно, сквозь глухоту перепонки, начинал проявляться треск горящей травы и пластика. Из-под деревьев, гибкие, осторожные, с оружием наперевес, поднимались солдаты. Пятнистые, тонкие, не торопясь, кольцом сходились к пожару. Соломау, шагая, снимал. Останавливался и снова снимал. Задерживал жестом солдат и снимал.

Бобров поднялся, продираясь сквозь ветки. Пошел по поляне, увидел ее всю — длинный прогал с размазанными клубками огня и копоти.

Он подошел к Соломау, стоящему на коленях в позе молящегося, — наклонился вперед, целился фотокамерой. Скосил на Боброва свой расширенный пылающий глаз. То ли оскалился, то ли усмехнулся. Проговорил с горловым клекотом:

— Взрывчатка! Взрывчатку вез! Один пилот и взрывчатка!

Он тянулся вперед фотокамерой. И там, куда он тянулся, зияла проломами расколотая приборная доска, искореженный, вырванный с корнем шпангоут, и на остриях металла, бесформенное, липко-красное, с лиловатым клубком, висело месиво.

И, видя это липкое, еще живое пятно, Бобров испытал бессилье и удушье. Отвернулся, зашагал быстро в сторону. Желудок его стал содрогаться, и его вырвало с болью на траву.

Из кустов с воем вынесся «лендровер». Шофер торопился на зрелище пожара. Бобров удалялся к опушке, и под ноги ему попалась обугленная, убитая взрывом птица, белесая, с растопыренными крыльями, обломанными ударной волной.

Солдаты подогнали «лендровер» к бочкам, работали помпой, наполняли бензином канистры. Рушили, обваливали накат землянки. Соломау подвешивал к бочкам взрывпакет, прилаживал шнур.

— Карлуш, садись! В пути пообедаем!

Соломау пропускал его на сиденье, клал рядом перемотанную ремешком фотокамеру. В глазах его, как показалось Боброву, в белых белках и чернильных зрачках было двойное отражение взрыва: этого, недавно случившегося, взломавшего приборную доску, и другого, давнишнего, на другой, давнишней поляне. На черной небритой щеке Соломау зажглась и тут же погасла красная капля крови. Он запалил зажигалкой шнур, посадив на него жужжащую дымную муху. Вскочил в машину, и «лендровер», подскакивая, понесся по поляне, врезаясь в кущи, ввинчиваясь в упругие заросли. И сзади ахнуло взрывом и мелькнул проблеск пламени. Соломау не оглядывался. Бросил на колено усталую, перехваченную браслетом руку. Негромко, хрипло смеялся.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

17

Что он хотел сказать своим будущим фильмом?

Ту простую, но теперь вдруг особенно ясную истину, что революция, случившаяся в России в начале века, не единич-

на, не случайна, не кончается на себе самой. Своим взрывом поджигает прoderнутый в истории бикфордов шнур революции. Они — проявление непрерывно действующей в мире энергии, то вспыхивающей огненно в одном народе, то уходящей в глубокие толщи, чтобы проделать незримый путь, взорваться на другом континенте, в другом народе, разрушая мертвые монолиты уставших, изживших себя систем. В «белом», «черном», «желтом» мире действует один и тот же ген «красной» революции, формирующей облик двадцатого века. Он хотел показать революцию в африканской стране на исходе столетия как продолжение все той же, русской, на том же корневике истории.

Он хотел объяснить своим фильмом, что поколение его соотечественников, удаленное от «Авроры» на шестьдесят с лишним лет, погруженное в труды и заботы, связанные с преобразованием земли, решающее мучительные проблемы своей собственной жизни, вовсе не чуждо молодым, вспыхивающим на планете революциям, едва народившимся обществам, создаваемым все по тому же заложенному в мир чертежу, по той же, таящейся в человечестве программе. Родина, отделенная двумя поколениями от своей революции, видит в молодых, воюющих революционных республиках свой ранний облик, сознает себя в едином потоке истории.

И еще он хотел показать своим фильмом, что схватка здесь, на южной оконечности Африки, — лишь часть жестокой борьбы, расколовшей надвое мир. Он хотел показать врага, взрывающего фундамент мира. Сокрушающего опоры, на которых удерживается охваченное борьбой человечество. И эти опоры под действием непомерных нагрузок, непрерывных толчков и ударов начинают шататься. Катастрофа, падение свода могут случиться в любую минуту, в любом месте мира, в том числе и здесь, в африканской саванне, где герой его фильма — он сам — движется в запыленном военном «джипе», стремится понять механику мировой катастрофы.

Он прилетел в Бейру под вечер и был встречен на аэродроме политработником 5-й бригады, что вела операции в Софале против формирований мятежников. Антониу Нуареш — так по-английски, старательно выговаривая слова, отрекомендовал себя офицер, похожий на выпускника колледжа своей молодостью, очками, маленькой кожаной папочкой и обручальным кольцом. Он любезно подхватил саквояж Боброва, провел его к «джипу», осведомился о самочувствии, о полете.

— К нам пришло уведомление от министра о вашем прилете. Командир поручил мне вас встретить,— пропускал он Боброва в машину.— Командир просит извинения, что не может принять вас сегодня, и назначил встречу на завтра.

Они выехали с аэродрома, где на постаменте, задрав вверх винты, высился двухкилевой пятнистый бомбардировщик, еще с португальских времен, похожий на двухвостую ящерицу.

— Я слышал, вы хотите снять фильм о нашей борьбе,— деликатно развлекал его по дороге Антониу.— Я бы с удовольствием его посмотрел, если он дойдет до наших мест.

По просьбе Боброва они проехали не сразу в отель, а сделали круг по городу, по нарядным кварталам с обилием цветов и деревьев, завернули в порт. Желтели и краснели краны. Стоял под разгрузкой корабль под флагом ГДР. На рейде, на сине-зеленой вечерней воде застыли два танкера. Порт был живым, звякал металлом, хрустел железнодорожной колеей, крутил стальными стрелами.

Антониу, угадывая его мысль, слепя его очками, говорил:

— Противник начал операцию «нефть». Два раза взрывал подстанцию, пытаюсь лишить порт энергии. Взорвал в океане бакены, фиксирующие проход в песчаных мелях. Два дня назад потопил земснаряд, расчищающий вход в акваторию. Мы ждем ударов по нефтепроводу.

По плавной автостраде они объехали город. У самого океана, у долгого бело-желтого побережья с каменным маяком высилась одинокая многоэтажная башня отеля «Дон Карлос». В прошлом отель был гордостью колониального туризма, «жемчужиной, сияющей на белых пляжах Мозамбика», как значилось в туристских проспектах.

Они вошли в холл, где на кресле с резными львами сидел автоматчик. Портье в галунах протягивал тяжелый, с геральдикой ключ военному. Увидев пятнистый мундир Антониу, устремился к нему, игнорируя остальных клиентов.

Антониу, передавая паспорт Боброва, что-то сказал портье, и тот кивал, улыбался, вручая Боброву ключ.

— Вы будете гостем министерства обороны,— сказал Антониу.— Отдыхайте. Завтра утром я приеду за вами, и вас примет командир.

Он козырнул и исчез, оставив Боброва среди мягкого сумрака рыцарских бутафорских доспехов, знамен с гербами, макетов галионов и каравелл. Портье говорил в стилизованную телефонную трубку, напоминавшую рукоять старинного пистолета.

Он вознесся на лифте на свой этаж. Вошел в номер. Включил свет. Двухспальная под балдахинной кровать. Королевская корона из папье-маше. Сусальные золотые орлы. И за стеклами — нечто подвижное, крутящееся, драгоценностеклянное. Маяк, в рост с отелем, сложенный из неотесанных глыб, заглядывал в номер крутящимся, изумленно сверкающим оком. Казалось, на каменном столбе вращалась огромная хрустальная ваза, бросала с резных граней снопы света.

Чувствуя близкую всевидящую жизнь маяка, он принялся разбирать саквояж.

Выложил стопку рубашек. Тетрадь для записей. Кипятильник и банку кофе. Семейную фотографию в рамке: в избе, среди смуглых венцов, он с женой, в окружении детей. Он приехал в тот день ненадолго, и за окнами краснели рябины, и таял в кадке первый ледок. Друг собрал их всех, разбегающихся, протестующих, и сделал снимок в красноватом сумраке той давнишней исчезнувшей осени.

Он достал и включил транзистор, настроился на Преторию, дожидаясь последних известий. Звучали блюзы, сладостное, ленивое звяканье под стать этому праздному вечеру, обветшало-помпезному отелю, вращающейся люстре маяка. Еще один его бивак. Передышка перед новым броском в саванну, где грязь, блиндажи, война.

Он встал под душ, слушая блюз, не закрывая дверь в ванную, сливая шелест и шум воды с шуршанием инструментов. Наслаждался освежающей, летящей по телу водой. Надевал перед зеркалом чистую рубашу, готовился спуститься к ужину.

Внезапно блюзы умолкли, и диктор вибрирующим, с аффектацией голосом произнес:

— Новости часа! Две самые крупные за последние годы акции саботажа произведены на установках по производству искусственного топлива «Сасол I» и Натреф в Сасолбурге. Взорваны баки с готовой продукцией. По предварительным данным, возникший пожар принес убыток более чем на шесть миллионов рандов. Неудачная попытка взрыва была предпринята также на установках «Сасол II» в Секунде. Предпринимаются массовые операции с целью поимки саботажников. Ими руководит начальник южноафриканской службы безопасности генерал Кобус Виссер. Полиция использует специальные части и вертолеты.

Бобров застыл перед зеркалом, сквозь блеск стекла и свое отражение видел цепи солдат, продирающихся сквозь

колкий кустарник, наполняя ложбины, распадки. Трескущие в небесах вертолеты, проносящие тени по рекам и рощам. С большой высоты — два громадных багровых костра, жирные, в одну сторону шлейфы — горящие склады «Сасола». И бойцы АНК, уходя от погони, падают ниц, сливаются с жухлой травой, пропуская над собой трескучий смерч вертолета.

Репортер передавал интервью, взятое на месте происшествия у супругов Росс.

— Это было как землетрясение, — говорил иступленный голос женщины. — Я думала, что на нас падает небо.

— Я хотел, чтобы она оставалась дома, — вторил ей мужчина. — Но она выскочила из дома. И тогда раздался второй взрыв.

Говорил министр геологии и ресурсов Деклерк:

— Разумеется, это была хорошо продуманная и спланированная акция. Три отдельных атаки на три отдельные установки произошли одновременно. Мы должны признать, что Южная Африка становится объектом организованного саботажа, имеющего целью нарушить стабильность. Разрушениям в ближайшее время могут подвергнуться мосты, атомные станции, узлы связи. Мы должны быть готовы к новой стадии терроризма и встретить ее мужественно и организованно.

Говорили полицейские чины, политики, обыватели. Репортаж был смесью сенсаций, страха, манипулировал умами, — пропагандистский пластырь, спешно наклеенный на кровавый ожог «Сасола».

Бобров думал о Микаэле, Марии, о тех, кого встретил вместе с ними в Ресано Гарсиа, о певцах и танцорах «Амандлы». Быть может, это они сейчас падают под очередями карателей, занимают круговую оборону на безымянном холме, готовые биться до последнего патрона в обойме.

Репортаж завершился. В эфире звучали энергичные американские «кантри». Бобров выключил музыку и, взвинченный, связывая взрывы «Сасола» с борьбой в Мозамбике, проецируя их на Бейру, нефтепровод, на этот отель «Дон Карлос», спустился к ужину.

Ресторан, белоснежный, с обилием зеркал в нарядных алебастровых рамах. Витые канделябры с хрустальными подвесками. Свежие, под скатертями столы. Вид торжества и блеска. Команда темнолицых официантов в белых наутюженных брюках и куртках с алыми лентами через плечо, похожих на камергеров. Ловкие, расторопные, быстрые,

мгновенно возникали, сгружая с подносов бутылки и яства. И, только привыкнув к белизне и зеркальному блеску, замечаешь, что узорный алебастр на стенах начинает отваливаться, не хватает в канделябрах хрусталиков, красные камергерские перевязи заутюжены до сального блеска и локти великолепных белых курток аккуратно заштопаны. Богатство было потертым. Роскошь — ветшающей. Состоятельных туристов, для которых возводился отель, здесь давно не бывало. В пустынном зале, в отдалении, ужинали трое черных военных. Два европейца, говорившие по-немецки, по виду были специалистами из ГДР.

Он пил холодное, обжигающее, пенное пиво из мокрой бутылки. Поддевал мельхиоровой ложечкой запеченных креветок. Чувствовал на себе ненавязчивый всевидящий взгляд метрдотеля в малиновом камзоле. И зрелище этого роскошного зала, созданного во имя иного, уже несуществующего уклада, многолюдных, вышколенных официантов создавало ощущение обреченной и хрупкой жизни, задержавшейся на последней шаткой опоре, по которой просто забыла ударить та сила, что взрывала мосты и причалы, нефтяные цистерны «Сасола», направляла в саванну колонны утомленных солдат, сила, что двигала и им, Бобровым, по охваченной войной и революцией Африке.

Он вышел в холл, красновато-сумрачный, с бронированным чучелом рыцаря. Служитель прикалывал к стене глянцевику афишу: китайский ансамбль песни и танца давал гастрольные представления. Бобров рассеянно рассматривал миловидных китайок в одинаковых светлых блузках и в синих коротких юбках, их улыбки, румяные щечки.

Он вошел в бар, полутемный, с мягкой обивкой стен, с цветными, похожими на лампы, флаконами. И у стойки увидел двух англичан, старых знакомцев, с кем простился в лазурном бассейне «Поланы». Инженеры, они отправлялись в Бейру на строительство нефтепровода. Готовясь к общению, мгновенно перестраивался в новую пластическую схему, восстанавливал в памяти последний их разговор, их имена и пристрастия. Шагнул навстречу, видя, что и они, не пьяные, а лишь возбужденные, отставляют свои стаканы с брусочками льда, обращают к нему удивленные, узнающие его, благодушные лица.

— Мистер Бобров! Ну конечно же мы должны были встретиться! Мы говорили о вас. Говорили, что нуждаемся в вашем партнерстве. — Колдер, тот, что постарше, протягивал руку Боброву, и его брови радостно шевелились на крас-

ном от загара и океанского рассола лице.— Не правда ли, мистер Грей, мы говорили о мистере Боброве!

— Мой друг желал бы прибегнуть к вашим консультациям. Ибо консультации, которые он берет у бармена, уведут его все дальше от истины,— молодой инженер Грей, легкомысленно-веселый, наслаждался легким, коснувшимся его опьянением, свежей одеждой, комфортом бара после жаркой работы на трассе.

— Признаться, я действительно в недоумении,— Колдер подвинулся, давая место Боброву, дожидаясь, когда тот примет от бармена стакан, сделает первый глоток.— Вы мне, со слов какого-то вашего друга, сулили здесь обилие этнографии, масок, и я надеялся именно здесь сделать основные закупки. Но то, что я вижу на рынках, это, по-моему, сплошная подделка. На потребу непосвященных. Их изделия коробятся, высыхают и трескаются. Краска с них облезает. Я выставил две таких маски на балкон, и они мгновенно облезли! Где же настоящие ценности? Черное, железное дерево? В деревнях, которые мы проезжали, быт убогий, архаики никакой. Искусства никакого. Танцы под транзистор! Они потеряли фольклор, но не приобщились к цивилизации. Это промежуточное состояние меня угнетает! — и он изобразил на лице страдание, искреннее страдание ценителя красоты, не нашедшего ее там, где надеялся встретить.

— Нефтепроводы отпугивают фольклор, как они отпугивают ланей, слонов,— улыбнулся Бобров.— Из кабины бульдозера не слышны тамтамы, не видны ритуальные танцы. Африканский фольклор уходит все глубже в леса, так было и в Англии, и в России. Но я думаю, что нам все-таки повезет. Я слышал, здесь, в Бейре, живет известный резчик. Может быть, послезавтра мы посетим его мастерскую. Я знаю, его работы экспонировались в Париже. Я полагаю, вам удастся что-нибудь купить у него. Правда, придется преодолеть ряд формальностей в министерстве культуры, дающем разрешение на вывоз скульптур и масок.

— Послезавтра? — оживился Колдер.— Это удобно. Завтра мы едем на трассу на целый день, но к вечеру возвращаемся. Послезавтра я к вашим услугам.

— Я более удачлив, чем мистер Колдер.— Грей сделал движение, воспроизводящее удар сачка.— Моя коллекция африканских бабочек пополнилась отличными экземплярами. Бабочек, я заметил, привлекает запах металла и пластиков. Прошлым утром я собрал дюжину великолепных полиптикусов, уснувших прямо на стальном корпусе дизельной

установки. Представляете, металлический, росистый, крашеный в зеленое корпус — и на нем мохнатые, как мыши, ночные полиптикусы! А позавчера я поймал замечательную темно-алую коссинату. Крылья — как красные алебарды! Я непременно вам покажу. Вы оцените ее достоинства!

Бобров поклонился.

— И что смешно! — Грей заливался счастливым смехом, белозубый, мускулистый, сложившийся на теннисных кортах и крикетных площадках. — Что самое смешное, это как они меня охраняют! С нами ездит охрана, конвой местных солдат. И эти воители не отходят от нас ни на шаг. Представляете, я продвигаюсь с сачком по зарослям, отслеживаю бабочку, а сзади за мной следует солдат с автоматом. И когда я бегу за бабочкой, продираясь сквозь кущи, он, ликуя, несется следом, принимая участие в ловле! Он радуется, как дитя, когда мне удастся поймать. И почти плачет, когда бабочка улетает. И тогда я опасаясь, он вот-вот вскинет автомат и пустит ей вслед очередь!

— Как бы он не пустил ее вам в голову! — недовольный легкомыслием коллеги, сказал Колдер. — Они охраняют нас от повстанцев, но я не знаю, кого из них нам больше остерегаться.

— Мне наплевать на тех и на других, — отмахнулся Грей. — Пусть они убивают друг друга, если им это нравится. Мне важно выполнить контракт, пустить по трассе насосные станции. И довести до дома в сохранности коллекцию мозамбикских бабочек.

— Вы сказали — коссината. Красные алебарды. — Бобров с наслаждением тянул обжигающие ледяные струйки. — Под Брюсселем в пригороде есть музей Африки. Там, наряду с этнографией, пирогами, луками, масками, выставлена коллекция бабочек, собранная еще во время первых экспедиций в Конго. Помню, я увидел в этой коллекции коссинату. Ее загнутые отточенные кромки, похожие на алебарды. Цвет терракоты. Цвет красных африканских почв. Будто крохотный кусочек Африки привезли в музей. И я подумал, что когда-нибудь непременно попаду в Африку и увижу эту бабочку здесь. Я стоял с блокнотом перед бабочкой и сделал запись об этой внезапной ассоциации. С тех пор красная коссината для меня — символ Африки. И я не теряю надежду увидеть ее здесь, в лесах.

— Конечно, — хмыкнул Колдер. — За эти годы Африка покраснела изрядно. Черная Африка становится красной Африкой! И мы здесь, как ни странно, помогаем им в этом.

Вы, Грей, и я — мы на службе у красной Африки. Своим интеллектом и опытом способствуем ее покраснению! Простите, что я это говорю, мистер Бобров!

— Вы преувеличиваете, Колдер. Французские насосы, смонтированные английскими инженерами, качающие арабскую нефть, не обеспечат этой стране цивилизацию. Здесь была попытка утвердить цивилизацию португальцев, и она провалилась. Провалятся и все другие попытки. Африка опоздала с развитием. Она не успела сесть на самолет. Трап убрали, и «боинг» ушел без нее. Ее удел — вечная недостаточность, комплекс неполноценности перед белым миром. Внутренние смуты и выморочные, ссорящиеся друг с другом режимы. В Африке есть только одна цивилизация. Это белая цивилизация юга. И что бы там ни говорили, в том числе и вы, дорогой Колдер, ревнитель африканского духа, что бы там ни мололи о расизме и апартеиде наши лондонские либералы, я солидарен с белым человеком в Претории. Он мне симпатичен и дорог, а не черный джентльмен, научившийся взрывать и минировать, но так и не научившийся строить, размышлять, прогнозировать. Мне не нравятся черные в Лондоне. Не нравятся и здесь, в Мозамбике. Я не расист, но здесь мне нравятся только бабочки! — и он повторил свой резкий и плавный жест, похожий на взмах сачка.

Слушал речь англичан, чувствуя в них особый, ему неизвестный африканский опыт, добытый не только ими самими, а их отцами и дедами, многими жившими прежде них поколениями англичан, вторгавшихся в Африку с винчестером, с пушечным фрегатом, с военной экспедицией и караваном работоторговцев. Взломавших африканскую дверь. Вскрывших африканскую вену. Добывших колоссальный опыт насилия и превосходства, заложенный в колониальную империю. Они, эти двое, наследники былых поколений, были тоже африканисты, со своим пониманием Африки. И он, режиссер, впустил их в себя, поместил их в свой фильм. Словно влил каплю яда, пережив тончайшую, похожую на отравление муку.

— Вот подождите, Грей! — морщился Колдер. — Когда ваш «лендровер» взлетит на воздух, напоровшись на мину, подложенную вашим белым человеком из Претории, вот тогда вы определитесь в своих расовых симпатиях и антипатиях!

— Не верьте, дорогой Колдер, этой идиотской местной пропаганде! Никто на нас не собирается нападать. Наша охрана — это просто форма надзора над нами. Не тревожь-

тес! Пустим эту трехсоткилометровую кишку, убедимся, что в Солсбери запахло нефтью. Упакуем свои чемоданы — и прощай, марксистская Африка! Не так ли, дорогой мистер Бобров?

Бобров не спорил, кивал. Расспрашивал их о состоянии трассы, о сроках пуска, о стыковке нефтепровода с мостами. И когда подошел их третий товарищ, инженер из Австрии, с мокрыми после ночного купания волосами, Бобров пожелал им спокойной ночи.

Миновал гостиную с погашенным светом, с пустым бильярдным столом. Дверь в сад была распахнута. Льдисто белел фонарь, освещая стеклянисто-зеленую крону овально-го лавра. У фонаря что-то мелькало, искрилось, улетало во тьму и опять возвращалось. Он стоял в духоте влажной, с океанскими испарениями ночи, глядел на льдисто-голубоватый фонарь, на стеклянную листву, понимая рассудком красоту этой ночи, не умея ею воспользоваться. Был не в силах ее пережить, пребывал в тончайшем болезненном отчуждении от природы.

Из плетеного, на подстриженном газоне, кресла, покидая тень, поднялся человек. Окликнул его по имени. Шагнул в свет, обозначив под тесной рубахой плотные мускулы. И Бобров, выбитый этим окликом из своих состояний, как падающая с ветки птица в кувырке и падении обретая готовность лететь, возвращался в зоркость, внимание. Узнавал в человеке кубинца Рафаэля, того, с кем познакомился у португальца-профессора, куда явился вместе с Марией. И образ того вечера, накаленных, счастливых, сочетавшихся в песне людей вернулся к нему в облике коренастого кубинца.

— Я вас узнал, — улыбался Рафаэль. — Помню наше знакомство. Та ваша красивая спутница, она тоже здесь?

— О нет, — отвечал Бобров, радуясь кубинцу. После недавней беседы с англичанами сбрасывал с себя невидимый маскхалат. — Она осталась в Мапуту. Я вижу, вы тоже без спутницы.

— У меня одна спутница — чума. С ней развлекаюсь вторую неделю.

— Чума? — не понял Бобров.

— Да я же вам говорил! Африканская чума свиней! Ликвидирую очаг эпидемии. Они мне даже ночью снятся. Засыпаю, и идут, и идут на меня, сто, тысяча свиней! А я их бью по башке железной трубкой! Просыпаюсь, и ломит плечо, будто я с ринга, весь поколоченный. — И он боксерским жестом передернул плечом, ударил кулаком воздух.

— Что, крупный очаг? Большой урон?

— Признаться, большой. Они создали недавно крупные свиноводческие фермы. Надеялись, что свинина разрешит их продовольственные проблемы. Быстро, надо отдать им должное, увеличили поголовье. Но теперь на эти крупные свиные стада напала чума. Уничтожаем зараженных свиней. Бьем и сжигаем!

— Вы сказали тогда, что эта инфекция не случайна.

— Оттуда! — он кивнул головой в ту сторону, где мирно и ровно шумел океан. — Мне это знакомо по Кубе. Они забросили к нам чуму. Мы пережили трагедию. Я боролся с такой же чумой у себя на Кубе. Теперь я встречаю ее здесь. Они вселили в свиней чуму, как по евангелию вселяли бесов. И свиньи сбесились. Но главный бес один. Это он прислал к нам на Кубу заразу. Он же прислал ее в Мозамбик.

— Вы полагаете — это акт саботажа? Бактериологическая диверсия?

— У меня никакого сомнения. Я знаю это по Кубе. ФРЕЛИМО утверждает продовольственную программу, делает ставку на свиноводство, значит, ЮАР должна отравить свиней. Поверьте мне, я все это уже видел. Приезжайте завтра ко мне, посмотрите, как я работаю. Я работаю на ферме за городом. Там мы убиваем свиней. Там вы увидите, что такое — сегодняшняя борьба в Мозамбике!

И он опять передернул плечами, и было неясно: то ли это боксерский дриблинг, то ли жест отвращения.

Бобров простился с кубинцем, поднялся к себе на лифте.

Его номер с высоким зеркалом. На столе — рабочая тетрадь с беглой записью о встрече с англичанами в баре, с кубинцем Рафаэлем в саду. Дорожная ладанка, слайд, где семья в вечерней избе под жостовскими цветными подносами, — хрупкий отсвет драгоценного дня.

Он лежал без одежды на двуспальной кровати под лепным королевским гербом. Маяк за окном бесшумно врывался в номер, двойным скользящим лучом. Зажигал трепетной молнией зеркало, графин на столе, его голое, словно натертое ртутью, тело. Выхватывал изображение комнаты и его, лежащего. Выносил наружу во тьму в двух длинно протянутых лучистых пригоршнях и выплескивал далеко в океан. Опять возвращался, черпал из номера, захватывал его в невесомую материю света, извлекал из зеркала, из графина и выплескивал далеко в океан.

Он лежал неподвижно, чувствуя приближение лучей, их удар, их вторжение в тело, тончайшее страдание и боль, ко-

гда, выхватив из него малую толику плоти, сняв легчайшую оболочку с души, лучи улетали в пространство и рассеивали его среди воды и туманов.

Он чувствовал свое убывание. Чувствовал, как уменьшается, тает, и его все меньше и меньше. И надо что-то успеть, что-то понять и постигнуть, в чем-то суметь разобраться, привести в систему, в порядок. Не записи в рабочей тетради. Не предметы в саквояже. Что-то в себе самом. В том, из чего состоял, что помнил, любил, что бесшумно, с каждым поворотом лучей, у него отбирали.

Тот зимний трамвай в мохнатом на стеклах инее, и бабушка напротив в платке смотрит на него с обожанием. А он, сначала тихо, только ей одной, а потом все громче, привлекая внимание соседей, дорожа их вниманием, вдохновляемый их одобрением, читает «Бородино». Трамвай колышется в зимних студенох сумерках. Пассажиры с утомленными лицами смотрят и слушают. А он, в детском тщеславии, в детском восторге — от стиха, от своей декламации, от бабушкиного влюбленного взгляда, — выкрикивает: «Как наши братья умирали, и умереть мы обещали...»

Образ того давнишнего, почти небывалого, почти вымышленного трамвая превратился в более поздний, но столь же драгоценный образ. Осеннее озаренное поле в хлебах, в скирдах, в летающих черных стаях. Они с матерью стоят перед памятниками в колосьях. Орлы, скрещенные пушки, названия кавалергардских и пехотных полков. Бородинское поле дохнуло в него запахом сырой соломы, дуновением материнской прозрачной косынки. И маяк своим властным, нежестоким вращением отобрал у него этот образ и унес в океан.

Он лежал обнаженный под бесшумной световой каруселью и плакал, не стыдясь своих слез. Повторял: «Как наши братья умирали...»

Засыпал, просыпался. Вздрагивал от бесшумных, пробежавших по нему прикосновений света.

Рано утром он смотрел из окна, как у подъезда поблескивают стеклами два нарядных белых «лендровера». Англичане Колдер и Грей, в белых шортах, в рубашках апаш ставят в машины дорожные сумки. Их третий товарищ, инженер-австриец в бирюзовой каскетке подносит теодолит. Солдаты охраны, не снимая автоматов, помогают им, усажива-

ются. И машины легко и празднично уносятся, мелькая сквозь сосны.

Место, где только что белели «лендроверы», занял юркий потрепанный грузовичок. В кузове его была закреплена цистерна с синим крестом, валялись лопаты и ведра. Из отеля вышел Рафаэль, озабоченный, резкий. Что-то сердито сказал шоферу, указывая на цистерну. Уселся в кабину, и грузовичок укатил, должно быть, на бойню свиней.

Опять стало пусто. Но возник чернокожий мальчик, полуголый, босой, держа у рта какой-то оранжевый, отекавший соком плод. Подбежал другой, постарше, и отнял у первого плод. Младший заплакал. Тогда второй кинул обиженному плод, его оранжевый шар упал и расплющился. Оба принялись его подбирать, совать себе в рот. Медленно удалялись под соснами.

До завтрака оставалось время. Политработник Антониу должен был появиться не сию минуту. И Бобров, глядя на столб маяка, решил пойти к океану, туда, где мерцало, слышались глубокие вздохи и шелесты.

Пляж был пустынным, с бетонными волнорезами, расколотыми и смещенными океаном. У лопнувших, отломанных глыб клубилось белое, пенное. Хлюпало, подымало чмокающие, ослепительные фонтаны. Отступало, и мокрый бетон блестел, как брусочки стали. По нему сочились, спешили бесчисленные ручьи.

На песок наслаивались гладкие языки, лизали его и таяли. Песок был спрессованный, плотный. Бобров расстегнул на груди рубашку, оставил башмаки под корявой сосной, шел босиком по подвижной огненной кромке, пропитывался влагой и солью, старался ставить стопу в теплую зеленую воду, не оставляя следов.

Неожиданно впереди из сосен к воде выбежала женщина. В темно-синей свободной юбке, не видя Боброва, на бегу распускала шнурок, открывала смуглое оливковое плечо, длинно-острые груди. Тут же опоясалась по бедрам и с разбегу упала на воду. Цветастое платье вздулось над водой пузырем. Ловила этот пузырь, топила, пропитывала океаном, падала навзничь, и ее покрывало волной. Она сверкала в прибое, как черная раковина. Подымала локти, отжимая волосы. Улыбалась, белела зубами, отдувала льющуюся по лицу пену и снова падала грудью на воду. Наслаждалась утром, волей, своим одиночеством среди воды и песка.

Заметила Боброва. Поднялась, отклеивая ткань от тела, двинулась от него вдоль прибоя, отдаваясь и тут же о нем

забывая. Снова врезалась в голубой с белыми отворотами прибой, вынырнула, вынося над плещущим валом свои груди и плечи, запрокинутую черно-блестящую голову.

Бобров любовался ее красотой, звериной счастливой гибкостью, созвучием с океаном. Медленно к ней приближался. А она, подпуская его, снова вставала, быстро шла по песку, почти исчезала в расплавленном блеске и вновь возникала, плескалась, словно возрождалась из пены и света.

Он медленно гнал ее вдоль побережья. Чувствовал ее своей открытой грудью, наступал в следы ее маленьких смуглых ног, накрывая их своей белой стопой. И она, держа его на дистанции, не зрением, а иным, звериным чутьем, пугливо вскакивала, отдалялась и тут же вновь превращалась в океан, в ветер, в блеск прибоя.

«Ведь вот же,— думал он.— Вот счастливое существо, чувствующее себя счастливо даже среди бед. Всего этого нет для нее, нет и меня. Она как ветер в этих соснах, как свет на брызгах волны».

Женщина, насладившись купанием, выскользнула, словно сбросила с себя океан. Быстро, не оглядываясь на него, гибким скоком, накидывая на грудь одеяние, отжимая ткань, исчезла в деревьях. И он, испытывая к ней, исчезнувшей, нежность, смотрел на легкую череду ее маленьких убежавших следов.

Он брел обратно по берегу, переступая узловатые корни. Два длинноногих босых африканца беспокойно таились на месте, глядели из-под ладоней в океан. Когда он приблизился, оба обернулись к нему, указывая в разлив.

— Акулы! — говорили они, как бы награждая его этим сообщением.— Акулы!

Там, в океане, параллельно берегу, среди скачущих бурюнов, выгнулось туго и мощно скользкое полукруглое тело. Плавник резанул воздух, и раздвоенный хвост, вильнув, ушел в глубину. Снова взбурлилась вода, и черный блестящий хребет, увенчанный гибким резцом, возник, как рубка подводной лодки, и раздвоенная лопасть, словно винт, на мгновение мелькнула и канула. Стая акул проплывала вдоль берега. Их спины, подобные черным волнам среди синих, возникали, пульсировали. Бобров тянулся к ним взглядом и думал: «Вот еще одна форма жизни в своей стихии, в полном соответствии с мировым законом, отрицает меня своим совершенством». Следил за могучей стаей, скрывавшейся за волнорез.

Антониу поджидал его у военной машины.

Они приехали в расположение 5-й бригады, туда, где прежде размещался португальский колониальный гарнизон. Окруженная бетонной стеной территория с угловатыми башнями топорщилась сквозь амбразуры стволами пулеметов. Былолюдно, шумно. Катились «джипы». Маршировали солдаты. Колонна грузовиков вытянулась у шлагбаума. Солдаты с оружием, вещмешками стояли группами у машин, дожидаясь команды грузиться.

Командир бригады был занят. Антониу, извинившись, развлекал Боброва разговорами. Стояли на каменном портале штаба, смотрели на военный плац, на щиты, изображавшие приемы боя, на пятнистые мундиры солдат, казавшихся одинаковыми, худыми и стройными, как гимнасты.

Один из них, что стоял совсем близко, смотрел на Боброва, словно искал его взгляда. И Бобров, убедившись в этом, встретился с ним глазами. Тот мгновенно улыбнулся, кивнул. Бобров растерянно улыбнулся в ответ, стараясь вспомнить, где он видел солдата. Где-то он его действительно видел. Какое-то тревожное полузабытое впечатление было связано с этим молодым некрестьянским лицом.

— Где-то мы с ним встречались! — обратился он неуверенно к Антониу, делая шаг к солдату. — Скажите ему, что мне знакомо его лицо.

— Он тоже вас помнит, — Антониу перевел ответ солдата. — Он говорит, что видел вас в аэропорту в Мапуту, когда их сюда отправляли. Они еще были без формы. Его провожала мать. Он говорит, ему было стыдно, что она причитает. Он видел, вы на него смотрите, и ему хотелось, чтобы мать перестала плакать. Поэтому он вас и запомнил.

Бобров вспомнил отправку новобранцев, их теснящуюся шеренгу, пожилую стенающую женщину, оплакивающую сына, и то состояние, что он испытал. Знание о них, о себе, о своем убитом отце, неумение им помочь, помешать их разлуке. Это чувство погасло, почти забылось, но не исчезло совсем. Возродилось опять среди этих казарм, готовых к погрузке машин.

— Их отправляют сейчас на фронт, — продолжал переводить Антониу. — Он не стал писать об этом матери, пусть думает, что они все еще тренируются.

— Вы, кажется, учились в университете? — вспомнил Бобров причитания женщины, удивляясь неслучайности человеческих встреч, каждая из которых, оборвавшись, продолжается подспудно, и оказывается, пока люди были в разлуке, их отношения длились. Они встречаются иначе, в

иных отношениях друг с другом.— Напомните, как вас зовут?

— Его зовут Роберту,— любезно переводил Антониу.— Он изучал в университете антропологию. Он пошел добровольцем. Он говорит, сейчас не время изучать антропологию. Враг напал на нас. Его отец погиб, сражаясь в отряде ФРЕЛИМО. Если бы отец был жив, он бы сейчас воевал.

Бобров видел его молодое нетерпение, его свежую веру, возбуждение, вызванное прикосновением к оружию. И хотелось ему что-то сказать, наделить его мудростью, осторожностью. Чтоб его миновала беда, чтобы он снова увиделся с матерью. Бобров искал этих слов, был готов их сказать. Но из штаба, упругий и цепкий, вышел офицер и прямо с крыльца, со ступенек, зычно, как все офицеры на свете, крикнул: «По машинам!»

Солдаты подхватили вещевые мешки, звякали оружием, запрыгивали в грузовики. Бобров не успел ничего сказать, только пожал гибкую руку Роберту. Тот улыбнулся, не отгадав его мыслей, забрался в кузов, крикнул по-английски:

— До свидания! До встречи!

Грузовики дымили, катили мимо шлагбаума. Бобров смотрел на гарь, повторял про себя произнесенные слова.

Его принимал командир бригады, маленький, сдержанный и величественный. Бобров, изучая его медлительные величавые жесты, думал, что этим комбриг как бы берет реванш за свой маленький рост. Они пили оранжад под прохладной струей кондиционера.

Да, говорил комбриг, он получил сообщение от министра. Он понимает цель Боброва — снять фильм о борьбе Мозамбика. Конечно, он сделает все, что в его компетенции, чтобы гость составил себе представление о военном процессе в Софале.

Бобров деликатно расспрашивал, зная, что комбриг — не просто военный, но влиятельный политик ФРЕЛИМО, герой освободительной войны, первое лицо в провинции.

Армия, продолжал комбриг, учится. Учится и воюет. Ветераны обладают богатым опытом партизанской борьбы. Но сейчас этот опыт устарел. Армия перестала быть партизанской. Она стала регулярной. Части учатся новой тактике, обороне, наступлению, встречному бою. Воюют с бандитами, а готовятся воевать с ЮАР.

— Сейчас в лесах Софалы мы фактически воюем с ЮАР,— переводил Антониу слова комбрига.— В наш район переброшено южноафриканское диверсионное формирование

«Бур». Поднят мятеж, и им руководят из Претории. Воюя здесь, в районе Бейры, мы фактически воюем с Преторией.

Он вспомнил, что когда-то, в пору партизанской борьбы, они старались освободить солдат от чувства страха перед белым человеком. Учили не бояться белого человека-колонизатора, учили в него стрелять. Теперь они учат солдат понимать, что белый белому рознь. Учат мыслить политически, интернационально. Но все-таки главным противником для них остается белая армия ЮАР. Если гость желает, они покажут ему учебные центры. Как солдаты осваивают «бэтэ-эры», учатся вождению танков.

— Я все это посмотрю непременно,— благодарил Бобров.— Но мне бы хотелось увидеть войска на марше. Увидеть их в боевой обстановке. Я хотел бы вас спросить, к чему сейчас, в эти дни, сводятся ваши военные усилия?

Комбриг встал, отдернул на стене шторку, ударил указкой в карту.

— Мы окружили несколько баз противника. Наша задача — не дать им уйти. Мы подтягиваем подкрепления для решительного наступления на базы.

— Я хотел бы увидеть, как проходит операция,— Бобров всматривался в красные стрелки, изображавшие продвижение войск, и черные кружки, имитирующие базы противника.

— Туда можно попасть вертолетом, это вполне безопасно. Но вертолет не исправен. Его починят через несколько дней. Можно поехать машиной, но это связано с риском. На дороге возможны засады.

— Я думаю, не следует ждать вертолета,— Бобров опасался возражений комбрига.— Я готов поехать машиной.

— Завтра утром за вами приедет машина,— без возражений согласился комбриг.— Она доставит вас в расположение войск.

Оказавшись в машине, Бобров попросил своего провожатого:

— Антониу, прежде чем мы вернемся в отель, давайте заедем на свиноферму. Она где-то за городом. Там работает кубинский ветеринар. Заедем к нему ненадолго.

Они выехали за город, обгоняя трескучие мотоциклы, миновали предместье и скоро остановились у изгороди с развороченными воротами. Въехали, загнав машину в тень огромного дерева манго. Лакированная могучая крона светилась оранжевыми плодами. Земля была усыпана перезрелыми гниющими фруктами. Из-за низенького строения по-

дымался дым, и пахло не просто гарью, а паленым смрадом, и доносился непрерывный свиной визг.

Они застали Рафаэля в конторе. Он что-то записывал в книгу. Руки, голые по локоть, клеенчатый фартук, прорезиненная, натянутая на лоб шапочка. Он был похож на мусорщика, считающего помойки.

— Еще семьдесят пять уничтожили! — сказал он, не здороваясь, не сразу соображая, кто они. Его глаза, черные и огромные, бегали с болезненным блеском. — Еще полсотни осталось!

Он узнал их, пожал им руки. Кивнул на окно, где туманилась гарь и слышался ровный пронзительный визг.

— Их все везут и везут, этих чумных свиней. На вид они почти здоровы, но я-то вижу, их уже коснулась чума. Народ не хочет их отдавать. Приходится объяснять, что, если этих больных свиней не убить, вся провинция лишится свиней, и кооперативы, и частники. Я вижу, народ недоволен. Ропщет, не хочет отдавать свиней. Но я вижу, в них уже вселились бесы, и только огонь может этих бесов изгнать. Так было у нас на Кубе. Там бесы пришли с Флориды. Я убивал их на Кубе и убиваю их здесь.

Он казался больным, утомленным, с синим, плохо выбритым, похудевшим лицом. Казалось, от него, от бумаг, от стен исходит все тот же дурнотный, сладковатый запах горелого жирного мяса.

Они вышли на зной. В загоне, на бетонированном липком полу, теснились, бугрились свиньи. Белесые, телесные, как вставшие на четвереньки люди. Вздыхали хрюкающие, оскаленно-визжащие морды, крутили загривками, кусали друг друга, мерцали красными, ужасом, ненавистью зажженными глазами. Два африканца-рабочих, голые по пояс, в рыжих фартуках, в резиновых белых перчатках, отмыкали железную дверь загона, брезгливо сплевывали на толпящихся за изгородью свиней.

Прошли за деревья по узенькой бетонной дорожке, недавно проложенной, со следами деревянной опалубки, — к огромной, вырытой экскаватором яме. Оттуда, как со дна глубокого кратера, подымался зловонный дым. Бобров, задыхаясь, чувствуя отвращение, заглянул на дно тлеющей ямы.

Там медленно, вяло горело. Среди обугленных, красных поленьев лежали мертвые свиньи, почерневшие, с поджарыми боками, с прогоревшими до мокрых кишок животами. Пузырился и тек раскаленный жир. Топорщились обнаженные

ребра, белые оскалы зубов. Боброву казалось: он заглянул в преисподнюю, заваленную горящими тушами.

— Третья яма! Две уже закопали! — сказал Рафаэль, кивая за деревья, где стоял экскаватор и бугрились комья земли, из которых сочились синеватые струйки.

Он достал из-под фартука блокнотик. Махнул в сторону загона. В ответ на его взмах сильнее, резче завизжали свиньи. Стал выделяться один, хриплый и тонкий, почти человеческий вопль. На бетонной дорожке показались рабочие. Нагнувшись, вздувая мускулатуру, волокли за уши огромную розовую свинью. Она упиралась, падала на колени. Они пинали ее, рвали за уши, подтаскивали к яме. Свинья оставляла за собой струю жижи, визжала, прикусив язык, скалила частые зубы. Дотащили до края. Один из рабочих отпустил ухо, схватил лежащий на земле отрезок трубы и мощно, тупо ударил свинью в лоб, погружая металл в проломленный, брызнувший красным череп. За ноги бьющуюся в судорогах тушу кинули вниз. Свинья упала, подняв столб красного пепла, выметая из ямы космы летящих искр. Лежала среди горящих угольев, еще белая, розовая, с дергающимися ногами.

— Семьдесят шестая! — говорил Рафаэль, делая пометку в блокнот. — Следующую! — И рабочие, раздувая фартуки, побежали к загону.

Бобров боялся дышать. Ему казалось — жирный пепел из ямы сыплется ему на губы, в глаза. Не прощаясь с кубинцем, пошел прочь от ямы. Высокое дерево манго, военный «джип», шоссе, лес, далекий город — все колебалось в сладковатом угарном дыму.

«Дым Африки», — думал он обморочно, пробираясь к машине. Страшился проглотить слюну, слыша за спиной непрерывный животный визг.

Антониу отвез его в отель. Обещал позвонить вечером, уточнить детали предстоящей завтра поездки.

Обедать ему не хотелось. Вид пищи вызывал отвращение. Сбросил в номере пропитанную дымом одежду, схватил полотенце, поспешил к океану, к его йодному дыханию, к синеве и пустынности.

От маяка тянулись далекие пустые пески, загибались утончающимся полумесяцем, белым серпом, у которого сверкал подвижный обрез.

Юноша в закатанных по колено штанах ловил рыбу. Воткнул в песок удилище. От гибкого бамбука в океан, в крутящийся шумный вал уходила туго натянутая струна, сши-

вала воедино ловца, берег, воду, и казалось, струна издает непрерывный музыкальный звук. Бобров слушал эту ноту, разложенную на шлепание волн, на свист ветра в соснах, на шелест бесчисленных летящих песчинок. Юноша схватил удилище, дернул и, перебирая леску, притоптывая ступнями, вытянул из пены розовую небольшую акулу, повторявшую своими очертаниями могучий, шныряющий в волнах прототип. Эта рыбная ловля, извечное, нестрашное сочетание ловца и добычи, вернуло ему, после зрелища бойни, равновесие. Он обходил извивающуюся по песку перламутровую акулу, раздвоенный плавник, немой пульсирующий рот.

Двинулся прочь от города, продуваемый соленым ветром. Вдоль берега курчавилась болотная сочная низина. Рядом шло непрерывное волнение воды. Взлетали длинные белые руки, стремились его достать, увлечь в шум, в пену.

Он разделся, положил одежду на седую корягу. Голый, стиснув от соленых брызг глаза, пошел в океан. Чувствовал, как захлестнули его прохладные сильные объятия, прижали к огромной дышащей груди. Плыл среди соленой зелени, пробивал головой шелестящие пенные заливки, проныривал сквозь плотное водяное солнце, и, казалось, из каждой волны возникает на миг, смотрит на него чье-то лицо, мерцают глаза. Он в воде не один, окружен бесчисленными жизнями, поджидавшими его здесь, окружившими своим многолюдьем.

Он плыл в океане. И этот теплый, колеблемый рассол казался ему той родной изначальной стихией, из которой он вышел и в которую потом превратится. Той конечной безымянной средой, распускавшей в себе все временное и отдельное, из чего состоял, что мучило, сотрясало на берегу, ввергало в кружение. Здесь, в океане, чем дальше он уплывал, тем вольнее и проще становилось его существо. Тем легче становилось дышать, легче становилось быть. Все удаленней казались оставленные на берегу заботы и страхи, весь неразрешимый узел проблем и стремлений, в который он был вовлечен. Все это удалялось, теряло свой смысл и значение. А был кругом океан, и он без имени плывет среди волн навстречу неизбежному, нестрашному, желанному знанию.

Ему казалось, в этих стеклянных, разбиваемых о его голову шарах запаяны души тех, кто жил до него и ушел, стал океаном. Разбивается шар, чье-то лицо смотрит на него изумленно, исчезает, снова запаивается в бегущую водяную колбу.

Он подумал, что, может быть, сюда приплыли и смотрят на него его неизвестные предки. В наивном любопытстве ди-

вятся на него, живого, еще не прошедшего свой путь, не соединенного с ними. Что-то бессловесно лепечут между собой, всматриваются, узнают в нем черты фамильного сходства, веселятся этим сходством. Ему показалось, он узнал своего деда, не того согбенного, изнуренного хворьями старца, сидящего в кресле в пятне негреющего зимнего солнца, а другого, из семейных рассказов, молодого, отважного офицера, устанавливающего на круче батарею горных орудий, бьющего прямой наводкой по наступающей турецкой цепи. И прадед с жесткой смоляной бородой, в красной ямщицкой свитке гонит тройку по землям Войска Донского, и какое-то село с белой церковью, какое-то поле подсолнухов.

Это было так сильно, он испытал к ним такое влечение, такую моментальную веру, что за пределами жизни, той, на берегу, жизнь не кончается, а возможно иное, бессловесное и, быть может, истинное бытие в океане, что, поддавшись этому чувству, влекомый в простор, он поплыл, удаляясь от берега, навстречу наполненной и живой пустоте. Плыл, улыбался в воду, почти не дышал, почти не нуждался в дыхании. Был сам водой, волной, океаном, распускался в солевом растворе, становясь невесомей и легче.

Почувствовал внезапный удар по ноге. С этим ударом возвращался в страх, в панику, в мысль об акуле. Забил, замолотил по воде, устремляясь обратно к берегу.

Студенистая большая медуза переливалась, повторяя форму волны. Это она коснулась его своим туловищем.

Вышел на берег и сидел, обсыхая. Глядел на низкое красное солнце, пытаюсь понять, что было с ним в океане. Медленно возвращался в отель.

Попросив портье пригласить его, в случае необходимости, к телефону, ужинал в ресторане. У зеркальной стены столики были сдвинуты в один длинный стол, и официанты, расставив приборы, наводили последний лоск. В холле зашумело, и в ресторан вошла многолюдная, оживленная группа, и Бобров узнал в ней китайский ансамбль. Словно сошел с афиши, рассыпал свое многолюдье, превратился в легких, любопытных, смешливых китайнок, коротко стриженных, похожих на мальчиков. Весело и легкомысленно оглядывали залу, темнокожих официантов, и только распорядитель, китаец постарше, нервничал, что-то объяснял метрдотелю, и тот молча, степенно кивал.

Бобров поужинал и сидел в холле, ожидая звонка Антониу. Глядел на вечернюю улицу, где были расставлены шезлонги и сидели портье и охранник. Китайки отужинали,

разбредлись по холлу, разглядывали рыцарские доспехи, граюры со сценами средневековых баталий, и только распорядитель все нервничал, ходил по холлу, пересчитывал свою паству.

Бобров увидел, как в свете фонаря въехал и резко затормозил замызганный, в черных брызгах «лендровер». И первое, что бросилось в глаза,— две лучистые пулевые дыры на стекле. Дверца открылась, и из нее, цепляясь, путаясь, выскочил инженер-австриец в бирюзовой каскетке, тот, что утром вместе с англичанами уехал на нефтепровод. Шальной, взлохмаченный, почти пробежал через холл к лифту, торопясь, исчезая в кабине. Следом вошел утомленный солдат без оружия, что-то рассказывая портье и охраннику. И уже сбегались служители гостиницы, тревога летела по холлу. Артистки ансамбля, чутко уловив ее, сбились все в одно место, будто снова превратились в афишу.

— Что случилось? — спросил Бобров у портье.

— Несчастье,— сказал портье шепотом и оглядываясь.— Бандиты напали на инженеров. Два сеньора, два англичанина, захвачены в плен. Вместе с ними один наш солдат. А этому сеньору удалось спастись.— Он отвлекся на телефонный звонок и опять обратился к Боброву: — Это вас, сеньор!

Звонил Антониу. Завтра на рассвете, сообщал он, к отелю подъедет машина. Комбриг, в силу чрезвычайных обстоятельств, хотел было отменить поездку, но в последний момент дал согласие. Только приказал усилить охрану. Положение обострилось. Сегодня в полдень были атакованы два моста, железнодорожный и шоссейный, и взорван нефтепровод.

— Вы что-нибудь знаете о судьбе англичан-инженеров? — спросил Бобров.

— Их захватила банда. Бандиты разорили поселок строителей, сожгли несколько грузовиков и бульдозер, а англичан увели с собой. Армия преследует банду.

И опять была ночь, и ночное слепое солнце маяка заглядывало к нему в номер. Сны его были клубящимся дымом, и в них, как в вольтовой дуге, сгорало вещество его жизни.

Утром перед отелем его поджидал военный «джип». Антониу помог ему поставить вещи в машину, где сидели солдаты охраны, лежала на полу вороненая труба гранатомета.

И Бобров, садясь рядом с водителем, подумал, что это уже было недавно, такое же утро, низкое солнце на колеблемой ветром листве, запах бензина, и у солдатского бутса — вороненый овал металла.

Они миновали город, еще не проснувшийся, сонный. В предместье промчались мимо вчерашней свинофермы с высоким деревом манго. Дым уже не клубился, но Бобров отстранился от шелестящего в окне ветерка, окунул лицо вниз, ближе к мотору.

— Есть какие-нибудь сведения о пленных инженерах? — спросил Бобров у Антониу. — Вы полагаете, их жизням угрожает опасность? Мятежники должны быть снисходительны к белым.

— У противника была цель — разогнать строителей, парализовать работу. Для этого они совершили нападение на строительный лагерь. Для этого могут убить англичан.

Бобров вспомнил недавнюю беседу в баре, легкомысленно-спортивного Грея, его апологию «белых братьев на юге». Старался представить, где и как встречают это утро пленники, пожелал им «быть живу».

Уже по жару, в белом пекле подкатали к реке Пунгуе, где вчерашним взрывом был разрушен мост. Затормозили на бетонном пролете у обвала. Вся следующая широкая плоскость моста оторвалась и косо рухнула в реку. К машине с обочины, держа пальцы на автоматных спусках, кинулись солдаты. Офицер в испачканном глиной мундире делал доклад Антониу.

Бобров вышел из «джипа». Смотрел на измученных солдат, на свежевыкопанный и казавшийся уже ненужным окоп, на зенитный пулемет, нацеленный в пустое солнце, защищающий уже разрушенный мост, и казалось, в горячем воздухе, в коричневой реке, в провалившихся бетонных конструкциях все еще присутствует конвульсия взрыва, ударная волна динамита.

— Как совершалась диверсия? — спросил Бобров у Антониу, рассматривая упавший пролет, вдоль которого провисла растянутая, но не порванная труба нефтепровода.

Офицер стал говорить слишком поспешно и сбивчиво, оглядываясь на реку, руками, глазами, всем изведенным лицом желая воссоздать картину случившегося и одновременно понять ее. И Антониу переводил, протестуя, гневаясь, обращая свой гнев против говорившего офицера.

— Утверждает, что буры с ночи сидели в кустах, вон в тех, вон у берега! Утверждает, там у них лодка была. Гово-

рит, сам ходил с солдатами, нашел тропинку, к самой воде тропинка. Говорит, на глине след от лодки, а на тропинке следы от ног. Совсем свежие, на глине видно. Говорит, он был здесь у моста, нес караул. Проверял: все на месте, все как в инструкции. Потом — взрыв! Нет, не здесь, не на этом месте, а там, на дороге, у маленького мостика, который мы проезжали. Говорит, сначала взрыв, а потом и пулеметные очереди! Они думали, там бой, побежали туда, хотели вступить в бой! Но там боя не было, а был обман. Буры обманули их, отвлекли! Когда солдаты отошли от моста, лодка выплыла из кустов и подплыла к мосту, к опоре. Буры заложили взрывчатку, вот у этой, говорит, опоры, и подожгли шнур. Сержант Оменго заметил их лодку, когда она была уже далеко, уплывала. Лодку и в ней двух белых людей. Он не стал стрелять, потому что не понял, что это за лодка и белые люди. В это время раздался взрыв, и, когда все прибежали на взрыв, мост уже был разрушен. Вот таким они его и увидели! Сегодня местные жители пригнали лодку. Вон она, лодка! Нашли ее ниже по течению, в кустах!

Офицер показывал на зеленые кущи у берега, на мост, на длинную, похожую на ломоть дыни пирогу, вытащенную наполовину на берег. И Антониу что-то резко и зло произнес по-португальски.

— Что вы ему сказали? — спросил Бобров.

— Сказал, что их обманули, как овец! — жестко ответил Антониу. — И придется отчитываться перед командиром бригады. Они нарушили приказ и покинули мост! Им придется отвечать!

Офицер, утомленный, растерянный, в перепачканной форме, стоял навытяжку, разведя в стороны носки сбитых ботс.

Бобров прошел по мосту, по его уцелевшей плите с надломленной коркой асфальта. Монолит рухнул в реку, и вода, шоколадная, в турбулентных воронках, перекатывала через рваную арматуру. Пахло водяной, рыбьей свежестью и сернистым зловонием взрыва, опалившего опору моста. Снижаясь к реке, в растяжении деформированной стали висела труба.

Шоссейная связь с западной частью провинции и дальше, в Зимбабве, была прервана. Нефтепровод поврежден. Удар по коммуникациям, который ожидали в Мапуту, состоялся.

Продолжались удары, сотрясавшие юг континента. Взрывались баки «Солоса», ЛЭП и подстанции в Дурбане, горели казармы в Трансваале, и бойцы АНК выбирали все

новые цели. В Намибии лопались подорванные водоводы, вздымалась на дыбы железнодорожная колея, в пустыне Намиб грохотали мины, партизаны СВАПО закладывали в прицел минометов не просто дистанцию и поправку на ветер, но ненависть к оккупантам и готовность к тотальной борьбе. Белый юг огрызался вторжением, посылал в Анголу бригады мотопехоты, десантные вертолеты «пума». Рвал серпантины Лубанго, мосты на реке Кунене. Бомбил объекты в Лесото. Сюда, в Мозамбик, засылал диверсантов, копил на границах войска. И вот коричневая река Пунге, над которой стоит он, Бобров, у трещины в теле моста, все у той же трещины, бегущей сквозь мир, то невидимой, уходящей в глубь континентов, то дымно и рвано взлетающей на поверхность земли. В горах Гиндукуша, где горит транспортер и гремит перестрелка в ущелье. В кампучийских джунглях, где тайландские пушки бьют по воловьим упряжкам и летят из лесов испуганные красные птицы. В Никарагуа, у Рио-Коко, где на легких каноэ, груженных оружием, проникают в сельву гвардейцы и войска сандинистов, неся минометы и раненых, отражают вторжение. Трещина бежала по миру, проходя сквозь границы, спускалась на дно океана, и он, Бобров, поставил свой пыльный башмак на ее зазубренную, в крошечке бетона, кромку.

— Тут неподалеку, в километре отсюда, есть переправа,— говорил Антониу.— Офицер говорит, они пустили через реку амфибию. Перевозят людей и машины. Но амфибия маленькая. На берегах скопились очереди.

Снова уселись в «джип», съехали с шоссе на проселок, покатали в кустах вдоль берега. Он вглядывался в зеленые заросли, в проблеск реки, и было чувство, что враг еще здесь. Наблюдает за ними из кустов, из воды, из горячего неба.

Выкатили на открытое место. Густо, длинно вытянувшись в разношерстную очередь, стояла толпа. На другой стороне реки тоже пестрело. На фарватере, разворачиваясь, борясь с течением, бурлил самоходный понтон, зеленый, осевший под тяжестью людей и поклажи. Среди толпы, безнадежно уткнувшись в берег, стояли грузовые фургоны, легковые автомобили и мотоциклы. Люди в толпе ждали терпеливо, понуро, с угрюмыми, уже привыкшими к ожиданию лицами, готовые к новым испытаниям и тяготам. К новым взрывам, новым смертям, к нехватке еды, к командам. Это были люди, находившиеся в зерне войны.

Старик с бритой, без шапки, головой стоял, опершись

на палку. В его морщинах текли струйки пота. Казалось, он плачет — не глазами, а всей своей изведенной, страдающей плотью. Женщина держала ребенка у голой груди. Не выдержала жажды, спустилась босая к воде, утопая в глинистой жиже. Придерживая ребенка, стала черпать мутный поток, пить воду. И все жадно смотрели, как она пьет, не решались ей следовать.

И опять Боброву показалось: враг где-то рядом. Присутствует незримо в толпе, исследует причиненный урон. Ущерб хозяйству — гибнущее в грузовиках мясо, портящиеся на жаре фрукты и овощи. Ущерб людскому сознанию — потеря веры в революцию, в новую жизнь, которая, как и старая, оказывалась непрерывным страданием.

Амфибия разгрузилась на той стороне, приняла новый груз, двинулась в обратный путь. Антонию жестким окриком разгонял перед «джипом» людей, солдаты теснили толпу. Они въехали первыми на понтон, и следом, густо их облепив, хлынула толпа, нависая над бортом, хватаясь за железные выступы. И Боброву на середине реки продолжало казаться: кто-то следит за ними из пролетающих шоколадных воронок.

Он подумал: нет, не напрасно он явился в Африку за своим фильмом. Ищет его среди взорванной, простреленной действительности, которую не придумаешь, искусственно не создашь в павильоне. Не угадаешь, если не увидишь воочию, выражения этих терпеливо-измученных лиц, и ту дымную смрадную яму с тлеющими свинными скелетами, и планирование красно-белой машины, готовой превратиться в шар взрыва, и этот запах парного африканского воздуха, пропитанного горячим военным железом.

Зрелища копились в нем, складывались, распадалась. Искали своего обобщающего, совершенного образа, своей конечной метафоры. Он предчувствовал ее впереди. Предчувствовал то конечное, вершинное знание, где все пережитое сойдется в сверхплотный фокус, и он, художник, ощутит в себе эту жаркую, в сердце, точку, откуда пучком лучей вырвется на экран его фильм. Он ждал завершающей сцены, где герой и он сам, художник, сольются и осуществится единство, к которому стремился всю жизнь.

Но лишь бы хватило сил.

Они долго катили в изнурительно бледном пекле. Впереди у обочины увидели застывшую толпу грузовиков, крапленые мундиры солдат. Затормозили у края шоссе. Бобров сразу начал искать, куда бы укрыться от беспощадной, злой

радиации. Ему казалось, лучи проникают в его плоть, в его кровь, разрушают кровяные тельца.

Грузовики колебались в горячем струящемся воздухе, и было впечатление, что сталь испарялась. Под тентом, укрепленным на кольях, прямо на земле сидели офицеры. Склонились над картой. Работала рация. По всей обочине, прижимаясь к невысоким кустам, сидели, лежали солдаты. Неяркие, почти без дыма, горели костры. Над ними кипели котлы.

— Дальше машины не могут,— сказал Антониу.— Бой происходит там,— он указал куда-то в сторону, через головы солдат, за кусты.— Здесь мы сгружаем солдат, и они идут пешим маршем в район боя.

Бобров старался услышать звук стрельбы, но было тихо. Негромко, буднично звучали голоса офицеров, пища-ла, словно сонное насекомое, рация, звякали солдатские котлы.

— Место боя — в четырехчасовом переходе отсюда,— сказал Антониу.— Мы можем взглянуть на карту командира батальона.

Согнувшись, они вошли под тент. Антониу представил Боброва. Пожимая руки офицеров, он старался скрыть от них свое утомление, улыбался, отвечал на кивки.

Командир батальона, шлепая легонько карту тыльной стороной ладони, стал объяснять Боброву, и Антониу переводил:

— Бой здесь, в зоне Хунга. Тут база противника. Ее долго искали. Противник уходил от нас, оборонялся, делал засады. Он увел нас в зону песков и безводья. Очень трудно было преследовать. Мы поймали вчера двух разведчиков, на велосипедах. И они показали нам базу. Мы сразу ее окружили, но атаковать не решились, не было сил. Сейчас подошло подкрепление,— он кивнул на солдат.— Мы введем его в бой и к вечеру атакуем базу.

— Как вы полагаете, среди осажденных могут быть белые, буры? — Бобров рассматривал испещренный пометками участок карты, где в красном кольце, как семечки, были рассыпаны треугольники, изображавшие хижины.

— Мы не знаем, есть ли там буры. Пленные показали, что на базе около ста хижин. Есть площадка для самолета. Они сказали, что иногда на базу прилетал самолет и в нем находились белые. Есть ли они там сейчас, мы не знаем. Но к вечеру все узнаем.

Последнее он произнес твердо и веско, оглядывая своих

офицеров. И те подтянулись, откликнулись на его взгляд молчаливыми кивками.

А в нем, в Боброве,—искушение. Смириться, осознать свою слабость, свой предел. Найти наконец соразмерность между неумемной потребностью все видеть и знать, всему быть свидетелем — и своей нараставшей усталостью. Быть может, он уже достаточно видел и знал для того, чтобы энергия мира соединилась с энергией его собственной жизни, приоткрылась еще одна доля истины, что неясно и неверно мерцает сквозь дым солдатских костров, сквозь тусклое свечение оружия.

Нет, ему не надо идти с солдатами, а надо остаться здесь, у обочины. Дождаться конца наступления, когда изнуренные боем выйдут снова из леса, и услышать рассказ об атаке, о горящих хижинах, о разрушенной аэродромной площадке. Ну еще один бой. Малый эпизод в нескончаемой африканской борьбе, не меняющий картину истории. Нет, он не должен идти.

Искушение продолжалось недолго. Он нацедил из бака в алюминиевую кружку воды. Выпил теплую влагу, пролившуюся сквозь кожу мгновенным горячим потом. Сказал:

— С вашего позволения, комбат, я примкну к батальону и проследую в район осажденной базы.

— Это опасно,— сказал Антониу.— Могут быть засады.

— Дорогой Антониу,— Бобров, улыбаясь, положил ему руку на плечо.— Засада могла быть и у взорванного моста на Пунгуе. И в пути, когда мы являли отличную мишень для базуки. И в отеле. И на пляже. Когда в стране война, всегда рискуешь попасть в засаду.

— Очень тяжелый путь,— сказал комбат.— Открытое место. Пески. Высокая скорость на марше.

— Постараюсь от вас не отстать,— улыбнулся Бобров и, отсекая их возражения, считая дело решенным, вышел из-под тента.

Солдаты укрывались в тени. Бобров шагал по жесткой траве, осматривал их бивак. Двое, расстелив на земле платок, играли в карты, сыпали разноцветную масть, бросали мелкие деньги. Третий, сбросив жаркие бутсы, уперся голыми пятками в ствол миномета, шевелил, наслаждаясь, пальцами, смотрел на небо. Четвертый достал с груди маленькое, на цепочке, зеркальце, смотрелся в него, погружал в мелкие кудри металлический гребешок. Пятый окунал в котел руку, извлекал щепотью белые зернышки риса, машинально жевал. Все они коротали время, старались кто как про-

жить этот малый отрезок, были готовы сняться и идти по команде.

— Добрый день! — услышал Бобров. Обернулся: молодой знакомый солдат Роберту приветствовал его, приподнявшись с земли. Держал в руках в твердой обложке тетрадь. — Добрый день!

Бобров обрадовался, стал озираться, подзывая Антониу, и тот подошел, тоже утомленный, присел на траву, рядом с сухим опустевшим термитником, размытым дождями, похожим на глиняную старую вазу.

— Что мне спросить у него?

— Спросим, что он пишет? — поинтересовался Бобров.

— Он говорит, — Антониу устало кивал вслед Роберту и переводил: — Здесь его университетские лекции по истории. Он решил продолжить записи. Ведет дневник. Когда-нибудь, говорит он, эти записки тоже станут историей. Пишет сюда все, что приходит в голову. Обращения к матери, которые прочитает ей, когда вернется. Впечатления от армии, от своих товарищей. Сейчас описывал дорогу, привал. Говорит, после первого боя у него будет что описать.

Солдат, в подтверждение, гладил свою тетрадь, свое богатство. И Бобров испытал к нему мгновенную нежность и боль.

— Хочу ему сделать подарок, — сказал Бобров, доставая многозарядную, с разноцветными чернилами ручку. — Чтоб он ей исписал дневник и вернулся домой, продолжил запись лекций.

— Он просит, чтоб вы написали ему что-нибудь, — перевел просьбу солдата Антониу.

Бобров, раскрыв тетрадь, чуть отступил от молодого прилежного почерка, написал по-русски:

«В зоне Хунга, на обочине шоссе, у термитника, мы сидели и желали друг другу добра».

Видел, как у читающего, не понимающего надпись Роберту растягиваются в улыбке губы, как нравится ему ручка, как благодарен он за подарок.

Он хотел еще что-то сказать, но от брезентового тента раздался крик команды. Веером, приближаясь, шли офицеры. Солдаты вскакивали из кустов, гремели оружием. Застигивались, шнуровали бутсы. Бежали к обочине, строились в колонну.

К нему подходил офицер, что-то говоря Антониу.

— Мы пойдем в середине колонны. Так безопаснее. Таков приказ командира.

Он шел в растянувшейся утомленной колонне среди мерного шуршания подошв. Серая пыль, поднятая головой колонны, туманила солнце, оседала на потное лицо, обжигала при вздохах гортань. Казалось, колонна продвигается сквозь рыхлый горячий камень.

Бобров чувствовал ступней ожоги песка. Старался во время шага остудить подошву. Но жар в башмаках копился, и он ставил ногу в отпечаток солдатского бутса, словно на уголь.

Рядом мерно, молча двигались люди, тускло мерцало оружие. Пахло потом, ружейной смазкой. Лицо в едкой жиже горело. За ворот на грудь и живот лились медленные маслянистые струи. Рядом худой солдат с кровавыми белками цедил сквозь оскаленные зубы воздух, щека у него кровоточила, и он все драл ногтями свою зудящую рану.

Хотелось пить. Хотелось умягчить, оросить жесткую коросту на губах. Хотелось холодного ветра, чтоб прорвало завесу пыли, развеяло зловоние металла, немытого человеческого тела. Хотелось тени, сумрака, чтоб погасло черное, обжигающее зрачки свечение на близком стволе миномета. Он шел, стараясь не отстать, не создать в колонне затора, он, белый, немолодой, он, москвич, среди черных длинноногих солдат, окруживших его своим колыханием, шел по африканской саванне к рубежу предстоящей атаки. Старался скрыть свою немощь, свое страдание. Хватался мыслью за другие, спасительные картины и образы. Черпал в них дыхание, силы.

Тот давнишний московский вечер. Встреча с друзьями в художественной мастерской у Князька. Мастерская в подвале ветхого дома, где-то на тылах у Нового Арбата. Совсем неподалеку — блеск реклам, разноцветное колыхание толпы, лакированный шлейф лимузинов. А здесь, в закопченном подвальчике среди асбестовых труб, железных журчащих сплетений, накрыт стол на козлах. Горят укрепленные в бутылках свечи. Мерцают рюмки. Развешаны по стенам холсты Князька — языческие дива, девичьи хороводы, резвящиеся кони. Друзья собрались на свою вечеринку, и он, Бобров, в своей молодости, обожании видит их всех.

Шахов, футуролог, с белым огромным лбом, в непрерывном мышлении, сжигающем его сухое длинное тело. Его жена Алена, красивая, легкомысленная, то и дело отвлекает мужа от разглагольствований. Схватила свечу и водит перед

самым его лицом. Князек, хозяин, гибкий, легкий, с рыжеватой бородкой, с двумя вихрами, похожими на витые золоченые рожки,— как лесной божок. Дивный художник, чьи холсты, словно озера, чуть поколебленные дуновением, живут отражениями былого. Он сидит с открытым блокнотом, посмеивается, озирает всех молниеносным взглядом, что-то рисует. Цыган, джазмен, пучеглазый, с лиловыми, вечно воспаленными губами, натертыми о саксофон. Его пальцы, какой бы предмет они ни держали, шупают в нем клавиши, скважины, извлекают из них беззвучный, одному ему ведомый мотив. Сидит между двух свечей, и его саксофон, выгнув хвост, лежит на кушетке, словно выброшенный морем морской конек. Витенька Старцев, молодой дипломат, красавец, баловень, сын известной в дипломатическом мире персоны. Он — в начале своей яркой, сулящей быстрое восхождение карьеры. Пришел проститься с друзьями, вместе с подругой, одной из многих, манекенщицей, обещавшей сегодня показать небольшую коллекцию платьев. И в нем, в Боброве, желанье их всех запомнить, сохранить в себе для другого, грядущего дня.

Внизу, под домом, проложен туннель метро. Когда пробегают невидимый поезд, дом начинает дрожать, колеблется свеча, тонко звякает ложечка в стакане. Где-то в центре земли несется состав, и свеча чувствует его приближение.

— Нет, вы послушайте, они были поражены моей гипотезой гармоничной цивилизации. Они называли ее «формулой рая»! — Шахов нервно, с воинствующим рыком, похохатывая, комкает всунутую ему в руку салфетку. Все еще под впечатлением своего недавнего выступления на симпозиуме.— «А это у вас что такое?» — гоняет меня по таблицам членкор, а сам все на карандашик берет. «А это, отвечаю, коэффициент среды обитания». — «А это?» — и опять карандашиком чирк. «А это коэффициент природных ресурсов». — «А это?» — и опять по зернышку выклевывает, как воробей. Да мне не жалко! У меня этого зерна в закромах! Мне швед из Стокгольма монографию прислал, где уже есть ссылка на мою гипотезу!

Он готов им поведать не в первый раз свою концепцию планетарной организации жизни, где природа, техника, общество, как три компонента, составляющие глобальную жизнь, образуют единство. Человечество, миновав пору кризисов, вступает в осмысленное, основанное на разуме бытие.

— Они спрашивают меня: «Когда, по-вашему, появится

возможность для реализации вашей гипотезы?» А я им отвечаю: «Через двадцать лет мы начнем плановое развитие цивилизации в масштабе Земли!»

— Ну хорошо, хорошо! — смиряет его энтузиазм жена. — Слышали про твой рай много раз. На-ка, съешь райское яблочко! — она берет красное яблоко, подносит его к губам Шахова, и тот вгрызается белыми крепкими зубами в плод, жует, воинственно тарашит глаза.

Из застольного полемиста, яростного, не жалеющего энергию спорщика Шахов с годами превращался в глубокого, обремененного государственной заботой ученого — по мере того как находили признание его гипотезы. Он выпускал книги, защищал диссертации. Его приглашали на кафедры — с чтением лекций, в исследовательские институты — возглавлять отделы. Он, в юности легкомысленный, готовый эпатировать и фрондировать, все больше втягивался в бремя государственных дел. Облекаясь доверием, концентрировался, как бы сжимался в своем чувстве непомерной ответственности. Становился государственным. Его концепции, лишаясь академического блеска и виртуозности, тяжелели, превращались в корпуса заводов и ГРЭС, в высоковольтные линии, в траншеи нефтепроводов, в насыпи железных дорог. Его взгляды на ресурсы, пространство, на слияние природы и техники становилось инструментом воздействия на огромные регионы, приводили в движение тысячи человеческих судеб. И он, Шахов, постаревший, с тяжелым, изрезанным морщинами лбом, глава института, принимал у себя академиков, министров, политиков, и Бобров, наблюдая друга, питался его идеями, вдохновлялся его постулатами. Сделал свой фильм о державе. Об огнедышащем, фантастическом древе современной цивилизации, вращиваемом всенародно среди трех океанов. И главным героем фильма был он, его друг, Шахов. Ему посвящен был фильм.

Как всегда перед началом работы, он, режиссер, отправлялся в путь по пространствам, где будут развиваться события. И Шахов, членкор, подарил свой отпуск ему. С походными баулами, налегке устремились за Урал, туда, где на стройках и в целинных степях сбывались прогнозы ученого и его, художника, мысль искала метафору фильма.

Они присутствовали при пуске турбины, врезанной в бетонную громаду станции. Сияющая, из драгоценных сплавов машина, окруженная циферблатами. Шахов морщит лоб, и на лбу, горячем и потном, отражение цветных индикато-

ров, его мыслей. Взревели котлы. Раскаленный пар ударил в лопатки турбины. Помчался стремительный ротор. И в почной степи заметались, зажглись огни. Нанесли в пространстве узор. Начертали огромную надпись. Повторили, увеличив в сто крат, рисунок на лбу у Шахова.

Они летят на самолете над пожаром рыжих песков. Самолет полон деревьев, бережно укутанных саженцев. Смочены корни. Перевязаны рогастые кроны. Пахнет клейкая зелень. Розовеют бутоны. Целый сад летит в небесах. И он, Бобров, смотрит на друга, ласкающего хрупкое дерево.

Карьер в угрюмых горах. Взрывники оплетают скалу цветными шнурами. Гудит сирена. Они с Шаховым спускаются в глубокий защитный окоп. Взрыв сотрясает хребет, превращает скалу в пыльное курчавое облако. Идут в оседающем прахе. И там, где чернела скала, сверкает драгоценно руда. Шахов подносит к лицу серебристый осколок, превращая его в высокий блеск самолета.

Была своя боль и драма у этого сильного и яркого человека. Алена, жена, ушла от него, кинула его вместе с его турбинами, рудниками и станциями. И он упал со своей высоты и разбился. Расплющенный в своей воле и вере, он на время отрекся от своих прогнозов и возненавидел людей и мир. И там, где прежде стоял его рай, открылась бездна, куда он кидал своих близких, друзей, сослуживцев, память о жене. Бобров в тот жестокий период поддерживал друга, терпел его удары, отдавал ему в поддержку свою энергию. Был донором, вливал в него свою кровь, принимал взамен его яды. Пока тот не воскрес и не встал.

Они ночевали в палатке у малой степной речушки. Бобров проснулся от солнца. Луч лежал на лице у Шахова, и в этом луче по небритой щетине ползла красная божья коровка. И было в этом усталом постаревшем лице среди тяжелых морщин выражение детской беспомощности, и он, Бобров, смотрел на друга, испытывая такую любовь, желание его защитить, продлить ему силы и жизнь. Продлевал, переносил образ друга в свой будущий фильм.

Все это он сейчас вспоминал, сжимая глаза, выдавливая из-под век едкие слезы, сквозь веки продолжая видеть вонзенный отсвет на стволе миномета.

Князек откладывает блокнот, в который залетели пернатые карандашные штрихи. Подымается, хрупкий, тонкий, с клинышком яркой бородки. Прикасаясь перстами к сердцу, говорит Шахову:

— Но, может быть, ты заблуждаешься? Гармонию не

конструируют? Не нужны для этого артели строителей, инженеры, машины? Гармония — здесь! У каждого. У тебя, у меня, — и он снова касается длинным пальцем области сердца. — Чуть постучи, и откроется! — Он глядит на Шахова своими добрыми голубыми глазами, желая убедиться, что не обидел.

Бобров любит друга, верит ему, видит, как из хрупкой груди Князька исходит чуть видимый луч. Из этого луча излетели и легли на холсты богатыри, крылатые девы, плывущие в волнах города. Он, Князек, знает какую-то иную землю, иной материк. Переселяет из него на холсты растения, людей и животных.

— У меня есть мечта, — продолжает он, кивая на подрамник, где натянут нетронутый холст. — Написать всех нас вот так, как сидим! Наш пир, наше застолье. Чтоб никто никогда не исчез. Чтоб мы были вместе. Чтоб всегда любили друг друга.

Всех сидящих коснулись его слова. Все кивают ему, все верят. Готовы войти в натянутый холст, чтобы больше никогда не исчезнуть.

Князек, никому не известный художник, не имеющий угла, ютился в своей мастерской среди вентилях и асбестовых труб, громоздил в углах свернутые рулоны картин.

И медленное, как восход светила, признание. Медленное открытие художника. Его необычное дарование внедрялось в плотные, почти непроницаемые слои людских представлений и вкусов, как лучи утреннего солнца входят в толщу темной холодной скалы. Прогревают ее, пропитывают, пока не сверкнут в скале первые искры и отсветы. Больше, ярче. И вот скала — не скала, а гора света, сама источает сияние. Так и судьба Князька.

Он начал с мелких заказов — фантики на конфетах, раскрашивание деревянной песочницы во дворе. Стал известным мастером, чьи иллюстрации украшали издания народных сказок, чьи декорации, напоминавшие огромные фрески, сопутствовали постановкам балетов и опер. Он потучнел, приобрел одышку, но все так же синели его наивные детские глаза, все так же кидался навстречу искреннему живому влечению. И он, Бобров, свой фильм о народных истоках, об истоках души, красоты посвятил Князьку. О нем, о художнике, одушевлявшем неживую материю, спасающем от гибели мертвеющий, цепенеющий мир, оживляющем его иногда ценой своей собственной жизни, — о нем сделал

Бобров картину. И, как всегда перед началом трудов, отправился в путешествие. Увлёк Князька за собой.

Изба в каргопольских лесах. Сгорбленная старуха — игрушечница. Она и Князек лепят из глины фигурки зверей и птиц, крохотных глиняных идолов. Сушат, ставят в огонь. Свод печи в алом пламени. Раскаленные игрушки, стеклянно-прозрачные. Князек и старуха, единые в своем колдовстве, сочетаемые огнем, что-то шепчут, бормочут, извлекают игрушки из пламени. И потом в две кисти раскрашивают. Стол, деревянный, черный, иссеченный ножами, превращен в разноцветный луг, и на нем летают хороводы сказочных дев, неведомых миру зверей. И старуха с Князьком играют как дети, населяют мир чудесами,

Крестьянский хор в тусклом бревенчатом клубе. Старики и малые дети. Хлеборобы, еще сизые от дневного, повалившего рожь дождя. Скотники, пахнувшие коровьим духом. Песня, чуть слышно, как из недр, начинает рокотать, подниматься. В клубе светлеет. Будто песня оттесняет идущие дожди, холодные поля, стылые роши. Расширяет пространство, преображает все в белизну. Хор, громогласный и ярый, от мала до велика, как одна душа, в могуществе и любви, одолевая тление и смерть, спасая от гибели. И он, Бобров, обнимается в песне с другом, летит вместе с ним над родными просторами и знает — они никогда не умрут.

И у Князька была своя мука. Мечтая о гармонии и бессмертии, он так и не женился, не имел детей. Тайно горевал и страшился, угадывая свое одиночество, свое исчезновение. И Бобров, как мог, утешал его. Зазывал в свой шумный, переполненный детьми дом. Видел, как Князьку у него хорошо, как любят его дети и как он украдкой вздыхает.

В картине, которую он снял, была крестьянская песня, скакали алые кони, и друг, его милый Князек, шел по крестьянскому тракту мимо родных деревень, и в торбе его лежали ворохи нарядных игрушек.

Об этом думал теперь Бобров, ставя пыльные башмаки в раскаленные лунки песка, чувствуя, как ухает сердце, как жестко трутся друг о друга зазубренные, пересохшие губы. Солдат рядом все чесал зудящую щеку, и она, разъедаемая пылью, сочилась кровью. Каждый нес свою ношу — автоматы, вещмешки, минометные плиты. А он, Бобров, — невидимую невесомую ношу. Тот далекий московский мир, лица друзей.

Шахов и Князек полемизируют полушутливо, полусерьез-

но, отстаивая каждый свой «рай». Каждый у своих врат, не отталкивает, не отрицает другого, а приглашает, зазывает к себе. Бобров любит их обоих, верит обоим. В огнедышащую стальную мечту Шахова. В лубяную, из цветов и туманов, Князька.

Цыган шевелит своими лиловыми губами. Что-то выстучивает, выдавливая пальцами на столе. Тянется сильным телом к кушетке, где, свернувшись, золотоглазый, лежит саксофон, не берет, а наматывает его себе на руку. Рука, обвитая гибким струящимся хвостом.

— Ладно вам спорить. Слушайте, я сыграю рапсодию «Московский парадиз», — говорит он, расстегивая ворот рубахи, готовясь к большому дыханию. — Это о нас обо всех.

Медленно, бережно, будто чашу, боясь ее расплескать, подносит к губам инструмент. Все смотрят на него зачарованно. Он играет, он дует, и звуки окрашены медью и его собственным, рокошущим, разговаривающим в трубе голосом. Пространство подвала расширяется, выносит их всех в вечерний город, где проспект, бульвары, река. Боброву кажется, что музыка — как ленивое густое течение под Каменным мостом с отражением Кремля. Бессловесно звучит непрерывная речь; закольцованная, непрочитанная, золотая надпись под куполом Ивана Великого. О них обо всех, неразлучных и любящих, собравшихся в центре Москвы.

Цыган, талантливый джазмен, композитор, подрабатывал игрой в ресторанах, на демонстрациях в Доме моделей. Постепенно обретал известность. Его саксофон звучал все громче, просторней. Музыка его была — о Москве. Московские площади, переулочки, новостройки и особняки. Московские ночи и дни, снегопады и ливни. Москва, огромная, космическая, подобно галактике, и малая, уместающаяся на московском дворике. Город неповторимый, стомерный, изливался из его саксофона, как из рога изобилия. Его узнали, полюбили. Пришел успех. Концерты, монография, диски. И в славе он остался милым, добрым, открытым для друзей. Он погиб в автомобильной аварии, когда неся из Дубны после концерта у физиков, столкнулся с грузовиком на шоссе. Его хоронили под непрерывную музыку. Играли, ступая за гробом, коллеги — джазмены. И, как в древний курган оружие, положили вместе с ним саксофон. И после Боброву казалось: где-то там, под землей, все хранится тот вечер, колеблются свечи, отзываясь на стук поездов, и Цыган, молодой, лилогогубый, подымает свой саксофон.

Свой фильм о Москве он посвятил Цыгану. Его музыка,

то медлительно-сладостная, как сумерки в Нескучном саду, то огненно-яростная, как вечерний Новый Арбат, сопутствовала фильму. Это был портрет Великого Города. Город-сердце, город-душа, Москва была больше чем город. Она была животворная, раскрывшаяся в мироздание сила, устремленная в грядущее Чудо. «Чудо о Москве» — так понимал он свой фильм, где люди, действовавшие в сегодняшнем городе, среди москвичей, институтов, кооперативных квартир, любящие, горюющие, обыкновенные, знакомые каждому москвичи, эти люди были связаны с будущим, несли в себе образ Москвы Грядущей.

Он шел теперь в колонне солдат, прихрамывая, вдыхая пыль. Напевал тот давнишний блюз. Все пытался прочесть ту надпись под куполом. И солдат-африканец, защищаясь от солнца плитой миномета, зыркнул на него изъеденными пылью белками.

Витенька Старцев, небрежно сменяя серо-стальной костюм, обнажая белоснежную манжету, обнимал сидящую рядом подругу, продевал свою ладонь сквозь ее рассыпающиеся волосы. Оглядывал всех лениво-насмешливым взглядом, чуть картавя, с интонацией баловня, произнес:

— Все у вас, как послушать, рай да рай! То райские птички, то райские яблочки, то райские звуки. Не там его ищите, рай-то! А ведь он здесь! — притянул к себе смеющегося, яркое лицо манекенщицы, поднял и слил с руки ее блестящие волосы. — Вот они, настоящие райские кущи!

Он очень хорош. Синеглазый, смугло-румяный, с обилием создаваемых им, целенаправленных сил.

Он усвоил себе легкомысленную, никого не обманывающую манеру, маскирующую, как он полагал, повседневный организованный труд — познание, изучение, подготовка к сложному ремеслу дипломата, которое, если им овладеть, превращалось в искусство. И он готовился к своему искусству, впоследствии многократно его подтверждая.

Он провел несколько лет во Вьетнаме в пору американских бомбежек и, явившись в Москву, был все тот же, легкомысленный и общительный, но жена признавалась друзьям, что он часто кричит ночами, ему снятся бомбардировщики над Ханоем.

Он работал в Чили при Альенде. Пережил фашистский путч, жестокую бойню в Сантьяго и, явившись в Москву, был так же дружелюбен, отзывчив, стремился в круг милых друзей, наполовину седой, с почерневшим, потерявшим румянец лицом.

Его поездки. Их редкие встречи. Он, Бобров, погруженный в свое искусство, путешествуя по просторам Отечества, снимая фильмы о родном и любимом, ценил редкие встречи со Старцевым. Извлекал из них представление об архитектуре современного мира, о шаткости мировых опор, об усилиях державы сохранить равновесие мира. Знал и предчувствовал: он, художник, в своих поисках выйдет за пределы Отечества. И тогда Старцев, друг, будет его вдохновитель, будет советчик в работе.

Вот и случилось.

Старцев работает теперь в Зимбабве советником, был где-то рядом, здесь, за этой саванной, за холмами, к которым двигалась колонна солдат. И скоро они повидаются. Через несколько дней самолет из Бейры понесет Боброва в Зимбабве; пусть на пару деньков, и в Хараре они повстречаются. Насмотрятся, наговорятся всласть, не имея возможности повидаться в Москве, на этом перекрестке, сквозь который проносились в разное время, оставляя друг для друга у знакомых приветы, посылая друг другу легкомысленные открытки на праздник.

Теперь, шагая по горячему, пузырящемуся песку, боясь прикоснуться к наложенному на лицо тампону пыли и пота, окруженный нагретым оружием, хриплым дыханием солдат, он думал о том времени, когда выпало ему быть молодым. Что оно было, то время?

Оно казалось теперь изумительным, небывалым для Родины временем мира, когда измученный, сотрясенный народ, израсходовав в великих трудах и невзгодах два поколения, построив, отстояв и снова из руин построив державу, в третьем, в их поколении, получил передышку. Очнулись, огляделись, распрямились, сделали первый вольный, глубокий вздох. Великая, небывало долгая передышка, дарованная историей им, детям, проживающим жизни убитых в сражениях отцов. И они, забывая подчас, чьи жизни они проживают, кинулись жадно: в познания, в развлечения, в творчество, торопясь наговориться, наспориться, налюбоваться, напутешествоваться. Зачитывались Хемингуэем и Аввакумом, слушали роки и крестьянские песни, путешествовали в Псков и в Париж. Покидали коммуналки и заросшие московские дворики, въезжали в малогабаритки, казавшиеся в ту пору хоромами, с крохотной кухней, где сидели, сбившись на своих вечеринках, неутомимые в пересказе азов, казавшихся тогда откровениями. Песни Пахмутовой и белая улыбка Гагарина. Многочасовые монологи Фиделя. Вышли

в космос и освоили целинную степь. Отыскивали сибирскую нефть. И все ожидали близкого неизбежного чуда, обещанного через двадцать недолгих лет, как бы не принимая всерьез ни сбитого над Уралом «У-2», ни кубинский ракетный кризис. Все ждали, торопились: когда же пройдут эти двадцать лет и наступит желанное чудо. Но они миновали, и чудо не наступило.

Бобров, постаревший, умудренный, накопивший печаль и боль, шагая в африканской пыли, благодарно глядел в те дни, где были они молодые, и стоял накрытым их стол, и свечи откликались на подземный бег поездов, и женщина сладко смеялась, откидывая блестящие волосы, и юные лица друзей. Как было ему не любить это время!

Недавно он, Бобров, пережил еще одну встречу с друзьями, с теми, молодыми, исчезнувшими.

Перед отлетом в Мапуту шел по Кузнецкому, вечернему, черно-горбатому, с кипящей московской толпой. Забрел на мгновение в выставочный зал, почти машинально, готовясь тут же уйти. Проходя мимо натюрмортов, деревенских и фабричных пейзажей, вдруг встал. Перед ним висел холст в простой раме, и там, изумленно-восторженные, оцепенев в мгновении неподвижного счастья, сидели в застолье друзья, написанные кистью Князька. Шахов с угольно-выпученными глазами держит на ладони красное яблоко. Его жена Алена подняла свечу, вся золотистая, смотрит в тихий огонь. Цыган, прижав к лиловому рту тростниковую дудку, выдувает из нее какой-то тихий, травяной мотив. Сам Князек сложил свои губы, словно для поцелуя, смотрит на синее парящее перышко сойки. Витенька Старцев играет монеткой, ждет орла или решки. И он, Бобров, хрупкий, похожий на отрока, держит чашу в руках, готов ее выпить, медлит. Читает неясные начертанные на ней письма.

Они перевалили холмы, оставив за спиной белесое пепелище с волнистой бороздой на песке — следом от прошедшей колонны. С вершины увидели редкий лесной массив с прогалами, похожий на плешистую шкуру. И оттуда, из этого грязно-зеленого войлока, из чахнувших от безводья деревьев донеслись далеко и слабо два выстрела, два хлопка, должно быть из базуки, и прозрачная негромкая очередь — из пулемета. И эти звуки на черте перевала, открывшаяся в долине другая природа что-то изменили в колонне.

Не взбодрили людей, а перевели их усталость в иное напряжение. В ожидание, в тревожное выглядывание чего-то, что ожидало их в этой долине. Офицеры, не давая колонне задерживаться на вершине, хриплыми от жажды голосами понукали солдат, и людская масса почти без строя, валом, стала сползать вниз. Бобров чувствовал, как наливается в башмаки горячий песок и натертой стопе все тесней и болезненней. Но не было момента остановиться, вытряхнуть песок. Сзади напирали, давили молодые, бурно дышащие тела, теснили его оружием.

Они спустились в ложбину навстречу нечастой стрельбе, где стояла короткоствольная, с помятым щитком пушечка, был натянут тент. В тени сидели офицеры, круглилась бочка с водой, обложенная срубленными, свернувшимися от жары ветками.

Офицеры поднимались навстречу колонне, тянулись к ней, словно обнюхивали. Радовались ее появлению. Солдаты повалили к бочке, расшвыривая ветки, гремя металлом, черпали воду. И такое нетерпение, раздражение было у тех, кто ждал своей очереди, и такое блаженство, утоленность у тех, кто попил, что Бобров, страдая от жажды, успел изумиться: сколь немного нужно человеку, чтоб перейти от страдания к блаженству. Кружка воды, а потом хоть снова в бой, в муку, в смерть.

— Прошу вас,— Антониу, блестя глянцевитым лицом, облизывая пересохшие, еще не коснувшиеся влаги губы, протягивал ему флягу.— Вы можете отдохнуть в тени. Вот тут.

Бобров пил теплую воду, опрокидывая ее в себя бесконечной струей. Тяжелел от нее, чувствуя, как редко ухает сердце. Оторвался с сожалением, не желая опустошать всю флягу, возвращая ее Антониу.

— Теперь можно дальше идти! — попробовал он пошутить, чувствуя, как неодолимо устал, как валит его на землю, в тень тента.

— База вот там,— указал на лес Антониу.— Она в окружении. Офицеры решают: атаковать ее сейчас, с приходом батальона, или дать солдатам отдохнуть и назначить атаку на завтра.

Бобров присел, почти прилег под брезентом рядом с офицерами. Глядел, как толпятся у бочки солдаты и Роберту пьет из алюминиевой кружки. Смотрит на него, Боброва, словно что-то желает сказать. Бобров махнул ему — не было сил приблизиться, не было сил говорить.

Он рассматривал свою стертую до кровавого волдыря ступню, когда услышал рокот и свист винтов. В ложбине, затеняя солнце, стал опускаться вертолет, раздувая жесткие редкие купы кустов, посылая под пузырящийся тент струи жаркого воздуха. Машина села. Стекланный вихрь превратился в обвисшие, похожие на банановые листья лопасти. Выпал трап, и по нему ловко, цепко, затянутый в портупею, спрыгнул командир бригады. Офицеры вскочили, заправляя под ремни мундиры. Ждали приближения командира. Бобров успел подняться, сунуть больную ногу в башмак, когда комбриг, проходя, задержался перед ним, протянул свою маленькую руку. Что-то сказал чуть насмешливо, глядя на пыльные башмаки Боброва. Антониу перевел:

— Командир предлагал вам дожждаться вертолета. Не стоило подвергать себя таким лишениям.

— Они уже позади,— ответил Бобров.

И комбриг, уплатив долг вежливости, отошел к офицерам, уже забывая о Боброве, теряя к нему интерес, погружаясь в военное, неотложное дело.

Бобров снова присел, чувствуя, как хочет спать, как морит его, клонит к земле и после утоления жажды другое, столь же привычное, вмененное природой желание одолевает его.

Солдаты сидели на земле в стороне, и он снова издали поймал на себе взгляд Роберту. Тот словно подзывал его, не решаясь приблизиться к тенту, к офицерам. Но Бобров отвел глаза. Велика была усталость и слабость. Отложил разговор на потом.

«Потом, потом,— думал он утомленно.— Немного отдохну, и потом».

Он лежал с закрытыми глазами, слыша неразборчивые голоса офицеров, шелест рации, держась на пограничной черте между явью и сном, зная, что стоит распустить последний, малый узелок напряжения, и все сладко исчезнет, растворится во сне. Держался на этой черте.

Голоса стали громче, четче. Он открыл глаза. Комбриг, маленький, неуставший, шел из-под тента. Офицеры, опережая его, бежали к солдатам. Окликали, командами поднимали их с земли, строили в колонну. И те послушно вставали, распрямлялись, нагружали себя оружием. И снова Роберту из рядов послал ему долгий молчаливый, непонятный ему взгляд. И было побуждение встать, приблизиться и узнать, чего хочет солдат. Но усталость была велика, немощь была велика.

— Комбриг дал приказ к атаке,— сказал, подходя, Антониу.— Он сказал: в прошлый раз так же гнались за противником, окружили базу и ждали сутки. Противник успел уйти. Он сказал: так нельзя воевать, нельзя победить. Надо до вечера взять базу.

Солдаты строились, подтягивались, дробились на отделения. Впрягались в короткоствольную пушечку. И уже шагали, тянули орудие, выбирались из ложбины, погружались в кусты. И с ними офицеры, комбриг. Покрикивали, позвякивали металлом, затихали в лесу. Ложбина опустела. Только бугрился, зеленел вертолет, окруженный горячим струящимся воздухом.

«Успею, потом...» — беспомощно, испытывая неясную вину, думал Бобров о Роберту, об ушедшей колонне, но и радуясь тому, что ушли, оставили его одного. Вытягиваясь под тентом в тени, засыпал, забывался.

Он проснулся от близких, как ему показалось, залпов, от автоматной пальбы. Резко вскочил, обращаясь в слух, в готовность. Стрельба металась по лесу, и звук создавал ощущение кругов и спиралей. Снова протяжно рывкнули минометы, и солдаты, охранявшие вертолет, тоже вскочили, как и он, слушали перемещение стрельбы. Она вытягивалась, отдалялась, выиграла последними очередями и смолкла.

Было тихо, и солдаты, успокаиваясь, откладывали автоматы, снова уселись в тень вертолета. А в нем, в Боброве, — бодрость, принесенная сном, и тревога неведения.

Он двинулся по ложбине, туда, где недавно отдыхали солдаты. Мысль о Роберту, о его просящем, требующем внимания взгляде посетила его, как предчувствие, и он шел по траве, где только что отдыхала колонна. Прислушивался к лесу, ожидая вестей.

Трава была примята, придавлена. Валялись окурки, раздавленный коробок. Грязный платок. Переломленная игральная карта. Он все чего-то искал, может быть, след от Роберту, след от колонны, приютившей его, донесшей его до этой песчаной ложбины. Снялась и исчезла, оставив ему свое смятое лежбище.

Ему опять захотелось пить. Бочка стояла в тени. Рядом светились три алюминиевых кружки. Он подошел. Бочка была пуста. Лишь на дне блестела вода. Он наклонил бочку, перелил через край остаток, наполнив кружку. Это была его, последняя, оставленная ему напоследок доля. Он пил воду, неясно думая, что с самого начала вода у него и у солдат

была раздельной. Каждому своя вода, своя доля. И снова неясное, связанное с Роберту чувство вины посетило его. «Но ведь я не солдат, я — свидетель! Я пришел не стрелять, а свидетельствовать».

Из леса вышли военные. Шумно, торопливо приближались. В их быстрых шуршащих походках было отражение недавней схватки, совершившейся в лесу атаки. Бобров, узнавая Антонию, зашагал навстречу.

— Мы взяли базу! — он был энергичный, подвижный в талии, как танцор. Не осталось и следа от недавней усталости. Губы влажно краснели. Дыхание было свежим и сильным. — Мы атаковали их! Часть из них убежала. Сели на велосипеды и прорвались сквозь окружение. Но многие убиты. Комбриг послал меня к вам, чтобы вы осмотрели базу.

Они быстро шли по тропе. Бобров старался запомнить тропу, свои пыльные башмаки, смятый мундир Антонию, всякую малость.

В редких смятых кустах сидели солдаты. На поляне минометный расчет примостился у своих минометов, расставленных в позе недавнего залпа. Но люди уже копошились у маленького костерка, что-то пекли и закусывали. На тропе валялся обшарпанный велосипед с расплюснутым колесом, и Бобров, нагнувшись, разглядел его марку: «Хонда. Гонконг». Двое солдат вели третьего, раненого, с забинтованным лбом, с красно-сургучным пятном. И Бобров, уступая дорогу, ощутил его рану, как короткий, коснувшийся лба ожог.

Они вышли на большую поляну, уставленную круглыми хижинами, ребристыми, с коническими тростниковыми крышами. База была похожа на простую деревню и пахла дымом, не пороховым, а домашним, тонким запахом деревенских жилищ.

У ближайшей хижины стояла знакомая короткоствольная пушечка. Солдат отирал ей щиток какой-то цветастой тряпкой, похожей на женскую юбку. Слышалось тихое ровное стенание, напоминавшее поскуливание. У хижины, босонogie, тесно сбившиеся, не выходя за пределы невидимого, им отведенного круга, толпились женщины. Плакали, подвывали, топотали на месте, взявшись за руки, глядя на солдат, проносивших мимо оружие.

— Это их женщины, — сказал Антонию. — Их берут с собой на базу. Угоняют силой.

И Бобров, проходя сквозь их покачивание, топотание, старался запомнить бессловесный, похожий на ритуальный

мотив плач, большую, с раздвинутыми пальцами, притопывающую женскую стопу, металлическую серьгу в мелких, кольчатых волосах.

— Вот они. Восемь убитых. Но многим удалось ускользнуть. Батальон продолжает преследование! — Антониу пальцем указал на лежащих людей в невоенных, выцветших, взлохмаченных одеждах. Только на одном убитом были пятнистые штаны и военные ботсы.

Бобров, минуя аккуратный, выложенный старательно ряд, стремился запомнить педантизм, с каким были положены тела, и вывернутые наружу, почти белые ладони молодого, в розовой рубашке, мятежника, и растопыренные врозь ботсы, прочертившие по песку две бороздки, и студенистые, полные остывающих слез остановившиеся глаза.

— А вот здесь наши. Мы троих потеряли.

Там, куда кивнул Антониу, подобно трем вырубленным под корень желто-зеленым деревьям, лежали солдаты. И Бобров, сразу узнавая Роберту, не пугаясь, а мучительно изумляясь своему знанию об этом, лишь казавшимся там, в ложбине, предчувствием, пытался понять, когда появилось знание. Когда солдат уходил, искал его взгляд, желая за него ухватиться, а он, Бобров, не протянул ему взгляд, отделил от себя, в своей беспомощности, чувствуя неодолимость его смерти. Или раньше, в колонне, когда шли по пескам, и Роберту уже нес в себе свою смерть, а он, Бобров, в своем тонком прозрении, обманывал себя, отговаривал, запрещал себе думать об этом. Или раньше у обочины, когда тот протянул тетрадь и Бобров суеверно, обманывая его и себя, сделал надпись, пожелав ему блага. Откупался от смерти, отдавался от нее, отдавая ей на откуп Роберту. Или раньше, при первом свидании в Мапуту, когда мать отпускала сына, он, Бобров, угадал, проникся этим женским горячим всеведением. Во время всех этих встреч и свиданий Бобров следил, как Роберту приближается к смерти, и был бессилен его уберечь, остановить движение, бывшее частью общего, сверхчеловеческого движения мира, воющего, двигающего махинами материков и народов.

Миновали убитых. Обогнули груду сваленных велосипедов, сцепившихся рулями и спицами. Растресканное велосипедное зеркальце послало ему в зрачок бесшумный, без пули, выстрел.

Окруженные солдатами, жались к деревянной изгороди пленные. Затравленные, окровавленные, в клочьях одежды, словно их протащили сквозь колючие заросли. Офицер схва-

тил одного за ворот, сворачивал рубаху в узел, молча тряс, и пленный ошалело колыхался, мычал, мотал курчавой молодой головой.

На открытой, окруженной хижинами площадке стоял комбриг. Пропустил обе ладони под ремень, чуть выставив ногу, а перед ним под дулами конвойных, худые и длинные, в грязно-белых замызганных шортах, без шапок, с перепутанными белесыми волосами, стояли англичане — Бобров их мгновенно узнал — Колдер и Грей. Поражался издали их худобе, их согнутым позам, надломленной, умоляющей жестикуляции.

— Сеньор офицер, поверьте, мы не буры, мы не военные! Мы инженеры! Подданные Великобритании! Нас держали в плену! Поверьте! — Грей говорил по-английски, видел, что его не понимают. Прижимал к груди длиннопалые исцарапанные ладони, хватал запавшим ртом воздух. Провалившиеся щеки искрились грязно-желтой щетиной.

И Бобров вспомнил его, недавно сидящего в баре, лениво колыхающего хрустальный стакан. Испытал большую жалость к нему, радость, связанную с его избавлением. Второй инженер, Колдер, едва держался, искал, за что бы схватиться, натыкался на стволы автоматов.

— Антониу, переведите комбригу. — Бобров приблизился к ним. — Это действительно те самые два англичанина, которые были захвачены мятежниками три дня назад на реке Пунгуе. Я могу засвидетельствовать. Я познакомился с ними еще в Мапуту. И продолжал знакомство в Бейре. — Он повернулся к инженерам, пожал им руки. — Как я рад вас видеть, мистер Колдер! Как я рад за вас, мистер Грей!

— О, мистер Бобров! — не изумляясь встрече, бросился к Боброву Грей, сжал его запястье крепким, цепким пожатием, страшщимся и благодарным. — О, мистер Бобров, если бы вы знали!

— Это два инженера, похищенные при нападении на насосную станцию, — повторил комбригу Бобров.

И тот пристально оглядел спасенных, близких к нервной истерике англичан. Что-то сказал, повернулся к конвойным.

— Пусть принесут им еду и воду, — перевел его слова Антониу.

И комбриг пошел прочь, маленький, ловкий, утрачивая интерес к англичанам. Те смотрели ему вслед, молча жестикулируя, не успев произнести слов благодарности.

Солдаты принесли полведра воды, лепешки, кусочки сушеного мяса. Бобров из кружки полил инженерам на руки,

и они, проливая воду в горячую пыль, промывали свои ссадины, рассеченные в кровь ноги, красные глаза. Жадно пили и ели, не успевая ломать лепешки, набивая щеки едой. Кивали благодарно солдатам. Бобров удивлялся: неужели это тот самый Грей, что, чуть опьяневший, привалившийся к резной стойке, судил о белом превосходстве.

— Мы вам так благодарны, мистер Бобров! — Колдер не давал себе труда объяснить появление здесь Боброва. Объяснял общим чудом спасения. — Если бы вы знали, что мы пережили!

— Все уже позади, — отвечал Бобров. — Здесь, недалеко, вертолет. Он доставит вас в Бейру. Там вам окажут медицинскую помощь.

— Они напали на наш вагончик днем, когда мы отдыхали, — Грей утолил свою жажду, но смотрел на кружку с водой, словно боялся, что ее унесут. — Они перебили охрану. Я видел, как они в упор застрелили солдата, прямо у нашего порога. Выстрелами разогнали рабочих. Они сожгли два бульдозера, грузовик и наш дорожный «лендровер». Нас связали и кинули в другой грузовик и вместе с нами — взятого в плен солдата. Сначала нас везли в грузовике без дороги, и мы ужасно колотились о доски, — вот они, эти ссадины и занозы! Нам не позволяли встать и ухватиться за борта. Два раза жестоко ударили. Потом нас привезли в какую-то чашу, где кончалась всякая езда, и грузовик буксовал в песке. Сволокли нас на землю, слили из бака бензин и подожгли грузовик. Мы думали, они нас бросят в огонь, так близко и жарко горела машина. Они не позволили нам сделать ни шага в сторону. Вот видите, вся моя одежда в саже и копоти! Потом они вырубили два длинных шеста, поставили нас и пленного солдата между этими палками, привязали к ним наши запястья и погнали вперед. Мы шли, привязанные к шестам, по этим ужасным пескам. Нельзя было вытереть пот, протереть глаза. Когда стемнело, нас, не развязывая, заставили лечь. Было жутко лежать и слышать, как по тебе ползают мохнатые твари! Я был готов сойти с ума! Мы с Колдером молились, пели псалмы, чтобы не потерять рассудок! Утром нас снова гнали без воды, без еды и пригнали сюда, в деревню. Заперли всех троих в хижину, которая, видимо, служила тюрьмой.

Он замолчал. Жадно схватил кружку, стал пить, судорожно пульсируя горлом. Но был уже без того переполнен водой, захлебнулся, закашлялся. Долго бился в кашле. Бобров легонько постукивал его по спине, оглаживал по плечам,

пока тот не успокоился. Благодарно и жалобно ему улыбнулся.

— К вечеру за нами пришли,— торопился он продолжить рассказ.— Привели вот на этот плац. Тут было много народу, должно быть, все население деревни, весь их отряд. Они стояли по кругу, освободив в середине большое пространство. Многие были с оружием. Они развязали пленного африканца, отделив его от нас, вывели его в центр и ударили заставили согнуться. Заставили его упереть палец в землю, как ножку циркуля, и так, согнувшись, приказали бежать. Погнали его вокруг его собственного пальца. Сначала он не понимал, чего от него хотят. Пробовал разогнуться, убирал палец. Тогда они его били длинными палками, и он снова начинал кружить. Он бежал очень быстро, как волчок. Потом стал уставать. Они его подгоняли ударами. Глаза его налились кровью, и он страшно хрипел. Они его все подгоняли. Он упал и лежал, а они его били и снова заставили подняться. Гнали вокруг пальца. Глаза у него выпучились, словно вывалились из черепа, красные, как пузыри, и изо рта его пошла кровь. Они смотрели, как он бьется и умирает. Потом они направились к нам, и мы думали, что настал наш черед, и простились друг с другом. Но нас снова отвели в тюрьму.

Потом произошла метаморфоза. Они нашли наши паспорта. Среди них оказался человек, читающий по-английски. Он извинился перед нами за ошибку. Говорил, что англичане и американцы их друзья и те, кто плохо с ними обращался, уже наказаны. Они принесли нам мясо, кокосы и даже пиво. Предлагали женщин. Обещали отправить в Бейру.

Наутро началась стрельба. Ударили пушки и минометы. Взрывы были совсем рядом, и мы думали, что нас убьет взрывом. Потом здесь был бой. Нас взяли солдаты. Наверное, они подумали, что мы белые из Южной Африки, помогаем повстанцам. Мы решили, что они нас сейчас расстреляют. Но подоспели вы, мистер Бобров, и спасли нас!

И так велико было его волнение, так велико потрясение, что он, не стыдясь, схватил руку Боброва, упал ему лбом на плечо и зарыдал, громко, дергая худой, грязной шеей, острыми лопатками.

И Бобров, утешая его, сострадаая, думал, что этот, еще недавно инфантильный, вне политики, европеец, приехавший в Африку делать инженерное дело, собирать коллекцию бабочек, получил здесь страшный урок политики, которым неизвестно как, но в будущем непременно воспользуется.

К ним подходил комбриг в сопровождении офицеров. — Надо идти. Ждет вертолет, — сказал Антониу. — Батальон продолжает преследование. Здесь нечего делать. Комбриг прошел мимо, маленький, твердый, знающий свои пути и задачи. Они двинулись следом.

Бобров увидел, как солдаты копают ямы, готовясь хоронить убитых. И мысль о Роберту напоследок ударила больно, как невидимая, налетевшая сила.

Другие солдаты уничтожали базу, поджигали хижины. Кидали на тростниковые крыши зажженные сучья. Сухой тростник быстро вспыхивал, трещал, взрывался. Где-то по-прежнему выли женщины.

Они шли среди горящих хижин в едком дыму. К подошве пристал и никак не хотел отцепиться окровавленный бинт. «Дым Африки», — снова подумал Бобров, сбивая марлю с ноги. Старался поспеть за комбригом. Старался запомнить этот дым и женские вопли.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

22

Он летел из Бейры в Хараре, бывший Солсбери, расположив в салоне «боинга» свой маленький дорожный баул, оставив на вечерней земле, среди красноватых, в последнем солнце долин огромную поклажу недавнего стреляющего и стенающего опыта. Не брал его с собою в полет. До времени. До возвращения в Мапуту.

Салон был мягко освещен. Легкая счастливая музыка, и мощное шелестение турбин, и прошедший по салону медлительный белолицый пилот, и смуглая, с тонким запахом духов стюардесса, и респектабельная необильная публика в креслах — все говорило о другой, поджидавшей его реальности. О возможности покоя — не ума, не духа, а изнуренного, исстрадавшегося тела, еще хранившего под свежей, чистой одеждой раздражения и ссадины, укусы mosquitos и ожоги от раскаленного песка. И там, в этой близкой реальности, ожидала его встреча с другом, с Витенькой Старцевым.

Он понимал: и здесь, в Зимбабве, была лишь шаткая иллюзия мира. Недавно отзвучали последние выстрелы гражданской войны. Недавно, покинув лесные лагеря, вче-

рашние повстанцы сели в министерские кресла. Двухрасовое, черно-белое общество, пережив раскол и войну, перестраивалось, меняло пропорции, выгибалось в новую форму, распуская старые, образуя новые узлы напряжения.

Он, Бобров, вслед за своим героем летел в Зимбабве, чтоб исследовать это «новорожденное» общество. Хотел понять ту среду, где станет действовать африканист,— «двухцветная армия», «черный» и «белый» бизнес, интеллигенция. Но главное: в свой краткий визит он мечтал повидаться со Старцевым, советником советского посольства в Зимбабве.

Уже на земле, двигаясь от самолета к стеклянному строению порта, он уловил аромат дорогих сигарет — запах благополучия, подкрепленный зрелищем стеклянно-хромированного, без следов запустения, порта.

Заполнил декларацию. Прошел паспортный контроль, отвечая на дежурно радушную улыбку голубоглазого служителя в полицейской форме, зорко, точно фиксирующего все его жесты, черты. Миновал низенький турникет, поднимая над ним саквояж. И вдруг очутился в объятиях. Кто-то кинулся к нему стремительно с возгласом: «Кирилл, дорогой!», и этот «кто-то», худой, лысоватый, в резких морщинах, был Витенька Старцев. Отвечая на объятия друга, отдавая ему саквояж, Бобров узнавал в нем того, молодого, промелькнувшего вдруг в улыбке, в глазах.

Они оглядывали друг друга, чуть касались плечами. Усаживались в машину, обменивались пустяками.

— Я ведь послал тебе телеграмму. Ну, значит, дошла. Все в порядке!

— А я думал, ты летишь из Мапуту. А в телеграмме Бейра!

Они мчались по многополосному шоссе, пропуская встречные беззвучные вспышки. Бобров радовался обилию нарядных машин, подсвеченных табло и дорожных знаков, плавной ухоженности трассы.

— Как ты полагаешь, в каком отеле мне лучше остановиться? В «Амбасадоре», наверное?

— Да какой там «Амбасадор»! Поедешь ко мне! Мы с Антониной живем на вилле, здесь много пустых вилл, кое-кто из белых откочевал в Европу. Оттуда смотрят, чем здесь все кончится.

— Ты с кем-нибудь здесь из местных знаком? Можешь меня познакомить?

— Потом, Кирюша, потом! Успеешь о деле. Уик-энд! Проведем его без забот!

Они смеялись, желали угодить друг другу. Старцев включил музыку — под стать пролетающим огням, черно-развешенным в движении кронам.

— Ты что, раллист? — Бобров взглянул на дорожный мелькнувший знак с цифрой «60» и на фосфорное свечение спидометра, где стрелка пульсировала у отметки «120». — Все так же любишь гонять?

— Знаешь, здесь все так гоняют. Вначале я сам удивился. Такие, казалось, педанты — и непрерывное превышение скорости. Но один знакомый, белый юрист, объяснил. Мы, говорит, стали ездить на больших скоростях, когда на дорогах появились засады. Чтобы уберечься от очереди. Едешь в город, в контору, кладешь на сиденье автомат и гонишь сломя голову, вглядываешься в каждый куст. Теперь, когда произошла замена власти, они уже не берут с собой автомат, но привычка быстрой езды сохранилась... Кирюша, прежде чем ехать ко мне, сделаем маленький крюк. Покажу тебе ночной Хараре.

Промчались сквозь пригород, сквозь мягкое свечение вечерних вилл, вдоль увитых плющом решеток. Въехали в город, показавшийся сверкающим, черно-холодным кристаллом. Он был пуст и безлюден, стерильно чист, омыт металлическим и стеклянным блеском. Бобров почувствовал холодное и нордическое в облике Хараре, созвучное с городами северной Европы и Англии. Было что-то от Эдинбурга или Роттердама. Опустив у машины стекло, заглядывался на сверканье витрин, на медленное вращение высокой рекламы, на граненые плоскости отелей и банков. Ощутил на мгновение здесь, в душной Африке, северный запах моря.

— Сейчас здесь нет никого, — Старцев прогнал машину по отражению рекламы. — Все живут в предместьях. А вот послезавтра ты увидишь толпу.

Они вернулись в пригород. Прошуршали по узкому безупречному асфальту. Остановились перед чугунными воротами. Старцев вышел, растворил узорные дверцы. И они очутились на зеленой освещенной лужайке, среди цветов, брызгающего фонтана. Из дверей нарядного дома шла Антонина, жена Старцева, открывала Боброву объятия, и, целуя ее, слыша, знакомый ее смех, интонации московского родного радушия, он наконец освободился от последнего напряжения, что-то отпало, оставило его, тяжелое, неотступное, и он вдруг почувствовал себя дома, беззаботно и сладостно.

— Друзья, как я рад вам! Ну и как я вам рад, друзья! Они ужинали. Обильная, вкусная, красивая еда, от ко-

торой отвык на скудных пайках Мозамбика, казалась еще слаще от того, как его угощали. Как искренне радовались ему. Вспоминали Москву, последнее свидание, когда Антонина одна, без мужа — Старцев был за границей, — приходила к Бобровым, и какой был промозглый дождь, как провозжали ее по Кропоткинской под зонтами, и у Академии художеств их всех окатила машина.

Пили, чокались. Бутылки были нарядны. Старцев отмахивался от жены, все подливал да подливал. Бобров с наслаждением хмелел. С готовностью смеялся шуточкам друга. Сам шутил, невпопад, неудачно, но все равно все смеялись.

Пошли осматривать сад. На подстриженном газоне лежал брызгающий шланг. И в мелком сверкании воды дрожал, искрился, стекал ленивыми каплями тяжелый куст роз. Бобров погрузил лицо в холодные красные, бархатно-ароматные цветы и не мог надышаться. Чувствовал, что лицо его все в бегущих душистых каплях.

Араукария была похожа на зеленую скульптуру танцовщицы. И он дурачился, кланялся ей, целовал протянутую для поцелуя ветвь.

Бассейн был освещен, лазурный, с разводами света, и хотелось разбить телом эту звонкую синеву.

— Да у вас здесь просто рай! — восхищался Бобров.

— А ты как думал! Европейцы, брат, здесь, в Африке, хотели осуществить идею рая, невозможную в закопченной Европе. Они и осуществили ее, и были очень удивлены, когда в один прекрасный день в их райские врата полетели связки гранат, — Старцев махнул рукой в сторону высокой, увенчанной цветами изгороди.

— Ты тоже ждешь оттуда гранаты? — легкомысленно засмеялся Бобров.

— Да нет, там тоже вилла. Там живет респектабельный человек, профессор Бильгоф. Мы уже познакомились, но еще не успели обменяться визитами.

— Бильгоф? У меня к нему есть рекомендация. У меня с ним запланирована встреча.

— Вот и встретитесь. Может быть, даже завтра. Попробу, по-соседски!

Они вернулись в дом. Антонина готовила Боброву комнату. Взяли бутылку, стаканы. Вышли вдвоем на открытую полутемную веранду с плетеными креслами. Поставили бутылку и стаканы на каменный пол. На столбе в саду висел граненый фонарь, а под ним, в пятне света, краснел куст

роз и металась тень какого-то бесшумного, налетевшего на фонарь существа. Сидели, любовались, поднимали стаканы.

— А помнишь? — Старцев сделал легкий молодой жест рукой, и фонарь осветил его так, что исчезли залысины и морщины — и опять промелькнуло юное, шальное выражение. — Помнишь, у Князька затеяли клеить маски? Сходились, лепили из мокрых старых газет, сушили, размалевывали. А потом под рождество напялили на себя всю эту чертовщину, язычество это балаганное и скатились на Арбат. Милиция нас забирать вздумала. Постовой молоденький ведет нас, а мы по-козьи блеем, бубенцами звеним, метлами машем. Он уж, бедный, отпускает нас на все четыре стороны, не знает, как отвязаться. А мы ему: «Нет, брат, забрал нас, так веди!» Насилу отбоярился!

— А помнишь? — Бобров подхватил его воспоминание, озарился тем внезапным, рождественским, выпавшим на Москву снегом, по которому топали в вывернутых наизнанку тулупах, и какой-то прохожий залепил ему в спину сахарный сочный снежок. — Помнишь, как задумали ехать во Псков, а денег ни у кого ни копейки? И Цыган цыганил своим саксофоном. Кинул шляпу в парке и играл свои блюзы, и ему насорили-таки рублевки и трешки. В тот же вечер и укатали!

И это видение посетило обоих: Цыган, молодой, с губами, лиловыми, как два баклажана, что-то дует и шепчет в ухо своему саксофону, и тот мурлыкает, изгибается гибким хвостом, ластится Цыгану на грудь.

— А помнишь, как я гонял за своей манекенщицей? — и снова в Старцеве мелькнуло что-то лихое, гусарское, что потом бесследно исчезло под тонкой броней, в которую его зачехлила профессия. — Она в Питер — и я за ней! Она в Ригу — и я за ней! Она в Иркутск — и я за ней! Так и летал за ее разноцветным подолом! Ух и налетались тогда!

Куст розы, багровый, с обильными огромными цветами, смотрел на них. Бобров наслаждался прохладно-теплой неизнурительной ночью, хмелем, близостью друга, обретенной прочностью и покоем.

— Я все думаю, Кирюша, о тех наших днях, о том нашем времени. Казалось, вот оно было, совсем недавно, ан нет, пролетело и уже невозвратно. Оно, это время, казалось тогда очень личным, очень нашим. Но оказалось, не только мы — все его так понимали и чувствовали. Оно было всеоб-

щее, время! Вот увидишь, еще о нем скажут исследователи, еще историки его опишут как отдельное, особое, очень важное время!

— Я недавно думал об этом,— Бобров вспомнил свой марш по пескам, мысли в солдатской колонне.— Я тоже об этом думал.

— Если посчитать, Кирюша, сколько всего было прочувствовано, продумано, проговорено! Уж чего-чего, а поговорить-то успели! Да и погулять, потешиться, подурачиться! Скажут, безрассудство? И это было, конечно. Но среди дуракаваляния бездну всего проштудировали! И не было на нас напастей. Не было мобилизации. Карточек не было, лесозаготовок. Мир был, Кирюша, мир был вокруг и в нас самих! Ну да, конечно, и вьетнамская война, я-то ее, поверь мне, хлебнул! И Карибский конфликт, и Чили! Все это было, было. Это было со мной, но позже, и как бы не у нас, и не в нас! Тогда мы могли заблуждаться. Огромная, страшная война откачулась, и огромное напряжение, беда огромная, в которой наши матери и дядья были связаны в страшный узел, оно, это надрывное время, кончилось, казалось, все узлы развязались. И мы, детки их, из послевоенного детства, потихоньку-полегоньку, оглядываясь и осматриваясь, превратились в первое — это я тебе говорю — в первое, может быть, за два века легкомысленное и счастливое поколение. В нас, Кирюша, в нашей молодой судьбе, если подумать, народу был дан как бы роздых. Нет, не праздность! Наоборот,— трудились, да как! Это вранье, что бездельничали, что развлекались! Может, так никогда и не трудились. Пол-Казахстана распахали, это тебе не аллею лип посадить! Океанский флот построили... Это еще потомки поймут. К другим планетам рванули, улыбочка-то наша белоснежная, гагаринская, посверкала над миром. Новые города заложили. Нефть из болот достали. Да что там! Вкалывал народ, как никогда. Да только без надрыва, без спазмы, а как бы в охотку. Без гонки, а вволю. Вот что в нас важно: мы мирадохнули! И сумели им воспользоваться! Ты согласен, Кирюша? Я прав?

Бобров кивал, удивлялся: то время, окончившись, все еще продолжалось в их памяти. Отзывалось едиными мыслями, почти единой, заложенной в тех разговорах лексикой. Значит, жили тогда едино, думали сообща, душа в душу, мысль в мысль.

Старцев сделал в воздухе взмах, как бы отпускал на свободу, в небо с туманными звездами, в разлитые кругом аро-

маты то бывшее, что их сочетало. И затем твердо, двумя ладонями, что-то отсек, отграничил.

— Теперь, Кирюша, наступило другое время! Мир стал другой. Опять мы входим в жесточайший, предельный период. Кончилось отдохновение, и опять за суровое дело. Что взяли тогда, отдавай, отрабатывай! Ничего, Кирюша, мы выдержим. Батьки и дедки выдержали, и мы выдержим! Отложим наши иллюзии, наши тихие сладкие песни и споем, если грянет, и «Войну священную», и «Броня крепка», и «Сотни тысяч батарей». Ведь эти песни мы в детстве певали. Мы ведь не только хлеборобы, как Князек говорил, мы и ратники! Мы ведь и ратники с тобою, Кирюша!

Он двинул плечом в нарядной рубашке, и откуда-то в нем, в дипломате, возник мужицкий, солдатский жест. Так кидают за спину мешок, а на плечи винтовку, а через голову — шинельную скатку. Этот жест вдруг больно огорчил, почти испугал Боброва. Не хотелось ему сейчас этого жеста.

Из комнаты к ним вышла Антонина. Сидели втроем. Смотрели на розы. Потом, почти не сговариваясь, запели тихими давнишними голосами: «Спой мне песню, как синица тихо за морем жила». И слетались на их голоса никуда не исчезнувшие светлые силы.

Легли поздно. Бобров забывался, превращался в сон, в малую легкую птаху, ныряющую в воздухе, вытягивающую за собой синие нити.

23

Воскресное утро было душистым, в радужной фонтанной пыли. Они решили отправиться на загородную прогулку. Старцев, отомкнув ворота, выводил машину. Антонина держала книгу о фильмах Боброва, перелистывала страницы, где горячие алые кони мчались в белых снегах.

Уже были готовы усесться, когда ворота соседней виллы растворились и выплыл хромированный радиатор. Свежий седеющий человек поклонился им, улыбнулся из-под твердой щетки усов.

— Доброе утро, мистер Старцев!

— Доброе утро, профессор! — Старцев шагнул навстречу, пожимая соседу руку. — Я уже знаю, куда вы отправились. Сегодня погода как раз для верховой езды.

— Вы угадали. Хотя бы на пару часов хочу сменить кабинетное кресло и автомобильное сиденье на верховое сед-

ло. Надеюсь, когда-нибудь и вы присоединитесь ко мне. Я уступлю вам мою любимую лошадь.

— Когда-то я занимался в манеже. Но с тех пор на земле успело смениться несколько поколений лошадей,— пошутил Старцев.— Позвольте представить вам моего московского друга, режиссера,— он сделал соединяющий жест.— Кирилл Бобров. Профессор Бильгоф.

— Очень рад,— Бобров пожал протянутую руку.— Я привез вам поклон из Москвы, от профессора Корнелиу Авареша. Надеюсь во время моего визита в Зимбабве повидаться с вами. Если у вас окажется время.

— Благодарю за поклон. Я очень ценю работы профессора Авареша. Он тонкий этнограф, большой знаток африканского юга... А ваши проблемы? Что привело вас сюда?

— Позвольте,— Бобров повернулся к Антонине и мягко, извиняясь, извлек из ее рук книгу.— Пользуясь этой мимолетной встречей, хочу преподнести вам,— он быстро, на лету, сделал дарственную надпись, передал книгу Бильгофу. Тот принял, раскрыл.— Я дилетант в вопросах африканского юга, но герой задуманной мной картины действует именно здесь. И мне хочется понять атмосферу, послушать знатков.

— Благодарю... Мистер Старцев, если сегодня вечером вы с женой и вашим другом располагаете временем и у вас нет намерений провести его по-своему, я был бы рад видеть вас у меня после шести.

— Спасибо, профессор, придем с удовольствием,— ответил Старцев, весело взглянув на Боброва.— Желаю приятной прогулки верхом.

Они дождались, когда машина Бильгофа прохрустела по гравию, прошелестела по асфальту, метнулась и растаяла в синеватой дымке.

— Ну вот видишь, первый контакт тебе обеспечил! — довольно смеялся Старцев.— А теперь, Кирюша, забудь о делах!

Они миновали ботанический сад с глубокими зелеными полянами и одиноко стоящим, похожим на дуб деревом. Боброву на миг захотелось уйти в эту зелень, сесть под округлое, черно-живое дерево, прислониться затылком к теплой коре. Прокатили мимо рощи, где пестрели разноцветные кони, наездники прямо и грациозно сидели в седлах, и одна лошадь, управляемая седоком, плавно скакала, перебирая хрупкими копытами, и казалось, из окна скоростной машины,— они смотрят замедленную съемку.

Долго катили по пустому, голубому, как река, шоссе, мимо влажных рощ и долин. Бобров, слушая мягкий ветер за стеклами, испытывал блаженство. Изредка вступал в короткие, все о московской жизни, разговоры с друзьями. Они чувствовали его состояние, не докучали, оставляли молчать.

Достигли Национального парка, где был устроен натуральный, в каменистых холмах, вольер для львов. Привратник открыл ворота, они покатали по желтой, проросшей корнями дороге, высматривая на гранитных утесах львов. Наконец увидели целое стадо, ленивое, лежащее в тени. Перед львами, обглоданно-белый, с кровавыми ошметками, валялся коровий костяк. Антонина в страхе подняла стекло, и они медленно проехали мимо сонных, сытых животных. Только один лев поднял свою круглую башку и зевнул.

Они закусили в маленьком ресторанчике у воды. Стейк был отлично прожарен, зелень свежа, а вино такое холодное, что ломило зубы.

Тут же, у ресторанчика, они зашли в лавку, торгующую изделиями из слоновой кости. Все ее пространство — прилавки и полки — было заполнено желтовато-белыми резными скульптурами, огромными гнутыми бивнями, в которых были выточены лабиринты орнаментов, выглядывали лики людей и животных, и казалось: бивень гудит бесчисленными голосами, звериными рыками, охотами, танцами у костров — гулом первозданной, готовой излиться в мир жизни.

Бобров, перекладывая драгоценную кость, выбрал два браслета. Один для жены, с бегущими по кругу слонятами. Другой, поддавшись внезапному, похожему на нежность чувству, для Марин, вспомнив ее теплую смуглую руку у себя на плече, испуганное умоляющее лицо в машине по дороге из Ресано Гарсиа. Хотел, вернувшись в Мапуту, сделать ей этот подарок — белоснежный, перевитый цветами браслет.

Они вернулись на виллу, утомленные, довольные. Бобров, извинившись, ушел к себе, в прохладную пустую спальню, и дневной его сон был сладок и свеж.

Его пробуждение было медленным возвращением в свет, в благоухающую прохладу, в тихое, дружелюбное звучание голосов под окном, где шелестела вода, орошавшая твердые кущи. До вечернего визита к Бильгофу оставалось много светлого дневного времени. И Бобров, еще утром, во время

поездки, плененный видом ботанического сада, глубоких зеленых полей и похожих на дубравы деревьев, отправился туда на прогулку, уговорив хозяев не провожать его.

Повторяя изгибы шоссе, легко нашел сад. Переступил низкую каменную оградку, шагнул на плотный травяной покров, уже не зеленый, а рыжеватый, сожженный солнцем, пахнущий сеном, с повсеместным стрекотом незримых кузнечиков. Погружался в ухоженную, совсем нерусскую природу, уже не таившую в себе сходства с дубравами и полянами. Чистые, любовно, архитектурно спланированные насаждения кустов и деревьев были оснащены этикетками, латинскими и английскими надписями. Живая коллекция центральноафриканских растений окружала его глянцевитыми кронами, ветвистыми стволами, обильными соцветиями.

Он быстро устал ходить. Сел на скамеечку, состроенную из двух колод, из гладких, удобно отесанных досок. Отдыхал под высоким деревом, напоминавшим огромный шар. В зеленой сфере перелетали и ворковали горлинки, плескали крыльями, осыпали на землю сухие семена. Дальше, за деревом, тянулись мелколистые колючие заросли. И созерцание этого округлого просторного дерева, наполненного птицами, и молчаливых зубчатых зарослей порождало в нем некую двойственность. Покой при взгляде на дерево и тревогу при взгляде на заросли. Словно оттуда, из спрессованной мелкой листвы, тянул к нему холодок. Дул слабый тревожный ветерок. И он прислушивался к этим невидимым, волновавшим воздух течениям. Хотел понять их природу. Не мог.

Он подумал, что вот так же его герой после военных маршей, зрелищ боев и пожаров оказался вдруг в этом саду. Сидит, окруженный молчаливыми ликами зеленых деревьев. И ему, утомленному, на исходе сил, послано краткое отдохновение.

Запах сена, стрекот кузнечиков вызвали в нем образ подмосковных сентябрьских дней, когда высохшие травы желты, сквозь них — синева воды, и их изба горбится на бугре. Он медленно, из-под горы приближается к ней, а она удаляется, возносится к белому облаку. Черная, воспаренная, с крутым коньком, в красных метинах созревших рябин.

Они купили ее по случаю, в деревне, у сына умершего старика. Сын не жил с отцом, похоронил его и снова уехал в город. А огромный деревянный домина, тронутый древно-

стью, жуками-точильщиками, осевший на углы, расплющивший, вдавивший в землю дубовые опорные плахи, этот дом пустовал, обрастал бурьяном. И вот достался Боброву, как многие из заброшенных изб, лишившись коренных хозяев, переходили в руки новых, недеревенских владельцев.

Он помнил свой первый приезд в избу, зимой, когда дом чернел среди ослепительных наледей, с горой оплавленного снега на крыше. Осторожно, робея, отмыкал замок, входил в свое новое владение. И в избе, из коричневых, смуглых стен, из осыпавшейся русской печи, из холодного закопченного зева смотрели глаза старика. Его неушедший дух, лежалый зеленый табак, стоптанные подшитые валенки, покосившиеся на божнице иконы — все следило за вторгшимся человеком, чужим, не родным, выталкивало угрюмо наружу.

Он бегал на лыжах, протапывал первые тропы в окрестных полях, лесах, словно метил, трассировал незнакомое пространство. Любовался на сосновый огнедышащий бор в стуках дятла. На блестящую лосиную лежку с подломанным, омертвелым болотным цветком. Вечером вернулся в избу. И пока катились по стенам и гасли последние румяные яблоки солнца и изъеденный капелью сугроб зеленел и искрился, как груда драгоценной посуды, он разводил печурку. Неумело пытался разжечь огонь. Печка чадила, не давалась. Дым густо и зло валил в избу. И чудилось: в клубах дыма, язвительно-желтый, летает старик, гонит его вон из жилища. Не раздув огня, улегся спать, укутавшись в овчинный тулуп. И, проснувшись на грани угарного обморока, успел дошагать до тяжелой двери. Толкнул и упал без чувств в сени. Приходил в себя от морозного, чисто-жгучего воздуха. Поднялся с колотящимся сердцем. На ощупь возвращался в избу. Померещилось: в осколке висящего зеркала сверкнула улыбка уморившего его старика.

С той зимы потекли непрерывные драгоценные годы, связанные с посещением избы, то краткие, на воскресенья наезды, то недели и месяцы, с таянием блестящих снегов, когда на дальних буграх среди белизны и сверкания вдруг обнажались желтые проседи, проступали посреди стерни, бело-голубые последние снега исчезали, превращались в гремящий бурный овраг, в текущую, хватающую за сапоги дорогу, в первые цветы. Бурый сорный склон внезапно становился лиловым от дрожащих, благоухающих, ветрено-нежных хохлаток, таящих в земле крохотные сахарно-сочные клубеньки. Смена цветов. Огненно-желтый мир от вспых-

нувших одуванчиков, их господство, их празднество, и после ночами все горело под веками, дочь в золотистом венке, у сыновей в руках лучистые желтые звезды, и на губах горьковатый вкус исчезнувшего майского дня. Синева от гераней, вероник, колокольчиков, горячие, обрызганные синим опушки. Им на смену белые пенные ромашки, тысячелистники, дудники. И по склону над водой у тропы — красные, липкие, оставшиеся для него безымянными цветы, которые жена нарекла богатырскими. В таких цветах, утверждала она, двигались по степи богатырские кони, и тяжелый витязь окунал в цветы копье, оставлял в них долгий прямой след. Ясность осенних, холодно-солнечных дней, когда озеро яркое, синее, даль прозрачна в озаренных лесах, черно-синие ели, красные купы осин, нимбы берез, и он идет по дороге, обредая палые красные листья, в каждом из которых крохотное водяное зеркальце, отразившее осень. Первый заморозок, когда в забытом ведре хрупкая корочка льда с замороженным пузырьком. Ломая ее, прожигая касанием рук, вдруг поднял голову, и плавный курлыкающий, пульсирующий строй журавлей долго летел над избой, перестраивался, волновался, и пока пролетал, все таяла, стекала в руках первая льдинка. Глухие ночные снегопады, когда заваливало пути и дороги, и кровля, принимая тяжкую ношу, чуть слышно стонала, и лежишь в холодеющей избе, теряющей дневное тепло, вспоминаешь: ведь еще недавно здесь бегали дети, бабушка дремала в кресле, на спинке висит ее зеленый халатик, на столе валяется Васенькин, сделанный из пера, поплавков. И над всем — огромный, осыпавший снег зимы.

Те годы в избе — как мерно катящееся колесо, в которое вплетены их семейные торжества и размолвки, взросление детей, смерть бабушки, его отъезды и возвращения. Изба, как ковчег, среди дождей, цветов, снегопадов, несла в себе их семью.

Однажды осенью, когда начались холода, подлетела к избе лесная бабочка, осторожно попорхала у крыльца и скрылась в темных щелях ступенек, спрятала в избушке свое хрупкое разноцветное тельце. И потом зимой, засыпая среди бурана, все представлял: где-то в подвале, прицепившись к половицам, все таится та бабочка. В крыше, в светелке, среди отвалившихся досок, жили галки, ежегодно вили гнездо, высиживали птенцов. В летние ночи, укладываясь на чердаке, он просыпался от галочьих нежных поскрипываний, писка птенцов. И всегда бывал такой день,

когда птенцы, синеглазые, большеклювые, на шатких ногах, выпадали из гнезда, пробовали летать, висли на ветках березы, валились на гряды, и дети вносили в избу обалдевшего, теплого, немигающего птенца, а над избой истошно кричали летающие чернокрылые галки. Летом из сарая вылезали ежи, почти ручные, фыркающие. Сновали у умывальника, тыкались в забор. Тогда являлась на свет соломенная бабушкина шляпа, в которой в молодости она гуляла по Парижу, и в этой парижской шляпке сердито сидел еж, дети возились с ним, подносили к своей прабабке, хотели ее попугать, а она, не видя, молча, смиренно кивала. Ночью он выходил из избы, стоял среди мокрых лопухов у черного паруса драночной крыши, над которым теплели звезды, и думал: эта изба собрала в себе самых дорогих для него людей. За стеной спит бабушка, спят мать и жена, спят его дети, а он, неспящий, просит о продлении их жизней, чтоб не ведали бед и печалей.

Его ложе, его рабочее место было под крышей, откуда извлек столетний хлам старика, поставил дощатый стол, дощатый топчан и работал до темноты, дожидаясь, когда улягутся мать и бабушка и жена, отзвякав посудой, крадучись, осторожно позванивая лестницей, заберется к нему. Прошелестит босиком, большая, белая, и ляжет рядом с ним на топчан. Сохнет над ними пучок зверобоя, колотится о стекло ночной мотылек, и мгновенный, озаряющий бенгальский свет, в котором ее лицо дрожит на полосатой подушке, трепещет с плотно закрытыми голубоватыми веками, алые приоткрытые губы, черная, горячая косма волос. Она уходила, слабо белея, исчезая в звяканье лестницы, а он оставался один, в сладком бессилии, переходящем в сон. И последняя перед забытьем мысль: сколько в этой избе до него было бед, ликований, любовных утех и рождений младенцев, сколько стояло гробов, сколько солдатских проводов и свадеб прошумело вокруг. И вся толпа голосащих безвестных, неведомых ему, живших здесь до него, входила в его сновидения.

То лето, когда в избу приехал его друг-футуролог, чем-то огорченный, усталый, измученный чередой неудач. И он, хозяин, улавливал сердцем его смятение, окружал друга нежным бережением и любовью. Повесили на чердаке подрамники со схемами грядущего урбанизированного рая, где небоскребы и фабрики уживались с лугами и чистыми реками. Нарисованные кистью другого их друга, художника, двигались лоси, летели птицы. Весь чердак запе-

стрел футурологическими чертежами и схемами. Они сидели за бутылкой сухого вина. Пахло дымом — жена в красном сарафане разводила на траве самовар. Говорили, спорили о будущей картине мира, о судьбе человечества, и ласточка вдруг влетела сквозь открытое оконце, стала носиться, чирикавая, под кровлей. Села на стропило, с малиновым чутким зобком, сладко верещала. И друг замер, лицо его, обращенное к ласточке, стало нежно-беспомощным.

Готовились наутро смотреть затмение солнца, дружно, всей семьей, коптили стекляшки, готовились рано подняться. Но на рассвете из троих детей проснулся младший, Андрюшенька. Поднял и мать, и его, отца, повел наблюдать затмение. Стояли втроем на росистом, красном от зари, от цветущего клевера лугу, вглядывались в багровые тучи, ждали солнца. Рядом паслись два коня, черный и белый. И было на этой ветреной багровой заре тревожно. Было больно смотреть на бледное, невыспавшееся сыновье лицо, на его тонкую шею, на хрупкие пальцы, сжимавшие закопченное стеклышко. Встало солнце, неярко, с червоточинной, с темной раковиной. Ветер, летящий от зари, казался красным, жгуче-холодным. Жена поддалась всеобщей, царящей в природе тревоге, сулившей беду, пугавшей древним испугом. И он сам, глядя на сына, молчаливого, неотрывно наблюдавшего полупогасшее солнце, думал: что ждет впереди эту родную драгоценную жизнь, эти луга и деревни? Какое нашествие сулит им затмение?

Тот месяц, когда бабушка вдруг быстро пошла на убыль. То сидела целыми днями в своем парусиновом кресле в тени шиповника, дремала, и он подходил к ней близко, неслышно, смотрел, как бегут по ней прозрачные тени березы, ползает по халату красная божья коровка. Вглядывался в дремотное безжизненное лицо, такое дорогое, когда-то живое, сверкающее, готовое спасать, вдохновлять. Что-то в ней вдруг надломилось. Кончилась ее дремота, и какие-то силы, цепкие, упорные, страшные, потащили ее во тьму. Она просыпалась ночами в безумном ужасе. Начинала метаться, кричать. Все сбегались к ней, в ее маленькую, за печкой, комнатку. Она не узнавала их, пугалась больше. Ее немощное хрупкое тело наливалось энергией, пружинно отбрасывающей их, желающих ей помочь. Она выкрикивала что-то невнятное. Глаза были выпучены, видели какое-то налетевшее на нее сонмище. Вся ее жизнь, наполненная пожарами, разрушением родового гнезда, потерей любимых и близких, нашествиями, бегствами, непрерывными страхами, вся ее жизнь

вновь всколыхнулась в ней, терзала и жгла. У них, у ее близких, уже не было сил. Они не спали ни днем ни ночью, караулили ее приступы. И уже внутренне от нее отступались, не признаваясь друг другу, отдавали ее во власть явившихся взять ее сил. Над избой, над деревней шли тяжелые ливни и грозы. Он уходил под ветреное низкое небо, в котором, как бабушкин бред, летели косматые тучи и полыхали молнии. Вспышка ударила в церковь, зажгла деревянный купол. Стоя на бугре, он смотрел через озеро на темную церковь, на ее горящую сквозную главу, осыпавшую искры. Связывал это знамение с бабушкой. Не шел к ней, знал, что там все кончается. Кончена жизнь самого дорогого для него человека. Глава, накренившись, медленно, меняя свою округлую форму, складываясь и сминаясь в ком красного пламени, рухнула, осыпалась вдоль стены и чадно погасла. Стояла в дожде безглавая церковь. Лицо его было в слезах.

И еще одно знамение в новогодней избе, когда с женой и детьми наехали в промороженный дом и грели его, протапливали, оттаивали печным огнем, дыханием, своими криками и возней. К ночи было тепло, стол украшал изжаренный в духовке гусь, искрилось шампанское, ожила и летала по дому красная бабочка. И они пили за счастье друг друга, и дом их был — полная чаша, и все, даже самый их маленький, чувствовали, что сейчас они счастливы. Что они едины, семья. Была прогулка в ночи. Спускались к озеру. Он палил из старенькой, сохранившейся с юности «тулки», пускал цветные ракеты. Они кололи у проруби лед, крушили зеленоватые ледяные сервизы. И возвращались в избу; пропустив всех в тепло, он и дочь задержались вдвоем на крыльце. И над ними по небу молниеносно, бесшумно прокатилось что-то огромное, многоцветное и чудесное, словно колесница, перевитая цветами, и скрылось за трубой и за крышей. Когда вошли в избу и рассказали о чуде, остальные им не поверили. Так и осталась между ним и дочерью эта тайна, посетившее их видение, небесная колесница в ночи.

Первый их год, когда приехали в избу всем скопом, и вместе с ними теща, пребывающая в постоянном корректном конфликте с его матерью, — обычные внутрисемейные распри несхожих людей, проживших жизнь по-разному, с разным пониманием всего. Воспитание детей, убранство комнат, сервировка стола, комментарии к газетным статьям, суждения о книгах, о жизни — все было разным, копило взаимное раздражение. А он, находясь между двух полюсов, мучился,

протестовал и взрывался. Своей непоследовательностью и пристрастностью увеличивал семейный разлад. Однажды ночью проснулся от криков на улице, от красного трепетания в окне. Выбежал: близко, жарко горел старый амбар. Светились слезы на крышах, занимались раскаленные сухие венцы. Вся деревня была на ногах. Тащили ведра с водой, поливали на пламя, на стены ближнего дома. Тес накалился, окутывал паром. Он вернулся в избу. С женой стали будить детей. Теща и мать, полуодетые, с седыми распущенными волосами, одинаковые в своем ужасе, в своем инстинктивном знании и согласии, брали на руки двух младших, еще сонных, капризных. Жена подхватила дочь. Он принимал в объятия покорную безвольную бабушку, и они все, босые, озаренные красным пожаром, выбирались из дома через бурьян на задворки. Спасались от пламени. И две враждовавшие недавно женщины забыли свои суетные повседневные распри. Снова, в который раз за жизнь, выносили из огня свои драгоценности. Спасали свой род, заслоняли его собой — от всех войн и нашествий. Две седые женщины, тащившие детей на руках.

Эта изба была не просто пристанищем, не просто их летним приютом. Она дарила им бесценный опыт. Детей одабривала зрелищем стада, спускавшегося к водопою, петушиным криком, пойманным в пруду карасем, венком из васильков и ромашек. А его самого — огромным, заключенным в деревянный короб объемом их семейных, родовых состояний, вошедших в сложную связь с прежним, до них, крестьянским укладом, не исчезнувшим, а питавшим их, живущих в избе, невидимыми добрыми силами.

Изба ветшала, приходила в негодность, и не было сил и умения ее ремонтировать. В ливни текла крыша. Он у себя наверху подставлял под капель бесчисленные банки и миски. Гнил, оседал, заваливал на себя дом старый венец. Рассохлись и трухлявились рамы. Окна, набранные из осколков хрупких, ломко-перламутровых стекол, начинали сыпаться и сквозить. Печь кренилась, лысела, стряхивала глину, коптила и чадила, и в духовке прогорела дыра. Он, вечно в поездках, вечно в работе, мучился, видя гибель старого дома. Чувствовал свою вину перед теми, кто строил, хранил, сберегал для него избу. Это чувство вины толкнуло его наконец на дело. Отложил все труды и науки и целый месяц отдал избе. С соседом-плотником подкопали, подставили домкраты, приподняли дом, выскребли истлевший венец и воздвигли кирпичные столбы. Завезли песок и цемент,

меси́ли, заливали в дощатую опалубку, подводя под избу вековечный бетонный фундамент. Сменили прогнившие рамы, и на черном фасаде вспыхнули, ярко сверкнули молодые глаза — новые застекленные окна. Обмазал заново печь, побелил ее бережно, и явившийся в гости друг-художник разрисовал ее цветами, оленями, крылатыми девами. Нашел в стариковском сарае связки осиновой дранки. Взгромоздился на высоченную кровлю и, держась за трубу, оседлав крутой, исклеванный птицами, раздутый ветрами, съеденный солнцем щипец, стал латать крышу. Клад белые латки, всаживал в щепу длинные блестящие гвозди, держа их в губах. Сверху слал приветы играющим детям, матери в огороде, соседям, коровам и птицам. Надвигалась синяя высокая туча. Летел, волнуя хлеба, сладкий ветер. Гнал по дороге белый легчайший смерч, словно вихрь из пшеничной муки. И в этом негрозном кружении, в живом человекоподобном вихре вдруг почудился старик, благодушный, благодарный и добрый. Залетел к нему вверх на крышу, обнял,дохнул и скрылся. И сверху на горячие плечи, на иссохшие губы брызнул мелкий блестящий дождик — стариковское благословение.

Теперь, сидя в Хараре, в ботаническом саду, под африканским деревом, отделявшим его от недалекого шоссе, где мчались лакированные «кадиллаки», «пежо», «ситроены», он видел свою избу, ее знакомое, корабельное, родное обличье. Наделял своей любовью и болью вымышленного, несуществующего героя. Оживлял, шел его путями. Был готов разделить его участь.

24

Он сидел на скамье под деревом, глядя на плотные колючие заросли, и тревога его вернулась, усиливалась. Оттуда, из сплетения веток, оведали его упругие ветерки. Кто-то слал ему невнятную весть, кто-то живой и реальный, принявший вид терновых зарослей. Он хотел разгадать эту весть — и в то же время не хотел и боялся. Желал продлить свое неведение, свое пребывание среди дорогих и желанных образов.

Старался возродить в себе картины родной природы, но они не возвращались. Тревога, коснувшись, охватила его, медленно пробиралась в самую его сердцевину. И там копилась. Он наполнялся этим больным предчувствием, готовым превратиться в тоску. Пытался еще спастись, за что-то еще ухватиться, что-то отдалить и отсрочить.

Видение Кремля, посетившее его несколько дней назад на пляже в предместье Мапуту. И почти телесная, из любви и раскаяния, встреча с матерью в тот ливень и гром. Шепоты, разговоры с женой, подсевшей к нему в машину в Матола, когда он отпустил Марию и в кроне дерева зеленел и светился фонарь. И дети, милые, драгоценные, повторявшие для него свое снежное игрище, когда лежал без сна в Шай-Шае в крохотном номере, поджидая Соломау, и наутро началось их рысканье по лесам, поиск и взрыв самолета. И друзья, чьи незабытые лица он вызвал из прошлого, и друзья явились и встали с ним рядом в военной колонне, и он шел, говорил и не мог наговориться с ними. И теперь вот бревенчатый дом, где протекли счастливые, полные мира дни, он почему-то тоже возник, проскрипел своим ветхим срубом.

И вдруг истина, простая и ясная, открылась ему. Все эти недели, включенный в борьбу, тратя последние силы, видя кровь и насилие, погружаясь в них одной своей сутью, он другой, заповедной, успевал приводить в порядок свои потаенные, не видимые миру ценности. Словно с ними прощался, укладывал их одну за другой в тихий ларь, совсем как в тот, что стоял когда-то в их доме на Тихвинском, принадлежавший еще прабабушке, с музыкальным замком, и он в детстве все порывался туда заглянуть. Туда, в этот ларь, опускал он теперь свое богатство, словно оставлял кому-то. И этот труд позади, ларь его полон, и дом его прибран, и сам он в белой рубахе.

Это чувство белой рубахи посетило его, сначала торжественно, потом очень быстро превратилось в боль и смятение. Он был не готов. Хотел туда, к своим милым, налюбоваться, наглядеться на них. Тронуть белую шею жены с ее любимыми гранатовыми бусами. Пройтись по лесной дороге, обжигаясь о сырую крапиву, гоня перед собой неумелого, перепархивающего птенца. Заплыть на середину озера под тихое облако, и увидеть вдали не лодку, а стеклянную вспышку весла, и знать — там плывут его дети.

Он просил у кого-то отсрочки, просил еще подождать. Просил, чтоб его миновали эти плотные, безгласные, веющие из кустов дуновения.

Очнулся. Мимо шел человек, деловитый, в белой шляпе, вел на поводке борзую. Прошел, не взглянув на Боброва. А собака обернулась на него узкой, чуткой, взволнованно-страстной мордой. Пора было возвращаться на виллу...

И все это показалось наваждением, блажью, когда си-

дели в гостях у профессора Бильгофа. Женщины на веранде рассматривали вязанье — рукоделье жены профессора. Мужчины — в обширной уютной библиотеке хозяина, с золотым тиснением корешков, с нарядным блеском суперов, с огромным слоновым бивнем, изрезанным бесчисленными ликами, с черными большеглазыми масками. Бобров держал у губ тяжелый стакан с прозрачной головкой льда, вдыхал крепкий дух виски. Внимательно следил за румяным, гибко-спортивным профессором, оценивал, коллекционировал его отзывы и суждения.

— Я успел лишь заглянуть в красочную книгу, которую вы мне подарили, мистер Бобров,— говорил профессор, гостеприимно улыбаясь, всем видом показывая, как он рад, дорожит гостями.— Я взял ее с собой на прогулку. Успел перелистать. Как бы мне хотелось посмотреть ваши фильмы на экране. Я думаю, это вовсе не невозможно! Не сомневаюсь, они будут иметь успех. Доказательство тому: у меня уже нет вашей книги! Один мой знакомый увидел ее у меня и просто вымолил дать ему на один только день. Обещал привезти сегодня же. Он, этот знакомый, только что приехал из Южно-Африканской Республики с кратким визитом в Хараре. Он должен вот-вот быть.

Бобров непринужденно вел разговор, стараясь запомнить убранство гостиной, манеры и жесты хозяина. И Бильгоф, словно чувствуя это, немного позировал, давал себя наблюдать, мгновенно откликался, охотно следовал навещающим вопросам. Был откровенен и прост.

— Конечно,— говорил он,— программа нового президента, провозгласившего единое общество, заслуживает всяческого признания. Черно-белый компромисс должен обеспечить Зимбабве стабильность и процветание, уберечь страну от нежелательных социально-экономических издержек, наблюдаемых нами в бывших португальских колониях. Однако этот общенациональный, черно-белый, как я сказал, компромисс возможен не раньше, чем будут достигнуты свои отдельные компромиссы в белом и черном стане. Эти фракции, уверяю вас, сами по себе далеко не едины. В них существуют свои конфликты, и ведущие политики обеих расовых групп, согласившись с общенациональной идеей единства, решают сейчас, и весьма мучительно, внутрирасовые проблемы.

Он анализировал общество, называл имена и тенденции, оттенки и склонности отдельных группировок и сил. И Бобров, вновь облакаясь в личину героя, дорожил этой открыв-

шейся ему возможностью рассматривать политический срез, сделанный точно и умно, стремился запомнить лексику, сам дух, сам темп разговора.

— Вас интересует экономический аспект? Да, действительно, стал быстро развиваться черный бизнес. Политическая власть обеспечила и открыла доступ черному бизнесу. И это не может не внушать опасений белым коммерсантам. Но пока что, уверяю вас, это не более чем опасения. Если не последует крупных экспроприаций, а они, по-видимому, не последуют, два эти бизнеса могут сосуществовать и кооперироваться. Экспорт мяса по-прежнему затруднен, и наши фермеры ищут рынок и готовы искать его где угодно, даже в СССР, если бы для этого нашелся рефрижераторный флот и готовность к контрактам. Повторяю: наша экономика относительно здорова и на ее основе возможен стабильный политический процесс.

Бобров сыграл свою роль, роль африканиста, чуткого аналитика, стремящегося понять, в какой степени оценки и прогнозы профессора окрашены его личными симпатиями и пристрастиями. Тонко отделял этот местный, региональный анализ от общих, характерных для континента тенденций. И при этом наслаждался интеллектом и лексикой собеседника, свободно владеющего материалом.

— Двурасовая армия неизбежна. Она — уже факт, — продолжал Бильгоф. — Белые контингенты распущены, повстанцы сдали оружие, и на их основе формируются смешанные бригады. Но, во-первых, есть психологическое отчуждение: недавним противникам, стрелявшим друг в друга, трудно ужиться в одной казарме, повиноваться приказам вчерашних неприятелей. И второй аспект — политический. Добившейся внутреннего мира стране больше не нужна крупная армия, и надорешить, куда направить многочисленные контингенты черных повстанцев, привыкших воевать и требующих прямого участия в новой структуре общества.

— Дорогой профессор, — Бобров кивал, принимая его суждения, но и мягко им возражая с позиций того, кем он был, с позиций героя-африканиста. — Все это выглядит весьма убедительно, если рассматривать Зимбабве как автономно существующий организм. Но согласитесь, эта автономия весьма условна. Зимбабве — часть динамичной и весьма неустойчивой композиции на африканском юге. Насколько спокойно наблюдают за вашими переменами в ЮАР? Не наступит ли такая фаза, когда в Претории сочтут необходимым вмешаться, не наступила ли она, эта фаза?

За окном у ограды прозвучал сигнал автомобиля. Бильгоф, приготовив, но прервав ответ, повернулся на звук:

— Это, должно быть, он!

Раздался вкрадчивый шорох гравия. Глазированная тень машины мелькнула в саду. И через минуту на пороге возник человек в белоснежной рубаше и брюках, очень белых в контрасте со смуглым лицом и руками. И едва он возник, еще не ступив в область света, Бобров, почти не изумившись, связывая с его появлением недавний, пережитый в ботаническом саду абсурд и теперешний разговор с профессором, и подсознательные все эти недели, где бы он ни был, размышления о нем, и нечто еще, что действовало сообразно с таинственной, знакомой ему, художнику, логикой, стягивающей их всех в задуманный, осуществляемый самой жизнью сюжет,— Бобров узнавал в нем Маквиллена, инженера по локомотивам, с кем встречался в отеле «Полана», вел сложные, из умолчаний и полунамеков беседы, где каждый играл на себя. Теперь инженер стоял на пороге, дружелюбный, светский, держал в руках книгу, где на супере вместе с аннотацией темнела фотография Боброва, и хозяин их всех знакомил.

— Мой друг, мистер Маквиллен, несколько дней как из Претории. Прошу. Советник советского посольства мистер Старцев. Режиссер из России мистер Бобров, книгу о котором, дорогой Маквиллен, вы почти выхватили у меня. Надеюсь, вы найдете сегодня время обмолвиться о ней с самим автором. А теперь, господа, хотя бы на время оставим политику. Прошу к столу.

Ужин был обилен. Вино в меру охлаждено. Женщины сверяли свои английские впечатления, вспоминали о Пикадилли, о лондонских магазинах. Старцев приглашал профессора в Москву, обещал содействие в визе. Тот соглашался, говорил, что в новых условиях путь из Хараре в Москву может оказаться короче, чем в Преторию. Все смеялись профессорской шутке.

После ужина гости вновь разделились. Женщины отправились смотреть розариум, подсвеченное разноцветье кустов, откуда лились бархатные, многослойные ароматы. Профессор и Старцев курили, обсуждая последнюю реорганизацию кабинета. А Маквиллен и Бобров, не сговариваясь, улыбаясь издали, остались, вышли на веранду, где стоял зеленый ломберный столик и лежала колода карт. Остановились у столика. Маквиллен легким ударом рассыпал колоду, и она

легла по сукну, стеклянно-блестящая, рассыпалась королями и дамами, черно-алой геральдикой. И у Боброва мимо-летное воспоминание: бабушка после обеда доставала маленькую, любимую колоду карт и, очень серьезная, сосредоточенная, раскладывала пасьянс, и мать, и он, внук, ей не смели мешать, наблюдали ее священнодействия. И ему было удивительно смотреть на рождавшуюся витражную картину, где, казалось, таится его судьба и судьба его матери, брезжащие сквозь цветные, создаваемые бабушкой сочетания.

— Я не удивился, мистер Бобров, встретив вас здесь, помня наши недавние беседы в Мапуту. Мы ведь и собирались здесь встретиться,— Маквиллен держал его книгу, и рука инженера скользила по суперу, касаясь портрета. Бобров лицом чувствовал эти скользящие прикосновения.— С огромным интересом читал книгу. Хотел понять, кто тот человек, что намерен рассказать миру об Африке, о моей стране, о моем доме и, в сущности, обо мне.

Он пригласил Боброва садиться. Тот молча подчинился его жесту, сел, слыша, как время выстраивается посекундно в нарастающее ожидание, движется в ритме монолога Маквиллена, и его, Боброва, существование подчинено его интонациям и звучаниям.

— Все-таки вы удивительные люди,— продолжал Маквиллен, кивая на книгу.— О вас говорят, что вы материалисты, прагматики, безбожники. А я, читая вас, еще раз убеждаюсь: это вы — самый настоящий идеалист, почти богослов! Простите мне эту шутку! Сквозь ваши рассуждения об эстетике, о миссии художника дышит прямая вера! Вера в чудо! Чуть ли не во второе пришествие. Мир катится в преисподнюю, в погибель, и об этом свидетельствует экономика, реальная политика, реальное военное дело, реальная человеческая психология, а вы проповедуете чудо! Некое, в итоге всего, возникающее идеальное бытие! Наступающий золотой век человечества! Мы все доживаем последние дни, готовимся превратить мир в кровавую горячую котлету, а вы прогнозируете цветение. Ваш будущий фильм будет о том же? О цветении? Здесь, на юге Африки, где уже началось первое действие Страшного суда? Меня это, признаюсь, ошеломляет. Либо это мистификация,— он снова кивнул на книгу,— либо в моем опыте, в моей природе отсутствует некий элемент, дающий ключ к пониманию вашей веры.

Он положил книгу на зеленое сукно, обсыпал ее картами,

и Бобров смотрел на свое оттиснутое на обложке лицо в окружении валетов и дам.

— Хочу сообщить, я покинул ЮАР. Да просто сказать — удрал! В данный момент вы говорите не с инженером, не с представителем фирмы, а с частным лицом. Я продал свой дом и увез семью. Здесь, в Хараре, я для того, чтобы закруглить ряд финансовых дел и продать кое-какую принадлежавшую мне недвижимость. Я — частное лицо и как таковое симпатизирую и сочувствую вам, добровольно рвущемуся в это пекло, откуда я, как мне кажется, успеваю вырваться с минимальными для себя потерями.

Бобров не перебивал. Слушал как бы в прострации, ловя приближение некоего звука, который еще не звучал, а только намечался, высывая вперед свое отражение.

— Я выбирал, куда бы уехать, где бы скрыться от бойни. Где поставить мой дом так, чтобы ночью можно было держать окно открытым и не ждать в свою спальню очередь. В Европу? О нет! Она очень скоро превратится в термоядерную Калахари, и ходи по ней, подбирай в золе цветные стеклышки от Кельнского собора или железные катышки от Эйфелевой башни! Только не в Европу! Может быть, в Соединенные Штаты? Я думаю, очень скоро самыми счастливыми там станут те, кто похоронен на Арлингтонском кладбище. Селиться там все равно что селиться в печи огромного вселенского крематория, а это меня не устраивает. Африка? Здесь все безнадежно. Нарастающая нестабильность в масштабе всего континента. Даже Нигерия, я знаю, накопившая жирок на своих нефтедолларах, несет в себе потенцию гражданской войны, и я не завидую тем моим соотечественникам, кто откочевал в Нигерию. Может быть, Латинская Америка? Но она — синоним кровавой революции, уже начатой, уже затеянной. Из Сан-Сальвадора, из Манагуа она спустится вниз, в Бразилию, в Чили, в Перу. Кто хочет быть застреленным в своем доме, пусть едет в Латинскую Америку. Может быть, Азия? В Кампучию, сажать цветы в черепа вместо цветочных горшков? Или в Пакистан, под тень висящего на перекладине Бхутто? Нет, я выбрал Австралию. Я решил поселиться в Австралии в расчете на то, что туда, может быть, не залетит шальная ракета и китайские дивизии еще не скоро дойдут до Сиднея. Я уезжаю в Австралию. Моя семья уже там, и я, слава богу, скоро за ней последую. Я надеюсь провести мою старость в тишине за чтением книг, которые не успел прочитать, охотясь за черными боевиками, рыская по Соуэто или строя ловушки профсоюзным функци-

онерам на угольных коях Виртватерсранда. Впрочем, все это было прежде. В последние годы я занимался другим.

Он умолк и как бы задумался. Бобров не прерывал его, слушал приближение звука, громогласного, стремительно налетающего, готового наконец прозвучать.

— Я не сентиментален, — сказал Маквиллен. — Не могу объяснить, что мною сейчас движет. Пожалуй, что это связано с этикой. Пусть с этикой Конца Света, но все-таки с этикой. Я хочу вам кое-что сообщить. Как режиссеру, как человеку сцены, как человеку кино и театра, театра военных действий. Я уже не враг АНК. Они мне оказали ряд услуг. В сущности, они сохранили мне жизнь. Они пощадили мой дом и мою семью, хотя могли их взорвать. Представьте себе на минуту, что у меня есть информация. Для вас, режиссера! Может быть, она устарела. Может быть, вы узнаете об этом из завтрашних газет. Но, может быть, некоторое время эта информация еще будет в цене. И вы успеете прислать свою съемочную группу. Расставить осветительные приборы. Навести кинокамеры. И сделать натурные съемки. Хотя все это шутка, простите.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил Бобров вяло, слабо, чувствуя приближение огромной усталости, желая встать и уйти, покинуть эту веранду с зеленым ломберным столиком, эту виллу, и лечь, и забыться. — Что должен я им передать?

— Как бы вы, режиссер, отнеслись к известию, что готовится операция по уничтожению бюро АНК в Мапуту? Уничтожение домов АНК в Матола. Ну, скажем, крупномасштабная акция — проникновения в Мозамбик подразделения спецвойск, удары по домам АНК. Вам бы это пригодилось для фильма?

Бобров физически чувствовал, как время с разящим свистом сжимается в стремительный плазменный луч, вонзается, буравит, прожигает в нем, Боброве, крохотный прокол, и в этот свищ, как в пробоину подводной лодки, устремляются разрушающие сверхплотные силы, раздирая, расшвыривая его оболочки, и он гибнет, взрывается от непомерного давления мира.

— Вы продолжаете развивать свою шутку? — спросил он чуть слышно. — Когда же мне следует приглашать осветителей? Приезжать со съемочной группой?

— Точно не знаю. Может быть, сегодня. Или завтра. Или через неделю. Это зависит от ситуации на границе. От способности спецподразделений беспрепятственно преодо-

леть границу. Это все, конечно, гипотеза. Киногипотеза. Все входит в развитие шутки.

— Что заставляет вас так шутить? Почему вы мне это рассказываете?

— Если хотите, это каприз. Каприз человека, уставшего от бойни. Бегущего прочь от бойни. Мое прощание с Африкой. Быть может, это вам пригодится.

И мысль: вот еще один африканист, чужой и враждебный, накануне крушения и гибели, дан ему в обозрение. И нужно его взять в свою душу, его негативный, из ядов, опыт. Силой души и воли обезвредить, победить, сделать одним из героев фильма. И следующая внезапная мысль: работа над фильмом не прервана, но начата другая, грозная, связанная с жизнью и смертью работа, к которой его призывают, в которую он вовлечен, которая исподволь, постепенно возникла в недрах рабы над фильмом. Он, режиссер, искавший героя картины, собиравший его в себе по крупинам, вдруг превратился в героя, в борющуюся и познающую личность, от разума и поступка которой зависит судьба людей. Он, Бобров,— африканист, стоящий на пороге открытия.

— Благодарю,— ответил Бобров.— Благодарю за остроумную шутку.

На веранду входили оживленные хозяин и Старцев.

— Признательны за чудесный вечер,— говорил Старцев Бильгофу.— Теперь мой черед пригласить вас к себе. И тогда мы продолжим нашу беседу.

— Надеюсь быть полезным вашему другу.— Бильгоф поклонился Боброву.— Мои связи в кругах политиков и бизнесменов к вашим услугам.

— С благодарностью ими воспользуюсь,— Бобров пожимал профессору руку.

— Желаю вам после цветения, которое вы всем нам сулите, сладких плодов,— усмехнулся Боброву Маквиллен.

— Все-таки иногда закрывайте на ночь окна. В Австралии, я слышал, случаются прохладные ночи,— ответил ему шуткой Бобров.

Они покидали виллу. Прощались с хозяевами.

Через несколько минут они сидели в кабинете у Старцева, и тот, напряженный, высчитывающий, обегая глазами вокруг Боброва, останавливал на нем свой серый, встревоженный взгляд. Спрашивал:

— Ты полагаешь, этому можно верить? Это могла быть фантазия. Просто пьяный бред, наконец!

— Он не был пьян.

— Или, может, он тебя разыграл? Зная твои интересы. Пошутил над тобой, режиссером?

— Он — не шутник. Еще там, в Мапуту, мне дали понять, что он не шутник. Что он связан с разведкой.

— Может быть, это и так. Тем более информация нуждается в проверке. Она может оказаться дезинформацией.

— Ну подумай, что я такое, чтоб ему морочить меня! Хотел сорвать меня с места, испортить свидание с тобой? Посадить на самолет и отправить в Мапуту? Едва ли. Это был срыв, психологический срыв. Уж ты поверь мне. Я чувствую в человеке эти моменты. Это был срыв гибнущего человека.

— Все может быть. Я все допускаю. Но информация подлежит проверке.

Старцев продолжал бегать глазами, словно ловил невидимую, перемещавшуюся по комнате точку.

— Скажи мне,— Бобров видел близкий лоб Старцева, в котором шло вычисление.— Сколько времени нужно, чтобы эта информация дошла до Мапуту. До тех, когò она касается. До людей АНК.

— Мне трудно судить. Проверка, перепроверка и все такое. Везде свои темпы, своя скорость прохождения информации. К тому же каналов много — не сомневаюсь, у АНК есть свои люди, свои источники, и, если им что-то грозит, они знают об этом не хуже тебя. А грозит им постоянно, и у них, не сомневайся, есть свои способы защититься, выйти из-под удара, обвести вокруг пальца противника. Хотя любой намек, даже тот, который ты получил, важен. Пренебрегать им нельзя. Он подлежит анализу.

— Для анализа, боюсь, не осталось времени.

Старцев говорил очень искренне, убедительно, его давний друг, желающий ему блага, он не желал снять с него, Боброва, эту внезапную, кажущуюся непосильной заботу, он просто брал ее на себя. Просчитывал и обдумывал. Но быть может, прав Старцев, и он, режиссер, заигрался. Услышанное им — одна из бесчисленных версий, бесчисленных обмолвок, гуляющих в бесконечных потоках политической и боевой информации, омывающих мир. И не его задача, не его компетенция — реагировать на эту залетевшую частность, на этот внезапный всплеск. Он — художник и откликнется на это по-своему. Он введет этот случай в сценарий, обыграет в сюжете картины: ту, в «Полане», встречу с Маквилленом и эту, в Зимбабве. Бегство расиста с тонущего корабля. Еще

один признак крушения. И зеленое сукно, и колоду карт, и свой портрет среди разноцветных масок. И герой его, африканист, случайно получив информацию, прерывает визит в Зимбабве, расстается с любимым другом и летит в Мапуту, известить людей АНК.

— У тебя есть расписание? Когда самолет в Мапуту? — спросил он у Старцева.

— Ты что, хочешь лететь?

— У меня, как ты видишь, нет выхода.

Старцев позвонил.

— Есть рейс из Лусаки через Хараре в Мапуту, сегодня. И утром прямой на Мапуту.

И снова вялая волна апатии, слабости, почти обморочности накатила на него, словно из сонного моря, опрокидывая, заваливая, лишая воли, и он последним усилием, борясь с ней, хватаясь за твердь, вызвал в памяти образ Марии, идущей к темному дому, где в дереве зеленеет огонь, и Микаэля, рисующего на бумаге план полицейской казармы, и певца из «Амандлы», стискивающего кулаки на фоне черно-красной Африки. И волна отступала, и он оставался на суше в ясности, в очевидности предстоящего действия.

— Я одеваюсь. Ты проводишь меня?

— Мне больше не следует тебя уговаривать?

— Нет, дорогой, не надо.

— Все ясно. Пойду скажу Антонине.

Они промчались по ночному Хараре, и Бобров, жалея, что так и не успел увидеть столицу днем, опять нашел в ней сходство с холодным, искусственно синтезированным кристаллом, неоновортутным на гранях. Вспыхнул своим черным стеклом и металлом и быстро погас.

Старцев нес его дорожный баул. Стремился услужить и помочь. Отдал в окошечко паспорт. Офицер безопасности, высокий, белобрысый, с пистолетом на широком ремне, узнал Боброва. Изумился глазами столь скорому его возвращению, но тут же перевел изумление в широкую дружелюбную улыбку. Взял под козырек.

— Как жаль, что мы расстаемся, — сказал Старцев. — Так внезапно. Ни о чем не поговорили. Ведь столько у нас накопилось.

— Как-нибудь после, в Москве. Сойдемся, два стареньких старичка, и всласть потолкуем.

— Кирюшка, ну ладно, давай! Со своей стороны я сделаю все, что смогу. Прилетишь, отстучи телеграмму!

Они обнялись, расцеловались, и Бобров чувствовал,

как удерживает его Старцев в объятиях, не хочет выпустить.

— Ладно, Витюша, до встречи!

Подхватил свой выдавший виды баул и пошел сквозь стекло, оглядываясь, дробя и множа за собой изображение Старцева. Терял его в блеске и холоде.

Самолет был наполовину пуст. Взлет состоялся мгновенно. Тотчас исчезли земные огни, и рокошущая твердая тьма за алюминиевой плоскостью пульсировала мерной малиновой вспышкой. Он задремал, мысленно, воображаемыми пальцами отводя от виска тревожащее электричество, как учила его делать жена. Погружался в дремоту.

Проснулся внезапно, будто кто-то тронул его за плечо. Пробуждение было похоже на радость, будто во время сна в нем совершилась перемена. Он прижался к стеклу. Малиновая сигнальная лампа больше не вспыхивала. Туманно, голубовато светилось крыло, и под ним, невидимая, прозреваемая иным открывавшимся в нем зрением, клубилась Африка. Кудрявилась саванна. Мерцали ночные озера и реки. Курились хижины. В полях, тронутых мотыгой и плугом, наливались зерна. По невидимым тропам шли войска, и чуть блестело оружие. Лежал в могиле убитый Роберту. И он, Бобров, пролетал над землей, прикрывая ее своей грудью, словно взмахивал неслышно шатром из крыльев. Он чувствовал себя исполненным светлой силы, не своей, а льющейся в него откуда-то свыше, из невидимой, огромной, существующей над самолетом лазури, омывавшей его, делавшей свободным и добрым. И он пропускал сквозь себя эту силу, вел по земле излетающим из сердца пучком, на мгновение освещая то женское запрокинутое лицо, то чей-то мирный домашний очаг. Хранил их всех и берег.

Это длилось недолго и кончилось. Он снова сидел в салоне мерно шелестящего «боинга». Дремал, улыбался во сне.

В аэропорту в Мапуту он взял такси. Спросил у верткого молодого шофера, какие в городе новости. И тот, оглядываясь плутоватым лицом, стал на путаном английском рассказывать о каком-то футбольном матче, о каких-то выигравших «красных буйволах». В «Полане», получая у портье ключи, он поинтересовался, что слышно нового. И портье, зачехленный в лиловую, с золотыми галунами, пару, лю-

безно поведал, что здесь, в «Полане», остановились участники межафриканской встречи по нефти.

Бобров прошагал по мягко подстриженному, пустому в это позднее время газону, где все так же белели тонкие, с витыми спинками стулья. Мимо зеркально-неподвижного бассейна прошел к себе в номер. Зажег свет. Увидел оставленную на столе старую газету. Стопку бумаг, аккуратно сложенную прибиравшим номер служителем. Открыл на балкон стеклянную дверь. И невидимый, слабо шумящий океан дохнул на него своей близкой влагой. И чувство разочарования посетило его. Стоило ли так горячиться, чтобы успеть увидеть эту стопку бумаг, забытую газету? Не есть ли его полет, его панический побег из Зимбабве — лишь болезнью измотанных нервов, изведенного в тревогах сознания?

Медленно, перед зеркалом, расстегивал рубаху, глядел на свое алюминиевое, под стать самолету, лицо, с отчуждением к своему отражению. К тому, во что с годами превратились его тело и дух. И по мере того как он себя созерцал, возвращалось чувство тревоги. Номер, пустынный и тихий, казался уже не пустым. В нем что-то копилось, что-то бесшумно сгущалось.

Он позвонил пресс-атташе Ермакову, готовясь услышать его любезный молодой голос. Но откликнулся голос женский, должно быть жены,— сообщил, что хозяин еще не вернулся. Решил позвонить Соломау, но вспомнил, что не знает его домашнего телефона, а в офис к нему можно звонить только утром.

И тогда он решил ехать к Микаэлю на виллу, сейчас же, надеясь, что разыщет тот дом, куда провожал Марию, и там найдет Микаэля.

Долго искал ключи от машины, наткнулся на них на дне баула, за кожаной складкой. Собирался покинуть номер, но спохватился, вернулся. Извлек из баула пакетик, где лежали два белых, из слоновой кости браслета — с бегущими по кругу слониками и с резными цветами. Взял тот, что с цветами, для Марии, а другой, для жены, отложил. Оставил на столе, чтобы после рассмотреть, полюбоваться.

С удовольствием уселся за руль. Ощутил ровную послушную мощь мотора, красоту опустевшего города, выславшего на проезжую часть гибких стелющихся кошек, глазастых, с зелеными вспышками.

Добравшись в Матола, он поехал тише, по узким, прямым и очень зеленым улицам, где в кущах, с погашенными окнами, чуть светлели дома. Узнавал дорогу. Красная бензо-

колонка с раковиной и мигающей надписью «Шелл». Белая изгородь с черными чугунными перекрестьями, вызвавшая в нем тогда ощущение часовни. А вот и дерево, его прозрачно-зеленая крона, в которой, как рыба, плавает фонарь.

Встал, выключил двигатель. Окна дома, упрятанные в заросли, ярко горели, и оттуда слышалась музыка. Он удивился, вышел из машины и медленно двинулся к дому, оглядываясь, прислушиваясь к жаркой, слишком громкой музыке, прерываемой голосами и смехом. Увидел калитку, звонок. Помедлил. Позвонил. Музыка гремела по-прежнему, но от виллы через лужайку в полосах света замелькала быстрая фигура. Приблизилась к калитке, и сквозь решеткуглянуло на Боброва настороженное лицо, и раздался вопрос:

— Что вам нужно?

— Мне Микаэля, если он здесь,— ответил Бобров,— или Марию.

Человек молча смотрел на него. Повернулся и, мелькнув на лужайке, исчез. Бобров стоял, слушал музыку, и в стороне за деревьями мигала вывеска «Шелл».

Опять две тени двинулись в полосатой зелени, и в одном приближавшемся человеке, в его упруго-боксерской осанке, Бобров узнал Микаэля. С облегчением, радостно заулыбался ему сквозь решетку.

— Карл, вы? — изумленно говорил Микаэль, лязгая запором, впуская его.— Как вы сюда попали?

— Извините, Микаэль, если бы не обстоятельства...

— Разве вы знаете эту виллу?

— Как-то раз я подвозил Марию. И поверьте, если бы не серьезное дело...

— Вот и хорошо, что пришли! — он уже не изумлялся. Широко и гостеприимно улыбаясь, легко и любезно касаясь плеча Боброва, провожал его по ярко освещенной лужайке.— У нас тут, видите, праздник. И конечно, расшумелись немного. Только что, перед вами, приходил полицейский. Сделал нам выговор. Просил закругляться. Когда вы позволили, мы думали, он снова пришел.

— Что за праздник? — спросил Бобров.

— Да знаете, несколько наших вырвались сюда из ЮАР. Им грозила беда, но все живы, невредимы, бежали из тюрьмы. И вот мы решили в их честь...

— У меня к вам разговор, Микаэль. Уделите мне время.

— Конечно, Карл, поговорим непременно!

Они вошли в дом, в яркую, накаленную, как показалось Боброву, комнату, жаркую от грохочущей музыки, от тан-

цующих, пестро одетых людей, от блеска бутылок, белозубых улыбок и смеха. На стене красовались плакаты АНК. Висел портрет Нельсона Манделы. И среди нарядного гомонящего люда он сразу увидел Марию. Она издали удивилась, и изумление ее тут же перешло в радость. Она вся светилась, потянулась к нему, пошла навстречу, и он любовался ее гибкими, в такт музыке, движениями.

Микаэля отвлекли, увели куда-то, и Бобров досадовал на его исчезновение. Но и его самого уже тормозили, тащили к столу, усаживали. Поставили перед ним тарелку с овощами, ломтиками мяса. Налили стакан пива.

— Карл, я так вам рада!

Он выпил с наслаждением пиво, думая, что улучит в этом гвалте момент и подарит Марии браслет. Но не раньше, чем передаст сообщение Микаэлю. Оглядывал многолюдье. Здесь были мужчины и женщины, были и дети, маленькие, возбужденные, включенные в общее празднество. Он старался угадать, где те, что вернулись, во имя которых праздновали. Но все были одинаково накалены, разноцветны.

Пиво тронуло его легчайшим хмелем, обострило зрение. Женщина в красной свободной блузке, с высокой грудью, только что кончила танцевать и устало повела рукой у смуглого лба. И этот жест вдруг тронул Боброва, очень бабий, не африканский, а именно бабий, русский жест, напомнивший сразу другое застолье. Деревенский северный стол, белые стариковские бороды, алый сарафан, и за окнами карельской избы — млечная негаснущая голубизна.

Снова ударила музыка, и двое — молодой мужчина, очень гибкий, мускулистый и яростный, и женщина, с круглыми, как две чаши, бедрами, пошли танцевать, не касаясь друг друга, не глядя один на другого, а соотносясь через невидимый, подвижный, меняющий свое место центр. И Бобров, увлеченный танцем, хотел понять это сложное, гибкое, создаваемое танцорами пространство, и оно, неуловимое, волновало его. Все смотрели, как эти двое танцуют. Не двигаясь, танцевали вместе с ними — глазами, губами, волнообразными движениями тел, и дети, смуглые козлики, белоглазые и ярко моргали.

Он увидел, как из дверей показался Микаэль. Замахал, указывая на магнитофон, требуя, чтобы убавили звук. Пошел через комнату.

— Микаэль, — перехватил его Бобров, — удели мне минуту. Мне нужно тебе что-то сказать.

— Да, Карл, сейчас. Опять явился этот полицейский

с целым нарядом. Слишком уж мы шумим. Требуется, чтобы все мы вышли. Я сейчас объяснюсь с ним и приду к тебе. А ты пока пойдешь наверх, в библиотеку. Не надо, чтобы тебя видели. Джон тебя проводит, — и он кивнул тому, что первым встретил Боброва у калитки, и тот, указывая путь, провел Боброва на второй этаж, в библиотеку, уставленную стеллажами, на которых лежали свитки плакатов, кипы брошюр. И висел на стене, как внизу, портрет Манделы.

Библиотека занимала верхний угол виллы. Одно окно выходило на лужайку, ярко освещенную и зеленую, с бетонированной дорожкой, ведущей в гараж, где блесст хромированный бампер небрежно загнанного «мерседеса». Другие два окна были раскрыты в темноту, в близкие заросли сада. Бобров рассеянно смотрел на лужайку, слыша голоса внизу и приглушенную, все еще звучащую музыку.

Видел, как из дома лениво выходили люди, посмеиваясь, пританцовывая. Ступали на лужайку в световые квадраты. Какая-то женщина волокла за руку упирившегося ребенка, рассердилась и дала ему громкий шлепок. Увидел Микаэля и стоящего рядом с ним человека в армейской форме. Тот что-то раздраженно объяснял Микаэлю, указывал на окна, на близкую улицу. Приложил ладони ко рту и громко, зычно, на крикливом португальском, произнес:

— Прошу всех выйти из дома, выслушать важное заявление!

Бобров увидел Марию, выходящую на лужайку. Тронул нагрудный карман, где лежал для нее браслет.

— Прошу всех выйти из дома, выслушать важное заявление! — повторял на зычном португальском военный.

Бобров подошел к другому, открытому в сад окну. И там, внизу, в глянцеvitых обрызганных зарослях, увидел двоих, попавших на мгновение в отсвет. Их пятнистые униформы, картузы, черные зыркающие лица, трубу гранатомета с коническим набалдашником заряда. Один из них снял картуз, и над угольно-черным лицом латунно и рыже блеснули светлые волосы. И он произнес по-английски:

— Черт здесь пролезешь!

И второй по-английски цыкнул на него:

— Заткнись!

Это английское «заткнись», труба гранатомета, светлые волосы над черным гримом лица ошеломили парализующим знанием, невероятным, похожим на абсурд совпадением, ирреальным, сошедшим с экрана образом, жутким тождеством искусства и жизни. И он задохнулся, беззвучно повторял:

«Быть не может!» Это «Быть не может!» относилось ко всем сразу. К тем двум в кустах, перекрашенным, перемалеванным белым, о которых думал, которых ждал поминутно, не верил, торопился сюда с сегодняшнего, бесконечно далекого вечера, где веранда, зеленое сукно и игральные карты, превратившиеся вдруг в лужайку перед домом, в пестрых, стоящих на ней людей. «Быть не может!» относилось и к тому, что он, Бобров, вдруг вошел в контакт с этим замыслом, который он сам сотворял, поминутно выкликал, приближал, хотел стать частью его, соединить своим духом и плотью реальность и вымысел, и теперь ему это дано. Оно относилось и к чему-то еще, безымянному, вставшему вдруг огромно и страшно, породив ощущение абсурда.

Он хотел что-то сделать. Библиотека, где он находился, соединялась с виллой открытой наружу лестницей. Он метнулся туда, но осекся. Испугался открытого, выставляющего его на вид пространства, освещенных ступенек. Отшатнулся вглубь, к наклеенному портрету Манделы.

Смотрел в окно, сознавая не разумом, а неразумным предвидением, опережавшим на несколько мгновений происходящее. Словно там, на лужайке, осуществлялась заложенная в него, Боброва, программа.

Люди толпились, мелькая цветными одеждами. В доме играла музыка. Военный что-то указывал им, махал на них, выстраивал в ряд. Готовился говорить, отступал, прикладывая ладони ко рту, пытаясь все дальше во тьму. И по мере того как он исчезал, в калитку быстрой цепочкой, пригибаясь, один за другим, держа на весу автоматы, вбегали солдаты, окружая лужайку, откидываясь назад, открывали грохочущий, пульсирующий множеством вспышек огонь. Направляли пузырящиеся пламенем дула в клубок людей, наполняя его воем и грохотом, разрубая, разваливая на части, простригая в нем пустоты, сквозь которые летели жидкие струи огня. Люди валились тут же, один на другого, теми же пестрыми ворохами. Солдаты, откидываясь назад, поливали их пулями. Бобров, ослепленный в ужасе, видел что-то визжащее, клубком катящееся тело, толкаемое ударами пуль, наматывающее на себя трассирующие нити. Из толпы, прорывая ряды автоматчиков, размахивая кулаками, подскакивая, как по воде, вынесся Микаэль. Метнулся к гаражу, к «мерседесу». Несколько трасс, развернувшись, поймали его, скрестились на нем, гнали вперед и затем, выгибая, ломая хребет, рушили. Пули ударили в торчащий зад «мерседеса», кудрявя металл, и бледная вспышка взор-

вавшегося бака превратила гараж в белый шар света.

Он увидел, как с земли, выбрасывая вверх руки, словно хватаясь за трассы, поднялась на колени женщина, и ему показалось, что это Мария, и он крикнул громко: «Мария!», и кинулся сквозь стеклянную дверь на лестницу, слыша лающий крик команды, вой и внизу играющую в доме музыку. Бежал по ступенькам, бестолково расставив руки, и почувствовал короткий, двойной удар по ногам, ломающий их, кидающий его вниз по ступенькам. Удар был из сада, и, кувыркаясь, оббиваясь о ступеньки и теряя сознание, он успел разглядеть излетающее из сада, пунктирное завершение очереди, вонзившейся куда-то под крышу.

Очнулся на нижней открытой площадке в нелепой позе: вниз головой, с подломленными под себя руками. В саду ярко, трескуче горел гараж, и в пламени черным остовом сквозил «мерседес». Все так же играла музыка, но криков не было слышно, а снаружи урчал грузовик, и солдаты, обегая двор, оглядываясь, пятились, исчезали с лужайки.

Он попробовал повернуться, вытащить руки. И от боли в ногах опять потерял сознание. Когда пришел в себя, стало еще светлей. Внизу шумело и трескалось, и он понял, что дом горит. Он слушал приближение огня, идущего валом, съедавшего нижний этаж, и, высвободив руки, убедившись, что они здоровы и целы, подтянулся ими вперед. Боль в ногах была нестерпима, и в паху и выше, до самого пояса, и он, на грани нового обморока, ухватился за край ступеньки, подтянулся, вволакивая наверх перебитую часть тела. Руки соскользнули, и он ударился подбородком в ступень. Ему показалось, что там, наверху, кто-то есть, кто-то за ним наблюдает. Огонь наваливал сзади на близкую, готовую лопнуть переборку, выбивался из-под порога, и он, страшась этого живого, насылаемого на него огня, в последнем усилии, в последней вере, слабо крикнул: «Спасите!» И на этот крик отворилась верхняя дверь, и возник длинный уходящий вверх просвет. И в этом просвете — холм, поросший растениями, и перед самым его лицом — синяя лесная геранька, и за ней, на пеньке — его бабушка, в белой шляпке, с раскрытой книгой. Смотрит на него, улыбается, манит к себе, и он, прижимаясь к теплой родной земле своим молодым, гибко-звериным телом, движется к ней, на ее каре-золотистые, излетающие из глаз лучи.

СОДЕРЖАНИЕ

ДЕРЕВО В ЦЕНТРЕ КАБУЛА	3
В ОСТРОВАХ ОХОТНИК	239
АФРИКАНИСТ	385

Александр Андреевич Проханов

ГОРЯЩИЕ САДЫ

М., «Советский писатель», 1984, 608 стр.
КБ—10—27—84

Редактор *О. Г. Маркова*
Худож. редактор *Е. Ф. Капустин*
Техн. редактор *Н. Н. Талько*
Корректоры *Б. А. Котт* и
И. Ф. Сологуб

ИБ № 4415

Сдано в набор 02.03.84. Подписано к печати 13.08.84. А 02516.
Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 2. Литературная гар-
нитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 31,92. Уч.-изд. л. 35,10.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 123. Цена 2 р. 70 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель»,
121069, Москва, ул. Воровского, 11

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государст-
венном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109.

1970 ЖИТКІЛІК ТОРПАШЫК СІЗДІ

Алматы облысы
Ақмола ауданы